

Марк Алданов
УПЬМСКАЯ НОЧЬ

Марк
АЛДАНОВ
УПЬМСКАЯ НОЧЬ



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

Ногоогу

Ногоогу

УПЬСКАЯ НОЧЬ

Впервые в России
МАРК АЛДАНОВ
Сочинения в 6 книгах

Книга 1. Портреты

„Жозефина Богарне и ее гадалка“
„Сталин“
„Пилсудский“
„Уинстон Черчилль“ и другие очерки

Книга 2. Очерки

„Ванна Марата“
„Печоринский роман Толстого“
„Французская карьера Дантеса“
„Мата Хари“ и другие очерки

Книга 3. Прямое действие. Рассказы

„Фельдмаршал“
„Грета и Танк“
„На „Розе Люксембург“
„Рубин“ и другие рассказы

Книга 4. Начало конца

„Начало конца“. Роман
„Десятая симфония“, „Могила воина“
Исторические повести

Книга 5. Живи как хочешь

„Живи как хочешь“. Роман
„Линия Брунгильды“. Пьеса

Книга 6. Ульмская ночь

„Ульмская ночь“
Сборник философских диалогов
Статьи о литературе

Марк
АЛДАНОВ

УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

Новості

Москва, 1996

*Под общей редакцией
доктора филологических наук, профессора
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алдамова,
впервые выходящих в России, выпущено при участии фирмы
„Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по телефонам
(095) 265-50-53 и 265-56-62.

- © А. А. Чернышев, предисловие, составление, подготовка текста, 1996
- © Б. Н. Федюшкин, обложка, 1996
- © В. В. Анохин, оформление, 1996

КЛЮЧИ К АЛДАНОВУ

Когда в начале 1920-х годов быстро, один за другим, стали появляться первые романы Алданова, критики встали перед проблемой: почему от исторических романов, скрупулезно точных в изображении самых мелких деталей отдаленного прошлого, веет животрепещущей актуальностью, почему герои воспринимаются как люди наших дней?

После ряда произведений на историческую тему Алданов обратился к современности и свой роман о начальном этапе русской революции назвал „Ключ“. Название многозначно, возможно и такое его прочтение: ключ к писательской загадке. Один из главных героев приходит к выводу: закон истории — постоянное вторжение войн и революций в мирную жизнь, а человеческие характеры во все времена остаются неизменными, хотя полностью раскрываются лишь в моменты испытаний.

По Алданову, события и люди далекого прошлого не могут не походить на то, что происходит в наши дни. Писатель даже предложил читателям единственную в своем роде игру: выпустил два романа о заговорах, одним удавшемся („Заговор“, изображено убийство императора Павла I), другим неудачном („Бегство“, нарисован один из антибольшевистских заговоров 1918 года). Предлагалось обнаружить, что заговорщиками разных столетий движут во многом одинаковые страсти, мотивы благородные и возвышенные сочетаются со своекорыстными и низменными, сходным образом вовлекаются в заговор новые члены и т.д. Успех или неуспех любого заговора — дело случая.

В романах Алданова была воплощена своеобразная философия истории, прежде русскому историче-

скому роману не свойственная. Начиная с Загоскина и Лажечникова, исторический роман воспевал поступок, деяние, был проникнут утверждением бытия. По Алданову, от дел даже самых крупных полководцев или политиков спустя всего лишь несколько десятилетий ничего не остается. Толстовская эпопея „Война и мир“ в высшей степени соответствовала мироощущению интеллигента эпохи нарастания революционного движения в России: все в истории необходимо, и иначе, чем было, быть не могло. (Этот же взгляд оказался органичным и для советского исторического романа.) Алданов воплотил мироощущение эмигранта: история целей не знает и не может знать, ход событий стихийен и случаен.

Две книги и восемнадцать статей, включенных в наш том (подобное собрание его статей публикуется впервые), помогают по-новому понять Алданова. Это был замечательный знаток русской культуры, человек широких взглядов и большого здравого смысла, огромной честности перед самим собой. Он не признавал „нас возвышающего обмана“, над романтическим мироощущением подтрунивал, предпочитал неприкрашенные горькие истины. Когда писал о братьях по перу, чужой опыт всегда примеривал к себе самому. Здесь вечное отличие писателя, выступающего в роли критика, от критика-профессионала.

Например, в рецензии на книгу П.П.Муратова „Эгерия“ изложил свое кредо исторического романиста: главное в „освещении внутренностей“ действующих лиц и в таком их пространственном размещении, при котором они объясняют эпоху и эпоха объясняет их. Алданов писал для американских читателей о Чехове — и в его облике подчеркивал те черты, которые, как говорили, ему самому были свойственны: исключительно доброжелательный и бескорыстный человек, он в то же время крайне неохотно допускал посторонних в свой внутренний мир, не терпел амигошества, держался на расстоянии.

После окончания в 1910 году университета Алданов работал химиком, но параллельно взялся за кни-

гу вроде бы совершенно неожиданную: об особенностях писательского мышления. Рукопись „Толстой и Роллан“ состояла из двух томов, в свет вышел только первый, посвященный в основном Толстому, рукопись второго была в годы гражданской войны утрачена. Позднее, в 20-е годы, в эмиграции Алданов переиздал толстовский раздел первого тома под новым названием „Загадка Толстого“. Выдержала эта книга и третье издание: спустя почти полвека Браунский университет (США) вновь ее переиздал, в основном для студентов-руссистов, в качестве „ключа к Толстому“.

В годы Первой мировой войны она привлекла внимание С.А.Толстой, авторитетнейший Ю.И.Айхенвальд написал в рецензии, что дебютант обнаруживает зрелого, уверенного в себе критика. Алданов, по-видимому, не предполагал тогда сделаться романистом, но, обдумывая творчество Толстого, формулировал те идеи, которые он позднее положил в основу собственного творчества.

Он размышлял о независимости писателя от власти и „толпы“. Толстого невозможно представить себе получающим деньги от правительства за свои книги, или просителем, или цензором: „На всем облике Толстого читалась холодная, равнодушная надпись: не подкупите“. Сам самый строгий себе судья, он не особенно интересовался, что пишут о нем критики — и Алданов цитирует афоризм Шопенгауэра: можно иметь верные часы в городе, где все часы идут неверно.

Алданов был влюблен в прозу Толстого, но подходил к ней аналитически, как ученый. Некоторых современников шокировал, например, такой его способ поверить алгеброй гармонию, как систематизация всевозможных видов смерти, изображенных Толстым в разных произведениях. Он охотно писал о недостатках отдельных произведений. В „Крейцеровой сонате“ форма повествования — от первого лица — стеснительна, ситуация — пространственный монолог, обращенный к слушателям-попутчикам в вагоне поезда — страдает искусственностью, речь рассказчика порой небрежна. И вместе с тем от повести невозможно оторваться, она читается в один присест.

Прежде всего потому, что Толстой изумительный психолог, знающий самые тонкие движения человеческой души. „Войну и мир“ Алданов считал одной из лучших книг во всей мировой литературе.

Когда Алданов обратился в начале 20-х годов, в эмиграции, к художественному творчеству, он, вслед за Толстым, стал рядом ставить в повествовании героев исторических и вымышленных, так же у него герой преобладает над сюжетом, характеры раскрываются на фоне потока исторических событий и объясняют эпоху, громадную роль играют диалоги на философские и исторические темы. Подобно Толстому, Алданов проводит последовательно собственный взгляд на историю, делает широкие обобщения.

Однако между двумя писателями были и серьезные различия. Редактор „Нового журнала“ М. Карпович писал в рецензии на роман Алданова „Истоки“: „Отрицая историю, Толстой уходил от нее к двум вечным полюсам: „высокому бесконечному небу“, которое раненый князь Андрей видел над собой на поле Аустерлицкого сражения, и укорененной в земле родовой человеческой жизни (знаменитые „пеленки“ в эпилоге „Войны и мира“). Кажется, ни то ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он не может уйти от истории, так как, в отличие от Толстого, обладает высокоразвитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа толстовского руссоизма, нет никакого бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит, — ценит и любит тем больше, чем яснее представляется ему ее хрупкость“.

Возможно, его подтолкнуло к художественному творчеству несогласие с трактовкой Наполеона в „Войне и мире“. В его первой повести „Святая Елена, маленький остров“ Наполеон совсем не похож на Наполеона Толстого: это мудрый печальный человек на склоне дней. Он начинает диктовать историю своих подвигов, но вскоре понимает, что другие напишут ее лучше и выгоднее для него, сам он слишком ярко видел роль случая во всех предпринятых им делах.

Подзаголовок поздней итоговой книги Алданова „Ульмская ночь“ — „Философия случая“. То, о чем в ранней повести было сказано бегло, в 1950-е годы

получает углубленную разработку. Дается широкое определение случая: случай есть все, что происходит — возникновение мира, создание планеты Земля, появление человечества на этой планете, его возможное в будущем исчезновение... Случай — и судьба человека, от рождения до смерти.

В XIX веке у русских писателей преобладал противоположный взгляд, основанный на религиозном миропонимании. „У одного умного человека спросили: что такое случай? Он отвечал: инкогнито Провидения. Случая нет. Все, что ни встречается с нами в жизни, радостное или прискорбное, ожидаемое или неожиданное, есть Бог в разных видах“, — с необычной для себя категоричностью формулировал Жуковский.

Взгляд Гегеля, несколько позднее Маркса, что история движется по восходящей к осуществлению идеала, а случай может лишь ускорить или замедлить это движение, — модификация религиозного взгляда о предначертании. Революционеры находили себе нравственную опору в убеждении, что содействуют воплощению объективного закона истории, и цель оправдывает средства.

Алданов был современником Вердена, Соловков, Освенцима и хорошо знал, какие практические выводы следуют из оправдания пролития крови во имя высокой цели. В „Ульмской ночи“ он рассматривает несколько характерных примеров из новой истории, анализирует свидетельства очевидцев и приговоры историков разных школ, приходит к категорическому выводу: нет никаких сколько-нибудь веских оснований говорить об исторической предопределенности, скажем, исхода Бородинской битвы, шире, победы России в войне с Наполеоном, или победы Октябрьской революции, или победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

В борьбе против оптимистически окрашенного исторического детерминизма он опирается на данные современной науки. Принимая принцип причинности, он вслед за французским математиком Курно вместо единой цепи причин и следствий предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от

предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история — царство слепого случая. Он убежден, что нет оснований говорить об историческом прогрессе — прогресс существует в науке и технике, но не в нравственности. С точки зрения лютеранина реформация была благом, с точки зрения католика злом. В книге вводится понятие „выборные аксиомы“: выбирают систему ценностей, определяют приоритеты по-разному в разных странах, в разные эпохи. Писатель верит (безосновательно?), что можно было бы легче справиться с политическими кризисами, если бы „трест мозгов“, лучшие умы человечества, приняли бы единую систему „выборных аксиом“.

Алданов, эрудит и остроумец, искал в прошлом, в истории вдохновляющие образцы и находил для себя таковой прежде всего в Декарте, противнике любого догматизма в мышлении, в „картезианском состоянии ума“, который противоположен „лойолистскому“, заключающемуся не в дисциплине, не в повиновении начальству, а в том, чтобы всегда быть с ним внутренне согласным: „Необходимо всегда следовать правилу: то, что мне кажется белым, я должен считать черным, если таково иерархическое определение предмета“. Чтобы избежать односторонности, Алданов избрал форму диалога, причем собеседников обозначил инициалами „А.“ и „Л.“, первыми буквами своего псевдонима и настоящей фамилии Ландау; диалог, таким образом, становится разговором с самим собой, и это дает автору возможность лучше рассмотреть возможные контраргументы.

Втянуться в чтение „Ульмской ночи“ не так просто, у книги есть замеченный самим ее создателем недостаток: начальные главы труднее последующих. Но того, кто первые трудности преодолет, ждут превосходные страницы, в частности посвященные русской истории и русской культуре. Алданов становится романтиком-поэтом, рассуждая о древних былинах, о „Пиковой даме“ Пушкина и Чайковского. Эти страницы — живое опровержение расхожей мудрости, что родину нельзя унести с собой в изгнание. Алданов ее унес и сохранил как главную драгоценность. Характерна его полемика с Бердяевым по поводу „русской идеи“: Алданов считает, что „безмерно-

сти“, „бескрайности“ не являются национальной чертой характера, русский характер точнее понят и воплощен Толстым, чем Достоевским.

В ранних произведениях его излюбленными героями были скептики, порой даже мизантропы, не находившие ни в общественной, ни в личной жизни ничего, кроме суеты сует. С годами у Алданова появился новый тип героя, который нашел душевное равновесие, нравственные искания приводят его к идее Красоты и Добра. В „Ульмской ночи“ пожилой писатель дает этой идее теоретическое обоснование, начинает звучать — на пороге смерти — новая для него тема, тема радости бытия.

Закончив „Ульмскую ночь“, он писал 10 сентября 1952 года Н.Р.Вредену в Издательство имени Чехова: „Я *очень* дорожу именно этой работой, отнявшей у меня несколько лет; я для нее прочел или перечел бездну философских, „тяжелых“ книг (...) Могу только сказать, что мне чрезвычайно хотелось бы увидеть ее в печати, — так хотелось бы, что я отдал бы ее издательству и бесплатно! Не возьмете ли Вы ее для Чеховского издательства? Я был бы страшно рад“.

Книгу взяли, в следующем году она вышла в свет. Мечта писателя осуществилась.

На протяжении всего своего творческого пути Алданов постоянно выступал со статьями о литературе. Они в разных жанрах — проблемные и обзорные статьи, статьи об отдельных писателях, классиках и современниках, вступительные статьи к однотомникам, рецензии на новые книги, воспоминания, эссе. По Алданову можно учиться доброжелательности в критике: для каждого писателя он умел найти добрые слова, за всю жизнь не написал ни одного критического разноса. Гайто Газданов вспоминает: „Однажды Алданов мне сказал: — Вот вы написали очень жесткую, очень резкую рецензию на роман такого-то. Вы считаете, что вы правильно поступили? — Не знаю, но я написал то, что я действительно думаю. — Зачем? Вы понимаете, то, что вы написали, это может быть верно, дело не в этом. Но этому человеку вы

сделали больно, и это нехорошо. Кроме того, прочтя вашу рецензию, он лучше писать не станет потому, что он лучше писать не может. Вы себе нажили врага, а исправить то, что есть, не может никто, кроме разве Господа Бога...”

Но когда Алданов считал книгу хорошей и при этом был с автором по каким-то принципиальным вопросам не согласен, он оговаривал это со всей решительностью. Очень показательно его предисловие к книге М.Осоргина. Оба писателя входили в 30-е годы в одну и ту же масонскую ложу в Париже, одинаково видели в масонстве союз нравственной взаимопомощи, дающий возможность оторванным от родины одиноким людям обрести нравственную опору. После оккупации Парижа гитлеровцами Осоргина угрожал арест, его квартира была разгромлена и опечатана, похищен архив. Осоргин был вынужден бежать в захолустное местечко Шабри, бедствовал. Алданов тоже бежал из Парижа на юг Франции, бросив архив, тоже был нищим. „Надо ли вам говорить, что у меня нет ровно ничего и что я не зарабатываю ни гроша?“ — писал он Осоргину 13 августа 1940 года из Ниццы, но в том же письме сообщал, что высылает ему 800 франков от щедрого дарителя, состоятельного человека: „Я не уполномочен сообщить его имя“. Это очень чистая и нравственная история. Мемуаристы часто поминают эмигрантские дразги, выяснения отношений — но было и иное. Много лет спустя, уже после смерти Осоргина Алданову довелось стать автором вступительной статьи к его „Письмам о незначительном“. В ней много добрых, взволнованных слов об Осоргине — писателе и человеке, и в то же время Алданов решительно не может простить ему заигрывания со сталинским режимом в начале Второй мировой войны. Совершенный бессребреник, Алданов ничего не нажил за долгую писательскую жизнь, но постоянно оказывал материальную помощь то Бунным, то Ходасевичу, то менее известным литераторам, и современники запомнили его как человека „большой моральной чистоты“ (Л.Л.Сабанев), „совершенного душевного джентльменства“ (Г.В.Адамович).

Его ближайшим другом был Бунин, и дружба эта в своем роде уникальна: два больших, не похожих друг на друга писателя пронесли ее сквозь долгие годы, с начала 1920-х годов и до смерти Бунина в 1953-м, ни разу не омрачив ссорой. Алданов считал Бунина не только крупнейшим писателем эмиграции, но и живым классиком. Рецензию на „Лику“ он характерно начал: „Лучше писать просто невозможно...“ Алданов принимал самое деятельное участие в организации общественного мнения в Европе в пользу присуждения Нобелевской премии Бунину (хотя, как заметил рижский еженедельник „Для вас“, мог бы с не меньшим основанием претендовать на нее сам). Опубликованная, к сожалению, с купюрами литературоведами Милицей Грин и А.Зверсом в нью-йоркском „Новом журнале“ переписка Алданова и Бунина проникнута удивительным взаимопониманием, постоянной трогательной заботой друг о друге, вместе с тем возвышенностью мысли — устремленностью в „вечные“ нравственные вопросы, в пути развития русской литературы.

В номере парижских „Последних новостей“ от 16 ноября 1933 года, где сообщалось о присуждении Бунину Нобелевской премии, была помещена статья Алданова „Об искусстве Бунина“. Эта поздравительная статья необычная: главное место в ней отведено подробному разбору одного короткого рассказа нового лауреата, „Петлистые уши“. На частном примере, разносторонне рассматривая текст, Алданов убедительно доказывал, что Бунин был удостоен награды вполне заслуженно, что он писатель великий.

Вскоре после смерти Бунина Алданов написал предисловие к его незавершенной книге о Чехове. Не только боль утраты звучала в предисловии. Алданов уравнивал в значении для русской литературы создателя „Вишневого сада“ и эмигранта, чье главное произведение, „Жизнь Арсеньева“, находилось в ту пору на родине писателя под запретом. Тем самым он утверждал связь литературы эмиграции и классической традиции. Эта вполне естественная, даже банальная для наших дней мысль в СССР в 1955 году представлялась крамольной: был общепринят взгляд, что только советская литература наследует традиции

Толстого и Чехова. В эмиграции нередко утверждали прямо противоположное. Однажды Набокову как специалисту по России предложили рассмотреть список книг, которые предполагала закупить в СССР библиотека Корнеллского университета. Его вердикт был: „Такой вещи, как советская литература, не существует“.

Алданов поднялся над односторонностью. В статье „О романе“ (1933) нашел немало добрых слов и для советских прозаиков. В предисловии к переведенному на английский язык роману „Начало конца“ (1943) декларировал, что эмигрантская и советская литература — это два потока одной и той же русской литературы, и обе, хотя и по-разному, наследуют классической традиции. Но тут же продолжал: главное их различие в том, что советские писатели лишены свободы. На примерах Луначарского и Горького показывал неизбежность деформации и разрушения творческой личности при тоталитарном режиме.

Он был всего на несколько лет старше Мандельштама, Цветаевой, Маяковского, ровесником Гумилева. Принадлежал к поколению, которое искало в литературе новых нехоженных путей. Но в его книгах нет ни смещения плоскостей, ни броских неологизмов, ни подчеркнутого внимания к звучанию фразы. По литературным пристрастиям он человек толстовской эпохи, очень хорошо знал и необыкновенно любил русскую классику XIX века. Его статьи о Тургеневе и Чехове — настоящие маленькие шедевры. Алданов вполне самостоятелен в оценках их творчества. Poleмизирует с Б.К.Зайцевым о достоинствах рассказа Тургенева „Клара Милич“, отвергает общепринятый в США взгляд, что драматургия Чехова выше его прозы, спорит с советской критикой, представлявшей Чехова чуть ли не революционером. Главный лейтмотив обеих статей: надо оценивать писателей по тому лучшему, что они дали.

Серьезная проблемная статья Алданова, скромно названная им краткой заметкой, „О положении эмигрантской литературы“ (1936), была написана в полемике с Г.Газдановым, считавшим, что эмигрантская литература погибает из-за длительного отрыва от родной почвы. Алданов утверждал противоположное:

когда родина в рабстве, отрыв от родной почвы даже плодотворен. Он приводил убедительные примеры из истории других литератур, рассуждал об особой миссии литературы русского зарубежья, и в канун „великих чисток“, когда советская литература испытывала невыносимый идеологический гнет, а эмигрантская, напротив, переживала расцвет (расцвет творчества Набокова, Нобелевская премия Бунина...), его аргументация казалась безупречной. Драматизм положения писателя на чужбине, доказывал Алданов, не в том, что узок круг его читателей и единомышленников — с этим можно смириться, — а в том, что даже самый талантливый писатель, как правило, не в силах свести концы с концами на скудный гонорар, приходится зарабатывать на жизнь „вторым ремеслом“ — на заводе, в конторе или крутя шоферскую баранку. Для профессиональной писательской работы не остается ни времени, ни сил. Создатель „Ключа“ и „Бегства“ мечтал, что когда-нибудь будет создано меценатское заведомо убыточное издательское предприятие — и сам не верил в возможность осуществления своей мечты.

Но мечта, правда, спустя полтора десятилетия, осуществилась. В 1951 году в США Корпорация восточноевропейского фонда приняла программу издания художественных и публицистических произведений на русском языке, было организовано Издательство имени Чехова. Оно просуществовало пять лет, выпустило в свет десятки замечательных книг, в том числе три книги Алданова. Летом 1956 года программа была завершена, издательство закрылось, и Алданов (ему оставалось жить лишь несколько месяцев, он умер в феврале 1957 года) воспринял это событие как ужасную беду, обрушившуюся на русскую литературу в изгнании.

Между тем, такое развитие событий было естественным: первое поколение писателей русского зарубежья заканчивало жизненный путь, эмиграция второй волны, военных и первых послевоенных лет, была малочисленной, и ярких талантов выдвинула мало, а время третьей волны еще не пришло. Срок, отпускаемый историей для любой литературы в изгнании, — одно поколение. Газданов, к сожалению, все же в конечном счете был прав.

Блестящие деятели русского зарубежья начали уходить из жизни еще в 20-е годы. Алданов взял на себя труд писать некрологи. Некролог для него не только дань уважения памяти современников, это еще и возможность, соответствовавшая его характеру, собрать воедино все доброе и хорошее, что можно было сказать о человеке. Он близко знал почти всех известных деятелей культуры эмиграции, со многими находился в переписке. Посвятив повесть „Десятая симфония“ С.В.Рахманинову, позднее, после смерти Рахманинова, произнес над его гробом последние слова. Отдал дань памяти великому певцу Ф.И.Шаляпину. В алдановских некрологах соседствуют горестные заметы сердца и холодные наблюдения ума, таковы, например, его статьи на смерть Куприна, на смерть Мережковского: автор убедительно определяет место этих очень разных писателей в отечественной литературе XX столетия.

К литературно-критическим статьям Алданова своеобразно примыкают его романы: персонажи постоянно говорят о русской литературе. Возвращаются мыслями к классикам, но отнюдь не для того, чтобы эти статьи повторять. Напротив, они чаще всего выражают по частным вопросам крайние, спорные точки зрения, высказывают мысли, справедливые лишь отчасти. В статьях Алданова стремление к объективности, взвешенности суждений, для его персонажей характерна заданная односторонность — при том, что они образованные, широко мыслящие, вызывающие уважение читателя. Вот, например, упоминания Гоголя. В „Живи как хочешь“ старый, мудрый Дюммлер повторяет авторскую мысль, что литература должна быть доброй, и в ответ на возражение собеседника, что мизантропом был Гоголь, говорит: „Есть исключения. Да и Гоголь вечен потому, что все его взяточники в сущности симпатичны...“ В более ранней „Пещере“ Браун к взяточникам Гоголя подходил с другой стороны: „Писатели и вообще завоевывают мир не тем лучшим, тонким или мудрым, что в них было, а тем, что на придачу было в них грубого, общедоступного, иногда пошлого. Гоголь был большой, очень большой писатель, но всероссийскую известность ему создало обличение взяточников“ (это замечание — ред-

кий случай у Алданова — повторяет почти дословно мысль, высказанную в статье „Из записной тетради“ (1930/). В „Начале конца“ приехавший в Париж Вислиценус перечитывает гоголевский „Рим“: „И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофе из громадной чашки, нежась на эластическом упругом диване...“ Цитата очень характерная, в ней проявляются свойственные Гоголю любовь к нанизыванию подробностей, часто чрезмерная, и привязанность к преувеличениям. Их Алданов не принимал, и комментарий его Вислиценуса ироничен: „Я и не знал, что парижские кофейни так ослепительны. Точно так же описывал он красоты Днепра и римское небо... Вот и я отдаюсь „сибаритскому наслаждению“. Этот номер гостиницы, конечно, не так великолепен, тут нет модных фресок за стеклом и благородного приспешника-гарсона, но я тоже нежусь на эластическом упругом диване и, если сегодня освобожусь рано, то пойду вечером в облитый золотом кинематограф“. Восхищение классикой отнюдь не вело Алданова к выражению одних только безотчетных восторгов.

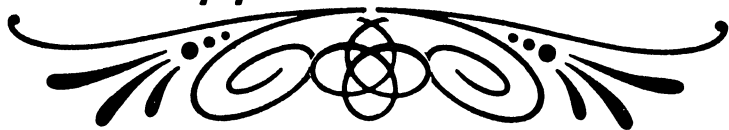
Нередко Алданов, подобно другим писателям-эмигрантам первой волны, избирал героями литераторов. Но, в отличие от Бунина („Жизнь Арсеньева“), Набокова („Дар“), Газданова („Призрак Александра Вольфа“), он иронизировал над ними. Тщательно сдерживаемая им в литературно-критических статьях ирония прорывается в художественной прозе. И вот уже Вермандуа в „Начале конца“ замечает, что Римский-Корсаков, создатель оперы „Моцарт и Сальери“, был введен в заблуждение невежественным либреттистом, утверждавшим, будто Сальери — отравитель. Что этот „либреттист“ — Пушкин, герой-француз не знает, и это ему прощительно. Однако, чтобы не было „снижения“ Пушкина в восприятии

читателя, тут же самого обаятельного персонажа, командарма Тамарина заставляет читать в предчувствии близкой смерти „с сильным, ему самому непонятным волнением“ провидческие строки из стихотворения Пушкина „Родриг“.

Обдумывая пути и судьбы русской литературы, классической и современной, размышляя о собственной писательской судьбе, Алданов убеждает читателей не сотворять себе кумиров, помнить, что воплощенного идеала нет, хотя стремление к идеалу в природе человека. Высшей ценностью он признавал культуру, страшился ее хрупкости — особенно в век тоталитарного насилия, атомной бомбы — и тем энергичнее защищал лучшие проявления человеческого духа.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ЗАГАДКА ТОЛСТОГО



ОТ АВТОРА

В 1914 году мною была закончена книга „Толстой и Роллан“, первый том которой вышел в свет в самом начале войны. На его долю выпал у критики незаслуженный и неожиданный успех. Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Романа Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи. Таким образом, я и теперь не могу напечатать свою работу в том виде, в каком она была задумана в 1912—1914 годах.

Из первого тома книги, по самому ее плану, сравнительно нетрудно было выделить часть, посвященную Л.Н.Толстому. Она и перепечатывается в настоящем издании без существенных изменений. Если б я теперь стал наново писать книгу об авторе „Войны и мира“, я написал бы ее иначе. Но общую концепцию „загадки Толстого“, данную в моем труде, я продолжаю считать правильной, несмотря на ряд сделанных в печати возражений. Не появилось за истекшие десять лет и новых, относящихся к Толстому материалов, которые шли бы с ней вразрез.

Я предполагаю скоро выпустить в свет также монографию о Р.Роллане; некоторые главы ее будут мною восстановлены по памяти, другие — большая часть — написаны заново. Последнее было

бы неизбежно даже в том случае, если бы в моем распоряжении имелась старая рукопись: Ромен Роллан с 1914 года написал шесть новых книг, и некоторые из них занимают в его творчестве совершенно исключительное место.

Мне приходится, таким образом, отказаться от первоначального замысла, по которому мысль Л.Н.Толстого и Ромена Роллана рассматривалась формально в параллели. Но параллель эта и по первоначальному замыслу не имела узкоспециального характера: в работе моей были две монографии, объединявшиеся третьей, заключительной частью. Да и теперь в книге о Ромене Роллане мне не раз придется возвращаться к загадке Толстого.

Я выпустил из настоящего издания несколько страниц, из которых одна относилась к В.В.Розанову, недавно скончавшемуся в России, другие — к И.Ф.Наживину, давно переставшему быть толстовцем. Требовала бы теперь выпуска, по архаичности темы, и значительная часть X главы книги. Но, повторяю, я не имел в виду выпускать „переработанное издание“.

*Tu voyais sous tes pas un gouffre se creuser
Qu'élargissaient sans fin le doute et l'ironie;
Et, penché sur cette ombre, en ta longue insomnie,
Tu sentais un frisson mortel te traverser.*

*A l'abîme vorace, alors, sans balancer,
Tu jetas ton grand cœur brisé, ta chair punie,
Ta rebelle raison, ta gloire et ton génie,
Et la douceur de vivre et l'orgueil de penser.*

*Ayant de tes débris comblé le précipice,
Ivre de ton sublime et sanglant sacrifice,
Tu plantas une croix sur ce vaste tombeau.
Mais sous l'entassement des ruines vivantes
L'abîme se rouvrait, et, prise d'épouvantes,
La croix du Rédempteur tremblait comme un roseau.*

*Jules Lemaitre. Pascal.**

**В пропасть, что разверзлась пред тобою,*

Ты бросил тревоги и сомненья

И, бродя ночими тигрой тенью,

Холод смерти чувствовал порою.

Сердце, тело, сливу, ум и гений

Ты ронял в зияющую бездну.

Счастье, честолюбие и беды

Отдвигал, не ведя сомнений.

И, насытив пустоту до гримы,

Кровью жертв зилив ее до края,

Ты поставил крест, как Искупленье,

Но земля под ним зишевельгилась

И под гнетом плоти обвалилась,

Поштитнув зник высшего прощенья.

Жюль Леметр „Паскаль“ (фр.).— Пер. И.Ю.Наумовой.

I.

Часто цитируют слова Канта: „две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне“. Эта знаменитая формула, выражающая идею совершенного, гармонического человека, может быть разделена, как в теории, так и в жизни: откиньте ее второй член, оставьте одно „звездное небо“, она вплотную приблизится к учению язычника Гёте:

Freudig war vor vielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.

Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Grosse, gross das Kleine,
Alles nach der eignen Art.

Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah,
So gestaltend, umgestaltend —
Zum Erstaunen bin ich da.*

*Довелось в былые годы
Духу страстно возмечтать
Зиждущий порыв природы
Проследить и опознать.
Ведь себя одно и то же
По-разли ному дарит,
Малое с великим схоже,
Хоть и разнится на вид;
В вечных сменах сохраняясь,
Было — в прошлом, будет — днесь.
Я и сам, как мир, меняясь,

К изумленью призван весь. — *Пер. с нем. Н.Вильмонт.*
Впрочем, Гёте порою высказывался и в другом духе. В разговоре с Эккерманом 11 марта 1832 г. он почти буквально повторяет формулу Канта (I.P.Eckermann. Gespräche mit Goethe, T. III, S. 692).
Здесь и далее прим. авт., если это не оговорено особо.

Напротив, для Толстого-мыслителя существует только „нравственный закон“. То „das ewig Eine“*, которому всю жизнь „удивлялся“ Гёте, „звездное небо“ Канта — в толстовстве не находят места. Ученые выдумали, правда, „туманные пятна“, „спектральный анализ звезд“, „химический состав Млечного пути“, но все это — никому ни для чего не нужный профессорский вздор. Боги звездного неба, Кеплеры, Ньютоны, Лавуазье, для Толстого в лучшем случае — маньяки, напоминающие Пфуля, Вейротера и других немецких стратегов „Войны и мира“, — только более безобидные, благодаря своей штатской профессии. Как Пфуль и Вейротер, они не лишены, быть может, специальной, ограниченной гениальности. Немецкие стратеги всю жизнь проводят за составлением диспозиций: „die erste Kolonne marschirt... die zweite Kolonne marschirt“*. Кеплеры весь свой век думают о том, как „der erste Planet marschirt... der zweite Planet marschirt“^Δ. Пфуля и Вейротера считают гениями другие немцы-стратеги; точно так же Кеплерам поклоняются другие безобидные маньяки, а за ними публика, находящаяся во власти научного суеверия. В худшем же случае, который, конечно, встречается гораздо чаще, небесные Пфули лишены даже ограниченной гениальности. Тогда это просто дюжинные профессора, Шмидты и Майеры, выдумавшие себе занятие, „чтобы получать больше жалованья“, нестерпимо самоуверенные и чрезвычайно глупые^В. Когда в „Плодах просвещения“ профессор Алексей Владимирович Кругосветлов тягучим, мерным голосом говорит о „пертурбациях невесомого эфира“, об „энергии динамической, термической, электрической и химической“ и о ее „соллицитированных проявлениях“, нам совершенно ясно, что Толстому он представляется гораздо глупее, чем Вово Звездинцев и Коко Клинген, достойные члены

* „Вечно одно“ (нем.).

* „Первая колонна марширует... вторая колонна марширует“ (нем.).

^Δ „Первая планета марширует... вторая планета марширует“ (нем.).

^В В Ясной Поляне одно время держалась поговорка: „глуп, как профессор“ (Ив. Наживин. Из жизни Л.Н.Толстого. Москва, 1911, стр. 34).

общества поощрения разведения старых русских густопсовых собак. Профессорский жаргон „научной науки“, как презрительно выражался Толстой, стоит приблизительно на том же уровне, что косноязычный вздор полуидиотического дипломата, князя Иполита Курагина. В этом своем совершенном презрении к представителям „научной науки“ Лев Николаевич идет вслед за Шопенгауэром, но гораздо дальше последнего. Немецкий философ тоже сердито удивлялся, когда слышал о необычайной гениальности Ньютона, тоже терпеть не мог профессоров и, как Толстой, не стесняясь в выражениях, говорил, что ученые вне своей специальности (а иногда и в ее пределах) сплошь и рядом оказываются настоящими ослами.

Толстой сражается с наукой, как опытный искусный полемист: он старательно выискивает слабые места своего противника и на них сосредоточивает нападение. С особенной охотой он избирает мишенью для своих нападков медицину. Как радостно отмечает он, что знаменитые доктора не лечат, а обмалпывают Наташу Ростову, Кити Щербацкую. Толстовские врачи не уступают в невежественном апломбе спиритам—профессорам и немецким стратегам, но сверх того Толстой награждает их еще порядочной долей полусознательного цинизма: „к обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимайте, и лежать... Получив гонорар, как и обыкновенно, в самую заднюю часть ладони, доктор уехал“ („Дьявол“). Нечего сказать: и невежда, и шарлатан, и дармоед. Кругосветловы за свои откровения хоть гонорара не берут (по крайней мере, при читателе). Для посрамления медицины Толстой выдумывал даже особые болезни, которые врачи не только не могут прекратить, но не могут и распознать: нам так-таки остается неизвестным, от чего умер Иван Ильич — от блуждающей ли почки, от хронического ли катара или от болезни слепой кишки. Великий писатель не мог, однако, не

знать, что существуют недуги более послушные воле и знанию человека; к тому же в семье точных наук практическая медицина является чем-то вроде Австрии по определению Тютчева: это Ахиллес, у которого всюду пятка.

Но и в других областях знания Толстой мастерски выбирает для атаки наиболее уязвимые места. В политической экономии он подвергает расстрелу теорию Мальтуса, в социологии — органическую теорию общества. Его аргументация местами сильна, почти всегда остроумна. Правда, она в значительной своей части не нова. Так, например, в критике шатких социологических построений Герберта Спенсера Толстой на каждом шагу повторяет известные аргументы Михайловского. Великий писатель доводил свое отвращение к научному педантизму до того, что нисколько не считал себя обязанным изучать детально литературу вопросов, о которых писал: для него эти аргументы были новы; он приходил к ним самостоятельно. Впрочем, ему случалось выдвигать против тех или других научных положений и оригинальные доводы, в которых резкая, парадоксальная, несправедливая форма порою прикрывает долю несомненной истины. „Теория эволюции, — замечает, например, Толстой, — говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет. А тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества ко времени“ (XVII, 140)*. Или еще: „Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему наблюдению, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются факты“ (XVII, 136). Современный научный критицизм, обосновывая философские понятия рабочей

*Все цитаты из произведений Л.Н.Толстого приводятся мною по 24-томному Сытинскому изданию под редакцией П.И.Бирюкова.

гипотезы и объяснения, высказал мысли, довольно близкие к этим. Рамки настоящей работы не дают возможности сопоставить некоторые научные предвидения автора „Войны и мира“ с подлинными мыслями знаменитых ученых нашего времени. В этих предвидениях, как почти в каждой странице наследия Толстого, ясно виден его несравненный ум, с одинаковой легкостью вникающий в сложные вопросы науки, в дебри отвлеченной метафизики, в глубины сердца человека, в мельчайшие подробности социальных отношений.

Но все же Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист, притом как полемист, исполненный крайнего раздражения. Резкость его отзывы часто переходит всякие границы: для него „дарвинизм — образец глупости“, „чем учение человека, тем он глупее“, „представление мужика о том, что Бог сотворил мир в 6 дней, гораздо правильнее, научнее, чем учение об эволюции“, „слава Богу, что наука в Индии не развивается“, люди, занимающиеся наукой, „умственно вывихивают себе мозги, становятся скопцами мысли, по мере оглупения приобретают самоуверенность“... и т.д. В пылу полемического увлечения Толстой иногда говорит явно несообразные вещи, вроде следующей: „в чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не мог“ (XVII, 164), или же сообщает о науке сведения, просто фактически неверные: „Выдумали, — говорит он, например, — торпеды, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха, топорыше, цеп, грабли, журавель, ушат все такие же, как были при Рюрике“ (XVII, 156).

В ответ на весь этот полемический задор, на мастерскую, блестящую кампанию Толстого, наука великолепно молчала. Толстым везде увлекаются, как художником, еще больше интересуются его религиозными воззрениями, о которых пишут университетские диссертации (Maffre. *Le Tolstoïsme et le Christianisme**); знаменитые историки (Альбер Сорель, Н.И.Кареев) посвящают специальные исследо-

*Маффр „Толстовство и христианство“ (фр.). — Здесь и далее переводы текстов на иностранный язык даны редакцией, если это не оговорено особо.

вания историческим воззрениям Толстого; заслуженные генералы (Драгомиров) старательно изучают его философию войны*. Но кампания великого писателя против науки со стороны представителей последней не удостоивается никакого ответа. Впрочем, Петцольдт вскользь замечает, что у Толстого, как у других религиозных реформаторов, *нет научного органа*: „kein Organ für die Wissenschaft“. Отрицанию великого писателя представитель науки ставит бесцеремонный диагноз: „eine gewisse Verkümmerng des logischen Bestandcs“#. Лев Николаевич считал ученость и глупость синонимами; в благодарность за этот комплимент Петцольдты зачислят Толстого в число калек. Конечно, долг платежом красен; но платеж в данном случае вышел весьма сомнительный. „Органы“ у Толстого были все в целости, — дай Бог каждому! — и „научный орган“ отпюдь не составлял исключения.

В 1847 году 19-летний Л.Н.Толстой запис в свой дневник следующий небольшой проект, который трудно прочесть без улыбки:

„Цель жизни в деревне в продолжение двух лет:

- 1) Изучить весь курс юридических наук, пущих для окончательного экзамена в университет.
- 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической.
- 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский.
- 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретически, так и практически.
- 5) Изучить историю, географию и статистику.
- 6) Изучить математику — гимназический курс.
- 7) Написать диссертацию.
- 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи.
- 9) Написать правила и
- 10) получить некоторые познания в естественных науках.
- 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать“^Δ.

*Воззрения Толстого на войну и ее науку незаметно пропикли в те углы европейского мышления, где они, казалось бы, всего менее могли рассчитывать на сочувствие. Нередко они преподносятся европейскому читателю, как нечто новое и самостоятельное; см., например, у Леметра („Les Contemporains“, 3-me série) заметку об истории Ковде, написанной герцогом Омальским.

#„Известное ослабление логического мышления“ (нем.).

^ΔП.Бирюков. Л.Н.Толстой. т. I, стр. 145.

В 1910 году 82-летний Л.Н.Толстой переезжал как-то из Кочетов в Ясную Поляну. В.Г.Чертков описывает следующую сцену из этого переезда:

„В отделении я остался один со Львом Николаевичем; Душап и Булгаков уселись в соседнем отделении. Я прилег отдохнуть, но мне не спалось. Л.Н., полулежа на противоположном сиденье, стал читать книгу. Встав, чтобы откинуть упавший на него шпур с опущенного верхнего дивана, он загляделся в открытое окно на красный закат. Долго выделялась на фоне окна его несколько согнувшаяся вперед сутуловатая фигура. Он, видимо, любовался зрелищем. Немного погодя, он, не двигаясь с места, посмотрел на свои часы и затем стал поминутно их вынимать. Очевидно, он хотел проследить, сколько времени потребуется для того, чтобы диск солнца скрылся за горизонтом. Когда перед окном поднимался густой лес или насыпь, он нетерпеливо высовывал из окна голову, чтобы узнать, долго ли протянется это препятствие, мешавшее его паблюдению“*.

Эта сценка весьма характерна для Толстого, как ни маловажен излагаемый эпизод. Глубокий старец, одной ногой стоящий в могиле, должен за чем-то знать, сколько времени потребуется диску солнца, чтобы скрыться за горизонтом. Люди гораздо моложе его прилегли отдохнуть, а он стоит с часами в руке и что-то нетерпеливо изучает. Это вот жадное любопытство к явлениям внешнего мира создает Пастеров и Лавуазье, когда оно не создает Толстых и Гёте.

„Я почти невежда, — пишет в дневнике Толстой в 1854 году, — что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало“. Полвека спустя, он, вероятно, готов был бы повторить то же самое, но не с огорчением, а с истинной радостью: ведь по Толстому неученье — тьма, но и ученье — тоже тьма; единственный из современных людей, он был склонен гордиться „невежеством“, хотя меньше, чем кто-либо другой, имел на это право: Толстой был несомненно одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени. Он знал „немного обо всем“, что, если верить Паскалю, гораз-

*В.Чертков. Свидание с Л.Н.Толстым в Кочетах. „Речь“, 1913 г.

до лучше, чем знать „все о пемпогом“*. Впрочем, в своем главном „ремесле“, в литературе, он знал „все“, — древнее, новое, новейшее; здесь он был специалистом глубокого, исчерпывающего знания. Толстой владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался, со всей своей способностью страстно увлечения, то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. В 1870 году Толстой, по собственным словам, „с утра до ночи“ занят изучением греческих классиков в подлинниках^а, в 1884 году он, как мы случайно узнаем, интересуется астрономией^б, в 1910 году почти пристаёт ко всем своим посетителям с каким-то неизвестным доказательством Пифагоровой теоремы^в. Что ему Гекуба? Для чего нужна Пифагорова теорема тому, кто так жестоко издевается над наукой? Эти внезапные периодические увлечения сказывались в Толстом в течение всей его жизни, и люди, видевшие два десятка книжных шкафов в Яснополяском доме^г, знают, что такое — невежество Л.Н.Толстого. А между тем мало ли у нас пронизировали на счет этого невежества! Сам Чехов, поверное, не прочитавший одной десятой части книг, известных Толстому, прохаживался на эту тему. Для современного интеллигента наука — то же самое, что твердыня великого Рима для римского гражданина на чужбине: вместо „civis romanus sum“^д

*Необыкновенная разносторонность умственных интересов Толстого весьма ясно сказалась в его переписке с Н.Н.Страховым. XVIII век несколько отучил нас от такого стиля писем, и книга, превосходно изданная Толстовским музеем под редакцией Б.А.Модзалевского, своим настроением точно переносит читателя в умственную атмосферу XVII столетия, вызывая в памяти переписку Декарта с Мерсенном и Спинозы с Ольденбургом. За Н.Н.Страховым, независимо от его достоинств и недостатков, навсегда останется прочная заслуга в литературе: он один из первых понял, что такое Толстой.

^аП.Бирюков. Цитир. соч., т. II, стр. 170.

^бТам же, т. II, стр. 480.

^вВ.Булгаков. У Л.Н.Толстого, стр. 45, 67, 161 и др.

^гО библиотеке, составленной Толстым и насчитывающей 14 тысяч томов, см. интересные статьи А.Е.Грузинского (Толстовский ежегодник, 1912 г., стр. 133) и В.Ф.Булгакова (Толстовский ежегодник, 1913 г., стр. 67). Поля книг часто испещрены рукой Толстого, что несомненно сделает эту библиотеку богатым материалом для изучения мысли великого писателя.

^д„Я римский гражданин“ (лат.).

достаточно произнести магические слова „научно обосновано“, и перед обаянием грозной силы, имеющей столько известных каждому реальных проявлений, почтительно расступятся недруги. Но на Толстого слова эти не производили ни малейшего впечатления. Его универсально-апархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти.

Причины этого загадочного явления всем известны: по крайней мере Толстой дал очень простое, так сказать, официальное объяснение своей антипатии к науке нашего времени. „Я не только не отрицаю науку, то есть разумную деятельность человеческую, — замечает он, — но я только во имя этой разумной деятельности и выражений ее говорю то, что я говорю“ (XVII, 161). Во имя „истинной науки“ Толстой отрицал „научную науку“ нашего времени. Истинная же наука есть то, что „действительно необходимо людям“. Все это очень просто. Остается только выяснить, действительно ли должно здесь искать настоящую и единственную причину антипатии Толстого к науке. Что-то уж слишком элементарно это соображение, а мысль великого писателя почти всегда далеко не так проста, как она хочет казаться.

Наука, говорит Толстой, должна была бы объяснить пароду, „каким топором, каким топориком выгоднее что рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы, из какой муки, как ставить их, как топить, как строить печи; какая пища, какое питье, какая посуда, какие грибы можно есть и как их удобнее приготовить“ (XVII, 156). Упрек Толстого очевидно несостоятелен: какая посуда лучше, как удобнее приготовить грибы, — это и без науки известно всякой бабе. Да и проблема „полезной“ науки разрешается далеко не так легко. В настоящее время теоретическое знание тесно сплелось с практическим и нет никакой возможности отделить то, что полезно, от того, что только интересно. Размышление инженера Сади Карно о двигательной силе огня приводит к созданию отвлеченнейшего из отвлеченных принципов — второго закона термодинамики. Утилизация этого положения производит переворот в технике, отдельные отрасли которой столь прочно связаны между собой, что изменения парового двигателя не

могут не отразиться на цене, если не на устройстве орудий первой житейской необходимости. Так, общепользные изобретения, как телеграф, телефон, вся современная электротехника, покоятся на чисто теоретических исследованиях Ампера и Фарадея. Лабораторные работы Пастера спасают от гибели виноделие и шелководство, то есть достояние миллионов французских крестьян. В рабочем кабинете Либиха зарождается идея дешевого мясного супа. А сама несчастная медицина? Какими доводами сражается с ней Толстой? „Защитники науки... — говорит он, например, — почему-то полагают, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благотворности науки вообще. Строй нашей жизни таков... что детские болезни, чахотка, сифилис, алкоголизм захватывают все больше и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается от них на приготовления к войне, что каждые десять-двадцать лет миллионы людей истребляются войною, и все это происходит от того, что наука... занимается, с одной стороны, оправданием существующего порядка, а с другой — игрушками“ (XIX, 240). В этом аргументе, несмотря на его кажущуюся простоту, разберешься далеко не сразу: здесь, в сущности, не один аргумент, а целых четыре: 1) медицина не вылечивает всех детей, больных дифтеритом; 2) люди мрут в России не только от дифтерита; 3) наука оправдывает существующий общественный строй; 4) не велика радость, если и вылечишь ребенка: ведь все равно рано или поздно помрет. Первые три аргумента, очевидно, науке не страшны, ибо врачи могут победоносно ответить: сегодня вылечиваем немощных, завтра научимся вылечивать всех, сегодня — от дифтерита, завтра — от других болезней; в этой „плоскости“ спорить с наукой невозможно. Далее, что целый ряд весьма видных ученых пристроился на содержании к владыкам существующего порядка, — это, разумеется, святая истина. Но она так же мало свидетельствует против науки *an und für sich**, как дела Торквемады и Лойлы — против учения Иисуса Христа. Если Вольта

*Самой по себе (нем.).

ответствен за американский электрический стул, тогда надо поставить в вину Гутенбергу публицистику Булгарина и поэзию Баркова. Тогда крестьянин, посеявший леп, из которого сплели веревку для казни Пестеля и Рылеева, виновен в их гибели. Все это так очевидно, что даже несколько совестно противопоставлять Толстому доводы подобного рода: он их знал гораздо лучше, чем кто бы то ни было другой. Это ясно уже из того, что в пужную минуту он умел мастерским движением руки перебросить спор совсем в другую плоскость, ставя вопрос совершенно иначе: „Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка, — говорит он ученым, — ну, а дальше что?“

„Зачем все это? — спрашивал когда-то Толстой у Мопассана, разумея под „всею этим“ красоту и любовь в понимании французского писателя, — ведь это хорошо бы было, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразия. Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — все. А пет се — ничего пет. Нет жизни. Но мало того, что пет жизни в том, в чем казалась жизнь, сам пачишаешь уходить из нее, сам слабеешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни“ (XIX, 227).

Что и говорить, в этом Толстой был слишком прав и его слова звучат особо горькой насмешкой именно в отношении великого французского писателя. К зловещей странице Толстого существует еще более зловещая иллюстрация. Это записки Фрапсуа, верного камердинера Мопассана. Автору „*Bel Ami*“* была уготована участь неизмеримо страшнее обычной. Он сошел в могилу заживо. Он знал, что бесполезно, вопившаяся в него в те минуты наслаждения⁴, о которых говорит Толстой со скорбным презрением состарившегося эллипа, медленными, по верным шагам все-

* „Милый друг“ (Фр.).

⁴Louis Thomas. *La Maladie et la Mort de Maupassant*. Paris, 1912, p. 41.

дет его к скотскому состоянию. Нет ничего страшнее, чем рассказ Фрапсуа о почти 2 января 1892 года, когда Мопассан, стоя над краем бездны, тупым пожом пытался перерезать себе жилы: „Его широко открытые глаза уставились на меня, как бы моля хоть о нескольких словах утешения, надежды“. Но не было ни утешения, ни надежды. На следующее утро богатырь, любимец жепшиц навеки стал паралитиком; вместо гениального писателя был идиот, наводивший бесстыдными речами ужас на близких и чужих людей. Самые скорбные страницы Экклесиаста, Паскаля, Толстого не могут подействовать сильнее, чем короткая, отвратительная в своем бесстрастии фраза медицинского отчета: „Monsieur de Maupassant est en train de s'animaliser“*...

Но и обычная людская участь, участь маленького Ивана Ильича, разумеется, тоже не сладка. Против этого довода, которым так искусно умел пользоваться Толстой, наука совершенно бессильна. Ей не приличествует философия Панглоса или оптимизм à la Альфред Капюс. Наука не возлагает особенных упований ни на жизненный эликсир грядущих алхимиков, ни на мечниковскую простоквашу; она плохо верит в возрождение века Мафусаила и не очень утешительна, когда обещает человеку бессмертие в виде формы энергии или материи: кого может утешить вечность материально-энергетических процессов, тот и без того достаточно спокоен. Да, вылеченный от дифтерита ребенок не уйдет от той участи, которую мрачно развертывал Толстой перед глазами покорных читателей. Да, и гениальный ум „слабеет, тупеет, разлагается“: дряхлеет Ньютон, впадает в старческое слабоумие Фарадей. Да, и гений мысли подвержен бессмысленным случайностям судьбы: в корзину Сапсона падает голова Лавуазье, Пьер Кюри гибнет под колесами ломовой телеги. Да, *sub specie aeterni*¹⁶ наука не нужна, бессмысленна, пелепа. Но с этой точки зрения отнюдь не более прочно все то, что может быть противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный домик, и само толстов-

* „Господин Мопассан превращается в животное“ (фр.).

¹⁶ С точки зрения вечности (лат.).

ство в первую очередь: „Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie“*. Это старая песня.

Но как значителен тот факт, что для преодоления пауки Толстой решился привлечь на помощь „точку зрения вечности“. В его философской системе этот довод — козырный туз, который бьет все, что угодно. А в полемике против науки это вместе с тем единственный козырь. Конечно, Толстой прекрасно видел, что его аргументация о науке истинной и „научной“, о науке полезной и бесполезной не может никого убедить. Если есть наука полезная, то нет ни вредной, ни ненужной, ибо все отрасли знания тесно сплетены одна с другой. Кто берет у науки что-нибудь, должен взять и все остальное. Кто признал „грабли и топорщице“, должен признать и Карно, и Ньютона, и Лавуазье. Все эти аргументы, эти данные дифтеритной статистики, пятьдесят процентов, восемьдесят процентов как-то не идут Толстому. Они будто взяты из арсенала профессоров теологии и церковных проповедников, по вековой практике которых не мешает при случае пристыдить гордыню науки *ad majorem ecclesiae gloriam*† и напомнить, что без молитвы врачи все-таки не спасут. В самом деле, если медицина может вылечить хотя бы одно дитя из тысячи, значит, она не совсем бесполезна. Если дарвинизм только бесполезен, зачем же говорить, что он сверх того — „образец глупости“? Если ученость — синоним тупоумия, то следует ли корить представителей науки безнравственностью, эксплуататорством и т. д. — ведь с дурака нечего взять, на то он и дурак...

II.

Знаменитый физик Герц, изучая электромагнитную теорию света, созданную гением Клерка Максвелла, испытывал такое чувство, будто в математических формулах есть собственная жизнь. „Они умнее нас, — писал Герц, — умнее даже, чем их автор...“ Нечто подобное испытываешь при чтении

* „Меня страшит вечное молчание бесконечного пространства“ (фр.).

† Для вящей славы церкви (лит.).

художественных произведений Толстого. Как он ни умен, как он ни глубок, они, кажется, еще умнее, еще глубже. Эти дивные книги живут самостоятельной жизнью, независимой от того, что в них вложил или желал вложить автор, они не хотят повиноваться его воле с обычным в таких случаях послушанием. И очень часто скользящие в них настроения странным блеском отвечиваются на догматическом здании, которое тридцать лет так упорно воздвигал Л.Н.Толстой.

„Мы не чиновники дипломатические, — говорит Николай Ростов, — а мы солдаты, и больше ничего. Умирать велят нам — так умирать; а коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить... Коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет! Наше дело исполнить свой долг, рубиться и не думать, вот и все“.

Отдавая дань веку просвещения, Толстой здесь слегка подсмеивается (несколько заметнее, чем обыкновенно) над Николаем Ростовым. Однако тенденция „не думать“ имеет не только солдатскую разновидность. Николай Ростов избегает рассуждений потому, что он не дипломатический чиновник; он вполне справедливо находит, что рассуждение противно природе военной службы. Но лорд Байрон, вообще очень отдаленно напоминающий Ростова, шел (разумеется, лишь теоретически) гораздо дальше: если верить ему, рассуждение противно самой природе человека: мысль — „ржавчина жизни“. Байрон сравнивает ее с демоном*.

Толстой в эпоху создания „Войны и мира“ был, в сущности, недалек от байроповского воззрения. Мо-

* „What Exile from himself can flee?
To zones though more and more remote,
Still, still pursues, where'er I be,
The blight of life — the demon Thought“.
(Byron. Childe Harold's Pilgrimage. Canto I.)

„Изгнанник, где бы ни был он,
От мук своих бежать не может;
Везде звучит мой скорбный стон...
И демон дум меня тревожит“.

Д.Байрон „Паломничество Чайльд-Гарольда“. — Пер. с англ.
П.Козлова.

жет быть, он здесь бессознательно следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидя, куда, к каким жертвам приведет его „демон“ Байрона. К этому взгляду так или иначе сводится философия его гигантского творения, философия жизни, гениально изображенной в „Войне и мире“.

Перед нами две семьи: семья Болконских и семья Ростовых. В первой идет напряженная духовная работа. Все Болконские находятся во власти байроновского демона. О князе Андрее нечего и говорить. Старый князь занимается математикой, пишет „ремарки“, изучает плапы кампаний, напряженно следит за политикой. Княжна Марья целиком ушла в религию; у нее нет другой жизни, кроме чисто духовной. Пятнадцатилетний Никулушка как будто сконцентрировал в себе „духовность“ породы Болконских, так раздражавшую Николая Ростова в князе Андрее. Напротив, в семье Ростовых никто никогда не „мыслит“, там даже и думают только время от времени. Граф Илья Андреевич между охотой и картами занят диковиной стерлядью для обеда в Английском клубе. Николай поглощен мыслями о папше Пшездепкой, о тройке саврасых, о повой вепгерке, а всего более о своей службе. У Наташи не выходят из головы, сменяя друг друга, куклы, тапцовщик Дюпор, сольфеджио и пеленка с желтым пятном. Петя интересуется изюмом, воротничками, рейтузами. У Ростовых нет почти другой жизни, кроме материальной.

И что же? Ростовы все счастливы, они блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты. Если их постигают беды, то они носят чисто случайный характер, как, например, разорение. Напротив, Болконские все несчастны. Жизнь старого князя тянется мучительно для него самого и для других. Князь Андрей беспечно живет, тяготясь жизнью, бессмысленно умирает, не пайдя своего дела. Над головой Николеньки в эпилоге пачипают собираться грозные тучи, предвещающие декабрьскую бурю. Правда, княжна Марья наслаждается в конце поэмы безоблачной семейной жизнью. Но ведь па то она перестала быть Болконской; она стала Ростовой... Надо освободить от власти демона, падо соскоблить с жизни ее ржавчину, — вот одно из

невольных значений „Войны и мира“. „Ах, душа моя, — говорит Пьеру князь Андрей накапуне рокового дня Бородинской битвы, — последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. *А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...*“

Одной из многих явных идей „Войны и мира“ был исторический фатализм. Толстой хотел представить Наполеона в образе ребенка, который, теребя тесемки внутри кареты, воображает, что он правит. Великий писатель отводил себе душу на императоре французов. Он, вероятно, уничтожил бы его даже в том случае, если бы исторический фатализм этого не требовал. Может быть, сам исторический фатализм возник в результате стремления во что бы то ни стало уничтожить властелина мира. Наполеон, удесятеренный человек, был пенавистеп Толстому, как воплощенное отрицание всех видов status quo. А поддержание status quo в эпоху „Войны и мира“ входило, как отравляющее начало, в мировоззрение Л.Н.Толстого*. Он и не пропускает ни единого случая, чтобы уязвить революционного императора. Впоследствии Толстой не мог простить Репану, что последний включил в „Vic de Jésus“^{##} „человеческие упижающие реалистические подробности“[^]. Но все отношение Толстого к Наполеону покоится на точно таких же „унижающих реалистических подробностях“. Как настойчиво он подкапывается под пьедестал, на котором высится легендарная бронзовая фигура, как явно умышленно показывает читателю „опухшее, желтое лицо“, „толстую спину“, „обросшую жирную грудь“, „круглый живот“, „жирные ляжки коротких ног“ императора! Где уж тут старинная легенда поэтов, где „столбик с куклою чугушной под шляпой, с

*Нескрываемое стремление жить так, „чтобы мне с семьей было как можно лучше“, составляющее суть ростовщины, по словам Толстого (несколько преувеличивающим истину), наполняло его жизнь в течение 15 лет. В этом нет ничего удивительного или парадоксального с точки зрения психологии великого человека. Гёте развивал в полемике с сеп-симоцистами точно такие же мысли и до конца своих дней оставался им верен, вполне сходясь в данном случае с Николаем Ростовым.

^{##}„Жизнь Иисуса“ (фр.).

[^]Письмо к Н.Н.Страхову от 18 апреля 1878 г. (Толстовский музей, т. II, стр. 164).

пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом“? Толстой снимает с человека судьбы все украшения, вплоть до рубашки и пижмого белья. Наполеон ему отвратителен тем, что властно, насильственно пытается изменить жизнь, которая в своей красоте не переносит грубого вмешательства. Он смешон, потому что считает это изменение возможным. Все величие Кутузова основано на его прямой противоположности Наполеону. Это величие *от противного* заключается в том, что в разгар Бородинского боя Кутузов с аппетитом уписывает жареную курицу, чем — правду сказать, не без основания — раздражает флигель-адъютанта Вольдгогена: „Der alte Herr macht sich ganz bequem“*, — выражается про себя немецкий офицер. Но сочувствие Толстого всегда на стороне Кутузова; „реалистические подробности“, вроде жареной курицы и полной румяной попадьи, не унижают, а возвеличивают образ этого единственного в своем роде генерала. Свою нескрываемую ненависть к Наполеону Толстой переносит даже на его маршалов. Но кроме французского императора и его детищ, никто другой не приносится в жертву философско-исторической теории „Войны и мира“. Действия Александра² почти не рассматриваются Толстым с фаталистической точки зрения. Что же касается людей меньшего удельного веса, то их жизнь, сопротивляясь основной мысли автора „Войны и мира“, ни за что не хочет улесться в ложе толстовской исторической концепции. Рядом с великим Наполеоном, который изображен бестолковой пешкой в мощной руке Распорядителя, выводятся маленькие и крошечные Наполеоны, прекрасно устривающие свои дела без всякого вмешательства потусторонней силы. Вот маленький Наполеон — Борис Друбецкой, который в повелители мира, конечно, не попадет, да и не метит, но генерал-адъютантом и министром станет непременно, причем, пензенские имения его некрасивой супруги Жюли и его собственный природный *savoir vivre*³ окажутся ему много полезнее,

* „Старик устроился очень удобно“ (нем.).

² Весь образ Александра в „Войне и мире“ составлен, впрочем, из чуть заметных, иногда неуловимых намеков. Толстой, конечно, понимал, что расставить точки над *i* значило бы пожертвовать романом.

³ Здесь: правила хорошего тона; дословно: умение жить (фр.).

пежели таиствепные памерепия Распорядителя. А вот крошечный Наполеон — Альфонс Карлович Берг, „помощник начальника штаба помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса“. Он тоже проявит себя в будущем не хуже Бориса Друбецкого, а может быть, и лучше, потому что он гораздо глупее: ведь в ту пору человек не только был „чипом от ума избавлеп“, но и умом — от чипа. Друбецкие и Берги безраздельно владычествуют на протяжении сорокалетнего периода русской истории 1815—1855 гг. Это они расстреливали декабристов на Сенатской площади, они брали штурмом Варшаву, они победили Гергея, они готовили Севастопольский погром; их исторические имена Дибич, Бенкендорф, Уваров, Клейнмихель, Шварц, Орлов, Закревский, Чернышев, Кампенгаузен, Дубельт, — всех не перечтешь. Берги и Друбецкие несомненно делали историю. Но тот Распорядитель, который, по объяснению теоретика „Войны и мира“, двадцать лет для чего-то дергал за веревочки титаническую фигуру Наполеона и судьбы мира, таиственно связанные с пей, уж, копечпо, никак не мог записматься Альфонсом Карловичем Бергом: этому одинаково воспротивились бы и религиозная, и историческая эстетика. Очень трудно представить орудием высших, скрытых от человека целей русских деятелей той эпохи, от Аракчеева до Шервуда-Верного, от Марии Нарышкиной до Настасьи Минкиной.

Другая лицевая идея „Войны и мира“ — пацифизм. Толстой несомненно хотел панести удар Войне и возвеличить Мир. Но это очень трудная задача для художественного произведения. С кровавыми ужасами войны можно и должно бороться краспоречием проповеди, еще лучше простыми дапными статистики. Сухие цифры всегда убедительны, а в данном случае убийственны; известная книга Блоха, быть может, — самое цепное, что пока произвела литературная деятельность пацифистов. Но искусство в борьбе с войной патыкается па трудности, которые тем значительнее, чем больше размер полотна и чем выше талант писателя: Берта Зутнер могла написать недурную книгу против войны; Толстому это не удалось. В войне есть красота, страшная, но несомненная, неотъемлемая, и она должна обпаружиться в

большом художественном произведении. Картины Верещагина „Торжество победителей“ и „На Шипке все спокойно“ превосходны; по они не отнимут красоты и частичной правдивости у картин Ораса Верпе, Мессонье, Делая и других батальных живописцев, имя же им легион. Еще лучше, чем творения Верещагина, те толстовские сцены, где открывается ад походных госпиталей, где шестнадцати лет от роду гибнет милый Петя Ростов, где французы и русские объединяются через цепь в общечеловеческом чувстве приязни, где полуголый французский солдат дарит Платону Каратаеву пухлые ему „подверточки“, где русские люди ухаживают за полузамерзшим капитаном Рамбалем. Но при всем этом эпопея Толстого не проникнута отвращением к войне и уж во всяком случае не внушает его читателям. Напротив, в большинстве военных сцен, вопреки воле автора, война вышла красивой, заманчивой, привлекательной. На Николая Ростова перестрелка действовала как „звуки самой веселой музыки“ (VI, 52); оп звуках пуль был „не в силах удержать улыбку веселья“ (IV, 255); Пьер Безухов, глядя с кургана на Бородинскую битву, „замер от восхищения перед красотой зрелища“ и чувствовал „бессознательно-радостное возбуждение“ (VI, 185, 190); князь Андрей, в мирное время скучавший и хмурый, на войне „имел вид человека, занятого делом приятным и интересным“, „улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее“ (IV, 118), а во время Шенграбепской атаки оп даже „испытывал большое счастье“ (IV, 176); у штабс-ротмистра Кирстена во время боя „глаза блестели больше обыкновенного“ (IV, 137); капитану Тушину по мере нарастания смертельной опасности „становилось все веселее и веселее“ (IV, 182); у полкового командира Шуберта при столкновении с неприятелем лицо было „торжествующим и веселым“ (IV, 139); генерал Вейротер накануне Аустерлица выделялся „оживленностью“, „самонадеянным и гордым видом“ (IV, 247); у императора Александра перед сражением „лицо сияло веселостью и молодостью“ (IV, 242); и даже сам Наполеон, на что уж привычный к битвам человек, выехал на Шлапапичские высоты „здоровый, веселый, свежий“; „на холодном лице его был

тот особый оттенок *самоуверенного, заслуженного счастья*, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика“ (IV, 260)... Это, конечно, все начальство, которое воюет с известным комфортом. Но не менее веселы и солдаты; на каждой страпиге военных сцен своей поэмы Толстой не забывает отметить то веселые лица, то молодцеватый вид, то славный ровный ход, то бойкие шутки, то радостный хохот солдат. Даже животные заражаются общей радостью войны: лошадь Николая Ростова „повеселела, как оп, от выстрелов“ (IV, 255). А как заманчивы описания походной жизни! Как соблазнительно-вкусно закусывают офицеры „пирожками и пастоящим допелькюмелем, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве“! Каким орлом пропосится перед государем Николай Ростов на своем кровном Бедуине! Какую чудесную атаку совершают кавалергарды — „огромные красавцы-люди, в блестящих мундирах, на тысячных лошадях“! (чем это не сюжет для Месопье!) Как забавна в пересказе Билибина проделка французских маршалов с князем Ауэрспергом! Как весело проводят вечер за чаем офицеры в кибитке плепительной Марьи Геприховны! Как по-куперовски романтична поездка Долохова и Пети Ростова в неприяТЕЛЬский стап!.. На каждом шагу поэтическая прелесть войны заслопает от читателя се кровавые ужасы; страшный соблазн художника — впелогичная красота — что ни шаг, то папосит поражение моралисту. В юношеской среде, в которой зачитываются и вечно будут зачитываться гениальной эпопеей Толстого, она, паверное, создаст больше военных, чем пацифистов.

В прелестном рассказе Чехова („Без заглавия“) старик-монах, верпувшись в монастырь из большого города, с заплакапным лицом, с выражением скорби и пегодования рассказывает братии о городском разврате, о пьяпстве, о кутежах, о блудпицах... На следуюшее утро, выйдя из своей кельи, старик застал монастырь пустым: все монахи бежали в город. С пацифизмом Л.Н.Толстого случилось нечто весьма сходное. Но это далеко не едипственпый случай, когда одно пачало натуры великого писателя утверждало нечто противоположное тому, что было существом второго пачала. Художественное творчество Толсто-

го даст сколько угодно примеров его органической двойственности.

Толстой любил, например, особенно в последние годы своей жизни, действовать на читателя „размягчением“, насылая в пухлый момент благодать на людей, прошедших *sic ut sic gigogosum** его психологического анализа. Но гениальное художественное чутье, всегда спасая писателя, редко давало возможность торжествовать моралисту. Благодать исходит на толстовских героев в такие минуты и при таких условиях, что за ней остается сравнительно немного заслуги. Толстой изображал жизнь во всем ее объеме, имел, как художник, дело с людьми всех решительно образцов, — причем в *общем хорошие* люди у него преобладают численно над в *общем дурными*. Но много ли дал он художественных иллюстраций хотя бы к своей излюбленной идее прощения? Алексей Александрович Каренин прощает свою жену, когда находит ее в горячке, дающей девяносто процентов смертного исхода. Князь Андрей прощает Анатоля Курагина, увидев, как он, глядя на только что отрезанную ногу, рыдает в предсмертной агонии. При таких условиях прощение весьма напоминает шутку Гейпе: остроумный поэт уверял, что охотно простит по-христиански всех своих врагов, по только тогда, когда увидит их повешенными. Дело прощения обстоит не лучше в позднейших, „тенденциозных“ произведениях Толстого. В одном из этих произведений тенденция принимает даже характер буквального совпадения с великодушием Гейпе: палач, повесив утром политического преступника, вечером напивается пьяным от угрызений совести. Угрызения совести, конечно, лучше, чем ничего, но политический преступник все же повешен и не велико нравственное удовлетворение читателя от того, что день, начатый работой на эшафоте, заканчивается пьянством в кабаке. Другой пример чисто тенденциозного произведения, где тенденция оказывается весьма неубедительной, мы находим в маленьком рассказе „Нечаянно“, помещенном в посмертном издании сочинений Толстого. Чиповник Миша (автор не называет его фамилии) „нечаянно“ проиграл в

*Строгое испытание (лит.).

карты казенные деньги. Вместо того чтобы чистосердечно повиниться, он, по совету жены, решает отправиться к начальнику Фриму и рассказать ему, что деньги ограблены экспроприаторами. На этом занавес падает, и мы переносимся в другую сцену, происходящую в нижнем этаже того же дома. Шестилетний мальчик Вока „печаяпно“ съел пирожки, которые ему поручили отнести няне, но, в отличие от чиновника, он, по совету своей сестренки Тапечки, сейчас же является с повинной и просит у няни прощения. „И счастливые и веселые были и няня и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю“ (XX, 128). Трогателем здесь не рассказ, а сам автор; трогателем этот 82-летний старик, который во всех человеческих преступлениях одинаково хочет видеть печальную детскую шалость. Но моральная тенденция рассказа — всегда сознавайся в своей ошибке — никого не может удовлетворить, ибо художественная параллель взята совершенно неправильно: если бы чиновник, как Вока, принес повинную в своем „печаяпном“ деле, то вряд ли был бы „счастлив и весел“ пачальник Фрим, а равно трудно думать, чтобы полиция и судьбы „смеялись и умилялись“, слушая эту историю.

III.

В своем роде еще более сомнительна моральная тенденция „Апны Карепиной“. Она выразилась в знаменитом эпиграфе: „Мне отмщение, и Аз воздам“. Загадочный эпиграф! Отмщение очень сурово: для Анны — тяжкие нравственные истязания, позор и смертная казнь; для Вронского почти то же самое; он ведь идет на войну, чтобы врубиться в турецкое каре и погибнуть. Но мщение, облекающееся в форму суда, предполагает существование преступников. Где же они, преступники? Защитительная речь художника не оставила камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом. Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, которые внушает ему „преступная“ Анна*; в некоторых сценах

*Как известно, прообразом героини романа отчасти послужила Толстому старшая дочь А.С.Пушкина.

романа (например, в слепе посещения Карепиной Левиным) он даже не пытается скрыть эти чувства. Вропский ниже Анны па целую голову, но от преступника его отделяет целая пропасть, — пропасть незлобности, равнодушия, богатства и совершенного „*сontre il faut*“*. Он — один из тех людей, к которым применимы решительно все эпитеты с прибавкой двух слов „не очень“: Вропский не очень умел, не очень глуп, не очень зол, не очень добр, не очень образован, не очень невежествен и т.д. Таких людей не отправляют па казнь. Остается третий участник драмы — Карепин. Он, конечно, антипатичен автору, как и читателям. Но ведь жертве-то, во всяком случае, не воздают отмщения.

И за что отмщение? Критик, который, по словам самого Л.Н.Толстого“, лучше всех понял и разъяснил „Анну Карепину“, — М.С.Громека дает следующее толкование моральной идеи, выраженной в эпитафии романа. „Та смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смелы человеческих страстей, которая называется приложением принципа свободы к области чувства любви, — эта quasi-либеральная вера в романе Анны получает смертельную рану. Художник доказал нам, что в этой области нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым, или преступать их и быть несчастным. Нет здесь свободы близоруко и преждевременно торжествующему в наше время свою ложную победу человеческому рассудку, думающему, что он может изменить законы человеческого духа, игнорируя их силу, и преобразовав их согласно своим отвлеченным концепциям. Нельзя разрушить семью, не создав ей пе-

*Приличие (в светском понимании слова) (фр.).

“— Правда ли, что вы не читаете газетных и иных критик на вас? — спросил Толстого Г.С.Русанов.

— Правда... но вот недавно я сделал исключение для одной. Это — статья Громеки в „Русской мысли“. Превосходная статья! Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение.

— В этом я затрудняюсь согласиться с вами. Сам эпитафия к „Анне Карепиной“, мне кажется, указывает на сознательное отношение автора к произведению.

— В известном смысле, пожалуй... Прекраснейшая, прекраснейшая статья! Я в восхищении от нее. Накопец-то объяснена „Анна Карепина“ (Толстовский ежегодник, 1912 г., стр. 56).

счастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья. Нельзя игнорировать общественное мнение вообще, потому что, будь оно даже неверно, оно все же есть неустранимое условие спокойствия и свободы, и открытая с ним война отравит, изъязвит и охладит самое пылкое чувство. Брак все же есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом, сохраняя свободу для деятельности, давая силы для нее и побуждение, создавая чистый детский мир, создавая почву, источник и орудия жизни. Но это чистое семейное начало может создаться лишь на прочном основании истинного чувства. На внешнем расчете оно построено быть не может. И позднее увлечение страстью, как естественное последствие старой лжи, разрушив ее, не исправит тем ничего и приведет лишь к окончательной гибели, потому что... «Мне отпение, и Аз воздам»⁴⁸.

В этом есть немало фактически верного. Для такого человека, как Вропский, общественное мнение бесспорно — неустранимое условие спокойствия (свободу лучше оставить в стороне) и открытая борьба с грозной властью предрассудка должна была, конечно, отразиться на „пылком чувстве“ соавтора Анны Карениной. В той длинной цепи, которая притащила Анну под колеса поезда, общественное мнение является, пожалуй, самым существенным звеном. Вропский не может бороться с ветряными мельницами социальных предрассудков не только потому, что доксихотовский элемент мало свойствен его натуре; но для него акт подобной борьбы был бы равносильен самоубийству: ведь все величие Вропского, позволяющее ему смотреть на большинство людей, как на вещи, сводится к могуществу социальных предрассудков, — и он сознает это, если не умом, то своим безошибочным инстинктом. Однако, неужели же основная идея „Анны Карениной“ действительно верно формулирована Громской? Есть ли вообще в его толковании какая-либо моральная идея? В кратких словах оно сводится к старой поговорке:

⁴⁸ М.С.Громская. Последние произведения гр Л.Н.Толстого. Москва, 1885 г., стр. 61.

не давши слова, крепись, а давши, — держись. Анна дала слово Каренину и не сдержала его. Вронский дал слово Анне и тоже не сдержал или сдержал плохо. За это оба обрекаются на смерть. Я не говорю ни о несоответствии преступления и наказания, ни о множестве смягчающих обстоятельств, — пусть мы находимся в царстве категорического императива в его строжайшей, нечеловеческой форме! Но в суде над героями „Анны Карениной“ отсутствует самое элементарное условие справедливости, без которого суд окончательно превращается в лотерею. Пусть „смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смены человеческих страстей“ клеймится презрительной кличкой „quasi-либеральной веры“. Но равенство всех людей перед могуществом общего закона есть самое элементарное условие самого шаблонного понимания справедливости; это азбука либерализма, к которому никакая ирония, никакая традиционная вера не прилепит пренебрежительной частицы „quasi“. И это условие грубейшим образом нарушено в „Анне Карениной“. „Бесстыдно растянутое, окровавленное“ тело Анны лежит на столе казармы. Но княгиня Бетси Тверская (— „Au fond, c'est la femme la plus dépravée qui existe“. Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа“, — говорит о пей сплеходительная Анна) продолжает устраивать „cosy chat“^а и принимать Тушкевича в своей роскошной гостиной Louis XV. Точно так же Лиза Меркалова и Сафо Штольц, „забросившие чепцы за мельницы“ и своим „новым, совсем новым тоном“ несколько смущающие адюльтерный либерализм самой княгини Тверской, продолжают весело проводить время с Васькой Калужским, Стремовым и тем молодым человеком, при входе которого дамы встают, несмотря на его молодость. Вронский — „как человек, развалина“ и отправляется автором на смерть. Но Стива Облопский, профессиональный грешник, получает место „члена от комиссии соединенного агентства *кредитно-взаимного* баланса *южно-железных* дорог и банковых учреждений“^а и безмятежно наслаждается жизнью.

* „И в самом деле, она была в высшей степени порочной женщиной“ (фр.).

^а „Уютная болтовня“ (англ.).

^а Тоже в своем роде „господин финансов“, — и чина такого нет.

„Есть манера и манера, как забросить чепцы за мельницы, — говорит на своем переводном языке Бетси Тверская, — ...муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это“. Бетси Тверская смотрит на вещи здраво. Желая добра Анне, опытная княгиня осторожно напоминает ей в этом разговоре старые пушкинские слова: свет не карает заблуждений, но тайны требует для них... „Свет! — говорит с презрением Вронский, — какую я могу иметь пужду в свете?“ Правда, Вронский бессознательно говорит неправду. Однако в устах Анны эти слова звучали бы гораздо правдивее. Она готова жить *вне* света, но не может жить *против* него: ведь не одни Картасовы, Стрёмовы, Меркаловы выдумали светские максимы; их Анна могла бы презирать, сделав над собой небольшое усилие. Но во власти тех же максим оказываются и самые лучшие. Кроткая Долли не находит возможным составить семейный круг для Анны, которой она обязана очень многим. Когда Дарья Александровна решается захватить в имение Вронского, она бессознательно чуть-чуть гордится этим, как мужественным подвигом во имя дружбы и христианской любви. И чувствует она себя там, как пажобный Данте в компании грешников ада. О своих детях Долли отвечает Анне „коротко“ и „холодно“, как бы не признавая за последней права даже спрашивать о столь чистых и невинных существах. И не только она, но и представитель парода, кучер Филипп, испытывает в этом неправильном доме такое же смутное чувство пеловкости. „А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна, не знаю, как вам“, — говорит он Долли. Добрая Варя, получившая от Вронского в подарок целое состояние, категорически отказывает ему в его просьбе пригласить в свое общество Анну, хотя, конечно, была бы очень рада приять княгиню Тверскую. И в Варе, и в Долли, и в Кити, как они ни симпатичны Толстому, он заметил, правда, едва-едва заметными штрихами, черты „честных женщин, усталых от своего ре-

месла**". Более того, сам высокопоставленный Левип, презирающий свет, пепавидящий предрассудки, пе пустит к себе Карепипу на порог. Степан Аркадьевич завез его, правда, в дом своей сестры, но Левип дал согласие на этот визит лишь после нескольких бутылок шампанского и, едва выехав из клуба, уже спросил себя, „хорошо ли он делает, что сдет к Аппе“. А затем, когда он совершенно протрезвился и увидел чистую Кити, „сомнения его о том, хорошо или дурно он сделал, посхав к Аппе, были окопчательно разрешены. Он знал теперь, что этого не падо было делать“.

„Всякая жепщипа, у которой есть тридцать тысяч дохода, — порядочная жепщипа“, — сказал Бальзак и своими ципичными словами выразил часть правды-истипы пынешнего общества. Пусть правда-справедливость вносит свой корректив в эти и всевозможные другие ципичные слова. Но ни лицемерие, ни самообман пе могут быть коррективом к ципизму. Где живут припеваючи Облопские и Тверские, там гибель Аппы Карепипой трудно представить актом вышей справедливости. О, мы очень далеки от тех старипных романов, в последней главе которых злодей с криком проклятья на устах уводится полицией в тюрьму, а представитель добродетели получает миллиопное наследство. Но ведь те скромные требования, которые мы предъявляем художнику, мы вправе предъявить и моралисту. Что же мы видим? Берется случай из жизни, лишпий раз подтверждающий старые слова: нет правды на земле! — подвергается гениальной художественпой разработке, а затем к нему белыми нитками пришивается эпиграф, точно специально созданный для правдивного удовлетворения английских клерджимепов#!

За что же отмпение? За пелогичность человеческой природы, пе желающей в порыве страсти считаться с богословами, с моралистами, с communis

* „Я хотела рассказывать Долли и хорошо, что пе рассказала, — лихорадочно-быстро думает Анна в свой последний день. — Как бы они ради были моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых они зивидовила мне. Кити, та еще бы более были ради. Как я ее вижу исквозь!“

! Священник (англ. clergyman). — Прим. ред.

doctogum opinio*? — Анна виновата тем, что не набросила покрыва тайпы на свое заблуждение, — говорят светские моралисты. — Анна нарушила закон, установленный Богом, — говорят моралисты духовные... Но почему же мы обязаны верить тому, что они говорят?

„Неужели они не простят меня, *не поймут, как это все не могло быть иначе?*“ — сказала она (Анна) себе. Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осин с обмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, *как это небо, как эта зелень*“.

„Анна сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: „Боже мой! Боже мой!“ Но ни „Боже“, ни „мой“ не имели для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни“.

Где же закон, установленный Богом? Если религия, *как сам Алексей Александрович*, дает помощь ценой отнятия смысла у жизни, если она не понимает, „что это все не могло быть иначе“, — тогда чем же Божеский закон отличается от формального человеческого закона? Не вправе ли мы сказать, что приговор вынесен Анне точно в мертвом кассационном суде, где дела не рассматриваются по существу? Не вправе ли мы подумать, что мысль, выраженная в эпиграфе романа, больше похожа на злую насмешку, чем на справедливый Божеский приговор?

А сам Алексей Александрович Каренин? Яркость изобразительного гения Толстого так велика, что читателю навеки передалось то чисто физиологическое отвращение, которое чувствовала к своему мужу Анна. Нам противны хрящи его ушей, его тупые

*Общепринятое мнение (лит.).

поги, белые мягкие руки с напухшими жилами, трещание пальцев, его визгливый голос. Когда ровно в двенадцать часов ночи он, вымытый и причесанный, проходит в туфлях в спальню и „особенно улыбаясь“ говорит Анне: „пора, пора“, в нас пробегает судорога легкой физической тошноты... Когда Каренин совершает самоотверженный подвиг прощения, которым очевидно хочет восхищаться Толстой, этот добродетельный чиновник умсет и христианское чувство облечь в канцелярскую форму. „Я должен, — говорит он Вропскому, — вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня... Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в перешителности...“ и так далее... Точно он речь произносит в комиссии об орошении полей Зарайской губернии. Мы даже плохо верим тому, что он несчастлив. После тяжелого объяснения между Карениными, „Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею... Вдруг она услышала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью“. Если Вропский неприятен тем, что в нем на первый план выдвинуто красивое, выхоленное, здоровое человеческое тело, то неизмеримо противнее своей бескровностью Каренин, которому совершенно чужд голос физической страсти. Он — как Петр во „Власти тьмы“, о котором Матрена говорит: „Его вилами ткни, кровь не пойдет“... Встретив у себя в доме любовника жены, „Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел“. Узнав о неверности Анны, он придумал план действия, который Толстой не решился даже развить, ограничившись прозрачным намеком: „Обдумывая *дальнейшие подробности*, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти, как и прежде“. „Он совершенно доволен, — с усмешкой говорит о своем муже Анна. — Это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю“. Нам понятна дружба Каренина с графиней Лидией Ивановной. Последней Толстой дал характеристику, исполненную тончайшего юмора:

„Графиня Лидия Иваповна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушного и распутнейшего весельчака. На втором месяце муж бросил ее и на восторженные ее уверения в пещности отвечал только пасмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли объяснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женой, то всегда относился к пей с неизменной ядовитою пасмешкой, причипу которой пельзя было попятъ...“ Критика давно уже отметила редкое целомудрие художественного творчества Толстого. Но для чего ему скабрзные сцены, когда, не произнося ни одного рискованного звука, он с таким неподражаемым мастерством умеет поднять завесу над чем угодно, вплоть до альковных тайн? Графиня Лидия Иваповна, которая „никогда не могла попятъ того, что приводит женщиц к безправственности“, вся в приведенных мною нескольких строчках, со своей вечной влюбленностью, со своей затаенной жестокостью, со всем своим рыбьим величием замужней старой девы. Нам совершенно попятно, почему она и Алексей Александрович были точно созданы природой для восторженной влюбленной дружбы.

Но и сам Каренин отнюдь не выставлен перед читателем виновником трагедии. Как ни антипатичен Толстому до с трудом подавляемого отвращения этот обманутый муж несчастной жены, как ни запутан его моральный счет с Анной, перед людьми Алексей Александрович не виновен; напротив, люди виноваты перед ним.

„Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвратить от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не от того, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но от того, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат

его, как собаки задушат истерзапную, визжапую от боли собаку. Он знал, что едипственное спасение от людей — скрыть от них свои рапы, и он это бессозпательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту перавную борбю“.

Есть, очевидно, кто-то хуже Алексея Алексапдровича и этот кто-то — „все“, одинаково безжалостные к Анпе и к Карепину. Вот поистине неслыхапная трагедия брака: Анпа виновата перед Богом, Карепп не виноват ни перед кем, а травят их люди, „все“, то есть в отдельности никто. Быть может, оттого так волнуют нас, так хватают за душу некоторые сцены „Анпы Карепиной“, что мы чувствуем бессилие великого писателя, видим, как тщетно он пытается подчинить моральной идее созданный им волшебный мирок; перед нами проходит ряд сцен, которым нет равных в литературе по силе художественного подъема: Анпа на именипах Сережи, Анпа в ложе оперного театра, последние часы Анпы... Перед нами страдание истинное, жгучее, неподдельное, а виновных нет. Срываешь злобу на худой маленькой Картасовой, на старухе Вропской, по это — стрелочники катастрофы... И если сокращенно выразить то, что действительно сказал в своем романе Л.Н.Толстой, мы получим чудовищную формулу: никто из этих людей не виновен и не заслуживает отпщения, но все же некоторым „Аз воздам“...

IV.

Как же однако быть с толкованием Громеки, которое получило высшую санкцию самого автора „Анпы Карепиной“? Заметим, впрочем, что отзыв Л.Н.Толстого не имеет в данном случае большого значения. Толстой никогда не принимал всерьез литературную критику (хотя порою жадно ею зачитывался) и не верил, что она может передать целиком истинное содержание произведения искусства. Для него, как для художника Михайлова, любое меткое соображение критика „было одно из миллионов других соображений, которые все были бы верны“. „Критика, — писал он Страхову, — для меня скучнее

всего, что только есть скучного на свете. В критике искусства все правда, а искусство потому только искусство, что оно все^а. Толстой любезно благодарил за отзывы об „Аппе Карепиной“ и Фета, и Страхова, и Громеку, лестно оценивая критическое дарование каждого из них. Но в его благодарности, как и в его высокой оценке, всегда звучит нота глубокого недоверия и даже иронии — тонкой, незаметной, истинно толстовской иронии: „Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман и что я думаю о ваших суждениях; *разумеется, так*. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, *но не все обязаны понимать так, как вы...* Ваше суждение о моем романе верно, но не на все, то есть все верно, по то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать... *Если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi*^б. Очень, очень благодарю вас^в. Последнее признание особенно ценно.

Впрочем, каков бы ни был авторитет критической оценки Громеки, мы имеем возможность противопоставить ему нечто высшее: через 15 лет после „Аппы Карепиной“ вышла в свет „Крейцерова соната“...

В одном из парижских cabarets^г, где в обмен на серебряный франк полупочному посетителю преподносится рюмка скверного ликера и глубокая философская мысль, можно увидеть следующий любопытный „эффект освещения“. Перед вами стоит живой человек в полном цвете здоровья, силы и красоты. Только вы успели на него посмотреться, как по мановению распорядителя тот же человек превращается в живой труп. Черты его лица почти не изменились, но волосы выпали, зубы искрошились и почернели, тело покрылось гноящимися язвами, в которых копошатся отвратительные черви... Этот фокус приходит мне в память при сопоставлении „Аппы Карепиной“ и „Крейцеровой сонаты“. Такое

^аБирюков. Л.Н.Толстой, т. II, стр. 213.

^бОни знают об этом больше, чем я (фр.).

^вПисьмо к Н.Н.Страхову от 26 апреля 1876 г. „Аппа Карепина“ в ту пору еще не закончилась печатанием.

^гКабачок, кафе, где можно одновременно выпить и посмотреть представление (фр.).

сопоставление напрашивается само собой, благодаря общности остова обоих произведений, что неоднократно отмечалось в критической литературе.

Толстой не очень высоко ценил „Крейцерову сонату“, как художественное произведение. В самом деле, форма ее крайне стеснительна для автора: рассказ всегда дает возможность изобразить по-настоящему только одну фигуру — самого рассказчика. А в данном случае и обстановка рассказа очень искусственна: при случайной встрече в вагоне не описывают своей жизни с таким обилием тончайших психологических деталей. Хотя Толстой умышленно довел здесь до максимума свою обычную небрежность речи и грамматическую беззаботность, все же рассказ Позднышева слишком литературен для разговора. Но эта форма была выбрана не случайно. Всякая другая форма обязывала автора к объективности, а на этот раз Толстой не мог и не желал быть объективным. Если бы зарезанная жена Позднышева встала перед нами не в изображении ее убийцы, а в беспристрастном рисунке самого художника, она оказалась бы несчастной жертвой. Для Позднышева же она — „мерзкая сука“, как музыкант Трухачевский — „дрянной человек“. Замечательна эта паружно-пичиеская черта позднышевского рассказа — то, что убийца, не стесняясь, клеймит зарезанную им женщину. „Добился своего, убил... — вспоминает он со злобой ее предсмертные слова. — И в лице ее сквозь физические страдания и даже близость смерти выразилась та же старая, знакомая мне, холодная животная ненависть. — Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет... О том же, что было главным для меня, — *о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упомянуть*“. Видя свою жертву на смертном одре, убийца думает только о „главном для себя“, — о ее вине. Нужен был весь гений Толстого, чтобы этот штрих позднышевского рассказа остался безнаказанным, — чтоб, повинаясь могучей воле художника, читатель все-таки принял сторону убийцы, обвиняющего жертву. „Крейцера соната“ одна из удивительнейших книг, какие только существуют. Этот монолог, занимающий более пятидесяти страниц, горит и жжет огнем нескрываемой, сосредоточенной

ялости*... Как опытный художник, Толстой время от времени прерывает рассказ Позднышева то пепужным замечанием его собеседника, то появлением кондуктора поезда, желая дать минутный отдых вниманию читателя; по в данном случае прерывы оказываются совершенно бесполезными и скорее вызывают раздражение. Я думаю, что никто никогда не читал „Крейцеровой сонаты“ в два присеста, — и это высшая похвала, которую можно сделать писателю.

Одна из наиболее трудных, даже неразрешимых задач литературной критики заключается в установлении той грани, до которой простирается моральная ответственность художника за мысли и деяния его героев. Стоит автору чуть-чуть приправить свое произведение иронией, презрением или обличительной тенденцией, — и он навсегда заслонен от негодующего красноречия людей, которые больше всего на свете любят предъавлять моральные иски. Между Федором Карамазовым и Федором Достоевским авторское презрение вырыло глубокую пропасть, в которую никто никогда не посмеет бросить хотя бы одну горсть земли. Мы не сделаем Достоевского ответственным ни за Свидригайлова, ни за подпольного человека, что бы ни сообщали Страховы о частной жизни писателя, какую бы мрачную повесть ни говорило нам страшное лицо, изображенное на портрете Перова#. Но безбоязненный Толстой не отделяет себя от Позднышева; он не иронизирует над ревнивым мужем (классическая тема для насмешки), не гнушается безжалостным убийцей (классическая тема для содрогания). В споре Позднышева с миром он без колебания выбирает место за пюпитром прокурора: только за преступление Позднышева обвиняется все

*Необыкновенно выразительно характеризует эту книгу Ром. Роллан: „C'est une œuvre féroce, lâchée contre la société, comme une bête blessée, qui se venge de ce qu'elle a souffert“ „Это дикое произведение, направленное против общества, словно спущенное с цепи раненое животное, которое мстит за свои страдания“ (фр.). — *Пер. ред.* („*Vie de Tolstoï*“, 3-me édition, p. 138).

#Когда какая-нибудь мысль приводила его (Достоевского) в гнев, — рассказывает де Вогюз, лично знавший знаменитого романиста, — то вы бы готовы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье подсудимых в уголовном суде или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрьмы“. („*Le Roman russe*“, p. 270).

человечество, а в качестве соучастника и подстрекателя сама природа, — Deus sive natura*.

Как Слипоза, как Шекспир и гораздо сильнее, чем они, Толстой подчеркивает животный характер ревности. Благодаря этому обстоятельству английские клерджимены и другие высокопоставленные люди получили возможность сузить до чрезвычайности моральный и философский смысл „Крейцеровой сонаты“. В сущности, позиция высокопоставленных людей в отношении этой книги очень точно формулирована „прекрасивой, немолодой курящей дамой в полумужском пальто“, которая, „чуть заметно улыбаясь“, разговаривала о любви с адвокатом, старым купцом и Позднышевым: „Ведь главное — то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь...“ „Вы все говорите про плотскую любовь, — доказывала она Позднышеву. — Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном родстве?“ К этому нечего прибавить. Но ответ дамы, как известно, не удовлетворил Позднышева: „Духовное родство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незначит ли спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе“. Здесь даме оставалось презрительно замолчать, что она и сделала. Высокопоставленные люди последовали ее примеру.

С Позднышевым ничего не поделаешь. Он ищет логики во внелогичном, стало быть, с ним не может быть спора. Но душа у него все-таки есть, точно па зло английским клерджименам, и от позднышевщины очень трудно отделаться ссылкой на природную ненормальность ее посетителя. „Крейцера соната“ тем в особенности поражает, что внешне трагическое в ней появляется лишь в конце, а могло бы и вовсе не появляться. До самой сцены убийства это обыкновение из всех обыкновений историй. И когда под полами Позднышева вдруг открывается бездна, мы не можем отделаться от сознания, что па волоске от той же бездны, па волоске от гибели находится каждый живущий человек.

*Бог или природа (лит.).

„Удивительное дело, — говорит Позднышев, рассказывая историю своей жепитьбы, — какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая жепщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и правдива“.

Это очень точно переданная история идиллии Левина и Кити Щербачевой. Вся разница между обеими идиллиями заключается в том, что Позднышев окончательно влюбился в свою невесту, катаясь с ней на лодке при лунном свете, тогда как Кити и Левин объяснились в любви в гостинице у Степана Аркадьевича. При этом случае Кити, паверное, не говорила гадостей, можно с натяжкой допустить, что она не говорила и глупостей, а так как Кити сверх того была очень красива, то и произошло все то, что полагается по рецепту Позднышева: Левин „вернулся домой в восторге и решил, что она верх правдивного совершенства и что потому-то она достойна быть его жепой, и на другой день сделал предложение“ (только подменяющее пришлое переменить в этой фразе, заимствованной из „Крейцеровой сонаты“).

Оглядываясь на историю своей жепитьбы, Позднышев говорит, что родители его невесты (не без благосклонного содействия ее самой) расставили ему „капка“: „И мое состояние, — говорит он, — и платье хорошо, и катание на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капка. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капкапы... Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жепиха. Боже мой, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно: это видеть занятых этим иногда совершенно молодых бедных певчих девушек. И опять если б это открыто делалось, а то все обман. „Ах, происхождение видов, как интересно! Ах, Лили очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакли, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лили без ума от музыки. А вы почему не разделяете

эти убеждения? А на лодках!..“ А мысль одна: „Возьми, возьми меня! мою Лили! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..“ О, мерзость! ложь!“

„Капкан“ — очень некрасивое слово, которое следовало бы заменить эвфемизмом. Левин никогда не жаловался на то, что его предательски изловили. Мы знаем, впрочем, что Дарья Александровна послала к нему из Ергушова за седлом для Кити и в своей записке несколько замечала: „Надеюсь, что вы привезете его (то есть седло) сами“. Мы знаем также, что Степан Аркадьевич невзначай пригласил к себе Левина на обед, на котором должна была присутствовать Кити, отказавшая ему, Левину, и одумавшаяся после короткого опыта с графом Вронским. На этом обеде „совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьевич посадил Левина и Кити рядом. „Ну, ты хоть сюда сядь, — сказал он Левину“. Левин не протестовал. Впрочем, он даже протестовал. Получив от Долли записку о седле, он разозлился: „Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру!“ и послал седло без всякого ответа. А когда Дарья Александровна очень откровенно заговорила с ним о неудобствах, встречаемых девушкой при выходе замуж, и несколько менее откровенно — о причинах отказа, полученного им от Кити*, Левин совершенно возмутился: „Дарья Александровна, — сказал он, — так выбирают платье или, не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... И повторения быть не может“. — „Ах, гордость и гордость!“ — ответила на это Долли, „как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины“. Толстой так и не объяснил нам тогда, что это за другое чувство.

* „В ней было колебание: вы или Вронский, — объясняет Долли Левину мотивы поступка Кити. — *Его они видели каждый день, вис дивно не видала*“. К сожалению, Степан Аркадьевич не догадался придумать это деликатное объяснение и выпалил перед Левиним другое, несколько менее деликатное: „Если было с ее (Кити) стороны что-нибудь тогда, — говорит он Левину с „хитрым, дипломатическим“ выражением лица, — то это было увлечение внешностью. Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали *не ни нее, и ни мать*“. (Как мы видим, в самом конце чуткий Стива спохватился: „не на нее, а на мать“; мы точно присутствуем при этой сцене.)

Как бы то ни было, как-как не как-как, а что-то такое, напоминающее охоту, было организовано и для уловления Левина. Одним словом он стал женихом, как „все“, как в числе „всех“ и герой „Крейцеровой сонаты“. О времени своего жениховства Позднышев вспоминал со смешанным чувством ужаса и отвращения. Его возмущала даже обычная внешняя сторона этого состояния: „безобразный обычай кофет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах“. Все это было и у Левина. Он также скакал за кофетами, цветами, подарками, обсуждал, хотя неохотно, с княгиней Щербачкой вопросы большого и малого приданого. Но то, что Позднышев находил безобразным и мерзким, Левину представлялось лишь удивительным и чуть-чуть неприятным. „Он удивлялся, как она, эта поэтическая прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, поминать и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т.п... Ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его“. Что касается связи духовной, то о ней Позднышев и говорить не мог без своего полурыдающего звука: „Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была Сизифова работа. Только выдумашь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было“. Все эту не лишнюю, однако, важности сторону „духовного общения“ между Левиным и Кити Толстой обошел загадочным молчанием. Он посвящает десятки страниц детальному описанию того „блаженного сумбура“, который овладел Левиным после объяснения с Кити. Как забавно отражает автор на фоне этого блаженного сумбура едва знакомых Левину людей — Свяжешского, его жепу и свояченицу, секретаря какого-то общества, Егора, игрока Мяскипа, извозчиков, школьников, лаксеев! Но Кити от момента обручения и до самой свадьбы остается совершенно в стороне. О

„духовном общении“ (кроме небольшого эпизода передачи дневников холостой жизни Левина) пет и речи. Точно здесь пропушена кака-то важная глава. Лишь вскользь сообщается, что „Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличивалась“ (кажется, здесь впервые в литературе и в жизни скука и неловкость оказались совместимыми с напряженным счастьем).

Наконец, Левин женился и для него наступил тот „хваленый медовый месяц“, о котором Позднышев и говорить не мог по-человечески, а только „шипел“. „Ведь название-то, однако, какое подлое! — со злобой прошипел он... — Неловко, стыдно, гадко, жалко, и главное — скучно, до невозможности скучно!“ (отношение Толстого к данному виду скуки, как видим, успело перемениться). „Это нечто в роде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюны, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно“. Впрочем, при изображении того, что обычно считается апогеем семейного счастья, Толстой „Аппы Карепиной“, не далеко отстал от Толстого „Крейцеровой сонаты“: „Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и упизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства того нездорового времени...“ Еще шаг дальше: начинаются ссоры. И Левин, и Позднышев ссорятся с женами беспрестанно, без причины, мирятся и снова ссорятся по пустякам. „Ссоры, — рассказывает Позднышев, — начипались из-за таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего“. Равным образом у Левина и Кити „столкновения происходили из таких непопятных, по ничтожности, причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились“. По истечении короткого времени Позднышев заметил, что „женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое“. Левин же весьма скоро стал думать, что быть женатым „хотя и очень радостно, но очень трудно“. Духовного общения, „единства идеалов“, как говорит чуть заметно улыбающаяся

дама, не было и после женитьбы. „Вдвоем, — рассказывает Позднышев, — мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: „какой час? пора спать. Какой пыпче обед? куда ехать? что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши“. Левину же „смутно приходило в голову, что не то, что она сама (Кити) виновата (виновато она ни в чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное“... „Да, кроме интереса к дому (это есть у нее), кроме своего туалета и кроме *broderie anglaise**, у нее нет серьезных интересов... Левин в душе осуждал это“.

Приходит, наконец, черед того, что составляет видимую сущность „Крейцеровой сонаты“ и только на втором плане рисуется в истории жизни Левина и Кити. Но это дело перспективы; по существу же, ревность Левина мало отличается от ревности Позднышева. Ревнуют все люди на одип манер и в любом французском романе ревность очень похожа на то, что с таким загадочным званием дела описал аскет-отшельник Спиноза. У Левина же и Позднышева сходство в проявлениях этого чувства доходит до полного тождества. Когда Трухачевский и жена Позднышева говорили певипные слова, обмениваясь виноватыми взорами, Позднышев, „приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно“. „Я должен был, — рассказывает он, — для того, чтобы не отдался желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогими винами, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женой“. Точно так же Левин в присутствии Васеньки Весловского изображал на лице какую-то „особенную приятность“, старался „рассыпаться с Васенькой в любезностях“. Позднышев „с особенною учтивостью“ провожал Трухачевского до передней („как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!“) и „жал с особенной лаской его белую, мягкую руку“ (этот физический признак, свойственный Карепину, Сперанскому, Трухачевскому, как известно, означал высшую степень аптипа-

* Английские кружева (*фр.*).

тии Толстого). Левин „уже видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства жизни и удовольствия... Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра“. Даже во внешности есть что-то общее между Весловским и Трухачевским. Нарушители чужого семейного „счастья“, Курагины, Вронские, Весловские, Облонские, Трухачевские, при сильных индивидуальных отличиях, имеют какие-то общие черты. Всем им прежде всего свойственно особое, сочное, режущее глаз физическое здоровье, которое способно раздражать не только больных, но и не больных людей. Васенька Весловский был красивый, полный молодой человек, своим необычным аппетитом удивлявший даже Стиву. Трухачевский в описании Позднышева „человек здоровый (помню, как он хрустел хряпом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий“. В Васеньке Левину не нравилось „его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность эlegantности“. Трухачевский был ненавистен Позднышеву своей „внешней эlegantностью“ и тем, что „держал себя развязно, на все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия и понимания“. У Васеньки „длинные ногти“, „шотландская шапочка с лентами“, „зеленая охотничья блуза“. У Трухачевского „прическа последняя, модная“, „ярких цветов галстуки с особенным парижским оттенком“, „бриллиантовые запонки дурного тона“. В обоих случаях антипатия мужей и автора концептрируется на каком-нибудь случайном физическом признаке. У Васеньки заботливо отмечаются „толстые ляжки“ и „поджимание жирной поги“; у Трухачевского — „подрагивающие ляжки“ и „подпрыгивающая, птичья походка“.

Развязка романа, конечно, различна в обоих случаях. В припадке безумного, в сущности ничем не вызванного* бешенства Позднышев убивает свою жену и по чистой случайности оставляет в живых

*В первоначальном варианте „Крейцеровой сонаты“ („Толстовский ежегодник“, 1913 г.) Позднышев убивал жену, застав ее в объятиях любовника. Гениальное художественное чутье подсказало Толстому, что впечатление повести окажется гораздо сильнее, если убитая женщина будет только оставлена в подозрении.

Трухачевского, тогда как Левин только выгоняет из дому Васеньку Весловского к стыду и огорчению Степапа Аркадьевича и княгини Щербацкой. Впрочем, изгоняя несчастного Васеньку, Левин был очень не далек от того, что деликатные французы зовут „жестами“. По крайней мере, так понял его намерения сам Васенька. „Вероятно, вид этих напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов“. Но это не очень важно. В сущности, измена жены Позднышева, предполагаемая или действительная, да и кровавый поступок оскорбленного мужа, имеют в „Крейцеровой сонате“ лишь второстепенное значение. Не в них ужас рассказа и не Трухачевский виновник трагедии. Семейная жизнь Позднышевых — настоящий ад независимо от измены и убийства. Еще до появления Трухачевского жена Позднышева отравлялась, а он сам „был пссколько раз на краю самоубийства“. „Я смотрел ипогда, — рассказывает он, — как она паливала чай, махала погой, подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок“. „Живем мы, — говорит он еще, — как будто в перемирии и нет никаких причин нарушать его; вдруг пачипастся разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: „ну, да это давно известно, всегда так“, „ты сказал...“, „нет, я не говорил“, „стало быть, я лгу!..“ Чувствуется, что вот-вот начнется та страшная ссора, *при которой хочется себя или ее убить*“. Вот драма пострашнее кровавого преступления Позднышева (хотя в литературе я не знаю столь страшного описания убийства). Муж зарезал жену, его судили, оправдали, жена спит в могиле, он философствует на свободе. Были, конечно, в этом ужасные минуты: для Позднышевой — смертельный, животный страх в сцене убийства и последовавшие затем тяжкие страдания; для Позднышева эти минуты прошли довольно благополучно. Убивая, он испытывал „восторг бешенства“ (кто подметил до Толстого этот топ-

кий оттепок чувства, — не „успоение в боу и бездны мрачной на краю“, а восторг бешенства?), затем во время агонии жепы сначала курил папироски, а после заснул и спал два часа. Когда его разбудили, он пошел к жене и там испытал новую радость прощения, то есть это он простил зарезанную жепу. „Подойди, подойди к пей“, — говорила мне сестра. „Да, верно, она хочет покаяться, — подумал я. — Простить? Да, она умирает и можно простить ее“, — думал я, стараясь быть великодушным“.

Страшный час для Позднышева наступил тогда, когда он увидел жепу мертвой: „я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз“. Это угрызения совести? Но с угрызениями совести люди живут долгую жизнь. Они весьма часто являются формой бессознательного человеческого кокетства, которому преступники, чтобы себя поднять, отдают полчаса в неделю. Да и какие угрызения могут быть у Позднышева? Он мучится после убийства, как мучился до него: мучить других и себя — его удел в жизни. Но он отлично знает, что не ему вынесет приговор в „Крейцеровой сонате“ или, во всяком случае, не ему одному; а коллективные приговоры не очень страшны: на миру и моральная смерть красна. Если животпо-человеческий инстинкт Позднышева содрогнулся перед превращением „живого, движущегося, теплого“ существа в „неподвижную, восковую, холодную“ массу, то умом он себя обвиняет не в убийстве: „Да, — говорит он в самом конце рассказа, — если б я знал, что я знаю теперь, так бы совсем другое было. Я бы не женился на ней ни за что... и никак не женился бы“. Он бы не женился. Вот в чем Позднышев видит свое преступление. „В глубине души, — говорит он в другом месте, описывая начало своей семейной жизни, — я с первых же недель почувствовал, что я пропал...“

В „Крейцеровой сонате“ проблема захватывает не только ревность, не только физическую любовь. Знак вопроса поставлен и над тем „духовным“ общением, которое павязано двум людям на всю жизнь, от

которого им нельзя и пскуда уйти: они связаны между собой тяжелой цепью; разорвать ее им мешает случайность закона, деспотизм обычая, сознание долга, привычка или что-нибудь еще. Эти люди, быть может, когда-то любили друг друга, но любовь прошла и механически превратилась в равнодушие, во вражду, в ненависть. Проблема истинной свободы, проблема тютчевского „Silentium!“* занимает в „Крейцеровой сонате“ полускрытое, по огромное место. Где тут элемент случайности, который из тысячи семей поражает только одну? Однако, жизнь миллионами примеров показывает, что финал „Крейцеровой сонаты“ — сравнительно редкое исключение. Ведь Левин счастлив в своей семейной жизни. Левин, конечно, не Позднышев. „Восторг бешенства“ ему знаком, но никогда не доведет его до убийства; Левин эгоист, но не в такой мере; он умен, но не так умен, как Позднышев: у него нет большой аналитической способности, тонкой наблюдательности героя „Крейцеровой сонаты“. Как Левин ни откровенен с самим собой, до позднышевской откровенности ему все же далеко. Зато у него есть нечто такое, чего нет у Позднышева и что весьма удобно в жизни: он умеет жить механически, отдельно от своей умственной и духовной работы. Левин в эпилоге „Анны Карениной“ жадно и страстно ищет религиозного объяснения жизни и в то же время твердо знает, что „нельзя простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер — как ни жалко его, — и падо расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы“ (IX, 301). У Позднышева этого нет. Он не может одновременно ненавидеть свою жену и механически с нею благоденствовать долгий век. Да и долго ли продлится счастье Левина? Кто знает, что ждет его в будущем? Запас опускается над ним очень рано; несколько лет и Позднышев прожил со своей женой. Как мы узнаем из последней части „Анны Карениной“, „счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шпурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться“. Позднышев, напротив, не помышляет о

* „Молчание!“ (лит.). — Название стихотворения Ф.И.Тютчева. — *Прим. ред.*

самоубийстве, зарезав жену: „Я знал, — рассказывает он, — что я не убью себя... Помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже на железной дороге мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. „Зачем я это сделаю?“ — спросил я себя, и ответа не было“. Колодник, только что освободившийся от пепей, не кончает самоубийством, что бы его ни ожидало. Религиозные сомнения, доводившие Левина до запирывания шнурка и ружья, сравнительно с позднышевским сомнением кажутся чистым ребячеством. Но Позднышев — Bösen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen Menschheit* — не кончит самоубийством, несмотря на сомнения, на позор, на суд, на угрызения совести; по крайней мере, до тех пор не кончит, пока не расскажет людям повесть „Крейцеровой сонаты“. Да и после этого он, вероятно, еще долго будет занят, ибо сомнения, как несчастья, ходят батальонами. Позднышеву есть над чем подумать и есть что рассказать. Он уже не свой; он принадлежит демону Байрона. Ему суждено испытать на себе прекрасное изречение Карла Краузе: „Qual des Lebens, — Lust des Denkens“⁴.

Как фокусник парижского cabaret поступает с человеческим телом, так Толстой поступил с человеческой любовью. В цветущем, прекрасном теле и в разлагающемся, безобразном трупе — в идиллии Левина с Кити и в мрачной трагедии Позднышевых мы узнаем одни и те же черты. Пусть Левин разрешит благополучно свои религиозные сомнения и приобретет возможность смотреть со спокойным сердцем на шнурок и заряженное ружье; пусть даже сохранится в нем нежное чувство к матери его сына, — что это докажет? То ли, что у Левина и Кити было „единство идеалов“, которого не доставало Позднышевым? Какие же идеалы у Кити? Если Левин „счастливо“ проживет с ней свой век, то это будет лишь означать, что ему и в дальнейшем не изменила способность механической жизни, независимой от ума и каких бы то ни было исканий. Вообще Толстой чудесно описывал блаженный сумбур влюбленных (эта тема затронута,

*Отдавшийся силам зла и жестокосердия (нем.).

⁴„Муки жизни — радость мышления“ (нем.).

кроме „Анны Карениной“, в „Войне и мире“, в „Семейном счастье“, в „После бала“), но на идиллии библейских патриархов он не любил пробовать свою художественную силу...

„Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux“*, говорил Ларошфуко, имевший опыт в этого рода делах. Но если взглядеться в художественный материал, оставленный по данному вопросу Толстым, то мы увидим, что последний еще пессимистичнее, чем счастливый любовник четырех очаровательнейших женщин XVII века. У Толстого и хороших браков нет, не говоря уже о чудесных. У него чудесным оказывается только начало, а продолжение либо трагично, как в „Крейцеровой сонате“, в „Дьяволе“, во „Власти тьмы“, либо тоскливо и нудно до умопомешательства, как в истории Ивапа Ильича, либо вовсе нет продолжения, а есть длинная серия новых начал без концов, как у Облонских, Курагиных, Тверских и т.д. Счастливы в своей семейной жизни бывают у Толстого только очень ограниченные люди, вроде Ильи и Николая Ростовых, вроде Альфонса Карловича Берга. Быть может, единственным исключением оказывается в своем втором браке Пьер Безухов, которому Толстой дает в удел Наташу Ростову, самый поэтический и пленительный из созданных им женских образов. Да и то идиллия Пьера и Наташи в эпилоге застилается мало поэтической пленкой с желтым пятном. О том же, что бы случилось, если б Наташа вышла замуж за князя Андрея, которого трудно себе представить „песмеющим“, как Пьер, уезжать, расходовать деньги, обедать вне дома без согласия жены и т.д., нельзя и подумать без страха. Это наверное был бы ад.

Анне Карениной отмщение воздавалось за то, что она сорвала с себя цепи брака. Позднышевым оно воздается за то, что они надели на себя эти цепи. Но не одно человеческое учреждение привлечено Толстым к ответу. Позднышевщина гораздо больше, чем явление социального порядка. Она — вне пространства#, а может быть, и вне времени. В нем сделан

* „Случаются хорошие браки, но совсем не бывает превосходных“ (Фр.).

Недаром из всех произведений Толстого „Крейцера соната“ имела на Западе самый шумный успех.

вызов институтам природы, вечным, бессмысленным, неизменным. „Естественно есть, — говорит Позднышев, — и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неспорченная, я убедился, всегда ненавидит это...“ В „Послесловии“ к „Крейцеровой сонате“ Толстой усиленно пытался придать своей книге характер, менее явно враждебный природе. Напрасные старания. Да и все „Послесловие“ слабо, неубедительно. Его мысль тоже — „одно из миллионов соображений, которые все были бы верны“, и даже меньше этого. Стоит сопоставить „Крейцерову сонату“ и „Послесловие“, чтобы с необыкновенной ясностью почувствовать то, что Герц чувствовал, изучая формулы Максвелла: в художественном произведении есть самостоятельная жизнь и не во власти автора ограничить смысл удивительной книги проповедью добрачного целомудрия. А дальше этого моралист „Послесловия“ идет очень неохотно, сопровождая каждый шаг оговорками. „...Вместо того, чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, — говорит Толстой, — гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка, не говорю уже духовной, но материальной пищи“. Здесь софизм очевиден, и нам ясно, что в своем крайнем выводе эта теория должна привести либо к старой платоно-репановской шутке, где кучка совершенных мудрецов управляет миллионами людей, живущих в полускотском состоянии (то есть к тому, что более всего другого было всегда ненавистно Толстому), либо к дурному, нескрепленному варианту этой утопии — к католицизму клерикальных доктринеров, либо, наконец, к уничтожению человеческого рода. Но философ не мог согласиться на этот последний вывод, который составляет плохо затаенную суть позднышевщины. Между героем „Крейцеровой сонаты“ и моралистом „Послесловия“ — глубокая пропасть: первый безнадежно бьется головой о глухую стену неизменного; второй заслоняет эту стену от чужих и своих собственных глаз тощим кодексом английского клерджимена.

V.

Тому, кто поставил себе задачей критику установлений природы, разумеется, не грозит недостаток тем. В „Крейцеровой сонате“ Толстой гневно остановился перед началом человеческой жизни; ее концом он занимался гораздо больше. Вот небольшая и не претендующая на полноту коллекция материалов, взятая по этому вопросу в книгах Л.Н.Толстого.

Смерть от удара (граф Кирилл Безухов, Николай Андреевич Болконский). Смерть от чахотки (Николай Левин, барыня в „Трех смертях“). Смерть от родов (княгиня Болконская). Смерть от ушиба (Иван Ильич). Смерть от жары (арестант в „Воскресении“). Смерть от холода (Василий Брехунов). Самоубийство посредством выстрела (Нехлюдов в „Записках маркера“). Самоубийство посредством повешения (Межсенецкий). Самоубийство под колесами поезда (Анна Каренина). Убийство в рукопашной схватке (Хаджи-Мурат). Убийство в сражении (Болконский, Курагин и др.). Убийство судом Линча (Верещагин). Расстрел (пленные русские в „Воине и мире“). Виселица (Светлогуб, Лозинский и Розовский в „Воскресении“). Задушение (ребенок во „Власти тьмы“). Отравление (купец Смельков). Смерть лошади (Холстомер). Смерть дерева („Три смерти“). Смерть цветка (вступление к „Хаджи-Мурату“).

Одни герои Толстого умирают без сознания, как граф Безухов, или не успевши ахнуть, как Петя Ростов. Эти счастливицы, разумеется, в счет не идут. Другие, большинство, умирают тяжело, в физической муке, без нравственного примирения.

Князю Анатолю Курагину „несколько человек фельдшеров навалились па грудь и держали его. Белая, большая, полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен и дрожал — что делали над другой красной ногой этого человека... „Покажите мне!.. Ооооо! о! ооооо!“ — слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданияю стон...“ Николай Левин перед смертью, по собственным словам, „страдал ужасно, невыносимо“; мучения положили такую печать па его

лицо, что, войдя в его комнату, Константин Левин думал: „Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай“... Старый князь Болконский три недели „лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное — это то, что он страдал“. Картина смерти нисколько не изменяется, когда мы спускаемся от этих взрослых людей вниз по лестнице сознательной жизни. Ребенок, которого Никита, по словам Матрены, „в блин расплющил“, также не хочет умирать, как Анатолий Курагин, и выражает свою инстинктивную жажду жизни пронзительным писком, потрясающим душу Никиты. Куст „татарина“ столь же упорно борется со смертью, как Хаджи-Мурат. Мудрость Толстого проникает в скрытые глубины жизни и отыскивает сознание там, где мы видим лишь слепой процесс неодолимых химических сил.

Для чего же собран этот огромный художественный материал, которому равного по богатству не дал ни один писатель мира? Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был бы создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений всеми богатствами своей сокровищницы. Толстой-моралист не обмолвился ни единым звуком ни о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка. Художник провел их через свою лабораторию, пылливо вглядываясь в умирающих, точно верный завету Кювье: *potteg, classer, décrire**. Описана красная нога Анатоля, с грамофонной точностью переданы его „ooo!“ и „oooo!“; сфотографированы легкие барыни и прорезанный бок Позднышевой, — больше не дается ничего. Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо. Но идейный корабль не вполне надежен, если таит в себе такую брешь. Ее необходимо было заткнуть, чтобы оправдать все толстовство, и для этой цели предназначалась „Смерть Ивана Ильича“.

Толстой приложил много усилий к тому, чтобы сделать героя своей повести возможно более безличным. Иван Ильич (даже имя выбрано самое баналь-

* Назвать, классифицировать, описать (*фр.*).

ное) — добрый отец семейства, порядочный муж, хороший товарищ, исполнительный чиновник, а в общем — никто. Все, что с ним происходит в жизни, — самое банальное, что только может произойти с человеком. Он учится и служит как большинство, то есть скорее хорошо, чем дурно; затем женится и воспитывает детей тоже как большинство, то есть скорее дурно, чем хорошо. Заболевает он какой-то неопределенной болезнью не в ранней молодости и не в глубокой старости, а на пятом десятке. Он долго мучится, много лечится, не раз переходит от надежды к отчаянию и обратно, наконец причащается и умирает. Вот и весь сказ... Иртенев, Нехлюдов, Безухов, Болконский, Левин, Позднышев — выдающиеся люди, и судьба их, во всяком случае, не совсем обычная. В „Смерти Ивана Ильича“ Толстой единственный раз в жизни изобразил совершенно банальным главное действующее лицо. Разумеется, это сделано было умышленно. Банальность видимого героя повести оттеняет величие ее истинного героя: в „Смерти Ивана Ильича“ дело не в Иване Ильиче, а в Смерти. Толстой хотел одним ударом, на самом общем случае, раз навсегда разрешить основную проблему человеческого существования.

В этом решительном сражении естественно вернулся во всю колоссальный талант великого русского писателя. Он хотел изобразить умирание возможно более страшным, и это удалось ему в совершенстве. Нельзя сильнее передать ужас и одиночество человека перед лицом ожидающей его смерти. Иван Ильич видит, что его „ближним“ нет до него никакого дела. Жена и дочь, сами этого не замечая, с грустными лицами разыгрывают над умирающим (как позже над трупом) утонченную, привычную комедию скорби; ближайшие друзья, вздыхая, отправляются играть в винт из дома, пораженного смертью; доктор, „свежий, бодрый, жирный, веселый“, входит к больному и „Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: „как делишки?“, по что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: „как вы провели ночь?“... Nos semblables ne nous aideront pas, on mourra seul“*, своим зловещим, „успокоительным“

* „Нам не помогут наши ближние, мы умрем в одиночестве“ (фр.).

тоном говорил „безбожникам“ Паскаль. „Смерть Ивана Ильича“ — гениальная художественная иллюстрация к этим страшным словам. Иллюстрация, пожалуй, не нова: когда умирал Николай Левин, все (то есть брат его, любовница, свояченица) „одного только желали, чтоб он как можно скорее умер, и все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга“. Держа в своей руке руку умирающего брата, Левин „вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора... Ему захотелось есть и спать“. Только прежде обо всем этом говорилось вскользь несколькими строчками, и за смерть брата Левин, а с ним и читатель, сейчас же получал компенсацию в виде беременности Кити. Иван Ильич, как Позднышев, только расставил точки на многозначительных и прежних произведениях Л.Н.Толстого. Он никого не винит или, по крайней мере, не хочет никого винить: он знает, что все это не может быть иначе, что живые не могут понять мертвых, а умирающие — живых. Он только спрашивает себя: „Зачем, за что весь этот ужас?“

Толстой-моралист принял на себя обязанность ответить на вопрос Ивана Ильича. Его цель ведь заключалась в том, чтобы сначала напугать людей, а потом примирить их со смертью. Первая часть задачи удалась ему слишком хорошо: Толстой умел пугать, когда хотел. „Смерть Ивана Ильича“ вряд ли не самое общечеловеческое произведение всего современного искусства*. Ромел Роллан рассказывает, что ему приходилось слышать, как мирные обыватели французской провинции, стоящие очень далеко от искусства и почти ничего не читающие, отзывались о „Смерти Ивана Ильича“ с глубоким волнением (avec une émotion concentrée). Волшебной силой искусства гениальный русский граф и простые люди другого народа объединились в общем настроении, „заразились“, как любил говорить Толстой, общей лихорад-

*Рескин перечисляет где-то ряд книг, которые необходимы нам всем (some books which we all need). В этот список английский мыслитель, кстати сказать, включал Геродота и поэта Спенсера! Каждая строчка Л.Н.Толстого должна была бы по справедливости занять место в таком списке.

кой томительного, смертельного страха. Но для чего же так напугал французских обывателей автор „Смерти Ивана Ильича“?

Толстой обещает за страхом успокоение. Ведь его повесть, как трагическая поэма Иова, имеет свой всем известный happy end. Гениальный архитектор одним движением руки перебросил мост между ужасной мукой Ивана Ильича и его безнравственной жизнью. Стоит ему раскаяться в безнравственной жизни и „то, что томило его и не выходило... вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон“, и смерти нет — „вместо смерти был свет“, и даже боль перестает быть болью. „Ну что ж, пускай боль“, — говорит Иван Ильич, который до раскаяния три дня, не умолкая, кричал так, „что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его“. Я понимаю, что тут художник смело хочет проникнуть в тайны загадочного психофизического явления. Я готов даже *верить* в возможность гениальной интуиции Толстого. В эту таинственную дверь нас пускают по одипочке и каждый человек производит только один опыт, о котором другие не узнают. Признаюсь однако, что божественная природа толстовского гения для меня больше, чем обычная литературная метафора. Я готов верить, что этот человек мог постигнуть внесытное, он мог угадать то, что людям знать не дано. Но если интуиция художника оказывается как пельзя более подходящей к его излюбленной моральной идее и даже для нее необходимой, я инстинктивно начинаю сомневаться. А если, опираясь на интуицию, философ хочет перебросить мост там, где перебросить его запрещают факты и логика, — то уж не может быть сомнений: ясно, что и мост, и уверенно ходящий на нем моралист должны оборваться *per inane profundum**.

Ивану Ильичу мешала спокойно умереть несознанная им безнравственность его жизни, вернее даже не безнравственность, а отсутствие истинного религиозного миропонимания, то есть толстовского христианства. Да мало ли что мешает человеку встретить спокойно смерть, и — обратно — мало ли что дает ему на это силы? Тот же Ларошфуко, по сравнению с грехами которого грехи безнравственного Ива-

*В глубокую пропасть (лит.).

на Ильича вызывают невольную улыбку*, умер с философским спокойствием, достойным святейшего из святых отшельников. „Je ne crains guère de choses, et ne crains aucunement la mort“^а, — говорит он в своем автопортрете и рассказ о его смерти, оставленный г-жей Севинье, свидетельствует о том, что прославленный скептик не преувеличивал своей нравственной силы. Религия самоотречения в данном случае отнюдь не обязательна. Эпикур, которого не любил Толстой, считавший его по шаблону чем-то вроде Стивы Облонского или даже Санина^б, умер не только *красиво*, но *хорошо* с точки зрения толстовского христианства, хотя принципы последнего, как известно, не входили в программу эллинского мудреца. А Эпикура вдобавок терзали страдания, не уступавшие мукам Ивана Ильича^в. Да что Ларошфуко, Эпикур! — мысль ведь сама по себе есть религия, — обыкновенный душегуб, с помоста гильотины спокойно советовавший толпе: *n'avouez jamais*^г, безыдейные бандиты, вроде Бонно и Гарнье, перед лицом смерти сплошь и рядом обнаруживают совершенное бесстрашие, до которого весьма далеко многим веру-

*Je ne saurai plus que faire quand je ne ferai plus de mal“, („Чем же я буду заниматься, когда перестану причинять зло“ (*Фр.*). — *Пер. ред.*) — писал Ларошфуко в 1652 г.

^а„Я ничего не боюсь и совершенно не боюсь смерти“ (*Фр.*).

^бКакому-то гимназисту, излагавшему перед Львом Николаевичем идеи романа г. Арцыбашева, Толстой (впрочем, не читавший тогда еще „Санина“), нимало не задумываясь, ответил: „Наверное, Эпикур это гораздо лучше выражал...“ (Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 170).

^вОб этом свидетельствует его знаменитое прощальное письмо: „Эпикур Эрмарху привет. Я пишу тебе в счастливый день, — последний день моей жизни. Меня томит такое мучение, которого не может увеличить ничто. Но, борясь со страданиями тела, я провожу в уме радостное воспоминание о моих открытиях. Ты же, чтобы лишний раз показать свою давнюю любовь ко мне и к философии, возьми на себя заботу о детях нашего друга Метродора“. — „Он умер, — говорит Гюйо, — улыбаясь, как Сократ, но с той разницей, что последний лелеял прекрасную мечту о бессмертии и, отвернувшись глазами от жизни, видел в смерти лишь выздоровление. Эпикур же скончался, вперив лицо в существование, которое он покидал, собирая в памяти всю свою жизнь и противопоставляя ее близящейся смерти. В его мысли как бы запечатлелся последний образ прошлого; он смотрел на него с благодарностью, без сожаления, без надежды. Потом все сразу исчезло, — прошлое, настоящее, будущее, — и он почил в вечном уничтожении“. (M. Guyau. La Morale d'Épicure. 4-me édition, p. 120)

^гНикогда не сознавайтесь (*Фр.*).

ющим людям. Мы не можем проникнуть в тайны того, что составляет природу первичной силы, и не имеем никакого права подставлять под этот икс наши этические схемы, как бы они ни казались нам убедительными. А толстовская схема вдобавок не только не убедительна, она непонятна.

Иван Ильич, как Иов, в последний момент спасается чудесной силой веры. Но Иову за веру дается награда в этом мире в форме тех же осязательных материальных благ, которых зачем-то лишила его таинственная воля Иеговы. Иван Ильич в здешнем мире не получает никакой награды, а о мире потустороннем Толстой говорил мало и неохотно. „О загробной жизни, — замечает он, впрочем, весьма определенно, — мы знаем то, что она существует“. Это очень утешительно. Но дальше такого утверждения Толстой не пошел: его инстинкт реалиста, конечно, исключал возможность конкретных образов Данте. Мне представляется, что в „Смерти Ивана Ильича“ Толстой, как философ, долго идет по стопам Паскаля (перед которым он всегда преклонялся), но растается с ним в самый важный момент. Образ, которым глубоко проникся Толстой: „мы все приговорены к смерти и наша казнь только отсрочена“ — был заимствован Амиемом у Паскаля. Да и вся повесть Ивана Ильича вплоть до момента его раскаяния, это гениальное запугивание смертью, отдаст Паскалем за версту. Только форма другая: вместо вихря пламенного красноречия, вместо потока образов, исполненных мрачной поэзии, вместо потрясающих сопоставлений, которые с таким необычайным мастерством умел пускать в ход Паскаль, Толстой просто правдиво рисует картину человеческого умирания. Одно стоит другого, и я не берусь сказать, что страшнее. Но в Паскале гораздо больше сказывается опытный ловец душ, проповедник, одержимый зудом прозелитизма. Толстой пишет главным образом для самого себя; Паскаль — почти исключительно для других. Толстой — сама искренность в каждом своем слове; Паскаль весьма часто различает цель и средства: вечно воюя с иезуитами, он кое-чему у них научился. В одном месте своей бессмертной книги (которая, как известно, появилась в свет после его кончины и была подготовлена к печати не им) он замечает очень

откровенно: „надо всегда иметь заднюю мысль (une pensée de derrière) и по ней судить обо всем, говоря, однако, как люди (comme le peuple)“. Эту заднюю мысль мы постоянно и чувствуем. Желая папугать безбожников, зараженных монтепевским ядом (ведь с Монтенем автор „Мыслей“ сражается на каждой странице, хотя редко его называет), Паскаль не оставался в выборе средств пугания. Он грозит „безбожникам“ тем, что их неверие не сыщет им уважения „светских людей, которые здраво судят о вещах и знают, что единственный способ достигнуть успеха (réussir) это быть (в подлиннике осторожнее: paraître) честным, верным, справедливым, услужливым в отношении друзей“. Вот типичный образчик того, как Паскаль говорит „comme le peuple“. Он сам в эпоху „Мыслей“ так мало интересовался светскими людьми (les personnes du monde) и их уважением, что для него этот аргумент не мог иметь ни малейшей цены или скорее говорил в пользу противоположного взгляда*. Он к тому же отлично знал, что быть „честным, верным, справедливым“ не единственная способ для достижения успеха в жизни. Когда прославленный английский философ пространно развивает ту тему, что чистильщик сапог может быть джептльменом, по человеку, совершивший неблаговидный поступок, не джептльмен, мы несколько не удивляемся. Правда, мы отлично знаем, что философ имел в виду то самое фешепбельное общество, в котором не только нельзя быть джептльменом, занимаясь чистой сапог, но нельзя остаться им, явившись на званый обед в пиджаке вместо припрятого костюма, — и, напротив, отлично можно быть джептльменом, торгуя опиумом, спекулируя на *Lena Goldfields*^в и замучивая негров на колониальных плантациях. Но мы также давно знаем, что для английского философа принцип Honesty — best policy^д, проникнутый чисто британской смесью паивности с застарелым cant'ом^в

* „Il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde qu'enfin le monde le quitta“ („Он так настойчиво утверждал, что хочет оставить этот свет, что наконец свет его оставил“ (фр.). — *Пер. ред.*), — рассказывает о своем брате г-жа Перье. „*Vie de Blaise Pascal*“.

^вАкции Ленских приисков. — *Прим. ред.*

^дЧестность — лучшая политика (англ.).

^вCant — лицемерие, ханжество (англ.).

и тщетно сторонящийся от своего естественного русского дополнения „не пойман — не вор“, выражает, кроме категории должного, категорию сущего. Однако для Паскаля не может быть фикции светского джентльменства; в его устах рассуждение, „как пробить себе дорогу в свет“, звучит нестерпимым диссонансом.

Задняя мысль всей книги Паскаля заключалась в том, чтобы „пагнуть автомат, который увлекает ум без размышления“ („incliner l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense“). На этой задней мысли покоятся все догматические религии, да и толстовству она, в сущности, не совсем чужда. Но все же автор „Критики догматического богословия“ не решился бы скрепить своим именем религию автомата. Знаменитый довод, которым „раз навсегда“ должен проникнуться автомат, — паскалевское „пари“, — вряд ли бы поправился Толстому; и уж совершенно ему чужды не менее знаменитые выводы из этого аргумента: „Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin; vous voulez vous guérir de l'infidélité, et vous en demandez les remèdes: apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parlent maintenant tout leur bien; ce sont les gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre, et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé; c'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire les messes, etc. *Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira.* — Mais c'est ce que je crains. — Et pourquoi? qu'avez-vous à perdre?“* Эта идея неотделима от Па-

* „Вы хотите прийти к вере, но не знаете, каким путем; хотите излечиться от неверия и просите лекарства: спросите у тех, кто был скован, как вы, а теперь готов prospérer все свое состояние; этим людям известен путь, которым вы хотели бы пойти, они уже излечились от той болезни, которой вы хотели бы избежать. Начните по их примеру; поступайте так, как если бы верили, пейте святую воду, посещайте службу и т.д. *Естественно, что даже это заставит вас поверить и сделает вас глупцом.* — Но именно этого я и боюсь. — Ну почему же? Что вы теряете?“ (фр.). — *Пер. ред.*) Известно, что первые издатели „Мыслей“ явсенсты Port Royal'я, скандализованные этой двусмысленной фразой („cela vous abêtira vol“), предпочли выпустить ее из своего издания. Она была разыскана Кузеном в знаменитом манускрипте № 9202 Национальной библиотеки и появление ее в печати подлило масла в огонь полемики по вопросу о вере или неверия Паскаля. (*Продолжение сноски см. на стр. 81.*)

скаля, что бы ни говорили набожные люди, которым очень хочется сделать из автора „Мыслей“ второй экземпляр Боссюэ или, еще лучше, предтечу Поля Бурже. Но для Толстого данное наставление означает то, на борьбу с чем он потратил тридцать последних лет своей жизни. Здесь он вынужден решительно порвать с Паскалем. Однако, взамен идеи пари он не дает ничего.*

Автор книги Иова щедро дарит своему герою в награду за веру 140 лет жизни, 10 душ детей, 14 тысяч овец и 6 тысяч верблюдов, тысячу пар быков и тысячу ослиц. Это, может быть, грубо, но вполне понятно. Паскаль останавливается на полпути: промучив читателя зрелищем грозящей ему казни, он становится мягче и начинает говорить о бессмертии. Последнее, правда, не гарантировано, но оно так вероятно, что всякий разумный человек должен держать пари, благо он ничего не теряет. Конечно, можно предложить Паскалю вопрос, который он сам ставит в другом месте своей книги по совершенно иному поводу: „Est-il probable que la probabilité assure?“⁴ Конечно, можно сказать, что и при беспроигрышном пари исход из этого мира, где многим живется недурно, есть все же насильственное изгнание: Паскаль не имеет власти помиловать человечество; в лучшем случае он заменяет ему казнь вечной ссылкой. Но это все-таки — что-нибудь. Толстой и этого не обещает. Он говорит: „Любовь есть отрицание смерти, любовь — жизнь, любовь — Бог, и смерть означает возвращение частицы любви — моего я, к ее вечному и всеобщему источнику“. Но это превышает способность нашего понимания. Человек страдал, человек умер. Частица любви вернулась к веч-

* (Начало сноски см. на стр. 80.) Этим вопросом занимался ряд самых выдающихся писателей Франции. Называю только часть его огромной литературы: P. Bayle. Nouvelles de la République des lettres. Œuvres diverses (La Haye 1737), t. I; Voltaire, Remarques sur les „Pensées“ de Pascal. Œuvres (édit. Beuchot), vol. 37 et 50; Diderot. Pensées philosophiques. Oeuvres complètes (Paris 1875), vol. I; Chateaubriand. Génie du christianisme, III, 26. Œuvres (Paris 1831), vol. 5; V. Cousin. Histoire générale de la philosophie, 10-me édition и друг. раб.; Sainte-Beuve. Port-Royal, vol. III; Anatole France. La vie littéraire, vol. IV; Nourrisson. Défense de Pascal. Paris 1888; E. Boutroux. Pascal. 4-me édition; Droz. Le scepticisme de Pascal; V. Giraud. Blaise Pascal. Paris, 1910.

* „Вероятно ли, чтобы вероятность убеждала?“ (Фр.)

ному источнику. Смерть могла бы быть безболезненной, умирающий мог бы и не прозреть, как прозрел Иван Ильич, — что бы это изменило? Частица любви вернулась бы туда же. Но если так, если моралист не может нам предложить ничего лучше возвращения частицы любви к вечному, всеобщему источнику, то напрасно художник рисовал такую страшную картину. Не всякий скажет: „какая радость!“ с несчастным Иваном Ильичом, безжалостно припесенным в жертву непонятной для нас идее; не всякий умиляется перед *la gentilezza del morir**, открывающейся у двери гроба, и напрасно говорил Толстой каждой строчкой своей повести: придите ко мне вы, спокойные и довольные, — я расстрою вас.

Такие призывы бывают полезны, когда речь идет о том, что находится во власти рук человеческих. Но в противном случае мы говорим с недоумением: „Что и жалеть, коли нечем помочь“. А тем более — „что и пугать“... Люди живут *in hac lacrimarum valle*^а не потому, что им очень весело, приятно или спокойно. А просто — торопиться некуда, умереть не поздно никогда: все успеем налезаться в червивой могиле. К тому же не всякого удастся запугать. Например, Вольтер, который терпеть не мог Паскаля, стоя одной ногой в могиле, отвечал на его запугивания следующей забавной тирадой:

„Я приезжаю из провинции в Париж, меня проводят в прекрасный зал, где тысяча двести человек слушают очаровательную музыку. Затем общество, разделившись на небольшие группы, отправляется ужинать, а после очень хорошего ужина не совсем неприятно проводит ночь. В этом городе в чести искусство, хорошо вознаграждаются отталкивающие ремесла, очень облегчены болезни, предупреждены несчастные случаи. Все наслаждаются жизнью, надеются наслаждаться, работают, чтобы наслаждаться позже, — последняя доля отнюдь не самая плохая. Видя все это, я говорю Паскалю: „Мой великий человек, да вы с ума сошли!“^а.

*Любезность смерти (*итал.*).

^аВ этой долине слез (*лат.*).

^аVoltaire. Dernières remarques sur les „Pensées“ de Pascal (1778). Œuvres, vol. 50, p. 375.

35-летний „счастливец“ Левин (так называет его Степан Аркадьевич) почью с ужасом вematривается в зеркало, с волнеписм производит смотр седым волосам, зубам, мускулам, хотя оп, быть может, и не читал никогда Паскаля. 82-летний Вольтер, прочтя о „людях, приговоренных к смертной казни“, об „узниках, закованных в цепи“, преспокойно перепоситесь мыслью к очень хорошим ужиспам и приятно проведенным ночам. Здесь обычное затруднение впелогичного: кроме инстинктивного „с одной стороны“, есть инстинктивное „с другой стороны“, и копечно, пропорция обеих „сторон“ каждым человеком находится самостоятельно, в зависимости от тысячи самых различных обстоятельств порядка внешнего и особенно внутреннего. Прокаженный нищий Иов — оптимист; царь Соломон, утопавший в славе и богатстве, имевший семьсот жеп и триста паложниц, — пессимист. Эти два типа людей не только не понимают, но глубоко презирают друг друга. Вольтер совершенно серьезно считал Паскаля сумасшедшим и даже придумал для его душевной болезни объяснение полумедицинского характера*. Толстой о Тютчеве (впрочем, не принадлежавшем к чисто вольтеровскому типу людей) говорил, не задумываясь, следующее: „Когда старик Тютчев, у которого песок... сыплется, влюбляется и описывает это в стихах, то это только отвратительно!.. Это как сегодня был у меня посетитель: говорит о религии, о Боге, а я вижу, что ему водки выпить хочется...“#. Здесь логике печего делать, так как перед нами больше, чем спор двух мировоззрений: точно говорят существа, отличные друг от друга по природе. И невольно в памяти встает изречение современного мыслителя: „Qu'est ce qu'une doctrine, sinon la traduction verbale d'une physiologie?“^Δ.

VI.

От „Смерти Ивана Ильича“^Δ переход к „Хаджи-Мурату“ кажется несколько странным. Между этими

*Voltaire. Lettre à M. S'Gravesande. Œuvres, vol. 54, p. 350.

[#]В. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого, стр. 133.

^Δ „Что есть теория, как не словесное выражение физиологии?“
(Фр.)

двумя произведениями, которые разделены десятилетним промежутком времени, пропасть еще глубже, чем между „Анной Карениной“ и „Крейцеровой сонатой“. Толстой создал поэму жизни после поэмы смерти! Он писал „Хаджи-Мурата“ очень долго. Черновой список повести закончен 14 августа 1896 года, по, как свидетельствуют выдержки из дневника Льва Николаевича, приводимые в издании графини А. Л. Толстой, автор думал и работал над этим своим произведением в 1897, 1898, 1901, 1902, 1903 и 1904 году. Так долго Толстой не вынашивал ни „Войны и мира“, ни „Анны Карениной“; а между тем вся повесть занимает менее десяти печатных листов. В конце концов Толстой так-таки бросил „Хаджи-Мурата“, который, как известно, появился лишь в посмертном издании. Легко понять эти мучительные колебания великого писателя. Логическая концепция „Хаджи-Мурата“ совершенно не вязалась с толстовским учением, а, напротив, решительно шла с ним вразрез; при всем желании Толстой не мог подогнать эту прекрасную поэму ни под один из своих любимых моральных догматов. Я говорю: при всем желании. В своем дневнике (от 4 апреля 1897 года) Лев Николаевич пишет: „Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман“. Приходится заключить, что главного Толстой не сделал: обмана веры в его повести нет, потому что и веры, в сущности, нет никакой. Хаджи-Мурат до последней минуты строго придерживается религиозных обрядов, аккуратно прочитывает молитвы и совершает намаз. Но если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то он, конечно, не имеет никакой религии. Хаджи-Мурат — не более религиозная натура, чем Лукашка в „Казаках“ или Долохов в „Войне и мире“.

„Как он был бы хорош, если бы не этот обман“. Чем же он был бы хорош? Признаюсь, мне чрезвычайно трудно представить себе Хаджи-Мурата толстовцем или заметить в нем хотя бы зачатки идей религиозного самоотречения. Это Наполеон, перенесенный в обстановку, где людям легче и естественнее быть Наполеонами, где для этого не нужно шагать ни через будуар Жозефины, ни через подготовительную

кухню 18 брюмера*. Если употребить известное сравнение Тэна, Хаджи-Мурат — чистый кондотьер, и, как кондотьер, он, быть может, даже типичнее Наполеона, благо существует некоторая разница между аулами Кавказа и парижскими дворцами. Какова бы ни была настоящая натура Бонапарта, условия места и времени связывают его по рукам и ногам. Он должен отпустить каламбуры госпоже Сталь, говорить исторические фразы, спорить о геометрии с Монжем, кокетничать с Шатобрианом и Гёте. Хаджи-Мурату это совершенно не нужно. Шашка и темперамент одни сделают его цезарем дюжины чеченских аулов. Он верен себе в своей свирепости и в своей детской улыбке, в наивно-хитрой дипломатии и в традиционной верности кунакам. Основное и доминирующее его свойство — неукротимая энергия, что автор подчеркнул красивым образом вступления. Хаджи-Мурат, как куст татарина, отстаивает жизнь до последнего вздоха. Можно, конечно, думать о том, „как бы он был хорош“, если б эта неукротимая энергия ушла не наружу, на вражду к Ахмет-ханам и Шамилям, а обратилась внутрь, на борьбу со страстями и с грехом. Но тогда Хаджи-Мурат не был бы Хаджи-Муратом. Всякие мечтания на тему о том, что в другое время, в другой среде, в других условиях жизни такой-то человек был бы совсем, совсем другим, не далеко ушли от польской поговорки: „Если бы у тети были усы, так был бы дядя“. Мы не можем себе представить Печорина народным учителем или Андрея Болконского земским врачом и не имеем никакой возможности решать вопрос, что Печорины станут делать в то время, когда им пельзя будет быть Печоринами...

Хаджи-Мурат неотделим от той поэтической обстановки, в которой вывел его Толстой. Стоит мысленно применить к нему наши европейские критерии, и мы принуждены будем осыпать его бранью.

*Перед государственным переворотом Наполеон одновременно вел тайные переговоры со своими „товарищами“ по заговору, с якобинцами, с приверженцами Лафайета, с агентами Бурбонов, одним словом, с кем угодно. „Самые различные партии, — рассказывает Альберт Вандаль, — возлагали на него надежды... а он всеми ими пользовался и всех обманывал ради пользы Франции и собственного честолюбия; и это колоссальное недоразумение... как волна, несло его к власти“.

Он — политический ренегат, многократный изменник, он, если угодно, даже провокатор. Любопытно, что европейский критерий приложил к нему сам Толстой, задолго до того, как стал писать свою повесть, и даже раньше, чем вступил на путь литературной деятельности. Это было в 1851 году. Лев Николаевич в письме сообщал своему брату: „Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а *сделал подлость*“. Если, читая поэму Толстого, мы не только не чувствуем отвращения к подлости, а, напротив, любимся необузданным героем Чечни, то это лишь означает, что Толстой — гениальный исторический романист и распоряжается симпатиями читателя как хочет, легко перенося его в атмосферу каких угодно этических понятий. Впрочем, раза два на протяжении повести автор нерешительно отмечает в Хаджи-Мурате такие черты, которые и с точки зрения толстовства составляют моральный плюс. Так, например, на вечере у князя Воронцова, где „молодые и не совсем молодые жепщипы в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и груди, кружились в объятиях мужчип“, Хаджи-Мурат испытывал чувство, близкое к отвращению. В данном случае кавказский джигит оказывается, по-видимому, единомышленником Позднышева; по, разумеется, только по-видимому. С точки зрения „Крейцеровой сонаты“, восточное узаконенное многоженство не хуже, но и не лучше, чем европейское многоженство, черпающее силу в обычном праве; гарем не имеет больших преимуществ перед веселым домом.

В сущности, единственное, чем Толстой закономерно восхищается в Хаджи-Мурате, это его простота, первобытные и близкие к природе условия его обычной жизни, особенно подчеркнутые сопоставлением с роскошной праздной жизнью князей Воронцовых и петербургской придворной знати. Здесь Толстой лишний раз развил свою любимую тему, использованную в „Казаках“, в „Анне Карениной“, в „Воскресении“, в „Плодах просвещения“. Однако, простота у Хаджи-Мурата далеко не та, что у какого-нибудь

старца Акима, который занимается чисткой ям и о котором жена его Матрена говорит: „Приехал намени, так блевала, блевала... тьфу!“ Когда Хаджи-Мурат во главе своей свиты въезжает в русскую крепость, „на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии“, он менее всего похож на старца Акима или на опростившегося русского интеллигента из толстовцев. Когда он входит в приемную наместника князя Воронцова, на него обращаются все глаза. Да и есть на что посмотреть: „Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску, на коричневом, с топким серебряным галуном на воротнике бешмете. На погах его были черные ноговицы и такие же чевяки, как перчатки обтягивающие ступни; на голове — папаха с чалмой... Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая всех присутствующих“. Одним словом — хоть картину с него пиши. У этого чеченца тот естественный воинский „шик“, под который старательно и тщетно подделывались и Печориц, и Dolochoff le Persan*, и Кавказский пленник.

В „Хаджи-Мурате“ Толстой безуспешно борется с основной трудностью своего учения, — с проблемой *естественного* состояния человеческого рода. В. Г. Короленко совершенно правильно заметил, что зыскуемый град Толстого — простая, обыкповенная русская деревня, где только все любили бы друг друга². Но в этом непреодолимая трудность доктрины великого писателя. Его социально-экономический идеал весь позади; это — пройденная человечеством ступень, к которой возврат невозможен. Его нравственный идеал бесконечно далеко впереди, и один Бог знает, суждено ли осуществить его биологическому виду, называемому homo sapiens.

Ж.-Ж. Руссо, проповедовавший возвращение к первобытным формам жизни, в смысле знания человеческих отношений — ребенок по сравнению с Л. Н. Толстым. Руссо мог верить в моральное совершенство первобытного человека, которого он никогда не видал. Недаром же так едко космелся над этой стороной его учения Наполеон. Великий завоеватель

*Долохов-перс (*фр.*).

²В. Г. Короленко. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. I, стр. 309.

говорил, что египетская экспедиция выбила из него последние остатки культа Руссо: там он воочию убедился, что первобытный человек недалеко ушел от скота. Толстой в данном случае должен занять срединную позицию. В споре великого утописта с великим практиком он принужден оставаться нейтральным. Лев Николаевич жил среди первобытных людей; он любил кровной любовью все первобытное — бедную великорусскую избу, убогий шалаш башкира, стан кавказского казака, дымный аул чеченца. Но идейной любви быть не могло; Толстой отлично видел, что не здесь надо искать нравственный идеал человечества. В „Хаджи-Мурате“ он не склонен идеализировать быт первобытных горцев в ущерб исторической истине. Как, например, ни мрачно описано в „Воскресении“ современное уголовное „право“ цивилизованных народов, это дитя противостественного сочетания насилия с моралью, своеобразное судопроизводство горцев оставляет его далеко за собой. На заседании суда Шамиля, картину которого мы находим в XIX главе „Хаджи-Мурата“, „двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство“; а сыну Хаджи-Мурата, красавцу Юсуфу, Шамиль за измену отца пригрозил выколоть глаза, так что несчастный юноша тут же хотел покончить с собой. Простота оказывается хуже воровства и читателю несколько неожиданно приходится пожалеть о жрецах столичного правосудия, которые невинную Маслову осудили все-таки лишь на четыре года каторжных работ. По сравнению с шестью стариками Шамилева совета кажутся весьма безобидными они все: и внушительный председатель с бакенбардами, непременно желавший поскорее окончить дело, чтобы поспеть к рыженькой Кларе Васильевне, и сердитый член суда, оставленный женой без обеда, и прокурор Вреде, который, проведя ночь в доме разврата, на утро так хорошо говорил, грациозно извиваясь тонкой талией, о жгучих лучах печального явления разложения и о доверчивом богатыре Садко — Феропонте Смелькове, — загипнотизированном Масловой при помощи таинственного свойства, в последнее время исследованного наукой, в особенности школой Шарко.

Да что правосудие! Вся жизнь Хаджи-Муратов есть отрицание толстовских принципов: здесь нет непротивления злу насиллием; здесь люди одинаково противятся добру и злу, почти их не различая, и не знают другой формы противления, кроме простого физического насилия. Здесь все бессознательно принесено в жертву честолюбию и неукротимой жажде жизни; религия служит покровом, который каждый тянет к себе, который в конце концов попадает в руки сильнейшего. Одним словом, это подлинная жизнь — не подрумяненная, не завитая парикмахерами английского толка. Вся ее философия выражена в любимой песне Хаджи-Мурата, которую „необыкновенно отчетливо и выразительно“ пел его брат Ханефи:

„Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо“.

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Но Хаджи-Мурат — толстовец — должен сказать обратное:

— Дурной песня, глупый песня.

„Лучше умереть во вражде с русскими, — провозглашает Шамиль, — чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским“. Здесь что ни слово, то острый нож в самое сердце доктрины Толстого. Не он ли призывал людей не противиться воле насильников? Не его ли детища обращались к грабителям с прес-

ловутой просьбой: „Коли вам, сердешны, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем“ (XVI, 74)... Читая „Хаджи-Мурата“, мы не можем отделаться от мысли, будто старые, давно похороненные элементы постепенно воскресают в вечном юном сердце Толстого. Яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа. Это своеобразная поэзия. Это не классический Восток Шахерзады, Гёте, Лермонтова, Виктора Гюго, исполненный неги, сладострастия и философской лени. В кавказском Востоке, отраженном поэзией Толстого, эти элементы сочетаются со свойствами светлоголового хищника, тревожившего северную фантазию Фридриха Ницше. Здесь Сардапал сочетался с Наполеоном, и художник не чувствует в себе силы преодолеть это странное сочетание, как повелевает ему долг моралиста. Здесь, как в „Войне и мире“, как в „Казаках“, вопреки воле автора, появилась наружу бодрящая поэзия войны и суровой боевой жизни... „По всей линии цепи, — описывает Толстой стычку русских с чеченцами, — послышался непрерывный, *веселый, бодрящий* треск ружей, сопровождаемый *красиво* расходившимися дымками. Солдаты, *радуясь* развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали *задор*...“ и т.д. Здесь даже „прелесть семейной ласки любимейшей из жен Шамиля, 18-летней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет“ является в старых толстовских тонах, точно художник позабыл на минуту мрачное обличие Позднышева. Великий писатель снова во власти чар внелогичной красоты, и бесцветная проповедь старца Акима заглохла в мощных звуках свободной песни Хаджи-Мурата. Книга эта точно написана назло биографам и комментаторам.

VII.

Перед нами поистине загадочное явление.

Толстому были даны природой глаза, которым равных по остроте не имеет в настоящее время ни один другой человек, быть может, не имел никто и прежде. Этот избранник судьбы мог видеть все — и

напрягал силы к тому, чтобы свести до минимума горизонт своего зрения. Ни один другой мыслитель не был так глубоко, как Толстой, убежден, что в огромном здании жизни под мысль отведена лишь одна небольшая комната, что жизнь не укладывается целиком ни в какие логические и моральные догмы, что она полна явлений, недоступных пониманию человека, стало быть не имеющих вовсе смысла, — если отречься от банальных, ничего не значащих фраз старой богословской метафизики*. И вместе с тем никто другой в современной философии не приложил столько усилий, чтобы подчинить жизнь логике, чтобы заслонить внелогичное от себя и от других, чтобы втиснуть бытие человека в рамки простейших прописных начал. Ведь толстовство — крайняя ступень рационализма, дальше которой, пожалуй, некуда идти. Читая догматические произведения Толстого, мы испытываем иллюзию необыкновенной ясности и простоты. Как стройно выводятся всевозможные „упряжки“, посвященные спуску, общению с людьми, умственному, физическому труду, как математически ясно определено, что нужно делать и чего не нужно делать! Пункт первый... пункт второй... пункт третий... Кажется, никогда христианская доктрина не излагалась в такой, почти бюрократической форме. „В чем моя вера“ — своего рода свод законов* наизушку написанный анархистом.

Не в этом ли коренном дуализме следует искать истинную причину антипатии Толстого к науке? Настоящий грех последней не в том, что она „паучья“, а не „истинная“; Толстой ненавидит ее не за то, что она вместо ушата и топорика, занимается лейкоцитами и Млечным Путем. Он ненавидит ее почти мистической ненавистью, не отдающей себе ясного от-

*Последнего вывода Толстой однако не делал. Напротив, он мог сказать, как самую естественную вещь, следующее: „Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — кто-то эту жизнь всего мира и нашими жизнями делает *свое какое-то дело*. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас требуют“ („Исповедь“). Сначала — исполнять, а понять можно потом!

*Невольно является мысль: может быть, известное изречение Воветарга: *seus qui craignent les hommes aiment les lois* (законы любит тот, кто боится людей (фр.). — Пер. ред.) — относятся не только к писанному, но и к моральному закону.

чета. Наука означает для Толстого строй мысли, страдающий неизлечимой слепотой. Она ведь игнорирует внесогическое или просто его не замечает. И свою бессознательную слепоту хочет выдать за высшую степень зоркости, осмеливается навязывать себя людям, которые вечно видят перед собой то, о чем она не подозревает! Все творчество Толстого, не только догматическое, но и художественное (и второе гораздо больше, чем первое), заключает в себе скрытый вызов науке. Что-то она ответит на „Смерть Ивана Ильича“? как отделается от воинственной песни Хаджи-Мурата? чем она сокрушит Позднышева? Науке ответить нечего. Верная завету великого провидца, она отыскивает „маленькую правду“ и не заботится о „большой лжи“*. Для большинства ученых внесогическое есть нелогическое (то есть ложь), хотя из вежливости они носят удобный и достойный костюм позитивизма... Вильгельм Оствальд говорит, что в нем первое чтение „Крейцеровой сонаты“ вызвало некоторую тревогу; но затем, подумав над тезисами книги, знаменитый ученый скоро успокоился. Это очень характерно. „Крейцера соната“ вызвала в Оствальде то же чувство, которое она вызывает в нас всех, — смутный безотчетный страх перед грозным призраком внесогического. Но, разумеется, идеи „Послесловия“ ни на минуту не могли затруднить такого логика, как Оствальд. Он прочел „Послесловие“, проверил его и себя и с радостью убедился, что может ответить Толстому по всем пунктам, не делая вдобавок большого усилия мысли: десятки пасторов до Толстого выступали с проповедью добрачного целомудрия, десятки врачей и социологов отвечали им „с одной стороны“ и „с другой стороны“. Какую бы сторону ни выбрать, ответ Толстому готов. Беда лишь в том, что „Послесловие“ не выражает одной сотой сказапного в „Крейцеровой сонате“. Оно даже выражает нечто совсем другое. „Формулы Максвелла гораздо глубже, чем Максвелл“. На „Послесловие“ легко ответить, Позднышеву ответить невозможно.

В этом смысле Толстой остается победителем в своем споре с наукой, что бы ни говорили самодовольно Петцольдты насчет „eine gewisse

* „E meglio la piccola certezza che la grande bugia“ (Leonardo da Vinci. Frammenti e pensieri).

Verkümmerung des logischen Bestandes“* у автора „Крейперовой сонаты“. Но победа Толстого — Пиррова победа. Разбивая науку, он разбил и самого себя. Наука ничего не может ответить Анне Карениной, Позднышеву, Ивану Ильичу. Но и Толстой ничего не может им ответить. Он на внелогичное дает рационалистические ответы, которые ничуть не более ценны, чем великолепное молчание науки. К тому же все эти ответы пахотятся в вопиющем противоречии один с другим. В „Анне Карениной“ дана апология брака; в „Крейперовой сонате“ брак смешан с грязью#. „Смерть Ивана Ильича“ призывает людей жить по-божески, чтобы спокойно умереть. „Хаджи-Мурат“ показывает, что жизнь хороша, даже если не жить по-божески; а умирает Хаджи-Мурат, во всяком случае, и легче, и красивее, чем раскаявшийся Иван Ильич... Эти противоречия неустранимы, потому что они — противоречия самой жизни. Их можно не изгладить, конечно, а прикрыть ярлыком скептического миропонимания. Но Толстой слишком ясно чувствовал, что скептицизм так же легко разбивается о жизнь, как любая положительная догма.

Гюйо говорит в „L'art au point de vue sociologique“^Δ, что некоторые из образов, созданных фантазией великих художников слова, (как Альцест, Гамлет, Вертер) одновременно являются реальными и символическими, чему, по его мнению, они обязаны своей неумирующей славой. Толстой мало заботился о символике в своих художественных произведениях. Из Стивы Облонского, Кити, Николая Ростова или адъютанта Дубкова, конечно, никакого символа не выкроишь. Тем не менее некоторые фигуры, созданные Толстым, вполне удовлетворяют требованию Гюйо. Я бы отнес сюда Каратаева и Нехлюдова. Об-

* „Ослабление логического мышления“ (нем.).

^ΔКак мучительно путался в этом вопросе Толстой, видно хотя бы из непосланного письма его к Н. Н. Страхову от 19 марта 1870 г. Защищая брак против „пустобрехов“, Лев Николаевич дошел здесь до апологии проституции, которую отстаивал доводами вроде следующих: „Эти несчастные (Магдалины) всегда были и есть и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так“ или „то, что этот род женщин нужен, нам доказывает то, что мы выписали их из Европы“. (Толстовский музей, т. II, стр. 10).

^Δ„Искусство с социологической точки зрения“ (фр.).

разы эти в данном случае меня интересуют потому, что символизируют именно те начала, о которых выше шла речь. Они, впрочем, и сами по себе напрашиваются на сопоставление, так как взаимно исключают друг друга. Один — сама удовлетворенность, другой — воплощенное искание. Один весь — радость жизни, другой весь — недовольство. Один купается во внелогичном, как сыр в масле, другой хочет весь мир втиснуть в формы логического мышления. Это тоже своего рода Ормазд и Ахриман, только *jenseits des Gute und Böse**, и любитель абстракций мог бы изобразить всю жизнь Толстого как борьбу этих двух начал.

Каратаев — не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглосом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до вольтеровской сатиры только один шаг. „Час терпеть, а век жить“, — говорит Платон Каратаев. Когда же он „живет“ и что он называет — „терпеть“? Запертый французами в балаган из обгорелых досок, он, сидя на соломе, радуется: „Живем тут, слава Богу, обиды нет“. Рассказывая Пьеру, „как его секли, судили и отдали в солдаты“, он „изменяющимся от улыбки голосом“ добавляет: „Что ж, соколик, думали горе, ах радость!“. Глядя на пожар Москвы, философски утешается: „Червь капусту гложет, а сам прежде того пропадает“. Да ведь и капуста „пропадает“? Но Каратаев оптимист и на чужой счет. В знаменитом рассказе он передает ужасную историю, которая в своем роде стоит повести Ивана Карамазова о затравленном ребенке, по лицо его блаженно сияет „особенно радостным блеском“. Чему он радуется? Тому ли, что певинному купцу вырвали ноздри „как следует по порядку“? Тому ли, что объявился настоящий виновник, которому за минуту умиления, за принесенное сознание, вероятно, тоже по порядку вырвут ноздри? Тому ли, что „пока списали, послали бумагу, как следует“,

*По ту сторону добра и зла (нем.).

невинный купец отдал Богу душу? Что скрывается в глубине этого таинственного явления? Для Каратаева, как для всего русского народа, преступник и несчастный — одно и то же. Но еще вопрос, как создалась эта ассоциация понятий: видит ли Каратаев несчастье в преступлении или преступление в несчастье? Его веками воспитанное смирение тесно сплелось с культом поддерживающей *status quo* физической силы; но оно, по-видимому, исчезает, как дым, в дни общественных потрясений. Велика объединяющая сила косности ста пятидесяти миллионов Каратаевых, но стоит пробежать искру и вспыхивает „русский бунт, бессмысленный и беспощадный“. Бессмысленное смирение, бессмысленный бунт... Да и для чего Каратаеву смысл? Он живет вне логики и не знает, что такое логика. Он способен любоваться чем-то в несправедливости, но борьба с ней не ведется в нормальное время с его понятиями о благообразии. Он видит „порядок“ в вырванных поздрах купца, но та деятельность, которой в эпилоге „Войны и мира“ отдается Пьер Безухов, по признанию самого Пьера, не нашла бы одобрения Каратаева. В нормальное время для него все действительно разумно, а он сам бессознательный русский гегельянец 40-х годов. Я боюсь даже, что он и в толстовстве не найдет своего любимого благообразия, по крайней мере, до тех пор, пока толстовство не завоюет мира. Каратаевщина — большое личное счастье и огромное социальное зло. И если Толстой порою видел в ней высшую мудрость жизни, то посетитель этой мудрости, русский Пангос в сермяге, не заплатит той же монетой великому рыцарю духа.

Нехлюдов, общий Нехлюдов многочисленных произведений Толстого, тот, что сердится в „Люцерне“ и умиляется в „Утре помещика“, кончает самоубийством в „Записках маркера“ и воскресает в „Воскресении“, не несет в себе ни национального, ни религиозного начала. Он не русский: в нем голос рассудка заглушает голос крови; и не из той он породы русских отрицателей родины, которые всего ближе России в те моменты, когда они ее отрицают как Кириллов, „gentilhomme-séminariste russe et citoyen du monde civilisé“*. Нехлюдов принадлежит к другой по-

* „Русский дворянин-семинарист и гражданин мира“ (Фр.).

роде космополитов. Тихо де Браге на угрозу изгнанием гордо ответил: мое отечество всюду, где видны звезды. Родина Нехлюдова всюду, где человек может стремиться к правде и грызть самого себя при ее вечном ускальзывании. Если для Каратаева Наполеон и декабристы — непорядок, то для Нехлюдова демократический деспот Франции и аристократические революционеры России — слишком „порядок“, слишком *terre à terre**. Нехлюдов не христианин: для него христианство — временное *dada*“, как для Вронского постройка сельской больницы. Воскресший Нехлюдов несет в потепциальном состоянии новые падения и новые воскресения, несет в себе длинный ряд самых различных возможностей. Легко допустить, что он кончит самоубийством; ведь заставил же его однажды Толстой застрелиться после случайного и довольно невинного „падения“. Нет ничего невозможного и в том, что, вернувшись из Сибири, Нехлюдов соединится узами законного брака с какой-нибудь Мисси Корчагиной, — не сразу, конечно, а годика через два-три, причем брак этот легко может закончиться так, как идиллия „Крейцеровой сопаты“ (по, вероятнее всего, без убийства, — семейным адом без кинжала и крови). Можно, наконец, предположить, что Нехлюдов займется рано или поздно деятельностью общественной, как Кознышев или Крыльцов, и скорее как Крыльцов, чем как Кознышев. Только одной возможности я никак не могу представить себе для Нехлюдова: перманентную святость. Эта последняя у Толстого облекается либо в форму святости мнимой, — святошества, как у коротконогой „пиетистки“, госпожи Шталь, либо в форму прозаической святости, черпающей силу в особенностях природного темперамента, как у Сони „Войны и мира“, либо, наконец, в форму святости трагической, пример которой долгое время являет отец Сергей; но для последней, кроме личных особенностей, необходимо экстремное и случайное обстоятельство, которого не было в истории жизни Нехлюдова. Святость же перманентная, святость любимцев Достоевского, Толстому никогда не удавалась; он предпочитал разъяснять ее сущность в своих право-

*Будничный, приземленный (*фр.*).

“Ковёк (*фр.*).

учительных рассказах, о которых можно сказать, перефразируя слова Паскаля: „On s'attendait de voir un auteur, et on ne trouve qu'un homme“*. И потому занавес опускается над Нехлюдовым в самый момент духовного воскресения.

Характерный для Каратаева эпизод, относящийся к последнему году жизни Льва Николаевича, мы находим в воспоминаниях В. Г. Черткова. Толстому случилось в Кочетах вести философский спор со стариком-скопцом, который провел в ссылке более 30 лет. Скопец, неожиданно оказавшийся искусным диалектиком, поставил Льва Николаевича в весьма затруднительное положение:

„Л. Н. Нужно прилагать усилие, чтобы воздерживаться от полового общения, в этой борьбе с соблазнами задача жизни.

Н. (скопек). Для простого человека, Ваше Сиятельство, ежели он здоровый, это невозможно. Вот духоборы, с которыми мы много виделись в Сибири, говорили, что решили воздерживаться, жить целомудренно. Мы им говорили — вы это говорите теперь, а посмотрим, что будет, когда вы дойдете до Якутска. И что же, через год мы их опять видели, и много у них люлек и младенцев!

Л. Н. Нужно стремиться. Совершенным быть нельзя, но стремиться можно.

Н. Ваше Сиятельство, позвольте вам сказать?

Л. Н. Пожалуйста, пожалуйста, говорите.

Н. Ваше Сиятельство, ведь нужно соблюдать целомудрие, не так ли?

Л. Н. Разумеется, пужно, разумеется.

Н. (Спокойно, убежденно и безапелляционно, как нечто совершенно очевидное). В таком случае скажите, Ваше Сиятельство, на что?.. Для чего?.. Не лучше ли освободиться?..

Л. Н. (улыбнувшись). Да, на это трудно ответить вам (после того Л. Н. несколько раз вспоминал этот аргумент скопца и сознавался, что был им озадачен). Но в таком случае можно сказать: на что жизнь? Не лучше ли самоубийство? Ведь если бы все люди последовали вашему примеру, то род человеческий сам себя уничтожил бы.

* „Мы ожидали увидеть писателя, а увидели только человека“ (Фр.).

Н. Нет. Самоубийство — этого нам Христос не велел. Нужно страдать.

Л. Н. И тут воздерживайся и страдай. Ведь если пьяница не наливается потому, что у него денег нет или нет поблизости кабака, то заслуга не велика. Нет, ты воздерживайся, когда есть возможность согрешить**.

Лев Николаевич бесспорно мог быть озадачен аргументом старого скопца: в сущности, автор „Крейцеровой сонаты“ не имеет никакого ответа на поставленный скопцом вопрос. Он то возражает ему ссылкой на прекращение человеческого рода, то есть доводом, который Позднышеву противопоставлял его манекен-собеседник (к тому же род человеческий прекратился бы и при общем целомудрии), то доказывает, что без соблазнов не было бы и борьбы с соблазнами. Но этот ответ совершенно схоластичен: если верно сравнение Толстого, то не надо закрывать и кабаков; напротив, необходимо позаботиться, чтоб кабаки находились всюду, дабы каждый пьяница, имея перед глазами соблазн, мог воздерживаться и страдать. Приблизительно такими же аргументами Шопенгауэр опровергал тех, кто считал самоубийство прямым выводом из его мрачной философской системы. Озадаченный Толстой улыбался в ответ на искусный довод скопца, но улыбался типичной, не аргументированной улыбкой непостижимого, круглого и вечного Платона Каратаева.

Скопчество, конечно, отвратительно. Изуверски-последовательная доктрина скопцов покоится на той мысли, что природа человека глубоко уродлива сама по себе, — мысль весьма опасная для односторонне-логических и в то же время религиозных натур; знающие люди говорят, что она не согласуется с истинной верой. Шатобриан, которому в религиозных вопросах, конечно, и книги в руки, отличал верующих людей от атеистов именно по оценке природы человека, — весьма будто бы благосклонной у первых, весьма неблагосклонной у вторых. Он говорит: „La religion ne parle que de la grandeur et de la beauté de l'homme. L'athéisme a toujours la lèpre et la peste à vous offrir. La religion tire ses raisons de la

*В. Чертков. Свидание с Л. Н. Толстым в Кочетах. „Речь“, от 7 ноября 1913 г.

sensibilité de l'âme, des plus doux attachements de la vie, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse maternelle. L'athéisme réduit tout à l'instinct de la bête, et pour premier argument de son système, il vous étale un cœur que rien ne peut toucher^{**}. Если верить критерию Шатобриана, то Л. Н. Толстой окажется атеистом чистейшей воды! В его изображении человеческой природы ни один мизантроп не пайдет недостатка „чумы“ и „проказы“:

Мать завидует счастью дочери, сделавшей блестящую партию[‡]; — la tendresse maternelle^Δ.

Жена низводит близящуюся смерть мужа „до уровня... визитов, гардин, осетрипы к обеду“. Муж „всеми силами души пепавидит се и прикосновение се заставляет его страдать от прилива пепависти к ней“[‡]; — l'amour conjugal[□].

Мальчик-сын разыгрывает утопченную комедию скорби на похоропах нежно любимой матери[‡]; — la piété filiale[◊].

Добродушный штабс-капитан задумчиво мечтает о том, чтобы скорее случилось умереть его товарищу, жепатому на хорошенькой жепнице[◊]; — les plus doux attachements de la vie^Δ.

Храбрый русский офицер, блестящий государственный деятель, внутренне сожалеет о том, что русской армией было в его отсутствие нанесено поражение неприятелю[◊]; — la grandeur et la beauté de l'homme^Δ.

^{*}(Религия говорит только о величии и красоте человека. Атеизм же обычно предлагает вам проказу и чуму. Религиозные мотивы берут свое начало в душевной чувствительности, в самых нежных привязанностях, в сыновней и супружеской любви, материнской нежности. Тогда как атеизм все сводит к животному инстинкту, и первый аргумент, который он приводит в свою защиту — это бесчувственное сердце“ (*Фр.*) — *Пер. ред.*). Chateaubriand. Génie du christianisme. Lyon, 1804, vol.II, p.170.

[‡]Княгиня Курагина.

^ΔМатеринская нежность (*Фр.*).

[□]Прасковья Федоровна и Иван Ильич.

[◊]Супружеская любовь (*Фр.*).

[‡]Николенька Иртенев.

[◊]Сыновняя любовь (*Фр.*).

^ΔМихайлов (Севастополь в мае 1855 г.).

[◊]Самые нежные привязанности (*Фр.*).

^ΔКнязь Андрей Болконский. „Да, что, бишь, еще неприятное он пишет? — вспоминал князь Андрей содержание отцовского письма. — Да, Победу одержали наши над Бонапартом именно тогда, когда я не служу“ (V, 77).

^ΔВеличие и красота человека (*Фр.*).

Таких примеров можно указать очень много. Приводимые факты относятся не к преступникам, не к злодеям, а к людям, стоящим на среднем моральном уровне или даже далеко выше середины, как Николенька Иртенев и князь Андрей. Толстовский скальпель, изрезывая вдоль и поперек мельчайшие ткани нормального человеческого сердца, вытаскивает наружу на показ людям много таких вещей, о которых мы не подозревали или по меньшей мере не смели думать. И характернее всего то, что делается это совершенно незаметно. „Чума и проказа“ прикрыты страстной любовью к жизни, которая мощным потоком кипит во всех почти созданиях Толстого („Крейцера соната“ — самое резкое исключение). И только наиболее пронизательные судьи, как Тургенев, сразу увидели, что из природы Толстым выделена безделица, — что из толстовской любви к жизни изъята самая малость — „царь творения“.

„Этот человек никогда никого не любил“, — сказал Тургенев о Толстом, и странно теперь звучит его суровый отзыв: мы давно признали величайшего из наших писателей самым воплощением любви. И мы отчасти правы, поскольку дело идет о любви рассудочной. Но, как говорит князь Андрей, „не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла“. Христианин Толстой доходил в своих художественных произведениях до такого издевательства над людьми, на которое не решался ни один профессионал мизантропии. Шопенгауэр где-то замечает, что врач видит человека во всей его слабости, юрист — во всей его безнравственности, священник — во всей его глупости. Толстой-художник в своем отношении к человеку одновременно — врач, юрист и священник: он видит все зло человеческой природы, и его художественное творчество дает этому злу ряд необыкновенно ярких примеров.

„Я чувствовал, — описывает Позднышев сцену убийства жены, — что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в носках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря

па страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других и даже это впечатление отчасти руководило мною“. Эта сцена не требует комментариев. Так никто никогда не описывал убийства. Золя показывал нам в сценах своих, „*crimes passionels*“ наследственное бешенство, безумие, мстительность, страсть самца, — у Толстого есть все это, но он идет гораздо дальше: до „носков“ Золя бы никогда не додумался. Добавить к ужасному смешное, к трагедии фарс, к ярости кривлянье, — вот чисто толстовская черта!

Другой пример... Иван Ильич только что умер, и его старый друг Петр Иванович пришел отдать ему последний долг. „Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: „Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...“ и посмотрела на него, ожидая от него соответствующих этим словам действий. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: „Поверьте!“ И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу.

— Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь, — сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку...

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места.

Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

* „Преступления на почве страсти“ (*Фр.*).

— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивapoвичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивapoвичу пепельницу...

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: „Поверьте...“, и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны“.

Разве это не издевательство? В сущности, Толстой не делает никакой разницы между Пpасковьей Федоровной, самой обыкновенной женщиной, верной супругой Ивана Ильича, и отравительницей Анисьей, которая, только что покончив с мужем, причитает над ним: „О-ох! О-о-о, и па кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-о-го-о-о поки-и-пул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи...“ А окружающие? Лучшие друзья Ивана Ильича?.. В знаменитой сцене смерти Эммы Бовари прославленный мизантроп Флобер изображает картину искренней печали окружающих — ближних и дальних. Шарль, Омэ, Руо, Бурнисьен — жалкие люди. Они не блещут достоинствами, они часто нелепы, они почти всегда смешны. Но над открытым гробом человека эти люди не играют комедии; они огорчены и подняты духом... А ведь Флобер не скрывал своей коренной антипатии к человеку; если б знаменитый писатель *se riquait de conséquence**, он бы маркизу Позе не поверил пяти франков на слово. Кто же религиозен в смысле Шатобриана: мизантроп „*Madame Bovary*“ или христианин „Смерти Ивана Ильича“?

Толстой-догматик учил нас, что „дверь отворяется внутрь“. Толстой-художник показал нам, что делается „внутри“. Но, погуляв по лабиринту души человеческой с таким Вергилием, как автор „Крейцеровой сонаты“, всякий попросится наружу, „*nel chïago mondo*“². Можно сказать, впрочем, что в этом все дело: Толстой верил в совершенствование и к нему

*Заботиться о последствиях (*фр.*).

²„В светлый мир“ (*итал.*).

призывал людей. Допустим, что верил. Но моральное совершенство не есть нечто данное объективно. Вне конкретных форм оно лишено всякого смысла, а па-счет конкретных форм людям очень трудно сойтись. Там, где один видит большую высоту нравственного подъема, другой может не пайти ничего хорошего, а третий, пожалуй, отыщет „такое, что плевать нужно“, как выражается Янкель в „Тарасе Бульбе“ Гоголя. Великий знаток жизни Шекспир изобразил Брута чистым совершенством всех человеческих добродетелей. Другой знаток жизни Данте отвел тому же Бруту теплое место в самом последнем отделении последнего адского круга, дальше Каина и рядом с Иудой. Беспристрастная история нашла золотую, но прозаическую средину. Она сделала из Брута впечатлительного и тщеславного республиканца, который в свободное от подвигов время отдавал деньги в рост*...

„То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям, — говорит Пьеру князь Андрей. — Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым“. Толстой в последние годы своей жизни, конечно, не согласился бы со взглядами князя Андрея. Однако, он не любил сталкиваться с конкретными формами зла на пашей грешной земле, ограничиваясь в таких случаях директивой общего характера; в небольшом диалоге „Детская мудрость“, помещенном в посмертном издании сочинений Толстого, маленький мальчик Миша пишет на клочке бумаги следующее изречение: „Нада бут добрум“. Фраза эта в издании гр. А.Л.Толстой напечатана огромными буквами. Я не знаю, есть ли соответствующие указания в рукописи Льва Николаевича, но, конечно, аршинный шрифт здесь вполне уместен: слова Миши толстовцы по справедливости должны написать на своем символе веры (не говорю „программе“ или „знамени“, так как первое слово для толстовцев отдает политикой, а второе — милитаризмом). Постепенно вычеркивая все графы в текущем счете, который ведет с миром каждый большой человек, Лев Николаевич остался в конце кон-

*G.Ferrero. Grandezza e Decadenza di Roma. Milano 1907. Vol. II, p.507.

пов при недостатке мальчика Миши: *пада бут добрум*. Я знаю, что толстовцы пемного гордятся этой лаконичностью своего учения; они и в двадцатом веке верят, как Гиллель, что всю мудрость мира можно передать, стоя на одной ноге. Но хорош был бы Толстой, если б после него осталась одна Мишина формула! К тому же мало сказать *„пада бут добрум“*. В известных условиях эта пропись хуже, чем *„пада быть злым“*; ведь Мише еще Паскаль ответил: *„Qui veut faire l'ange fait la bête“**

VIII.

Говоря о Л.Н.Толстом, трудно обойти молчанием его последователей, ведь иные толстовцы представляют собой живой опыт над доктриной великого писателя.

Один из современных французских драматургов как-то заметил: *„La franchise est un revolver qu'on n'a pas le droit de décharger sur les passants“*†. Это не только очень остроумно, но и очень верно.

Толстой как-то спросил своего последователя, писателя Наживина:

— Вы что теперь делаете?

— Работаю на своем хуторе, пишу...

— Что?

— Свою *„исповедь“*. Подробно рассказываю, что я пережил за последние пять лет.

— Это очень, очень хорошо... — сказал Лев Николаевич. — Я думаю, что этот род литературы скоро заменит собою теперешние романы. Это очень хорошо. Только смотрите, берегитесь рисовки. Этот бес очень лукав.

— Не знаю, но, кажется, я не грешу этим, — сказал я.

— Дай Бог, дай Бог!..[△]

Очень интересный разговор. Мы не можем, копечпо, знать, заменят ли исповеди в будущем тепереш-

* „Кто хочет показаться ангелом, выглядит глупцом“ (*фр.*).

† „Откровенность — это револьвер, который нельзя разрядить в прохожих“ (*фр.*).

[△]Ив. Наживин. Из жизни Л. Н. Толстого. Москва 1911 г., стр. 96.

ние романы, но в этом позволительно усомниться. Чрезмерная откровенность пока не очень ходкий товар, особенно когда она предлагается не в розницу, как в романах, а оптом, как в исповедах: вот, мол, вам, милостивые государыни и государи, голый человек „за последние пять лет“ или даже за всю жизнь, делайте с ним все, что вам угодно. Мы инстинктивно боимся таких исповедей и, быть может, мы не совсем неправы.

Лев Николаевич сказал, что исповедь „это очень, очень хорошо“, и посоветовал своему собеседнику непременно ее написать, что г. Наживин и сделал. Но сам Толстой исповеди обществу не дал. Нельзя же в самом деле считать исповедью ту книгу, которая под этим названием помещена в собрании его сочинений. Эту книгу Михайловский как-то назвал щеголеватой. Он был несправедлив. Толстой никогда ни перед кем не щеголял и щеголять не хотел. Но эта книга вовсе не исповедь, это история отпадения Льва Николаевича от православия — и только. Гораздо яснее выражает профессиональный характер художественных произведений Толстого; но в них исповедь подается в розницу и, главное, под псевдонимом. Иртенев, Оленин, Нехлюдов, Левин, каждый из этих людей, конечно, немного — сам Толстой, но только немного и не совсем: Федот, да не тот*. Кос-что от Толстого есть и в Позднышеве, однако, в исповеди самого писателя, если бы таковая когда-либо появилась в свет, даже намек на мрачную мелодию „Крейцеровой сонаты“² звучал бы гораздо страшнее. Настоящую свою исповедь Толстой только хотел написать, но не написал: „Я ужаснулся, — рассказывает он, — перед тем впечатлением, которое должна бы

*Все они прежде всего лишены художественного гения их автора. Замечательно то обстоятельство, что ни в одном из своих произведений Толстой не избрал героем писателя. Будь у Нехлюдова художественный талант, он бы и не подумал жениться на Масловой; вместо покаяния, он напечатал бы в толстом журнале повесть падения Катюши.

²Я имел возможность ознакомиться в корректуре с книгой В.Г.Черткова „О Толстом“ (Берлин, 1922). Графини Софьи Андреевны нет более в живых, и таким образом не приходится ждать ответа на обвинения, содержащиеся в этой злобной книге. Но как бы ни относиться к освещению фактов, которые дает г.Чертков, факты сами по себе могут напомнить „мрачную мелодию“ знаменитого рассказа.

была произвести такая биография“. Так мы и не имеем исповеди Толстого. Есть, впрочем, в мировой литературе другие произведения этого характера, но и в них содержание редко соответствует заглавию. Я уже не говорю о различных мемуарах, которые иногда принимают характер самообличения, как, например, „Былое и думы“. Гениальная книга Герцена все-таки прежде всего литературное произведение, притом служащее оправдательным документом перед людьми. Это мемуары кругом правого человека, правого даже тогда, когда он сам себя обвиняет. Но недалеко ушли отсюда и книги, специально написанные для покаяния. Один из грехов, о которых с особенным ужасом* вспоминал св. Августин, заключался в том, что однажды, шестнадцати лет от роду, он, забравшись в чужой сад, похитил в нем несколько груш. О таких грехах может, конечно, вспоминать и святой. Это даже очень красиво... В сущности, „Les Confessions“⁴ Руссо вряд ли не единственная книга, которая с некоторым (хотя далеко не полным) правом может называться исповедью. Какая же награда выпала на долю бесстрашного человека? Кроме чести упоминания в курсах сексуальной психопатологии (le cas Jean-Jacques⁴), вечная репутация циника (я берусь указать десяток профессоров, которые в своих книгах не задумались так назвать Руссо). А какая польза для ближних? Смутное сознание того, что от полной „искренности“ до легкого цинизма только один шаг.

Толстой не написал исповеди, так как усомнился, законно ли то любопытство ближних, которое требует, чтобы писатель непременно ходил днем и ночью пагишом. Г. Наживину это сомнение, по-видимому, не приходит в голову. От него, конечно, очень легко отделаться, перегибая палку в противоположную сторону. Нетрудно ответить с негодованием: значит, писатель должен лгать, лицемерить, притворяться? и т. д. Нет, разумеется, не должен. Но что же делать, если все-таки „le malheur veut que qui veut faire l'ange

* „Foeda erat et amavi eram; amavi perire: amavi defectum meum“... „Я совершил преступление и стал на неправедный путь, ведущий меня к погибели“ (лит.). — Пер. ред.). (Lib. II, cap. IV).

⁴ „Исповедь“ (фр.).

⁴Случай Жана Жака (фр.).

fait la bête“*? В морали, как в искусстве, надо иметь чувство меры, надо знать, где кончается законная правда жизни и где начинается духовная порнография.

В своем дневнике „Красные маки“ И.Ф. Наживин цитирует следующие слова Писарева: „Платон верил в создания своей фантазии; он считал их за абсолютную истину и ни разу не становился к ним в критические отношения; одна секунда сомнения, один трезвый взгляд могли разрушить это очарование, рассеять всю яркую и великолепную галлюцинацию. Но этой роковой секунды в жизни Платона не было, и на всех сочинениях его легла печать самой фантастической и в то же время спокойной веры в непогрешимость своей мысли и в действительность созданных ею призраков“. „Совершенно то же, — прибавляет от себя г. Наживин, — и теми же словами можно сказать и о Писареве и о всех иже с ним: увы, у них тоже не было этой благодетельной секунды и они точно так же окружили себя призраками, созданными их мыслью, призраками, даже, пожалуй, столь же грациозными и красивыми и „идеальными“, как и призраки Платона, и так же *верили* (курсив автора) в создания своей фантазии. *Я отошел уже и от тех и от других!*..“ (курсив мой).

Да нет, в том-то и дело, что г. Наживин отошел от призраков не дальше, чем все мы, грешные. У автора „Красных маков“ другие призраки, не те, что у Платона, и не те, что у Писарева, но к нему вполне применимо все, что Писарев говорит о Платоне, а он сам — о Писареве. Этим попереком, как мячиком, можно перекидываться бесконечно долго. Призрак г. Наживина, заимствованный им у Толстого, есть призрак условного личного совершенствования, и он совершенно заслонил от этого писателя весь великий Божий мир. Толстой рассказал нам в „Исповеди“, как в тяжелые дни кризиса ему случилось задавать себе вопрос: „Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж?..“ Затем кризис разрешился, и слава утратила для Толстого значение. Но что бы сделал великий писатель (я вынужден говорить в

* „К несчастью, кто хочет казаться ангелом, выглядит глупцом“ (Фр.).

сослагательном наклонении), если бы роковой вопрос снова стал его посещать в несколько иной форме: „Ну, хорошо, ты будешь правственнее Сократа, Будды, Эпиктета, Паскаля, всех правственных людей в мире, — пу и что ж?..“ И па это нечего ответить. И па это Толстой никогда ничего не ответил, как не ответил ни г. Наживин, ни другие последователи яснополянского мудреца. Они отделяются ничего не значащими словами о необходимости исполнения чьей-то воли или, еще лучше, говорят со строгим лицом, что есть вопросы, которых мы не вправе задавать. Но какое бы строгое лицо они при этом ни делали, мы отлично понимаем, что их позиция не тверда. Они только и могут ответить: нам так лучше*. А этот ответ ничего не стоит, потому что с таким же правом и уж, конечно, не менее искренно миллионы других людей скажут: нам лучше иначе.

В сущности, тут нет места для спора. Когда из двух людей, стоящих перед цветным предметом, один называет его розовым, а другой — синим, логика совершенно бессильна. В споре дальтопистов с людьми нормального зрения нет ни правых, ни виноватых; можно только определить, какие глаза у большинства. Спор Толстого с миром о ценностях разрешается труднее. Лев Николаевич как-то сказал, что для него все люди делятся на способных и неспособных к религиозному миропониманию. Что же делать с неспособными? Их довольно много и между ними попадают лица, на которых толстовцы и г. Наживин не могут смотреть сверху вниз. Например, И. И. Мечников, посетивший в 1909 году Льва Николаевича, оказался абсолютно неспособным: „Я попробовал, — рассказывал Толстой г. Гусеву, — с ним (Мечниковым) заговорить о религии; он из уважения ко мне не возражал, но я увидел, что это его совершенно не интересует“. Так княжна Марья с монахом, по выражению князя Андрея, „даром растрчивали порох“, воздействуя в религиозном направлении на старика Болконского. К кому можно апеллировать в этом споре? к большинству? Огромное большинство культурных людей верит в то, что

*Очень характерное выражение я нахожу в дневнике Толстого от 19 июля 1896 г. (XXIV, 126): „дуговое сладострастие любви к бригам...“

толстовцы закапывают в могилу так усердно и так напрасно. А темный народ стоит в стороне, не принимая участия в споре...

К тому же можно ли решать вопрос о ценностях путем всеобщей подачи голосов? Для толстовцев оно, пожалуй, и невыгодно. Непротивлению злу насиланием в этом случае грозила бы большая опасность; о неизбежном торжестве „политики“ нечего и говорить. А этому идолу толстовцы ни за что не поклонятся.

Тема их иронии давно задана Толстым: те же, в сущности, „лейкоциты“, тот же „Млечный путь“, никому не нужный, кем-то для чего-то выдуманный. *Sub specie aeterni** громить мудрость петербургских и всяких других редакций — не очень хитрое дело. Но если бы кто захотел поупражнять ироническое дарование над деятельностью самих воинственных толстовцев, то для этого не нужно было бы даже садиться в воздушную колесницу Спинозы, ибо они в своем неумении отличать большое от малого сплошь и рядом доходят до поразительных вещей.

Незадолго до ухода Толстого из Ясной Поляны, киевский студент М. обратился к нему с удивительным письмом. Недовольный противоречиями между личной жизнью и воззрениями Льва Николаевича, он предлагал Толстому немедленно покинуть семью. В самом факте еще нет ничего чрезвычайного; уж так завелось с восьмидесятих годов прошлого столетия, что каждый русский гражданин считал своим правом и обязанностью время от времени помогать советом Льву Николаевичу в трудных делах жизни. Такой, видно, был неопытный, беспомощный человек, что никак ему нельзя было обойтись без дельных руководителей и товарищеской помощи. Кто не давал Толстому советов, тот лез к нему со своими делами. К Льву Николаевичу обращались за указаниями морального и практического характера люди страдавшие отрывкой^а, больные противоестественными наклонностями^б, шпионы^в и т. д. „Погибшая овца аз емь! Воззови мя, Спасе, и спаси мя!“ — зывал к

*С точки зрения вечности (*лат.*).

^аЛев Николаевич и на это ответил старушке, которая обратилась к нему за рецептом.

^бВ. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого, стр. 319.

^вТам же, стр. 130.

Толстому какой-то фабричный врач*. „Дай мне полный лексикон философий, купи и пришли... Неужели твое старое сердце ссохлось и ни почувствует мольбы моей“, — писал кто-то другой“. Льву Николаевичу давали полезные советы гимназисты, прошедшие курс самообразования, учившиеся в семинариях попы, сознательные фармацевты и патриотически настроенные юнкера: принципы Молчалина в свое время нас так глубоко возмутили, что из оппозиции к ним мы теперь смеем вслух свос суждение иметь даже о вещах, которые нас нисколько не касаются. Поэтому само по себе письмо г. М. не могло никого поразить. Но его тон и мотивировка были поистине удивительны. Г.М. был, очевидно, совершенно убежден, что Лев Толстой обязан изменить свою жизнь для того, чтобы красота его, господина М., души засияла еще более чистым и кротким светом. Называя Льва Николаевича „голубчиком“, рекомендуя ему „много раз прочесть письмо“ и „подумать обо всем этом“, г. М. взывал: „Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, оставайтесь без копейки денег и пищим пробирайтесь из города в город... Приходите тогда и в наш старый, добрый Киев, заходите ко мне, и я буду смотреть вам в глаза и на вашу седую бороду и наслаждаться тем, что вы дали первый росток, первый бутон для того, чтобы из него распустилось счастье, о котором у нас так много пишут, по которого никто еще не нашел...“ Да, для этого, разумеется, Толстому было совершенно необходимо уйти из Ясной Поляны и притом именно в „наш старый, добрый Киев“. Я не занимаюсь в настоящую минуту вопросом, было ли в письме г. М. то, что г. Наживин называет „интеллигентским кривляньем“. Допустим, что кривлянья не было. Но что же произошло? Лев Николаевич последовал совету, преподанному ему г. М. Он ушел из Ясной Поляны и величественно скончался в Астапове, исполнив все то, чего от него хотели строгие люди, вероятно, столь же требовательные и к самим себе. Я совершенно не знаю, что произошло с г. М. после ухода Толстого из Ясной Поляны; думаю, впрочем, что ничего особенного не произошло. Но если даже его душа открыли-

*Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 274.

†В. Ф. Булгаков. Цит. соч., стр. 67.

лась и поднялась на неделю двумя ступеньками выше, то всякий скажет, что это событие, не только *sub specie aeterni*, но и с какой угодно другой точки зрения, имеет довольно ограниченное значение. Неужели же г. М. не приходило в голову, что для достижения этого результата нельзя вмешиваться в жизнь такого огромного человека, как Толстой?

Как известно, Лев Николаевич был очень растроган письмом г. М. Это с одной стороны представляется невероятным: до последних дней жизни Толстой сохранил способность временами отрешаться от своей официозной кротости и взором старого орла, пассивно пронизывающим душу, сверху вниз, как ему подобало, глядеть на малых и больших людей. Он знал цену своим корреспондентам и порою очень зло их вышучивал. В одну из таких минут, раздраженный непрошенными вмешательствами в свою жизнь, он писал: „Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть“. Если принять в расчет кроткий стиль Толстого, эти слова означали нечто вроде „позвольте вам выйти вон“. В одну из таких минут, великий писатель не стал бы читать послания г. М. и отправил бы его в корзину, как целый ряд других писем такого же рода, немного менее патетических и немного более грубых. Но с другой стороны, оставаясь последовательным, Лев Николаевич ничего не мог возразить автору письма: он должен был растрогаться при его чтении хотя бы *ex officio**. Ведь он сам учил добрых три десятка лет, что только одно „размягчение“, хотя бы минутное, есть вещь, а прочее все — гиль. Ведь если у толстовцев извращена перспектива, установленная самой жизнью, если они в большом видят малое, а в малом — большое, то этот противный природе результат мог быть достигнут лишь таким гигантом, как сам Лев Николаевич.

Весь этот эпизод имеет чисто показательное значение. Такие толстовцы, как, например, В. Г. Чертков, а равно и г. Наживин, конечно, не ответственны за письмо г. М. Но их мысли свидетельствуют о почти таком же извращении перспективы. Над всем тем, что признает культурное человечество, толстовцы ставят общий могильный крест; наука, искус-

*Для виду (*лит.*).

ство, общественная жизнь, политическая борьба равнодушно ими погребены на дне мрачной fosse commune* неподдельного и абсолютного нигилизма. Кто знает, может быть, толстовцы правы; ведь в конце концов на вопрос: что есть истина? за две тысячи лет не последовало решающего ответа. Человечество по сию пору вертится между полюсами Нагорной Проповеди и Экклесиаста. Но что же дает толстовцам столь необычайную уверенность в собственной правоте? Или такое уж счастье принесло им их учение? Не Бог знает, как велико это счастье, не Бог знает, как завидно душевное спокойствие толстовцев, если судить хотя бы по книгам г. Наживина, исполненным боли, гнева и раздражения. Да и что за критерий счастье?.. Почему не приходит им, толстовцам, в голову, что с мертвым они хотят закопать в могилу живое? Может быть, Французская революция и свобода мысли, „Фауст“ и „Война и мир“, принцип относительности и философия Шопенгауэра имеют не меньшую самостоятельную ценность, чем те опыты душевной стерилизации, которым они предаются столь ожесточенно? Толстовцам непавистна бактериология, вносящая „разврат материализма“ и отчуждение в людскую среду. Но, быть может, это ужасное зло хоть немного покрывается открытиями Пастера, ежегодно спасающими жизнь сотням тысяч людей. Для толстовцев „никому не нужные пустяки“ — теория Клерка Максвелла, изучая которую другой великий ученый задавал себе фаустовский вопрос: „War das ein Gott, der diese Zeichen schrien?“¹ Но, быть может, усилие человеческой мысли, создавшее эту теорию, хоть отчасти способно сравниться с теми потугами, в которых толстовцы видят весь смысл человеческого существования? В своих обязательных дневниках они регистрируют эти потуги, свои нравственные подъемы и понижения, с педагогичностью биржевого гофмаклера или счетовода казенной палаты. „Число такое-то. Мучительно хотелось котлет, но превозмог свою плоть и ел вареники с творогом. Бодрое настроение весь день. Молился. Хорошо. Слава Богу“. „Число следующее. Нынче в 8 часов вечера не удержался и съел полфунта убои-

*Братская могила (фр.).

¹„Был это Бог, кто эти знаки начертал?“ (нем.)

ны. Грустное сознание греха. Уныние. Тяжелые мысли. Господи, пошли мне сил бороться!“ Это почти не карикатура: дневник любого толстовца, в сущности, сводится к записям подобного рода. И эти люди убеждены (как они ни бранят себя для смирения), что вся мудрость мира улеглась в их мучительные потуги! Может быть, они похожи на Сократа и на Эпиктета, я не спорю; но они еще больше похожи на Ивана Ивановича, который тщательно регистрировал каждую дыню, которую он съедал.

Как не видят они, эти духовные Танталы, что их мучительная работа есть хождение по кругу вокруг точки, ставшей в их сознании центром Вселенной? В их делах нет творения, — лучшей радости, лучшей гордости, выпадающей на долю человека. Есть фикция творения, пресловутая „работа над собой“. Но единственным ее результатом в девяти случаях из десяти остается измученный комок нервов, а в десятом — нечто условное и мгновенное, бесследно канущее в бездну, как только *venit summa dies**, как только мопассаповская гостя отдает свой неизбежный визит... Они, толстовцы, лишены даже того удовольствия, которое у ф­рапцузов называется *le beau rôle*°. Несмотря на свое профессиональное смирение, они всех, кто не с ними, считают безумцами, не ведающими, что творят, тогда как их противники, для которых смирение не обязательно, не участвуя в погребальном хоре толстовцев, хотя недоумевают и сторонятся, но отдают должное их бескорыстному, упорному стремлению к таинственному призраку добра.

IX.

„Человек есть общественное животное“, — сказал старик Аристотель. Толстой, пожалуй, готов принять эту формулу; только он придает ей несколько своеобразный смысл. Он как будто говорит: в человеке общественно животное.

Вся жизнь Толстого, в особенности до „кризиса“, была систематическим уклонением от общественной

*Наступает кульминационный момент (лат.).

°Выгодно выглядеть (фр.).

повинности*. Даже в эпоху своей веры в „прогресс“ он от политики держался в стороне, и не просто в стороне, а как-то на свой особый лад. Ездил к Прудону, к Герцену и вместе с тем был, по словам Тургеева, „далеко не краспый“, свидетельствовал визитом почтение Лелевелю и в 1863 году предполагал вступить в ряды действующей русской армии. В „Анне Карениной“ Толстой ядовито высмеял двумя-тремя словами и „партию Бертепева (то есть Каткова) против русских коммунистов“, и московских „честных людей (с ударением), способных при случае подпустить шпильку правительству“, и черняевских добровольцев, и либералов à la Голенищев, и славянофилов вроде Кознышева. Странно сказать, но отношение Толстого к политике в ту пору очень походило на тон, который был принят в доме князя Николая Андреевича Болконского, когда речь заходила о европейских событиях. Старый князь, как известно, „был убежден, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело“. Тот же тон веселого недоумения умел выдерживать по отношению к политике Толстой вплоть до конца 70-х годов (он порою впадал в него и гораздо позже). Это обстоятельство, кроме всего прочего, закрывало для него доступ к богатейшим художественным темам. Уже в грандиозном замысле „Войны и мира“ он мог отделаться от грозившей ему опасности только тем, что в нужную минуту написал слово „конец“ и назвал эпилогом главу, которая, в сущности, представляла собой начало нового романа. Мы так и не знаем, что вышло из петербургской поездки Пьера Безухова, как сбился вещей сон Николепки Болконского и пришлось ли Николаю Ростову рубить во главе эскадрона своих лучших друзей по приказу Аракчеева. „Тугендбунд, — говорит в эпилоге Денисов, — я этого не понимаю, да и не выговорю... не правится, — так бунт“. Бунта Толстой так-таки не написал; из его

*В 1880 г. Лев Николаевич писал Н. Н. Страхову: „Вам должно быть очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, который дует около вас. Я, сидя в деревне, и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня (не) сдул и чтоб я не сбивался с дороги“ (Толстовский музей, т. II, стр. 247-8).

„Декабристов“ ничего не вышло, несмотря на неоднократные возвращения автора к этому сюжету. Легко понять, что из подобной темы пельзя было изгнать политику или ограничиться ироническими стрелами, брошенными равномерно в разные концы: для художника было невозможно поместиться над Сенатской площадью, не становясь ни на одну из ее сторон. Так мы и остались без „Декабристов“ Толстого. А между тем фантазия с трудом представляет, какое чудо искусства мог создать из такого сюжета такой художник! Толстой, который знал себе цену, в котором, несмотря на все отречения, художественный инстинкт жил до последнего дня*, отлично это понимал. Он писал художественное о вреде водки, о фальшивом купоне, о чем угодно, но этой темы не коснулся; „вылизал изнутри“ психологию купца Брехунова, маркера Петрушки, лошади Холстомера, но оставил без внимания таких людей, как Пестель, Лупин, Рылеев, Бестужев, Орлов, Волкопский.

Да и в самом деле, в политике одного шага не сделаешь с любимыми идеями Толстого. В политике нет ничего губительнее максим „нет в мире виноватых“ или „все понять — все простить“. В политике всегда должны быть виноватые, так как необходимо считать себя правым. В политике не ищут всей правды-справедливости и не заботятся о всей правде-истине, довольствуясь частью той и другой, облагая эту часть высоким налогом крови. В политике много говорят о небе, но действуют так, как если бы оно не существовало.

Эту азбуку хорошо знают герои и толпа. Мудрость толпы создала для действия другие максимы, сквозь благочестие которых едва заметно проскальзывает легкий цинизм: „На Бога надейся, а сам не плошай“; „береженого и Бог бережет“, — говорит народная мудрость. Герои политического действия тоже отлично это знают. „Мы, немцы, не боимся никого, кроме Бога“, — сказал в парламенте князь Бисмарк, и в тон ему победоносная Германия запела свою историческую песню: „Надежная крепость — Господь“. Одобрительно прислушиваясь к звукам песни, богобоязненный канцлер укрепил каждый клочок земли

*За месяц до смерти Лев Николаевич говорил г. Булгакову: „Буду читать Мопассана. Мне предстоит большое наслаждение“.

па Рейпе и па Одере. „Политика подобна лесоводству, — говорил тот же герой действия, — в пей собирают то, чего не сеяли, сеют то, чего не соберут“. Не менее определенно выразался и Наполеон: „En fait de système, il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille“*.

Где уж тут думать о правде? Арестапка-старостиха в „Воскресении“ очень благодушно замечает Катюше Масловой: „Правду-то, видно, боров сжевал“. О всем нашем общественном строе Толстой, в сущности, сказал то самое, что арестапка, только без ее философского спокойствия. Правду, которую сжевал боров выгоды, ненависти, злобы, ожесточения, Толстой воссоздал за письменным столом своей рабочей комнаты; он верил, что истина, творимая в Ясной Поляне, может изменить природу человека и строй современной жизни. Поразительна эта способность веры в силу своего слова, присущая писателям Божьей милостью! Глядя на тлеющие развалины Тюильри, Флобер угрюмо говорил в 1871 году: „Et cela ne serait pas arrivé si l'on avait compris l'Éducation sentimentale“#. Мало ли сходных сцен прошло перед глазами великого русского мыслителя! Не мог же он не видеть, что не только дела, но мнсения, симпатии человечества устояли перед проповедью Ясной Поляны: вся диалектика Толстого не убавила ни славы Наполеона, ни славы Шекспира. Нет ничего неблагодарнее роли богоборца. А здесь Толстой посягал на могущественнейшего из богов — на государственность, притом во всех ее формах: отживших, пынешних и тех, о которых поет сладкая немецкая Zukunftsmusik^Δ. Здесь между ним и „консерватором“ Паскалем лежит глубочайшая пропасть. „Чтобы люди могли жить, — говорит Толстой, — надо силою слова уничтожить несправедливые государственные учреждения“. „Чтобы люди могли жить, — говорит Паскаль, — надо уверить их, что государственные учреждения справедливы“. Толстой-моралист переоценивает человеческий разум, Паскаль —

* „Что касается дел, то всегда нужно сохранять за собой право посмеяться завтра над сегодняшними мыслями“ (Фр.).

„А ведь этого бы не случилось, если бы они сумели понять „Воспитание чувств“ (Фр.).

^ΔМузыка будущего (нем.).

человеческую глупость. Оба, если угодно, утописты. Но Паскаль, по крайней мере, не впадает в путы непротивления злу насиллием: „La violence et la vérité ne reuivent rien l'unc sur l'autre“*, — говорит он, и в свете этой глубокой истины призрачность толстовского политического учения представляется особенно ясной. Помнится, императрица Екатерина в одну из либеральных пятниц своей недели убеждала сына в том, что насиллие не устоит в борьбе с людьми идеи. Радищев и Новиков могли бы, пожалуй, увидеть в этом утверждении некоторую игру ума. Другой политический деятель говорил, что штыками можно сделать все что угодно, но нельзя на них сидеть. Мы знаем, однако, немало примеров долголетнего и весьма комфортабельного сидения на штыках. Насиллие не может заглушить голос истины, если последняя раз досталась в руки „двадцати пяти солдат Гутенберга“. Но истина an und für sich[†] тоже ничего не поделает с насиллием. „Революция есть идея, нашедшая для себя штыки“, — сказал компетентный человек Наполеон, и в этом вопросе оба, как мы видим, совершенно сошлись: Паскаль, знавший цену идеям, и Наполеон, знавший цену штыкам. Обоим одинаково трудно было бы склонить к доктрине непротивления злу насиллием.

В сущности, это фикция: „противление злу“, „противление злу насиллием“ — *bonnet blanc, blanc bonnet*[‡]. Если не насиллием, то чем же? Словом? Точно слово не есть могущественное орудие насиллия. Современная юридическая мысль не умеет отграничить резкой чертой словесное преступление от преступления фактического, и в данном случае — что бывает не часто — философская мысль идет в согласии с юридической. Автор „Не могу молчать“ и выпущенных в русском издании отрывков „Хаджи-Мурата“ прекрасно это понимал; и правительство, так щедро сыпавшее на его книги арестами, конфискацией, извлечениями, тоже вполне ясно это понимало. Не всегда слова Толстого были проникнуты кротостью, да и

* „Насиллие и справедливость не поддаются взаимному влиянию“ (*фр.*).

[†]Сама по себе (*нем.*).

[‡]Одно и то же (*фр.*).

кротость его, правду сказать, напоминает покаяния Иоанна Грозного. В сущности, немного кротости и в самой теории непротивления злу насиллием. Психология этой теории такова: один человек говорит другому: „Ты не можешь меня обидеть; что бы ты со мной ни сделал, я не только не унижусь до отплаты той же монетой, я вовсе не обращаю внимания на твои поступки. Прошу тебя об одном: если можешь, оставь меня в покое. Мне не до тебя“. Где тут кротость? Это даже не самое кроткое выражение ее отсутствия.

Тому, кто вечно видит перед собой призрак абсолютной правды, нелегко заниматься политической деятельностью. „Все или ничего“ — никуда негодный политический лозунг, потому что он необходимо и весьма быстро сводится ко второй альтернативе — ничего. С этим лозунгом нельзя жить, да и писать очень трудно, о чем свидетельствует история „Хаджи-Мурата“. Когда Толстой, отдавшись непосредственному чувству, написал ту часть повести, которая выпускается в русских изданиях, из-под его пера вышло нечто не только совершенно невозможное с точки зрения предрежащих властей, но недопустимое по существу толстовской доктрины. Ведь по ней обязательно все понять и все простить, а здесь автор все понял, читатель все понял, а простить не согласен ни тот, ни другой. И эти главы повести явились одним из самых мучительных преткновений литературной карьеры Толстого. По понятным причинам невозможно касаться наиболее интересных моментов в истории политических отрывков „Хаджи-Мурата“; маленький эпизод можно, однако, привести. В первоначальной рукописи повести имелась небольшая, но выразительная характеристика Александра Чернышева. Толстой привел известную шутку, которой, по его выражению, „заклеймил“ этого печальной памяти исторического деятеля Растопчин. Как известно, участвуя в суде над декабристами, Александр Чернышев особенно старался погубить Захара Чернышева, чтобы овладеть его именьями. Растопчин высказался за передачу имений сосланного декабриста Александру Чернышеву, мотивируя свое мнение тем, что по старинному обычаю палач всегда получает кушак и шапку казненного. Но, рассказав этот эпизод, Толстой, очевидно, усом-

нился в способности читателей простить (понять здесь очень легко) и предпочел вычеркнуть его из повести, чтобы не скрепить своим авторитетом растопчипское клеймо. Если бы Толстому пришлось самому печатать „Хаджи-Мурата“, он, вероятно, выпустил бы и многое другое, так как политические отрывки этой повести в посмертном заграничном издании производят впечатление весьма сильное и вряд ли соответствующее целям толстовства: вместо „все понять — все простить“ читатель усваивает начала русской политической азбуки, которые еще Пушкин сто лет тому назад упорно и тщетно старался втолковать Карамзину.

Но с людьми, посвятившими свой век проведению в жизнь начал этой азбуки, Толстому все же было не по дороге. Готовые, не по его мерке шитые мировоззрения всегда были органически чужды природе Льва Николаевича; вера во всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право так же мало могла пустить корни в его уме, как вера в плащ Магомета или в чудеса Лурдской пещеры. „Его писколько не интересовали, — говорит В.А.Маклаков в своей блестящей речи „Л. Н. Толстой как общественный деятель“, — попытки улучшения государственного механизма, борьба за политические реформы; он был равнодушен к каким бы то ни было политическим теориям. При всем желании разработать свою тему полное, В. А. Маклакову удалось отметить лишь очень немногие моменты „общественной деятельности“ Толстого (помощь голодающим, духоборам, борьба со смертной казнью). Я думаю даже, что было бы гораздо легче сказать речь на тему „Толстой как противообщественный деятель“, разумеется, придавая этим словам только буквальное значение. „Общество“ в политическом смысле слова Толстой ценил приблизительно так же высоко, как „общество“ в смысле большого света. В его описании оба „общества“ из года в год играют, как шарманка, одну и ту же зауценную глупую песенку, в которой за столетие не меняется ни единой ноты. В „Войне и мире“ на именинах Наташи Ростовской гости говорят о „la comtesse Apraksine“* (IV, 36). В „Анне Карениной“ у

*Графиня Апраксина“ (фр.).

госпожи Боль, к которой с визитом заезжает Левин, говорят снова о графине Апраксиной (IX, 213). Наконец, в „Воскресении“ у Масленниковых опять—таки темой разговора служит Apraksine (XI, 151). За те же сто лет не изменилась и тема политических разговоров. О чем в 1820 году спорили консерватор Николай Ростов и либерал Пьер Безухов, доказавший, что „все слишком натянуто и непременно лопнет“ („как с тех пор, как существует правительство... всегда говорят люди“), о том в 1856 году болтают „журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерпанием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерпанием“ („Декабристы“); и об этом же самом рассуждают в 1905 году получающий большое жалование гость—петербуржец, „известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подпошениях, хитро составленных, как будто верпоподдапических, а в сущности самых либеральных адресах“, и владелец многих тысяч десятин земли Николай Семенович, „чисто русский человек, православный, с оттенками славянофильства“, верующий в „решения мира“ и в „особенные свойства русского народа“ („Ягоды“)... Много истинного презрения к людям скрыто и в этой тонкой, убийственной иронии, и в непротивлении злу насилем, и во всей высокомерной кротости Л. Н. Толстого.

„Мне надо самому одному жить, самому одному умереть“, — писал Толстой. Он всю жизнь был верен этой программе. Он жил один, хотя в течение полувека был душою русского общества. Он умер один, хотя в астаповское „уединение“ за ним последовала семья, шесть врачей, полсотни журналистов и представители фирмы Пате (ведь смерть знаменитого человека для публики такое же развлечение, как премьеры модной пьесы)*. Последние годы его жизни

* „Миллионы людей страдают на свете, кроме Льва Толстого. Зачем же вы все собрались вокруг одного Льва“, — сказал на смертном одре великий писатель. Может быть, в его последних словах, кроме скорби о миллионах страдальцев, прорвалась и жалость к самому себе, ко Льву, вечно и всюду преследуемому людьми.

были для России годами кровопролитной бессмысленной войны и самой злосчастной из революций — идеи, не нашедшей штыков; для всего мира они были временем милитаризма классовой и национальной ненависти. Он смотрел на это зрелище со смешанным чувством жалости и презрения. Не спокойствие мудреца, а сосредоточенная, ушедшая в себя скорбь отразилась на последнем портрете Толстого, положив на него отпечаток несравненного благородства. Он — точно живой образ „Ночи“, которую создал Микеланджело в худшую эпоху Флоренции:

Caro m'è 'l sonno e piu l'esser di sasso,
Mentre che 'l danno e la vergogna dura.
Non veder, non sentir m'è gran ventura;
Pero non mi destar, deh! parla basso!*

Х.

И все-таки Толстой — колоссальное явление в истории русской политики. Вместе с Герценом он был первый свободный гений России; среди великих людей русской литературы, быть может, ему первому нечего замалчивать и печего скрывать.

Пушкин, гениальный, загубленный безвременьем человек, писал шефу жапдармов Бенкендорфу письма, которые нельзя читать без чувства унижения и боли. Он мог написать „Стансы“, когда кости повешенных декабристов еще не истлели в могиле; одобрял закрытие „Московского телеграфа“, ибо „мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства“; после пяти лет „славы и добра“ написал „Клеветникам России“ и в то же время корил Мицкевича политиканством. Он брал денежные подарки от правительства Николая I, просил об увеличении этих „ссуд“, прекрасно зная, какой ценой они достаются: „Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как угодно“, — писал он жене после одной из таких ссуд. И все-таки пел гимны, которым, впрочем, даже

*Мне сладко спать, а пуще — камнем быть,
Когда кругом порок и преступленья: — Не чувствовать, не видеть — облегченье, — Умолкни ж, друг. К чему меня будить? —
Пер. с итал. А.М.Эфроса.

не старался придать хотя бы художественное достоинство*.

Жуковский написал свою отвратительную статью о смертной казни, называл декабристов сволочью.

Гоголь жил в настоящем смысле слова подачками правительства, ходатайствуя о них через III отделение#.

Гордый красавец, прославленный умом и талантами Чаадаев, признанный сумасшедшим и отданный под надзор психиатров^ за свое знаменитое письмо — „выстрел в темную ночь“, не задумался на старости лет, прочитав восторженный отзыв о себе в „Былом и думах“ Герцена, написать шефу жандармов Орлову: „Наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор“. Эта выходка была даже не нужна; Жихарев назвал ее „une bassesse gratuite“^в в глаза Чаадаеву, в ответ на что последний, „помолчав с полминуты, сказал: „Mon cher, on tient à sa peau“^д.

Славянофилы совершенно откровенно доносили правительству на того же Чаадаева. Известное стихотворение Языкова ипаче и назвать пельзя, как рифмованным вариантом донесения Вигеля:

Свое ты все презрел и выдал,
И ты еще не сокрушен,

строчил поэт, рыдая в упоении допоса.

Некрасов написал свои ужасные стихи Муравьеву...

* „... И светел ты сошел с таинственных вершин,
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира“.

Так ли писал Пушкин, когда писал для вечности? Только традиционное истолкование генезиса этих стихов делает сколько-нибудь понятным их кукольниковский стиль.

*См. Мих. Лемке. Николаевские жандармы, СПб., 1908 г., стр. 134-6.

^ „...Более циничного издевательства торжествующей физической силы над мыслью, над словом, над человеческим достоинством не видела даже Россия“, — говорит об этом эпизоде М. О. Гершензон (П. Я. Чаадаев, СПб., 1908 г., стр. 137).

■ „Бесплатная низость“ (фр.).

□ „Дорогой мой, своя рубашка ближе к телу“ (фр.).

Большие люди не нуждаются ни в защите, ни в снисхождении. Они велики, независимо от „неверных звуков“, — и слава Богу! Но если бы это было и не так, то где же сказать, как не пад печальными страницами истории русской литературы: *sacculi ignominia non hominis**? Век был настолько ужасен, что и не такие вещи можно и должно простить, допуская, что у кого-либо нашлась бы смелость произвести себя в судьи. „*Mon cher, on tient à sa peau*“ — достаточно убедительный ответ. Но тем выше подымаются в глазах потомства гениальные люди, которых нечего прощать. Л. Н. Толстой — величайший из таких людей в истории русской литературы*.

За всю свою жизнь он не сказал власти ни одного слова, которое не было бы проникнуто независимостью и достоинством. Никогда, ни в какую пору жизни, ни при каких обстоятельствах он *не мог* делать и не делал того, перед чем не останавливались другие. Мыслимо ли вообразить Толстого получающим деньги от правительства за свои книги, как Пушкин или Гоголь? Можно ли допустить, чтобы он писал власть имущим письма вроде тех, которые приходилось писать Чаадаеву, Достоевскому? Или представить себе, что он, как Некрасов, с бокалом шампанского в руке декламирует приветствие Муравьеву? Или вообразить Толстого цензором, как Аксаков, Тютчев, Гончаров? Признаюсь, я легче могу представить себе Слипозу полицейским приставом или Капта содержанием ссудной кассы.

Говорят, что Толстой один в России был застрахован от всяких посягательств власти. Но чем же он был застрахован? В 80-х годах его, по словам биографов, спасли от ссылки в Суздальский монастырь родственные аристократические связи. Это, очевидно, неудовлетворительное объяснение. Пушкин был

*Бесчестье века, а не людей (*лит.*).

*Русская политическая история первой половины XIX века может, конечно, с гордостью указать людей, которые представляются самим воплощением достоинства и независимости. Достаточно назвать Николая Бестужева, Лунина, Якушкина. Но в ту пору сохранить незапятнанность в литературе, вечно оценивающей жизнь, было еще труднее, чем в самой жизни; сам Белинский, при всей своей субъективной кристальной чистоте, впадал в грехи, или, по крайней мере, в тяжелые ошибки.

не менее родовитый человек, чем Толстой. Чаадаев, воспитанник екатерининского вельможи, с первой молодости близкий ко двору, принимавший у себя на Ново-Басманной все, что только было знатного в Москве, хороший знакомый Закревского, Васильчикова, Орлова, имел, конечно, более надежные и широкие связи. Однако с ним, как с Пушкиным, не церемонились. Дело, очевидно, не в связях и проекциях.

В. А. Маклаков в своей уже мною цитированной речи дает другое объяснение своеобразной неприкосновенности Толстого, пользуясь красивым образом, взятым из „Князя Серебряного“. „Когда Иоанн Грозный замахнулся копьем на Василия Блаженного, то народ, безмолвно смотревший на казнь царских ослушников, загудел: „Не тронь, в наших головах ты волен, а его не тронь!“ И Грозный опустил руку, он не решился посягнуть на того, в ком было утешение, отрада народа“. Так и с Толстым: „Государство, — говорит В. А. Маклаков, — как воплощение народной мощи, почтительно останавливалось перед этим бесильным старцем, как воплощением народного гения, народной славы, народной любви“. Полно, так ли? Плохая защита — народная любовь: всемирная история достаточно засвидетельствовала правду скорбной иронии Гейне:

Nimmer hatt ich dir geraten,
So zu sprechen vor dem Volke,
So zu sprechen von den Pfaffen
Und von hohen Potentaten!
Teurer Freund, du bist verloren!
Fürsten haben lange Arme,
Pfaffen haben lange Zungen,
Und das Volk hat lange Ohren!*

„Воплощение народной мощи“ никогда не отличалось особой почтительностью: и Пушкин воплощал в себе народный гений, народную славу... К тому же

*Никогда не дам совета
Говорить в подобном духе—
Говорить о папе, клире
И о всех владыках света!
Милый друг мой, я не в духе!
Все попы длинноязычны,
Долгоруки все владыки,
А народ весь длинноухий! — Пер. с нем. Ю.Тынянови.

Толстой в 80-х годах, когда над ним сгустились особенно мрачные тучи, еще не был признан тем, чем он стал в конце своих дней, — драгоценнейшим сокровищем, величайшей гордостью нации. Тогда он был только знаменитый писатель, а этот титул в России никогда никого не гарантировал от „заточения свободной жизни“, как выражается прохожий в пьесе „От ней все качества“.

Толстой импонировал власти не тем, что на нем сосредоточивалась народная любовь, или, во всяком случае, не одним этим. Во всей его фигуре в наиболее кроткие времена было что-то такое, что внушало самым бесперемонным людям уважение, смешанное с робостью. Так князь Андрей Болконский умел осаживать „бурбонов“, не говоря резкостей, как в беседе с Аракчеевым, или даже не произнося ни одного слова вообще, как при встрече с Бергом на смоленском пожарище.

„— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ничего не... прошу, Ваше Сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей.

Глаза Аракчеева обратились на него.

— Садитесь, — сказал Аракчеев. — Князь Болконский?

— Я ничего не прошу...“

Не в этом ли часть секрета? На всем облике Толстого читалась холодная, равнодушная надпись: не подкупите. Не о деньгах, конечно, тут идет речь, — ими не купишь очень многих...

Политическая заслуга Л. Н. Толстого не замыкается в пределах России: он во всем мире поднял до небывалой высоты достоинство писательского звания. Другой писатель — граф Вилье де Лиль-Адам — говорил, что в наши дни единственная подлинная слава — это слава литературная. Благодаря примеру Толстого мысль Вилье перестала казаться смешным преувеличением. Нет такого писателя, большого или малого, который при воспоминании об авторе „Хаджи-Мурата“ не испытывал бы чувства профессиональной гордости. История может назвать еще нескольких людей, которые единственно силой пера заняли в мире при жизни положение, сходное с положением Толстого: Вольтер, Гёте... других, кажется, нет. Но в смысле независимости и собственного до-

стоинства им до Льва Николаевича бесконечно далеко.

Вольтер, царь мысли XVIII века, в буквальном смысле слова пресмыкался перед сильными мира, засыпал их в письмах лестью поразительной, непонятной грубости. Он уверял Екатерину, что она учнее всей Академии наук вместе взятой, клялся, что при взгляде на ее портрет глаза его наполняются удивлением, а сердце восторгом, говорил, что его мечта — быть похороненным в каком-нибудь уголке Петербурга, откуда он мог бы смотреть, как она ходит под сенью триумфальных арок, увенчанная лаврами и оливковыми ветвями*. При этом в конце письма он редко забывал попросить ее о каком-либо одолжении для себя или для своих приятелей. Он млел от восторга, слушая французские вирши Фридриха, над которыми хохотал в своей компании; получал от их автора жалованье и с полной готовностью присутствовал при сожжении одной из самых блестящих своих сатир в камине просвещенного короля; за глаза называл Фридриха не иначе, как Люком, — по имени своей сварливой обезьяны, а в глаза и в своих великолепных, бесстыдных письмах величал его Северным Соломоном... В сущности, Вольтер даже не подличал в письмах подобного рода: веселые нравы веселого пира перед чумой — XVIII века — вполне допускали этот ныне выводящийся литературный жанр.

Гёте не таков. Ему бы в голову не пришло грубо до наглости льстить сильным мира в глаза, издеваться над ними за глаза. Но он любил атрибуты их величия наследственной любовью, всеми инстинктами старинного немецкого бюргера. Получив от Карла Августа звание тайного советника, Гёте искренно до наивности чувствовал себя „как во сне“ — „so wie im Traum“. Он очень приятно коротал вечера в замке своего покровителя, но в 1806 году с полной готовностью проводил в этот замок авангард наполеоновской армии, огорчаясь во французском нашествии главным образом тем, что поставленные в его дом солдаты причинили ему много беспокойств и на две тысячи талеров расхода. Он прекрасно ладил с Кар-

*Lettres de Voltaire, 1773—1775.

лом Августом, но так же хорошо поладил с Наполеоном; поладил бы, вероятно, и с Лафайетом, хотя революционеров недолюбливал:

Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider,
Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich.*

Гёте нужен был для спокойствия комфорт, а для комфорта сильные мира, и, чтобы угодить последним, он, применяясь к обстоятельствам, очень охотно писал пьесы вроде „Der Bürgergeneral“⁴, высмеивающие Великую революцию, значение идей которой он один из первых прекрасно понял и оценил.

Все эти мелкие черты совершенно отсутствуют в Л. Н. Толстом.

Покойный Н. К. Михайловский в своей статье о Глебе Успенском дал следующее определение понятий „чести“ и „совести“. „Совесть, — говорит он, — требует сокращения бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы, убивает ее посетителя, если он не в силах приписать, урезать себя до известного предела; честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения переходят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я виноват, я хуже всех, я педостоин; человек возмущенной чести говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин. Работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права“^Δ.

Толстой, бесспорно, образец человека „совести“. В его художественных творениях честь представлена, кажется, только Андреем Болконским, да еще революционером Меженецким в рассказе „Божеское и человеческое“; совесть, напротив, насчитывает целый ряд представителей во главе с излюбленным героем Толстого Нехлюдовым. Равным образом, в публицистике и в личной жизни великого писателя элементы совести совершенно подавляют честь (разумеется, в

*Все эти апостолы свободы, они всегда были мне противны. В конечном счете, они стремились к власти для самих себя (нем.).

⁴„Генерал бюргеров“ (нем.).

^ΔН. К. Михайловский, Сочинения. СПб., 1897, т. V, стр. 115.

том значении этого слова, которое придавал ему Михайловский). Однако всякий раз, когда Толстому приходилось сталкиваться с представителями власти или сводить с ними в романах людей, пользующихся его симпатиями, совесть отлетала мгновенно и бесследно, уступая место резко выраженной чести. В этом отношении Нехлюдов почти не отличается от князя Андрея Болконского.

Когда герой „Воскресения“ получил деловое письмо от вице-губернатора Масленникова за подписью „любящий тебя старший товарищ“, под которой „был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк“, он выразился очень лаконически и совершенно не по-толстовски: „Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове „товарищ“ он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то что считал себя очень важным человеком, думал если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, пазывая себя его товарищем“.

И не только Болконский, не только Нехлюдов, но и Вронский, представляющий не честь и не совесть, а лишь одно безукоризненное „comme il faut“, которое когда-то правилось Л. Н. Толстому, чувствовал себя очень нехорошо, будучи приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу. Принц „был ровен и неискателеп с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его.

„Глупая говядина!..“ — думал он“.

Напротив, в людях, явно антипатичных Толстому, он, где только было можно, подчеркивал черту, прямо противоположную той, которая вырисовывается в приведенных выше отрывках.

Вице-губернатор, „дурак“ Масленников, при встрече с Нехлюдовым оказался „в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом. Всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как

хозяин погладит, потреплет, почесет ее за ушами. Опа крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников“.

Та же угодливость подчеркнута в характере Берга, Друбечкого, графа Чарского, Алексея Александровича Каренина. Этот последний на скачках „подходил к беседе, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она (Анна) знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны“.

Они отвратительны и самому Л. Н. Толстому. В данном случае биографический материал гораздо характернее, чем данные художественных произведений великого писателя. К сожалению, этого материала нельзя использовать... Любопытно, что, излагая в самых общих чертах биографию своих ближайших предков, Лев Николаевич не забыл отметить в них черту независимости, которая так сильно была развита в нем самом.

„Про деда (князя Н. С. Волконского), — рассказывает Толстой с видимым удовольствием, — я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: „С чего он взял, чтобы я женился на его б...“. За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку...“ (I, 257).

По нашим теперешним понятиям о чести, предложение, сделанное князю Потемкиным, было действительно своеобразное и ответ Волконского вряд ли кого удивит. Но в ту эпоху дело представлялось совершенно иначе; та же Варенька Энгельгардт прекрасно вышла замуж за человека, носящего другую знаменитую фамилию, — за князя С. Ф. Голицына, который по этому случаю получил множество наград и отличий. При таких условиях ответ Н. С. Волкон-

ского свидетельствует об исключительной в данном кругу щепетильности в вопросах чести, и опала князя представляется вполне естественным результатом его необычайной дерзости. Этот самый дед Льва Николаевича послужил, как известно, прообразом для старого Болконского в „Войне и мире“, который велел специально закидать снегом дорогу в своей усадьбе, расчищенную дворовыми для проезда министра Курагина.

„Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он (князь Болконский) своим пронзительным, жестким голосом. — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!.. прохвосты!.. закидать дорогу!..“

„Мой отец, — рассказывает с таким же удовольствием Лев Николаевич, —...как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов... был не то, что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил нигде, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительству Николая Павловича“. „За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним“ (I, 262-3).

Приведенная характеристика до известной степени относится к довольно большому периоду жизни самого Льва Николаевича; у него это чувство собственного достоинства на английский манер иногда облекалось в весьма своеобразные и воистинные формы. Когда в 1862 году в доме Толстого, в отсутствие последнего, по случайному поводу жандармы произвели обыск, Лев Николаевич был так возмущен, что решил навсегда покинуть Россию. „Выхода мне нет другого, — писал он, — как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (по-

править дело уже невозможно), или экспатрироваться, на что я твердо решил. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе — и я сам по себе. Я и прятаться не стану, а громко объявлю, что продаю имение, чтобы ехать из России, где нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает...“ В конце письма „сообщая о том, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, пока не найдут, „ежели что спрятано“, — Лев Николаевич добавляет: „У меня в комнате заряжены pistols, и я жду, чем все это разрешится...“*

Неправда ли, этот рассказ звучит довольно дико? Точно в самом деле действие происходит в Англии, конституция которой разрешает гражданам пускать в ход оружие для защиты от незаконных вторжений полиции. Ну где же видано, чтобы мирный российский гражданин намеревался пустить в ход pistols против господ в мундирах небесного цвета, производящих у него обыск? Никому из современников Толстого, наверное, не пришло бы в голову требовать в подобном случае „гласного удовлетворения“ или грозить правительству эмиграцией, хотя бы и не к Герцену[†]. Впоследствии чувство собственного достоинства приняло у Толстого несколько иную форму. Понятие это и вообще растяжимо. Даже граф Чарский или Каренин были бы, вероятно, весьма удивлены, если бы им сказали, что они лишены чувства собственного достоинства. Да у них и в самом деле есть особый род бюрократической чувствительности, который тоже называют достоинством: случись с ними какая-нибудь обидная неприятность в служебном производстве, они подадут в отставку. С другой стороны, современный человек шепетильность князя Н. А. Болконского и его прообраза князя Н. С. Волконского назовет не собственным достоинством, а сословной гордостью, имеющей определенную историческую форму и определенные границы. Тот же

*Бирюков. Цит. соч., т. I, стр. 462.

†Еще удивительнее то, что Толстой, по-видимому, получил тогда желаемое „гласное удовлетворение“. Впрочем, десятью годами позднее Лев Николаевич, как известно, снова собрался эмигрировать: „Я все продам в России и уеду в Англию, где есть уважение к личности всякого человека, а у нас всякий становой, если ему не кланяются в ноги, может сделать величайшую пакость“ (там же, т. II, стр. 238).

князь Болконский, приказавший засыпать снегом дорогу, расчищенную для министра, в одной из самых удивительных по художественному совершенству сцен „Войны и мира“ так вспоминает ночью свою молодость: „Ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он — молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и *жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его*“.

Князя Андрея, который является носителем современных понятий чести, уже очень мудроно представить себе завидующим „любимцу“. А сам Л. Н. Толстой, живший последние годы по календарю XXI века, теоретически не найдет, пожалуй, настоящего достоинства и в князе Андрее. Но, в сущности, различие между ним и князем Андреем в данном случае очень невелико.

Между совестью Толстого и средней совестью людей нашего времени — огромная дистанция. Толстой называл братом Азефа, ласково отвечал той милой даме, „русской матери“, которая прислала ему по почте намыленную веревку с деликатным письмом, старался любить крыс, серьезно скорбят о том, что их любить трудно. До этой ступени совести современному человечеству очень далеко; здесь различие даже не количественное, а качественное: это какая-то новая форма практической морали. Но для чести Толстой не нашел новой формы; он искал ее в гипертрофированной совести, а там ее нет, и это — большая трагедия. Чувство чести не мирится ни с ангельской кротостью, ни с подставлением другой щеки. Ему не должно быть места в обиходе сторонников толстовства. Но Лев Николаевич своей жизнью доказал — на фактах останавливаться нельзя, — что оно все-таки туда входит и почти в той самой форме, в которой честь проявляется у князя Андрея Болконского. Жизнь сплошь и рядом ставит людей в такое положение, когда неминуем конфликт между гипертрофированной совестью, требующей подставления другой щеки, и элементарной честью, запрещающей принимать удары даже по первой щеке. Тогда в спор властно вмешивается эстетика, — и победа обеспечена чести в сердце живого человека.

ХІ.

В воспоминаниях гр. И.Л. Толстого* есть рассказ о литературной забаве, которая в свое время происходила в Ясной Поляне. Всякий из участвовавших должен был письменно высказать свой идеал. Когда очередь дошла до Льва Николаевича, он ответил: „Сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал...“ Как странно! Люди вообще боятся кризисов; человека, меняющего убеждения, клеймят обидным прозвищем ренегата. О, конечно, тут есть оттенки: для реакционеров ренегат — Белинский, а Катков — честно эволюционировавший ум; для либералов — наоборот. Но для всех перемена убеждений составляет неприятную страницу жизни. В автобиографиях ее обыкновенно затушевывают, в биографиях сопровождают отпущением греха. А вот Лев Николаевич перемену убеждений открыто ставит в заслугу, больше того, уверенно относит ее к недостижимой области идеала.

Да и в самом деле, прекрасное зрелище — аутодафе, устроенное Толстым в эпоху кризиса. Мощный ум сбрасывает с себя одну за другой столетиями кованные цепи, которые тяготят его, как тяготят всех живущих людей — больших и малых. То, с чем связаны десятки лет жизни, то, к чему обязывают могилы предков и живые образы ближних, все, все приносится в жертву богу истины, все подвергается беспристрастному, беспощадному анализу. Стремительный поток мысли прорвал плотину предрассудков и слепых верований. Никогда еще принцип декартовского сомнения не проводился в жизнь с такой неутомимой последовательностью*.

Мы приурочиваем кризис Толстого к концу семидесятих и началу восьмидесятих годов. Впрочем, критика давно уже указала, что на самом деле он начался гораздо раньше. Как вулканическим переворотам предшествуют медленные процессы, протекающие в недрах земли, так и кризисам великих людей предшествуют годы интенсивной, хотя и малозамет-

* „Русское слово“ за 1913 г.

*Я здесь имею в виду Толстого, как догматического мыслителя и социолога.

ной, душевной работы. Толстой же вдобавок отличался особой медленностью этих подготовительных реакций. Для того, например, чтобы освободиться от детской веры, ему предварительно оказалось нужным года три исполнять все мельчайшие ее предписания. Любой гимназист достигает того же результата в один день, прочтя томик Писарева или Бюхнера. Таким образом, можно с известным правом сказать (да это и говорилось в литературе), что кризис намечался уже в первых произведениях Толстого. Вопрос в том, когда он окончился. В сущности, вся жизнь великого писателя представляла собой сплошной кризис, который в начале восьмидесятых годов принял лишь наиболее острую форму. В эти годы изменились социальные воззрения Толстого, а они всегда заметнее других. Да и переход здесь был уж очень резкий: индифферентный с оттенком консерватизма русский помещик стал „левее“ левейших потрясателей основ*... Но трудно допустить, что душевный рост автора „Крейцеровой сопаты“ получил окончательную, неизменяемую форму за четверть века до его кончины. Зная Л.Н. Толстого, зная его прошлое вечной душевной борьбы, вечных исканий, вечных увлечений, вечного недовольства, можно ли предположить, чтобы последние 25 лет его жизни были временем спокойствия, уверенности и тишины? Естественное чувство правдоподобия не мирится с этим допущением: Лев Толстой не мог успокоиться ни на какой философской системе“.

А между тем он не раз говорил, что доктрина, названная его именем, принесла ему полное удовлетворение духа. Во имя этой доктрины он громил мирскую ересь с самоуверенностью человека, который твердо знает последнюю истину. Эту уверенность своего учителя толстовцы отмечают с полным правом. Их можно было бы, впрочем, спросить: в какую

*Так по крайней мере утверждает знаменитейший представитель современного социализма. „Толстой, — говорит Жорес, — был в известном смысле новатором необычайной силы, по сравнению с которой революционный социализм кажется робким и рутинным“ (Jean Jaurès. Tolstoï. Les Droits de l'Homme de 12 Mars 1911).

*„Вас гордыня дьявольская обуяла, что вы знаете истину, — сказал Толстой одному лицу, обязанному знать истину по своей профессии. — *Мне вот 80 лет, и я до сих пор только ищу истину...*“ (Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 62).

пору своей жизни Толстой не был уверен в себе, в своей правоте? В те времена, когда он верил еще не в христианство, не в неппротивление, не в „нада бут добрум“, а в *сomme il faut*, в ногти и в штрипки, он во имя этих убеждений громил и отлучал людей совершенно так же, как позднее во имя толстовства. Самоуверенность — дар Божий, не зависящий от верований и доктрины. В людях, подобных Толстому или Шопенгауэру, она столь же естественна и прекрасна, как нелеп и смешон апломб дурака.

Среди героев художественных произведений Толстого есть одно лицо, жизнь которого поразительно точно выражает историю самого Льва Николаевича. Это русский Фауст, князь Андрей Болконский, один из самых совершенных образов мировой литературы. Разумеется, я говорю не о сходстве биографических фактов (хотя и оно наблюдается), а о сходстве душевных настроений. Князь Андрей умирает 33 лет от роду; его жизнь проходит перед нами лишь на протяжении семилетнего промежутка времени. Но за этот короткий срок он меняется несколько раз, переживает не одно мировоззрение. Недаром ему так доставалось от людей твердых взглядов; значительная часть критики отнеслась неблагосклонно к герою „Войны и мира“. Я не говорю уже о Навалихине; этот либеральный писатель, точно родившийся от брака Степана Трофимовича Верховенского с Марией Васильевной Войницкой, почтенной матерью дяди Ваши, называл Болконского тупым, скудоумным человеком с грязным взглядом на жизнь. Для Д. С. Мережковского князь Андрей — „очень благородный, но не очень умный неудачник“. Он — „неудачник“ и для другого критика Толстого, для генерала Драгомирова. „Жаль его, — говорит о Болконском этот военный писатель, — человек честный, до известной степени; пожалуй, даже способный и с характером, но практически пустой.., ко всему способный, ни на что не годный...“ Одним словом, князь Андрей никому не угодил: либералу Навалихину тем, что был военный и князь; Мережковскому — тем, что не придерживался его философского учения; наконец, генералу Драгомирову не угодил тем, что не дослужился до генеральского чина. Старое правило Козьмы Пруткова „если хочешь быть красивым, поступи в гусары“

еще не утратило обаяния в критике. Кто не гусар, тот не красив, тот — неудачник. Кем же, впрочем, и быть князю Андрею? Там, где Друбецкие и Берги удачники, Болконским, кроме роли неудачников, ничего не остается; и если бы случайность судьбы не бросила героя „Войны и мира“ под осколок французской гранаты, он, быть может, окончил бы свои дни еще гораздо „неудачнее“: 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости.

Князь Андрей проходит последовательно те же стадии развития, которые пережил сам Л. Н. Толстой. В первых сценах романа он — светский денди, „с усталым, скучающим взглядом“, насквозь проникнутый сознанием своего сословного и личного величия; он беспрестанно жмурится, морщится, произносит французские слова „le général Koutouzoff“, ударяя на последнем слоге zoff, как французы, а по-русски выражается сухо-неприятно: „па-азвольте, сударь“. А вот как описывал Тургенев г-же Головачевой-Панаевой самого Льва Николаевича в ту пору, когда последнему было 27 лет, — ровно столько, сколько князю Андрею в начальных сценах „Войны и мира“: „Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством“*. „И Тургенев, — прибавляет несколько дальше г-жа Панаева, — принялся критиковать каждую фразу Толстого, тон его голоса, выражение лица“. Нет надобности прибавлять, что Тургенев так же ошибался насчет Льва Николаевича, как петербургский свет — насчет князя Андрея; но видимость у обоих была одна и та же... Далее, на войне, юнкер Толстой мечтает о Георгиевском кресте; адъютант командующего войсками Болконский — о высшем военном poste; по существу это одно и то же. Оба проходят через период совершенного отрицания жизни: князь Андрей в 1807 году, Толстой в 1862 году. „Единственно возможное счастье есть счастье животное“, — говорит князь Андрей (V, 90). „Я... бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью“ (XV, 12), — рассказывает

*Бирюков. Л. Н. Толстой, т. I, стр. 278-9.

в „Исповеди“ Толстой. Оба недолго увлекаются общественной деятельностью. Князь Андрей пишет со Сперанским „волюмы законов“, как иронически выражается старый князь. Толстой служит мировым посредником и учит грамоте ребят. Оба понемногу занимаются филантропией: князь Андрей отпускает в вольные хлебопашцы мужиков небольшого имения, которое, по его словам, „ничего не приносило дохода“ (V, 132). Толстой подписывает записку о необходимости освободить крестьян с землею под условием „полного, добросовестного денежного вознаграждения“ помещиков*. Оба очень скоро разочаровываются в общественной деятельности и в филантропии. На обоих оказывает подавляющее влияние смерть близкого человека. Оба переживают неудачные романы: князь Андрей с Наташей Ростовою, Толстой с госпожой В. А.[†]. Затем они расходятся, чтобы снова встретиться в мировоззрении последних дней.

„Чем больше он (князь Андрей)... вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить эту земною жизнью“ (VII, 50). В последние свои годы Толстой любил всех и все, вплоть до Азефа, вплоть до крыс. Жил ли он „эту земною жизнью“?

„В словах, в тоне его (князя Андрея), в особенности во взгляде этом — холодном, почти враждебном взгляде — чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал все живое...“ (VII, 47). А сам Толстой? Любя людей своей нездешней любовью, он вместе с тем был недалеко от мысли, что все они умственно больные. Он и говорил с нами, как психиатр со своими пациентами: мягко, осторожно, стараясь приноровиться к нашим мыслям, избегая раздражений, отводя наши помыслы от тяжелых или острых предметов, которыми можно поранить себя и других. „Если Евгений Иртенев, — замечает Толстой

*Там же, т. I, стр. 341.

†Там же, т. I, стр. 300-311. Очерк „Печоринский роман Толстого“ о взаимоотношениях Л.Н.Толстого с В.В.Арсеньевой опубликован во 2-й книге нашего собрания сочинений. — *Прим. ред.*

в заключительной фразе „Дьявола“, — был душевнобольной тогда, когда он совершал свое преступление, то все люди также душевнобольные. Самые же душевнобольные это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят...“

Шопенгауэр говорил, что быть одному здоровому среди тысячной толпы душевнобольных — то же самое, что иметь верные часы в городе, где все часы идут неверно. Участь в этом роде выпала на долю Л. Н. Толстого. Может быть, его часы верны, а наши — отстают на сто, на тысячу лет. Но у нас нет других часов, да мы и не могли бы жить по другим. Человек способен делать свое дело при тусклом свете грошевой свечи, но он еще не научился работать при ослепительном блеске молнии. А толстовское размягчение — та же молния, мгновенная, яркая, бесследная... Князь Андрей уверовал на Аустерлицком поле в „высокое, справедливое, доброе небо“ и по сравнению с ним жалок ему показался маленький Наполеон с мелким тщеславием и радостью победы. Но когда прошло „ослабление сил от истекшей крови“, когда исчезло „близкое ожидание смерти“, князь Андрей вернулся к обычной жизни человека. Вместо Наполеона место в его уме занял сначала Сперанский, который по сравнению с небом еще ничтожнее и меньше, а затем Наташа Ростова и ее случайный атрибут — Анатолий Курагин. Это не могло быть иначе. Человеку надо жить, а для живого неверно то, что, быть может, справедливо для умирающего. „Как же я не видал прежде этого высокого неба? — спрашивал себя тяжело раненный князь Андрей. — И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него“. Умирающий князь Андрей прав, живой — он в заблуждении: не все пустое, не все обман. А если даже и так, то нельзя живому человеку забираться на те высоты, откуда Наполеон кажется меньше малой букашки.

„Хорошо бы это было, — думал князь Андрей, — ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был,

ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это! Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего, — говорил он сам себе, — или это тот Бог, который вот здесь зашит в этой ладонке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнеего!“

„Хорошо бы это было...“ — думает князь Андрей. Да, и в самом деле хорошо бы. Но вполне ли разрешены Толстым сомнения героя „Войны и мира“? „Где искать помощи в этой жизни?“, — спрашивал Болконский. „Я разлюбил Евангелие“, — за четыре месяца до смерти сказал Лев Николаевич*. „Чего ждать после нее, там, за гробом?“ — спрашивает еще князь Андрей... „Возвращения к Любви“, — отвечает Толстой. Одна из самых страшных фантазий Гойи изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то, за пустоту. Подпись гласит одно слово „nada“ — ничто: утомленный жизнью человек ничего не нашел и там, в глубине своей мрачной ямы. Подпись, сделанная Толстым, — „возвращение к Любви“ (хотя бы и с большой буквой в начале этого слова), много ли она лучше, чем nada?

Человеческое мышление придавлено тем пределом, который ограничивает и самую жизнь. Одно из философских настроений должно же быть последним. Но есть ли настоящее последнее для того, чья гордость и мечта — „сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал“? Когда прошлое человека представляет собой длинный ряд созерцаний, сменяющих одно другое в беспрестанном усилии духа, естественно возникает мысль, что такому усилию нет и не будет конца. Конец есть новое начало. Если верить биологам, отдельный индивидуум повторяет своим ростом историю целого вида. Может

*В.Ф.Булгаков. У Л.Н.Толстого. Москва, 1911, стр. 230. Эта фраза, мне кажется, станет для исследователей Толстого таким же камнем преткновения, как „cela vous abêtira („это вас оглупит“ (фр.). — Пер. ред.) для людей, называемых во Франции „les pascalisants“ („паскалявцы“ (фр.). — Пер. ред.).

быть, геккелевский закон осуществляется и в сфере нематериальной: может быть, нам следует искать в истории жизни Толстого скрытый, темный намек на тот путь, который суждено пройти человечеству? Может быть, „через двести-триста лет“ наступит черед „толстовства“. А дальше? Дальше не загадывал и Вершинин... Онтогенезис оборвался; пришла смерть и прервала повесть, под которой смутно виднеется надпись: продолжение следует.

А повесть достаточно таинственна и сама по себе: в недоумении мы останавливаемся перед неразрешимой проблемой Толстого. Эллин, перешедший в иудейство или иудей, проживший долгий век эллином, влюбленный в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько труда критике нечистого разума, гений, рожденный, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым, — Лев Толстой стоит перед нами вечной загадкой. Кто он был на самом деле, этот человек, проживший всю жизнь в стеклянном доме, столь близкий и дорогой каждому из современных людей? Когда свет вечного толстовского солнца падает на бедную призму анализа, он разлагается на тысячу оттенков радуги. Мы изучаем отдельные яркие полосы. Но кто знает все переливы волшебного спектра? Кто постиг тайну единства первоисточника? Кто может сказать, что понял Льва Толстого?

УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

(Философия случая)



ОТ АВТОРА

Форма диалога почти вышла из употребления в философии и даже, быть может, подает если не основания, то повод для упрека в „дилетантизме“. Ей свойственны, однако, и некоторые преимущества. Разумеется, философский диалог имеет мало общего с разговором в романе или в театральной пьесе. Он по природе условен: в жизни люди не говорят длинных речей, не приводят длинных цитат. Автор считает возможным еще усилить условность выбранной им по разным соображениям формы тем, что в подстрочных примечаниях дает ссылки на цитируемые книги. Зато эта форма освобождает его работу от стилистических эффектов, которые в философских книгах всегда казались ему особенно неприятными и недопустимыми. Она может также служить некоторым смягчающим обстоятельством для многочисленных „отступлений в сторону“, составляющих один из важных недостатков книги.

I.

Диалог об аксиомах

Л. В одном из наших разговоров вы употребили выражения „Ульмская ночь“ и „картезианское состояние ума“. Второе, по вашему мнению, лучше звучит по-французски: „Etat d'esprit cartésien“. Не поясните ли вы, что вы под этим разумеете?

А. Об Ульмской ночи вы можете прочесть у Байе. Как вы знаете, этот писатель XVII века, в сущности, единственный настоящий биограф Декарта, — что без него делали бы все другие? 30 августа 1619 года состоялась во Франкфурте коронация германского императора Фердинанда II. Молодой Декарт был там в качестве „туриста“. Ему хотелось „раз в жизни увидеть то, что там происходило, и узнать, как пышно ведут себя на театре Вселенной первые актеры этого мира“, — говорит Байе*. Оттуда он отправился в Ульм. „Он оказался в глухом месте, весьма мало посещаемом людьми, устроил себе одиночество, которое могла ему дать его бродячая жизнь... Целый день он проводил взаперти, в избе, где имел достаточно времени, чтобы собрать мысли. Вначале это была лишь прелюдия воображения. Он смелел постепенно, переходя от идеи к идее. Свобода, данная им своему, не встречающему препятствий гению, заметно привела его к опровержению всех других систем. Он решил раз навсегда отделаться от всех своих прежних взглядов... Огонь овладел его мозгом. Он впал в состояние восторга... его стали посещать сны и видения. Декарт говорит нам, что 10 ноября он лег

*Adrien Baillet. Vie de Monsieur Descartes, Paris, s.d., pp.29-38. (Первое издание этой книги вышло в 1691 году.)

спать в состоянии крайнего энтузиазма. Ему показалось, что в этот день он постиг основы изумительной науки. Ночью ему спилось... что Бог указывает ему дорогу, по которой следует направить жизнь в поисках правды...“ „Можно было бы подумать, — добавляет наивно Байе, — что он вечером выпил перед тем, как лечь спать. И действительно, это был какуп дня святого Мартина, когда и там, как во Франции, люди обычно кутят. Но он уверяет нас, что провел день в трезвости и в последний раз пил вино за три месяца до того...“ Сокращаю цитаты и прошу вас извинить неуклюжесть перевода: я здесь, как и в дальнейших переводах, приношу слог в жертву дословности. Осталась и краткая, не очень попятная, запись самого Декарта об этой ночи 10 ноября: „Cum plenus forem euthusiasmo et mirabilis scientiae fundamenta reperirem“. И еще — по-видимому, о той же ночи: „Coepi intelligere fundamenta inventi mirabilis“.* Больше ничего, никаких разъяснений. Как вам известно, он был таинственный человек. Говорил: „bene vixit bene qui latuit“ — „хорошо жил тот, кто хорошо скрывал“. Быть может, он в Ульмскую почь сделал величайшее из своих научных открытий: открыл аналитическую геометрию. Но еще гораздо вероятнее предположение, что ему тогда впервые представилась вся созданная им позднее философская система. Возможно, в связи с ней он наметил и свою жизненную программу, маленькой частью которой позволительно считать и только что приведенное мною латинское изречение. По-моему, все это могло произойти одновременно, — у него ведь все было связано, от его интереса к розенкрейцерам до великих математических открытий. Во всяком случае, тут остается место для фантазии исследователей. А это отчасти может оправдать несколько произвольный, отрывочный характер нашей первой беседы, которую я считаю как бы введением: мы пополе должны будем в ней перебрасываться от одной темы к другой, оставляя обоснование для следующих бесед. Если мое понимание Ульмской почь пра-

* „Когда я был полон восторга и открыл основы изумительной науки“... „И начал я понимать основы открытия изумительно-го“. — *Пер. с лит. автора.* (Œuvres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Paris, vol.X, p.179.)

вильно, то первый связанный с ним вопрос относится к основному, к тому, из чего все вытекает: к *аксиомам* в разных областях. Существуют ли они? Как их теперь понимают или как должно было бы понимать? Что от них осталось? Это вопрос важнейший и не только в картезианстве. Мы его вынуждены будем коснуться уже в первой беседе, и я заранее прошу извинить и ее беглый характер, и краткие ссылки на мнения авторитетов, и обилие цитат, которое может (боюсь, справедливо) показаться вам неприятным. Другого выхода у меня нет. В разговоре с ученым специалистом я, естественно, хочу избежать упрека в „дилетантизме“ и в том, что черпаю сведения „из вторых рук“.

Л. Соглашаюсь и на это, хотя, при некоторой недоброжелательности, именно в обилии, а не недостатке цитат можно порою усмотреть признак дилетантизма. Правил нет, и это никакого значения не имеет. Думаю, однако, что по тем сведениям об Ульмской почве, которые вы привели, довольно затруднительно говорить о „картезианском состоянии ума“. Между тем, вы, очевидно, склонны были бы сделать место паломничества из той избы, где Декарт провел эту почву, — если б это место было точно известно. Его приведенные вами записи можно толковать более просто и более узко: вероятно, дело шло именно о каком-либо одном научном, скорее всего математическом, открытии.

А. Тогда он не говорил бы об „опровержении всех других систем“ и об „отказе от всех своих прежних взглядов“. Да и топ этих записей, вероятно, был бы менее вдохновенным.

Л. У знаменитых ученых, особенно у математиков, даже у не столь великих, как Декарт, бывали минуты вдохновения, довольно близко напоминающие эту. Кантор в 1882 году писал Дедекинду: „Как раз после наших недавних встреч в Гарцбурге и Эйзенахе, по воле всемогущего Бога, меня озарили самые удивительные, самые неожиданные идеи о теории ансамблей и теории чисел. Скажу больше, я

нашел то, что бродило во мне в течение долгих лет*. Давно известно, что вдохновение ученого по природе не так уж отличается от вдохновения писателя или музыканта... Но предположим, что и „картезианское состояние ума“ создано в ту же ночь. В чем же оно заключается и должно ли вас считать сторонником Декарта?

А. Я только один из его наиболее ревностных поклонников. В парижской Sainte Chapelle показывают статую с опущенной головой; согласно легенде, она когда-то была прямой, но благоговейно опустила голову, когда в этой часовне Дунс Скот истолковал один из самых важных и сложных догматов. Я вспоминаю эту легенду, читая некоторые написанные Декартом страницы. В них, по-моему, достигла высшего напряжения научная и философская мысль, та способность пристального внимания, которую он считал главной особенностью научного творчества (кстати сказать, Толстой считал ее главной особенностью творчества художественного). После Декарта начинается спад. Снижение даже — Спиноза, Юм, Кант, Шопенгауэр, обычно забываемый Курно. Но „системы“ Декарта больше нет. Да и в прошлом определить ее было бы не так легко. Курсы по истории философии сделали из этого человека машину для производства силлогизмов, „воплощение логики, ясности“ и т. д. В школьных учебниках часто признаются картезианскими все общие места. Декарт отнюдь не всегда образец „ясного“ рассуждения. Конечно, „Discours de méthode...“^а, — особенно его первая глава, — шедевр и в этом отношении. Но *так* он писал не часто. Современники, напротив, считали его „очень темным философом“, да он и сам в письме к переводчику „Принципов философии“ советовал всем читать его книги по три раза, — причем в первый раз „так, как читают роман“ (что было бы довольно трудно). Вы не потребовали бы, даже от картезианца, приятия всех идей „Méditationes“^а, те-

*Jean Cavailles, Préhistoire. La création de Kantor, Paris, 1938, p.63.

^а „Рассуждение о методе...“ (фр.)

^а „Méditationes de prima philosophia...“ — „Размышления о первой философии...“ (фр.)

ории вихрей или бесчисленных научных утверждений и гипотез, так щедро рассыпанных в 212 параграфах „Les passions de l'âme“*. К тому же Декарт, как и Платон, давал в своих книгах все, вплоть до житейских медицинских указаний, объяснял, например, в них, отчего люди полнеют, отчего хуреют. Разумеется, он и сам не все свои теории считал вечными истинами. Его книги как бы гениальная увертюра оперы; в них намечены мелодии философского и научного мышления трех столетий.

Л. Вы предложили считать нашу нынешнюю беседу чем-то вроде введения. Я ничего против этого не имею: хотел бы с самого начала понять сущность вашей „философской системы“.

А. Конечно, вы употребляете эти два слова в ироническом смысле и вы совершенно правы, но правы не только в отношении меня. Я несколько сомневаюсь, чтобы можно было бы в наши дни построить „стройное мировоззрение“. То же, что вы называете моей „философской системой“, строится на идеях *случая и борьбы с ним, выборной аксиоматики и греческого понятия „Красота-Добро“*. О каждой из этих идей мы должны будем говорить особо.

Л. Считаете ли вы эти три идеи картезианскими?

А. Идею случая ни в какой мере. Идея „Красоты-Добра“ создалась за два тысячелетия до Декарта. Что же касается выборной, „произвольной“ аксиоматики, то, как мне кажется, он не раз ей следовал и в своих научных, и в своих философских работах (если у него можно отличать первые от вторых). В аллегорическое понятие Ульмской ночи я ввожу лишь дух его книг.

Л. Я предпочел бы начать с разъяснения идеи произвольной аксиоматики. По-моему, не только Декарт не высказывал этой мысли, но ничто не может быть более, чем она, чуждым самой основе картезианства. Эта основа достаточно известна: пытлиное

* „Герзания души“ (фр.).

методическое сомнение, беспредельная вера в разум, отрицание всяких „тайных свойств“, необходимость проверять каждое положение, постановка слова „ergo“* перед, казалось бы, достаточно очевидным „sum“^а, стремление к „Mathématiques universelles“^а.

А. Об Универсальной математике Декарт говорит в „Правилах для руководства разумом“. Я очень рад, что вы сослались именно на эту книгу. Это, по-моему, после „Discours“ самое замечательное из всех произведений Декарта. Она выше даже „Принципов философии“, неизмеримо выше „Méditations“. И в ней, как, впрочем, во многих других его произведениях, кое-что приходится читать между строк.

Л. Я предпочел бы между строк не читать и говорить только о том, что в книге действительно написано. В ней чуть ли не в самом начале сказано: „Всякая наука представляет собой знание достоверное и очевидное“^б. В „Принципах философии“ Декарт идет еще дальше. Он говорит, что было бы весьма полезно считать *ложным* все, подлежащее хотя бы какому бы то ни было сомнению^в.

А. Таков был его *метод* работы. Однако, поскольку дело касается *существа* знания, вы не только между строк, но и в строках „Правил для руководства разумом“ прочтете совершенно иное. Основное положение этой книги: „Единственные науки, свободные от лживости и недостоверности, это арифметика и геометрия“. Но это положение тотчас, в том же самом „Правиле II“, ограничивается: арифметика и геометрия лишь гораздо более достоверны, чем другие науки. И в сущности, главная гарантия их достоверности следующая: их положения чрезвычайно просты и чрезвычайно ясны. Эта мысль проходит и через другие книги Декарта: „верно“ то, что ясно и просто. Дальше же о науке высказываются

*„Вследствие“, „значит“ (лат.).

^а„Я существую“ (лат.). Имеется в виду известный постулат Декарта „Cogito ergo sum“ — „Я мыслю, следовательно я существую“. — Прим. ред.

^б„Универсальная математика“ (фр.).

^вDescartes, Règles pour la direction de l'esprit, Règle II.

^дDescartes, Principes de la philosophie, I, 2.

мысли горькие и иронические: „Я не придавал бы большого значения этим правилам, если б они были полезны лишь для разрешения суетных (vains) проблем, которыми имеют привычку забавляться в свои досужие минуты Вычислители (les Calculateurs) и Геометры. Если б это было так, то я думал бы, что мне удалось только заниматься пустяками, быть может, с большей тонкостью, чем это делали другие...“ „Нет более пустого занятия, чем заниматься бесплодными числами и воображаемыми фигурами до такой степени, чтобы казаться замкнувшимся в познании подобных пустяков“*. Это говорит один из величайших математиков всех времен. Заметьте, „Правила для руководства разумом“, по-видимому, одно из последних произведений Декарта. Оно осталось незаконченным и было напечатано лишь через полстолетия после его кончины. Есть основания думать, что оно должно было заключать в себе результат всей его мудрости. Но в течение всей своей жизни он сыпал гипотезами и теориями с такой легкостью, с какой этого никто из великих ученых никогда не делал ни до него, ни после него. Это было бы трудно понять, если не допустить, что он не очень верил в вечные аксиомы, что он считал все гипотезы и теории очень способствующими развитию науки. Паскаля чрезвычайно раздражали многочисленные, порою ни на чем не основанные и, как ему казалось, совершенно не пужные теории Декарта. В одной из отрывочных, кратких записей, вошедших в „Мысли“, сказано: „Написать против тех, кто слишком углубляет Науки. Декарт. Не могу простить Декарту: он очень хотел бы во всей своей философии обойтись без Бога, но ему пришлось сделать так, что Бог дает щелчок для приведения мира в движение. А после этого ему больше нечего делать с Богом... Декарт бесполезен и недостоверен. Надо сказать в общей форме (en gros): „Это происходит посредством фигур и движения, ибо это правда. Но объяснять, какие, и составлять машину, это смешно. Ибо это бесполезно, недостоверно и тягостно“#. Из последних строк этой заметки, сокращенно сделанной для будущей работы, в девятнадца-

*Указания на эту сторону картезианства есть у Мальбранша (De la recherche de la vérité, Œuvres, Paris, vol.IV, p.355.)

#Pascal, Pensées, 77, 78, 79 (по классификации Брюншвига).

том веке создано учение Эрнста Маха, быть может, самое стройное методологическое учение в истории науки, — принцип экономии мысли.

Л. От него теперь ничего не осталось. Но, действительно, если уж говорить об аксиомах, то вы должны начать с математики, с точных наук и их методологии.

А. Как видите, Паскаль, человек не слишком позитивистического склада ума, в этом несостоявшемся споре оказался позитивистом *avant la lettre**. Маховский принцип экономии мысли, как мы увидим дальше, был, по существу, только частным случаем эстетического подхода к науке: простота одна из форм „красивого“. Вы правы в том, что новейшая физика, физика двадцатого столетия, пошла по пути Декарта, а не Паскаля. Хорошо ли это или нет, покажет будущее. В 1910 году произошла острая, необычно резкая полемика между Махом и Планком^а, касавшаяся атомной теории и относительности движения. „Мах, — писал Плапк, — не верит в реальность атомов. Быть может, со временем он или один из его учеников разовьет более плодотворную („leistungsfähiger“) теорию, чем нынешняя... Я несколько не буду удивлен, если один из сторонников Маха сделает великое открытие: реальность атомов именно и вытекает из экономии мысли. Тогда все будет в совершеннейшем порядке, атомная теория будет спасена, и вдобавок окажется еще специальное преимущество: каждый будет в состоянии понимать под словом экономия все, что ему будет угодно“^а. Так, кстати, оно и случилось. По этому вопросу Планк (а за ним отдаленно Декарт) одержал полную победу. Атом стал реальностью, и некоторые антиатомисты, вроде Вильгельма Оствальда, признали свою ошибку. Иначе обстояло и обстоит дело с идеей относительности движения. Плапк говорил о „совершенно

*В процессе формирования (*фр.*).

^аСм. более подробное обсуждение этого спора и научной эстетики Декарта в книге автора настоящего труда, *Actinochimie*, Paris, 1936.

^аМах Planck, *Zur Machschen Theorie der physikalischen Erkenntnis*, *Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie*, 34, 1910, p.505.

беспользой для физики мысли“ („der physikalisch ganz unbrauchbare Gedanke“), согласно которой невозможно в принципе решить, вращается ли звездное небо вокруг неподвижной Земли или же вращается Земля. „Теория Маха оказалась совершенно неспособной оценить по достоинству огромный прогресс, связанный с появлением системы Коперника“*. Когда создавалась теория Эйнштейна, ее автор, основательно или нет, признал Маха своим предшественником“. Но вы, повторяю, правы: наука последних тридцати лет идет никак не по пути, указанному Паскалем и разработанному Махом^А. Теперь Декарт торжествует по всей линии. Напомню, что знаменитая его гипотеза о glandula Cartesii^В, 32-я статья „Les passions de l'âme“, была основана лишь на одном, довольно сомнительном, доказательстве: все другие органы человеческого тела имеются в двойном числе: есть две руки, два глаза, два уха — и есть *одна* такая желёзка. Больше ничего. Современные физиологи, вероятно, столь же редко читают Декарта, как врачи — Гиппократы или адвокаты — Юстиниана. Если бы читали, то, вероятно, должны были вздыхать при таком „доказательстве“ — особенно лет пятьдесят тому назад. Теперь же физики бросают гипотезы тоже с весьма большой легкостью. Мы пережили славу и падение эфира, но, быть может, еще увидим его победоносное возвращение... На наших глазах возникли кривое пространство, переход энергии в материю и материи в энергию, самое модное учение о „борьбе с бесконечностью“ — и одновременно с ним признание бесчисленных триллионов обитаемых или необитаемых миров. В последние годы возникла новая наука, радиоастрономия. Оказалось, что в одной туманности Андромеды есть

*М. Planck. Там же, стр. 56.

^ВAlbert Einstein, Ernst Mach, Physikalische Zeitschrift, XVII, p.107.

^АН. О. Лосский в своем основном труде видит в учении Маха (о котором, впрочем, говорит там лишь попутно, уделяя много больше места Спенсеру и Авенариусу) попытку „возродить материалистическое миросозерцание, хотя и с идеалистическим оттенком, неизбежным при допущении интуитивного знания“. (Обоснование интуитивизма, СПб., 1908, стр. 145.) Нельзя не признать, что это замечание чрезвычайно уступает в силе и основательности дапой Н. О. Лосским критике учения Спенсера.

^БКартезианская железа (лит.).

двадцать миллиардов *солнц*. Это должно было бы еще усилить человеческую скромность и непритязательность маленького существа на крошечной песчинке, на той планете Земля, о которой, по забавному замечанию Вилье де Лиль-Адама, „будут еще долго говорить“. Однако все чудеса созданного пять лет тому назад телескопа горы Паломар никак не отразились на нашем „отвлеченном“ мышлении, не отразились и на нашей „большой“ и „малой“ истории, на нашей повседневной жизни, они не мешают нам любить, ненавидеть, веселиться, огорчаться, делать карьеру, сплетничать.

Л. Конечно, не мешают. И не все ли равно, идут ли до земли какие-то волны, отраженные какой-то космической катастрофой, один год или миллионы лет! Действительно это ни на чем не может отразиться, и в самом деле о Земле еще „долго будут говорить“. Во времена Паскаля радиоастрономии не было, а то же чувство было: „Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie“*, — я в этой знаменитой фразе без выводов не люблю последнего слова: оно снижает и музыку, и силу первых слов. Быть может, Декарт и не „боялся“.

А. Но это чувство, вероятно, ослабляло в нем уверенность в прочности научных теорий... Теперь пишут об „атомах времени“, что сказал бы Кант? В наше время „вечность“ физических теорий едва ли превышает двадцать лет. Люди — иногда почти наивно — стремятся к „корню вещей“, и принцип экономии мысли, как в его настоящем, глубоком смысле, так и в вульгарно-позитивистическом („об этом пока незачем думать“ и т. д.) у большинства нынешних физиков отнюдь не в чести. Очень немногие из них требуют, как математик Эмиль Пикар, „возвращения к здравому смыслу“, и совершенно неизвестно, правы ли они... Меня все это здесь интересует лишь из-за корней, идущих от Декарта и его аксиоматики.

Л. Вы говорите об аксиомах так, точно они представляют собой вещь хрупкую, над которой надо сде-

* „Вечное молчание бесконечного пространства меня страшит“ (Фр.).

лать надпись „fragile“*, как на ящиках с севрским фарфором. Впрочем, если б это было и верно, то аксиомы действительно следовало бы кутать и беречь, — аксиомы во всех областях: в государственной жизни „перемена аксиом“ может повлечь за собой потоки крови. Тогда пришлось бы, кстати, ввести и *иерархию* аксиом. Но, к счастью, все это не так. Есть вечные научные истины, есть факты, которые от человеческого сознания и не зависят. Северный полюс был фактом и до того, как его впервые увидел Пири. Внутренние явления человеческого глаза были фактом до того, как в живой глаз впервые в истории заглянул Гельмгольц при помощи изобретенного им зеркала. Точно так же есть и вечные аксиомы. Знаю заранее, что вы сошлетесь на неевклидовские геометрии, и такая ссылка будет неправильна: Лобачевский не отверг аксиом Евклида, он лишь показал, что геометрию можно построить и на других аксиомах.

А. Боюсь, что вы несколько смешиваете понятия. Но ваши слова и ваш пример лишь подтверждают то, что я сказал. В общежитии мы часто, в пояснение истин, говорим: „Это так же верно, как дважды два четыре“. Многим ли, однако, известно, что Лейбниц именно стремился *доказать* это положение: „два плюс два составляют четыре“? А Апри Пуанкаре признал, что Лейбницево рассуждение нельзя считать доказательством: в нем есть только проверка (*vérification*), притом довольно бесплодная... Я лишь потому и позволяю себе — вероятно, к некоторому вашему удивлению — говорить о математических вопросах, что я немало занимался историей точных наук. Эта история, которой сами математики часто пренебрегают, в высшей степени поучительна. В ней же одна глава, история геометрии Лобачевского, точнее, история ее интерпретаций, пожалуй, самая поучительная из всех. Эту главу можно было бы разделить на несколько периодов: 1) Интерпретация первая: Лобачевский — психопат. Не думайте, что я шучу. Другой большой русский математик Остроградский, в ту пору гораздо более известный, чем

* „Хрупкая“ (*фр.*).

создатель „Воображаемой геометрии“, после ее появления заявил, что ее автора надо посадить в дом умалишенных. Такому отзыву, быть может, способствовало то, что о Лобачевском в Казани ходили всякие анекдоты: у него было много причуд, он одевался как оборванец (какой-то иностранец, посетивший Казанский университет, принял его за сторожа и протянул ему на чай серебряную монету, чем привел его в бешенство). На высоту собственно его поставил коронованный король математиков Гаусс, который ознакомился с его работой через четырнадцать лет после ее появления. Конечно, в дом умалишенных Лобачевского не посадили: все-таки это был не двадцатый, а культурный девятнадцатый век. К тому же, правительство Николая I весьма мало интересовалось геометрией и не претендовало на ее понимание. Теперь у нас в России существует правительство, которое понимает геометрию, как и все другое, и очень ею интересуется, как и всем другим. При нем Лобачевского легко могли бы посадить в концентрационный лагерь. 2) Интерпретация вторая: воображаемая геометрия — очень интересный математический фокус. 3) Интерпретация третья: может быть, евклидовский постулат о том, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым, верен лишь для не слишком больших треугольников, а при треугольниках гигантских или же при более усовершенствованных методах измерения прав не Евклид, а Лобачевский, и сумма углов треугольника меньше двух прямых. 4) Интерпретация четвертая, после Бельтрами: геометрия Лобачевского „реальна“ на псевдосфере. 5) Интерпретация нынешняя (после Анри Пуанкаре): спорить о том, верна ли геометрия Лобачевского (или же геометрия Евклида), все равно что спорить, „верна“ ли метрическая система или же лучше в измерениях пользоваться футами и дюймами. Это сравнение, принадлежащее самому Пуанкаре*, впрочем, едва ли очень удачно: метрическая система, почти везде заменившая прежние системы измерения, несомненно удобнее прежних. Здесь же новым словом была геометрия Лобачевского, в гро-

*Henri Poincaré, La Science et l'Hypothèse, Paris, p.67.

мадном большинстве случаев менее удобная, чем геометрия Евклида.

Л. Хронологическая ваша схема не совсем верна: вы не принимаете в расчет геометрию Римана с ее предположением, что сумма углов треугольника *больше* двух прямых. Эта геометрия (Феликс Клейн говорил даже о двух „возможных Римановских геометриях“) очень способствовала успеху идеи русского геометра. Теперь Белл, вслед за Клиффордом, называет Лобачевского „Коперником геометрии“*. Между ним и польским астрономом есть, однако, разница: кажется, никто больше не доказывает, что Солнце вращается вокруг Земли; между тем, по свидетельству Пуанкаре, и в настоящее время многие математики по-прежнему рассматривают воображаемую геометрию как логический курьез, а Французская академия наук еще и поныне каждый год получает работы, *доказывающие* постулат Евклида.

А. Я действительно несколько упрощаю хронологическую схему. Это отчасти связано с тем, что и у самого Евклида вопрос об аксиомах не так уж прост. Сколько их он дал? Он с самого начала говорит о двенадцати аксиомах, но в некоторых дошедших до нас рукописях его труда одиннадцатая и двенадцатая находятся в перечне не аксиом, а вопросов[†]. Едва ли можно сказать с уверенностью, что сам Евклид считал свою аксиоматику *единственной* возможной. Недаром он был учеником Платона. Доказательство посредством „сведения к абсурду“ было приемом Евклида, и *философская* заслуга Лобачевского заключалась в попытке не признавать абсурдом того, что таковым казалось Евклиду и за ним сотне поколений ученых. Теперь нам даже трудно себе представить всю необыкновенную смелость этой попытки: математики с тех пор ушли очень далеко, — не слишком ли далеко? Бертрам Рассел, этот enfant terrible[‡] новейшей научной философии, будто бы сказал (я не пашел у него этих слов и цитирую не по первоисточ-

* E. T. Bell, Les Grands Mathématiciens, Paris, 1950.

† Les Eléments de Géométrie d'Euclide, traduits littéralement par F. Peyrard, Paris, 1809, p. 6.

‡ Ужасный ребенок (*φρ.*).

нику): „Математика — наука, где неизвестно, о чем идет речь, и неизвестно, верно ли то, что утверждается“. Это, конечно, „бутада“*, — хотя без критики Рассела и Уайтхеда теперь о смысле математических наук говорить было бы трудно. Известно ли вам, в каком положении находится математика сейчас? Белл, достаточно компетентный человек, пишет, что ее близкое будущее может предсказать „разве только пророк или седьмой сын пророка“. Споры же новейших математиков и математических логиков и по тону иногда мало отличаются от политической полемики в газетах. Бруер говорил о „преступном поведении“ своих критиков. Не решаюсь упоминать о новейших математических теориях, связанных с именем Бурбаки (я слышал, что это коллективный псевдоним группы математиков. Если это верно, то шутка довольно непонятная: до сих пор математика мопартрских шуток не знала). О них я, по недостаточности познаний, к сожалению, судить никак не могу: пытался читать Бурбаки — и просто ничего не понял. Но остановимся в пределах той математики, которая все-таки успела стать и стала классической. Пеано показал, и Рассел это приписывает^а, что вся теория чисел строится на трех первоначальных идеях (primitive ideas): 0; number; successor^б (из которых, кстати сказать, одной — нуля — древние математики не знали, что не мешало некоторым из них быть великими математиками) и на пяти первоначальных предложениях (primitive propositions). Философский их анализ завел бы нас слишком далеко, но, вопреки Расселу, скажу, что эти предложения, в частности, третье („No two number have the same successor“)^в, философского анализа не выдержат, не выдержат, разумеется, как предложения единственные и обязательные: новый Лобачевский мог бы создать новую теорию чисел. Иду еще дальше. Гильберт произвел в геометрии еще более глубокую революцию, чем Лобачевский, Риман и Больяй. Он оказал огромную ус-

*От фр. *boutade* — шутка. — Прим. ред.

^аBertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, London, 1950, pp. 5 — 6.

^бНуль, число, последующее число (англ.).

^в„Ни за какими двумя числами не следует одно и то же число“ (англ.).

лугу и математике, и теории познания, и научной методологии, и философии вообще. Не знаю, был ли он каптианцем, да в пору Канта эти проблемы едва ли могли быть поставлены. Но эпитафией к своей основной работе Гильберт взял слова из „Критики чистого разума“: „*Всякая человеческая наука начинается с интуиций, от них переходит к понятиям и кончается идеями*“. *Настоящая геометрия „разъяснилась“* только после его гениальных работ. Колерус правильно говорит, что Гильберт почти на вечные времена разъяснил сложный вопрос об основаниях геометрии, и называет его аксиоматику „одним из величайших шедевров всего XIX столетия“*. Выразим основную мысль Гильберта его собственными словами: его цель заключалась в том, чтобы „выяснить, какие именно аксиомы, гипотезы и средства необходимы для доказательства геометрических истин“[†]. И, действительно, он объяснил или связал в одно целое структуру *всех* геометрий. Отбрасывая некоторые из аксиом, он получает из них любую. Математик, ему не сочувствующий, Племптон Рамсей, излагает учение Гильберта следующим образом: „Математика превращается в некоторый вид игры, ведущейся на бумаге при помощи ничего не значащих значков вроде пулей и крестиков... Поскольку каждый математик делает значки на бумаге, надо признать, что формалистическое учение содержит только правду; но трудно предположить, чтобы это была вся правда: ведь наш интерес в символической игре, конечно, происходит от возможности дать смысл по крайней мере некоторым из делаемых нами значков и от надежды, что после придачи им смысла они будут выражать знание, а не ошибку“[‡]. В этой критике видно огромное различие между таким человеком, как Гильберт, и математиком философски не одаренным (хотя, быть может, превосходным специалистом в своей области).

Л. Вы хватаетесь за Гильберта для доказательства вашего положения о произвольности аксиомати-

*E.Colerus, De Pythagore à Hilbert, Paris, 1937, pp.299 — 300.

†D.Hilbert, Les principes fondamentales de la géométrie, Paris, 1900, p.111.

‡Frank Plumpton Ramsey, Foundation of Mathematics. The Encyclopaedia Britannica.

ки. Где же вы остановитесь? Как быть с областью точных наук, имеющих техническое применение? Мы живем в эпоху „суперсонических“* аэропланов, атомных двигателей, гигантских циклотронов, чудовищных по мощи сооружений по использованию водной энергии. Каждое из этих великих достижений человеческой мысли и энергии состоит из тысяч приспособлений, которым должна быть свойственна совершенная точность (любая ошибка погубила бы все дело) и которые основаны на твердых законах отдельных наук. Могло ли бы это быть, если б все строилось на произвольных аксиомах? Тут несомненные, нагляднейшие факты опровергают то, что вы говорите.

А. При чем тут успехи современной техники и как можно было бы в здравом уме эти успехи отрицать? Величайшие технические создания могут существовать и существуют, несмотря на то что в основе системы точных наук, которой пользуются для их создания и объяснения, лежат невечные гипотезы и произвольные аксиомы. Непопулярных гипотез нет, каждая рабочая гипотеза плодотворна[†]. Вполне возможно, что через пятьдесят лет нынешняя теория циклотрона отпадет или будет основана на ином круге идей, но циклотрон Лоуренса останется реальностью. Точно также атомная бомба есть самая трагическая реальность в истории, хотя процессы, на которых она основана, могут впоследствии получить и даже почти наверное получают другую интерпретацию. С давних пор существуют точные оптические приборы, телескопы становятся все более грандиозными, но ведь создавались они при *разных* теориях света: эти теории не раз менялись, а при Галилее их собственно вообще не было. Если принять корпускулярную теорию света, то нельзя объяснить явлений интерференции и дифракции. Если принять волнообразную теорию, то непонятно явление фотоэлектричества. Если же остановиться на теории Луи де Бройля, то мы вообще выйдем из пределов реального

*От *англ.* supersonic — сверхзвуковой. — *Прим. ред.*

[†]См. об этом в работах автора, *Actinochimie*, Paris, 1936, pp.31 — 45 и *De la possibilité de nouvelles idées en chimie*, Paris, 1950, pp.10 — 16.

мира, как это признает и сам ее автор, считающий, что настоящий синтез еще впереди*. Не раз производились „крупциальные“[†] опыты для выбора между взглядами Ньютона и Гюйгенса — и они почти неизменно оказывались не совсем „крупциальными“. Трагедия физики именно в том, что в ней всегда „третье дано“ и любое ее положение это временная ценность. Поскольку дело идет о теориях и гипотезах, ее гордое „Quo non ascendam?“[‡] приобретает разве лишь иронический характер: один Бог знает, куда еще мы „взойдем“ назло здравому смыслу, после кривого пространства и кривого времени!

Л. По-моему, в высшей степени странно, да и просто невозможно, отделять гипотезы от научной практики. В пору второй мировой войны Эйнштейн написал президенту Рузвельту письмо с просьбой отпустить на работы по разложению атома огромные средства; они действительно и были Рузвельтом отпущены. В результате была создана атомная бомба. А из чего же собственно исходил Эйнштейн? Преимущественно из своих идей о соотношении между массой и энергией. В вашем смысле, письмо Эйнштейна было торжеством картезианства. По-моему, оно еще замечательнее, чем вечно цитируемый в истории науки пример Лавуазье. Вычисления показывают этому астроному, что в таком-то месте небесного пространства должна находиться какая-то неизвестная планета. По просьбе Лавуазье, Галле наводит телескоп на это место: планета там, в 52 минутах от указанного пункта. Историки науки единодушно и справедливо считают этот факт изумительным. Но если бы планеты в указанном Лавуазье месте не оказалось, то Галле потерял бы одну ночь наблюдений — и больше ничего. Между тем, если бы атомную бомбу создать не удалось, то пропали бы сотни миллионов долларов американского налогоплательщика и, пожалуй, мировая репутация Эйнштейна.

*Louis de Broglie, *Matière et Lumière*, Paris, 1937.

[†]От англ. crucial — решающий. — Прим. ред.

[‡]„Куда не взойдем?“ (лат.) Традиционное искажение девиза Фуке: „Quo non ascendet?“ Эти слова помещались на его гербе над головой белки и означали: „Каких вершин я не достигну?“ — Прим. ред.

А. В этом вы правы. И в самом деле из знаменитых физиков нашего времени Эйнштейн обладает умом наиболее картезианским (правда, лишь когда дело идет именно о физике). Все же впопыху поправку: Эйнштейн исходил не только из своих гипотез о соотношении между массой и энергией, но и из опытов двух ученых, Гаана и Штрасмана (имена которых потомство верно будет вспоминать со смешанными чувствами): они разложили атом, не исходя из идей Эйнштейна.

Л. Допустим. Но сложность, противоречивость и временный характер нынешних физических теорий ровно ничего не доказывают. Эддингтон лет двадцать пять тому назад сказал, а Альф Ниман недавно это напомнил, что у ворот здания современной физики надо вывесить надпись: „Ремонт. Вход воспрещен“. Он, кажется, не пояснил, *кому* именно воспрещен. Добавим от себя: „Посторонним и, в частности, философам“. Но ремонт скоро кончится, все придет в порядок, — если хотите, в порядок относительный, да он ведь был „относительным“ и в пору классической физики, — доступ снова будет открыт всем желающим, и окажется, что законы природы никак не были „временными ценностями“.

А. Весьма сомневаюсь, чтобы „ремонт“ когда-либо кончился. Но мы уделим законам природы нашу следующую беседу, в связи с теорией вероятностей. Я несколько не отрицаю, что самые тонкие и искусные в философии ученые все же надеются прийти к чистой истине, хотя подход их к ней теперь не таков, каким был сто или двести лет тому назад. Мизес — для него несколько неожиданно — высказывает надежду, что при помощи усовершенствованной (частью им самим) теории вероятностей *можно* будет прийти zum Erkenntnis der Wahrheit*. Но он характера этой *истины* не разъясняет. В теории орудиями остаются логика и математика. Однако они теперь меняются неизмеримо быстрее, чем прежде. В настоящее время историки науки занялись вопросом о том, что появилось раньше, математика или логика.

*К познанию истины (нем.). — Пер. ред. Richard von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Wien, 1928, p.179.

Этот вопрос разрешен в пользу математики (с астрономией). Производить изыскания, даже гениальные, в любой точной науке можно, не заглянув ни разу в жизни ни в один учебник логики. Так это, вероятно, и было с огромным большинством великих естествоиспытателей: они и вообще не были знатоками чисто философских наук. Но когда мы говорим о „достижении истины“ в смысле Мизеса, то уж надо указать, из какой логики мы будем исходить: из Аристотеля? из Фреге? из Рассела? из Брувера? из трехвалентной логики Лукасевича? Арнольд Реймон пришел теперь к тому, что есть *шестнадцать* возможных функций (скорее видов) научной истины*. Не только Аристотелю, но и Джону Стюарту Миллю показался бы диким самый язык современных (последовавших за Фреге) логиков, с их *vrai possible, vrai probabilitaire, vrai démontré, vrai non encore démontré, vrai catégorique, vrai relatif* („правда возможная“, „правда вероятная“, „правда доказанная“, „правда еще не доказанная“, „правда категорическая“, „правда относительная“)^Δ. А закон причинности? Сам Мизес уже говорит об „ограниченной причинности“ („beschränkte Causalität“). Шрёдингер предложил исключить понятие причинности. Другие знаменитые физики теперь сочетают причинность с „комплементарностью“. Нильс Бор даже так доволен этим сочетанием, что предлагает его перенести в биологию и в социологию^Δ. В этой последней науке ему уж совершенно нечего делать, там оно ничего, кроме путаницы, прояснить не может. Да и теперь, пока это еще, к счастью, не сделано, почти неловко говорить о неизменной аксиоматике в социологии, в гуманитарных науках вообще, — это после результатов в новейшей математике и в так называемых точных науках.

Л. Напротив, нисколько не неловко, а в некоторой мере и обязательно. Вы сказали, что будете касаться

*Arnold Reymond, Problèmes anciens et actuels sur la Logique. Nature des Problèmes en Philosophie, Paris, 1949, II, p.42.

^ΔГотлоб Фреге считает разницу между категорическими суждениями и гипотетическими имеющей преимущественно грамматическое значение: „nur grammatische Bedeutung“. (Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen Nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle, 1879, p.4).

^ΔNeils Bohr, Causality and Complimentarity, в том же издании, что Реймон, II, стр. 75.

аксиоматики в разных областях. Что ж, вы могли бы тут же наметить ваш взгляд на аксиомы в науках гуманитарных. В точных науках вы в связи с аксиомами сразу противопоставили два основных, вековых течения, которые для краткости можно было бы назвать декартовским и паскалевским. В целях аналогии было бы желательно наметить и тут — то, что вы противопоставляете „*état d'esprit cartésien*“*, хотя вы еще не сказали мне, в чем именно заключаются в морали, в политике основные черты этого „картезианского настроения“, — будем, тоже условно, переводить именно так, несмотря на разницу в оттенках между „*état d'esprit*“ и „настроением“.

А. Тут разница не только в оттенках: настроение есть нечто уж слишком переменчивое... Я, собственно, не вижу необходимости что-то чему-то противопоставлять. Но, если хотите, в первом подходе я картезианскому „настроению“ противопоставил бы то, что можно было бы назвать „*état d'esprit loyolien*“[†].

Л. „*Loyolien*“! От Лойолы? Уж не стали ли вы антиклерикалом? Тогда уж, в тысячный раз, сделайте ссылку на „цель оправдывает средства“ и разоблачите это его изречение.

А. Антиклерикалом я не стал, никогда не был и не буду. Иду даже дальше. Я считаю „антиклерикализм“ весьма печальной ошибкой, особенно в применении к России. Церковь представляет собой самую мощную из тех немногих сил, которые напоминают человеку, что он все-таки не зверь (а он, увы, очень нуждается в этом напоминании). Церкви всех вероисповеданий обладают могущественными способами благотельного воздействия на людей как в существе своего учения, так и в необыкновенной красоте своих обрядов. Я не враг и иезуитам. Кстати сказать, приведенное вами изречение „*Cui licitus est finis, etiam licent media*“[‡] принадлежит не Лойоле; этот выдающийся человек никогда этого не говорил. Изречение принадлежит второстепенному иезуиту Бузенба-

* „Картезианское состояние ума“ (*фр.*).

† „Лойолистическое состояние ума“ (*фр.*).

‡ „Цель оправдывает средства“ (*лат.*).

уму. „Обличение“ иезуитов действительно весьма надоело, — не говорю уже о той немалой доле лицемерия, которая есть в негодовании обличителей: следовали и следуют этому изречению не одни иезуиты, на нем строится добрая половина всей политики мира. Нет, когда я говорю об „*état d'esprit loyolien*“, я, как и при обсуждении картезианства, имею в виду просто способ мышления или его суррогат, — суррогат, на наших глазах, через сотни лет после Лойолы, оказавшийся необычайно действительным, сказочно успешным; он уже завоевал треть населения Вселенной. Новое, введенное Лойолой, заключалось даже не в принципе абсолютного послушания воле начальства: ведь это всегда было основой и военной дисциплины. Новое заключалось в том, что с начальством *надо* быть и внутренне согласным. Так прямо сказано в „*Exercices*“*: „Необходимо всегда следовать правилу: то, что мне кажется белым, я должен считать черным, если таково иерархическое определение предмета“. Эта идея стала завоевывать мир именно в двадцатом столетии.

Л. Для защиты свободы мысли, право, не стоит беспокоить тень Декарта: вы могли бы взять любого среднего нынешнего демократа вроде нас с вами.

А. Вы, в целях ясности, желали „противопоставления“, я его вам и даю. В мире аксиоматики Лойолы (разумеется, только в этом ограниченном ее смысле) теперь живет около восьмисот миллионов людей. Разумеется, я никак не говорю, что они ее почитают. Но они, по необходимости, ее „принимают“.

Л. Это в настоящем случае двусмысленное и потому очень вредное слово.

А. Оно, разумеется, условно. Из восьмисот миллионов людей, живущих в тоталитарных странах, многие, к несчастью, ничего не понимают, другие молчат, стиснув зубы, третьи принимают „лойолизм“ искренно, четвертые строго ему следуют, но, разумеется, пришли бы в крайнее негодование, если б им

**Exercices spirituels*, Paris, s. d., положение 13.

сказали, что это истины не Маркса, а Лойолы, — о котором они, быть может, и не слышали. Гитлер и Сталин были типичные „лойолисты“, сами того не зная. *Логически доказать* превосходство одной аксиоматики над другой в этике еще неизмеримо труднее, чем в геометрии. Я не могу *опровергнуть* принципы Лойолы или Бузенбаума, как не могу *доказать* хотя бы сложную мораль Декарта.

Л. Перейдите же к определению картезианской аксиоматики в морально-политической области. Или, скажем, не к определению — я прекрасно понимаю, что тут оно было бы особенно затруднительно, — вы могли бы лишь кратко *наметить* основное. Считаете ли вы религиозной моральную аксиоматику Декарта?

А. Не берусь ответить. О религиозности Декарта судить нелегко: это он держал про себя и по той же природной скрытности, и по политическим условиям того времени. Решающего ответа на вопрос о религиозности Декарта до сих пор не дано никем. Я привел вам саркастическое замечание Паскаля. К его мнению склонялся и Лейбниц, считавший автора „Discours“ „опасным мыслителем“. Мальбранш думал иначе. Из новейших философов Владимир Соловьев писал: „Декарт говорит и о Боге, но так, что лучше бы он о Нем молчал“*. Виндельбанд причислял его к индифферентистам в вопросах религии#. Напротив, Бертран Рассел говорит: „Психология Декарта темна, но я склоняюсь к мысли, что он был искренним католиком и хотел убедить Церковь — в ее собственных и в его интересах — занять менее враждебную позицию по отношению к науке, чем та, которую она заняла в деле Галилея. Есть люди, думающие, что его ортодоксальность была только политической. Хотя это предположение возможно, однако я не думаю, чтобы оно было самым вероятным“^Δ. Оставляет

*Владимир Соловьев, Теоретическая философия, Соб. соч., СПб, т. VIII, стр. 267.

#Wilhelm Windelband, Geschichte der neueren Philosophie, Die Kultur der Gegenwart, Leipzig, 1913, p.467.

^ΔBertrand Russell, A History of Western Philosophy, New York, 1945, p.559.

вопрос открытым и Ясперс. Он говорит, что одни видят в Декарте католика, другие — основоположника протестантской философии, третьи — революционера во имя разума. К этому Ясперс справедливо добавляет: „Быть может, никто в философии не имел с Декартом подлинного внутреннего общения“*. Во всяком случае некоторыми своими чертами мораль Декарта приближается к высшему в морали положительных религий.

Л. Очевидно, вы и ее считаете частью той же самой символической „Ульмской ночи“. Поистине вы в последнее понятие включаете уж слишком многое и делаете это довольно произвольно. Допускаю условность такого приема, но не очень ценю его чрезмерно „литературный“ характер, вообще никогда не нравившийся мне ни у Кьеркегора, ни у Ницше, ни у Гюйо, ни у Шестова. Говоря о философских вопросах, мы собственно прекрасно могли бы обойтись без этого, тем более что и вам, и никому не известно, о чем думал и что нашел Декарт в эту ноябрьскую ночь 1619 года. Изложите же мне по возможности без ульмских ночей, как вы понимаете декартовскую моральную и морально-политическую аксиоматику. Была ли она у него вообще? Ведь все-таки он был „в другой плоскости“, почти как Флобер, который совершенно серьезно утверждал, что лет через пятьдесят такие слова, как „прогресс“, „демократия“, „социальная проблема“, будут звучать столь же комически, как сентиментальные выражения XVIII столетия, вроде „сладких уз сердца“². А если у Декарта такая аксиоматика была, то может ли она быть приемлемой в наше время?

А. Она, пожалуй, наиболее приемлема из всех вполне осуществимых. В чистой политике она теперь даже, быть может, единственная вполне приемлемая. При этом я с большой радостью утверждаю, что она становится совершенно „одиозной“ в те периоды новейшей, самой новейшей истории, когда в мире начинает царить идиотизм. Тогда почти неизменно

*Karl Jaspers, Descartes und die Philosophie, Berlin, 1937, p.93 — 4.

²Flaubert, Correspondance, vol. IV.

философским врагом № 1 оказывается именно Декарт. Известно ли вам, что после прихода Гитлера к власти немецкий философ Франц Бём выпустил целую книгу о сопротивлении, будто бы оказывавшемся германской философией Декарту, которого этот национал-социалист обвиняет в „антиисторической пустоте“, рационализме и индивидуализме: он обратился не к *Gemeinschaft**, — Бём разумел, вероятно, гаулейтеров. Этот господин, стремившийся в 1938 году к установлению „*Kosmogonien* und *Theogonien unserer Väter*“[†] в свете „великого движения, охватившего наш народ“, так и говорит: „Декарт и теперь наш ближайший философский противник“[‡].

Л. Я тоже этому рад. Не знаю, как относятся к Декарту в СССР. Появился ли уже там свой Франц Бём?

А. Это мне неизвестно. Если не ошибаюсь, и неподневольная марксистская литература вообще не слишком интересовалась Декартом. Ее главный философ Франц Меринг в „*Zur Geschichte der Philosophie*“[§] и в других своих писаниях много места уделял философским (или литературно-философским) трудам Плеханова, Ленина и даже, помнится, Максима Горького, но Декарта не удостоил ни единой страницей... Если вы хотите, чтобы я „наметил“ „картезианское состояние ума“ в области морали и политики, то позвольте передать лишь мое общее впечатление, тут уж без ссылок, так как пришлось бы приводить отдельные фразы из двадцати разных книг и особенно из писем Декарта... Его мораль самая „индивидуалистическая“ из всех существующих. Для него самого она не такова, как для рядового человека. Разумеется, это надо понимать отнюдь не в духе, скажем, идей Наполеона или Ницше или Раскольникова. Никаких особых прав и преимуществ Декарт себе не присваивал: ни на то, чтобы „забывать армию в Египте“, ни на то, чтобы убивать старух-процентщиц. Едва ли даже могло бы

*Общность (нем.).

† „Космогония и теогония наших предков“ (нем.).

‡ Franz Böhm, *Anti-Cartesianismus. Deutsche Philosophie im Widerstand*, Leipzig, 1938, pp. V u 283.

§ „К истории философии“ (нем.).

быть что-либо более чуждое и „картезианскому состоянию ума“, и лично Декарту, как человеку. Но, зная себе цену, он думал, что имеет право устроить свою жизнь не так, как она проходит у громадного большинства людей. Заметьте, тут есть некоторая разница между Декартом до Ульмской ночи и Декартом *после* нее. В ранней юности он немало путешествовал, без всякого дела, просто из любопытства к чужим странам, к замечательным событиям, явлениям и людям. Служил в армиях, притом в иностранных. Это тогда случалось с людьми часто, но в перемене „политической ориентации“ они обычно руководились выгодой, чаще всего весьма вульгарной, денежной, а то честолюбием и соображениями удобства. Им было все равно, *чему* служить, и почти все равно, *кому* служить. Последний вопрос, по-видимому, не имел большого значения и для молодого Декарта — какое ему дело было до принца Нассауского или до герцога Баварского? „Он принял решение, — рассказывает Байе, — нигде не быть актером, а всюду зрителем всевозможных ролей, разыгрываемых на театре мира. Стал же он солдатом только для того, чтобы изучать разные нравы людей“. Быть может, впрочем, тогда еще искал приключений и любил военное дело (написал ведь трактат о фехтовании). Позднее, очевидно, вследствие решений, принятых в Ульмскую ночь, жизнь его совершенно изменилась. Он навсегда бросил военное ремесло и отзывался о нем без большого уважения. Войны он ненавидел — даже в то далекое время, когда они были крошечными и настолько малозаметными, что за двести-триста верст от тех мест, где шли бои, население часто ничего о войне не знало. Декарт был едва ли не первым по времени „пацифистом“ и „интернационалистом“ и в пору войн говорил, что ни с какой страной не связан, а в письмах к принцессе Елизавете, которой не везло в политике, утешал ее тем, что „самый маленький кусочек Палатината* лучше, чем вся империя татар или московитов“.

Л. По-видимому, он по наслышке чрезвычайно преувеличивал культурную разницу между Палати-

*От: Палатин — один из семи холмов, на которых возник Рим. — *Прим. ред.*

патом и Московией того времени. Но и для „интернационализма“ опять-таки не стоило беспокоить его тень. Так думали и многие древние. Напомню вам: „Считаю себя гражданином не одного города, а всего мира“.

А. Декарт столь пышные слова употреблял чрезвычайно редко и не очень заботился о выигрышных исторических позах. Очень прост и не „лышен“ он и в своем отрицательном отношении к революциям. По его основной политической мысли, результаты войн и революций не окупают приносимых жертв; чаще же всего войны и революции приводят к порядку вещей худшему, чем тот, который был до них. Слишком тяжелы государственные тела, слишком многое они уносят в своем падении, и неизмеримо лучше и легче чинить здание, чем воздвигать новое после того, как старое будет взорвано. Из двух зол надо выбирать меньшее — это основной его политический принцип. Худой мир лучше доброй ссоры, не очень хороший и все же не слишком плохой государственный строй обычно лучше кровавой и не достигающей цели революции. Это нисколько не мешало Декарту пепавидеть все деспотические и диктаториальные формы правления. По складу своего характера он мог бы, вероятно, ужиться и с Ришелье, но предпочел покинуть Францию и поселился в Голландии, бывшей тогда самой свободной страной Европы. Ненавидел он и все виды хитроумного политического макиавеллизма, и даже так называемую „высокую политику“ вообще. По-видимому, ее глубокомыслие не вызывало у него особенного преклонения. Он писал принцессе: „Самая лучшая хитрость это не пользоваться хитростью. Общие законы общества ставят себе целью, чтобы люди помогали друг другу или, по крайней мере, не делали друг другу зла. Эти законы, как мне кажется, настолько прочно установлены, что тот, кто им следует без притворства и ухищрений, живет гораздо счастливее и спокойнее, чем люди, идущие другими путями. Правда, эти последние иногда достигают успехов, вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Но гораздо чаще это им не удается, и, стремясь утвердиться, они себя губят“. В этих правилах своей политической

философии Декарт опередил государственных людей столетия на три. Гитлер, кстати, „достиг успехов“ именно вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Он же, „стремясь утвердиться“, себя и погубил.

Л. К несчастью, так бывает не всегда. Не всегда себя губят и самые жестокие из тиранов. Порою их даже хоронят с великой торжественностью, причем приходят горячие сочувственные телеграммы от людей, от которых никак их ждать не приходилось.

А. „Je ne sais rien de gai comme un enterrement“*, — сказал Верлен. Но Декарт и не утверждал, что диктаторы губят себя *всегда*. Он высказался осторожнее: „гораздо чаще“. В перспективе же столетия — а вдруг и много раньше? — он, будем надеяться, окажется тут прав во всем, без исключений. В области морали *личной* он тоже выбрал аксиомы, необычные для его времени, да, может быть, и для нашего: желал, чтобы люди оставили его в покое, предоставили ему работать *на их же пользу*, но без них, не лезли ни в его душу, ни в его жизнь. Он и поселился „в глуши“, в далеком от шумных дел голландском замке, где, почти не видя людей, занимался точными науками и философией. Этот замок существует по сей день. Когда-то я в нем побывал. По издевательской воле случая, там теперь помещается (или помещался до войны, не знаю, как теперь) образцовый дом умалишенных. В своей политике Декарт принимает жизнь и людей такими, каковы они есть, себя и других не обманывает, ничего и никого не идеализирует...

Л. Идеализировать жизнь и людей в его время было бы и нелегко: в пору 30-летней войны в лавках съестных припасов продавалось на вес человеческое мясо.

А. „Аморальная эпоха“, правда? А наша нет, совершенно другая? Согласитесь, однако, что и теперь

* „Не знаю ничего более веселого, чем похороны“. — *Пер. с фр. автора.*

довольно трудно было бы удивить кого-либо отрицательным отношением к событиям, делам и людям. В любую историческую пору находились философы и особенно писатели, совершенно беспощадно относившиеся к человеку, и это не всегда объяснялось их биографией или личными особенностями, тем, что „у злой Натальи все люди каналы“. Так и в наше время историю можно рассматривать хотя бы с точки зрения „сверхсвиньи“, той „Supergig N 1“, которую, после десяти лет труда, удалось недавно воспитать в Миннесоте. Могут быть даже мыслители, от всей души желающие эвтаназии всем нынешним формам жизни. Однако с Декартом это ровно ничего общего не имеет. Он писал: „Я, к счастью, не взволнован никакими страстями...“ „Я себе обеспечил возможный покой в одиночестве, буду серьезно и свободно заниматься по общему правилу разрушением всех моих прежних взглядов...“ Конечно, жизненная программа Декарта не могла бы подходить для рядового человека. Декарт, по-видимому, и не верил в существование общеобязательной этики. Этика ведь преимущественно наука о том, что должно быть, а не о том, что есть. И если и в *ее* „том, что есть“ все-таки должно быть больше „живого и недостоверного“, чем в арифметике и в геометрии, то никак уж не приходится особенно увлекаться незыблемыми аксиомами *ее* „того, что должно быть“... Ради беспристрастия следует добавить, что Декарта не слишком соблазняли „героические“ жизни. Быть может, он и на них направил свое „пристальное внимание“ и расценивал их по-своему. Не знаю, как вы, а я с ним тут особенно и не спорил бы: наше с вами поколение разных героических жизней насмотрелось достаточно, и не всегда от них было много добра (ничего, конечно, не обобщаю). На костер Декарт не спешил — знал, что попасть может легко. По поводу тюрьмы и процесса Галилея он давал понять в письме к Мерсенну, что сам он „не так влюблен в свои идеи“, чтобы из-за них рисковать тюрьмой, пыткой, казнью. И действительно, если между космогоническими идеями Птолемея, Коперника, Тихо де Браге и его собственными Декарт видел разницу преимущественно в простоте, ясности и изяществе (об этом скажу дальше), то уж так ли необходимо было Джор-

дано Бруно всходить на костер? Аксиоматика героической морали еще менее устойчива, чем все другие.

Л. Я остаюсь при своем мнении. У Декарта нет и намека на неустойчивость аксиоматики. Вы это именно вычитали „между строками“. Идея всемогущества случая, как вы сами признаете, у него совершенно отсутствует. Скажу даже, что это самая антикартезианская из всех мыслимых антикартезианских идей. О „Красоте-Добре“ мы еще не говорили, но эта идея создана не им. Я думаю, что нашу *вводную* беседу можно закончить, как ни странно мне в ее результате убедиться, что „картезианское состояние ума“ состоит из некартезианских или антикартезианских слагаемых.

II.

Диалог о случае и теории вероятностей

А. Теория вероятностей, быть может, одна из самых замечательных наук; Лаплас называл ее даже самой замечательной*. Но у нее есть странные особенности. Одна из них заключается в том, что нет вполне удовлетворительных определений ее основных понятий, — по крайней мере определений философских. По существу ведь „случай“ (как и „вероятность“) основное понятие этой науки. Паскаль, один из главных ее создателей, назвал ее „геометрией случая“. Напрасно было бы, однако, искать точного определения этого понятия в трудах ее классиков; по крайней мере, я такого не нашел ни у Паскаля, ни у Копдорсе, ни у Лапласа, ни даже (это говорю с ограничением) у Курно. Чебышев в своей замечательной по глубине работе², почему-то иногда замалчиваемой точно умышленно³, не произносит слова „случай“. Очень плохие определения этого понятия есть у философов, никогда теорией вероятностей не занимавшихся. „Мы называем случайными такие события, неожиданное свершение которых представляется нам самопроизвольным („spontané“) и как бы излишним, то есть не вызванным настоящей

*P.S. Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*, Paris, 1921, vol. I, p. 106.

²П.Л.Чебышев, О средних величинах, Сочинения, под редакцией академиков А.А.Маркова и Н.Я.Сонина, СПб, 1889, т. I, стр. 687.

³О нем не упоминает ни Кейнс (J.M. Keynes, *A Treatise on probability*, London, 1921) ни Пакье (Gustave du Pasquier, *Le Calcul des Probabilités*, Paris, 1926), ни Башелье (Louis Bachelier, *Le Jeu, la Chance et le Hazard*, Paris, 1920), ни Пуанкаре (Henri Poincaré, *Calcul des Probabilités*, Paris, 1912). Ничего, к сожалению, не говорит о Чебышеве вообще и Белль в своей книге „Великие математики“.

необходимостью“, — говорит Ридингер*. „Факты, которые мы не можем связать посредством причинности с другими точно определенными фактами, вызывают у нас ощущение случая“, — говорит де Монтессю[†]. Случайность „везде нарушает закон вещей, преобладающее, правильное“, — говорит Адольф Лассон[‡]. Даже по форме это не определения. А по существу они, конечно, не определяют ровно ничего. Что такое „самопроизвольность“ в событиях? Какие события надо считать вызванными именно постоянной необходимостью? Как следует понимать „закон вещей“? Названные авторы пытаются определить неясное понятие понятиями еще более неясными. К тому же, если мы сегодня не можем связать двух событий между собой, то, быть может, это будет сделано завтра: случай не может быть понятием временным. Если же такую возможность предположить, то очень легко прийти к полному отрицанию случая. Многие ученые, не желающие отступать от абсолютного детерминизма (который, как им кажется, подрывается идеей случая), действительно случай и отрицают. Лаплас и Кетле, независимо один от другого, высказали почти в одних и тех же словах мысль: „Случай есть только псевдоним незнания“. В действительности это изречение принадлежит Боссюэ: „Не будем больше говорить ни о случае, ни о счастье (Fortune), или же будем о них говорить как о пазвании, которым мы прикрываем наше невежество. То, что есть случай для нашего слабого (uncertain) суждения, есть принятое намерение в совете высшем, в том вечном совете, куда входят в одном порядке все причины и все следствия“[§]. Перевожу опять очень пехорошо, нет ничего труднее, чем переводить Боссюэ. Но мысль я передаю во всяком случае правильно, и это, вероятно, единственное, в чем Боссюэ сходится с многими материалистами. В теории вероятностей есть одно уравнение, называющееся *formule du hasard*[¶], но в философском смысле оно ничего не даст. Из математиков лучше других опре-

*E. F. Riedinger, *L'idée du Hasard*, Paris, 1907, p. 5.

†R. de Montessus, *Définition logique du hasard*, Paris, p. 3.

‡Adolf Lasson, *Über den Zufall*, Berlin, 1918, p. 20.

§Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle*.

¶Формула случая (*фр.*).

делил случай Пуассон: „Под случаем (hasard) надо разуметь совокупность причин, способствующих осуществлению события и не оказывающих влияния на размер его вероятности, то есть на отношение числа случаев (cas), благоприятных его осуществлению, к общему числу возможных случаев“*. По необходимости употребляю одно слово „случай“ для перевода французских слов „hasard“ и „cas“. Это определение тоже не может быть названо удовлетворительным, так как оно у Пуассона, в связи с его общим пониманием причинности, устанавливает какое-то различие между „настоящими“ причинами явления и причинами, которые только „способствуют“ (concoigent) его осуществлению. Многие определения случая основаны на неправильном разделении между „известными и постоянными факторами события“ и „факторами неизвестными, меняющимися“. Чубер и называет первые „причинами“, а вторые „случаем“#. Между тем „известность“ и „неизвестность“ опять-таки всегда имеют лишь временный характер; а „постоянство“ никакой роли тут не играет: солнце встает и заходит каждый день, тогда как землетрясения или извержения вулканов бывают непостоянно; однако, у нас не больше оснований считать извержения и землетрясения явлением „случайным“, чем считать таким явлением восход и заход солнца. Поэтому и определения Чубера я никак принять не могу. В сущности близок к его позиции и Мах, рассматривающий случай как „скрытую правильность“ и сводящий его к „обстоятельствам, которые нам неизвестны и на которые мы не можем оказать влияния“^Δ.

Л. Я предпочел бы узнать то, что думали о случае классики новейшей философии. Если не ошибаюсь, Кант употребляет это слово лишь в бытовом, повседневном смысле. Но, быть может, я ошибаюсь: я не читал *всего* Канта, как не прочел *всего*, даже *всего* главного, из книг других классиков.

*S. D. Poisson, Recherches sur la Probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, Paris, 1837, pp. 79-80.

#Emmanuel Czuber, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Leipzig, 1908, I, p.8.

^ΔErnst Mach, Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, p. 251.

А. *Всего у всех* классиков философии не прочла, верно, и одна десятая специалистов. О себе я мог бы сказать разве лишь то, что у Декарта я прочел все, а „Discours de la méthode“ читал не один раз, читал так, как именно Кант советовал читать шедевры. Он где-то пишет: „Я должен так долго читать Руссо, чтобы меня перестала беспокоить красота выражения, и чтобы я мог рассматривать его прежде всего разумом“. К этому Кант — весьма, по-моему, для него неожиданно — добавляет: „Великие люди блестят лишь на расстоянии, и князь много теряет в глазах своего лакея. Это происходит оттого, что великих людей нет“*. В отношении Канта вы тут не вполне правы: Кант кое-где говорит о случае, о Zufall, и, чаще, о Zufälligkeit#. Но он стоит на классическом, предшествовавшем Курно, противопоставлении случая и причинности, хотя занимает тут не крайнюю (Боссюэ-Лапласовскую) позицию: „Принцип: ничто не происходит в силу слепого случая (in mundo non datur casus) есть априорный закон природы. То же самое относится к другому принципу: в природе нет слепой необходимости, но есть необходимость условная (non datur fatum)“, — говорит он^Δ. Кант дает и определение случая, но чисто отрицательное и беспредельно общее: „Etwas dessen Nichtsein sich denken lässt“^Ω. Но вы правы в том смысле, что и у него, как и у других классиков новой философии, идея случая почти не занимает места в системе.

Л. Вам остается только дать ваше собственное определение случая.

А. Для ясности спора я очень „заострю“ свой ответ, в надежде, что вы сделаете поправку на заострение. Случай есть все, что происходит в мире, его возникновение, создание планеты Земля, появление человечества на этой планете, его возможное в буду-

*Kant, Aussprüche, Herausgegeben von Raoul Richter, Leipzig, 1933, p.22.

^ΔСлучайность (нем.). — Пер. ред. См. об этом Rudolf Eisler, Kant Lexicon, Berlin, 1930, pp. 620-621.

^ΩEmmanuel Kant, Critique de la raison pure, (traduction I. Barni, Revue et corrigée par P. Archambault), Paris, s.d., vol. I, p. 244.

^ΩВ тяжелом переводе: „Нечто, отсутствие чего мыслимо“. — Пер. с нем. автора.

цем исчезновение, рождение человека, его смерть, бесконечная совокупность больших, средних, малых явлений, все что „по законам природы“ происходит во Вселенной, то, что Капт называет совокупностью всех фактов, „die absolute Totalität des Inbegriffs existierender Dinge“*. С моей точки зрения, историю человечества, с разными отступлениями и падениями, можно представить себе как сознательную или бессознательную, героическую или повседневную, борьбу со случаем. Однако ходячие слова „не оставлять ничего на волю случая“, „ne laisser rien au hasard“ представляются мне предельным выражением человеческого высокомерия и легкомыслия.

Л. Нелюбезный и недоверчивый человек, вероятно, в ваших словах увидел бы сознательное или бессознательное желание *épaier le bourgeois*†. Они вдобавок и противоречивы. Если *всё* случай, то какая же может быть с ним „борьба“? А если борьба возможна, то „предельное выражение человеческого высокомерия и легкомыслия“ есть лишь ее удачная, победоносная форма. Впрочем, я думаю, что вы к этому вернетесь и пока лишь слишком „заострили“ вашу мысль? Вы и говорите так, точно пишете слово „случай“ с большой буквы. В очень далекие времена понятия „случай“, „судьба“ чрезвычайно занимали людей. У греков для них было пять или даже, кажется, шесть слов, означавших одно и то же или, собственно, почти ничего не означавших. Много говорилось о судьбе и в средние века. Но чем культурнее становился мир, чем дальше шла наука и философия, тем меньше места уделялось этим медленно умирающим понятиям. Во всяком случае, никто никогда не толковал историю человечества, как процесс борьбы со случаем, и никто не связывал случай с законами природы. Может быть, я сегодня умру от удара или меня кто-нибудь убьет — это будет, если хотите, случай. Но то, что я рано или поздно умру непременно, — это уже не случай, а закон природы, очень для нас печальный.

* „Абсолютная совокупность понятия существующих фактов“ (нем.).

† Эпатиловать буржуа (фр.).

А. Вы здесь только передвигаете случай в пространстве и во времени. Я действительно считаю пужным различить случай *непосредственный* и случай *отдаленный*. В чисто случайном многотысячелетнем процессе космического и биологического развития вышло так, что человек живет лет 60—80, слон гораздо больше, а собака гораздо меньше. К тому же человек будто бы когда-то жил и дольше. Мафусаил дожил до 969 лет, и Мечников, предполагая, вместе с Гензелером, что в те времена под годом разумелся сезон, считал возможным, что Мафусаилу в момент смерти было 242 года*, — возраст тоже довольно почтенный... Что же касается „законов природы“, то они и представляют собой попытку борьбы со случаем в области научно-познавательной. Они — первые, вторые, третьи приближения к тому, что называется научной истиной; а какое будет десятое приближение — неизвестно. Теперь многие физики и химики, как вы знаете, склонны считать законы природы некоторым подобием статистических обобщений. В предельно заостренной форме выражают это Джинс и Борель: нельзя считать *невозможным*, что вода, поставленная на огонь, вместо того чтобы закипеть, замерзнет; это лишь чрезвычайно маловероятно[†]. У других физиков такой взгляд не вполне удовлетворяет „потребность причинности“, и они предпочли бы считать подобную интерпретацию законов природы лишь временной. Мизес справедливо называет их взгляд „предрассудком“^Δ. Да, собственно говоря, нет и ничего особенно нового в идее статистического подхода к законам природы. Сходный взгляд высказывал еще Лаплас. „Строго говоря, — писал он, — можно даже сказать, что почти все наши знания только вероятны, а в небольшом числе вещей, которые мы можем знать достоверно, в самих математических науках, главные средства для достижения истины, индукция и аналогия, основываются на вероятности“. Говорил так детерминист из детерминистов, типичнейший мыслитель XVIII столетия с его без-

*Elie Metchnikoff, Etudes sur la nature humaine, Essai de philosophie optimiste, Paris, 1903, p.336.

†Emile Borel, Le Hasard, Paris, 1948, p.231.

ΔRichard von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Wien, 1928, p.181.

границной верой в разум. В сущности, в настоящее время закон природы может быть в общей форме выражен лишь следующим образом: в таком-то кругу явлений, при таких-то аксиомах и обозначениях, связь таких-то величин *почти* всегда может быть выражена такой-то *приблизительной* математической формулой. В древности безграницной веры в разум не было и быть не могло. Перед рапными исследователями природы было то, что непосредственно последовало за первоначальным хаосом. К нему надо было как-то подойти, за что-то ухватиться. У греков мифология приукрасила хаос и сделала его богом. По Гесиоду, рядом с Хаосом было нечто много худшее, Тартар, и нечто много лучшее, Любовь. Между ними шла борьба. По-иному, хоть, может быть, и не менее поэтично, изображает это мифология индусов. Было только великое и страшное *одно* (по другим переводам, кажется, *оно*). Не было ни солнца, ни звезд, ни дня, ни ночи, ни жизни, ни смерти. Конечно, это поэтическое „преувеличение“: и солнце было, и звезды, и день, и почва. Были даже и жизнь и смерть, хоть они мало друг от друга отличались, ибо живой чудовищный ихтиозавр ничем не лучше мертвого, — а с точки зрения позднейшего гостя, человека, даже много хуже. До появления этого гостя все было хаосом и не в греческом мифологическом смысле, а в нашем нынешнем. Хаос бывал и при человеке, — однако до него был только хаос. Он, быть может, еще вернется. Так думали и не одни поэты: „Но раздвинут мироздапьем, — Хаос мстительный не спит“. Так думали и ученые (и многие религиозные мыслители). В отличие от нас, прежние ученые, не дожившие до 1945 года, допускали возможность возвращения хаоса лишь в результате какой-либо космической катастрофы, например, столкновения Земли с другой планетой. Разложив атом, человек показал, что он может добиться такого же результата и без чужой помощи, своими собственными мозгами и руками. Несколько тысяч лет тому назад человек на земле еще застал хаос. До философского понятия случая он, естественно, тогда еще не возвысился, но все в мире могло и должно было ему казаться „случайным“ (или делом нездешних сил). Сегодня такое-то явление происходило, на следующий день нет. Не так

просто было заметить, что при этом что-то менялось в условиях явления. Наблюдения накапливались. Их было достаточно для *первого* ограничения роли случая и, разумеется, недостаточно для того, чтобы признать его *вечность* при любом ограничении, — этого не сделали еще и мы. Наблюдения египетских астрономов, наблюдения Плиния были изумительны; некоторыми из них до сих пор пользуется или еще недавно пользовалась наука. Древнему человеку понемногу становилось ясно, что для размышлений над наблюдениями требуются какие-то недоказуемые общие положения. Появились — говорю здесь только о сфере познавательной — аксиомы Евклида (оставим в стороне вопрос об его предшественниках, для нас мало интересный). Появились первые опытные обобщения, первые открытия в нашем нынешнем смысле слова. Без аксиом они едва ли были бы возможны. Архимед ездил в Александрию к Евклиду учиться. И как Евклид создал первую научную аксиоматику, так Архимед, кажется, в древности первый, говорил о законах природы языком эпохи Возрождения или даже нашим нынешним. Быть может, именно поэтому его имя две тысячи лет окружено настоящим культом: его убийцы или вернее их главнокомандующий воздвигли ему памятник. Д'Аламбер считал, что только он может быть поставлен рядом с Гомером, а совсем недавно Белль признал его одним из трех величайших математиков в истории (другие два, по мнению Белля, Ньютон и Гаусс). Заметьте, однако, почти все законы природы, найденные в древнем мире, оказались неверными... Вы меня опровергали аргументом о нынешней технике, в основе которой должны же лежать вечные истины. Римляне строили гигантские акведуки, до сих пор приводящие в изумление людей; тем не менее они аксиом, законов и философских оснований нынешней механики никак знать не могли. У них ничего не было, кроме первых и весьма несложных обобщений. И в течение долгих веков эти обобщения и представляли собой то, что я называю бессознательной или полусознательной борьбой со случаем, попытку внести порядок в мировой хаос. Этим обобщениям, законам природы, со временем придается математическая форма. Еще Лейбниц говорил, что, при доста-

точно сложной формуле, можно выразить математически какое угодно явление природы, хотя бы единичное. Но, разумеется, мысль, желающая упорядочить хаос, инстинктивно ищет формул наиболее простых. Меня всегда удивляло, что большим естествоиспытателям не казалась несколько подозрительной огромная роль цифры 2 в формулах их законов. Это особенно относится к разным отделам физики (в химии *таких* законов гораздо меньше). Имею в виду законы типа: „то-то пропорционально или обратно пропорционально *квадрату* того-то“... Что такое цифра 2? Второй „сексессор“* в ряду Псано-Рассела? Почему именно на ее долю выпала бы такая роль в природе? Почему вместо цифры 2 не оказалось бы 1,99, или 2,01, или даже 2,10? Впоследствии так часто и оказывалось. Можно было бы составить толстую книгу из многочисленных научных исследований, тщетно старавшихся в течение двух столетий привести опыты в полное согласие со столь простым, столь элементарным законом Бойля—Мариотта. Но природа не всегда заботится о простоте и „круглости счета“. Она даже о них не заботится никогда. Вполне точных законов природы нет и теперь. Ученые долго это приписывали „несовершенству опытов“, „неизбежным ошибкам“. Однако, не удалось сохранить в совершенной точности даже закон сохранения материи (а без совершенной точности очень уменьшается его философская ценность). В полной сохранности не остались и законы Ньютона. Я понимаю, как это тяжело физикам. Уайтхед утверждает, что верность ньютоновых законов движения, в пределах точности наблюдения, совершенно различна в применении к звездам, молекулам и электронам². Он все же признает их как первое приближение к истине (first approximation) и для уравнений инфрамикроскопического мира. Книги Уайтхеда одно из последних слов в области математической философии. Но, быть может, физики *самого* последнего поколения под этим его признанием и не подписались бы.

*Англ. *successor* — пер. см. на стр. 158.

²A.N. Whitehead, *An Enquiry Concerning the Principles of Natural knowledge*, Cambridge, 1919, p.18.

Л. Один из самых последних исследователей импеппо утверждает, что теория Эйнштейна стремится не к упичтожению ньютонической механики, а к ее поглощению, оставляя за ней ценность истины в первом приближении*.

А. Если это и верно, каково же считать „первым приближением“ то, что в течение двух столетий призывалось непоколебимой основой точных наук и идеалом каждой из них?

Л. Сам Ньютон этого не думал. Эйнштейн как-то отметил, что Ньютон „лучше знал слабые стороны своего „здания идей“, чем следующие поколения ученых“[#]. И мне кажется, что то же самое можно сказать о самом Эйнштейне.

А. Я этого не думаю. Прочтя три раза его последнюю, тоже очень шумевшую работу, я, просто по недостаточности познаний, не понял ее математического аппарата. Если не ошибаюсь, эту участь сомпной разделяют люди, имеющие неизмеримо большие, чем я, познания, вплоть до знаменитых математиков и физиков. Могу судить только о философской стороне основной идеи. Скажу и тут, она а priori подозрительна по своей монистической простоте. Сам Эйнштейн называет свои четыре заключительных уравнения „необычайно простой системой“[^]. В начале же этой работы он говорит, что, вследствие математических трудностей, еще не нашел практического пути для сопоставления результатов своей теории с данными опыта[^]. Допустим, что он практический путь найдет. Допустим даже, что опыт его выводы подтвердит. Я почти не сомпеваюсь, что это наткнется на „дапо третье“. Нельзя, думаю, и стараться дать закон, объединяющий разнородные силы и явления природы. Все слишком „монистическое“, слишком „простое“, слишком „круглое“ маловероятно и искус-

*E. Baudin, Précis de logique des sciences, Paris, 1938, p.343.

[#]Albert Einstein, Mein Weltbild, Amsterdam, 1934, p.207.

[^]Albert Einstein, Generalized Theory of Gravitation, приложение к третьему изданию The Meaning of Relativity, Princeton, 1950, p.146.

[^]Там же, стр. 134.

ственно. Земля вращается вокруг Солнца в 365 с чем-то суток, — это а priori несколько не подозрительно. Но если б астроном далекого прошлого заявил, что она совершает свой круг ровно в 1000 или 10 000 суток без часов и минут, то это у некоторых философов вызвало бы чрезвычайный восторг, но у людей точно-го знания *должно было бы* вызвать и сомнение.

Л. Однако в обоих случаях, с „круглостью“ или без „круглости“, они не сделали бы вывода, что закон природы был результатом борьбы со случаем, — взгляд, неизмеримо более „подозрительный“. В вашей мысли я вижу лишь некоторый пережиток окказионализма*.

А. Ваше последнее замечание очень типично. Вы, как многие, судите по словесным ассоциациям. Слово случай в известном смысле переводится на французский язык словом „occasion“ (в моем смысле надо переводить *hasard*). А уж если „occasion“, то, значит, и „окказионализм“! Нет, тут ничего общего нет. Я для своей „системы“ готов обойтись и без ученого „изма“, в отличие от немецких профессоров философии: у них есть свой „изм“ в каждом германском университетском городе, благо это очень удобно запоминается, выгодно для рецензий и для упоминания в учебниках.... Что такое окказионализм? Учение Гейлинкса о двух часах для пояснения взаимоотношений души и тела? Попытка преодолеть трудности некоторых картезианских понятий? Все это теперь совершенно не интересно. Сущность же мальбраншевского окказионализма, по-моему, заключалась в желании перенести причинность из человеческого круга в круг высший. Многие в мире дает Богу случай (*occasion*) от причинности отступить или же заменять временную причинность в действиях человека своей собственной вечной причинностью. *Отдаленный* отголосок этого учения есть в философии „Войны и мира“. Меня в „мальбраншизме“ интересовала одна мысль — та, что мир может оказаться

*Окказионализм — направление в философии XVII в., утверждавшее принципиальную невозможность взаимодействия души и тела без прямого вмешательства Бога в каждом отдельном случае. — *Прим. ред.*

недостойным Бога и перестанет Его интересовать.
Мысль смелая.

Л. Будто? Мальбранш вообще смелостью никак не отличался. Он больше всего на свете боялся огорчить Боссюэ, который в конце концов, к великой его радости, его признал, хотя раньше на полученной им, в качестве верноподданнического подношения, книге Мальбранша начертал свою высочайшую резолюцию: „Красиво. Ново. Ложно“. Вдобавок Мальбранш был сумасшедший. Ему всю жизнь казалось, что у него на носу повис кусок баранины.

А. Если это не было выдумкой его врагов. Скажем правду: вы, разумеется, как теперь почти все, отрешиваетесь от позитивизма и еще больше от „Фохта, Бюхнера и Мошотта“ (ведь для обозначения грубого материализма почему-то всегда называют именно этих популяризаторов из десятка других таких же). В этом вы совершенно правы. Тем не менее ваше презрение к Мальбраншу как-то, корнями или как-ким-либо залежавшимся корешком, уходит к позитивистическому, а может быть, и материалистическому началу, все же кроющемуся в уме громадного большинства естествоиспытателей. Мальбраншу можно многое простить и за тонкость многих его страниц, и за его культ Декарта, и особенно за его литературный талант: ведь порою на нем отдыхаешь душой после долгого изучения немецких философов, начиная с Лейбница...

Л. Простите отступление в сторону, но я не могу согласиться и с общим местом о тяжеловесности немецких философских книг. Германские философы придерживались мнения, что „элегантность надо предоставить портным“, — это изречение приписывают Эйнштейну, но на самом деле его автор Людвиг Больцман. Философия не фельетон.

А. Разумеется. И я был бы крайне огорчен, если б она пошла на какие-либо уступки фельетону. „Элегантность“ ей несколько не нужна, хотя, по случайному совпадению, быть может, самыми глубокими философами были именно те, которые и писали ясно,

хорошо, „блистательно“. Литературный талант никак не повредил Платону, св.Августину, Декарту, Паскалю, Шопенгауэру, из новых — Ницше, Соловьеву, Бергсону, Файхингеру, Франку. Впрочем, я говорил преимущественно о немецких *профессорах*, да и тут ничего не обобщаю. У самого Гегеля есть страницы, замечательные и в чисто литературном отношении. Возвращаясь к предмету, скажу, что „измы“ есть вещь предательская. Так, например, по сходной словесной ассоциации вы могли бы назвать мои мысли близкими и к пробабиллизму*. Я и это должен был бы отрицать.

Л. И напрасно. Поскольку вы идее случая и, следовательно, вероятности отводите в своих мыслях столь важное место, я имею право хоть до некоторой степени связывать вас с пробабиллизмом не только по словесным ассоциациям. Ведь его создатель Карнеад может считаться в философском отношении предтечей теории вероятностей. Его, в отличие от Мальбранша, я ставлю очень высоко. Не думаю, чтобы философия по-настоящему ответила на тот десяток его страниц, которые удалось восстановить историкам.

А. Очень хорошо, что вы его назвали. Правда, предтечей теории вероятностей его можно назвать лишь с оговоркой: все-таки без математики эта теория висела бы в воздухе... Я рад, что вы не боитесь „отступлений в сторону“: их у нас было и будет очень много. Но если я кратко коснусь *истории* теории вероятностей и еще более кратко поставлю ее в связь с личностью ее трех основоположников, Карнеада (повторяю, с оговоркой), Паскаля и Ферма, то тут и отвлечения в сторону не будет. Люди были совершенно разные, разные по складу ума, по душевному настроению, по взглядам, по всему. Тем не менее в чем-то с теорией связанном, с какими-то из нее отдаленными выводами они сошлись — это обстоятельство само по себе имеет значение. Карнеад пошел дальше всех. Заметьте, самое слово „вероятность“

*От *англ.* probable — возможный, вероятный. — *Прим. ред.*

встречается у него не часто, кажется, не более четырех раз во всем, что от него осталось (или что ему приписывается). Но свой метод он применяет ко *всему*, ни перед чем не останавливаясь. Вера в богов? „Я с верой в богов не борюсь, а только считаю несостоятельными припущенные методы ее доказательства“. На самом деле он в пользу „вероятности“ существования богов не приводит никаких доказательств, а в пользу „невероятности“ очень много. Он отрицает существование истины в геометрии, причем ее не отделяет от литературы и музыки*. Его страница о политических формах правления, о тирании, олигархии и демократии состоит из жестокой и одинаковой над всеми насмешки“. Карнеад был первый нигилист в истории мысли. По словам Цицерона, он, при своем огромном ораторском таланте, мог доказать, что белое черное, а черное белое. Кто-то другой рассказывает анекдот: приехав с дипломатической миссией из Греции в Рим, Карнеад в блестящей лекции произнес похвалу справедливости. Но на следующий же день, в другой блестящей лекции, он доказал, что справедливость самое отвратительное из явлений. Обе лекции имели огромный успех. Цицерон, старый адвокат и политический делец, по-видимому, испытывал нечто вроде профессиональной зависти. Разумеется, Карнеад был циником не в древнем, а в нынешнем смысле этого слова. Паскаль — прямая противоположность, о нем распространяться не приходится. И пакопец, Ферма, человек промежуточного типа, еще, к сожалению, мало изученный, хотя по гениальности близкий к Леопардо да Винчи...

Л. Не слишком ли сильно сказано?

А. Не думаю. Хорошо ли вы помните его биографию?

Л. Я не вижу, какое отношение может иметь к делу биография ученого.

*Die Nachsokratiker, Собраны и переведены на немецкий язык Вильгельмом Нестле, Иена, 1923, стр. 270.

*Там же, стр. 266.

А. Только отдаленное, в том смысле, в каком Гельвеций говорил, что гений шедевр случая*. Большой, удивительный сюжет Ферма мог бы дать для романа, если б его жизнь была все-таки немного лучше известна. Этот сын лавочника сделал головокружительную карьеру. Он считался одним из самых лучших и беспристрастных судей Франции. Вероятно, он мог бы стать первым министром короля, ибо был умнее и учнее всех министров вместе взятых, а Людовик XIV охотно назначал на самые высокие посты людей невысокого происхождения и даже предпочитал их аристократам, к крайнему негодованию этих последних и особенно герцога Сен-Симона^а („неуклонная линия прогресса“ шла так хорошо, что столетием *позднее*, при Людовике XVI, накануне революции, человек, не имевший четырех поколений дворянства, не мог получить даже лейтенантского чина, тогда как в XVII веке Катина, отнюдь не знатный человек, был главнокомандующим и маршалом Франции). Но Ферма не был честолюбив. По должности он был занят почти целый день. Об его судебно-административной работе почти ничего неизвестно. Из одного его письма можно заключить, что он был человек справедливый и добрый^б. В свободное время он писал стихи на французском, латинском и испанском языках. В его некрологе, помещенном в „Journal des Savants“ в феврале 1665 года, сообщается, что писал он их „с такой элегантносью, как если бы жил во времена Августа или провел большую часть своей жизни при французском и мадридском дворах“^в, — автор некролога, очевидно, думал, что придворная жизнь очень способствует развитию поэтического таланта. Ферма был также знатоком древности и разъяснил немало темных мест в произведениях писателей классического мира — это он делал только по просьбе друзей. И, наконец, немного занимался он и математикой. Своих математических работ он почти

*Цитируется по книге И. Лапшина, *Философия изобретений и изобретение в философии*, Прага, 1924, том I, стр. 15.

^аСен-Симон Луи (1675—1755) — известный французский писатель и государственный деятель. — *Прим. ред.*

^б*Œuvres de Fermat, publiées, par les soins de Paul Tannery et Charles Henry, Paris, 1894, vol. II, p. 250.*

^вПерепечатано там же, т. I, стр. 360-61.

никогда не печатал — поместил лишь одну без подписи в приложении к математической книге другого ученого, Лалуэра. Обычно же излагал свои математические изыскания только в письмах к компетентным друзьям. Они читали и изумлялись. Паскаль считал его „первым человеком на земле“ и говорил, что сам он, как математик, в подметки не годится Ферма. Очень высокого мнения о его математическом даре держался и Декарт, хотя они недолго любили друг друга, особенно вначале, и порою в геометрии расходились взглядами. Теперь всеми признается, что Ферма был одним из величайших математиков в истории. Белль называет его „королем дилетантов“ — и добавляет, что, „как чистый математик, Ферма был по меньшей мере равен Ньютону“*, — для „дилетанта“ похвала недурная! Что же было бы, если б он дилетантом не был? Лаплас утверждал, что именно он, а не Ньютон и не Лейбниц, открыл дифференциальное исчисление, и что он до Декарта наметил основные положения аналитической геометрии. С этим согласился и Белль. Сам же Ферма не придавал большого значения своим ученым трудам, да и ученым трудам вообще, — ну, открыл, велика важность! Но, по-видимому, он был человек не лишенный лукавства. Иногда в письмах посылал знаменитым ученым математические загадки — вот как, быть может, в суде благодушно строил юридические козни состязавшимся сторонам: спрашивал ученых, как бы они решили такой-то вопрос, не сообщая им своего решения. Одну из его задач разрешил Лейбниц, другую Эйлер, проработавший над ней семь лет. С третьей же, последней теоремой Ферма[†], вышла странная история. На полях одной старинной математической книги „король дилетантов“ записал: „Я нашел поистине замечательное решение этой теоремы, но поля этой книги недостаточно велики для того, чтобы привести мое доказательство“. Ферма умер в 1665 году, а доказательство не найдено по сей день. Над ним уже три столетия тщетно ломали и ломают головы знаменитейшие математики, в том числе Лагранж, Эйлер и Гаусс. В 1908 году дармштадтский ученый профессор

*E. T. Bell, *Les Grands Mathématiciens*, Paris, 1950, p.68.

†*Œuvres de Fermat*, Paris, 1891, vol. I, p.291.

Пауль Вольфскель завещал сто тысяч марок тому, кто найдет полное доказательство последней теоремы Ферма*. Никто до сих пор премии не получил, а вследствие германской инфляции премия обратилась в ноль.... Простите эти небольшие замечания, не имеющие прямого отношения к нашему спору. Из них виден образ человека: в политике „centre gauche“[#], в жизни благодушный, лукавый наблюдатель событий, одинаково чуждый и карпеадовскому цинизму, и страстной, аскетической, постропной на крайностях натуре Паскаля, с которым его непонятым образом связывала тесная дружба (психологически было бы естественнее, если б они друг друга ненавидели). И перед столь разными людьми стоял один и тот же вопрос о *вероятности* истины. Кто-то сказал, что „геометрия случая“ появилась в мире по случайности. Ну, что ж, для создания закона всемирного тяготения потребовалось, чтобы с дерева упало яблоко, по потребовалось также, чтобы при этом оказался Ньютон. Так и здесь. Для создания математических теорий вероятности пужпо было, чтобы у шевалье де Мере за игрой в трик-трак произошел какой-то редкостный казус, по пужпо было также, чтобы он был знаком с Паскалем...

Л. Простите, я не помню: какой шевалье де Мере и при чем тут еще и он?

А. Тогда „отступление в сторону“. Шевалье Антуан де Мере был игрок, светский шалопай и очень образованный человек, педурно писавший мадригалы и разные очерки. Он был хорошо знаком с Паскалем. Тут уж, казалось бы, на заказ трудно было и подобрать человека, который должен был бы возбуждать такое отвращение у Паскаля, как этот шевалье. Он был вдобавок влюбленный в себя фат и псеввероятный хвостун. Семидесяти лет от роду, узнав, что мадам де Ментенон добилась наконец своей цели и выходит замуж за Людовика XIV, он явился к ней и предложил ей свою руку и сердце: он тоже готов па

*В комиссию Wolfskell-Stiftung входили Элерс, Гильберт, Клейн, Минковский и Рунге (см. ее Bekanntmachung).

[#]„Левый центрист“ (фр.).

ней жениться. Воображаю изумление маркизы! Она все же предпочла выйти замуж за короля. К Паскалю Мере относился благодушно покровительственно, считал даже себя его учителем в математике. Тем не менее Паскаль отзывался о нем скорее тепло*. В один прекрасный день 1654 года Мере задал Паскалю два вопроса, касающиеся игры в трик-трак. У великого человека мгновенно возникла мысль о возможности математического подхода к этим вопросам. Он и нашел новые методы математического мышления, которыми через полтора века еще восхищался Лаплас. По другой случайности вышло так, что своим открытием он поделился с Ферма. Тот чрезвычайно заинтересовался, послал Паскалю свое решение, сходное и более общее. Таким образом создалась теория вероятностей. Эти два гениальных или даже сверхгениальных человека не занимались ее применением к социальным проблемам. Семнадцатый век вдобавок был для этого неподходящим временем. Они исходили из *случая* в самой маловажной его форме: Паскаль и Ферма игроками не были, да и для человечества не представляло большого интереса, *как* будет вестись игра в трик-трак и можно ли вообще играть „разумно“. Учение Паскаля—Ферма осталось почти незамеченным. К нему вернулись по-настоящему в восемнадцатом столетии. Отчасти вернулись в связи с проблемами страхования людей от смерти. Но мог быть интерес и гораздо более общий. В начале столетия Николай Бернулли, член известной династии швейцарских математиков, напечатал работы своего уже умершего дяди[†]. Следуя за Гюйгенсом, Бернулли дал ее первое основное положение. Теория вероятностей была впервые дана в ее развитой форме. Нелегко передать впечатление, какое она тогда произвела. Время переменялось, настал восемнадцатый век, век разума, век оптимизма, век безграпичной веры в знание. Новая наука не дала, но обещала ответ на очень много. Она отвечала эпохе и ее wishful thinking[‡]: все

*Письмо Паскаля к Ферма от 29 июля 1654 года.

[†]Jacques Bernoulli, L'Art de Conjectures. Цитирую по изданию 1801 года (Сасп, Ап X). Николай Бернулли сообщает, что его дядя изложил свои мысли впервые в мемуарах Академии Наук в 1705 году и в „Эфемеридах Парижа“ в 1706 году. Автор настоящей книги этих статей не видел.

[‡]Принятие желаемого за действительное (*англ.*).

можно будет со временем подвергнуть математическому расчету, можно будет предсказывать события, устанавливая коэффициент человеческих ошибок в науке, в правосудии, в политической жизни, в общественном строительстве — можно будет, значит, и вносить соответственные поправки*. Были увлечены чуть ли не все математики и философы. Насколько мне известно, единственное исключение — и странное — составил д'Аламбер. Странное потому, что, по своей пламенной вере в торжество разума, он должен был бы ухватиться за новую науку крепче, чем кто-либо другой. Зато столь близкий ему по духу Кондорсе увлекается больше всех. Он хочет создать „социальную математику“. Впрочем, он допускает, что в общественных науках не все будет доступно исчислению и предвидению; однако разве дело не обстоит так же с физикой и с близкими к ней точными науками? И там, и здесь есть „бесконечное множество предметов, к которым всегда будет закрыт доступ математике; можно на это себе ответить, что и там, и здесь число вещей, к которым математический анализ может быть применен, столь же безгранично“^{##}. Труд Кондорсе характерно и называется: „Опыт применения анализа к вероятности решений, принимаемых большинством голосов“. Уж если можно применять теорию вероятностей к решениям будущего Учредительного собрания (книга появилась за четыре года до революции — и за девять лет до самоубийства автора), то к чему же собственно ее применять нельзя! Кондорсе не только верил в будущее торжество разума, но не сомневался в его близости. Теория вероятностей обещала победу над случаем — чего же было желать еще! Легко было математику Бертрану через сто лет после того говорить об очевидных ошибках и наивности Кондорсе[^]. Тогда его труд был принят иначе: он отвечал настроению эпохи. Менее прощительно было такое настроение Лапласу, по крайней мере в ту пору, когда он

*См. об этом в не очень ценной и безнадежно устаревшей работе Шарля Гуро, вышедшей более ста лет тому назад.

^{##}Condorcet, Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, 1785, p. CLXXXIX.

[^]J. Bertrand, Calcul des probabilités, Paris, 1889, p.320.

писал „Essai philosophique sur les probabilités“*. Удивительное дело: в этой книге перечисляются почти все его предшественники по созданию и по применению теории вероятностей, но имени Кондорсе Лаплас не произносит, хотя писали они, в сущности, на одну и ту же тему и почти в одном и том же духе.

Л. Это, быть может, по политическим соображениям было не очень удобно наполеоновскому графу, позднее ставшему королевским маркизом. Лаплас, при всем своем гении, был лукавый царедворец. В 1810 году он посвятил свой труд „Наполеону Великому“, а после крушения Наполеона довольно бессовестно, хотя и совершенно справедливо, писал: „Взгляните, в какую бездну несчастий часто погружает народы честолюбие и коварство их вождей“. Мог ли такой человек сочувствовать погибшему жироидисту, одному из светских святых революции?

А. Вы видите, что и вам не всегда удастся отвлекаться от личности и биографии ученого. Тут ничего непозволительного нет, особенно, когда дело идет о Лапласе: он тоже достаточно „красочная“ фигура. Все же ваш подход к нему частью политический, частью моральный. Я ставлю вопрос иначе. В 1814 году все, случившееся в мире в течение двадцати пяти лет, могло казаться людям лишь глупой шуткой. На престол казненного Людовика XVI вступил его брат, и совершенно непонятно было, зачем и во имя чего погибло несколько миллионов людей. О торжестве разума тогда было говорить уже довольно неловко, тем более что, на беду, теория вероятностей ровно ничего не предсказала. Но во взглядах Лапласа никакой перемены не произошло. Напомню вам его сто раз с толком и без толку цитировавшуюся фразу: „Ум, который в известный момент знал бы все действующие в природе силы и относительное положение составляющих ее существ, — если бы он был достаточно обширен для того, чтобы подвергнуть анализу эти данные, — мог бы объединить в одной формуле движения самых великих тел и самых лег-

* „Опыт философии теории вероятностей“ (*фр.*).

ких атомов: ничто не было бы ему неизвестным, его взору предстало бы будущее, как прошлое**.

Л. Что ж, эта мысль сродни учению Декарта и отвечает „картезианскому состоянию ума“.

А. Ни в какой мере. Лаплас не очень любил „картезианское состояние ума“ и недолюбливал самого Декарта¹. В истории точных наук, кажется, не было слов более знаменитых, чем приведенная мною фраза Лапласа. Ею восторгалось несколько поколений ученых, да, может быть, продолжает кое-кто восторгаться и в нынешнем поколении. Но, кажется, не было и слов более антифилософских — даже не грубо-материалистических, а почти мапиакально-механических. Это получше „Бюхнеров и Молешоттов“, получше и диалектического материализма, который, по крайней мере в его новейшем выражении, такого механизма и не проповедует (хотя всем видам материализма отказываться от фразы Лапласа было бы одинаково трудно). Отмечу и странную судьбу этой фразы — как бы завещания XVIII века XIX в истории точных наук. Ее считали откровением, но следовать ей в изысканиях было невозможно: можно было только скорбеть о том, что такой „ум“ еще не появился на свет Божий... Кажется, Н.О. Лосский высказал мысль, что в условиях свободы диалектический материализм переродился бы в одну из идеалистических систем. С механизмом лапласовского вида и этого случиться не могло бы. Если бы по случайности нашлась какая-либо государственная власть, которая сделала бы с ним то же, что советская власть сделала с историческим материализмом, то есть объявила его обязательным учением и десятилетиями вдальблывала его в головы своих граждан, то они задохлись бы в „лапласизме“ еще гораздо хуже, чем теперь Россия задыхается от советской метафизики. С ним просто нечего было бы делать и некуда ткнуть, тогда как при помощи методов нынешней советской философии все-таки можно изучить, например,

¹Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*, Paris, 1921, vol.II, p.3.

²Laplace, *Exposition du système du monde, Œuvres complètes*, Paris, 1884, vol.VI, pp.454 — 5.

вопрос об исторической роли хлопководства в Туркестане. Непонятно, что сказал эти слова именно Лаплас, видевший вблизи, как происходят большие исторические события. На его глазах прошла французская революция, он был министром Наполеона, хорошо его знал и мог бы видеть, определялись ли „движением атомов“, могли ли бы быть „объединены в общую формулу“ решения, от которых зависели судьбы мира. Что ж делать, можно быть гениальным математиком, никак не будучи философом. Лаплас вдобавок в душе ненавидел и презирал все „метафизическое“. Пуассон, во многом похожий на Лапласа, в частном разговоре однажды сообщил, что они вдвоем часто проходили по Avenue de l'Observatoire, почему-то всякий раз, вступая на эту прекраснейшую из улиц, начинали беседу на „метафизические“ темы — и всякий раз, доходя до какого-то дерева в конце улицы, Лаплас неизменно произносил непристойные слова. Эти два великих математика были настоящими энтузиастами теории вероятностей; едва ли кто другой больше, чем они, способствовал ее необычайному развитию. Но думаю, что философская сторона этой теории была им не очень ясна. Они не видели и того, что исходят из аксиоматики все-таки произвольной. Через сто лет после них известный физик Липман говорил Анри Пуанкаре об основной теореме теории ошибок: „Все в нее верят, так как экспериментаторы считают ее математической теоремой, а математики думают, что она экспериментальный факт“*. Это порою случается и с общими положениями теории вероятностей. В философском отношении некоторые из них все-таки недалеко ушли от простой неученой человеческой речи с простыми неучеными определениями: „верно“, „вероятно“, „похоже на правду“, „сомнительно“, „ложно“, „нелепо“.

Л. Вы много говорили об определениях случая и предложили одно, весьма странное. Есть ли у вас заодно и определение смежного понятия вероятности? Математики его дают. Не знаю, как философы,

*Trechet et Halbwachs, *Le Calcul des Probabilités*, Paris, 1924, p.IX. Не называя имени Липмана, Пуанкаре сам об этом рассказал в *La Science et l'Hypothèse*.

в частности те, которые занимались историей математических наук.

А. *Философского* определения вероятности не дают ни те, ни другие. Курно вначале вообще не хотел пользоваться этим понятием — так оно неясно*. В недавнее время прямо или косвенно возражали против него Анри Пуанкаре и особенно Бертран. Мизес, кстати, указал^а, что самое слово „вероятность“ Гёте употреблял не в том смысле, в котором его употребляют математики. Конечно, семантические соображения большого значения не имеют. Отмечу попутно, что Курно был не очень доволен и словом „hasard“: „Оно иностранного происхождения и случайного ввоза (d'importation accidentelle) и не принадлежит к органическому фонду языка“^а. Кант говорит: „Вероятностью называется то, что имеет на своей стороне больше половины уверенности (Gewissheit), дабы быть признано истинным“. Уж лучше тогда пользоваться одними математическими определениями. А такие понятия теории вероятностей, как „математическая надежда“, „моральная надежда“? Если не ошибаюсь, в русской науке Чебышев первый стал пользоваться термином „математическое *ожидание*“^б, который, по крайней мере, свободен от элемента желательности, присущего слову „надежда“. Да и он свое выражение предлагает в несколько условной форме: „Если мы примем называть вообще математическим ожиданием“ и т.д. Быть может, не слишком удачно тут и слово „моральный“. О „моральной надежде“ сам Лаплас говорит, что она „определяется (se règle) тысячей обстоятельств, точно расценить которые невозможно“^в. Спорны в философском отношении и понятия „равновероятный“, „равновозможный“ — „équiprobable“ „gleichmöglich“. А можно ли считать философски бес-

*A. A. Cournot, Exposition de la théorie des chances et probabilités, Paris, 1843, p. V.

^аRichard von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Wien, 1928, pp. 10 u 182.

^бA. A. Cournot, Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, Paris, 1875, p. 305.

^вП. А. Чебышев, Сочинения, Петербург, 1899, т. I, стр. 687.

^гLaplace, Théorie analytique des probabilités, Œuvres complètes, Paris, 1886, vol. VII, p. 441.

спорным основное положение теории вероятностей, первый принцип Лапласа „вероятность — это отношение числа благоприятных случаев к числу всех случаев возможных“? Пуанкаре считал его сомнительным. Так же как будто относится к нему и Мизес, который своей теорией „коллективов“ одиц, после Курно, внес нечто новое в философскую часть теории вероятностей. Лаплас (да и другие до него и после него) называл это положение неопределенным словом „принцип“. Это, конечно, не теорема, так как она не доказана и недоказуема. Это и не гипотеза, так как на ней построена вся теория вероятностей, а трудно было бы построить огромную науку на недоказанной гипотезе. Вы видите, что это произвольная аксиома, оказавшаяся необычайно плодотворной.

Л. Это положение самого обыкновенного здравого смысла. Лаплас и называет теорию вероятностей „здравым смыслом, сведенным к вычислению“, „le bon sens réduit au calcul.“*

А. Здравый смысл говорит также, что через одну точку можно провести на плоскости только одну линию, параллельную данной прямой. Быть может, теория вероятностей еще ждет своего Лобачевского. Первые философские возражения были против нее сделаны еще в XVIII столетии, повторяю, д'Аламбером. Его скептические замечания вызвали против него резкие и даже грубые нападки. „Некоторые большие геометры, — пишет он сам, — признали мои сомнения заслуживающими внимания. Другие большие геометры нашли их абсурдными, — зачем смягчать употребленные ими выражения?“#. Я не мог установить, кого д'Аламбер разумел под первыми „большими геометрами“. К вторым же принадлежал Даниил Бернулли, который отозвался об его соображениях даже в еще более сильных выражениях („ridicule“^а). К чему сводилась критика д'Аламбера? Он указал на разницу между математически возмож-

*Laplace, Essais philosophique sur les probabilités, vol.II, p.105.

#D'Alembert, Doutes et questions sur le calcul des probabilités. Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, Amsterdam, 1767, vol.V, p.275.

^а„Смешной“ (φρ.).

ным и физически возможным. Математически совершенно возможно, что в игре в чет и нечет чет выпадет подряд сто или тысячу раз, а нечет не выпадет ни разу. Однако этого физически быть не может. Собственно, полагалось бы дать доказательство физической невозможности этого; д'Аламбер привел лишь аналогию: „Можно дать только следующую ее причину: не бывает в природе, чтобы эффект был всегда и неизменно один и тот же, как нет в природе сходства между всеми людьми, между всеми деревьями“. Мы опять тут видим, как опыт или наблюдение легко меняются местами с математической дедукцией в проблемах теории вероятностей. Примером могла бы быть и так называемая „петербургская проблема“, чрезвычайно занимавшая математиков восемнадцатого века. Математически было бы совершенно возможно, чтобы при игре Павла с Петром, с такими-то правилами о ставках (не буду утомлять вас подробностями), Павел выиграл бесконечное число раз и выигранная им сумма превысила всякую данную величину. Петербургские и иностранные математики долго бились над этой проблемой; с философской точки зрения она собственно не разрешена и до сих пор. Один из ученых даже договорился до такого довода: такая возможность при игре Павла с Петром исключается, так как состояние Петра, как бы богат он ни был, все же имеет пределы; он не мог бы проиграть больше того, что у него было! По свойству человеческой природы, мы легче воспринимаем не математические, а физическую возможность и невозможность. Если в рулетке, скажем, номер 22 выпадет пять раз подряд, то верно ни один игрок не поставит на него в шестой, хотя математически он может так же легко выпасть снова, как может выпасть какой угодно иной номер. В романе капитана Марриета „Простак Питер“ во время морского сражения ядро пробивает дыру в палубе враждебного судна. Находящийся на этом судне молодой моряк уткнул в эту дыру голову, „ибо, по вычислениям профессора Иннмапа, есть 32 647 с десятиными шансов против того, чтобы в ту же дыру попало еще второе ядро“. Я не читал этого романа, но нашел упоминание о моряке и ядре в книге доктора

Левинсона*. Конечно, профессор Иннман никаких таких „вычислений“ сделать не мог — и не только потому, что никогда не существовал. Но неученому человеку вы в подобном случае и не вдолбили бы в голову, что второе ядро может с одинаковой математической вероятностью угодить и в эту дыру, и в любую другую точку судна. Это шутка романиста. Возможна, однако, гораздо более серьезная философская критика теории вероятностей. Вероятное, правдоподобное предполагает существование верного, правды. Но если правда сама основывается на теории вероятностей, то получается внутреннее противоречие или заколдованный круг. То, что относится ко всем научным законам, должно ведь относиться и к закону больших чисел. „Случай есть нечто стоящее вне законов“. Тогда не ищите закона для случая. „Случай есть псевдоним нашего незнания“? Какая же у незнания может быть теория? Основной закон Бернулли висел в воздухе до того, как Чебышев дал ему чисто математическое доказательство. Из десяти принципов Лапласа, из которых я привел лишь один первый (основной принцип всей теории), лишь немногие, никак, например, не третий и четвертый* (тоже основной и чрезвычайно важный), выдержали бы строгий и критический экзамен. Теория вероятностей могла бы откровенно это признать (но не признала), и это нямало не уменьшило бы ее огромного значения, как новые геометрии не уменьшили значения геометрии Евклида, — она ведь осталась полезнейшей и необходимейшей из геометрий. Так и теория вероятностей оказывает человечеству очень большие услуги, хотя и не в тех областях, к которым ее пытались применить Кондорсе, Лаплас и Пуассон. Очень высока и ее внутренняя ценность, не уступающая ценности учений Лобачевского и Гильберта. Главная же ее заслуга в том, что она до сих пор — самая мощная, самая общая и самая успешная попытка человеческой мысли *ограничить роль случая во многих областях познавательного*. Это дол-

*H.C. Levinson, *La Chance*, Paris, 1952.

*Laplace, *Essais philosophiques sur les probabilités*, Paris, 1921., vol. I, p.11-13. Этот принцип, согласно которому сложная вероятность представляет собой произведение простых вероятностей, обычно включается в теорию как второй.

жен был с особенной ясностью чувствовать Паскаль. Бессмертная книга „Мыслей“ вся насквозь проникнута „метафизическим ужасом“ перед мощью Случая с большой буквы. Это, конечно, не имеет отношения к его соображениям о задаче де Мере: трик-трак метафизического ужаса вызывать ни у кого не мог. У людей же XVIII века, вместо метафизики, столь им ненавистной, было просто глубокое сознание того, что надо бы свести случай к минимуму, надо, чтобы и войн не было, и чтобы невинных людей не отправляли на казнь. Когда Кондорсе в последние недели жизни, скрываясь от властей, ожидая каждый час ареста и казни, писал „Esquisse d'un tableau historique du progrès de l'esprit humain“*, со всей прежней трогательной и непонятной верой в близкое торжество Разума, он, верно, и думать забыл о своей книге по теории вероятностей. Но если бы о ней вспомнил, то, конечно, пришел бы к выводу, что оба эти его труда, столь несходные по форме, исходили из одних и тех же душевных настроений и служили одной и той же цели. От этой веры XVIII века наука, конечно, отошла. Она и в детерминизме теперь уверена не очень твердо.

Л. Если б наука отказалась от детерминизма, то она тем самым вообще покончила бы с собой, и это было бы, разумеется, наиболее трагическое характеры в истории мысли: при отрицании детерминизма никакое научное исследование вообще невозможно. Вы, вероятно, здесь имеете в виду уравнения Гейзенберга? Но с ними просто произошло недоразумение#. Вопрос об индетерминации, к которому они имели отношение в одной частной физико-математической теории, смешали с общим спором о детерминизме и индетерминизме.

А. Не уверен, что вы правы: кто, быть может, смешал, а кто и не смешивал. Принцип Гейзенберга

* „Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума“ (фр.).

Знаменитый физик, профессор Ланжвен, в давнем разговоре с автором этой книги, сказал: „Принцип Гейзенберга не очень хорошо поняли и физики. Философы же его совершенно не поняли“.

может быть верев или пeverеп, причинность может быть „ограниченной“ или нет, по к случаю это отношения не имеет. Я приведу вам, в несколько измененной и „модернизированной“ форме, превосходный пример Курно. Человек Икс выходит из дому на улицу. Он делает это по известным *причинам*: скажем, прогулка полезна для его здоровья; или же он привык уходить в тот час, когда у него убирают дома кабинет; или же у него назначено в это утро свидание; или ему нужно что-то купить. Можете прибавить к этим сознательным мотивам еще несколько полусознательных или подсознательных, вплоть хотя бы до фрейдовских. Как бы то ни было, перед вами тут реальная конкретная цепь причинности. Но наряду с ней, совершенно независимо от нее, действуют другие сходные цепи. В конце улицы, на которой живет этот человек, стоит высокий старый дом, по таким-то причинам нуждающийся в ремонте. Его владелец, по своим соображениям, решаете извести ремонт. Под крышей на подмостках работает каменщик Игрек. Он работает плохо: стар, или болен, или устал, или в этот день много выпил. В ту минуту, когда человек Икс проходит по тротуару мимо этого дома, человек Игрек неумышленно роняет ему на голову тяжелый кирпич — его рука со скрюченными от ревматизма пальцами этого кирпича не удержала. Человек Икс падает мертвый с раздробленной головой. Во всех этих отдельных цепях причинность действовала без отказа. Но скрещение цепей было случаем. Можно, конечно, придумать философские „объяснения“: например, „видно, таковая была судьба Икса“ — это объяснение ровно ничего не объясняет, да, собственно, ничего и не значит. Наука в этом и в других сходных объяснениях ни при чем. Другие примеры Курно гораздо менее убедительны. Два брата, говорит он, служат в одной армии и погибают в одном сражении. Человеческий ум в этом ничего странного не находит: естественно, что братья старались держаться близко друг к другу, поэтому они попадали часто в одни и те же опасные места поля битвы и легко могли погибнуть рядом. Но вот другое событие. Знаменитые генералы Клебер и Дезо долго были братьями по оружию, вместе сражались на Рейне, вместе отправились с Бонапартом в Еги-

пет. Затем Клебер в Египте остался, а Дезэ вернулся в Европу. Но оба они погибают *в один день и в один час*: Клебера в Каире закалывает убийца, а Дезэ под Маренго убивает австрийская пуля. Третий пример: тоже в один день и один час умирают далеко друг от друга Джефферсон и Джон Адамс, которые долго были вождями враждебных партий и один за другим правили Соединенными Штатами. Эти примеры Курно не только не поясняют идеи случая, но скорее ее затемняют. Если бы даже было верно, что Дезэ и Клебер или Адамс и Джефферсон умерли в один час (разница в *минутах*, во всяком случае, была), то это было бы не более „нестественно“, чем, например, то, что Шекспир и Сервантес оба скончались в 1616 году, или даже чем то, что в одном месяце, в феврале 1953 года, в Нью-Йорке и в Филадельфии умерли два знавшие друг друга столяра. Цепи причинностей тут даже не скрещиваются. Но огромной заслугой Курно, разительно сказавшейся в его первом примере, было именно разъяснение понятия цепей причинности и его применение к идее случая. Другая его заслуга в том, что он разрушил несостоятельную и даже нелепую концепцию Боссюэ—Лапласа, согласно которой никакого случая нет. Курно дал случаю и определение. Оно меня, как вы можете вывести из моего общего взгляда, удовлетворить не может, но, конечно, оно неизмеримо лучше всех, дававшихся до него и после него. Вот оно: „Мы называем случайными (fortuits) или результатами случая (hasard) такие события, которые вызываются сочетанием явлений, принадлежащих к независимым цепям в общем порядке причинностей“*. По-моему, в учении Курно есть пять недостатков. Первый заключается в том, что он не признал *полной прерывности* общего понятия причинности, — того, что физики называют le discontinu: или же, пользуясь для иллюстрации (разумеется, только для иллюстрации) языком современных физиков, я скажу, что он мог бы ввести и не ввел в свое учение идею квантов, которую Планк ввел в физику. Вторым недостатком был в его подходе к цепям причинности во времени: для Курно важен лишь момент единого скрещения двух цепей А и В;

*A. A. Cournot, Exposition de la théorie des chances et des probabilités, Paris, 1843 p.73.

тогда возникает случай. Однако цепь А имеет свою историю и до, и после момента скрещения с В. На протяжении этой истории цепь А скрещивалась с другими цепями С, Д, Е, и эти цепи оказываются вовлеченными в соотношение с цепью В. В примечении к нашему примеру предположим, что раздавленный камнем человек Икс был богачом и имел завещание, по которому его состояние отходило к его молодой жене. Оставшись неожиданно вдовой, она через год или через десять лет выходит замуж за бедного человека Дзет, жизнь которого таким образом меняется в прямой зависимости от скрещения цепей А и В, то есть от несчастного конца человека Икс. Человек Дзет, следовательно, вовлекается в цепь причинности до того совершенно чуждую ему: он, быть может, отроду не знал и не видел человека Икс.

Л. По-моему, тут противоречие. Можно говорить либо о первом „недостатке“, либо о втором. Выходит как будто, что у вас причинность то прерывна, то непрерывна.

А. Тут противоречия нет, ибо цепь беспрестанно перескакивает из одной плоскости в другую... Випсент Шин где-то говорит: „У каждого из нас есть две жизни: та, которая есть, и та, которая могла быть“. Не могу с этим согласиться: у каждого из нас есть подлинная жизнь и *тысяча* других возможных... Третий, уже иного порядка, недостаток учения Курно заключается в принимаемом и им принципиальном различии между явлениями малыми и глубокими... На самом деле никакого принципиального различия тут нет: вторые интеграл первых. Часто, например, теперь различают так называемую „малую историю“, la petite histoire, от истории „настоящей“ или „большой“. И здесь нет ни малейшего принципиального различия. Четвертый недостаток Курно разделяет со всеми классиками теории вероятностей. Он не видел, что в основе этой теории лежат произвольные аксиомы. Правда, он писал до революции, произведенной в геометрии Гильбертом, и мог не знать о другой, гораздо более ранней революции, произведенной Лобачевским. И, наконец,

пятый недостаток, тоже общий у него, по крайней мере, с Кондорсе, Лапласом и Пуассоном (никак не с д'Аламбером): он верил в возможность применения теории вероятностей к целому ряду научных „дисциплин“, в которых ей решительно нечего делать. Курно родился в 1801 году, но, по общему складу своего ума, он все-таки еще был человеком XVIII столетия со всеми его иллюзиями.

Л. Вы этих иллюзий не разделяете. К каким же научным дисциплинам вы считаете эту теорию неприложимой?

А. Я считаю ее неприложимой именно к тому, к чему ее прилагали Кондорсе, Лаплас, Пуассон и столь многие другие. Возьмите любой современный курс этой науки — вы увидите, что в первой части даются ее общие положения с разными иллюстрациями, в частности с неизменным в течение почти трех столетий, очень полезным, но немного надоевшим примером шаров и орла и решетки; затем начинаются главы о применениях в разных науках, в разных кругах явлений: теория вероятностей в физике, в химии, метеорологии, в климатологии, в биологии, в статистике, в страховом деле, в социологии, в истории, в свидетельских показаниях, в судебных решениях, в парламентских голосованиях и т.д., вплоть до явлений сомнамбулизма (о которых есть что-то не совсем мне понятное у самого Лапласа). Так, в старых учебниках по этике сначала дается чистая этика, излагаются ее обоснования, ее история, а затем начинаются главы об этике в личной жизни, в политике, в семье, в браке, в отношении к жене, в педагогике и т.п. Едва ли нужно говорить, что некоторые применения теории вероятностей не только совершенно законны, но и дали превосходные, ценнейшие результаты. Могут быть и еще новые, тоже совершенно законные и даже обязательные, ее приложения. Думаю, например, что подготовка войны может и будет все в большей мере основываться на теории вероятностей. Да так собственно было и в прежние времена, только тогда хорошие военные министры руководились ею бессознательно, быть может, никогда о ней и не слышав (до Паскаля и Ферма теории

вероятностей не было, по хорошие военные министры были). При создании вооруженных сил страны можно до некоторой степени исходить из соображений вероятности, особенно в подсчете того, чем располагает и будет располагать противник. Да и тут возможны полные сюрпризы. В 1939 году ни один человек на свете об атомной бомбе не думал. Чем больше места занимает в данном круге явлений вопрос о вероятности *причины*, тем труднее в ней работать с теорией вероятностей. Чем меньше данный круг явлений насыщен числами, тем меньше эта наука к нему приложима. К биржевым спекуляциям она поэтому приложима лучше, чем ко многому другому. Но если бы, скажем, Бернулли, пользуясь всеми им найденными секретами теории вероятностей, играл на бирже, он наверняка потерял бы состояние, ибо, по самому складу своего ума, едва ли мог разбираться в „вероятности причин“, экономических, политических, психологических, действовавших в Европе в его время. Любой биржевик, наверняка, понимал их много лучше — хотя и биржевики не большие знатоки политической экономии, международной политики и массовой психологии. Лаплас прилагал теорию вероятностей к свидетельским показаниям. Какое его исходный пункт? Свидетель говорит, что в такой-то лотерее, включающей тысячу номеров, выпал номер 79. „Допустим, — начинает Лаплас свою (очень стройную) цепь доказательств, — опыт показал, что этот свидетель обманывает один раз из десяти“. По первому общему положению теории вероятностей, вероятность выпадения одного номера из тысячи равна $1/1000$, и т.д. — отсылаю к его труду. Допустим, что его общие положения неоспоримы. Но каким образом „опыт“ мог бы показать, что один раз из десяти свидетель лжет? Лаплас не обязан был быть психологом (хотя в жизни он не раз обнаруживал достаточное знание людей). Однако в психологическом отношении его математическое допущение абсурд. Барон Мюнхгаузен, наверняка, иногда говорил правду. Сократ, наверняка, иногда лгал. Обыкновенный человек то говорит правду, то лжет. Это было и без Толстых, Прустов и Фрейдера, а в свете их психологических находок это еще много вернее. Пьер Безухов — правдивейший из толстовских героев и

правдивейший из людей; но, когда его арестовывают французы во время пожара Москвы, он, „сам не зная, как вырвалась у него эта бессельная ложь“, сообщает им, что спас из огня свою собственную дочь. Как же тут может быть статистика: „обманывает один раз из десяти“! И как на такой основе применять теорию вероятностей?

Л. Это возможно, так как все выводы теории вероятностей имеют силу лишь тогда, когда относятся к достаточно большому числу фактов одного коллектива (употребляю это слово в смысле Мизеса).

А. Отчасти именно это и лишает их практического значения. Кондорсе поставил себе вопрос, сколько присяжных нужно для того, чтобы исключалась возможность судебной ошибки. Но если и приять его расчеты, то выходит, что для этого нужно колоссальное число присяжных, и следовательно, никакого практического применения идея Кондорсе иметь не может. Борель, тоже фанатик теории вероятностей, перевел на ее язык заповедь „Люби ближнего как самого себя“. В интерпретации Бореля, которую он считает единственной разумной, эта заповедь имеет следующую форму: „Рассматривай каждого из твоих ближних не как свой эквивалент во всяком случае, но как эквивалент части тебя самого, заключающейся в пределах между пулем и единицей, никогда не достигающей нижнего предела (пуля), но могущей порою достигнуть высшего предела (единицы)“*. Боюсь, что от этой интерпретации не будет большой пользы ни религии, ни этике, ни теории вероятностей. А как прилагать эту последнюю теорию к науке исторической? В истории действуют миллиарды миллиардов отдельных цепей причинности. Поэтому ее „законы“ совершенно недостоверны. Она истинное царство случая. Мы могли бы взять темой нашей следующей беседы именно роль случая в истории.

Л. Этот вопрос не имеет смысла именно с *вашей* точки зрения, но крайней мере в той ее форме, кото-

*Emile Borel, Le Hasard, Paris, 1948, p.195.

рую вам угодно было назвать „заостренной“: если случай есть „все, что происходит во Вселенной“, то как же его *выделять* из истории?

А. Я говорил вам о различии между случаем *непосредственным* и случаем *отдаленным*.

Л. Этого, по-моему, недостаточно. Но подождем ваших исторических разъяснений. Что ж, я так и назову „философией случая“ вашу систему мыслей.

А. Если непременно хотите придумать название. Но вы при этом выдвинете одно ее слагаемое из трех.

Л. Зато, вероятно, самое главное.

III.

Диалог о случае в истории

а) О войне 1812 года

А. В трудах по теории вероятностей, по крайней мере многих, классических и современных, вероятность *причины* часто противопоставляется вероятности *случая*. По всему тому, в чем я вас пытался убедить до сих пор, это противопоставление не имеет смысла, так как случай несколько причинности не противоречит. Но когда мы говорим об истории, то противопоставлять надо не вероятности причины и случая, а вероятности *разных* причин. Это необычно осложняет вопрос: здесь уже не чет или нечет, не орел или решетка, не детерминизм или индетерминизм неорганического мира. Ученые, пытающиеся приложить теорию вероятностей к историческим событиям, в сущности берут у нее лишь начала ее языка, да еще ее первый постулат: „Вероятность это отношение числа благоприятных случаев к числу всех случаев возможных“. И тотчас оказывается, что с этим научным аппаратом в истории решительно нечего делать. Во-первых, знаменатель тут приближается к бесконечности, так как возможно в истории решительно все. Во-вторых, числитель имеет характер неопределенный: то, что историческому деятелю кажется „благоприятным случаем“, сплошь и рядом затем оказывается неблагоприятным; да и сам этот исторический деятель в процессе хода событий совершенно меняет свою цель — производит перемену политической самооценки. В-третьих, в *настоящей* теории вероятностей явления однородны: в ней, например, вычисляется, как может падать шарик ру-

летки, но она не соединила бы в вычислениях скачки этого шарика со скачками кошки или шахматного копя. И, наконец, в-четвертых, лишь очень немногие из исторических явлений имеют численное выражение, и потому математика тут оказывается ни при чем. То, что ученые, якобы применяющие методы теории вероятности, гордо и тщетно пытаются в истории попятить или даже — задним числом — предсказать, сводится именно к неученым словам: „возможно“, „вероятно“, „сомнительно“, „нелепо“, которыми Фукидиды и Тациты пользовались за тысячелетия до теории вероятностей. Последним примером ее применения к так называемым гуманитарным наукам была книга Вандриеса, очень интересное учебное исследование об египетской экспедиции Бонапарта*. Этот автор вводит в историю новое слово: „историческая надежда“ (*l'espérance historique*), по образцу „математической надежды“, о которой мы говорили. Слово хорошее и, быть может, войдет в употребление. Но в *понятии* ничего нового для историков нет: они только выражали его прежде более простыми словами. Добавлю, что Бонапарт был для этого нововведения довольно неподходящим человеком. Люди, применяющие теорию вероятностей к истории, должны в принципе отвергать роль личности в событиях...

Л. Почему же „отвергать“? Они в принципе, вероятно, хотят ее учитывать.

А. Это невозможно, особенно когда имеешь дело с такой натурой, как Наполеон... Если кто мог бы применять теорию вероятности к истории, то уж, конечно, Курно, который писал и исторические работы. Он этого не сделал. В своих „*Considérations*“ он осторожно говорит, что роль случая в политической истории всегда гораздо больше, чем в точных науках“. Курно занял в этом вопросе позицию промежуточную. Он

*Pierre Vendryes, *De la probabilité en histoire. L'exemple de l'expédition d'Egypte*, Paris, 1952, pp. 63-65.

“A.A. Cournot, *Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes*, Paris, s.d., vol.1, p.7. — Почти невозможно, что Эрнст Трелья в своей огромной и столь ученой книге по философии истории даже не упоминает о Курно.

допускает *возможность* самых странных событий. Говорит, например, что если б Наполеон погиб где-либо между русской границей и Москвой, то Россия, Англия, Австрия, Пруссия могли бы договориться с императорской Францией и „империя без императора“ долго существовала бы и жила бы с ними в мире*. Так как Наполеон действительно легко мог быть убит в 1812 году, то в смысле недоверия к „законам истории“ и я ничего не мог бы больше потребовать от Курно... Жду с нетерпением и трудов тех ученых, которые очень точно и очень серьезно сведут к „законам истории“ бедламическую жизнь Гитлера, покажут, почему он не мог не прийти к власти в Германии, объяснят, почему он не мог в конце концов не потерпеть крушения, — иными словами, по выражению Клемансо, предскажут все, что было. Они объяснят даже, почему у Гитлера не оказалось атомной бомбы. Рузвельт дал деньги на ее создание по совету Эйпштейна. Гитлер не дал, несмотря на то что ему это советовал Гейзенберг. Если б она появилась раньше в Германии, кто знает, чем кончилась бы война? Это, кстати, не даст особенных гарантий прочности свободных учреждений в мире. Война и есть истинное торжество случая. Искусство выдающегося полководца именно заключается в умелом, талантливом, смелом использовании тысячи благоприятных случайностей... Позвольте же для нашей первой беседы о роли случая в истории взять именно войну 1812 года.

Л. Я предпочел бы примеры чисто политические: в военных делах мы с вами одинаково некомпетентны.

А. Другие два примера будут чисто политическими, да и этот ведь не чисто военный: „война есть продолжение политики“. Наполеон в июне 1812 года начинает войну с Россией. Это было далеко не самое отважное из его предприятий. Он всю жизнь был отчаянным игроком. Египетскую экспедицию Жак Бэнвилль справедливо считал чистым безумием. Не было ведь и одного шапса из ста, что французский

*А.А. Cournot, там же, vol.II, pp.345 — 6.

десапт пройдет через Средиземное море, не встретившись с английским флотом, — а это означало бы почти неминуемую катастрофу. Так думали и многие участники экспедиции, например, будущий маршал Мармон*. Тысяча счастливых случайностей, в том числе и метеорологических, были причиной того, что доплыть до Египта удалось. Естественно напрашивается замечание: „победителей не судят“. Действительно, судят редко: Бэнвилль по резкости суждения выделяется среди историков. Но был ли тут Бонапарт победителем и, если не был, то в каком смысле? После высадки французская эскадра была уничтожена Нельсоном. Историческая „ответственность“ была возложена на ее командующего, который, вероятно, был бы даже предан суду, когда бы не погиб в Абукирском бою. А был ли виноват этот адмирал Брюес, с самого начала не веривший в успех экспедиции? Во всяком случае, Бонапарт избежал всякой ответственности: его армия успела высадиться до поражения на море, и сам он был не моряк. Если б Нельсон, признанный гений морского дела, не прозевал в Средиземном море французскую эскадру, то, конечно, Бонапарт погиб бы или был бы взят в плен, и вся история дальнейших двадцати лет пошла бы по-иному. Ничего не вышло и из завоевания Египта. Но это тоже не отразилось на личной карьере Наполеона. Его затея повлияла на воображение французского народа: „Пирамиды!..“ Бонапарт, еще доживший до египетской экспедиции, совершенно правильно сказал о Бонапарте: „Этот молодой человек работает не для истории, а для эпопеи. Он — вне правдоподобного. Все изумительно в его действиях и в его идеях. Когда я читаю его „Бюллетени“, мне кажется, будто я читаю „Тысячу и одну ночь““. Война 1812 года на воображение действовала меньше, но в ней, напротив, все шансы были на стороне французского императора. У него было огромное превосходство в силах. Он мог рассчитывать — и расчи-

* „Мы не могли рассчитывать на победу на море, да и победа не спасла бы нашего экспедиционного корпуса. У нас не было и одного благоприятного шанса на сто: мы таким образом с легким сердцем шли на почти верную гибель“ (Mémoires du duc de Raguse, Paris, 1857, vol. I, p. 356).

* Ida Saint-Elme, Mémoires d'une contemporaine, Paris, 1895, p. 109.

тывал — на гипотическое действие своего гения или своей воепой славы: напомиаю вам, что еще в 1813 году, когда ореол его пепобедимости уже был поколеблеп катастрофой предшествовавшего года, союзники припяли решение: нападать на ффранцузские войска только в тех случаях, когда ими командует какой-либо из маршалов; если же командует сам Наполеон, то по мере возможности уклоняться от сражений. Далее, внутренное положение России было пепрочно: Александр I стал чрезвычайно непопулярен, из Петербурга приходили сведения, что дворцовый переворот возможен чуть ли не в любой день. Кроме того, по мпению ффранцузского императора, он в 1812 году шел „по линии прогресса“ — его „несла волна“, — этому он всегда придавал огромное значепие. Он считал войну с Россией самой осмысленной, самой разумной из всех своих войн. Называл ее „войной здравого смысла“, думал, что она отвечает интересам всей Западной Европы: Россия, по ее размерам и огромному потепциальному могуществу, имела шансы в более или менее близком будущем подчипить своей власти весь мир; поэтому ее ослабление будто бы было выгодно его союзникам, Австрии, Пруссии, почти всем. Наполеон никогда не имел целью расчлепать и делить Россию, считал это невозможным, да и ничего не имел ни против Александра I, ни против русского народа. Хотел только (да и то без твердой уверенности в успехе) установить „барьер“, воссоздав пезависимую Польшу. Русскому же народу собирался и помочь — предполагал отменить в России крепостное право. Он надеялся (или говорил так), что после победы над Россией во всей Европе установится единый порядок, войн больше никогда не будет, не будет границ и виз, жители Парижа, Москвы, Варшавы, Берлина, Вены, Рима все будут везде у себя дома. На острове Святой Елены он уверял, что и во Франции положил бы конец своей диктатуре, а его сын уже стал бы конституционным монархом*. Говорил также об единой Италии, о пезависимой Венгрии, о многом другом, впоследствии осуществленном, вплоть даже до прорытия капала через Суэцкий перешеек. В его словах были

*Las-Cases, Mémorial de Saint-Hélène, Paris, 1842, pp.341-343.

противоречия, кое в чем он просто фантазировал, но общая его идея, вероятно, была именно такова. Разумеется, я ее не „расцениваю“ — да и с какой „объективной“ точки зрения ее можно было бы расценивать, хотя бы и теперь, через полтора века? Французская точка зрения тут никак не совпала бы с русской, от обеих отличалась бы точка зрения английская — уже не говорю о различии политических взглядов историков. Наполеон читал Тацита и мог бы именно при этом случае вместе с ним сказать: „Что до меня касается, то чем больше перебираю я в уме новых или древних событий, тем больше я во всем замечаю какую-то насмешку над делами человеческими“*. Во всяком случае, император был убежден, что его противники ничего не могут противопоставить его идее. И в самом деле, что же тремя годами позднее они ей противопоставили? Священный союз, который не революционеры и не либералы, а лорд Кестльри назвал возвышенной мистикой и вздором: „A piece of sublime mysticism and nonsense“? Идеи князя Меттерниха? Бред госпожи Крюденер? От всего этого история не оставила ни следа. Правда, история не оставляет следа и от очень многого другого: случай съедает случай — остаются преимущественно создания мысли и искусства. Но от идей победителей Наполеона не осталось ничего уж очень скоро. „Мог ли я думать, — спрашивал он Лас-Каза, — что именно на этом (то есть на войне 1812 года) я потерплю крушение и что это будет моей гибелью?“ Если же прилагать здесь теорию вероятностей, то, конечно, превосходство в военных силах, ореол главнокомандующего, возможность переворота в Петербурге, общая идея, руководившая Наполеоном, были благоприятными шансами, его „исторической надеждой“. Только мы тут же сразу начинаем складывать шарики с кошками. Из этих благоприятных шансов имел численное выражение лишь один первый; но и без теории вероятности достаточно очевидно, что шестьсот тысяч солдат лучше, чем триста или четыреста тысяч. Что же касается знаменателя в постулате, то есть числа *возможных* случаев, то в его основе лежат биллионы скрепляющихся цепей

*Сочинения Корнелия Тацита, русский перевод и примечания В.И.Модестова, т. II, стр. 147. Летопись, кн. III, гл. 18.

причинности. Возьмем лишь одну, чисто военную, — буду ссылаться на мнениа авторитетов. Вы, конечно, помните в „Войне и мире“ сцену на поле Бородинского сражения. Обе стороны уже понесли огромные потери, не добившись решающих результатов. У французов потери были меньше, и старая гвардия оставалась нетронутой. „Один из генералов, подъехав к Наполеону, — рассказывает Толстой, — позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбались на бессмысленное предложение этого генерала. Наполеон опустил голову и долго молчал. „За восемьсот миль от Франции я не дам разгромить свою гвардию“, — сказал он и, повернув лошадь, поехал назад к Швардину“.

Л. Что же из этого эпизода следует?

А. Тут прежде всего одна из очень немногочисленных ошибок в исторической части „Войны и мира“. И даже не только ошибка, а какая-то „умышленность“, вроде той, которую Толстой проявил в изображении Кутузова. Конечно, он откуда-то заимствовал этот разговор с глупым генералом, и, быть может, литературоведы установили, откуда именно. От себя он мог естественно вставить лишь художественные подробности: „переглянулись между собой“, „презрительно улыбались“, „опустил голову“. Как известно, главными историческими источниками войны 1812 года были для Толстого произведения Тьера и Михайловского-Данилевского. Но он прочел и изучил еще немало других книг*. Источник в этом случае оказался неосновательный. Маршал Ней в течение всего Бородинского сражения командовал четырьмя дивизиями правого фланга, был в самой „гуще огня“ и едва ли хотя бы и очень недолго мог находиться при императоре. Кроме того, Ней и Мюрат больше всех и требовали присылки подкреплений. Что же касается Бертье, то он действительно

*В. Шкловский в очень интересной работе перечисляет 54 „источника“ („Войны и мира“). (Виктор Шкловский, Материалы и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“, Москва, 1928 г., стр. 248-9.)

паходился при Наполеоне; однако и он был одним из главных сторонников введения старой гвардии в бой. „Дарю, — пишет генерал де Сегюр, — побуждаемый Дюма и особенно Бертье, тихо сказал императору, что со всех сторон кричат: „Настал момент для того, чтобы гвардия пошла в атаку!“. Наполеон ответил: „А если завтра произойдет второе сражение, с чем я его буду вести?“. Министр не настаивал, однако был удивлен тем, что в первый раз император откладывает на завтра, отсрочивает свое счастье“*.

Л. Граф де Сегюр был участником войны 1812 года, но если вы предполагаете, что Толстой заимствовал свою сцену из воспоминаний какого-либо другого ее участника, то сообщения обоих генералов имеют приблизительно равную ценность, и автор „Войны и мира“ имел право взять из них то, какое ему почему-либо казалось более точным или хотя бы даже более интересным.

А. Это не совсем так. Вы преувеличиваете права исторического романиста. Во всяком случае, Толстой не имел права говорить, что Ней и Бертье признали предложение неназванного генерала „бессмысленным“, если „со всех сторон кричали“, что старую гвардию *надо* ввести в бой. Допустим, Толстой забыл об этих строках. Но Тьера он изучал самым тщательным образом. Вот что говорит Тьер: „Что касается гвардии, то она сделала бы чудеса и *желала* их сделать... Насморк, бывший у Наполеона, очень его беспокоил, однако не настолько, чтобы парализовать его мощный ум... Окружавшим его людям Наполеон, в столь новом для него состоянии нерешительности, показался настолько необъяснимым, что они пытались говорить, будто он болен... Тем не менее, в конце концов, нельзя было знать, уж не восторжествоует ли отчаяние (то есть отчаянная храбрость русских войск) над восемнадцатитысячной гвардией и не будет ли она без пользы присоединена в жертву для истребления еще нескольких тысяч врагов. Наполеону показалось, что на таком расстоянии от операци-

*Général comte Philippe de Ségur, La Campagne de Russie, Paris, vol I, 1936, p.92. — Только один военный историк, Пеле, передает по-иному, в высшей степени неясно, мнение Бертье.

онной базы было бы опрометчиво не сохранить в неприкосновенности единственного еще не тропутого корпуса: выгоды не компенсировали опасности. И, обратившись к своим главным офицерам, он сказал: „Я не дам разгромить свою гвардию. За восемьсот миль от Франции я не стану рисковать своими последними резервами“. Тьер к этому прибавляет: „Он, конечно, был прав, но, оправдывая решение, принятое им в тот момент, он тем самым выносил приговор этой войне. Во второй или в третий раз после перехода через Неман он искупал избытком непривычного ему благоразумия ошибку своей смелости“*. Еще по-иному передает это происшествие участник войны 1812 года, известный генерал Марбо: „Мюрат поручил генералу Беллиару умолять императора прислать часть своей гвардии для довершения победы, иначе для победы над русскими понадобится второе сражение! Наполеон был склонен на это согласиться, но маршал Бессьер, командовавший гвардией, сказал ему: „Позволяю себе обратить внимание Вашего Величества на то, что вы находитесь в настоящее время за восемьсот миль от Франции“. Повлияло ли на императора это замечание, или он признал, что сражение еще не достигло нужной стадии, по он отказал“#. Как видите, окружавшие Наполеона люди даже приписывали его болезни отклонение предложения^Δ. У Кутузова в тот момент оставалось не более 60 тысяч солдат. Нет, следовательно, ничего неправдоподобного в том, что атака 18-тысячной старой гвардии действительно *могла бы* решить судьбу сражения. По-видимому, несмотря на некоторую свою уклончивость и на слова „он, конечно, был прав“, отчасти склоняется к тому взгляду и Тьер, лично знавший многих участников войны 1812 года и, вероятно, отражавший их суждения.

*L.A. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, 1856, vol.14, pp. 345-7.

#Mémoires du général Marbot, Paris, 1891, vol.III, pp. 135-6.

^ΔПо парадоксальному мнению генерала Гурго, Наполеон потому не ввел в бой старую гвардию, что сражение уже было выиграно, а законы военной науки запрещают вводить в дело резервы без крайней надобности. Более основательно Гурго отвечает на довод о болезни: очевидно, император болен не был, если мог отклонить настояния генералов, требовавших отправки старой гвардии в атаку (Gourgaud, Napoléon et la grande armée, Paris, 1827, vol.I, pp.269 — 270).

Л. Вероятно, вы привели несколько расходящихся версий этого эпизода в доказательство того, что сведения о ходе сражений часто между собой расходятся? Это давно всем известно. Я никогда не мог понять, как серьезные историки посвящают толстые томы сражениям вроде битвы при Кане, о которых почти ничего, в сущности, неизвестно, кроме коротких, отрывочных и пристрастных рассказов древних авторов, мало смысливших в военном деле, говоривших обычно понаслышке. Бородинское сражение происходило сравнительно недавно, но до сих пор с точностью неизвестно, сколько войск было у Наполеона, сколько у Кутузова и какие именно потери понесли обе армии: указания историков расходятся между собой процентов на тридцать, если не больше.

А. Это совершенно верно. Генерал Липранди, бывший в 1812 году оберквартирмейстером 6-го корпуса при Дохтурове и доживший до глубокой старости, составил сводку нескольких десятков иностранных работ об Отечественной войне*: двадцать восемь авторов говорили, что численное превосходство в день Бородина было на стороне французов, тринадцать держались противоположного мнения, а одиннадцать утверждали, что армии были равны. Еще значительно больше расходятся сведения о числе убитых и раненых. Но я говорю не об этом. Ошибка, допущенная Толстым, конечно, важна не сама по себе. Если б даже Ней и Бертье были противниками введения в дело старой гвардии, предложение не названного генерала „бессмысленным“ никак считаться не могло. Воспоминания Марбо вышли уже после появления „Войны и мира“. Но и до их появления о Бородинском сражении уже существовала немалая литература; романист мог и даже обязан был знать, что в ней вопрос признается весьма спорным. Однако Толстому требовалось, чтобы победа Наполеона при Бородине была и „в теории“ совершенно невозможна. Тут дело было не в патриотизме: он Аустерлиц описал никак не хуже, чем Бородино. В действительности же тут ничего утверждать нельзя. Возможно, что

*И.П.Липранди, Пятидесятилетие Бородинской битвы. Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских, 1886 г., стр. 23.

был прав глупый генерал. Разгром русской армии мог означать конец войны: вдруг Александр I тогда снова, как после русского поражения под Фридрихс-ландом, предложил бы победителю перемирие, а потом заключил бы мир? А может быть, прав был Наполеон: если бы сражение продолжалось и на следующий день (Кутузов действительно вначале собирался продолжать его), то с какими силами император стал бы его вести? Военный историк, стоящий за мнение не названного Толстым генерала, сказал бы, что на следующий день сражения не было и не могло быть. Военный историк, защищающий решение Наполеона, ответил бы, что при отступлении из Москвы только старая гвардия (так до конца в боях и не участвовавшая) одним своим существованием спасла французскую армию от полной катастрофы. Этот спор можно было бы и продолжить. „Да, но в самом конце войны старая гвардия все равно погибла от голода, холода, болезней и лишений. Бертье 4 декабря 1812 года писал Наполеону: „Я должен доложить Вашему Величеству, что армия совершенно рассеяна и распалась, даже ваша гвардия, в ней под ружьем от 400 до 500 человек. Генералы и офицеры потеряли все свое имущество. Почти у каждого отморожены руки, или ноги, или уши, или нос. Дороги покрыты трупами; корчмы и дома ими завалены“*. — „Да, но без существования старой гвардии казаки или партизаны голыми руками захватили бы самого императора. Русские генералы в конце войны, перед Березиной, почти не сомневались, что захватят Наполеона в плен. Чичагов издал даже по войскам и населению довольно курьезный приказ об его приметах: „Он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедроты Мопарха нашего за сие ответствуют...“

Л. Мне все же не совсем попятно, почему вы так долго останавливаетесь на одном эпизоде Бородинского сражения и на его изображении в „Войне и

*Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году. Петербург, 1839, кн. IV, стр. 287.

*Там же, кн. IV, стр. 141.

мире“. Это значит из-за деревьев не видеть леса. Как бы важен этот эпизод ни был в чисто военном отношении, он едва ли может иметь отношение к вопросам философско-историческим.

А. Напротив, он имеет прямое отношение к нам, — по крайней мере к философии истории самого Толстого, от которой вы никак отмахнуться не можете.

Л. Могу и отмахнуться. Если б от „Войны и мира“ остались только философско-исторические страницы, они никак не создали бы Толстому бессмертия.

А. Вам нужен „изм“, философская „фирма“? Что ж, я сейчас предложу их вам за Толстым: Мальбранш это ведь и фирма, и „изм“. Но до того я хочу подчеркнуть, что Толстого эпизод с певведением старой гвардии в Бородипский бой должен был тревожить имеппо в связи с его философией истории. Отделавшись без всякого права и основания несколькими строчками от „бессмысленного“ предложения генерала, он в другом месте „Войны и мира“ пишет: „Французам с воспомипанием всех прежних 15-летних побед, с уверепностью в непобедимости Наполеона, с созипанием того, что они завладели частью поля сражения, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатиптысячная петронутая гвардия, *легко было* сделать это усилие (новой решительной атаки)... Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать петронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно, что говорить о том, что бы было, если бы осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Но Наполеон не дал свою гвардию, не потому, что не захотел этого, но этого *нельзя было* сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого *нельзя было* сделать, потому что Упадший дух войска не позволял этого“. — Таким образом: и „легко было“, и „нельзя было“!

Л. Я не вижу тут противоречия. Не знаю, было ли Бородинское сражение военным шедевром. Но описание этого сражения в „Войне и мире“ бессмертный литературный шедевр.

А. Совершенно с вами согласен. Эта эпопея (что ж, другого слова нет) бессмертна в самом точном смысле слова. „Величайшая книга всех времен это „Война и мир“ Толстого“, — недавно сказал Сомерсет Моэм*. И если в ней редко, чрезвычайно редко встречаются крошечные кляксы, то они объясняются тем, что Толстой, едва ли не в первый раз в художественном произведении, хотел подогнать жизнь под свою философию и впадал в противоречие сам с собой. Так, в одной главе он очень скептически говорит вообще о тактических позициях: „Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не только не сильна, но вовсе не есть почему-нибудь позиция более, чем всякое другое место в Российской империи, па которое, гадая, указать бы булавкой на карте“. В другой же главе о позиции под самой Москвой сказано: „Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения“. Это опять не очень точно. Не только ненавистный Толстому Беннигсен, но и Дохтуров, второй, после Кутузова, его „любимец“, считал, что можно и должно дать еще одно сражение для защиты Москвы. Сходное противоречие и в вопросе о духе войск. В главе, описыва-

*Le Figaro littéraire, 7 марта 1953, стр. 11.

ющей конец Бородинского сражения, говорится: „В каждой душе одинаково поднимался вопрос: „Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше!“ Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало“. Но почти в это самое время (тот же конец сражения) Кутузов, после бурного разговора с немцем Вольцогеном, точно на зло ему, подписывает приказ об атаке на следующий день. „И, узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услышав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись“. Ради своей общей идеи, автор „Войны и мира“, можно сказать, „пересаливал“ и в чисто художественном отношении. В разгар Бородинского сражения Наполеон, по совету Бертье, отправляет в бой дивизию Клапареда. „Через несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению. „Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана“, — сказал он. *Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана,* но приказание было с точностью исполнено“. Какую уверенность в антидетерминизме или в мальбраншевском детерминизме свыше (об этом скажу дальше) надо было иметь для того, чтобы приписать Наполеону роль либо Кита Китыча, либо сознательно вредящего себе дурака! Толстой *знает*, что у императора не было никаких причин для перемены распоряжения и что в эти несколько минут колебания ему никакие соображения и в голову не приходили! Весьма возможно, что военных гениев вообще нет (в этом Толстой, вероятно, прав). Но Наполеон командовал армиями в десятках сражений и имел огромный опыт главнокомандующего. Об этом говорит ведь и сам Толстой в другом месте: „Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо и еще лучше, чем в

других сражениях. Он не сделал ничего вредного для хода сражения: он склонялся на мнения более благо-разумные, он не путал, не противоречил сам себе, не испугался и не убежал с поля сражения, а, с своим большим тактом и опытом войны, спокойно и достойно исполнял свою роль кажущегося начальствования“. Автор „Войны и мира“ ненавидел Наполеона, так сказать, вдвойне: французский император был ему ненавистен, как человеку и художнику, воплощая в себе все то, что было в жизни гадко и отвратительно Толстому; но, кроме того, Наполеон совершенно не вязался с его философией истории. Роль беспристрастного судьи Наполеона тоже автору „Войны и мира“ не очень удавалась; все же в ней он был справедливее, чем в роли прокурора. Получается снова противоречие: какое же „кажущееся“ начальствование, если обе дивизии тотчас пошли в атаку по приказу? Однако старую гвардию, по Толстому, двинуть в атаку в день Бородина было и невозможно: „Этого нельзя было сделать, упавший дух войск не позволял этого“. Как перевести это соображение на обычный толстовский, правдивый и точный язык? Нельзя перевести. В главе, предшествующей бородинским главам, Толстой говорит — опять-таки в угоду своей философии истории, — что французы *должны были* дать генеральное сражение: „Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо“. „Они бы его *убили!*“ Разве вы не чувствуете здесь и *художественной* кляксы? Так неправдоподобно и невозможно это предположение: убили бы Наполеона, в дни его высшей славы, когда он шел от победы к победе, без единого поражения за 16 лет, — убили бы за отказ от генерального сражения! Что же все-таки было бы, если б Наполеон приказал старой гвардии пойти в атаку на русских? Тьер говорит, что старая гвардия *желала* „сделать чудеса“. Допустим, тут преувеличение, цветы краспоречия. Но неужели она, в отличие от дивизий Клапареда и Фриана, почему-то отказалась бы исполнить боевой приказ? Или эта лучшая, самая дисциплинированная часть французской армии именно убила бы императора — теперь, кстати, за прямо противоположное тому, за что его

убила бы накануне! Не может быть никакого сомнения, что ничего такого не произошло бы и что гвардия беспрекословно приказ исполнила бы. Тогда мы возвращаемся к серии „если б“ и „быть может“: *Если б* Наполеон в день Бородинского сражения бросил в атаку старую гвардию, то, *быть может*, русская армия была бы разгромлена. *Если б* русская армия была разгромлена, то, *быть может* (как это ни маловероятно), мир был бы заключен. *Если б* мир был заключен, то, *быть может*, вся история Франции и жизнь самого Наполеона сложились бы совершенно иначе. Слово „если б“ с последующим „быть может“ не имеет никакого значения для хода событий, имеет очень мало значения для выяснения их существа, так как ничего тут *доказать* нельзя, и имеет большое значение для историков и политиков, ибо *доказывать* тут можно что угодно и сколько угодно: в данном случае они этим и занимаются уже полтора столетия. Толстой же здесь пошел по линии наименьшего сопротивления. Приписывать важную роль в истории случаю Толстой не мог — это противоречило бы его моральному чувству. Приписывать какую бы то ни было роль отдельной личности он тоже не мог — Наполеон у него такая же пешка, как последний трубач французской армии. Кто же сокрушил Наполеона? Первый ответ: русский народ, впервые в 1812 году сражавшийся за свою землю и на своей земле. Но ведь на своей земле до того сражались пруссаки, австрийцы — и были разгромлены. На своей земле после того сражались французы — и тоже были разгромлены. Толстой в эпоху создания „Войны и мира“ не был совершенно свободен от национализма. Как ни странно, на него в этом, как и в его восторженном отношении к Кутузову, как и в его непамясти к Наполеону, некоторое влияние оказал имеппо Михайловский-Данилевский, которого иностранная критика, быть может, несколько преувеличивая, считала весьма националистическим историком*. Но все-таки Толстой не мог исходить и не исходил из убеждения в огромном превосходстве русского народа над всеми другими. Вдобавок, ведь и русских на их земле, случалось, побеждали ино-

*См. И. П. Липранди, Война 1812 года. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских, 1868 г., кн. 1, стр. 12.

странные завоеватели; было ведь и татарское иго. С другой же стороны, русские войска не раз вели блестящие победоносные войны и на чужой территории. Они почти всегда и везде сражались превосходно — в последнюю войну так же хорошо под Берлином, как под Сталинградом. В русской военной истории очень редки случаи полной внезапной деморализации войск, вроде деморализации прусской армии и командного состава после Йены или французской в 1940 году. Конечно, в 1812 году героизм русских войск был главной причиной поражения Наполеона. Император и до своего несчастного похода не рассчитывал на то, что вдруг побежит с фронта русский солдат, которого он очень высоко ставил. Это в его „историческую надежду“ не входило...

Л. Я рад, что вы хоть один фактор событий 1812 года признаете постоянным, то есть не „случайным“. Найдутся и некоторые другие.

А. Кто же это отрицает! Я сказал вам в нашей прошлой беседе, что несколько „заостряю“ свое определение случая; но уж вы его сильно огрубляете, в частности этим вашим „то есть“. Свойства русского народа могут считаться „случайными“ лишь в такой же степени, как огромные размеры России, как численность ее населения; или даже как образование планеты Нептун, как продолжительность жизни человека на земле, — о чем мы уже говорили. Я лишь сказал вам, что Толстой не мог приписывать поражение Наполеона в 1812 году *только* особенным свойствам русского народа. Наполеон *должен был* потерпеть поражение, чтобы не нарушить этиологии Толстого, принятого им учения о причинности. Поскольку дело шло о войне, критика отметила, кажется, все влияния, испытанные Толстым: от Руссо и Местра до Стендаля* (влияние „La Chartreuse de Parme“^{##} в художественном отношении было, конечно, главным — это признавал и Лев Николаевич). Лишь два влияния, по-моему, критикой были упущены;

*Весьма обстоятельное критическое изложение этого вопроса дано в ценной статье I. Berlin, *Lev Tolstoy's Historical Scepticism*, Oxford Slavonic papers, II, 1951.

^{##}„Пармская обитель“ (фр.).

быть может, оба были косвенными. Одно из них это влияние самого Наполеона: он говорил о войне и о военном искусстве то же, что Толстой*: почти до буквального сходства в выражениях, — не могу здесь касаться этого подробнее. А кроме того, было влияние Мальбранша. Толстой, которого иные наши горе-критики попрекали „невежеством“^{##}, был человеком огромной и разносторонней учености. Я не знаю, значится ли „De la recherche de la vérité“[^] в каталоге яспополянской библиотеки. Я в ней когда-то видел множество старых французских книг, по мне неизвестно, были ли в их числе произведения Мальбранша. Однако идея мальбраншевой причинности должна была в шестидесятых годах отвечать собственному настроению Толстого. В чем эта идея? Человеческая, земная причинность действует в нормальное время — кому же и было это знать, как не гениальному живописцу-психологу? Все же от этой причинности порою отступает *высшая* неземная причинность. По Толстому, ей было угодно, чтобы в начале девятнадцатого века сотни тысяч людей с оружием в руках двинулись сначала в течение нескольких лет с запада на восток, затем три года с востока на запад. Чем же это кончилось? Ничем не кончилось. Осталась „круглая“ философия „круглого“ Платона Каратаева: благолепие. Осталось круглое семейное счастье Пьера Безухова с Наташей Ростовою и почти такое же графа Николая с княжной Марьей. Правда, Платона Каратаева французы не кругло пристрелили, а

*Лишь один пример. Андрей Болконский говорит: „Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами; но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли“. Это основная мысль „философии войны“ Толстого. — Наполеон сказал дословно то же самое за полвека до „Войны и мира“. А еще много раньше точно такую же мысль высказал маршал Морис Саксонский: „Une bataille perdue, c'est une bataille qu'on croit perdue“ — „Проигранное сражение, это сражение, в победу которого не верят“ (*фр.*). — (*Пер. ред. J. Michelet, Histoire de France, Paris, 1876, vol. IX, p 174.*)

^{##}Так, например, романист Болеслав Маркевич (очевидно, именно по поводу „Войны и мира“) бесстыдно писал Тургеневу о „кадетски-наглой в невежестве своем фигуре Льва Толстого, постоянно выталкивающей рыло из-за его дивно-художественного несознательного таланта“. (Звенья, Москва, 1935 г., т. V, стр 295).

[^]„Разыскание истины“ (*фр.*).

на фоне общего счастья в Лысых Горах появляются темпы, даже грозные, пятна, мечтания юного Николаеньки Болконского, будущего декабриста, сына не круглого князя Андрея. Это все же деталь. Заметьте, художественное чутье очень точно подсказало Толстому, какие именно пределы ему надо взять в истории для торжества его философско-исторического учения. Он обошелся без террора французской революции, без царствования Павла с его страшным копцом, без аракчеевщины, без Николая I. В России социальным фоном на протяжении почти всей эпопеи служит „дней Александровых прекрасное начало“; о последовавшем только упоминается в эпилоге — оно не показывается, как не показывается по-настоящему и крепостное право. Очень мало написано Толстым и о военных зверствах. Их и в 1812 году с обеих сторон было достаточно. Все же Отечественная война в этом отношении резко отличалась от нынешних, никак не рыцарских войн. Тогда особенно щеголяли рыцарством Мюрат и Милорадович. После занятия французами Москвы, 5 сентября, Мюрат, без трубача и белого флага, проехал за русскую цепь и предложил Милорадовичу отойти без боя, предупреждал, что атакует через четверть часа, — „к чему проливать кровь?“ Милорадович показал ему свою позицию и „по просьбе его уступил ему находившуюся впереди ее деревню, не имея надобности удерживать ее“, затем сам проводил его до французских аванпостов. Так же было и при их первой встрече: „Милорадович, объезжая передовую цепь, увидел Мюрата, находившегося на французских аванпостах. Сближаясь понемногу, они подъехали друг к другу. „Уступите мне вашу позицию“, — сказал Мюрат. „Ваше Величество“, — ответил Милорадович... „Я здесь не король, — прервал Мюрат, — а просто генерал“. „Итак, господин генерал, — продолжал Милорадович, — извольте взять ее; я вас встречу. Полагая, что вы меня атакуете, я приготовился к прекрасному кавалерийскому делу: у вас конница славная, пусть сегодня решится, чья лучше: ваша или моя? Место для кавалерийского сражения выгодно: только советую вам не атаковать с левой стороны: там болота“. Милорадович повел Мюрата на левое крыло и пока-

зал ему топкие места“*. „Господа англичапе, стреляйте первые“! Да, войпа тех времен иногда старалась быть рыцарской — не в пример пашему столетию. Не без „круглости“ был даже фипал, остров Святой Елены: это не Нюрнбергская зеленая зала с трапом, где были повешены главные сподвижники Гитлера. Разумеется, Толстой выбрал эпоху удачно. Из его романа о Петре, по совершенной пекруглости эпохи, ничего не вышло и не могло выйти. В великой же эпопее, — в „Мире“ кругло почти все, в „Войне“ во всяком случае очень многое. В литературе уже указывалось, сколько красоты, веселья и радости впес Толстой в свои военные сцены; было сказано, что в юпой читательской среде эта книга паверное сделала больше военных, чем пацифистов. Романиста, равного Толстому, вероятно, никогда не будет, но если бы оказался другой с его гением и с тем же философско-историческим учением, то ему с пашей, уж совсем не благолепной, эпохой было бы печего делать. Октябрьский переворот открыл цепь злодеяний, певиданных и неслыханных в истории. Попробуйте придумать „круглый“ эпилог к Катыпским лесам, к Колыме, к людоедству, с другой стороны — к Бухепвальдам, средневековым пыткам и камерам для сожжения! Мальбрапш был бы ни к чему — разве та его, не случайно мною процитированная в пашей прошлой беседе мысль, столь смелая для католического философа: мир может и опротиветь Богу.

Л. Как ни мало убедителен ответ Мальбрапша, он гораздо сильнее вашего. Если вы все приписываете случаю, вы просто должны отказаться от признания возможности исторического исследования...

А. Нисколько. Я отказываюсь лишь от признания „законов истории“. История и социология должны быть науками преимущественно повествовательными, описательными.

Л. И какое же основание вы подводите под вашу мысль? Эпизод Бородинской битвы, о котором политические историки даже не упоминают!

* Михайловский-Данилевский, Описание Отечественной войны в 1812 году. Петербург, 1839 г., кв. III, стр. 2-3.

А. Политические историки, по самому своему определению, такими эпизодами и не могли заниматься. Военные же историки всегда приписывали этому эпизоду большую важность. Их мнения разделились: совершенно твердый ответ естественно невозможен: где есть „если бы“, там неизбежно и „может быть“. Я и привел эту страшицу из Толстого в пояснение того, что ему, по его философско-историческим взглядам, пужно было назвать „бессмысленным“ бессмысленное. Когда вопрос об атаке старой гвардии встал перед Наполеоном на поле Бородинского сражения, у него для решения было несколько минут. Если, как я надеюсь, вы отвергаете предположение, что Наполеон тут был ничем не руководившимся, вредившим себе самодуром, как якобы в деле замсны Клапареда Фрианом, то вы для этих фатальных минут примете то или другое причинное объяснение — их может быть много. Но ни к одному из них вы никакой теории вероятности не приложите. Я начал с этого эпизода — перейдем же теперь к 1812 году в целом, притом без малейшего отношения к Толстому. Военные историки (опять-таки не все) еще при жизни Наполеона считали его важнейшей ошибкой то, что он слишком рано двинулся в поход на Москву: надо было остановиться в Витебске или Смоленске на зиму, довольствуясь уже достигнутыми немалыми успехами и захватом значительной части русской территории. Тогда положение Александра I стало бы чрезвычайно затруднительным, а поход на столицу, в случае падобности, можно было бы начать и весной 1813 года, гораздо лучше его подготовив: Наполеон слишком растянул свои коммуникационные линии, не обеспечил себе тыла, не заготовил для отступления запасов продовольствия, теплой одежды, обуви. С другой же стороны, он слишком поздно выступил из Москвы в обратный путь: если бы двинулся назад не 19 октября, а раньше, то избежал бы морозов и связанной с ними катастрофы. Все это вы можете прочесть в любой книге о 1812 году. Наполеон, как мог, отвечал на острове Святой Елены. Говорил, что для охраны коммуникационных линий между Неманом и Москвой он оставил не более и не менее как 200 000 солдат, что поэтому ни одна его эстафета, ни одно письмо его приближенных из Москвы не были

перехвачены русскими по пути в Париж, — все доставлялось, и от него в Париж и из Парижа к нему, каждый день совершенно регулярно. Относительно запасов продовольствия он сообщал, что они будто бы были им заготовлены в Смоленске, в Мипске, в Вильпе, — катастрофа произошла не из-за их отсутствия. В дорогу же с собой из Москвы он взял продовольствия на 20 дней — больше, чем было нужно до Смоленска; но морозы пачались очень рано, люди дезорганизовались, лошади погибали, не на чем было везти что бы то ни было. Относительно морозов Наполеон объяснял, что в Москве в октябре велел себе представить сведения за двадцать лет о температуре в этой полосе России, и в них сообщалось, что сильные холода начинаются только в декабре, а в ноябре самая низкая температура это десять градусов ниже нуля, — 1812 год оказался совершенно непредвиденным исключением (тогда и метеорологи еще о теории вероятностей не думали). Таким образом, вся катастрофа была, по его словам, цепью самых ужасных случайностей. Конечно, он кое-что задним числом присочинил. В 1812 году он был несомненно не в ударе, почти по всеобщему мнению очевидцев. Порою даже впадал в апатию. Сопровождавший его камердипер Констан в своих мемуарах (или в мемуарах, написанных по его рассказам) сообщает, что в Кремле перед оставлением Москвы император почти ни с кем даже не разговаривал: «Иногда днем ложился на диван с романом в руке — может быть, читал его, а может быть, и не читал... Уделил три дня составлению регламента, „Французской Комедии“»*. Тыл был им организован на самом деле худо. В Смоленске не было заготовлено почти ничего², Наполеон пришел в дикое бешенство. Говорили, что смоленский интендант был расстрелян. По-видимому, это неверно. Этот интендант был казнокрад, но вина была не только на нем. „Провиантские комиссары, посылаемые для закупки хлеба, и команды, отряжаемые на фуражировки, — рассказывает Михайловский-Данилевский, — или гибли под ударами православных, или возвращались израненные, избитые,

* Mémoires de Constant, Paris, s. d., vol. IV, pp. 424 et 432.

² Eugène Tattet, Journal d'un chirurgien de la Grande Armée, Paris, 1913, p. 224.

не исполнив данных им поручений". Заметьте, вопреки легенде, снабжение в наполеоновской армии, как во всех армиях того времени, всегда было организовано плохо. Из множества мемуаров вы могли бы узнать, в каком печальном состоянии находилась продовольственная и санитарная часть в пору самых удачных походов Наполеона. Тем не менее он шел от победы к победе. Недостаток запасов в Смоленске* произвел на отступавшую французскую армию такое ужасающее впечатление, что некоторые историки видят в этом одну из причин катастрофы; задержаться было невозможно, надо было уже не отступать, а бежать дальше в поисках складов, которые почти до конца отступления оказывались мифом. Нашлись они только в Вильно, где Наполеон уже на них и не рассчитывал. За 28 верст от этого города он встретил Моро и откровенно сказал ему: „Армии нет, нельзя назвать армией толпы солдат и офицеров, без обуви и одежды, в 26 градусов стужи всюду скитающихся для отыскания пищи и крова. Еще можно составить из них войско, если в Вильно найдутся продовольствие и одежда. Но главный штаб мой ни о чем не заботился, ничего не предвидел“. Моро представил ведомость о состоянии огромных виленских магазинов и уверил, что в Вильно армия ни в чем не будет иметь недостатка. Наполеон с удивлением воскликнул: „Что вы говорите? Неужели это правда? Вы возвращаете мне жизнь!“ Попробуйте приложить к этому историческому факту понятия о вероятности причин и об отдельных личных и коллективных цепях причинности. Что же было причиной катастрофы? То, что смоленский интендант, в отличие от виленского, был казнокрадом? Нераспорядительность французского главного штаба? Или непредусмотрительность самого Наполеона, который тут говорит о своем штабе так, точно сам он тут был совершенно ни при чем и за этот штаб никак не отвечал? Но вот уже мороз оказался случайностью бесспорной. Метеорологическая цепь причинности рванула и порвала политическую. Стужа в 1812 году была такова, что посланник Соединенных Штатов,

*Перед самым выступлением в поход 1812 года, в Дрездене, Наполеон объявил, что никогда дальше Смоленска и Мянска не пойдет. (Jacques Bainville, L'Empereur, Paris, 1939, p.103).

ехавший в Варшаву, в дороге умер от мороза, а уж у него шубы наверное были. Между тем, если б император такую стужу и предвидел, то в разоренной Москве снабдить огромную армию теплой одеждой было бы все равно невозможно (сам он в походе послал соболью шубу, которую, по забавной случайности, ему за четыре года до того подарил в Эрфурте Александр I). А почему Наполеон не остался зимовать в Витебске? Он было собрался это сделать и даже хотел выписать туда из Парижа труппу артистов. Объявил об этом генералам и решительно сказал им, что не повторит безумной ошибки Карла XII: „Nous ne ferons pas la folie de Charles XII“. Затем, по неясным нам причинам, он меняет решение. Некоторые маршалы стояли за то, чтобы дальше не идти и закрепиться на Двине, на Днепре. Император отвечал им, что зимой Двина и Днепр замерзнут и, следовательно, не будут представлять собой оборонительной линии: „Для чего останавливаться здесь на восемь месяцев, когда в 20 дней можем мы достигнуть цели? Не за тем пришел я в Россию, чтобы овладеть ничтожным Витебском. Разгромим русских и через месяц будем в Москве. Весь плап моего похода в сражении; вся моя политика в успехе“*. Не нам судить, были ли в военном отношении эти доводы убедительны, но как же их было согласовать с „безумной ошибкой Карла XII“, который, собственно, мог своим приближенным говорить нечто весьма сходное? Сегюр в числе причин, побудивших Наполеона двинуться из Витебска на Москву, совершенно серьезно называет *скуку* в этом убогом городке и даже приписывает самому императору слова: „Как вынести в Витебске скуку семи месяцев зимы!“*. А вдруг в этом есть и небольшая доля правды? Мемуаристы и историки говорят о таких же колебаниях императора и под Смоленском^Δ. Герцог Ровиго пишет, что требовала наступления на Москву золотая моло-

*Fain, Manuscrit de 1812, vol.I, p.271. — Цитируется по Михайловскому-Данилевскому, кн. II, стр. 72-3.

*Général comte Philippe de Ségur, La Campagne de Russie, Paris, 1936, p.40.

^ΔВ Париже многие были в ужасе, узнав, что император двинулся из Смоленска на Москву. „Он погибший человек!“ — сказал в частной беседе с Пакье морской министр Декрес (Mémoires du chancelier Pasquier, Paris, 1893, vol.II, p. 4).

дежь, окружавшая Мюрата и некоторых других маршалов. Молодые офицеры больше всего желали пожить в свое удовольствие: если нельзя провести зиму в Париже, то следует обосноваться в Москве, с ее развлечениями, а никак не в Витебске и не в Смоленске. Они будто бы влияли на Мюрата, который вполне разделял их чувства и старался повлиять на Наполеона. Что ж, некоторую, хотя и незначительную, роль могли сыграть и эти — не цепи, но цепочки причинности. Один из французских историков находил, что Наполеону было бы выгодно *проиграть* Бородинское сражение, так как в этом случае он еще летом отступил бы на позиции между Двиной и Днепром, и его армия не погибла бы. С чисто военной точки зрения, это мнение опровергнуто, кажется, нетрудно. С психологической же и личной — оно критики не выдерживает, так как Наполеон работал на „эпопею“: оказавшись под Бородиным, он уже „должен был“ взять Москву. Теперь спустимся от него несколько ниже по лестнице личных цепей причинности. Были бесчисленные случайности стратегического или тактического характера. Называю некоторые просто наудачу. Брат Наполеона, король Иероним, не понял и не исполнил предложения маршала Даву, вследствие чего будто бы избежал пленения Багратион со своими войсками. Наполеон, узнав об этом, рассвирепел. Но зачем же он поручил 60-тысячную армию человеку, отроду не командовавшему батальоном? Под Прудисшевым Жюно, герцог Абраптесский, отказался исполнить требование Мюрата и, ссылаясь на то, что час поздний — до наступления ночи остается всего четыре часа, — отказывается зайти в тыл Орлову-Давыдову. Таким образом спасаются огромные русские силы. Жюно скоро сошел с ума; по словам Гурго, он проявлял признаки умопомешательства уже в 1812 году. Наполеон, узнав о его тяжелой ошибке, снова пришел в ярость, — но опять-таки зачем же он поручил командование ненормальному человеку, о тяжелой болезни которого не мог не знать (герцог Абраптесский с ранней молодости был одним из самых близких к нему людей). Между маршалами нелады, соперничество, личная вражда, местничество, они не хотят подчиняться никому,

кроме самого Наполеона. Даву и Мюрат ненавидят друг друга (оба подумывали о польской короне), многие другие в очень плохих отношениях между собой. Всего через три года после этого, в пору Реставрации, маршалы и генералы приняли участие в суде над Неем и отправили на расстрел своего старого боевого товарища (только один Монсей с негодованием написал Людовику XVIII, что отказывается судить храбрейшего из храбрых, — за что и подвергся преследованиям). Конечно, личная ненависть маршалов друг к другу не выражалась в саботаже — этого Наполеон не потерпел бы, и они были честными патриотами, но она очень вредила успеху военных действий, — прочтите об этом у Марбо. Себастиани, командующий вторым корпусом, будущий министр иностранных дел, покоритель сердец и любитель поэзии, храбрый, исполнительный генерал, в один прекрасный день увлекается чтением итальянских стихов, вследствие чего теряет свою артиллерию. Говорю, как видите, о самых высокопоставленных лицах, но было еще неизмеримо больше не столь высокопоставленных — каждый тоже со своей „кварттой причастности“. Разумеется случайности действуют в обе стороны. Под Вязмой Милорадович решает дать французам сражение и пишет об этом доклад Кутузову, умоляя его немедленно двинуться к Вязме с главными силами; но по рассеянности он не вкладывает в конверт своего письма! Коповницын, дежурный генерал при главкомандующем находит конверт пустым. „Вот обстоятельство, разрешающее вопрос, почему главная армия не подоспела к Вяземскому сражению“, — говорит Михайловский-Данилевский*. Под Бородиным шальная пуля смертельно ранит лучшего русского генерала Багратиона. Погибает и Кутайсов, смерти которого Кутузов до конца своих дней приписывал то, что под Бородином не было одержано решительной победы. Под Малоярославцем казаки проносятся *в двадцати шагах* от Наполеона, не имевшего почти никакой охраны. Он уже выхватывает шпагу, чтобы защищаться, но казаки его не узнают и мчатся дальше.

*Михайловский-Данилевский, кн. III, стр. 382.

Л. Вы не хотите понять, что все эти эпизоды ничего не меняют в событии основном. Они неизменные спутники всех больших исторических явлений, и, в настоящем случае, никак не подрывают ни замысла Наполеона, ни законов истории.

А. „Эпизоды“ составляют большую или меньшую часть основного события, в принципе „равноправную“ с замыслами Наполеона. Разница только в том, что эти частные цепи причинности менее важны, чем наполеоновская, что они малозаметны, что историкам при установлении „законов“ очень удобно от них отвлечься... Мы говорим только о *военных* делах. Что же сказать и как, при помощи каких чисел выразить, измерить, сравнить вероятности причин самой войны 1812 года? Историки дают десятки таких причин, политических и психологических (начиная, разумеется, от честолюбия Наполеона и его страсти к войнам). В действительности их были тысячи. Уверены ли вы, что комета 1811 года не была одной из них? Люди верили (быть может, верил и сам Наполеон), что эта комета предвещает нечто грозное, неизбежное, неотвратимое. Они считали ее предзнаменованием и тем самым невольно превращали ее в причину: с неотвратимым не спорят.

Л. Иными словами, вы, скажу еще раз, считаете невозможным какое бы то ни было научное объяснение причин огромного исторического события!

А. Да *это* объяснение и есть наиболее „научное“: оно лучше всех отвечает фактам. Я, впрочем, несколько не отрицаю, что для изучения и систематизирования фактов могут пригодиться разные общие предположения, — точно так же, как в точных науках для самой постановки опыта предварительно нужно иметь то или иное предположение о связи явлений. Но в истории гипотезы *опытной* проверке не поддаются, и речь может идти именно лишь об идеях, при помощи которых факты известной группы могут быть собраны и изучены. Это почти всегда полезно. Очень полезно, например, сгруппировать экономические факты, связанные с войной 1812 года. Но никак нельзя называть такую группи-

ровку, хотя бы самую естественную, не подтасованную, не „притянутую за волосы“, „научным“ объяснением причин этой войны. С точки зрения экономических материалистов и здесь, как везде, все совершенно ясно: английский капитализм, французский капитализм, Континентальная система, вывоз, ввоз, интересы русских помещиков и т.д. Кстати сказать, у марксистских историков в самое недавнее время появился довольно неожиданный и курьезный „союзник“, английский военный историк Фуллер. Этот старый генерал, недавно разработавший план расчленения России, написал книгу „Решительные сражения“, чрезвычайно ученую и по-своему очень интересную*. Из наполеоновской эпохи он берет два сражения, под Йеной и под Лейпцигом, и по их поводу высказывает ту мысль, что главным врагом Наполеона была не Россия, не Англия, а Власть Денег, — он и пишет эти два слова не без мистического ужаса с больших букв: The Money Power. В настоящее время генерал Фуллер имеет заслуженную репутацию русофоба, да она слегка сказывается и в этой его более старой книге. В ней также вскользь говорится о „русском варварстве“. Однако с некоторым правом можно обвинить Фуллера и в англофобстве, ибо резиденцией „Власти Денег“ был, по его утверждению, Лондон, — и не все же британские банкиры были евреями (евреев генерал тоже очень недолгобливает); главный, Александр Беринг, прозванный „Александром Великим“, был христианином. „The Money Power“ (генерал не очень уточняет) одержала полную победу в борьбе этой эпохи. Так, по мнению Фуллера, было во все времена, во всех великих войнах истории. Что сказать об этих „объяснениях“! Войны с французской республикой и с французской империей не способствовали благосостоянию Англии. Ее национальный долг увеличился на триста миллионов фунтов — сумму по тем временам астрономическую. Налоги увеличились почти в четыре раза. Англия и до этих войн, и после них, вплоть до 1914 года, процветала больше, чем в 1792—1815 годах. Да и личные состояния представителей „Money Power“, Берингов и Ротшильдов, про-

*Major-General J.F.C. Fuller, *Decisive Battles*, New York, 1940.

должали расти быстрее в пору мира. Гораздо большие богатства Вандербильдов, Гульдов, Рокфеллеров, Морганов, Фордов создались без всяких войн. Англо-французские войны наполеоновского периода начались за много лет до Континентальной системы. Лондонская „Мопсу Ровер“, не поладившая с Наполеоном I, отлично уживалась с Наполеоном III, как и весь английский капитализм в течение ста лет жил в мире и согласии с французским. С вопросом о вывозе льна, хлопка, леса из России связывались некоторые историки не только войны 1804—1815 годов, но и убийство Павла I, хотя, при взгляде, не затемненным предвзятыми „фуллеровскими“ или „марксистскими“ воззрениями, совершенно ясно, что этот вопрос вообще не играл большой роли в русской политике, — на войны было истрачено неизмеримо больше денег, чем составляли все эти ввозы и вывозы вместе взятые. Я нисколько не отрицаю существования и *этой* цепи причинности. Однако другие были несравненно крепче и важнее, и счесть их нельзя. Допустим, что в решении, повлекшем за собой войну 1812 года, принимала участие какая-либо тысяча людей: монархи, члены их семейств, министры, теоретики, маршалы, генералы и т.п. У каждого действия каждого из этих людей цепь причинности была своя. А миллионы исполнителей: офицеры, чиновники (хотя бы тот же смоленский интендант), солдаты, крестьяне! Миллионы „квантов“, скрещивающихся миллионы раз (конечно, не все вместе, а отдельными, нисколько не однородными, группами). Отсюда биллионы случайностей. Установить здесь математическую формулу никакой „лапласовский гений“, разумеется, не мог бы. Но уму историка нужно как-то подойти к исследуемым явлениям. В более или менее правдоподобном соотношении с небольшими числами известных ему фактов, более или менее правдоподобно упрощая их, он, в соответствии со своими взглядами, часто и со своими эстетическими инстинктами, делает обобщения, создает „законы истории“. Эти законы живут лет двадцать, или пятьдесят, потом кончаются, отменяются, вытесняются другими. Они очень полезны, так как каждая научная гипотеза плодотворна и с каж-

дой можно работать. Но менее всего здесь может помочь теория вероятностей с законом больших чисел; ибо как по значению, по последствиям сравнивать цепь причинности каждого из солдат Наполеона с его собственной цепью причинности, сказавшейся хотя бы в том его минутном колебании: „Ввести в дело гвардию или не вводить?“.

Л. Таким образом, война 1812 года, ее причины, ее ход, ее результат, все это случай?

А. Я отвечаю утвердительно. Вам же склонен посоветовать ради осторожности оставить вопрос хоть под сомнением. Так делали и некоторые знаменитые историки. Тот же Тацит говорит: „Я не могу решить, идут ли человеческие дела по закону судьбы и необходимости, или они подчинены случаю“*. Сам же Наполеон, по-видимому, и не сомневался, что война 1812 года была, как и его поражение, делом случайным. Он это говорил и на острове Святой Елены; но еще до начала этой войны он писал королю Вюртембергскому: „Война разыграется вопреки мне, вопреки императору Александру, вопреки интересам Франции и России. Я уже не раз был свидетелем этому“. Марксисты и фуллеристы (разумеется, я не сравниваю первых со вторыми) предполагают, что война всегда вызывается экономическими интересами; одни предпочитают говорить о несколько не мистических „рынках“, другие о полумистической „Money Power“ (Власти Денег). А Наполеон, который, казалось бы, должен был знать причины войн лучше, чем они, находил, что может быть и война без всяких интересов, личных, экономических и каких бы то ни было других; может быть даже и война *вопреки* интересам сторон.

Л. Во всяком случае, в *общей* форме он не приписывал случаю ни войны, ни способов ее ведения. Он говорил госпоже Ремюза: „Военная наука заключается в том, чтобы правильно определить все шансы, затем точно, почти математически дать долю слу-

*Сочинения Корнелия Тацита, русский перевод и примечания В.И.Модестова, т. II, стр. 271. Летопись, кн. VI, гл. 22.

чаю... Но этот раздел науки и случая умещается только в гениальной голове**.

А. А как же Наполеон мог бы этого *не* говорить? Конечно, для него мир делился на ведомство случая и на ведомство гения, то есть его самого. Однако он о „законах истории“ не говорил.

Л. Вероятно, он их и не отрицал. Ведь и вы не отрицаете, что большие явления интеграл малых...

А. Это интеграл без указания пределов. В большой и в малой истории возможность ошибки идет от пуля до бесконечности. Не примите этого дословно: ошибка, конечно, никогда не равна бесконечности и никогда не равна нулю. Так, в вопросе о войне 1812 года Талейран, например, почти не ошибался. Он считал ее началом копча. Мог, конечно, ошибиться, но во всяком случае он угадал. Другие ошиблись на треть, на половину, на три четверти: Австрия, Пруссия были сначала союзниками Франции, затем в разное время перешли на сторону России и Англии. То же самое относится к изменившим Наполеону маршалам, к Мюрату, к Мармону и многим другим (устраивая здесь элемент моральной оценки). Если б это не было совершенно праздным занятием, мы могли бы даже установить „коэффициент ошибки“. Ординатой такой ни для чего не нужной кривой было бы время: тот момент, когда данное лицо, данное государство перемстнулись от Наполеона к победителям. Но я о войне 1812 года не сказал бы, что она была торжеством ошибки и непонимания. В этом отношении она составляет в ряду исторических событий что-то вроде доброй середины — *la bonne moyenne*. В чистой политике многое бывает гораздо глупее, так как цифровой элемент иногда и совсем отсутствует, нет „числа войск“, „числа орудий“ и т.п.

Л. Что ж, если вы перейдете к примерам из области чисто политической, то вам легче будет вместо доброй середины дать другое.

*Mémoires de Madame de Rémusat, Paris, 1880, vol.I, p.333.

А. Я и хотел вам предложить два примера из этой области: переворот 9 термидора во Франции и русскую октябрьскую революцию. Выбираю эти примеры по разным причинам. Оба этих больших события хорошо изучены; мы с вами вдобавок были очевидцами второго. Кроме того, они, так сказать, противоположны по знакам или, по крайней мере, могут считаться таковыми „в первом приближении“: французский переворот будто бы заканчивает период настоящей революции, русский же, октябрьский, будто бы его начинает.

Л. Именно будто бы. Олар в заключении своего классического труда пишет: „Революция состоит в Декларации прав, составленной в 1789 году, и дополненной в 1793-м, а равно в попытках осуществления этой Декларации; контрреволюция — это попытки оттолкнуть французов от жизни, согласной с принципами Декларации прав, то есть разума, просвещенного историей“*. Я это сгедо принимаю целиком. В октябре 1917 года произошла контрреволюция.

А. Это сгедо удовлетворяет и мое „моральное начало“. Разумеется, я был бы вполне удовлетворен, если бы культурный мир твердо навсегда признал контрреволюционерами и Робеспьера, и Ленина, как должен был бы сделать Олар, если б политик в нем был вполне верен историку. Однако надежды на это имею мало.

б) О девятом термидора

А. Перевороту девятого термидора предшествовало очень незначительное происшествие, которое и с вашей „социологической“ точки зрения должно рассматриваться как случай. Баррас в своих воспоминаниях сообщает*, что Фуше, бывший в 1794 году полновластным представителем правительства в контрреволюционном Лионе, занялся там, помимо всевозможных зверств, грабежом в свою пользу. Его жена, уезжая из разгромленного города в Париж,

*A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 1903, p 782.

*Mémoires de Barras, Paris, 1895, vol. I, pp. 180—1.

везла с собой сундуки с награбленными богатствами. Но у заставы, в предместье Вэз, коляска по случайности разбилась, кое-что по другой случайности очень неудачно вывалилось, собравшаяся толпа увидела, что вывозит жепа проконсула. Произошел большой скандал. Фуше имел все основания думать, что это скоро станет известно Робеспьеру. Между тем диктатор его терпеть не мог и воровства никак не поощрял. Поэтому лионский проконсул должен был считаться человеком обреченным. Спасти его теперь могла только гибель Робеспьера. Это было будто бы одной из причин переворота девятого термидора; в нем, как вы знаете, Фуше сыграл главную роль. Впрочем, не все историки уверены в том, что Баррас сказал правду: он врал достаточно часто. Мадлен, лучший биограф Фуше и историк по направлению консервативный, не очень рассказу верит и утверждает, что Фуше в следующем году еще был беден и искал заработков*. Иными словами, он стал будто бы воровать лишь позднее. Разумеется, „моральный кризис“, даже выражающийся в воровстве, может случиться с человеком в любое время его жизни. Мне лично более правдоподобным кажется, что Фуше был и в денежном отношении бесцелен *всегда*. Эпизод с коляской очень похож на правду — такой выдумать трудно. И почему же слухи о грабежах и хищениях шли в частности о Фуше? О Сеп-Жюсте, о Жан Боп Сент-Андре, о самом Робеспьере никто *этого* не говорил. Прибедняться же людям вообще свойственно, а Фуше после переворота это было очень выгодно; прикидываясь бедняком, он себя реабилитировал.

Л. Вы все-таки не думаете серьезно, что переворот девятого термидора произошел из-за несчастного случая с коляской госпожи Фуше?

А. Конечно, нет. Он произошел из-за миллиона случайностей.

Л. Согласитесь, что ваш метод анализа исторических событий довольно странный. Вы берете из мемуаров темного, любившего врать человека эпизод,

*Louis Madelin, Fouché, Paris, 1923, vol. I, pp. 148-150.

не очень, как вы сами говорите, достоверный, и на этом хотите что-то построить! Олар, лучший и серьезнейший из историков французской революции, определенно заявляет в начале своего труда, что мемуарами пользоваться почти не будет. Он бранил Тэна за доверие к „анекдотам“ и беспрестанное пользование ими.

А. Не пользуясь мемуарами, можно *знать* историю большого события, но *понимать* его невозможно. Разумеется, пользоваться ими надо осторожно, надо принимать во внимание личность, характер, интересы автора... Я хотел указать вам еще несколько случайностей, подготовивших переворот 1794 года, но отказываюсь, ибо вы и их назовете анекдотами.

Л. Сколько вы их ни привели бы, это ровно ничего не меняет в общем смысле явления. Переворот девятого термидора произошел не из-за случайностей, хотя бы и много более достоверных и много более важных, чем приведенная вами. Он произошел потому, что Франция больше не хотела терпеть террор и диктатуру Робеспьера. Массовые казни еще можно было переносить, пока страна была в опасности и на ее территории находились вражеские армии. Летом 1794 года этого больше не было. При Робеспьере французская армия шла от победы к победе. Необходимость в терроре отпала. Стадия подъема революции кончилась, должна была начаться стадия снижения. Этим и воспользовались термидорианцы, желавшие положить конец казням и углублению революции. Таков глубокий социально-исторический смысл девятого термидора.

А. Не могу согласиться во многом с этим общепринятым объяснением. Но вы, кстати сказать, попутно опровергаете один из так называемых „законов истории“. Обычно признается, что революциям и переворотам способствуют никак не военные успехи, а военные неудачи. И вы в настоящем случае правы, такого *закона* нет: иногда способствуют переворотам поражения, а иногда победы. Перейдем, однако, к *основному*. Главными деятелями переворота были

четыре человека: Фуше, Тальен, Баррас и Колло д'Эрбуа. Если хотите, первой случайностью было то, что объединились в устройстве заговора эти люди, не имевшие между собой ничего общего. Они даже терпеть не могли друг друга. Священник-расстрига Фуше, провинциальный актер и третьестепенный драматург Колло были по взглядам „партажерами“*, то есть по нынешнему социалистами. В Лионе, где оба они были прокопсулами, они ввели несколько мер чисто социалистического характера. Бывший пролетарий Тальен и бывший королевский офицер виконт де Баррас политических идей собственных не имели, но „партажерами“ уж никак не были. Объединяло их то, что все четверо были негодьями. И еще их объединяла, разумеется, ненависть к Робеспьеру. Причиной этой ненависти был, однако, никак не Робеспьеровский террор: Колло д'Эрбуа и Фуше были еще худшими террористами, чем диктатор. Трудно описать те зверства, которые при них происходили в Лионе. В один лишь день 14 фримера 11-го года они там расстреляли больше двухсот человек (по сообщениям историков, 294, сам же Фуше говорит „только“ о 213). Так как гильотина не могла бы быстро справиться с таким числом людей, то расстреливали связанных врагов народа из пушки, а затем добивали топорами и лопатами — Фуше с высоты эстрады председательствовал на этом зрелище и утром того дня писал Копвенту: „Слезы радости текут из моих глаз, они наводняют мое сердце... Мы вечером отправим под огонь молнии двести тринадцать мятежников“. Еще раньше, в Невере, после рождения у него дочери, он устроил „Праздник Брута“: велел выстроить „Храм Купидона“, сам оделся „Жрецом природы“ с „венком из плодов“, собрал „молодых дев“ в белых платьях, тоже с какими-то венками, сорок „патриотических юпошей“ и благословил их на любовь и законный брак. Из законного брака ничего не вышло: все патриотические юноши устремились лишь к одной молодой деве, дочери богача-мельника. В „Празднике Брута“ ничего особенно худого не было бы, если б одним из главных и самых запятных его „номеров“ не была казнь преступников. До этого не

*От *фр. partage* — раздел, дележ. — *Прим. ред.*

додумались ни Дзержинский, ни Ежов. Не додумался и Робеспьер. Личность Фуше несколько загадочна. Не могу понять, как этот комедиант, вдобавок, педеростный болтун, шутник и сплетник, мог быть хорошим заговорщиком и как Наполеон мог сделать его министром полиции: вопреки мнению историков, думаю, что министр полиции он был не только пепаждежный (как предатель по характеру и убеждению), но и технически очень плохой... Во всяком случае, Робеспьеру до Фуше и особенно до Колло д'Эрбуа было далеко даже просто по числу казненных, — если принять во внимание, что население Лиона составляло ничтожную часть населения Франции. Враги, кстати сказать, приписывали свирепость бывшего актера тому, что его когда-то освистала публика Лионского театра. Но это объяснение, как мелкое, педостоверное, „мемуарное“, мы оставим в стороне. Очень недурен, хотя и не столь блистателен, был террористический стаж Барраса в Марселе и Тальена в Бордо. Террор был, таким образом, совершенно ни при чем в „размолвке“ термидорианцев с Робеспьером. Нельзя также сказать, чтобы причиной их пепависти к диктатору было общее „расхождение в политических взглядах“. Какова была прочность революционных и „социалистических“ убеждений Фуше, показало его будущее. Он голосовал за казнь Людовика XVI, но через двадцать с лишним лет стал министром его брата.

Л. Тут, по-моему, больше надо удивляться не министру, а королю.

А. Скажем, одинаково обоим. Правда, граф Беньо рассказывает, что Людовик XVIII заплакал, подписывая при нем приказ о назначении Фуше, и, вытирая слезы, сказал: „Несчастный брат мой, если ты меня видишь, ты простишь меня!..“*. Может быть, это и верно, а скорее очень приукрашено. Беньо был не только ласковое теля, но и человек септиментальный. Новый король был циник — несчастная Мария Антуанетта однажды, в очень тяжелую для себя и для династии минуту, назвала его Каином. И если

*Mémoires du comte Beugnot, Paris, 1889, p. 603.

Людовику XVIII уж *так* был необходим этот будто бы дельный полицейский техник, то, во всяком случае, никто не обязывал короля стать свидетелем на свадьбе Фуше: он женился вторым браком на Габриели де Кастеллаи, одной из родовитейших невест Франции. Французская аристократия впоследствии, можно сказать, носила его на руках, а одним из близких друзей бывшего безбожника, прославившегося в 1794 году и богохульством, был столетний архиепископ парижский, кардинал де Беллуа. Делаю это отступление в сторону потому, что вы, кажется, надеетесь на праведное возмездие большевикам? Кстати, и Тальену, тоже голосовавшему за казнь короля, Людовик XVIII по собственной доброй воле, уже без всякого давления, назначил небольшую пенсию. Из четырех *главных* термидорианцев — опять по случайности — только Колло д'Эрбуа сразу кончил плохо: вскоре после переворота он угодил в Кайенну. О том, что он делал бы при Наполеоне и в пору Реставрации, мы, следовательно, судить не можем; можем судить разве по его дореволюционному, никак не социалистическому прошлому, или даже по его имени: он был по рождению Колло — просто и самовольно прибавил к своему имени дворянскую частицу с названием „Эрбуа“. Коротко говоря, термидорианцы были не слишком идейные люди. Да они все, еще незадолго до девятого термидора, всячески старались установить с Робеспьером добрые, дружеские отношения. Баррас в своих воспоминаниях* сам рассказал — и чрезвычайно живописно — о визите, который он сделал диктатору. Робеспьер с ним не поздоровался, не сказал ему *ни одного слова* и не простился с ним, когда он наконец встал и ушел. Побывали у Робеспьера также Тальен и Фуше — им был оказан точно такой же прием. „Все их красноречие, — рассказывает Баррас, — наткнулось на убежденного глухонемого; на их мягкие, сильные, прочувствованные, дружественные, почтительные слова Робеспьер отвечал упорным молчанием, без всякого выражения на лице, без единого жеста, без единого слова. В этом молчании человека, державшего в руке скипетр смерти, было нечто более страш-

*Mémoires de Barras, vol. I, p. 178.

ное для воображения, чем было в угрозах“. Всем трем стало ясно, что они обречены на смерть, — если только Робеспьер не погибнет. Считаете ли вы, что и это было мелкой случайностью в причинах переворота девятого термидора?

Л. Каковы были *личные* побуждения термидорианцев, это тоже для истории не имеет большого значения. Они правильно учли соотношение сил и построили свою игру на ненависти всей Франции к диктатору.

А. Последнее ваше утверждение весьма сомнительно. Робеспьер и в пору террора не вызывал ненависти у всей Франции, особенно после того, как он обрушился на безбожников в своей речи 1 февраля 1794 года. Он в ней сказал, что Конвент не должен запрещать и не запретит католического богослужения. Всех гонителей христианства он считал изменниками и агентами иностранных держав. Именно за атеизм были отправлены им на эшафот Эбер и Шометт. Еще в 1792 году Робеспьер добился того, что в якобинском клубе был разбит бюст материалиста Гельвеция. Очень недолюбливал Робеспьер и „партажеров“. Не любил и интернационалистов — за интернационализм был ведь казнен Апахарсис Клотц, человек в другом занимавший „промежуточную позицию“: ему ведь принадлежит формула „Ни Марат, ни Роллан“ (авторы формулы „Ни Ленин, ни Колчак“, сыгравшей не малую и не слишком удачную роль в нашей собственной истории, верно не знали о своем далеком предшественнике). Олар утверждает, что Робеспьер в пору террора пользовался огромной популярностью: „Со всех концов Франции, как о том свидетельствуют письма, найденные в его бумагах, несется к нему поток восхищения, восторженной симпатии. Многие католики возлагают на него надежды. Из тюрем они ждут от него своего близкого освобождения... Тут не только народ (*petit peuple*), но и буржуазия, и писатели“*. Вдобавок по Парижу шли слухи, что „неподкупный“ подумывает об ограниче-

*A.Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 1903, p. 495.

пии террора*, что он перестал посещать Комитет общественного спасения, бывший главным поставщиком гильотины. Сам Баррас лишь очень нерешительно опровергает сведения о том, будто Робеспьер хотел „остановить излишества революции“. Верны ли были эти сведения? Трудно сказать. От диктатуры он, наверное, не отказался бы — от нее добровольно не отказывался никогда никто. Террор Робеспьер, может быть, и смягчил бы — после того как *все* его враги были бы казнены. Восстановил ли бы он свободу слова? Едва ли. При своем тщеславии, он так же мало, как Сталин, мог допустить, чтобы его ругали в газетах. Да и зачем ему была свобода слова, когда, вопреки всем теориям, так удобно правителям обходиться без нее?.. Я склонен думать, что Олар все же преувеличивает популярность Робеспьера: радость после девятого термидора была почти всеобщей; ее хорошо описал Пакье⁴. Во всяком случае, несомненно, был некоторый период времени, в течение которого Робеспьер, с популярностью или без популярности, был почти всемогущ. И я считаю второй „основной случайностью“ то, что он тогда не отправил на эшафот четырех названных мною главных термидорианцев. Не было ничего легче, чем „прислать“ их к какому-либо из „процессов“, неизменно

*Жорес в своем огромном труде подает этот *слух* как точно установленную историческую истину: „Чрезмерность террора должна была привести к уничтожению террора. Робеспьер мечтает о том, чтобы усилить терроризм, концентрировать его на протяжении нескольких страшных и незабываемых недель для того, чтобы иметь силу и право с ним покончить. Разбавляя и продолжая террор, можно было навсегда нервировать (*énerver*) Революцию. Пусть весь ужас будет собран в нескольких днях. О, смерть, зловещая работница, торопись, спеши делать твое дело; не отдыхай ни днем, ни ночью, и когда твоя страшная задача будет исполнена, ты получишь окончательную отставку“ (Jean Jaurès, *Histoire Socialiste de la Révolution française (1789—1900)*, Paris, p. 1811—1812. Правда, Жорес добавляет: „Это была бессмысленная мечта“. Тем не менее вся эта страница представляет собой образец *тудшей* исторической манеры знаменитого политического деятеля, бывшего и выдающимся историком: недоказанное намерение Робеспьера выдается за истину, без оснований, без всяких данных читаются, как в книге, его душевные настроения, говорится сначала о „нескольких неделях“ террора, а потом даже о „нескольких днях“, говорится о *праве* (!) Робеспьера закончить террор (тогда как подавляющее большинство французского народа никакого террора, конечно, не хотело), и все это заканчивается риторическим восклицанием, едва ли очень уместным в историческом труде.

⁴*Mémoires du chancelier Pasquier*, Paris, 1893, vol. I, pp. 112—113.

копчавшихся казнью: за социализм, за атеизм, за казнокрадство, за развратную личную жизнь, за что угодно. Робеспьер и собирался это сделать в ближайшее же время, но опоздал на несколько дней. Вероятно, просто не успел еще составить полный список людей, подлежащих ликвидации (до этого коммерческого слова он тоже не додумался — оно было никак не из словаря Ж. Ж.Руссо). Или же он, быть может, преувеличивал свое могущество: нет беды в том, чтобы пемпого и подождать. Наконец Робеспьер в довольной ясной форме объявляет о своем решении отправить новую группу людей на эшафот. И тут важнейшая третья случайность: он не называет никого, кроме Фуше. Обычно он в таких случаях поименно перечислял врагов народа. На этот раз имен не произнес — уклончиво говорил только о „quelques têtes coupables à abattre“*. Никто не мог в тот день знать, какие именно „виповные головы“ он хотел отрубить, и каждый мог думать, что дело идет именно об его голове. По общему, кажется, мнению историков и мемуаристов, этот пропуск имен чрезвычайно способствовал его гибели. Фуше использовал упущение диктатора очень искусно: он стал распространять проскрипционный список соответственно производства, ездил к разным членам Конвента, даже к своим врагам, и уверял их, что в списке значатся и они.

Л. Едва ли это могло изменить очень многое. Все-таки не эти пемпогочисленные люди могли изменить соотношение сил.

А. Действительно, очень важно выяснить, от каких исторических факторов это соотношение сил зависело. Оставим в стороне армию, она находилась далеко, одерживала победы и была плохо осведомлена о том, что делалось в Париже. Генералы тогда преобладали „левые“, но, несмотря на свою левизну, они при Наполеоне стали герцогами и миллионерами. К тому же, по общему правилу, командующие армиями не любили и презирали парижских политиков. Одни, как позднее Клебер, называли их пренебрежи-

* „Виповные головы, заслуживающие казни“ (фр.).

тельно „адвокатами“, другие, менее вежливые, сволочью. Армия в дело 9 термидора не вмешивалась и, насколько я могу судить по литературе мемуаров, ее не принимали в расчет ни Робеспьер, ни термидорианцы. Конституция Франции была тогда довольно неопределенная. Это признает сам Олар: „К ней приспособлялись эмпирически, изо дня в день, законы, вызванные обстоятельствами“ („des lois de circonstance“)*, то есть законы более или менее *случайные*. Если отвлечься от строго юридических форм, то „факторами“ истории были в первую половину 1794 года: Конвент, Комитет общественного спасения (правительство), Комитет всеобщей безопасности (полиция), Якобинское общество, Коммуна.

Л. Теперь, при учете соотношения их сил, вы, надеюсь, выйдете из области случайностей, хотя бы и важных?

А. Напротив, я в ней останусь. Предприятие заговорщиков было, конечно, очень отважным — отдадим им в этом полную справедливость, они были смелые люди. Правда, им терять было нечего: без попытки переворота все равно они через несколько дней погибли бы. Что же заговорщики могли „учесть“? Фуше, знавший Кондорсе, мог от него слышать о теории вероятностей и о возможности ее приложения к расчету политических явлений. Но, разумеется, мысль о том, что Фуше пожелал бы воспользоваться этой теорией для выяснения шансов заговора, немедленно вызывает улыбку. Зато без теории вероятностей он, несомненно, днем и ночью думал о том, какие шансы имеет его заговор. Из перечисленных мною пяти „факторов“ последний еще кое-как можно было, пожалуй, учесть заранее; Коммуна была всецело за Робеспьера, состояла она в громадном большинстве из простых людей, мало смысливших в политике вообще и в соотношении сил, в частности; на нее заговорщикам рассчитывать не приходилось. Что же можно было, однако, наперед сказать о других факторах? Конвент? Он по конституции был всемогущ: все во Франции якобы зависе-

*A. Aulard, Histoire politique de la Revolution française, p. 315.

ло от него; он мог кого угодно в любую минуту сместить, отдать под суд, объявить вне закона (то есть казнить: люди, объявленные вне закона, отправлялись на эшафот без суда, тотчас по установлении личности). На самом же деле Конвент, со времени казни Дантона и до девятого термидора, почти никакой власти не имеет или ее не проявляет. Политические деятели, которым потомство даст прозвище „гигантов Конвента“, в ту пору уже представляли собой тихое стадо насмерть (именно насмерть) запуганных людей. Каждый знал, что диктатор отправил на эшафот самых энергичных, самых знаменитых, самых красноречивых деятелей революции, — чего же было ждать рядовому политику! И левые, и правые, и „болото“ заботятся лишь о том, как бы не навлечь на себя его гнева, как бы не вызвать какого-либо его подозрения. Будь на месте Фуше человек еще в сто раз более проникательный и хитрый, и он ничего тут предсказать не мог бы. Уж скорее всего он сделал бы вывод, что на Конвент рассчитывать нельзя, что его падо оставить в покое. И в этом он жестоко ошибся бы; судьба Робеспьера решилась 9 термидора именно в Конвенте. Один французский писатель говорит, что в Далмации существует легенда о „восстании иллирийских баранов“. Эта легенда невольно приходит в голову, когда читаешь описание исторической сцены, закончившейся арестом диктатора. Теперь второй фактор: Комитет общественного спасения. Его тогда современники, а позднее историки называли „министерством Робеспьера“. В нем были две группы. Первую составляли *работники*, как Карно или Ленде; эти люди действительно организовали военную победу и спасли Францию от иностранных армий. Вторая группа состояла из *политиков*: они проводили террор и заливали Францию кровью. Не будем, однако, слишком строго держаться такого деления. Остроумный человек сказал: „История пишется беспартийными людьми. Они между собой не согласны, так как беспартийные люди есть во всех партиях“. Деление „министерства Робеспьера“ на овец и козлищ было уж слишком выгодно для некоторых историков. На самом деле, например, приказ об аресте Дантона был принят почти единогласно на соединенном заседании Комитетов общественно-

го спасения и всеобщей безопасности — подписал его, своим мелким почерком, и сам Карпо. Олар в книге, написанной против Тэна, не только его бранит, но, можно сказать, поносит за многочисленные искажения и извращения фактов французской революции. Во многом Олар прав: Тэн в ту пору, когда писал свой знаменитый труд, был уже настоящим реакционером и, в угоду общему взгляду на революцию, с документами обращался довольно свободно. Тем не менее психологию террористов, деятельность, причинные цепи членов Комитета общественного спасения Тэн, по-моему, понял правильнее, чем Олар со всей его необъятной эрудицией. Они принадлежали к разным по духу идеологиям и, разумеется, оба были „беспартийные люди“. Но, как говорил не без основания Тэн, „надо быть большим писателем для того, чтоб быть историком“. Олар им не был. Однако именно в вопросе о Карпо эти историки странным образом поменялись ролями: тут защищал Тэн, обвинял Олар* — и был в этом случае с фактической стороны прав: да, и Карпо подписал приказ об аресте, то есть о казни, Даптона! Что ж, представьте себе на мгновение психологию участников того заседания. Они знают, что обрекают на смерть самого выдающегося из деятелей революции только потому, что Робеспьеру надо устранить единственного опасного соперника. Члены Комитета всеобщей безопасности подписывают, конечно, с полной готовностью — не все ли им равно? Начальство так хочет, этого совершенно достаточно. Карпо, вероятно, себе говорит, что отечество в опасности, необходимо обеспечить единение в национальной обороне, можно пожертвовать отдельным человеком, когда на фронте гибнут тысячи людей, что ж делать? — и посылает на казнь Даптона, считавшегося с полным основанием два года тому назад символом и героем национальной обороны. Некоторые участники заседания очень многим обязаны Даптону, другие, верно большинство, еще недавно с ним закусывали, пили, болтали в кафе „Прокоп“. Кто знает, кто мог бы сказать, как скрещивались тут отдельные цепи причинности? Быть может, у одного из

* A. Aulard, Taine, historien de la Révolution française, Paris, 1907, p. 272 и его же Etudes et leçons sur la Révolution française, Paris, 1^{re} serie, pp. 189.

них в тот день были особые личные основания угрожать Робеспьеру? Быть может, другого Дантон обидел каким-либо замечанием, шуткой, пренебрежительным тоном. Робер Ленде отказывается подписать приказ; это героическое действие, он в самом деле был очень мужественный и принципиальный человек, — другие, должно быть, смотрят на него, как на сумасшедшего. Затем Дантона судят и казнят по обвинению в роялизме. Через три месяца, отчасти по тому же обвинению, но уже без пародии суда, казнят Робеспьера. С другой же стороны, и „козлица“, особенно Сеп-Жюст, немало сделали для национальной обороны. Нет, деление на „работников“ и „политиков“ трудно провести последовательно до конца. В день 9 термидора, и в предшествовавшие дни, „работники“ скромно держались в стороне. Сам Робеспьер уже почти не посещал заседаний Комитета. „Политики“ же разделились поровну: за диктатора Сеп-Жюст и Кутон, против него Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн. Эти члены одного министерства, „товарищи по работе“, ненавидели друг друга не меньше, чем, например, ненавидели один другого Троцкий и Сталин. Каждая из двух „групп“ всей душой надеялась погубить другую. По случайности победила вторая. По другой случайности погибли обе, так как вскоре после казни Сеп-Жюста и Кутона были отправлены в Кайенну Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа. Если *все* они сами равно ничего не предвидели, то тем менее могли предвидеть что бы то ни было другие. Коснемся кратко третьего фактора: Комитета всеобщей безопасности. В нем сколько-нибудь честные или даже просто идейные люди составляли редчайшее исключение. Был один политический кретин, вдобавок предатель по натуре, гениальный художник Давид, обещавший накауне переворота „выпить цикуту с Робеспьером“* и затем благополучно, без всякой цикуты, проживший до старости. Другие члены Комитета были подонками человечества, мало отличающимися от людей ГПУ и гестапо. Существует о них истинно страшная книга: воспоминания их товарища Сенара. Если б какой-либо второстепен-

*Несколько позднее Давид показывал, что он не обнял Робеспьера, „так как он всех отталкивал“ (Georges Belloni, Le Comité de Sureté Générale, Paris, 1924, p. 92).

ный агент гестапо написал правдивые воспоминания, они, вероятно, не очень отличались бы от этой книги. Левые французские историки либо ее замалчивали, либо, как Амель, объявляли ее гнусной клеветой. На самом деле в ней, если не все, то очень многое было чистой правдой*. О Комитете всеобщей безопасности, который Ленотр справедливо называл фабрикой грабежа и смерти, можно было не с вероятностью, а с полной уверенностью сказать только одно: он будет на стороне победителя. Иными словами, тоже нельзя было сказать ничего, так как никто не мог знать, на чьей стороне окажется победа.

Л. Если это что-либо доказывает, то разве лишь то, что термидорианцы были люди очень решительные: они полагались твердо на свои собственные силы.

А. Не очень твердо полагались. Они готовы были друг друга в случае надобности и предать. „Фанатик“ Колло в самую решительную минуту чуть не предал было Фуше, который в свою очередь еще 7 термидора, за два дня до развязки, обсуждал возможность сговориться с Робеспьером. Баррас с деланным презрением говорит, что после переворота нашел в бумагах диктатора униженные письма Тальена. Но Мадлен сообщает (правда, не указывая источника), что сам Баррас молил Робеспьера „об отпуске грехов и прощении“⁴. Как люди заговорщики были еще менее привлекательны, чем Робеспьер. Не скрою, мне этот диктатор всегда казался одним из самых противных в истории (по крайней мере до двадцатого века, когда появились диктаторы еще неизмеримо более отвратительные). Но и современники, и историки, во всяком случае многие из них, относились к нему не так. Наполеон когда-то спросил Камбасереса (хорошо знавшего правящий персонал 1794 года), что он

*См. G.Lenôtre, *Le Farouche Amar* в *Vicilles Maisons, Vieux Papiers*, Paris, 1930, vol. 6, pp. 38-9 и *Deux Policiers*, там же, vol. 1, pp. 63-74. Документы, попадавшие в свое время в парижском Национальном архиве автору этой книги, всецело подтверждают мнение Ленотра. В последнее время Беллони сделал тщетную попытку хоть до некоторой степени „реабилитировать“ Комитет всеобщей безопасности.

⁴Louis Madelin, Fouché, Paris, 1923, vol. I, p. 171.

думает о Робеспьере и об его конце. Этот правый саповник, богач, ципик и сибарит ответил в привычных ему юридических выражениях: „Государь, по этому процессу было вынесено решение, по защитительная речь произнесена не была“. С тех пор „защитительные речи“ по делу Робеспьера произносились историками не раз. Не говорю уже о бессмысленно-восторженной его оценке в книге Эрнеста Амеля. Мишле называл его „великим человеком“, а Жорес говорил: „Я с Робеспьером!“. Ни об одном из термидорианцев никто из историков никогда не говорил ничего похожего. Суда истории нет, суд историков пристрастен, они это обычно скрывают — да и то не все: вот ведь Жорес назвал свою четырехтомную книгу „Социалистической историей французской революции“, точно при подлинном беспристрастии могла бы быть „социалистическая“, или „либеральная“, или „консервативная“ история. Жорес был только откровеннее, чем другие, хотя и он отверг бы с негодованием обвинение в пристрастии... Теперь последний фактор: Якобинский клуб. Он не был правительственным учреждением, хотя получал субсидии от Комитета общественного спасения и фактически имел право чистки администрации. На него надеялись обе стороны и обе для этого имели достаточное основание: Робеспьер был очень популярен в клубе, однако были популярны и заговорщики; Фуше начинает с Робеспьером борьбу за симпатии клуба. Борьба идет с переменным успехом. 18 прериаля, к общему изумлению, Фуше избирается председателем клуба. Потом якобинцы понемногу переходят на сторону диктатора. Еще маленькая случайность — па этот раз вполне достоверная: 2 мессидора Фуше пишет в Нант письмо своей сестре с резким отзывом о якобинцах. Один из членов Копвепта, находящийся в миссии в Нанте, перехватывает это письмо, распечатывает его и немедленно отправляет Робеспьеру*. Впрочем, этой случайности я особого значения не придаю: большинство якобинцев меняли решения в зависимости не от того, кто что о них думал, а от того, кто, по их мнению, побеждал. Накануне переворота они вопрос решают — и ошибаются самым же-

*Louis Madelin, Fouché, Paris, 1923, vol. I, p. 176.

стоким образом: окончательны припимают сторону Робеспьера и с позором, с криками, со свистом выгнаны из клуба чуть не в шею Колло д'Эрбуа. Обе стороны считали клуб огромной силой. Между тем выяснилось, что почти никакой силы он не имеет; помощи он Робеспьеру 9 термидора не оказал, а через несколько дней Баррас, не встретив ни малейшего сопротивления, закрыл клуб и припис Копвенту ключ от него. Вот все „факторы“. Как видите, они были настолько неопределенны, неустойчивы, переменчивы, что ровно ничего предсказать было нельзя, ни с помощью теории вероятностей, ни без нее. Тем не менее, термидорианцам необходимо было, разумеется, выбрать какую-то линию атаки, путь для свержения диктатора. Плана в настоящем смысле у них не было. Но они решают обойти Робеспьера *слева*. Заговорщики ставят себе целью *углубление* революции. Они объявят Робеспьера „умеренным“, клерикалом (*dévo*t) и даже роялистом, напомнят, что он в свое время *защищал* Дантона! В этом смысле должен говорить — и говорит — в Копвенте в день переворота Бийо-Варенн. На счастье заговорщиков, его речь, по-видимому, слушали очень внимательно. Решила дело речь Тальена, который, вероятно, за десять минут до своего трагического появления на эстраде вообще не знал, *что* скажет, — не знал даже и тогда, когда говорил! Везло термидорианцам необычайно. Опять почти случайность. В Копвенте председатель менялся каждые две недели. Эту должность поочередно занимали видные политические деятели разных партий. Занимали ее в разное время Робеспьер, Карпо, Тальен, Сеп-Жюст, Давид, Кутон, Камбон, Дантон, Верньо и другие. Заговорщикам повезло: в день, назначенный для переворота, в Копвенте председательствует Колло д'Эрбуа. Это им вообще было очень удобно; вдобавок бывший актер обладал мощным голосом и привык с молодости ораторствовать. Он мог не давать слова Робеспьеру, мог заглушать его восклицания с места: на историческом заседании он это и делал с успехом. На случай уличной схватки у термидорианцев был военный Баррас — в самом деле Копвент назначил его командующим войсками. Надо было, однако, пойти главного оратора. Фуше для этой цели совершенно не годился. Но Тальен

ипогда, когда бывал в ударе, говорил хорошо. И новая счастливая случайность: казнь арестованной любовницы Тальена, красавицы Терезы Кабаррю, бывшей маркизы де Фонтене, будущей княгини де Караман, прозванной Notre Dame de Thermidor, назначена на 10 термидора. Из тюрьмы она посылает своему любовнику коротенькую записку: „Меся убивают завтра. Неужели вы трус?“. Тальен, влюбленный в нее до полного безумия, приходит в состояние невменяемости. Жизнь без Терезы не имеет для него цены. Это именно то, что нужно термидорианцам. Вот кто будет говорить! Не все ли равно, что он скажет? Важно то, как он скажет — сумеет ли хоть на мгновение довести до белого каленья тусклую аморфную массу Конвента. И это удастся превосходно. Сцена заседания Конвента в день 9 термидора была сплошным бедламом. Робеспьеру предъявляется бессмысленное обвинение в том, что он *роялист*. Колло д'Эрбуа поручено не давать слова диктатору. Сен-Жюст начинает речь против заговорщиков. Возьму описание из одного романа — разумеется, с сокращениями. Тальен вскакивал в зал и „остановился в нескольких шагах от трибуны, сжимая на груди кипжал и в упор, горящими глазами, глядя на Робеспьера и Сен-Жюста. В мертвой тишине Конвента точно треснула искра и по зале заседаний пронесся подавленный стон. В этом странном появлении человека, которого все считали обреченным, в его наклоненной вперед, вызывающей и решительной позе, в его безумных, налитых кровью глазах почувствовалось что-то страшное, как будто упал готовый разорваться огромной силы снаряд. Сен-Жюст побледнел и начал свою речь. Со второй фразы его вдруг прервал бешеный истерический крик Тальена. И в ту же минуту не только члены Конвента, но и посетители наверху стали подниматься с мест. Барер, вскоре затем вошедший в зал заседаний, слушал с удивлением и с замирающим сердцем. Тальен говорил не то, что сказал бы Барер и что в нормальной обстановке могло бы быть всего вреднее партии диктатора. Но вместе с тем Барер шестым чувством чувствовал, что Тальен губит Робеспьера; губит не содержанием слов, а чем-то иным, от чего люди вскакивают, от чего сжимаются кулаки и бледнеют лица, и ярость

подкатывается к горлу... Тот до сих пор непроницаемый покров, которым общий неизъяснимый страх окружал Робеспьера, как будто вдруг начал таять. Бессловесное *болото*, сильное в момент голосования своей численностью, точно выходило из обычного оцепенения. Барер чувствовал, что бой начался хорошо, и что шансы растут... И ему становилось все яснее, что главное, самое важное, единственное важное в начавшемся смертельном бою — это помешать говорить Робеспьеру. То же самое одновременно почувствовали наиболее опытные из остальных заговорщиков. В разные концы зала тихо пошел приказ по линиям... Протянув кулаки к председателю, что-то кричал надрываясь Робеспьер... Председатель потрясал в руке звонком, вытянув его по направлению к Робеспьеру, и со злобой все время отрицательно мотал головой. Голос Тальена все рос, рос до мучительного, нестерпимого крика и покрыл наконец и звонок председателя, и гул зала: „...Я был вчера в Якобинском клубе... Я увидел!.. Армию нового Кромвеля!..“ — „А-а-а-а!“ — пронеслось в залу. „...И я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь“... Человек, вцепившийся в стол, выхватил кинжал и, шатаясь, сделал несколько шагов в направлении к Робеспьеру“... Обрываю цитату. Вы знаете, что бессловесный до того Конвент принимает декрет об аресте диктатора. В течение следующих суток еще идет какая-то борьба между Конвентом и Коммуной. Очевидец писал (но вы не верите мемуарам), что в этой борьбе решительно никто ничего не понимал, даже большинство ее участников: в чем дело? кто левый? кто правый (пользуюсь нашей нынешней терминологией)? кому надо сочувствовать? кого надо проклинать? Да это и в самом деле тогда было нелегко понять. Мы и теперь не очень твердо знаем, кому следовало сочувствовать в день девятого термидора.

Л. Все заключенные в тюрьмах, когда услышали набат, отлично знали, кому сочувствовать! Для тысячи людей переворот был спасительным чудом. У них ни малейших сомнений не было и не могло быть.

А. Разумеется. Но это объяснилось тем, что им тоже было нечего терять: если б Робеспьер остался у власти, они погибли бы *наверное*; в случае же удачи восстания у них оставался шанс на спасение. Уж они-то не только ничего не понимали, но и ничего не знали: бьет набат, происходит что-то очень важное, но что именно*? Впрочем, я несколько преувеличил: если б я жил в 1794 году в Париже, то и я бы всячески приветствовал событие девятого термидора. Но лишь приняв во внимание *все* и стараясь отвлечься от моральной оценки людей, которые переворот совершили. Так, быть может, со временем придется думать и нашим соотечественникам — не нам с вами: я дожить не надеюсь.

Л. Революции не происходят ни по расписанию, ни по правилам морали. Но вы утверждаете, что все шло и вопреки здравому смыслу. Это весьма сомнительно.

А. Заключительной случайностью был проливной дождь. О том, как он отразился на исходе борьбы, говорить было бы долго. Погода и вообще играла немалую роль в исторических событиях. Как бы то ни было, дело решилось. Победители без суда отправили на казнь больше ста побежденных. Среди них были сам диктатор, его ближайшие сотрудники, руководители Коммуны, были и никому неизвестные, вероятно даже ни в чем не повинные, члены муниципалитета. Это было в порядке вещей: термидорианцы углубляли революцию. Но вдруг, в один ли день или постепенно, хоть во всяком случае очень скоро, они решили, что их намерение было совершенно другое: гораздо более выгодно, гораздо больше отвечает желаниям Франции — „положить конец террору“. Они это почувствовали, — да и легко было почувствовать по почти всеобщему восторгу Парижа. Это было тем более удобно, что главные личные и политические враги ведь все были казнены десятого и одиннадцатого термидора. Мысль была — или казалась — гениальной. Термидорианцы стали доказывать, что они всегда больше всего в мире любили свободу, больше

*Mémoires du comte Beugnot, Paris, 1889, pp. 175-235.

всего в жизни ненавидели жестокость и тиранию, никогда террористами не были, они были самые мягкие гуманнейшие люди.

Л. Очевидно, к этому и относится ваше замечание о перемене самооценки?

А. Совершенно верно. На нашей памяти еще разительным примером был Муссолини... Кто первый произвел перемену самооценки в 1794 году, не берусь сказать. Скорее всего, Баррас. Может быть, это даже отвечало его „теоретическим построениям“. Он любил повторять слова, приписываемые Кромвелю: „Никогда не поднимешься так высоко, как в тех случаях, когда не знаешь, куда идешь“. Эти как будто бессмысленные слова иногда подтверждаются историей поразительно. Так и здесь: термидорианцы совершенно не знали, куда идут. Правда, даже наиболее удачливые из них „поднялись“ не так уж высоко, но они спасли жизнь себе, жепам, любовницам. Теперь им, по существу, пужпы были главным образом деньги. Придумать идею им было не очень трудно.

Л. Им нужна была власть.

А. Это для них было одно и то же. Во все времена власть в трех четвертях случаев так или иначе обогатяла властителей. „Так или иначе“, то есть более или менее — обычно менее — законными способами, от прямого казнокрадства и взяточничества до способов сравнительно утонченных. Много ли государственных людей, после долгой карьеры, умирает бедняками? Во Франции так было и при старом строе: Калонн, которого Людовик XVI пригласил для восстановления французских финансов, не имел наследственного состояния, но в бытность свою у власти дарил любовницам коробки шоколада, в которых каждая конфета была обернута ассигнацией в тысячу ливров. Общественное мнение (о суде тут говорить не приходилось) было особенно снисходительно в этом отношении к военным. Генерал Моро (тоже наследственного состояния не имевший) купил — кстати, именно у Барраса, когда тот опять обед-

нел, — замок Гробуа за полмиллиона ф́ранков. Наполеон Ней сообщает, что победитель при Гогенлиндене присвоил себе восемь миллионов из сумм, отпущенных его армии*. Тем не менее Моро считается чуть ли не самым бескорыстным из всех генералов того времени. Политический персонал первых лет революции (к несчастью, кроме Мирабо и Дантона) был действительно неподкупен в самом настоящем смысле слова. Но Баррас и Тальен и тут открыли повую эру... Повторяю, идея казалась гениальной, а для некоторых термидорианцев действительно такой и была. Однако не для всех. Другие жестоко ошиблись. Они, фигурально выражаясь, выиграли колоссальную ставку девятого термидора — и тотчас все проиграли! Недавнее прошлое стало понемногу раскапываться, выходило наружу все, что недавно делали эти новые гуманисты, выглянули на свет Божий спасшиеся жертвы, появились многочисленные свидетели, неотразимые письменные улики. Тут уж почти все определялось случаем. Он складывался благоприятно в пользу одних, чрезвычайно неблагоприятно против других. Цепи причинности были сходные, но не тождественные, и тянули они в совершенно разные стороны. Баррасу и Тальену повезло, да они и в самом деле за собой имели в прошлом меньше злодеяний (все познается по сравнению: по сравнению с каким-нибудь Каррье или Эроном любой злодей был небесным ангелом). Колло д'Эрбуа, напротив, потерпел крушение. Он скоро умер в Кайенпской ссылке — по-видимому, в бессознательном состоянии, выпив залпом бутылку рома. К Фуше счастье пришло не скоро. Он был хитрее и проныцательнее других — и он сам себя перехитрил. Уж если поворот, то лучше быстрый и сразу на все 180 градусов. Фуше, очевидно, тотчас понял, что во Франции общес отвращение от Робеспьера может превратиться в общее отвращение от революционеров. Если правительство начнет уж *слишком* праветь, то это может плохо кончиться для людей с неприятным прошлым и в особенности для него самого. Разумеется, как все, Фуше уверял, что постоянно боролся с Робеспьером, что не мог слышать его имени, что

*Napoléon Ney в предисловии к *Mémoires d'une contemporaine*, Paris, 1895, p. XXII.

боготворил права человека и гражданина; но с другой стороны, он еще заигрывал с левыми — мало ли как события сложатся завтра? Он старался застраховаться во все стороны — и не застраховался ни в одну: избежал каторги чудом, тем более что травили его тогда все, от неказненных монтаньяров до эмигрантской печати. Топил его и товарищ по заговору Тальен, сразу метнувшийся вправо; каким-то образом было молчаливо признано, что он всегда был добрейший человек и покровитель угнетенных. Баррас тоже ровно ничего не имел против того, чтобы бывшего лионского проконсула отправили куда-либо подальше, а ему, бывшему марсельскому проконсулу, напротив, достались власть, деньги, радости жизни. Были раскопаны доклады Фуше из Лиона. На свою беду, будущий герцог Отрантский говорил в них, что надо „шагать по трупам“ и многое другое в том же роде. Он говорил о себе даже больше того, что делал (хотя и делал совершенно достаточно): кто же мог предвидеть, в чьих руках со временем окажутся эти доклады и как они будут приняты? Фуше оправдывался как умел, взваливал лионские грешки на Колло д'Эрбуа, напоминал о тех добрых делах, которые действительно за ним числились (человек он был все-таки и предусмотрительный), ссылаясь на „фатальность обстоятельств“, „la fatalité des circonstances“: он в семинарии изучал риторiku и очень любил разные такие формулы; еще в Лионе, казня сотни людей, много говорил о „всеобщем счастье потомства“, — злополучная „любовь к дальнему“ в политике пошла, кажется, от него и от Колло. Союзников же искал самых разных, от коммуниста Бабёфа до роялистов. Главное же, он отлично знал биографии всех видных политических деятелей и об очень многих, даже считавшихся весьма почтенными, мог кое-что рассказать: либо об их еще недавнем отношении к тому, что он проделывал в Лионе, либо об их собственных ничем не лучших злодеяниях в других местах. Лионская делегация приехала в Париж, чтобы сообщить Конвенту о делах Фуше и Колло д'Эрбуа: массовые расстрелы, разрушения в городе, обращенные в развалины дома. Фуше оправдывался как умел: да, конечно, в этом много правды, — но это ведь делал Колло, один Колло, он же, Фуше,

только выручал людей, вот выручил ведь таких-то, да и домов разрушено не более сорока, и то преимущественно ради украшения города! — и потом, надо же сказать откровенно, ведь сам Конвент приказал за контрреволюцию снести Лион* с лица земли. Жозеф ле Бон, еще худший палач, чем Колло д'Эрбуа, но, в отличие от него, сочетавший в себе, à la Робеспьер, многие черты зверя с немногими чертами праведника, был через некоторое время после 9 термидора приговорен к смертной казни. Когда на него перед отправкой на эшафот надевали „красную рубашку отцеубийцы“, он попросил передать ее на память Конвенту: „Я только исполнял его приказания“. Нельзя отрицать, что в этом была немалая доля правды: хотя в Конвенте было много достойных и почетных людей, он иногда *единогласно* благословлял самые ужасные дела. Благословлял потому, что был запуган. Но и проконсулы их проделывали порою тоже потому, что были запуганы. Обо всем этом прямо говорить после термидора не приходилось, но на это намекалось в частном порядке. Председательствовал в Конвенте от 1 до 15 плювиоза Ровер, с негодованием „заклеймивший“ лионские зверства. Этот сын трактирщика, купивший себе задолго до революции титул маркиза, был в свое время крайним роялистом, потом голосовал за казнь короля, участвовал в расправе с жирондистами, устраивал в провинции зверства; но, так сказать, *направление* его зверств было другое, и оно после 9 термидора вызывало гораздо меньше негодования (вот как дело в Катынском лесу, или Соловки, или Колыма вызывали на Западе в свое время много меньше негодования, чем теперь). В ответ на сыпавшиеся против него обвинения, Фуше проявил много изобретательности. Не он один, конечно. О последовавших за девятого термидора месяцах общего благородного негодования против Робеспьера трудно вообще читать без отвращения: столь многое тут насквозь пропитано ложью, бесстыдством, доносами, контрдоноса-

*Комитет общественного спасения предписывал: „Торопитесь с бомбардировкой Лиона, умеренность бесполезна с роялистами. Пусть внутренние изменники и внешние враги дрожат, узнав об участе Лиона, туда надо войти с огнем, со штыками на ружьях“ (Marcel Navarre, Le Comité de Salut Public, Paris, 1909, p. 22).

ми, шантажом, контршантажом, — с единственной целью у каждого обелить самого себя. В конце концов Фуше подпал под амнистию. Он удалился, по собственным словам, „на лоно природы“ („dans le sein de la nature“). Впрочем, в точности, кажется, неизвестно, куда именно он удалился и что делал в течение ближайших лет. Позднее Фуше выплыл в качестве мелкого полицейского шпиона у Барраса*, с которым кое-как наладил опять сносные отношения (можно себе представить, что оба они думали друг о друге). Дальнейшая его карьера достаточно известна: Наполеон считал его мерзавцем из мерзавцев, — но он считал мерзавцами почти всех политических деятелей и был довольно к этому равнодушен, лишь бы человек был полезен. При нем Фуше стал министром, герцогом Отрантским и богачом. Он оставил пятнадцать миллионов франков и, если верить Баррасу, огорчением дней славы министра было то, что Талейран нажил шестьдесят миллионов.

Л. Что же, собственно, из всего этого следует?

А. Как вы догадываетесь, я в мыслях не имею излагать здесь историю девятого термидора, или Отечественной войны, или Октябрьской революции. Я только подхожу к этим огромным историческим событиям с той точки зрения, которую вам угодно было назвать „Философией случая“. Позвольте поставить еще вопрос: почему переворот произвели именно эти господа? И Баррас, и Тальен, и Колло д'Эрбуа, и даже Фуше были люди не очень значительные. По-моему, историки и потомство (вплоть до Сарду в „Мадам Сап-Жен“) очень преувеличили ум и проникательность герцога Отрантского. Во всяком случае, никакой идеи у него не было: как и остальные трое, он думал только о спасении жизни и о своих выгодах. Не было у термидорианцев и никаких особенных талантов, хотя сочетание их свойств в дни заговора оказалось очень удачным. Фуше совершенно не умел говорить. По общему свидетельству современников, его отталкивающая наружность, неприятный и слабый голос, неумение отвечать экс-

*Баррас напечатал в мемуарах одно донесение Фуше (vol. III, p. 12).

промтом делали для него невозможной ораторскую карьеру. Тальен обладал даром слова, но, собственно, за всю жизнь он сказал только одну *настоящую*, необыкновенную, хотя и совершенно бессмысленную речь, — речь 9 термидора. Сравнить его, как оратора, с Мирабо, Верньо, Дантоном было бы нелепо. Баррас был способный человек, однако тоже без идей и особенных дарований. В своих воспоминаниях он признавал за ненавистным ему Бонапартом „постоянную мозговую лихорадку“, „вечную бешеную деятельность, как бы гидрофобию сна и отдыха“. По этому поводу утешался итальянской поговоркой „ogni talento matto“ — „каждый талант сумасшедший“ — и понимал, что этого рода сумасшествия природа ему не отпустила. Если б она у него была, то несколькими годами позднее тот же Бонапарт не оставил бы его навсегда от власти без малейших затруднений. В день 19 брюмера Баррас оказался ниже всякой критики. Колло д'Эрбуа был просто никто. Дантон, как человек и государственный деятель, был неизмеримо крупнее их всех четырех вместе взятых. Почему же переворота не произвел Дантон? У него это был бы переворот с *искренней*, никак не тактической, идеей: он действительно в последние месяцы своей жизни хотел, чтобы кончились террор, диктатура, „углубление“ революции, религиозные гонения, лютая партийная ненависть. Собственно, ему было бы неизмеримо легче произвести переворот, чем термидорианцам. Их почти никто не знал, а знавшие презирали. Он же все еще пользовался огромным авторитетом и едва ли не единственный из людей того времени умел вызывать к себе личную любовь и сердечную преданность. Дантон имел большое влияние на массы, и массы имели большое влияние на него. Он понимал, что надо узнавать или угадывать желания страны и в меру возможного руководиться ими. Еще де Местр признавал, что не люди ведут революцию, а революция ведет людей. Сила Дантона была в том, что он предлагал людям только возможное. Вдобавок он обладал огромным ораторским талантом и необыкновенной энергией. Термидорианцам было до него очень, очень далеко. Тем не менее они сделали то, чего он сделать не мог.

Л. У Дантона не было для переворота талантливых помощников, кроме Камиля Демулена.

А. Для переворота и Демулен едва ли годился. Вы мне напоминаете одно замечание в „За рубежом“ Салтыкова. Автор этой книги побывал во Франции в парламенте и слышал там Клемансо, который ему очень не понравился, — кто, впрочем, из *живых* людей ему нравился? И вот, чтобы унизить Клемансо, который говорил „ординарно, бесколоритно, вяло“, он ему противопоставил настоящих ораторов Божьей милостью, в том числе Камиля Демулена. Салтыков вообще из мирового прошлого знал, по-видимому, только историю города Глухова. О французской же истории он (хотя, по его словам, в юности зачитывался Луи Бланами и Сен-Симонами) знал больше понаслышке. Камиль Демулен был зайкой (его этим дразнили все, вплоть до жены), говорил очень плохо и, будучи до революции адвокатом, по отсутствию красноречия, не имел никакой практики. Однако публицистический талант у него был редкий. До переворота и после переворота он мог бы быть действительно чрезвычайно полезен Дантону. В дни же или часы восстания Дантон опереться в самом деле почти ни на кого не мог бы. Со всем тем его окружение было не хуже, чем окружение Тальена или Фуше. Почему Дантон переворота не произвел? Не ищите и здесь ответа в соображениях социологических. Я понимаю, во время революции многое меняется за одну неделю, но в настоящем случае за три месяца, прошедшие между казнью Дантона и 9 термидора, изменений внутри Франции было мало — тут и экономические материалисты едва ли могли бы что-либо придумать. Ответ может быть только личный, психологический. Личная „депь причинности“ Дантона — одна из самых важных в истории. Каковы были ее звенья? Их было немало: глубокое разочарование в революции, начавшееся или очень усилившееся после казни жиропдистов, которых он *хотел* спасти; тяжелое семейное несчастье — смерть молодой жены: она умерла, когда он был в Бельгии, — вернувшись, он велел выкопать ее из могилы, чтобы в последний раз на нее взглянуть! — усталость, апатия, равнодушие ко всему. И больше всего, думаю,

уверенность в непоколебимости своего престижа: как Робеспьер тремя месяцами позднее был убежден, что термидорианцы не решатся на него посягнуть, так и Дантон был уверен, что не посмеет предать его суду Робеспьер. Это его и погубило. Все эти причины надо ведь признать не „глубокими“, а *случайными!* И тут его личная цепь причинностей переходит в цепь причинности мировой истории. Повторяю, я не склонен обсуждать вопрос о том, что, *быть может*, произошло бы, *если б* то-то не произошло. Все же, думаю, в очень общей форме можно сказать, что история пошла бы иными путями, если б французской политикой дальше руководил Дантон — Дантон своих последних идей. Была ли бы тогда Директория? Был ли бы Бонапарт? Были ли бы двадцатилетние войны? Поле для догадок широкое.

Л. Слишком широкое для меня, признающего законы истории. Теперь поставлю вам вопрос и я. Почему заговорщики решили действовать именно в июле?

А. Эта случайность была прямым последствием предыдущей. Олар довольно наивно утверждает, что термидорианцы считались с положением армии на фронте: весной 1794 года переворот, мол, мог бы сорвать дело национальной обороны. Между тем, после победы под Флерюсом, Франции иностранные враги угрожали далеко не так сильно. Почтенный историк верно судил по себе и по своим единомышленникам, французским радикалам конца XIX столетия. „Патриотизм“ Фуше двадцатью годами позднее нисколько не помешал ему с полной готовностью предавать Наполеона союзникам. Если о чем-либо заговорщики совершенно не думали, то, конечно, о влиянии своего дела на защиту фронта. Почему в июле? Они начали готовить переворот, когда убедились, что казнь Дантона сошла с рук Робеспьеру совершенно благополучно. Эта казнь была тоже одной из причин 9 термидора. Заговорщикам было достаточно ясно, что уж с ними-то Робеспьер расправится без малейших затруднений, — еще все спасибо ему скажут. Крупных людей больше не было, кроме Карно (для него действительно соображения национальной обороны иг-

рали важную роль). Все это историческое событие я привел лишь как доказательство еще иной, не количественной, а качественной неопределенности „числителя“ при приложении теории вероятностей к истории: то, что кажется участникам больших дел шансом благоприятным, часто оказывается его противоположностью, и сами они в процессе хода событий совершенно меняют свои цели. По-моему, переворот 9 термидора довольно убедительный этому пример. В войне 1812 года участвовали миллионы людей, в этом же перевороте сотни или, самое большее, тысячи. Отдельных цепей причинности было, следовательно, неизмеримо меньше. Но их перекрещиваний было все же слишком много, и они на этот раз были уже очень неожиданными. Люди хотели одного, достигли совершенно другого и даже, пожалуй, прямо противоположного. Сначала они чрезвычайно обрадовались неожиданному результату, по скоро для многих оказалось, что особенно радоваться было нечему.

Л. И все-таки, независимо от людей, от их целей, от их личной участи, произошло большое историческое событие, подчинявшееся закону истории.

А. Была звериная борьба за жизнь и за власть, у многих дополнявшаяся борьбой за деньги. Этого обстоятельства, конечно, никак не достаточно для объяснения переворота 9 термидора с точки зрения экономического материализма. Насколько мне известно, такого объяснения пока никто не дал. Но я не теряю надежды, что со временем какие-либо историки и тут найдут очень хорошее: с пролетариатом, с люмпен-пролетариатом, с мелкой, средней и крупной буржуазией, с цифрами ввоза и вывоза.

в) Об октябрьском перевороте

А. Переворот 25 октября был противоположностью переворота 9 термидора. По самым своим внешним признакам, по принятой им форме вооруженного восстания, по вызванной им продолжительной гражданской войне, октябрьское дело было обширнее, грандиознее недолгой исторической цепы в

Конвенте, с последовавшими за ней, тоже короткими, столкновениями. Перемены социального строя в июле 1794 года не произошло. С точки зрения очень левых историков, и *знак* событий должен считаться противоположным. О „знаке“, разумеется, всегда можно спорить. Были ли, например, много позднее, падение Троцкого и переход власти к Сталину „восходящей“ или „нисходящей“ стадией революции? Как известно, названные большевистские вожди тут между собой не совсем сходились.

Л. Ваше сравнение прежде всего психологически несправедливо: термидорианцы никаких убеждений не имели, а большевики — по крайней мере прежде — были убежденные люди.

А. Я теперь говорю не об убеждениях, а о целях. Если б вы меня спросили, какова главная социологическая особенность октябрьского переворота, то я без колебания ответил бы: она заключается в том, что он противоречит всем „законам истории“, а также всем философско-историческим учениям, в особенности же тому, которое проповедывалось его вождями.

Л. Первую часть вашего суждения, очевидно, надо понимать в том смысле, что законов истории не существует. Что же касается второй его части, то вы, разумеется, имеете в виду марксизм и исторический материализм. Тут ничего нового нет. Действительно, политика Ленина находилась в вопиющем противоречии с основами учения Маркса. Согласно доктрине исторического материализма, в России в 1917 году можно было устроить только буржуазную революцию. Приходу к власти пролетариата должен был предшествовать период господства буржуазии. Социальная революция могла и должна была начаться в одной из самых развитых в промышленном отношении стран мира, а никак не в России. Социалистическая надстройка, воздвигнутая на несоответствующем экономическом основании, по теории обречена была на гибель. Тут в прежние времена не было значительных разногласий между большевиками и меньшевиками. Мы, очевидно, к этому сейчас вер-

немся. Но до того я хотел бы узнать, каким еще философско-историческим учениям противоречит октябрьский переворот?

А. Я их коснусь лишь кратко. Незачем доказывать, что „детерминизм“ Мальбранша-Толстого чуждо до беспредельности октябрю. Возьмем другое учение, не связанное, в частности, ни с чьим именем, но проходящее через всю новейшую историю русской мысли. Мы будем отдельно говорить о русских идеях. Здесь скажу лишь кратко о том, как они толковались большим числом почтенных и трудолюбивых исследователей: „народ-богоносец“, „обломовщина — русское национальное зло“ (хотя и не лишенное привлекательности), „Обломов — национальный русский тип“, „тихая чеховская Россия, в которой ничего не происходит“. А „Сон“ Нежданова в тургеневской „Нови“: „Все, все по-прежнему... И только лишь в одном — Европу, Азию, весь свет мы перегна-ли... — Нет, никогда еще таким ужасным сном — Мои любезные соотчичи не спали! — Все спит кругом: везде, в деревнях, в городах, — В телегах, на саях, днем, ночью, сидя, стоя... — Купец, чиновник спит, спит сторож на часах, — Под снежным холодом — и на припек зноя! — И подсудимый спит — и дрыхнет судья; — Мертво спят мужики: жнут, пахут — спят, молотят — Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья... — Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят! — Один царев кабак — тот не смыкает глаз; — И штоф с очищенной всей пятерней сжи-мая, — Лбом в полюс упершись, а пятками в Кав-каз, — Спит непробудным сном отчизна, Русь свя-тая...“ Стихи, скажем правду, не только довольно плохие, но и довольно лживые. Написаны они после того, как в течение пятнадцати лет в России осу-ществлялись почти беспримерные по размаху рефор-мы; таких было мало и в европейской истории и уж наверно не было со времен Петра — в русской. Темп русской жизни, даже и во вторую половину царство-вания Александра II, был, во всяком случае, более быстрый, чем в Англии, в Германии, в Австрии, и если не Нежданов, то сам Тургенев, проживший пол-жизни за границей, мог это знать. Но он высказал общее место, господствовавшее тогда в его кругу.

„Сон Обломова“, „Сон Нежданова“ и т.д. Что же оставила от всего этого история последнего тридцатилетия? Ровно ничего или почти ничего. Как бы мы ни относились к Октябрьской революции и к тому, что за ней последовало в СССР (трудно относиться к этому более враждебно, чем я), мы не можем отрицать, что напряжение действия тут было необычайное, что была проявлена небывалая энергия, и что если какой-либо „тип“ оказался совершенно не национальным, то именно тип Обломова...

Л. Вы забываете, что „почтенные и трудолюбивые исследователи“, о которых вы почему-то говорите с иронией, часто и даже неизменно ссылались также на бунтарское начало в русской истории. Национален был Обломов, но были национальны, каждый по-своему, Петр, Стенька Разин, Пугачев.

А. Мы коснемся позднее и бунтарского начала. Допустим, что оно восторжествовало в 1917 году и в пору гражданской войны. Где же оно теперь? Уже лет тридцать им в русской истории пахнет так же мало, как „обломовщиной“ и „чеховщиной“.

Л. Это затишье перед грозой.

А. Может быть, но я говорю только о том, что *есть*. Вдобавок, думаю, что грозы, от которых в войнах и революциях погибла, верно, пятая или шестая часть русского народа, могут уменьшить в нем надолго бунтарское начало и ослабить любовь к грозам, — если это начало и эта любовь у него были в большей мере, чем у других народов (в чем я весьма сомневаюсь). Пойдем дальше: возьмем философию истории Бокля, еще не очень давно столь популярную в мире вообще и у нас, в частности. Из четырех основных принципов „Истории цивилизации в Англии“ важны первый, второй и четвертый (третий лишь представляет собой развитие первых двух). По первому принципу Бокля, прогресс (включая сюда и его революционную форму, — революция ведь есть „варварская форма прогресса“) составляет функцию количества познаний в данной стране и их правильного распространения между разными слоями наро-

да. Поневоле приходится признать, просто по данным о числе неграмотных, о числе школ и т.д., что, согласно этому принципу, в России социалистическая революция должна была бы произойти позднее, чем во всех других странах, считающихся или считавшихся великими державами (кроме Японии), и позднее, чем в целом ряде маленьких передовых государств. Второй боклевский принцип требовал от руководителей прогресса „пытливого сомнения“, а также содействия такому сомнению в народных массах. Если существовали люди, которым по природе было чуждо, совершенно, „на сто процентов“ чуждо, сомнение, то это были именно Ленин, Троцкий, Сталин. Все они были люди одного и того же миропонимания, — хотя общее миропонимание несколько не помешало Сталину раздробить череп Троцкому и сотням других марксистов. Нельзя также сказать, что бы вожди Октября очень старались приучать к сомнению народные массы. То же самое относится и к последнему принципу Бокля: прогресс выше там, где слабее всего влияние государства на жизнь народа, в частности, на его умственную жизнь*. В приложении к СССР этот принцип даже улыбки не вызывает. Бокль устарел? Тогда обратимся к системе Дильтея, и по сей день считающейся новым словом в истории философии. По этой системе, история есть перемена религиозного миропонимания — „поиски души“ („*wir suchen Seele*“). Бесполезно было бы, играя словами, говорить, что и большевики принесли с собой новое религиозное миропонимание: Дильтей, вышедший из Шлейермахера, говорил о духовном и религиозном никак не в том смысле, в каком Сталина или Берию некоторые глупые люди считают „религиозными натурами“. По более или менее условному расчету Дильтея, интеллектуальная история Европы, от Фалеса до наших дней, сводится к 84 поколениям#. Коммунисты — первое „поколение“, которое никакой религиозной идеи не принесло (если только не играть словом „религиозный“). Эрнст Трельч, в своей недав-

*Это то, что Бокль называл „*the protective spirit*“. (H.Th.Buckle, *History of Civilization in England*, London, 1858, vol. II, p. 1.

#Wilhelm Diltheys. *Gesammelte Schriften*, Leipzig, 1924, B. V, p. 37.

по „гремевшей“ или еще гремящей книге*, считает одной из основных проблем мира: „Как мог бы человек избежать душевного „раздробления“, избежать атомизации в историческом процессе, как он мог бы спасти свою „жизненную субстанцию“? Большевики, как позднее и национал-социалисты, поставили себе задачу прямо противоположную. У них *Zergalmung*† и средство, и даже цель. Верно ли, что „история есть история книг“? К сожалению, я этому и вообще не верю. Если же такое положение верно, то большевики в историческом процессе просто не существуют, — „тем хуже для фактов“. Ведь *своих* книг они не создали, — ни одной. Брошюра, написанная Лениным в 1917 году „Удержат ли большевики государственную власть?“, — это самое лучшее, или даже единственное и, в смысле политической проницательности, очень выдающееся произведение — однако, чисто практическое и никаких новых теоретических идей в себе не заключающее. У них есть *чужие* произведения, „Капитал“ и поистине страшный своей общедоступностью „Коммунистический манифест“, работы действительно в высшей степени замечательные. Есть и гораздо менее замечательная „Гражданская война во Франции“. Есть тысячи три компиляций по этим книгам, относящихся ко всевозможным предметам... В конце же перечня философско-исторических систем, неприложимых к советской революции, вспомним еще Гегеля. Оп ведь большевикам все-таки троюродный дед, через Маркса. Гегель усматривал в принципах 1789 года торжество абстрактной добродетели, с ее спутником — подозрением. Робеспьера они привели к террору, и нужен был Наполеон с его огромной силой характера, чтобы найти выход из этой триады Добродетель—Подозрение—Террор. „Никогда в истории не было подобных побед, — говорит о Наполеоне Гегель, — никогда не было столь гениальных походов — и никогда не обнаруживалось с большей ясностью бессилие победы“. Гегель проследил влияние брошенных революцией идей на жизнь Западной Европы и признал, что они подчинились национальному характеру и коренной религии каждого из наро-

*Ernst Troelsch, Historismus und seine Probleme, Tübingen, 1922.

†Раздробление (*нем.*).

дов: в католических странах произошло одно, в протестантских другое. „Это ложное правило, будто око-вы права и свободы (так и сказал: „die Fesseln der Freiheit“*) могут быть сброшены без освобождения совести, что возможна революция без реформ. „Наполеон так же не мог принудить Испанию к свободе, как Филипп II Голландию к рабству“. Лучше же всего оказалось положение в немецких землях, где каж-дый компетентный гражданин имеет доступ к госу-дарственным должностям и правительство покоится на мире чиновников — „Die Regierung ruht in der Beamtenwelt“. Он заканчивает книгу словами своей теодицеи, о „Rechtfertigung Gottes in der Geschichte“#. Каждое его слово — „кинжал в спину“ Октябрьской революции. Как видите, я с достаточным эклектиз-мом перечислил вам философов истории самых раз-ных взглядов.

Л. Согласитесь, однако, что довольно странно, обсуждая переворот, произведенный Лениным, Троц-ким, Сталиным, посрамлять их философско-истори-ческими принципами, к которым они могут относиться только с ненавистью и презрением. Какое им дело до Мальбранша, Толстого, Бокля, Дильтея и даже до их сомнительного „двоюродного деда“!

А. Я и в мыслях не имею „посрамлять“ их. Уж скорее заслуживали бы „посрамления“ создатели перечисленных мною философско-исторических си-стем: „вот ведь произошло великое событие, вполне противоречащее всему тому, что вы утверждали“. Октябрьский переворот представляет собой реаль-ность, независимую от того, как его толкуют комму-нисты. Я только сказал, что к этому перевороту не-приложимы и другие системы философии истории. Всего же менее приложима, повторяю, их собствен-ная. Троцкий начинает предисловие ко второму тому

* „Оковы свободы“ (нем.).

„Оправдание Бога в истории“ (нем.). — Пер. ред. G.W.Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Leipzig, 1907, pp. 543–563. Как известно, „Философия истории“ Гегеля существу-ет в двух вариантах: запись его лекций, сделанная Эдуардом Ган-сом, и текст, подготовленный сыном философа Карлом Гегелем. Цитаты здесь приводятся по второму варианту, который, кажется, считается более точным.

своей „Октябрьской революции“ словами: „Россия так поздно произвела у себя буржуазную революцию, что она оказалась вынужденной превратить ее в революцию пролетарскую. Иначе говоря: Россия настолько отстала от других, что ей пришлось их перегнать по крайней мере в некоторых областях. Это кажется абсурдным. Однако история полна таких парадоксов. Капиталистическая Англия настолько опередила другие страны, что была вынуждена замедлить шаг“*.

Л. Пример Англии, во всяком случае, ложен.

А. Разумеется. Эта книга Троцкого написана умно, искусно и талантливо, но приведенное мною место просто галиматья. Оно не „кажется абсурдным“, а действительно представляет собой абсурд. В нем Троцкий сжал содержание многих страниц, в которых он доказывает, что в России 1917 года именно и должна была произойти *социальная революция*. Это самые слабые и очень скучные страницы его книги. Изъяв из марксизма его основную аксиому, он пользуется для доказательства своего положения всеми фокусами марксистской диалектики. Фокусы эти очень нетрудны. Турецкий или персидский Троцкий при помощи сходных доводов мог бы легко доказать, что в Турции или Персии тоже буржуазная революция произошла слишком поздно и что поэтому ее „приходится“ превратить в социальную. Недавно египтяне выгнали короля Фарука, и, я уверен, было бы легко доказать, с ученейшими ссылками на статистику, на экономическое положение феллахов, что именно пришло время для коммунистической революции в Египте. В Германии в 1918 году сходное положение можно было бы доказывать с гораздо большим правом, с гораздо меньшими отступлениями от марксистских „законов истории“, да его там много и доказывали; но у немцев законы истории почему-то застопорились, и вышла сначала буржуазная демократия, а затем уж совсем не предусмотренная законами истории гитлеровщина. Троцкому, по его натуре, необходимо было доказать миру, что

*Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, Paris, vol. II. — Все цитаты из этой книги переведены с французского перевода.

оп „всегда так думал“, и притом первый: будет в России именно социалистическая революция. Враги Троцкого еще в ту пору, когда он был у власти, доказывали, что оп никогда так не думал, что и теория „пермапетной революции“, вдобавок им заимствованная, была совсем не то. Раскопали его литературное прошлое, ссылались на его старые статьи, в частности, на одну из них, написанную в 1909 году для польского журнала Розы Люксембург и действительно не очень для него удобную, — он отвечал со своей обычной паглой самоуверенностью, но как будто не без внутреннего смущения. Нам это мало интересно, мы с вами не начетчики. Что же касается Ленина, то оп, по-видимому, действительно порою так думал давно. Однако именно оп на этом „I told you so“*, (если не ошибаюсь), настаивал очень мало. По натуре эти два человека очень мало походили друг на друга. Ленин был преимущественно экспериментатор, Троцкий преимущественно честолюбец. Тем не менее, в их личных „делах причинности“ есть немалое сходство. Обоим без социальной революции в 1917 году было бы нечего делать. Едва ли нужно говорить, что ни малейшей любви к человечеству у них не было, — ни к „ближнему“, ни к „дальнему“. Оба они не любили людей. Они даже не очень врали, как Фуше, о „всеобщем счастье потомства“. Предполагалось, что это само собой, что это где-то как-то выписано в их жизни за общие скобки. Прежде, до падения царского строя, у них было дело, конспирация, агитация, устройство ячеек, посылка в Россию пропагандной литературы. Но что было бы делать Троцкому в российской демократической республике? Если б оп пошел на идейные уступки, оп мог бы в лучшем случае стать одним из бесчисленных министров веймарского типа — их имен история и не сохранила. Кроме того, как ни насыщен оп был честолюбием, Троцкий хамелеоном никогда не был: оп на такие уступки не пошел бы. В историческом смысле оп без октября оказался бы безработным. О Ленине и говорить нечего. Оба они были очень выдающиеся люди. С риском вызвать насмешки у социологов, скажу: без Ленина октябрьской революции

* „Я так сказал“ (англ.).

наверное не было бы. К несчастью, новейшая история России тесно связана с датами его жизни. Никаких собственных теоретических идей у него не было, но своей пронизательностью он превосходил Маркса. Тот долго считал Бисмарка „простым орудием в руках петербургского кабинета“, в семидесятых годах прошлого века предвидел гигантские катастрофы в Соединенных Штатах и чуть ли не всю жизнь со дня на день предсказывал близкое падение царского строя, который его пережил на тридцать четыре года. Как организатор, как практический политик, Ленин тоже был выше, чем Маркс. Автор „Капитала“ слишком презирал и ненавидел своих соперников. Если б он пришел к власти при жизни Лассаля (не говорю уже о Бакунине), он едва ли бы его пригласил в свой кабинет. Ленин пригласил Троцкого и левых социалистов-революционеров — все пригодятся. Вероятно, и политическое завещание Маркс составил бы не в том снисходительном отеческом тоне, в каком Ленин в своем завещании отзывался о своих товарищах (за одним знаменитым исключением). Во всяком случае, Ленин первый в 1917 году, вопреки мнению всего мира, объявил, что большевики захватят и удержат государственную власть...

Л. Он же, однако, несколько позднее изумлялся тому, как их не свергли. Кажется, удивлялся этому и Троцкий.

А. Без Троцкого революция была бы, пошла бы, вероятно, много менее удачно для большевиков. Работа, которую эти два человека развили в 1917 году, всегда будет вызывать удивление историков. Я жил тогда в Петербурге и видел это со стороны. Другие это видели вблизи и описали. Первый случай в октябрьской революции это то, что у нее оказались два таких человека. Второй и третий случаи: им обоим удалось приехать в Россию. Британское правительство, как вы знаете, задержало Троцкого в Англии и выпустило его по ходатайству русских министров. Оно нисколько не было обязано удовлетворять такое ходатайство, и легко было бы догадаться, что Временное правительство не будет очень огорчено отказом. Если б первым министром

Англии тогда был Черчилль, он, наверное, ходатайства не удовлетворил бы. Германское правительство Ленина пропустило, но могло и не пропустить: Людендорф впоследствии о пропуске сожалел; при другом его решении глава большевистской партии, вероятно, пробыл бы до конца войны в Швейцарии, и русская история пошла бы по другому пути. Ленин благополучно проезжает через Германию и начинает свою работу. Очень скоро он вызывает к себе почти всеобщую лютую ненависть: ведь большевистские вожди не имели тогда монополии на агитацию. Террористам, если бы таковые нашлись, было бы очень легко их убить: они ведь появлялись открыто на бесчисленных собраниях. Это можно было бы сделать даже почти без риска. Правда, на митинге толпа могла бы разорвать убийцу, но на улице они большой опасности не подвергались бы и имели бы все шансы на оправдание в суде присяжных. Опять случай: их не убивают. До приезда Ленина в Петербург никто решительно из большевиков не собирался устраивать социальную революцию. Напомню вам факты, впрочем всем известные. 3 апреля глава большевистской партии приезжает на Финляндский вокзал. По его собственным словам, он был уверен, что его тут же на вокзале арестуют по приказу Временного правительства: он плохо знал и обстановку, и правителей. На самом деле его восторженно встречают друзья — и не только друзья. Чхеидзе произносит приветственную речь. Ленин, даже не глядя на него, обращаясь не к нему, а к воинской части, тоже прибывшей на вокзал, кратко, но довольно ясно излагает им предстоящую задачу. „Близок час, когда, по призыву нашего товарища Карла Либкнехта, народы повернут оружие против эксплуататоров капиталистов. Совершенная вами русская революция открыла новую эпоху. Да здравствует мировая социалистическая революция!“ Оглядываюсь на этот роковой день и спрашиваю себя, что надо было делать? Можно — не без труда — вообразить в сходной обстановке Наполеона во главе правительства. Он, вероятно, тотчас под конвоем отправил бы Ленина до конца войны куда-либо подальше. Какой-нибудь Цезарь Борджиа подослал бы к Ленину убийц, которые за чашкой чаю подсыпали бы ему яда. Покойный князь

Львов ни в каком отношении не походил ни на Наполеона, ни на Борджиа...

Л. Мы даже смело можем оставить в стороне гипотезу о Наполеонах и Цезарях Борджиа во главе Временного правительства.

А. Вдобавок, „состава преступления“ тогда еще в действиях Ленина не было. Кроме того, вспомните политическую обстановку и психологическую атмосферу тех дней: если б Временное правительство посмело тогда за *речь* арестовать вождя революционной партии, на наших министров обрушились бы и Совет, и все социалисты, — быть может, не только социалисты России, но и всего мира. Временному правительству пришлось бы тотчас Ленина освободить, или выйти в отставку, или пойти на государственный переворот. И, наконец, оно не придавало большого значения тому, что говорит и будет говорить какой-то эмигрант, в ту пору еще и не очень известный. Быть может, некоторые министры тогда впервые в жизни услышали его имя. Чудо было не в том, что Временное правительство ничего не сделало. Чудо было в том, что в этот самый вечер 3 апреля сделал Ленин. В доме Кшесинской собираются столпы большевистской партии. Среди них один не совсем знаный и получужой гость, благодаря которому сохранилась картина вечера. Произносились приветственные речи в честь Ленина. „Приветствия-доклады“ наконец кончились, — рассказывает Суханов. — И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всеокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников“*. Ленин говорил два часа. „Он потряс не только ораторским воздействием, но и

*Николай Суханов, Записки о революции, Берлин, 1922, книга III, стр. 26-7.

неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, — не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию⁴. Результаты общеизвестны: Ленин представляет свои тезисы — надо покончить с войной и начать мировую социальную революцию. Эти тезисы мало-помалу усваивают, за редкими исключениями, другие вожди партии — одни тотчас, другие скоро, третьи не торопясь. Все их собственные планы сметены. За несколько дней до того Сталин „с полной симпатией“ отнесся к предложению Церетели об объединении большевиков с меньшевиками. Теперь программа Ленина становится программой партии. Я и по сей день не могу понять, почему это так случилось.

Л. Случая, во всяком случае, тут не было.

А. Он был постольку, поскольку личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции. Повторяю, Ленина ведь могло и не быть. Тогда, вероятно, даже не поднялся бы вопрос об устройстве социальной революции. Кто его поднял бы, когда Каменев, Зиновьев были решительно против нее, а Сталин и все другие вожди просто о ней не думали? Приехавший позднее Троцкий ни малейшего влияния среди большевиков не имел, для них он был чужой человек, почти все они его терпеть не могли, и считали политическим врагом: ведь он, по его собственным словам, „шел к Ленину с боями“. Если б его программа не совпала с программой Ленина, большевики его и в партию не приняли бы. Может быть, и программа Троцкого так совпала с ленинской отчасти именно потому, что этот честолюбец не мог и не хотел оставаться историческим безработным — с небольшим пособием от будущих историков в виде двух-трех страничек в их книгах (без русской революции он и даже Ленин не удостоились бы и одной странички). Добавлю, что доводы Ленина были несколько не убедительны; теоретически, по Марксу, Каменев и Зиновьев были совершенно правы. Если б я очень верил в гипнотизм, я сказал бы, что Ленин

⁴Суханов, там же, стр. 28.

„загипнотизировал“ свою партию, — и это тем более удивительно, что для нее он не был внезапно свалившимся с неба божеством с присущим божествам ореолом: очень многие из ее столпов давно и хорошо знали громовержца, пили с ним пиво в „Кафе де ла Ротонд“ и в женевском „Каруже“, знали мелочи его личной жизни, шутили над его слабостями, обсуждали с ним, где бы достать пятьдесят франков, чтобы дождаться ближайшей полочки. Все это, не в теории, а в житейской практике, обычно ореолу не способствует. Не имел он над ними и власти, вроде позднейшей безграничной власти Сталина. Ленин мог грозить и грозил только тем, что выйдет из Центрального Комитета. Но на всем этом я особенно не настаиваю. Главное и *случайное* оказалось в том, что все его предпосылки, все соображения, принадлежавшие уже не к теоретической политике, а к *практической*, оказались совершенно ложными.

Л. Каким образом?

А. Троцкий уделил не одну строфицу доказательству того, что октябрьский переворот вышел из идей Маркса, а отнюдь не из идей Бланки. Думаю, что, при всей своей спешно приобретенной на Принкипо начитанности в истории, он и не заглядывал в немногочисленные статьи и речи знаменитого французского революционера. Их ему и достать было бы очень трудно, вдали от главных книгохранилищ мира. Если не ошибаюсь, он в своих писаниях Бланки нигде прямо не цитирует. Знал о нем больше понаслышке, из упоминаний в марксистской литературе. По его словам, Бланки думал, что победу в революции может обеспечить одно соблюдение правил тактики восстания. В такой форме это толкование Бланки неверно. Та же доля правды, которая в нем есть, подтверждается и опытом 25 октября: тактика этого переворота была не слишком изумительной, но она была лучше большевистской же тактики в день восстания 4 июля. Ей обеспечило победу в день октябрьского переворота полное отсутствие тактики у восставших властей Временного правительства и совершенное заблуждение этого правительства относительно вооруженных сил, которыми оно располагает.

ло. Все же глубокомысленные соображения Троцкого о классовой борьбе, о разнице между восстанием и революцией были хорошо известны и Бланки. Несмотря на хлесткость диалектики автора „Истории русской революции“, эти соображения элементарны и не содержат в себе ни одной новой идеи по сравнению с „Гражданской войной во Франции“ Карла Маркса, даже по сравнению с писаниями Энгельса и многочисленных эпигонов. Троцкий доказывал, что у них был не бланкизм, — в результате же все-таки выходит, что был именно бланкизм, прикрытый псевдонимами Маркса и, разумеется, самого Троцкого. Мне, кстати, всегда было не совсем понятно, почему, по каким психологическим соображениям, большевики (менее других сам Ленин) так упорно от Бланки открещивались. Разве только, что „по Марксу“ выходит гораздо солиднее. Французский революционер писал так мало и так не „научно“ (хотя был человеком большой и разносторонней учености, не столь уж уступавшей огромной учености Маркса). Или же было психологически тяжело отказаться от старой, знаменитой фирмы, в которой все они прослужили всю жизнь? Однако Ленин в апреле 1917 года, предложив партии называться коммунистической, отказался от другой своей старой фирмы, от социал-демократии, — и отказался без малейшей сентиментальности: назвал ее „грязным бельем“, сказал, что необходимо „снять грязную рубашку и надеть чистую“. В более учтливой и почтительной форме большевики могли отказаться и от фирмы Маркса. Им даже незачем было себя назвать бланкистами; у них ведь Бланки всегда считался как бы бедным родственником, хотя и симпатичным. Они могли просто назвать себя ленинистами — и это совершенно соответствовало бы действительности. Троцкий, конечно, был бы против этого. Вся длиннейшая его книга написана для того, чтобы доказать положение, нелепое и a priori*, и a posteriori*: революция 1917 года, с некоторыми неизбежными небольшими отклонениями, развивалась по строгой логике диалектического материализма и собственно даже по плану, созданному — разумеется, лишь в общих чертах — им, Троц-

*Знание, предшествующее опыту (*лат.*).

*Знание, приобретенное в результате опыта (*лат.*).

ким, — правда, при очень серьезной, независимой от него, помощи со стороны Ленина. Говоря о том, что в начале революции у большевиков не было ее общей концепции, он добавляет, что эта общая концепция и не могла быть выработана в глуши, в тех отдаленных местах, где находились Сталин, Молотов, Рыков, „в Сибири, в Москве, даже в Петербурге“. Она могла быть выработана „только на перекрестке мировых исторических дорог“, то есть там, где находился он, Троцкий. Не совсем понятно, почему тогдашний Петербург был в этом отношении хуже Нью-Йорка, Вены или других западных столиц, но Троцкий великодушно нашел для врагов это смягчающее обстоятельство (попутно тем самым давая и маленькую апологию русской эмиграции вообще). Конечно, до его приезда в Петербург из дальних стран, революционный процесс строго-логически развивался без его прямых директив. Однако Троцкий неоднократно упоминает, что Совет рабочих и солдатских депутатов в своих действиях с самого начала революции сознательно или бессознательно руководился традицией Совета 1905 года. Как известно, этот Совет был первым бенефисом Троцкого. Для полного подтверждения строгой логики диалектического материализма автору „Истории русской революции“ понадобилось несколько свободное обращение с фактами. Так, Февральская революция оказалась делом рабочих. Это следовало и по известному предсказанию Плеханова: русская революция восторжествует как революция рабочего класса или совсем не восторжествует. Предсказание, правда, совершенно не сбылось. Только люди, не видевшие событий в Петербурге или ослепленные пристрастием к схемам, могут, как Троцкий, доказывать, что революцию в феврале совершили рабочие, а „солдаты к ним примкнули на пятый день“. На самом деле без восстания петербургского гарнизона февральские рабочие беспорядки были бы очень легко прекращены даже потрясающим по слабости последним правительством императорской эпохи. Да и вообще в течение всего 1917 года и в самые дни переворота роль рабочих, конечно, уступила роли солдат (как принято было говорить, „вооруженных крестьян“, хотя психология солдата все-таки отличается от психологии крестья-

пина). Сам Троцкий говорит о 25 октября: „Трудно определить силы, припимавшие участие в захвате столицы ночью: не только потому, что их никто не считал и не записал, но и по причине самого характера операций. Резервы второй и третьей линии составляли почти весь гарнизон. Но к резервам можно было прибегать только эпизодически. Несколько тысяч красногвардейцев, две-три тысячи матросов, — на следующий день, с приходом подкреплений из Кронштадта и Гельсингфорса, их число приблизительно утроилось — десятка два рот и отрядов пехоты, вот силы первой и второй линии, при помощи которой повстанцы заняли столицу“. О рабочих, как видите, тут он не очень распространяется.

Л. Я видел, однако, и 25 октября, и 4 июля на улицах Петербурга в лагере большевиков множество людей в штатском платье, плохо вооруженных и не имевших военной выправки.

А. Конечно, их было много. Среди них, вероятно, преобладали рабочие, но были и интеллигенты, и полуинтеллигенты. Роль полуинтеллигентов в октябрьской революции была особенно велика, как и во всех революциях, — говорю это, разумеется, никак им не в укор. Из полуинтеллигентов состоял в большинстве и большевистский главный штаб. Но решающую роль в восстании сыграли, конечно, войска. Над революцией с самого начала повис рок: не желавший больше воевать петербургский гарнизон. И, оглядываясь назад, я и теперь не вижу, как могло бы Временное правительство успешно бороться с этим роком. Послать столичный гарнизон на фронт было почти невозможно: какая сила могла бы его заставить исполнить такой приказ? Это только ускорило бы вооруженное восстание, так как для каждого солдата риск на фронте был много больше риска при восстании в Петербурге. К тому же, так называемые надежные воинские части, если б даже их можно было вызвать с фронта для усмирения петербургского гарнизона, должны были бы, очевидно, заменить его в столице, и тогда они очень скоро бы из надежных превратились, вероятно, в ненадежные, в такой же точно гарнизон, желающий во что бы то ни стало

остаться в тылу. Демобилизация разложенных пропагандой воинских частей? Ее они, наверное, приняли бы с восторгом, но каким соблазном это было бы для фронта! Сколько сотен тысяч других солдат пожелаали бы подвергнуться такому же наказанию и сделали бы для этого все необходимое! Думаю теперь, что, быть может, наименее плохим, хотя тоже очень плохим, выходом была бы отправка петербургского гарнизона в глубокий, вполне безопасный тыл, под предлогом, скажем, обороны китайской границы. Да и то солдаты верно предпочли бы развеселую петербургскую жизнь с „концертами-митингами“ и „танцульками“.

Л. Не могу сказать, чтобы ваше толкование событий 1917 года отличалось особенным идеализмом. Все-таки и 4 июля, и 25 октября люди умирали за идею.

А. Да, 4 июля большевики потеряли убитыми пятнадцать человек, а 25 октября несколько больше.

Л. Если б все было так, как вы говорите, то, значит, политической необходимостью, единственным спасением был бы для нас сепаратный мир с Германией.

А. То, что было политической необходимостью, было психологической невозможностью. Вековая совокупность многого множества цепей причинности создала русскую интеллигенцию XIX и XX веков — явление в некоторых отношениях удивительное, неповторявшееся и неповторимое. У нее были великие качества, к которым я и теперь, когда ее больше нет и, вероятно, никогда не будет, отношусь с глубоким уважением — горжусь тем, что в ее среде прожил всю жизнь. Были у нее и громадные недостатки. Но это не входит в тему нашего разговора. Такая, какая она была, — русская интеллигенция, ее правившая страной верхушка, просто *не могла* заключить сепаратный мир, не могла сделать то, что позднее очень легко и грациозно, без больших угрызений совести, сделали правители других стран. Настоящий „государственный человек“ нашел бы еще лучший выход:

сепаратный мир можно было заключить временно, с догадкой о будущем, сохранив за собой, конечно, не право (право тут ни при чем), а фактическую возможность в последней стадии войны без больших потерь примкнуть к лагерю победителей...

Л. Так поступили и не имея настоящих „государственных людей“ румыны в 1918 году. Можно было бы назвать и другие примеры. Вы, однако, в этом третьем вашем разделе беседы несколько отошли от темы случая.

А. Вы упомянули о восстании 4 июля. Оно кончилось поражением большевиков. Между тем по существу оно ничем не отличалось от восстания 25 октября, кончившегося их победой. Троцкий пространно доказывал, что большевики 4 июля еще не собирались захватить государственную власть, считая это невозможным, и что в этот день никакого восстания не было, а была только „вооруженная демонстрация“. Он даже намекает, что правительство или какие-то люди, близкие к правительству и к английскому послу Бьюкенену, спровоцировали рабочих в целях установления твердой власти в России. Приводит „доказательство“, вроде того, что у одного (не названного им) генерала были, по свидетельству рабочего Метелева, найдены в квартире при обыске два пулемета с лентами! Доказательство, разумеется, бесспорное. Разве только улыбку может вызвать самая мысль о провокации со стороны русских министров того времени или со стороны английского посла. Из Джорджа Бьюкенена и правые, тогда и позднее, пытались сделать демоническую фигуру тайного руководителя русской революции. На самом деле этот усталый старик вообще плохо разбирался в русских делах и заботился преимущественно о том, как бы ни с кем не посориться. Разумеется, Троцкому *надо* было доказывать, что большевики в мыслях не имели в июле захватывать власть: „вооруженная демонстрация“ была самым большим их поражением в 1917 году; главная ответственность, что бы он ни говорил, падала перед историей на него, как на вторую по размерам фигуру в большевистском лагере (тем более что Ленин, первая фигура, тогда был бо-

лен*), — как же он, Троцкий, Наполеон революции, мог потерпеть поражение! И как было бы это примирить со стройным планом, выработанным им на перекрестке мировых исторических дорог? Доказательства Троцкого вдобавок в высшей степени противоречивы. С одной стороны, „рабочие“ проявили в июле такой бешеный энтузиазм, что удержать их от „демонстрации“ оказалось для вождей невозможным; с другой же стороны, в июле „даже у петербургских рабочих не было такой готовности к бесстрашной борьбе“, какая появилась в октябре. С одной стороны, у правительства в июле еще было достаточно вооруженных сил, чтобы справиться с большевиками: „Надежные воинские части, предназначенные для того, чтобы раздавить Петербург, были взяты правительством из войск, находившихся наиболее близко к столице, без активного сопротивления со стороны других частей, и были привезены эшелонами без какого бы то ни было сопротивления со стороны железнодорожных рабочих“; с другой же стороны, „захват власти не представлял бы для большевиков никакой трудности“ и т.д. Впрочем, на всякий случай, для истории, Троцкий добавляет (тут ссылаясь на Милюкова), что дело 4 июля все-таки оказалось для большевиков выгодным, так как оно им выяснило, „с какими элементами надо иметь дело, как надо организовать эти элементы, наконец, какое сопротивление могут оказать правительство, совет и воинские части“. Однако, по словам Милюкова, именно Троцкий вечером 3 июля в Таврическом дворце заявил: „Теперь настал момент, когда власть должна перейти к советам“*. Разумеется, если б дело 4 июля удалось, Троцкий вспомнил бы об *этой* своей фразе. Он оказался бы Наполеоном революции в обоих случаях. Так как дело *не* удалось, то пришлось занять несколько иную позицию: собственнo говоря, и 4 июля было тоже заранее предусмотренным мастер-

*Кроме того, он, по-видимому, находился (не долго) в состоянии полного нервного расстройства (см. об этом интереснейшую работу Юрьевского, „Ленин в июльские дни“).

*П.Н.Милюков, История второй русской революции, София, 1921, том I, выпуск I, стр. 240. — Милюков говорил о „выгоде“ лишь относительной — в прямой связи с тем, что сделало (или, вернее, чего не сделало) Временное правительство после своей победы 4 июля.

ским ходом — это было, так сказать, сражение при Прейсиш-Эйлау в ожидании полной победы под Фридрихсфелдом. На самом деле, разумеется, день 4 июля оказался для большевиков чрезвычайно вредным. Опыт могло приобрести и правительство, а неудача первой попытки всегда вредит второй. „Вооруженная демонстрация“ под лозунгом „Долой министров-капиталистов!“, конечно, имела целью захват власти. Ленин, не любившийся собой в зеркале истории и несколько не боявшийся признавать свои поражения, откровенно писал: „Нельзя теперь говорить о вооруженной манифестации без желания произвести новую революцию“. „Формально наиболее точное описание событий (4 июля) — это антиправительственная манифестация. Но существо дела в том, что у нас была не обыкновенная манифестация: это *гораздо больше*, чем манифестация, и это меньше, чем революция“. В действительности была именно неудачная попытка сделать в июле то, что с успехом было сделано в октябре. Попытка 4 июля *могла* удалась, как *могло бы* не удалась восстание 25 октября. Одни обстоятельства в июле складывались для большевиков менее благоприятно, чем в октябре, другие более благоприятно. Не буду их перечислять вам, как не буду перечислять чистых случайностей в оба эти дня; это было бы слишком долго и напоминало бы то, что я говорил о 9 термидора. Последняя случайность была опять метеорологической: ливень, закончивший день 4 июля. Солдаты, знавшие по долгой привычке, что из строя выходить нельзя какова бы ни была погода, остались на улице, а разношерстные люди в штатском, не очень хорошо вдобавок понимавшие, чей приказ они выполняют и чего, собственно, хотят, стали расходиться по домам. Метеорологическая цепь причинности снова толкнула и надорвала политическую, большевистскую... Не вздумайте приписать мне мысль, будто я объясняю ливнем неудачу июльского восстания. Он был лишь одной случайностью из великого множества. Коллективной цепью причинности неудачи было то, что в июле война еще не стала *столь* отвратительной и невыносимой для русских солдат, как в октябре. Точнее, они прежде не были уверены, что могут от войны отказаться. А кроме того, было больше надеж-

ды, что война копчится скоро, что паступление союзников повлечет за собой победу на Западе, что в Германии начнется революция. Но я своими глазами видел оба восстания. Картина была одинаковая в обоих случаях: те же восторженно-растерянные люди, такой же „хаос в порядке“, то же вечное, страшное fifty-fifty всех революционных и сходных с ними событий. Эту коммунистическую манифестацию очень подробно и, разумеется, беззащитно-тепденциозно описал ее участник, большевик Флеровский. По его словам, она была необычайно величественной и грандиозной. Будто бы толпы людей тянулись от Каменноостровского до Кировской. По моим воспоминаниям очевидца, демонстрация была гораздо скромнее. Однако и Флеровский признает, что „немного было знамен, скупо играли оркестры, не было легкого радостного оживления“. Действительно, легкого радостного оживления никак не было; насколько могу судить со стороны, было даже нечто прямо противоположное: полная, если не общая, готовность ударить при первом выстреле. Вскользь и сам Флеровский пишет: „В голове невольно шевелились тревожные мысли — „а что как бабахнет по демонстрации какая-нибудь сволочь“*. В самом деле, „сволочь“ могла бабахнуть гораздо сильнее, чем бабахнула. Тем не менее, было вполне возможно и поражение Временного правительства. Если бы кронштадтский флот в июле вошел в Неву и начал бомбардировку Зимнего дворца и Петербурга, то большевики *могли бы* прийти к власти в июле. Если бы Керенскому удалось в октябре пайти на фронте несколько надежных частей, то октябрьское восстание *могло бы* быть подавлено. Кстати, Троцкий в другом месте своей книги насмехается над этой формулой: „Не хватало лишь одного или двух полков“. Замените слово „полк“ словом „дивизия“, и формула окажется приложимой не только к 1917 году, но и к следующим годам. Черчилль знал в пору гражданской войны в России, что присылка десяти союзных дивизий обеспечит победу генералу Деппикину. А его вы не упрекнете в фантазерстве и в непонимании „соотношения сил“.

*И.Флеровский, Июльский политический урок. Пролетарская революция, книга 54, 1926 г., стр. 78.

Л. Согласитесь все же, что это не исторический подход к событиям. Насмешка Троцкого тут не лишена основания: „мог бы“, „могли бы“, „если бы“, — все это для историка и социолога пустые слова.

А. Вы совершенно правы: историки и социологи в таком же подчинении у фикции законов истории, как и вы. Для большинства из них то, что было, то и *должно было* быть. Даже Гитлер, с сожжением людей в печах, с идеями, которые показались бы дикими и пятьсот лет тому назад, *должен был* прийти к власти в двадцатом веке, в самой образованной стране мира. Это, опять скажу, не мешает тем же историкам и социологам твердо верить в „неуклонную линию исторического прогресса“.

Л. „Если б Керенскому удалось на фронте найти несколько надежных дивизий“! Отчего же он их не нашел? Или это тоже случай?

А. Пойдите же и вы до конца своей мысли. По крайней мере тогда спор будет яснее. Признайте, что события 1917 года развивались, если не по плану, выработанному Троцким, то по строгой логике диалектического материализма — или какой-либо другой философско-исторической системе. Вся книга Троцкого сводится к издевательствам над демократическими взглядами и действиями, над „органическим ничтожеством русской демократии“. Он, порою справедливо, отмечает слабость, бессилие, отсутствие проницательности у ее вождей. Забавно однако то, что почти без всяких изменений его издевательские замечания могли бы быть с таким же основанием отнесены к последовавшим главам его собственной биографии: он в двадцатых годах проявил точно такую же слабость, бессилие и отсутствие проницательности, так же легко дал Сталину себя убрать, как Временное правительство дало себя свергнуть большевикам... В общем, за несколькими исключениями, министры Временного правительства по дарованиям, проницательности и энергии были не ниже и не выше, чем правители первых трех лет большой французской революции (выделим Мирабо) или чем правители революции 1848 года: те тоже ничего не

предвидели и тоже были историей сметены. Во всяком случае, во Временное правительство входило почти все, что могла дать левая русская интеллигенция, и она целиком за его падение отвечает, — как правая русская интеллигенция отвечает за падение царя. Это „уясняет позиции“. С Керенским и с Троцким случилось в разное время одно и то же — то же самое, что с другими, когда-то чрезвычайно популярными, людьми, совершенно не заметившими, что они понемногу потеряли свою популярность. Помпей говорил: „Топну ногой в землю, и из земли вырастут легионы“. Легионы не выросли из земли ни для защиты Помпея, ни для защиты Троцкого, ни для защиты Керенского. Троцкий в 1929 году был уверен, что он так же популярен в партии, как в 1918. Керенский в октябре был уверен, что он так же популярен в стране, как в марте. Вы можете тут же установить „закон истории“ о падении популярности вождей. Полковник Полковников, генерал Баграмуни, очевидно, этого закона не знали: они в октябре неизменно уверяли Керенского, что надежных вооруженных сил достаточно, и что всякая попытка восстания будет очень легко подавлена. С их слов он в этом уверил и предпарламент.

Л. Во всяком случае, главная и очень тяжелая ошибка Временного правительства заключалась в том, что оно не расправилось с большевиками после своей победы 4 июля.

А. Да, это верно. По-моему, вопрос о немецких деньгах был тогда с разных сторон поднят напрасно. Всегда вредны недоказанные обвинения. Доказать, что немцы давали деньги большевикам, было невозможно. Слишком поздно, вероятно, и теперь — после того, как советские войска побывали в Берлине и оставались хозяевами той его части, где находилось министерство иностранных дел; там был и секретный архив, и давно уничтожено все то, что еще могло в 1945 году хоть немного — очень немного — повредить белоснежной ризе большевиков. Но и без всяких немецких денег был „состав преступления“, совершенно достаточный и для юристов Временного правительства, даже для благодушно-сумбурного мини-

стра юстиции Переверзева: было 29 трупов, оставшихся 4 июля на улицах Петербурга. Пожалуй, немало для истории, однако больше чем достаточно для правосудия. Но что вы понимаете под „расправой“?

Л. Ленин на следующий день после восстания, 5 июля, спрашивал Троцкого: „Как вы думаете, они теперь нас всех перестреляют?..“ Вопиющее бесстыдство обоих вождей особенно чувствуется в их презрении к тем „министрам-капиталистам“, которых они называли „палачами рабочего класса“ и которые их в июле не расстреляли. Что сделали бы они сами в случае военного восстания и своей победы! И действительно со стороны „министров-капиталистов“ тут было нечто худшее, чем ошибка. Отдана была дань лицемерию и какой-то исторической акустике. Вы сами говорите, что без Ленина октябрьской революции не было бы. Сколько же бедствий миновало бы человечество, сколько миллионов людей было бы спасено, если бы гуманисты 1917 года решились расстрелять несколько человек! Я еще это понял бы, если бы тут дело заключалось в глубоком и принципиальном отрицании смертной казни, — тогда я сказал бы только, что людям, *по-настоящему* отрицающим, нечего делать в революции и незачем в нее соваться. Но эти самые гуманисты остались у власти, продолжали делать громкую политическую карьеру — и ввели смертную казнь на фронте. Казнить ведущих мир к гибели вожakov было нельзя, по расстреливать несчастных, темных, псевдешественных солдат, желавших просто спасти себя, было можно: их никто не знал, русские и иностранные газеты о них не писали, на этом нельзя было потерять благосклонность отечественных и западных друзей слева и можно было остаться иконами великой бескровной. Так же и по тем же соображениям они через несколько лет своей формулой „ни Ленин, ни Колчак“ способствовали победе большевиков в гражданской войне.

А. Я подхожу к этому вопросу с иной точки зрения. В истории образцом „расправы“ был, вероятно, французский переворот 18 фрюктидора. Баррас зна-

ет, что „гидра контрреволюции подняла голову“, что „работает английское золото“, что роялисты готовят восстание, что они скоро его выгонят или повесят. Он заключает соглашение с двумя командующими армиями, знаменитыми генералами, Бонапартом и Гошем. Гош обещает ему поддержку и подводит к Парижу свой войска. Бонапарт посылает самого подходящего боевого офицера, будущего маршала Ожеро, которому вообще все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Ожеро со своими людьми вламывается в „гнезда реакции“ и схватывает всех вожаков. Их отправляют немедленно в Кайенну — казней Бонапарт (а за ним и Баррас) не любил, никак не по соображениям сверхпринципиального гуманизма, а просто потому, что они создают врагам ореол мученичества. Да и сосланы были не все, — кое-кому, людям безобидным или приятелям правительство даже дало возможность „бежать“. То же самое могло сделать Временное правительство. Кайенны у него не было, но есть в северной Сибири такие места, куда почта приходит два раза в год, и из которых бежать при сколько-нибудь серьезной охране невозможно. Как бы то ни было, Ленин, к великому своему удивлению, спасся и скрылся. Он готовит следующие восстание. По-видимому, его мало интересуют план Троцкого и глубокие социологические соображения, по которым в июле Россия к революции была совершенно не готова, а в октябре стала совершенно готовой. Как и Бланки, Ленин знает, что к революции не бывает „совершенно готов“ никогда никто. Он исходит из трех основных положений: солдаты хотят мира во что бы то ни стало и возможно скорее; рабочие хотят экспроприации их работодателей; крестьяне желают получить землю тотчас и не склонны ждать, пока юристы Временного правительства выработают „самый совершенный в мире избирательный закон“ и будет созвано Учредительное собрание, которое выработает аграрное законодательство, тоже, вероятно, самое совершенное в мире. При таких условиях есть шансы на успех восстания — *гарантировать* же успех не может никто. Письмом из того места, где он скрывался, Ленин предлагает Центральному Комитету большевиков „арестовать“ демократическое совещание. Центральный Комитет

единогласно отвергает это предложение. Против него голосует и Троцкий, вспоминая об этом очень кратко, с видимым смущением, хотя по обыкновению как будто по форме победоносно. Он даже — в кои веки — себя при этом не называет и своих доводов тут не приводит. Говорит просто: „все члены Центрального Комитета, хотя и по разным мотивам, отклонили предложение: одни вообще противились восстанию, другие находили, что момент был самый неблагоприятный, третьи просто колебались и выжидали“. Троцкий принадлежал ко второй группе. Он считал предложение Ленина „очевидно невозможным“. На самом деле — говорю здесь и как свидетель — оно было не только возможным, но и легко осуществимым, неизмеримо легче осуществимым, чем вооруженное восстание: захвата здания, в котором происходило демократическое совещание, никто не ожидал, почти никакой охраны не было, — а каковы были вооруженные силы Временного правительства, это скоро наглядно показало 25 октября. Ленин гораздо лучше понимал революционное дело, чем Троцкий. Его слово „арестовать“, вероятно, было или скоро стало бы эвфемизмом — он гуманистом никак не был. Погибли бы все вожди антибольшевиков. Таким образом, без всякого восстания антибольшевистская Россия была бы обезглавлена, и если бы и началась тогда гражданская война, то она много легче кончилась бы победой большевиков. Их Центральный Комитет не только отклонил требование Ленина, но в первый и в последний раз в истории своего существования постановил *сжечь* его письмо. Бланки из гроба благословил бы вождя большевиков. Тем не менее отметим забавную психологическую подробность: приблизительно в это же самое время Ленин печатал статьи о том, что устройство социальной революции в России 1917 года вполне соответствует принципам *марксизма*. Ему много легче было менять политическое белье, чем его товарищам, но и ему это было все же не так легко: были своеобразные „угрызения совести“ некающегося, но очень грешного марксиста.

Л. Я все же хотел бы перейти к *случаю* и к тому, что вы называли ложными предпосылками Ленина.

А. Я к этому и перехожу. 10 октября 1917 года в квартире Суханова, в отсутствие хозяина (предоставила квартиру его жена, большевичка), произошло заседание большевистского Центрального Комитета — одно из самых важных и значительных по последствиям заседаний в мировой истории. Оно продолжалось десять часов. Из своего убежища приехал тщательно загримированный Ленин, он был в парике, в очках, без бороды. Присутствовало еще одиннадцать человек. Если не ошибаюсь, об этом заседании написано очень мало. Но будут писать о нем в течение веков; в тот день было, наконец, принято твердое решение произвести государственный переворот. Свердлов сделал небольшой вводный доклад. Вероятно, все участвовали в прениях. Основное же свелось к монологу Ленина. Через несколько лет Троцкий вспоминал: „Непередаваем, невыразим был общий дух его упрямых и страстных импровизаций, проникнутых желанием внушить возражавшим, колеблющимся, неуверенным свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество“. Возражали Каменев и Зиновьев. Значит, были еще тогда, за две недели до переворота, неуверенные и колеблющиеся. „Ленин вел наступление, другие последователи к нему переходили“. На клочке школьной в квадратиках бумаги он поспешно (вдруг передумают?) написал резолюцию... Бумага в квадратиках в школах употреблялась „для математики“. Да и здесь, собственно, доказывалась тоже теорема, теорема революции. Только как же она доказывалась? *Все* доказательства, *все* положения были ложны, все! Не думаю, чтобы они были *лживы*, чтобы глава партии сознательно обманывал своих ближайших товарищей. Однако все, что он говорил, было неправдой. Вот каковы были его положения: 1) Во всей Европе близится социальная революция; 2) Империалисты, (то есть немцы и союзники) собираются заключить между собой мир, с тем чтобы задушить русскую революцию; 3) „Русская буржуазия, Керенский с компанией“ собираются сдать „Питер“ немцам; 4) Близится крестьянское восстание, и несется к большевикам волна народного доверия; 5) Явно готовится вторая корниловская авантюра. По этим причинам Центральный Комитет признает необходимым

вооруженное восстание, призывает все партийные организации и т.д. В небольшой квартире № 31, в доме № 32 по Карповке, большинством десяти человек против двух, принимается резолюция мирового значения; через две недели она осуществляется; история мира направляется по новому пути — и теперь еще так же неизвестно, куда же в конце концов приведет этот путь, в котором каждый вершок густо пропитан кровью. Был на заседании большой человек, Ленин, было еще двое выдающихся людей, Троцкий и Сталин, остальные были в большинстве средние полуинтеллигенты. Многие из них позднее кончили трагической смертью по воле одного из участников заседания. Всего этого совершенно достаточно, чтобы признать эту сцену в доме на Карповке сценой невиданной, „шекспировской“, хотя и с легкой пошловатостью в стиле, — вроде „Питера“. Зловещий оттенок ей придает и то, что вывод в ней был сделан из пяти положений, в которых не было ни одного слова правды. Вот ведь Шекспир и называл историю „скупной сказкой, рассказанной идиотом“.

Л. Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие убитые, казненные участники этого заседания действительно никак не могли предвидеть участь, которую им уготовит Сталин на основании обвинений столь же ложных, как перечисленные вами пять утверждений Ленина. Но в вашем рассуждении о 25 октября вы говорите все же не совсем о том, о чем говорили при разборе двух предшествовавших примеров. Разве вы бланкизм считаете апофеозом идеи случая?

А. Во всяком случае, я его считаю практическим отказом от законов истории. По-моему, поучительно то, что люди, признававшие одну из разновидностей этих законов, исторический материализм, святой непоколебимой истиной, в действительности подчинялись случаю и не только в 1917 году, а в течение всех тридцати пяти лет своего существования... Неславно были опубликованы, по записям Бормана, застольные беседы Гитлера. У него тоже была своя святая непоколебимая истина, и он на ее основании предсказал, что национал-социалисты останутся у власти тысячу лет. Однако в одной из этих застольных бесед

он откровенно сказал, что ему необычайно везло в жизни, его всегда сопровождало счастье. Гитлеру было не очень выгодно это говорить: зачем же отводить какую-то роль везению, когда все сделал его гений! Сказал он это года за три до своей гибели. И сказал все-таки правду: в течение десяти лет ему везло необычайно. Тем не менее его счастье *ничто* по сравнению с беспримерным в истории 35-летним счастьем большевиков. Не один раз, не десять раз они были на волосок от гибели — долго было бы это перечислять. Это, конечно, не помешало бы им на довод „везения“ ответить презрительным смешком: хотя Ленин произвел потрясающе удачный переворот, исходя из пяти ложных утверждений, на него, понятное дело, работала строгая логика диалектического материализма. Она же работала и на Сталина — его сверхчеловеческая гениальность лишь этому помогала.

Л. Во всяком случае, „картезианским состоянием ума“ в делах последнего полустолетия и не пахнет.

А. В этом меня убеждать не приходится. Три четверти того, что происходило и происходит в мире, — настоящий вызов картезианскому состоянию ума. Но тем более мы должны дорожить четвертой четвертью.

IV.

Диалог о „Красоте-Добре“ и о борьбе со случаем

А. В июне 1947 года в Лунде был международный съезд, посвященный в частности вопросам этики. Основной доклад прочел Рене ле Сенн, второй, дополнительный, на ту же тему Владислав Татаркевич. Не могу сказать, чтобы французский и польский философы, а равно и участвовавшие в прениях ораторы, очень оптимистически высказались о прочности нынешних моральных учений. Я сказал бы даже, что обнаружилась некоторая растерянность. Не стоит возвращаться к временам классиков в этой области философии. Но еще недавно дело обстояло гораздо благополучнее, чем теперь. Быть может, последней из больших этических систем была стройная, очень сложная по форме, очень нелегкая и по содержанию система Макса Шелера*, о которой с признанием, если не с восторгом, говорили столь разные философы, как Николай Гартман, Трельч, Ортега-и-Гасет*. В ней учение о ценностях было классифицировано в полном порядке, была установлена их иерархия: ценности приятные, ценности жизненные („*Werte des vitalen Fühlens*“), ценности духовные, и, над всеми, ценности священные. По-иному они еще делились на девятнадцать разрядов. Быть может, Бентам, например, от новых систем пришел бы в ужас. Однако они *были*. Теперь от них осталось не так много. В частности, на Лундском съезде ле Сенн

*Max Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik*, Halle, 1927, в особенности страницы 98 — 109.

*Автор не читал этих отзывов и судит о них по предисловию самого Шелера к третьему изданию его монументального труда.

подверг учение Шелера очень основательной критике*. Как в самом деле классифицировать и распределить по рубрикам ценностей картины Рембрандта, научные теории Ньютона или Эйнштейна, мужество солдата, отдающего жизнь за родину, самоотвержение врача, погибающего в борьбе с эпидемией? И как расставить их на иерархической лестнице Шелера? От себя добавлю: как обосновать высшие категории шелеровских ценностей? И можно ли провести строгое разграничение между ценностями духовными и священными? Даже узаконив „интуицию“, мы должны будем признать, что она у разных людей принимает разную форму, — я, конечно, сопоставляю тут не готтентотов с европейцами, а разных западных людей, стоящих на очень высокой ступени культурного развития. У Бертрана Рассела, Сантаяны, Дьюи просто не оказалось бы тут общего языка. Кроме того, как замечает ле Сенн, высшие священные ценности настолько превосходят значением все остальные, что другие при них образуют нечто вроде придатка. Ле Сенн, правда, называет их не придатком, а ведущими к ней путями восхождения (хотя едва ли ценности приятные ведут к ценностям священным). Ново прежде всего общее определение: „Ценность это, что *стоит* исследования“ („Ce qui est digne de recherche“). По-моему, тут внутреннее противоречие: самое слово „стоит“ уже предполагает существование точно определенных ценностей, мы ведь не могли бы без них определить, что „стоит“ изучать и что не стоит. Другие участники этого интересного Конгресса были еще скромнее. Дево возражал и против „узких претензий ограниченного рационализма“, и против „иррационализма, находящего радость в абсурдном“. (Почему, кстати, „находящего радость“?) По его мнению, нужна теория комплементарности, и он, тоже очень скромно, замечает, что не считает ее создание делом невозможным. Гедениус говорил (и совершенно правильно), что суждения в вопросе о ценностях не могут быть ни истинными, ни ложными, и что „субъективистские“ теории ценности еще менее удовлетворительны, чем „объективистские“. Другие, как Реймонд, защищали иерархию ценностей

*Le Senne, Le Problème d'Axiologie, Entretiens d'été, Lund, 1947, Paris, 1949, p. 26.

и защищали ее странными доводами — сравнением физико-химического мира с биологическим, — этот последний по иерархии выше. Эббипгауз — хотя и очень неясно — предлагал вернуться к германской идеалистической философии и, в частности, к Канту. Не все участники конгресса решительно возражали даже против полного отрицания разумности моральных ценностей, против „нигилизма“ — Wertnihilismus*. Это характерно для нашей эпохи. Конгресс происходил вскоре после создания атомной бомбы. Она ведь взорвала не только Хиросиму и Нагасаки, она кое-что взорвала и в человеческом сознании.

Л. Без всякого отношения к атомной бомбе, эпоха Гитлера — Сталина к „нигилизму“ достаточно располагает.

А. Разумеется. В прежние времена, по крайней мере, разные исторические преступники и их „теоретики“, в отличие от Гитлера, не утверждали, что их царство просуществует тысячу лет, и, в отличие от коммунистов, не стремились к тому, чтобы облагодетельствовать человечество — уже и не на тысячу лет, а, по-видимому, на вечные времена... На Лундском съезде (говорю, впрочем, без уверенности: быть может, его участники думали иначе) обнаружилось, что в теоретической этике наших дней наблюдается такой же полуразброд, какой существует в демократической мысли и в демократической политике. Люди ищут новых путей — и ищут их довольно неуверенно.

Л. Это делает им честь: коммунисты ничего не ищут, они все давно нашли... Вы, очевидно, взяли прения Лундского конгресса как „последнее слово“. И вы правы: быть может, действительно бесполезно возвращаться как к Бенхаму, так и к многочисленным видам кантианства и неокантианства. Старый утилитаризм наивен и был опровергнут раз навсегда (если вообще в философии бывает „раз навсегда“). Кантовский же нравственный закон у нас, в отличие

*Entretiens d'été, Lund, pp. 48, 49, 60, 64—66.

от Капта с его вечно цитируемой фразой, вызывает все-таки меньшее удивление, чем „звездное небо над нами“. Это последнее поражает и всегда будет поражать людей не меньше, чем автора знаменитой параллели. Что же до „правственного закона“ в человеческой душе, то мы действительно, после разных камер для сожжения людей, верим в него не так уж твердо. С другой же стороны, само неокантианство в какой-то мере оказалось учением казенным и очень удобным для недавней Германии.

А. Я этого никак не сказал бы, но в лундских беседах были если не прямые указания, то определенные намеки на это ваше суждение. Так, Пос, возражая немецкому кантианцу, сказал: „Я отвечу г. Эббингаузу, что германский идеализм, хотя он и представляет собой большое духовное создание, вместе с тем служит и великим препятствием для действующего разума. Даже у столь компетентного представителя кантианства, как г. Эббингауз, сказывается то бессилие постигнуть реальное, которое характерно для германской философии и которое имело катастрофические последствия на практике“. Едва ли подобные слова говорились или могли говориться на философских конгрессах прошлого. Они тоже свидетельствуют о полуразброде.

Л. Но если вы в лундских беседах усмотрели полуразброд, то в чем же видите выход? В учении о „Красоте-Добре“, о котором, вероятно, в Лунде и не говорилось?

А. Да. Прежде всего прошу вас извинить, что я употребляю столь истасканные, тяжеловесные слова. Я чувствую, как неприятно-неестественно они звучат. Однако было бы еще неестественнее, если бы я пользовался выражением „Kaloskagathos“^{*}; это вдобавок могло бы подать основание к ложному предположению, что я всех философов Греции читал в подлиннике. К тому же они еще более истасканы по-гречески (немецкие профессора говорят даже „die Kalokagathic“).

* „Красота-добро“ (древнегреч.).

Л. Дело не в слове. Но не поясните ли вы теперь, в чем сущность понятия. Предположите, что я совершенно не знаю, что такое добро, и что такое красота.

А. Мне трудно это „предположить“: думаю, что вы знаете их смысл так же хорошо, как я.

Л. Вы всегда стоите за точные определения... Насколько я могу понять, вы считаете „Красоту–Добро“ идеей вечной, существовавшей и существующей с древних времен?

А. Именно. Когда мы называем вечной ту или другую идею, то обычно имеем в виду, что она периодически возвращается после долгих лет забвения, — вот как девять раз возвращался на землю бог Вишну и появится по древнему учению еще в десятый раз в день конца мира. Эта же идея никогда и не исчезала, хотя были великие мыслители, которым она была чужда. Об ее истории можно было бы написать книгу, но для этого нужна эрудиция, которой у меня нет.

Л. Кого же вы считаете ее создателем?

А. И на этот вопрос вам могли бы ответить люди, лучше, чем я, знающие историю древней философии. Самое выражение не раз встречается у Платона, однако он его употребляет, как нечто давно известное его собеседникам. Тем не менее у философов досократовской эпохи я его не встречал. Демокрит объединяет „добро“ с „истиной“ — правда, вполне возможно, что этот великий человек, который, по словам Аристотеля, „размышлял обо всем“*, придавал истине и эстетический смысл. Да не все ли равно, кто первый дал название науке или идее? Слово „философ“ впервые произнес Пифагор, но философы существовали до него, как этика существовала до Аристотеля, а эстетика до Баумгартена, хотя названия выдумали они. В сущности, в отвлеченной философии греки

*Théodore Gomperz, Les penseurs de la Grèce, traduction Reymond, Paris, vol.I, p. 336.

открыли главное. Если верить Лассону*, Гегель сказал (я не нашел у него этих слов), что выше Аристотеля человеческая мысль никогда нигде не поднималась. Не буду говорить о логике и философии точных наук, но, кажется, во всем остальном до Декарта не было в философской области сказано ничего вечного после греков.

Л. Мне трудно с вами согласиться. Вся греческая философия насквозь эвдемонистична. И Сократ, и его предшественники, и его последователи исходили преимущественно из идеи *счастья*. Разумное, доброе для них это то, что полезно человеку. И если они употребляли выражение „Красота-Добро“, то, я думаю, скорее именно в таком смысле. Это в первую очередь относится к этике Платона. Боюсь в этом сознаться, но мне всегда казался чуть преувеличенным тот беспримерный культ, которым две тысячи лет окружено его имя. По-моему, Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант заслуживали этого культа в большей мере, чем он. Оговариваюсь, я не философ и вдобавок тоже плохо знаю греческий язык; особенности греческого стиля от меня ускользают. Тот же названный вами Лассон называет его „величайшим стилистом всех времен и народов“. Быть может, для такой оценки он все-таки слишком многословен. У него нет истинно-божественной сжатости „Екклесиаста“ или первых страниц „Иова“. В „Горгии“ Калликл, один из не столь уж многих умных собеседников Сократа, называет его „болтуном“: „Ты все твердишь одно и то же, Сократ!.. Как нелепо то, что ты говоришь! Ты просто болтун!“ Мы, разумеется, не смеем быть столь непочтительны. Но я не могу отделаться от впечатления, что у Платона Сократ всегда достигал полной победы в споре со своими собеседниками при помощи уж очень легких приемов: он либо ловил их на какой-либо обмолвке, либо изображал их недалекими людьми — они ведь чаще всего, в ответ на его соображения, восклицают: „Ты прав!..“ „Это верно!..“ „Разумеется!..“ „Я с тобой согласен!..“ Быва-

* Aristoteles, Metaphysik, немецкий перевод Adolf Lasson'a, Iena, 1907, p. XIII.

“Oeuvres de Platon, Gorgias. Traduction A. Bastien, Paris, s. d., pp. 274—281.

ют, впрочем, исключения: Калликл, Полл. Эти, во всяком случае, как психологи, выше Сократа. В одном из диалогов Сократ утверждает, что „злые люди“ (он имеет тут в виду и людей преступных) всегда несчастны. Замечание сомнительное и жизнью опровергаемое беспрестанно. Но его еще можно было бы припятать, если б за ним тотчас не следовало утверждение, что эти люди становятся менее несчастными, когда получают должное возмездие! Не знаю, читал ли эту страпицу Достоевский. Я не уверяю, что Раскольников был очень счастлив на каторге, осуществив свое „право на наказание“. Но русский уголовный суд, сравнительно мягкий в приговорах, дал ему хоть теоретическую возможность наслаждаться своим счастьем в Сибири: во Франции, в Англии суд его этой возможности лишил бы, так как за убийство и ограбление старухи-процентщицы его, особенно в то время, по всей вероятности, отправили бы на эшафот. В Древней Греции, даже в гуманных и просвещенных Афинах, были еще и другие возможности: Полл, возражая Сократу, очень искусно и убедительно этим пользуется: „Что ты говоришь, Сократ? Представь себе, что человека уличают в каком-либо преступлении, например, в стремлении к тирании. Его подвергают пытке, рвут на части, выжигают ему глаза, заставляют терпеть безмерные, бесчисленные, разнообразные муки, то же самое проделывают на его глазах с его детьми и с его женой, затем его распинают на кресте, сжигают живьем — и этот человек, по-твоему, счастливее, чем если б он избежал всего этого, стал тираном и затем, будучи хозяином в своем государстве, делал все, что ему угодно, служил предметом зависти для своих сограждан и для инопатцев и был всеми признан счастливецем?“ Разумеется, опровергнуть Полла тут довольно трудно. В ответ Сократ — простите дерзость — довольно путано бормочет: „Ты хочешь, добрый Полл, запугать меня страшными словами, но ты меня не опровергаешь... *Как бы то ни было*, помни одно маленькое обстоятельство: попял ли ты, что этот человек стремился к тирании несправедливо?“ — „Да“. — „Если так, то он не будет более счастлив, чем другой, чем тот, кто сумел несправедливо стать тираном, чем тот, кто был покаран. Ибо из двух несчастных один не может

быть более счастлив, чем другой. И более несчастлив тот из двух, кто стал тираном. Почему ты смеешься, Полл?“ Мы, читатели, прекрасно понимаем, почему Полл смеется. Одним этим „как бы то ни было“ Сократ очень уменьшил убедительность своего ответа. Прежде всего два его положения исключают друг друга: с одной стороны, из двух несчастных один почему-то не может быть счастливее, чем другой; с другой же стороны, один все-таки оказывается счастливее. А главное, выбор — который же из двух? — должен был изумить неожиданностью не одного Полла: *счастливее* тот, кого — с ни в чем неповинной семьей — пытали и сожгли живым! Если б тут говорилось о *долге*, нельзя было бы спорить. Но тут говорится о *счастье*... Думаю, что Платон и сам это видел: у Сократа тон тут как будто несколько смущенный; собеседники даже не восклицают: „Клянись Юпитером, как это верно, Сократ!“ В „Республике“ Платон развивал совсем не такие мысли. Быть может, я и потерял любовь к нему из-за этой книги, в которой, как известно, есть почти все мысли, ставшие основой национал-социализма. Платон ведь объявлял свободу совести преступлением, стоял за убийство больных и неприспособленных, высказывал полное презрение к народу, уверял, что править должны высшие, — не все ли равно, как называется начальство?

А. И в той же „Республике“ — божественное начало седьмой части, знаменитый образ пещеры и теней... Вы совершенно правильно отметили связь Платоновских проблем с проблемами Достоевского. Я сделаю еще шаг дальше: с ними и случилось одно и то же. Платон переменял аксиоматику на протяжении одной книги. Достоевский тоже ее переменял, но ему для этого понадобилось несколько произведений: „Записки из мертвого дома“, быть может, лучшая из его книг, одна из гуманнейших в мировой литературе. А затем „Записки из подполья“!..

Л. Разумеется, и „Горгий“, как все другие диалоги, кончается полной победой Сократа. Но эту книгу просто нельзя перевести на простой язык жизненной правды. Гитлер и Муссолини едва ли согласились бы

с тем, что они были всего счастливее в 1945 году, когда приближались к каре.

А. Я готов согласиться с вами в том, что Платон, присоединив идеи счастья к принципу, „Красоты-Добра“, сам несколько поколебал этот принцип. Конечно, человек, всю жизнь верой и правдой ему служивший, может быть очень несчастен: например, если он болен мучительной, неизлечимой, мешающей работе болезнью, если смерть унесла у него самого близкого человека и он не верит в загробную жизнь, также во многих других случаях. В течение XIX столетия комментаторы Платона могли бы отводить, как невозможную и потому неубедительную крайность, пример Полла: пытки, выжигание глаз и т.д. Теперь мы этого отвода сделать не можем: слишком много в разных камерах Гиммлера, в застенках ГПУ погибло людей, которые ни к какой тирании не стремились, а иногда как могли служили идее „Красоты-Добра“ или чему-либо сходному. Их, вероятно, тоже было бы нелегко убедить, что они гораздо менее несчастны, чем их палачи: из бывших тружеников гестапо ведь и теперь девять десятых живут на свободе и пьют вино в мюнхенских и других ресторанах; еще лучше устроились тайные и явные чекисты — с большинством из них тоже ничего особенно худого случиться не может и не случится (кроме, разумеется, платоновской кары). Да, вы правы: вопросы о счастье и пользе мы можем тут оставить в стороне. Платон, во всяком случае, напрасно пытался *доказать* то, что доказать невозможно: идея недоказуемости аксиом (не говоря уже об их условности) вообще была чужда грекам до Евклида. Платон не дал *определения* „Красоты-Добра“. В „Кратиле“ Гермоген задает Сократу тот вопрос, который мне задаете о красоте и добре вы: „А что же это такое?“ Сократ отвечает: „Понять это всего труднее*“. В „Пире“ Сократ говорит — повторяю, как бы о чем-то всем известном, — что красота от добра неотделима*. И, наконец, в той же „Республике“, в которой, как вы указали, есть мысли, оправдывающие действия не-

*Oeuvres complètes de Platon, traduction Victor Cousin, Paris, 1827, vol. XI, p. 91.

*Там же, стр. 295.

мецких национал-социалистов, Сократ говорит Глаукону: „На последних пределах достижимого мира находится идея добра. Заметить ее трудно, но нельзя видеть ее, не заключив, что она-то и есть причина всего того, что есть *прекрасного* и *хорошего*. В видимом мире она создает свет и дающее его светило. В невидимом мире она дает доброту и мудрость. Поэтому к ней и надо возвращаться взором, чтобы мудро вести частные и общественные дела“. „Я, как могу, разделяю твое мнение“, — отвечает Глаукон. „Тогда пойми же, — говорит Сократ, — и перестань удивляться тому, что люди, достигшие этой высоты, не желают заниматься человеческими делами, что их вечно тянет к высшей сфере“*. Как видите, Сократ ничего не „определяет“. Если вам необходимы определения, то вы их найдете в любом немецком курсе философии, найдете там *das Natur-Schöne, das Kunst-Schöne, das Formal-Schöne, das Überhaupt-Gute, das Sittlich-Gute*[†] и т.д. Греки были не так основательны, как немцы. Хрисипп, например, говорит о „*красивом* течении жизни“[‡] мудреца, не поясняя ни того, что такое красивое течение жизни, ни что такое мудрец. Если не ошибаюсь, Плотин был последним из классиков, следовавшим учению о Красоте-Добре. Он, правда, пользуется выражением, которое обычно переводят словами „трансцендентная красота“[§]. „Душа, — говорит Плотин, — познает красоту при помощи особой своей способности, которой надлежит ведать тем, что касается прекрасного“[¶]. В этих словах, собственно, полный отказ от определения. Да Плотин и прямо повторяет слова „Красота-Добро“. То же самое в платоновском „Федре“: „Божеподобное — то, что прекрасно, мудро и хорошо или приближается к этим свойствам“. Все это сводится к попыткам несколько отодвинуть ту точку, где начинается недоказуемое и неопределимое.

*Platon, L'Etat ou la République, traduction A. Bastien, Paris, p. 277.

†Природная красота, красота искусства, формальная красота, просто добро, нравственное добро (нем.).

‡Die Nachsokratiker, Iena, 1923, vol. II, p. 56.

§Plotin, Ennéades, traduction Bouillet, Paris, 1857, vol. III, p. 471.

¶Там же, vol. I, p. 102.

Л. Вы не нашли определения красоты у древних, но свет не сошелся на них клином. Ведь кое-что было и между Платоном и участниками Лундского конгресса. В частности же, *определений* было бы довольно естественно искать у трех великих философов XVII столетия. До их времени создалось несравненное искусство Возрождения — было о чем судить. Декарт и Лейбниц были вдобавок „обязаны“ дать определения, как математики, а Спиноза, как создатель системы, строившейся по образцу геометрии Евклида, при помощи определений и теорем.

А. У них, однако, нет и того, что дали греки. По случайности, эти три мыслителя, в особенности второй и третий, были не очень восприимчивы к искусству. У Декарта идея красоты, без определений, проскальзывает именно в его чисто научных трудах. Спинозе и Лейбницу она чужда. Впрочем, в „Этике“ есть, пожалуй, и определение — странное, почти „физиологическое“: „Если представляющиеся нашим глазам предметы вызывают в первах движение, способствующее здоровью, мы называем их *красивыми*, а в случае обратного — *безобразными*“. Он говорит там же: „Люди предпочитают порядок беспорядку, как если бы порядок соответствовал чему-либо реальному в природе. Поэтому они говорят, что Бог создал вещи в порядке. Тем самым они, сами того не замечая, приписывают Богу воображение, — если только, по случайности, они не утверждают, что Бог, предвидя воображение людей, расположил все так, чтобы они могли бы все вообразить с наибольшей легкостью. Их, конечно, не остановит тот факт, что бесконечное число вещей далеко превосходит наше воображение и что великое их множество его подавляет, вследствие его слабости“. Кажется, единственный раз в жизни Спиноза тут добавляет слова, его стилю вообще не свойственные: „Но довольно об этом предмете“*. Жаль, что довольно: мы послушали бы еще! Гуго Боксель в письме к Спинозе высказался за существование привидений, „так как их существование нужно для красоты и совершенства мира“. Довод был, во всяком случае, изобретательный. Одна-

*Spinoza, L'Ethique, Traduction Raoul Lantzenberg, Paris, s. d., p. 59.

ко Спинозе он, по-видимому, показался просто глупым. Он ответил, что привидения едва ли очень увеличили бы красоты мира, — чем они были бы лучше разных выдуманных чудовищ, кентавров, сатиров, грифонов? Но тут же — опять неожиданно — Спиноза добавил несколько слов о красоте вообще: „Самая прекрасная рука покажется отвратительной, если на нее посмотреть через микроскоп. Некоторые предметы на расстоянии прекрасны, а вблизи уродливы. Сами же по себе и в отношении к Богу, вещи не уродливы и не прекрасны. Поэтому тот, кто говорит, что Бог сотворил мир для того, чтобы он был прекрасным, должен признать одно из двух: либо Бог создал мир ради удовольствия и зрительных свойств людей, либо Он создал удовольствие и зрительные свойства людей ради мира“*. В другом месте, в своей мрачной 39-й теореме третьей книги, в теореме о ненависти, он чуть ли не из нее, из ненависти, выводит и понятие добра: „Тот, кто кого-либо ненавидит, старается сделать ему зло, если только не опасается, что от этого произойдет большее зло для него самого. Наоборот, если кто кого любит, он старается сделать тому добро *под тем же условием*...“

Л. Ваш вывод несколько смел: эти слова никак не означают, что Спиноза из ненависти *выводил* добро.

А. Он, во всяком случае, выводил его из наших ощущений: „Под добром я разумею тут все роды радости и то, что им способствует, а в особенности то, что умиротворяет сожаление, каково бы оно ни было...“ „Мы ничего не желаем потому, что считаем желаемое добром: напротив, мы называем добром то, чего мы желаем...“ Нет, у Спинозы не приходится искать учения о „Красоте-Добре“. Вы спрашиваете еще о Лейбнице. Хотя это не имеет тесного отношения к занимающему нас вопросу, но какого Лейбница вы имеете в виду? Классического, конформистского автора „Монадологии“ и „Опыта о доброте Господней и о свободе человека“, друга пяти или шести монархов, в том числе и Петра Великого, или недавно раскрытого и изученного, другого, неожиданного

*Philosophy of Benedict de Spinoza, Translated by R. N. M. Elwen, New York, p.388.

Лейбница, автора произведений, которых он при жизни никому не показывал и которые пролежали двести лет под спудом в рукописях; только одно из них он показал янсенисту Арно и больше не спешил никому показывать, когда Арно пришел в ужас. Не хочу поднимать старого вопроса о том, был ли Лейбниц Спинозистом*, но первый Лейбниц отрекался от не-конформистского Спинозы, называл „Этику“ слабкой до удивления книгой и даже утверждал, что видел ее автора всего раз в жизни, причем Спиноза рассказал ему „несколько хороших анекдотов“. Автор „Этики“ в качестве анекдотиста был бы, конечно, фигурой довольно неожиданной. Однако позднее было установлено, что Лейбниц встречался со Спинозой беспрестанно в течение целого месяца и вел с ним длинные философские и ученые разговоры. Скрывать это было, собственно, ни к чему даже в то время, и, разумеется, весьма досадно, что разговоры этих двух столь необыкновенных людей до нас не дошли. Профессор Людвиг Штейн, написавший об этой странной истории очень интересную книгу[†], допускает разные объяснения: быть может, у Лейбница была плохая память — объяснение тоже неожиданное, если принять во внимание колоссальные, всеобъемлющие познания этого человека; быть может, он боялся себя скомпрометировать знакомством с проклятым пантеистом, каким влиятельные люди считали Спинозу, — объяснение гораздо более правдоподобное; скорее же всего он для себя ставил вопрос так: либо Спиноза, либо я, — если прав Спиноза, то моя система не существует. Как бы то ни было, через много лет после смерти Спинозы Лейбниц уклончиво и неодобрительно называл его „некоторый, слишком известный Новатор“ („un certain Novateur trop connu“). В девятнадцатом столетии профессор Шульце напечатал рукописные замечания, сделанные Лейбницем на экземпляре книги Спинозы, сохранившемся в Ганноверской библиотеке. Появилась в печати и так называемая Вахтеровская рукопись Лейбница. Бертрам Рассел, глубокий знаток произведений германского философа-математика, пришел к

*L.A. Foucher de Careil, Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz, Paris, 1854.

†Ludwig Stein, Leibniz und Spinoza, Berlin, 1890.

печальной мысли, что Лейбниц был в каком-то смысле человеком двойной умственной жизни*. Вдобавок, уже после работ Рассела, совсем недавно появилась в печати новая Лейбницева рукопись. К некоторому стыду нашей петербургской Публичной библиотеки, она пролежала там под спудом без малого полтора года: это была рукопись из богатейшей библиотеки графа Залусского, отошедшей к России после третьего раздела Польши и возвращенной польскому правительству после Первой мировой войны. Сама по себе она не очень важна, но в ней есть отрывочные записи Лейбница на его немецко-французско-латинском языке, довольно циничные по существу и, по-моему, вполне подтвердившие общий взгляд Рассела^д.

Л. Действительно, книги, напечатанные Лейбницем при жизни, были очень удобны для людей его времени и в особенности для людей власть имущих, которые, впрочем, едва ли его читали и в большинстве знали об его идеях лишь понаслышке. Но я не охотник до „развенчиваний“ в стиле Рассела и других, да не очень он Лейбница и развенчал...

А. Он, конечно, и в мыслях этого не имел; как математик Лейбниц, во всяком случае, бессмертен, и кому же, как не Расселу, это ценить? Если не ошибаюсь, он и в вековом споре о приоритете по изобретению дифференциального исчисления не так уж целиком принял сторону Ньютона против Лейбница, во всяком случае, принял менее горячо, чем некоторые английские и даже французские^а исследователи.

Л. Упреки же в угодничестве перед властями подвергались вдобавок десятки больших философов. Напомню, что Уильям Джемс называл философию Гегеля удобным пансионом на берегу моря, а тот же цитируемый вами Рассел говорит, что Гегель изобре-

*Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, New York, 1945, pp. 581—596 и A critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge, 1906.

^дLeibniz, Lettres et fragments, publiés par Paul Schrecker, Paris, 1934.

^аMaurice Halbwachs, Leibniz, Paris, s. d., p. 6.

зил Вселенную по образцу прусского государства, и что молодому человеку гораздо легче получить университетскую кафедру, если он гегелианец (или кантианец). По-моему, это еще больше относится к Лейбницу, чем к Гегелю.

А. Это не относится ни к тому, ни к другому. В гегелевском пансионе на берегу моря поселились не только „сто сорок профессоров“, но и Карл Маркс. Ведь в известном, узком, смысле, со всякими оговорками, он все-таки был „гегельянец“.

Л. Уж если мы себе позволили и это отступление в сторону, то я скажу, что Лейбниц и как человек был фигурой чрезвычайно привлекательной. У меня, в отличие от вас, большая любовь к оптимистам. Фонтенелль изобразил Лейбница чуть ли не весельчаком*. Недоброжелатели ему в упрек ставили лишь некоторую бережливость — рассказывали, что он в подарок молодым, выходящим замуж барышням всегда приносил только тетрадку с житейскими правилами и советовал им заниматься собственноручно стиркой белья. Ничего хуже этого они не придумали. Он, правда, был очень счастливым человеком: если бы не подагра на старости лет и не этот приоритет Ньютона в вопросе об открытии дифференциального исчисления, у Лейбница, кажется, никаких серьезных огорчений в жизни не было.

А. Я несколько не отрицаю, что „лейбницианское состояние ума“ одно из самых счастливых, и вам незачем ссылаться на мелочи его жизни. Вы, очевидно, хотите убедить меня в том, что у Лейбница, как и у Спинозы, нет намека на древнее учение о красоте-дobre? Я без всяких возражений с этим соглашаюсь. Действительно, нет. Они этих двух понятий не сочетали и первым из них даже как будто не интересовались. Быть может, Лейбниц, как столь много других больших людей, прошел мимо платоновской „теории красоты“ так, точно ее никогда и не существовало. Но что же, собственно, из этого следует? В этике главный интерес Лейбница это проблема существо-

*Bernard de Fontenelle, Eloge de M. Leibniz, Paris, 1839.

вания зла в мире. Ее обсуждение, по-моему, самое ценное в философском наследии Лейбница. Никаких монад, ни без „окон“, ни с „окнами“, не существует, нет и „предустановленной гармонии“, и самое ценное теперь в его чисто философском наследии — именно конформистский „Опыт о доброте Господней и о свободе человека“. Эту книгу иначе можно было бы назвать „О том, почему существует зло“: „Если Бог существует, откуда зло? Если Его нет, откуда добро?“ Лейбниц полемизирует с Бейлем, но через него часто в сущности с Декартом. И в его постановке вопроса огромная сила и острота: *необходим* только Бог. Правда, Бог руководился желанием создать возможно больше и поэтому создал и зло, сделав и законы природы случайными, „zufällig“, „lois de convenance“. Почему же Бог желал создать возможно больше? Ответ: Wertprädikat* „добро“ возможен только при существовании Wertprädikat'a „зло“. Лейбниц приводил всегда великое множество питат — у него к ним была слабость и, по-моему, очень хорошая, приятная и полезная слабость, — но в этом вопросе он призвал к себе на помощь уж слишком много самых разных, порою неожиданных, союзников. На „еще недостаточно оцененного Маймонида“ он ссылается тут хоть, по-видимому, по праву, но зачем ему были нужны десятки трехстепенных авторов, почти забытых уже в его время? И при чем тут был Декарт, которого оп тут же, впрочем, „исправляет“? При чем тут был Макиавелли? Лейбниц косвенно использовал и Тертуллиановы „это достойно веры, потому что бессмысленно“, „это достоверно, ибо невозможно“⁴. Он не обошелся даже без Дьявола, который мог быть виновником образования зла в мире. И все-таки кончил он выводами умеренными: добро количественно преобладает в мире над злом⁴. Да и к выводам он пришел с оговорками: есть, говорит он, тысячи способов доказать то, что он утверждает, незачем останавливаться только на некоторых из них; верить можно хотя бы разумно („raisonnablement“), если и нельзя

*Сказуемое ценности (нем.).

²Leibniz, Discours de la Conformité de la Foi avec la Raison, Paris, 1839, p. 507.

⁴Leibniz, Essais sur la Bonté de Dieu et la Liberté de l'homme, Paris, 1839, p. 59.

верить с доказательствами („démonstrativement“). В заключении же первой части своего труда он говорит: „А может быть, в сущности все люди одинаково плохи и, следовательно, не могут себя различать по добрым или наименее плохим качествам. Но они плохи неодинаковым образом“. Отсюда *мог* быть переход к снисходительной этике греков, но вы правы, Лейбниц им не заинтересовался. Он ставил себе целью „оправдание добра“. Эта проблема у него основная; кажется, только о ней он говорит с подлинной страстью, с вдохновением, и уже хотя бы поэтому никому не удастся его „развенчать“, если б даже у кого-либо явилось столь странное желание. Вы могли бы не упоминать о вашей любви к оптимистам, однако, в самом деле его оптимизм не имел пределов. Мысль Гегеля „все действительное разумно“, имевшая у нас когда-то столь шумный успех (быть может, как некоторые думают, и неправильно понятая), целиком дана у Лейбница: „Бог выбрал лучший из всех возможных миров“. Как видите, Вольтер, высмеивавший Лейбница в Панглоссе, цитату привел почти дословно... Думал ли Лейбниц, что „красота“ в оправдании не нуждается? Или что она оправдана быть не может? Скорее всего, повторяю, это просто его не очень интересовало. Что же, не интересоваться этим было полное его право, и вы так же мало можете нанести ущерб платоновской идее ссылкой на него, как ссылкой на участников Лундского конгресса. Он рассматривал воображение, то есть одну из основ искусства, как *cognitio confusa**. Вероятно, так же думал и Спиноза. Теорем о красоте у него нет.

Л. Их нет и ни у кого другого или они неверны. В эстетике есть десятки всевозможных определений красоты, и они большей частью либо тоже ничего не определяют, либо, в лучшем случае, дают определение только одного рода искусства или даже одного направления в нем. Это отчасти объясняется, быть может, тем, что теорией искусства обычно занимались люди, не бывшие в нем *творцами*. Имею в виду не философов ему враждебных — и к ним мы собственно должны отнести самого творца или главно-

*Беспорядочное познание (лат.).

го творца идеи „Красоты-Добра“: Платон, по крайней мере в „Государстве“, учинил искусству погром. Кстати, Бенедетто Кроче видит, кажется, смягчающее обстоятельство в том, что погром был „грандиозный“: „la seule vraiment grandiose négation de l'art“*. Не говорю и о великих умах, которые к искусству были совершенно равнодушны. Не думаете ли вы, что для запятия *теорией* искусства все-таки нужно было бы обладать хоть некоторой способностью к творчеству в нем? Баумгартен, определивший слово „эстетика“, как „низшую гносеологию“, интересовался философией, теологией, правом, но к искусству никакого отношения не имел. Он напоминал чеховского профессора Серебрякова, который всю жизнь занимался искусством, ничего не понимая в искусстве. Но вспомните и людей гораздо крупнее, чем Баумгартен. Страницы, посвященные искусству Шопенгауэром, конечно, в его книге слабейшие. Он, впрочем, сам говорит, что искусство относится лишь к праздничным дням, а не к будням жизни. Художник, живущий (в материальном отношении) „милостью муз“, то есть своим талантом, подобен, по его мнению, проститутке, продающей свою красоту. Отсюда следовал вывод, что каждый художник должен иметь еще и другое, настоящее занятие. Разумеется, этого ценного предписания он не относил к философам. Правда, он был состоятельным человеком, и, вдобавок, его книги, в течение почти всей его жизни, никакой коммерческой ценности не имели. Он считал оперу унижением музыки, а балет позором искусства#. Гегель был тут, во всяком случае, много снисходительнее: он считал искусство одним из трех способов раскрытия истины, но низшим из трех: на первом философия, на втором религия. Некоторые же виды откровения истины, по его мнению, искусству вообще недоступны... Я знаю, что эта часть нашей нынешней беседы особенно рискует стать беспорядочной и фрагментарной: этика самая темная из наук, и, быть может, именно потому темная, что создавалась толь-

* „Единственное истинно грандиозное отрицание искусства“. Пер. с фр. автора. — Benedetto Croce, *L'Esthétique comme science de l'expression*, Paris, 1904, p. 154.

Arthur Schopenhauer, *Parerga und Paralipomena*, Leipzig, vol. II, § 21, p. 454.

ко учеными. Другая сторона не высказалась. Великие художники, к сожалению, почти не занимались осмысливанием того, чему отдали всю жизнь. Или, по крайней мере, не писали об этом.

А. Некоторые писали: Микеланджело, Толстой.

Л. Достаточно известно, что Микеланджело говорил преимущественно об особенностях разных сортов мрамора, о камнеполомнях, о технической стороне своего дела, а о „красоте“, об ее теории очень мало. По суждению же Толстого, авторы противоречивых и нелепых эстетических теорий нарочно эти теории выдумывают для того, чтобы привилегированные классы могли с уверенностью восхищаться глупейшими и бездарнейшими художественными произведениями. Сам он видел сущность искусства в способности *заражать* людей. Собственно, это не так уж расходилось с „состоянием восхищения“ в трехтомной эстетике Гегеля. И самые условия, которые ставил Гегель* художественному произведению для того, чтобы оно превратилось в „истинно поэтическое создание искусства“, могли бы без большой натяжки, хотя и неохотно, быть приняты Толстым, — все эти „*gehaltsreich*“ „*einheitsvoll*“ „*mit der Wirklichkeit erfüllt*“[†]. Только они не очень много и означали. Слова же „заражение“ Гегель не употребляет. Но ведь это не определение искусства, а лишь один из его признаков, вдобавок несколько не обязательный: „*Education sentimentale*“[‡] или „*A la recherche du temps perdu*“[§] никого ничем „заразить“ не могут, что несколько не мешает им быть замечательными художественными произведениями. Но если бы толстовское определение и было верным, то оно не могло бы вам пригодиться для разъяснения идеи Kalos, так как Толстой говорит не о „красоте“ и выводит искусство не из нее. И уж совершенно бесполезно обращаться к современным трудам по эстетике, — там хаос еще

* Hegel, Vorlesungen ueber die Aesthetik, Werke, Berlin, 1842, vol X, p. 35.

† „Содержательный“, „единообразный“, „выражающий действительность“ (нем.).

‡ „Воспитание чувств“ (фр.). — Роман Г. Флобера. — Прим. ред.

§ „В поисках утраченного времени“ (фр.). — Роман М. Пруста. — Прим. ред.

большой. Каррит делит определения красоты на разряды: определения гедонистически-моральные (Платон, Рескин, Толстой, — Толстой как-то оказался у него и гедонистом!), реалистически-типичные (Аристотель и тоже Платон), интеллектуалистические (Кант, Колридж), эмоциональные (Шопенгауэр, Ницше), экспрессионистские (Бенедетто Кроче). И все эти ученые слова означают именно то, что нет никакого удовлетворительного определения. Вывод автора: „Всякая красота есть выражение того, что может быть названо взволнованностью“*. Не стоило, по- моему, и огород городить. Почти столь же ценный вывод у Сантаяны: „Красота есть удовольствие, рассматриваемое, как качество вещи“[†]. Помоему, „честнее“ оказался Алэн, философ еще недостаточно оцененный. Он прямо говорит: „Я как на стену наткнулся на красоту“ („Je me heurtai à la beauté comme à un mur“[‡]). К самому интересному из всего написанного о красоте принадлежат страницы Франка. Но он справедливо считает красоту „нейтральной“: „Красота как таковая нейтральна, в каком-то смысле равнодушна к добру и злу“[§]. Сходный смысл, вероятно, имеют тютчевские стихи: „Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо — Во всем разлитое таинственное зло...“ Нет, на идее Kalos никакой философии не построишь.

А. Я и говорил вам, что я понятие „Красота-Добро“ строю на системе произвольно выбранных аксиом. Поэтому ваши возражения бьют мимо цели. Не буду повторять того, что я говорил о геометрии Гильберта.

Л. Позвольте в таком случае и тут уточнить или, если хотите, „заострить“ вашу мысль. Очевидно, в области „красоты“ вы исходите из такой системы аксиом, при которой, скажем, „Макбет“, „Юлий Цезарь“, „Война и мир“, „Ночной дозор“, Девятая симфония (я знаю ваши вкусы в литературе, в живописи, в музыке) признаются великими произведениями ис-

*E.F.Carritt, The Theory of Beauty, London, 1914, p.200.

†George Santayana, The Sense of Beauty, New York, 1896, p.49.

‡Alain, Préliminaire à l'esthétique, Paris, 1939, p.5.

§С.Л.Франк, Непостижимое, Париж, 1939, стр. 217.

куства. Вы, вероятно, добавляете к ним, например, несколько знаменитых пейзажей, чтобы было и *das Natur-Schöne*, еще десять или двадцать художественных произведений, называете это произвольной системой аксиом и строите философский взгляд на таком *petitio principii*! Добавлю к этому, что и основания такой системы не постоянны и меняются с течением времени: даже эпопея „Войны и мира“ в России была признана не сразу и вначале подверглась грубейшим и глупейшим нападкам — за ней отрицались многими „критиками“ и художественные достоинства; а во Франции ее первое издание (которого было продано *шестнадцать* экземпляров) не имело ни малейшего успеха (оставим в стороне исключение: восторженный отзыв Флобера в письме к Тургеневу). В год появления Девятой симфонии музыкальные критики более или менее сошлись на том, что Бетховен помешался. Рембрандт в конце жизни совершенно вышел из моды, впал в нищету, должен был служить натурщиком для молодых художников, которые верно потешались над его прошлым творчеством, как, скажем, теперь французские художники и критики потешаются над каким-нибудь Леоном Бонна, — „подумать только, что нашим отцам и дедам *это* правилось!“

А. Действительно вы мою мысль „заострили“, но против этого я не очень возражаю, хотя в указанном вами *petitio principii* неповинен.

Л. Очевидно, вы применяете ваш метод „выборных аксиом“ и ко второму понятию вашей двучленной формулы: к добру?

А. Не я применяю: это делает жизнь. То, что Спиноза говорит о „микроскопе“, естественно относится и к этике. И дело тут, разумеется, не только в разнице эпох. Гитлер и Рузвельт были современниками, но если бы они встретились и поговорили друг с другом „откровенно“, то понадобились бы услуги не

*Предвосхищение основания (*лит.*) — логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства. — *Прим. ред.*

только переводчика-лингвиста, но и, так сказать, переводчика от морали. Я не виноват в том, что, например, заповеди Моисея так же „недоказуемы“, как учение Ницше о сверхчеловеке или как нигилизм Штирнера. Но человек может и обязан произвести выбор: он сам устанавливает для себя аксиомы. То, что я назвал „Ульмской ночью“, то, что я называю „картезианским состоянием ума“, уже предполагает выбор в аксиоматике. Я не мог бы *доказать*, что Декарт „благороднее“ Франца Бёма. Однако самое сопоставление этих двух имен я тут произвожу, преодолевая чувство брезгливости. Вполне возможно было основать „стройное мировоззрение“ на гитлеровских аксиомах. Еще легче основать его на аксиомах ленинских (которых я, при всем своем антибольшевизме, с гитлеровскими не сравниваю). И уж, конечно, тут сослаться на среднего человека было бы и бесполезно, и очень тягостно. За Гитлером пошли десятки миллионов представителей породы, так смело названной *homo sapiens*. Если б Гитлер победил, десятки миллионов, разумеется, превратились бы в сотни. Аксиомы Ленина уже приняты сотнями миллионов людей, — притом в немалой части и по нашу сторону „железного занавеса“, то есть приняты свободно. Сотни миллионов людей стоят и за аксиомы демократического мира. Каков процент искренности у этих миллионов разных подразделений *homo sapiens*, — никому неизвестно. Процент жертвенности тоже неизвестен и, должно быть, очень незначителен. „On n'est martyr que des choses dont on n'est pas bien sûr“*, — говорил Ренан. А здесь что-то слишком многие уверены в своей правоте. Как и надолго ли разрешит история этот спор, грозящий перейти в драку — в самую кровавую драку в истории, — никто сказать не может. Но разрешит его не *логика*. Человечество и тут одинаково легко обойдется и без „Критики чистого разума“, и без „Критики практического разума“, и без „Критики способности суждения“. *Доказано* не будет ничего. И это, разумеется, нисколько не мешает каждому из нас выбрать и принять те или другие аксиомы.

* „Люди становятся мучениками лишь во имя того, в чем они не вполне уверены“. — *Пер. с фр. автора.*

Л. Допустим на мгновение, что можно исходить из произвольной аксиоматики в установлении понятий добра и красоты. Но если они неразделимы, то вы вынуждены отвергнуть искусство, никакого „добра“ в себе не заключающее. Вы не можете ведь отрицать, что есть и такое. Для того чтобы это признавать, не нужно думать с Андре Жидом, что „из добрых чувств создается плохая литература“. Или же вы считаете, что вечно только „доброе“, „здоровое“ искусство? Бёрпе говорил: „Я слишком здоров: не могу писать“. Обе эти „аксиомы“ — „вечно только здоровое искусство“ и „вечно только больное искусство“ — одинаково нелепы. Один поэт создает шедевры, хотя он „болен“, как Бодлер; другой их создает, хотя он „здоров“, как Пушкин. Но я готов допустить, что, если не „здоровое“, то „доброе“ искусство имеет больше шансов, чем „злое“, на относительную *вечность*, то есть на прочную любовь пяти-шести поколений. У самых же великих писателей, у таких, которые могут рассчитывать на любовь не пяти-шести, а десяти или двадцати поколений, вы и не скажете, „добры“ ли они или „злы“. У Толстого есть много очень жестоких страниц. „Записки из подполья“ — одно из самых замечательных произведений Достоевского. И что же вы тогда сказали бы о Прусте и о Сартре!

А. Я сказал бы прежде всего, что самое сопоставление этих двух имен совершенно недопустимо в художественном отношении. Пруст был гений, открывший в литературе четвертое измерение, а Сартр...

Л. Уж в этой области вы никак не установите сколько-нибудь твердой таблицы о рангах, Клодель сказал, как вы знаете: „Этот торжественный осел Гёте“. Задолго до него тот же Бёрпе говорил, что Гёте „ничтожество“, „трус“, „льстивый раб и дилетант“. Кьеркегор довольствовался тем, что называл Гёте „un adroit défenseur de fadaïses“*.

А. Все это Гёте и не очень повредило, и не понизило его места в литературной таблице о рангах... Я,

* „Ловкий защитник пошлости“ (фр.) — Пер. ред. Sören Kierkegaard, Journal, traduit par K.Ferlov et J.Gateau, Paris, s.d., p.207.

разумеется, понимаю, почему вы упомянули о Сартре. К сожалению, теперь вообще трудно вести философский спор, не натываясь на экзистенциализм, — или, по крайней мере, трудно было еще недавно: как будто эта малоинтересная и не слишком новая* доктрина уже начинает выходить из моды, но...

Л. Я упомянул об экзистенциалистах потому, что их учение имеет прямое отношение к нашей беседе. Вы называете его малоинтересным. Не могу с этим согласиться. У Кьеркегора есть множество тончайших мыслей, замечательна и сама идея „l'angoisse, l'angoisse devant le bien ou l'angoisse devant le mal“[□]. Еще сильнее страницы об Existenzzerhellung[△] у Ясперса[■] — на мой взгляд самого замечательного из экзистенциалистов, — в частности его страницы о смерти. Не думал я, что после Платона и Шопенгауэра можно о смерти найти новое и ценное у профессора. Очень хороши и страницы Габриеля Марселя о „chacun de nous est immergé“[□] и о „succession de tirages au sort“[□]. Я вменяю в вину экзистенциализму, что он совместим с чем угодно: у Марселя с католицизмом, у Алькие с марксизмом, у Лефевра с коммунизмом, у Сартра с его нынешним полукоммунизмом, а у Хайдеггера (в недавнем прошлом) с национал-социализмом, — как вы знаете, этот знаменитый мыслитель через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти произнес памятную речь о Шлагетере. И поклонники могли сказать в его защиту лишь то, что он „был соблазнен, как ребенок, самыми внешними проявлениями гитлеровского энтузиазма“, он действовал „больше по слабости“, его юные сыповья были национал-социалистами и оказывали на него вли-

*Это косвенно признает сам Ясперс, называя экзистенциализм „eine Gestalt der einen uralten Philosophie“, „образом древней философии“ (нем.). — *Пер. ред.* (Karl Jaspers, Existenzphilosophie, Berlin-Lcipzig, 1938, p.1.

[□]Тревога, тревога в предчувствии добра, или тревога в предчувствии зла (*Фр.*).

[△]Озарение существования (нем.).

[■]Karl Jaspers, Philosophie, Berlin, 1932, vol. II, особенно стр. 220—229.

[□]„Каждый из нас брошен на произвол судьбы“ (*Фр.*).

*„Черда жребиев“ (*Фр.*).

яние, и т.д.*. Хороши смягчающие обстоятельства: глава большого философского течения, поддающийся чарам нюрнбергских парадов, поддающийся под влияние мальчишек! И, хотя Сартр и теоретики вообще за это ответственности не несут, не приходится особенно удивляться молодежи из „кафе де Флор“ и „кафе Прокоп“: уж если l'existence précède l'essence^а (какое открытие!), то отчего же не заниматься весьма веселыми ночными похождениями?

А. Вы, конечно, вполне правы и в негодовании по поводу, скажем, действий Хайдеггера, и в том, что учение, которое легко совместить с самыми разными взглядами, с самым разным отношением к жизни, невольно вызывает к себе некоторую настороженность. Позвольте все же вам сказать, что это не имеет отношения к нашему *нынешнему* разговору, — отступления в сторону позволительны и, по-моему, желательны, но злоупотреблять их числом не следует. В связи с Kalos пас может тут интересоваться лишь Сартр, как романист и драматург. Я не отрицаю, что много ценных страниц есть и в его неудобоваримых философских трудах, даже в „L'Être et le Néant“^а с разными „permanences de la quiddité“^б, „circuits de l'ipséité“^в, с „les néants qui ne se néantissent pas, mais sont néantinisés“^г, — когда французский писатель начинает писать, как немецкий приват-доцент, он становится невыносим. К предмету нынешнего нашего разговора может иметь отношение лишь Сартр-романист. Мы говорили о картезианском состоянии ума, упоминали о лейбницевском. Что же (при всей неравности имен) можно, пожалуй, говорить и о сартровском. Его хроническое состояние ума может быть выражено заглавием его лучшей в художественном

*Alfred de Towarnicki, Visite à Martin Heidegger и Maurice Gandillac, Entretiens avec Martin Heidegger. Les Temps modernes, 1946.

^а„Существование предшествует сущности (фр.).

^б„Бытие и ничто“ (фр.).

^в„Постоянство сущности вещи“ (фр.).

^г„Круги последствий, вызванные каким-либо поступком“ (фр.).

^д„Ничто само не превращается в ничто, но бывает превращено“ (фр.).

отношении книги „La Nausée“*. Он описывает „тошноту“ раз сто, сделал из нее „состояние ума“ — и, с большим вкусом, придал ему картезианскую форму: „Так это тошнота? Эта ослепительная очевидность? Долго же я ломал себе голову и писал об этом! Теперь я знаю: я существую, мир существует...“ Выразимся вульгарно: Сартр дал нам cogito rвоты. Не возражаю. Он (и Селин), как купец Бородкин у Островского, „никому уважать не намерены“... Если Хайдеггера „die Philosophie des lebendigen Geistes, der tatvollen Liebe, der verehrenden Gottinnigkeit“⁴ странным образом привела к Гитлеру, то Сартра экзистенциализм привел, с одной стороны, к психологии „La Nausée“, к философии „Les Mouches“⁴ с ее хором Эриний⁵, очень напоминающим стишки в „философских драмах“ Луначарского, к бульварным театральным пьесам и фильмам в чистейшем голливудском стиле — с револьверами, винтовками и бомбами, да еще — к мегаломании. В конце одного из своих художественных произведений он говорит: „Уже ему предлагали услуги испытанные системы морали: был разочарованный эпикуреизм, была резиньяция, был дух серьезного, был стоицизм, все, что помогает наслаждаться, от минуты к минуте, в качестве знатока, неудачной жизнью“. Другая еще более ироническая страница о „гуманисте“, — радикальном, католическом, социалистическом, все равно каком, — не стоит ее приводить. Смысл ее таков, что гуманисты этих течений (то есть поясним от себя: Спиноза, Мишле, Ламенне, Жорес) — старое дурачье, — об их учениях и говорить без издевательства нельзя. Очевидно, только экзистенциализм (в его сартровском варианте) есть дело серьезное. У читателя невольно возникает вопрос: „А кто же такой этот господин Сартр?“. Забавно

* „Тошнота“ (фр.).

⁴ „Философия живого духа, действительной любви, почитаемой божественной сущности“ (нем.). — Пер. ред. Martin Heidegger, Die Kategorien und Bedeutungslehre des Dñns Scotus. Tübingen, 1916, p.79.

⁵ „Мушк“ (фр.).

⁶ „Bzz, bzz, bzz, bzz. Heiah! Heiah! Heiahah! Bzz, bzz, bzz, bzz!“ — (J.-P.Sartre, Les Mouches, Paris, 1943, p.16). У Луначарского никак не хуже. Например, в мистерии „Иван в раю“ „хор богоборцев во главе с Каином и Прометеем“, начинающийся так: „Ад-дай-дай — У-у-у — Грр-бх-гайдазх — Авай, авай, пхоф-бх“. Или же песня „девомальчика“ в его же „Василисе Премудрой“: „Навнау-унуя-навнау-у-у — Миньэта-ай-ай — Эй-ай — Лью-лью“ и т.д.

то, что вскоре он сам стал „гуманистом“ и даже, ничего об этом не зная, гуманистом очень старого иноземного толка... Конечно, я думаю, вы вспомнили о Сартре потому, что его литература представляет собой прямое отрицание идеи „Красоты-Добра“. Согласитесь, однако, что если учение Платона находится в прямом противоречии с художественным творчеством месье Сартра, то тем хуже для месье Сартра, а не для Платона. В связи с этим мы можем уделить особую беседу классической русской литературе: она одна из лучших иллюстраций к идее, о которой мы говорим.

Л. Боюсь только, что вы русскую классическую литературу будете *выводить* из „Красоты-Добра“, а „красоту-добро“ — из русской классической литературы, называя это иллюстрацией.

А. Сейчас упомяну лишь об одной особенностях *настоящего* русского искусства: до большевиков цинизм был ему чужд, и это важно не только с морально-политической точки зрения, но и с точки зрения эстетической. Циник в литературе неизбежно и очень скоро находит победоносного соперника в цинике гораздо более бойком. Мало того, писателям-циникам почему-то всегда приходит желание повыситься в чине и заняться философией, богоборчеством или хотя бы, например, коммунистической пропагандой. Эренбург стал коммунистом. Были такие же Эренбурги у фашистов. Можно поступить и еще проще, — зачем пропаганда? Генри Миллер, например, долго изумлял мир порнографией или тем, что писал всеми буквами непристойные слова. Казалось бы, продолжать и продолжать? Нет, ему понадобился „вызов Господу Богу“, „un coup de pied dans le cul à Dieu“, — предпочитаю уж цитировать по французскому переводу, да и то ограничусь одной строчкой из многих столь же умных и изящных. Как все они были хороши *до* своего повышения в чине!.. В *настоящей* русской литературе ничего сходного никогда не было и нет. Она не „говорила красиво“ и в ту далекую пору, когда это было на Западе чрезвычайно принято. Чехов сказал: „Ну какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного

поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить“*. Еще гораздо большая заслуга настоящей русской литературы в том, что не удивляла она людей и грязью, — хотя грязь самое легкое из всех „художественных достижений“. Большие русские писатели не писали ни как Сартр, ни как Генри Миллер. Они к своему делу и относились совершенно иначе: прицел был более дальний. Толстой разочаровался в искусстве за много лет до „Воскресения“. Но... Как вы помните, этот роман печатался в „Ниве“, проходя, кстати сказать, через двойную цензуру: и государственную, и цензуру редакции, очень боявшейся повредить репутации „журнала для семейного чтения“. Издатель вдобавок очень торопил автора и — правда, весьма почтительно — просил его ускорить присылку очередных частей рукописи. Толстой, забыв о своем „отрицании искусства“, ответил: „Пословица говорит: скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается. И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются, а сказки, если они хороши, живут очень долго“#. Это вам не Миллер и не Сартр.

Л. Дело не в них одних, а в огромной части новейшей западной литературы (другой же в настоящее время нет: о советской не стоит говорить, она теперь общепризнанное пустое место). Да и вся западная литература, хотим ли мы того или нет, к идеям „Красоты-Добра“ и к Толстому не вернется: у него для нее, при всем его тончайшем до незаметности юморе, недостаточно едкости и иронии. Кажется, „Плоды просвещения“ — единственное чисто ироническое произведение Толстого и, во всяком случае, единственное с ироническим заглавием. Нет у него ни обнаженной мизантропии, ни беспросветного пессимизма. А наша эпоха именно к этому располагает, как, впрочем, и некоторые прежние. Напомню вам страницу из „Философии искусства“ Тэна: „Зло, припесенное варварами, неопишимо: были истреблены

*Чехов в воспоминаниях современников, Москва, 1952 год, стр. 476.

#Звенья, том IV, стр. 77.

народы, разрушены памятники, опустошены поля, сожжены города, уничтожены, унижены, забыты промышленность, искусства, науки, везде парили страх, невежество, грубость... Земля не возделывалась, съестных припасов не хватало. В XI веке на семьдесят лет насчитывалось сорок лет голода. Монах Рауль Глабер сообщает, что стало привычным есть человеческое мясо; один мясник был сожжен живьем за то, что выставил его в своей лавке. В общей грязи и нищете были забыты самые обыкновенные правила гигиены, распространились повсюду чума, проказа, эпидемии... Легко угадать чувства, вызванные подобным положением в душах людей. Сначала были подавленность, отвращение от жизни, черная меланхолия. Один писатель того времени говорит: „Мир — бездна злобы и бесстыдства...“⁴ Нынешние пессимисты все же несколько преувеличивают, говоря, что никогда в истории не было времени подобного нашему. Я не пессимист, но думаю, что долго, очень долго не будет в мире той отстоявшейся, прочной, некатастрофической или „акатастрофической“ обстановки, которая необходима для торжества в искусстве принципа „Красоты-Добра“.

А. Вы, очевидно, забыли, что Тэн написал эту свою картину в объяснение происхождения готики! На смену подавленности, отвращения и меланхолии пришла религиозная экзальтация — и появилось готическое искусство. Иными словами, появилось одно из замечательнейших выражений „Красоты-Добра“ в истории. Со всем тем, я отказываюсь что бы то ни было предсказывать и в искусстве. Большой художник подписывал свои картины: „Coubet sans religion et sans idéal“⁵ в более или менее „акатастрофическое“ время. Возможно, что искусство частью и к этому приблизится, однако никак не в циничном варианте.

Л. Итак, вы в основу своей системы (в кавычках или без кавычек) кладете три идеи: случай, которому дали весьма странное определение, „выборную акси-

⁴Н. Taine, *Philosophie de l'art*, Paris, 1904, vol. I, pp. 76 — 78.

⁵„Курбе без веры и идеалов“ (*фр.*).

оматику“, которая по меньшей мере весьма спорна, и понятие „Красоты–Добра“, которое вы определить отказатьетесь и готовы лишь пояснить иллюстрацией. Не могу сказать, чтобы это меня удовлетворяло. Сегодня же, если я вас правильно понял, вы еще весьма увеличили роль „kalos“, отметив, что Декарт и в своих чисто научных трудах исходил отчасти из *эстетического* начала. Я думал, что он, как все ученые, исходил из опыта и наблюдения.

А. Разумеется. Но когда оказывался возможным выбор между двумя научными теориями, одинаково пригодными для группировки и объяснения фактов (а такой выбор возможен почти всегда), Декарт отдавал предпочтение той, которая ему казалась более *красивой*. В этом, конечно, сказывался именно недостаток веры в вечность аксиом и в существование *абсолютной* научной истины. Сопоставляя космологии Птолемея, Тихо де Браге, Коперника и свою собственную, он не опровергает три первые (между собой не связанные): он говорит, что они приблизительно стоят друг друга; все они не истины, а только гипотезы. Но гипотеза Коперника, по его мнению, проще и яснее, а потому лучше гипотез Птолемея и Тихо; что же касается его собственной, то она имеет еще большее преимущество *изящества*. При этом он совершенно определенно указывает, что дело идет не об истинном существе явления, а лишь об его гипотетическом выражении*. Я себе не представляю более замечательного определения целей, задач и методов науки: в *этих* страницах Декарт заглянул вперед на два столетия, и тут, быть может, тоже один из заветов „Ульмской ночи“. Лейбницу, например, или Спинозе такая мысль была бы наверно чужда. Добавлю, что, поскольку дело идет о *красоте*, как об одном из критериев ценности научных теорий, Декарт имел и предшественников. У Коперника в применении к научным положениям беспрестанно встречаются такие слова, как „nobilis“, „divinus“,

*Descartes, Principes la de philosophie, III, XVI, XIX. Oeuvres publiée par C.Adam et Paul Tannery, Paris,1905, vol.VII, pp.85-86. — Более подробно излагается мысль Декарта в работе автора настоящей книги „Actinochimie“, Paris, 1936, pp. 59 и след.

„mirabilissimus“*. Галилей еще чаще говорит о „specolazione tanto gentile“, о „bella meditazione“, о „veramente angelica dottrina“#. В его диалоге Салредо говорит Сальвиати об одной доктрине, что ему казалось святотатством посягнуть на столь прекрасное научное строение: „Lasciar si bella struttura“^Δ. Декарт тут пошел лишь дальше, чем они. Современным физикам (в широком смысле слова) сочетание истины с красотой может показаться ересью; но и у них — уж совершенно бессознательно — то и дело проскальзывают неожиданно эстетические идеи и оценки. Знаменитые опыты Вильсона довольно единодушно прозваны „самыми красивыми опытами в истории науки“, и, может быть, эта их сторона даже более важна, чем их чисто научное значение. Научное творчество в *корнях* имеет немало общего с творчеством художественным.

Л. Из отдельных и случайных замечаний Декарта, Коперника, Галилея нельзя сделать тех выводов, которые делаете вы. Вдобавок мы весьма часто видим больших ученых, ничего не понимающих в искусстве, и больших художников, не имеющих ни малейшего представления о науке.

А. Это верно. Тем не менее некоторые свойства, как, например, наблюдательность и воображение, одинаково необходимы и тем и другим. По-моему, людям науки и искусства надо было бы раза два или три в жизни менять специальность. Это было бы весьма полезно и им самим, и тем, для кого они работают.

Л. Теперь человеческой жизни едва хватает для изучения даже *одной* специальности!

* „Благодарный“, „божественный“, чудеснейший“ (лат.). — Пер. ред. Nicolai Copernici Torunensis, De revolutionibus orbium coelestium, libri six. Варшава, 1854, в частности главы VIII и X.

„В высшей степени тонкое рассуждение“, „прекрасное размышление“, „учение действительно ангельское“ (итал.). — Пер. ред. Galileo Galilei, *Intorno a due nuove scienze*, Edizione Nazionale, 1898, vol. VIII, pp. 58, 75.

^ΔGalileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, vol. VII, p. 489.

А. Не будем ничего преувеличивать — особенно в угоду человеческой лени и косности. За исключением медицины, нет в настоящее время ни одной науки, которой человек средних способностей не мог бы в два или три года овладеть настолько, чтобы иметь возможность и право плодотворно в ней работать...

Л. Как же вы связываете идею добра с идеей случая? Вы вскользь сказали о возможности „сознательной борьбы со случаем, но не остановились на внутренней противоречивости этого понятия.

А. В чем же она? Вы, очевидно, разумеете под случаем один *несчастный* случай!.. Если человечество может со случаем бороться, то этим оно обязано случаю же. Так люди всегда и делали, — правда, бессознательно.

Л. Едва ли человек, исходящий из философии случая, может и делить его на счастливый и несчастный. Как вы определите, например, расщепление атома? В настоящее время специалисты склонны думать, что запасов угля на земле хватит всего на двадцать пять лет, а запасов нефти лет на пятьдесят. А так как расщепление атома несомненно даст нам новый вид энергии в теоретически безграничном количестве, то его надо считать „случайностью“ весьма счастливой; что делали бы без нее люди конца нашего столетия? С другой же стороны, та же случайность привела к созданию атомных и водородных бомб. Есть немало оснований предполагать, что эта сторона открытия будет иметь в истории характер прямо противоположный. И, конечно, тут незачем говорить, что ученые не ответственны за применение, которое дастся их открытиям. Конечно, ученые очень удобен такой взгляд — они нисколько, ничуть, ни в какой мере не ответственны, во всем виноваты нехорошие государственные люди. На самом деле ученые отлично знают, что делают, знают, для чего послужат их изобретения, знают, от кого получают жалования и награды. Но если б они ответственны и не были, то это ровно ничего не меняло бы... Правда, при некоторой доле „юмора висельников“ или при некотором

„панглосизме“ можно было бы сказать, что атомные бомбы очень уменьшат число потребителей энергии в мире и, следовательно, компенсируют истощение нефти и угля.

А. Обойдемся без панглосизма и без юмора висельников... Жизнь становится осмысленной именно в виду возможности борьбы со случаем, с его несчастными формами. О *знаке* же его, конечно, почти всегда можно спорить, тут вы правы: он совершенно ясен сравнительно редко. С точки зрения лютеранина, реформация была благом, с точки зрения католика — злом.

Л. Таким образом, борьба со случаем основана на случае же! Если в философии действует нечто вроде закона Ньютона — действие равно противодействию, — то не возвращаемся ли мы косвенно к общепринятым концепциям?

А. Вы не забыли о древнем различии между судьбой неотвратимой или *μοιρα* и судьбой отвратимой или *τυχη*. Наше право и наш долг всячески увеличивать вторую за счет первой в направлении, которое нам представляется желательным, то есть отвечающим принципам „Добра-Красоты“. Прогресс и заключается в борьбе с формами случая, им не отвечающими.

Л. Это по меньшей мере неожиданно. Почему борьбой со случаем, если таковая, тоже неожиданно, оказывается возможной, будет именно то, что соответствует идеям „Добра-Красоты“?

А. Как почему? Потому что такова должна быть и, вероятно, будет сознательная воля человечества. В той мере, в какой бороться со случаем возможно, — бороться надо, разумеется, с его *несчастливыми* видами. Его же *счастливые* виды тут все-таки открывают перед нами возможности, хотя бы и не очень значительные. Я никак не уверен, но немного надеюсь, что человечество на этом пути будет отмечать все противоречащее идеям, о которых мы говорим.

Оставим пока в стороне политику нынешних судьбоносных дней. В этом же нашем разговоре я хотел бы пояснить только одним примером возможность борьбы со случаем вне политических дел. Мы подробно обсуждали роль случая в истории. Немало следовало бы сказать о его роли в науке. Сколько великих открытий было сделано именно благодаря случаю, — можно было бы вспомнить и некоторые из открытий Фарадея, открытия Беккереля, Рентгена, Флеминга. И они были, по сознательной человеческой воле, обращены на борьбу со случаем. Человек в среднем живет столько-то лет в результате бесчисленных случайностей многотысячелетнего биологического процесса на Земле. Но теперь в цивилизованных и богатых странах продолжительность жизни удалось продлить: в Соединенных Штатах человек живет много дольше, чем в Индии.

Л. Вследствие уменьшения *детской* смертности.

А. Не только вследствие этого. Вакцины, пенициллин, кортизон, тетрациклин играют в настоящее время не меньшую роль, чем антидифтеритная сыворотка, и будут играть еще большую. С дифтеритом покончено, но скоро будет покончено и с желтой лихорадкой, благодаря открытию Тейлера. Появление проказы на Земле, когда бы оно ни произошло, хотя бы зародыши были занесены к нам откуда-либо с Млечного Пути, было результатом несчастного случая. Но то, что сульфатрон теперь излечивает эту болезнь, то, что в больнице в Пондоланде в 1952 году было излечено семьдесят четыре процента прокаженных, это результат счастливого случая, образец его блестящего и самоотверженного использования учеными врачами. Надеюсь, вы не будете отрицать, что это пример и Красоты, и Добра? Я люблю науку, вероятно, много больше, чем ее любит громадное большинство людей, требующих от нее невозможного: вечных, неоспоримых, непреложных аксиом и законов. По-моему, теперь в практическом применении точных наук и заключается одна из высших форм „калоскагатии“. Это применение мало зависит от государственного и хозяйственного строя. Оно с боль-

шим успехом осуществлялось во всех странах, включая гитлеровскую Германию и сталинскую Россию. Тем более оно успешно в свободных странах. Вспомните осушение Зейдер-зе, настолько увеличившее благосостояние голландского народа, вдобавок осуществленное без саморекламы, без тысячной доли шума, который устраивается большевиками по поводу всякого их Днепростроя! Это взятые наудачу примеры того, что *уже* сделано. Ну, а то, что может быть осуществлено в недалеком будущем — да и будет осуществлено, если не произойдет мировой катастрофы? Известны ли вам проекты доктора Джорджа Кимбля, главы Американского географического общества? Орошение земель Среднего Востока, искусственное обогривание Гольфстрима, использование необозримой потенциальной энергии реки Конго и т.д. Не может быть сомнения в том, что все это осуществимо, что такие гигантские предприятия перделали бы жизнь на земле и что стоили бы они несравненно меньше денег, чем теперь отпускается на вооружения в один год, чем стоила бы новая мировая война на одну неделю. А борьба за удлинение человеческой жизни? В Америке государство, университеты, промышленные фирмы оплачивают тысячи людей, изучающих рак и способы борьбы с ним. Если б на это дело и на дела сходные тратились не десятки миллионов, а десятки миллиардов, рак, вероятно, уже был бы или скоро стал бы тоже болезнью побежденной. Как же это назвать иначе, как сознательной борьбой со случаем? Вы правильно скажете, что это только паллиативы, вносящие незначительные статистические изменения в продолжительность человеческой жизни. Уверены ли вы в том, что не может быть „панацеи“, нового „эликсира жизни“, основанного не на гениальных и тщетных мечтаниях великих алхимиков (то есть тех же химиков — средневековья) и уж никак не на бреднях полоумных невежд или хитреньких шарлатанов более позднего времени? В медицинском смысле жизнь все-таки сводится к совокупности многочисленных химических реакций организма. Наука давно знает много катализаторов, то есть веществ, ускоряющих химические ре-

акции. Я не сомневаюсь*, что скоро будут найдены катализаторы отрицательные, то есть замедлители. И с большой вероятностью можно предположить, что со временем они будут применены к химическим реакциям, составляющим жизнь и, следовательно, и смерть. „Жизнь — это смерть“, — говорил знаменитый физиолог. То, что американское правительство и промышленные фирмы оплачивают труд ученых в лабораториях, должно признавать одной из форм борьбы со случаем, хотя ни президент Соединенных Штатов, ни председатель правления фирмы Дюпон де Немур такого наименования своей деятельности не дают... Не хочу забегать вперед и начинать сегодня разговор о русских идеях. Скажу только, что русской по преимуществу я склонен считать и идею удлинения жизни. Не говорю о Николае Федорове, — но в области точной науки главные „удлинители жизни“ были русские: Мечников, Богомолец, Воронов, новая школа терапевтики кислорода, производящая теперь опыты со стариками на Украине.

Л. Надеюсь, вы хоть не верите, что идея „борьбы со случаем“ может подействовать на воображение людей, захватить и воодушевить их. Сегодня вы какой-то случай победили, а завтра другой случай погубит вас! За такие „слоганы“ и в торговле никто не дал бы ни гроша. Человек этим руководиться не может.

А. Мы и не изобретаем „слоганы“ для торговцев. „Не может“, — говорите вы? Отлично может, но руководится весьма редко. „Картезианское состояние ума“ представляется мне и для наших дней — особенно для наших дней — одним из самых главных воплощений идеи „Красоты-Добра“. В него, как часть в целое, входят перечисленные мною формы борьбы со случаем; вы к ним легко добавите и некоторые другие... Несомненно, есть моральные системы, более возвышенные, чем декартовская. Но она перед ними имеет то преимущество, что вполне осуществима целиком, — вот ведь вы в частном вопросе, в споре с

*См. работу автора этой книги: „De la possibilité des idées nouvelles en chimie“, Paris, 1950.

*От *англ.* slogan — лозунг. — *Прим.ред.*

Поллом, отвергли сократовскую по ее неосуществимости.

Л. Если на Лундском конгрессе ничего лучшего и не было предложено (в чем я несколько сомневаюсь), то это ровно ничего не значит. Есть много лучшее, тоже древнее... Хайдеггер в одной из своих ранних работ называет метафизику „оптикой философии“. Мне хотелось бы понять оптику вашего миропонимания. Я его считаю метафизическим — в том смысле, в котором Гильберт говорил о возможности создания „метаматематики“. Введите еще эстетическую иерархию аксиом, и я назову ваш образ мыслей „метаэстетическим“.

А. Я обещаю не возражать и против такого — очевидно, обидного — наименования.

V.

Диалог о русских идеях

А. Мы условились, что будем говорить о русских идеях лишь до начала двадцатого столетия. Тургенев писал когда-то Константину Аксакову: „Всякая система — в хорошем и дурном смысле слова — не русская вещь; все резкое, определенное, разграниченное нам не идет“*. Существует и мнение, что настоящие философские системы стали появляться в России только в последние пятьдесят лет. Это мнение высказал профессор отец Зеньковский в своем выдающемся и незаменимом труде, удивительном по учености, по добросовестности, по беспристрастию#. Мне его мнение кажется несколько преувеличенным. Как и Бердяев, я не большой любитель „систем“, имеющих ответ на все. Во всяком случае, новейшие русские системы в каком-то смысле еще не „отстоялись“.

Л. Вы напрасно так думаете. Многие вполне закончено и стройно в книгах Лосского, Франка, Лапшина и некоторых других новейших русских философов. Быть может, они вам просто меньше известны.

А. Вполне признаю и это. Лишний довод для того, чтобы сузить рамки нашей нынешней беседы, — вообще ведь произвольные и условные. Все же вы согласитесь, что самые глубокие русские идеи были высказаны в философии, как и в литературе, до начала двадцатого столетия?

*Вестник Европы, январь, 1894, стр. 339.

#Проф. В.В.Зеньковский, История русской философии, Париж, 1948—1950 гг., том I.

Л. Вполне понимаю, что вы никак не собираетесь предлагать в этом разговоре философию русской культуры или историю русской мысли. Вы меня предупредили, что будете высказывать лишь отдельные замечания. Все же для ясности спора я хотел бы, чтобы основную вашу мысль или мысли о русской культуре вы формулировали в самом начале беседы.

А. Я могу это сделать. Разумеется, лишь кратко и в связи с тем, о чем мы говорили прежде. Я утверждаю, что почти все лучшее в русской культуре всегда служило идее „Красоты-Добра“ (условно называю ее Платоновским принципом). Русские писатели из этого не делали никакой „теории“; они и вообще мало занимались теорией своего творчества. Впрочем, Тургенев в „Гамлете и Дон-Кихоте“ пишет как что-то само собой разумеющееся: „Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, то есть в силу того, что они почитают правом, красотой, добром“. Тут уже есть и некоторое преувеличение: едва ли где бы то ни было „все люди“ — или хотя бы только люди высокой культуры — так-таки *живут* ради красоты и добра. Но самые замечательные мыслители России (конечно, не одной России) в своем *творчестве* руководились именно добром и красотой. В русском же искусстве эти ценности часто и тесно перекрещивались с идеями судьбы и случая. И я нахожу, что это в сто раз лучше всех „бескрайностей“ и „безмерностей“, которых в русской культуре, к счастью, почти нет и никогда не было, — или же, во всяком случае, было не больше, чем на Западе. Выдумка эта почему-то (мне не совсем понятно, почему именно) польстила русскому национальному самолюбию, была на веру принята иностранцами и стала у них общим местом. Другое сходное общее место это „мессианизм“, будто бы свойственный русской культуре. По-моему, в пей мессианизма не очень много, во всяком случае, гораздо меньше, чем, например, в культуре польской.

Л. На это я могу ответить, что ничто сильнее не сбивается на общее место, чем его отрицание.

А. Под „русской безмерностью“ иностранцы теперь (это не всегда так было) понимают крайние, прямо противоположные и взаимоисключающие мысли, ведущие, разумеется, и к крайним делам в политике, к подлинным потокам крови. Я не говорю, что это выдумали иностранцы. В громадном большинстве случаев обобщения, касающиеся характера каждого народа, точно так же, как оценка выших достижений его духовного творчества, даже табель о рангах в суждениях об его философах и писателях, этим же самым народом и создаются; иностранцы — по крайней мере вначале — принимают все это на веру; да это и вполне естественно. Русская „бескрайность“ выдумана в России. Из сотни возможных цитат приведу одну. „В душе русского народа, — говорит Н.А.Бердяев в своей известной книге, — есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине... Русский народ не был пародом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был пародом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности“*. Бердяев говорит еще, что „развитие России было катастрофическим“**. Он даже находит, что русский народ, как более обращенный к бескопечности, не желал „знать распределения по категориям. В России не было резких социальных граней, не было выраженных классов...“

Л. По-моему, это последнее утверждение не вполне совпадает с предыдущими; кроме того, думаю, что социальная грань между богачом-помещиком и крепостными, которых он мог продавать, была достаточно резкой. Но с первыми двумя утверждениями я вполне согласен: действительно русская история катастрофична; верно и то, что „бескрайность“ — основное свойство русской души, быть может, в самом деле вытекающее из бескопечности русской земли. С этим и спорить трудно.

А. Я не спорю с географией, но решительно оспариваю это положение национальной психологии, до которой, впрочем, я вообще не большой охотник, —

*Николай Бердяев, Русская идея. Париж, 1946, стр. 6.

**Там же, стр. 7.

помню слова Шопенгауэра: „Каждая нация издевается над всеми другими, — и все совершенно правы“. Но прежде всего условимся о пределах русской национальной культуры во времени. В одном я готов отчасти — только отчасти — согласиться с Бердяевым. Он считал московский период „самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу“, писал, что свободолюбивые славянофилы идеализировали его по недоразумению. Гораздо выше он ставил период киевский и особенно петербургский, „в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа“. Так же думал П.П.Муратов, писатель во многих отношениях замечательный. И такие же приблизительно мысли высказывал — по крайней мере в частных беседах — Г.П.Федотов, который превосходил Бердяева литературным талантом, да, по-моему, и глубиной и остротой мысли...

Л. Вы тут вторгаетесь в „табеля о рангах“, а она, вне государственной службы, повторяю, произвольна. Дело вкуса.

А. Конечно. Дело вкуса — и дело удачи. Бердяеву в лотерее философской славы достался выигрышный билет, а Федотову не достался: его на Западе не знают. Все же их мнение несколько преувеличено. К московскому периоду относятся и настоящие перлы русской мысли. Уж если обсуждать вопрос о „бескрайности“, то будем говорить о всех трех периодах.

Л. О четырех. Период советский для „бескрайности“ чрезвычайно характерен. Если мы говорим и о политике, необходимо начать с конца и заглянуть в двадцатое столетие.

А. Я понимаю. В доказательство „русской бескрайности“ иностранцы в последние пятнадцать лет особенно часто ссылаются на московские процессы с признаниями и покаяниями. Что ж, коснемся и этого. Кажется, кто-то уже сказал (или нет?), что искусство и мысль в СССР — это Трильби, голосом которой

всецело распоряжается кремлевский Свенгали*? Распоряжается без всякого гипнотизма, при помощи довольно простых средств. Советская литература, за редкими исключениями, элементарна до отвращения. Мне говорили совершенно серьезно, будто тут никакого вынужденного притворства нет: советские писатели будто бы *так* видят мир! Все же мне трудно предположить, что наследники вековой и очень сложной русской культуры (а ведь наследники и они, как мы) видят мир глазами дитяти, — разумеется, коммунистического дитяти. Для суждения же о крайностях русской души события большевистской революции и, в частности, московские процессы никак материала не дают. Да и при чем тут вообще *русская* душа? У самого Ленина *своих* личных идей было немного. Его идеи шли частью от Маркса, частью от Бланки. Да он и изучал философию так, как в свое время немецкие офицеры изучали русский язык: сама по себе она ему была совершенно не нужна, но ее необходимо было изучать для борьбы с врагом. Как же можно считать большевистскую идею русской?

Л. Я имею в виду не столько идеи, сколько психологию. Мы начали с конца, с „четвертого периода“, но уж если вы упомянули о московских процессах, то позволяю себе думать, что они действительно были *русским* психологическим явлением. Покаяние вообще идея русская, вспомните Раскольникову, Никиту из „Власти тьмы“, Катерину из „Грозы“...

А. Вспомните также дона Бальтазара в „Le Cloître“⁴ Верхарна. Берусь назвать еще десять примеров.

Л. Все же такой психологической мотивировки покаяния я в истории не помню. „Партии нужно, чтобы я был опозорен. Я иду на это: интересы партии выше и неизмеримо важнее моей личной чести“. На этом, как вы знаете, отчасти построен прекрасный

*Трильби и Свенгали — персонажи романа Джорджа Дюмурье „Трильби“. — *Прим.ред.*

⁴„Монастырь“ (*фр.*).

роман Артура Кестлера „Darkness at Noon“*, и в нем чувствуется недоумение европейца. Подсудимые Фукье-Тенвиля не каялись.

А. Кестлер напрасно недоумевает — если недоумевает. Его предположение, как оно вообще ни неправдоподобно, как оно ни противоречит человеческой психологии, еще можно было бы защищать, если бы подобные покаяния приносились лишь „фанатиками“ из старой гвардии (в которой, кстати сказать, ни единого „фанатика“ не было). Но сходные показания ведь давали и люди, которых честь большевистской партии никак интересоваться не могла, давали не большевики и не русские, давали генералы, кардиналы, дельцы. Это дело усовершенствованной техники. Фукье-Тенвиль ее не знал, и Робеспьер, быть может, запретил бы ему применять ее: Жан Жак Руссо не велел, да и как же насчет века просвещения? А в былые времена, до века просвещения, то же самое удавалось и при технике очень устарелой: в казематах Торквемады почти все во всем признавались.

Л. Вы косвенно говорите против себя. Большевики первые, по крайней мере в новейшей истории, признали, что „все позволено“. Уж это чисто русская или чисто славянская идея.

А. Да и это идея старая, как мир, и несколько не русская и неславянская. Она встречается у многих западных мыслителей, она есть в „Fais ce que voudras“# Рабле. Если позволите и тут маленькое отступление в сторону, решусь сказать (как это ни страшно), что таковы и некоторые другие откровения Достоевского, — говорю о нем здесь, конечно, только как о мыслителе. В „Бесах“ Кириллов говорит: „Если нет Бога, то я Бог“, — и об этих его словах у нас чуть не трактаты написаны. Между тем в одном из самых знаменитых своих произведений Декарт, к которому мы так часто возвращаемся, допускает на мгновение гипотезу: что, если Бога нет? Какой вывод в этом случае надо было бы сделать? Его ответ: в этом случае я — Бог, „Je suis Dieu“.

* „Слепящая тьма“ (англ.).

„Делай что хочешь“ (фр.).

Л. Думаю, что сходство или тождество больше словесное. Однако, неужто вы отрицаете, что большевистская революция самое безмерное и самое бескрайнее явление в новейшей истории?

А. Боюсь, что вы это говорите, как многие наши соотечественники, не без легкого удовлетворения: „самое безмерное!“, „самое бескрайнее!“ Вам это лестно? Да, в пору русской революции было пролито много больше крови, чем в пору французской или английской. Но ведь выросли, по естественным и понятным причинам, масштабы всех сходных явлений. По сравнению с битвами двух мировых войн сражения восемнадцатого и девятнадцатого веков могут считаться мелкими стычками. По существу же, французская революция была так же жестока, как русская. Робеспьер проливал кровь так же легко, как Сталин (не на бочки же кровь мерить), и даже по бесстыдству и презрению к правде и к правосудию (за исключением техники сознаний) Фукье-Тенвиль мало уступает Вышинскому. Что же вы имеете в виду? Крайний атеизм большевиков? Бердяев в другой своей работе считает и русский атеизм противоположным марксистскому: „Мотив атеизма Маркса, — говорит он, — совсем иной, чем мотив традиционного русского атеизма. В русском атеизме были сильны мотивы сострадания, жалости и своеобразного аскетизма. В атеизме Маркса преобладают силы, мощь организованного общества. Нужно вырвать из сердца человечества религиозную веру, уничтожить идею Бога, чтобы человеческое общество стало сильным, чтобы окончательно организовалась и рационализировалась человеческая жизнь, чтобы возможна была окончательная победа над стихийными силами природы и стихийными иррациональными силами в самом человеческом обществе. Атеизм марковского типа совсем не является жалостью — наоборот, он безжалостен. Для достижения мощи и богатства социального коллектива отношение к людям должно быть беспощадным и жестоким. В атеизме Маркса нет уже никаких гуманистических элементов“*. Откуда, собственно, взято последнее утверждение и на

*Н. Бердяев, Русская религиозная психология и коммунистический атеизм, Париж, 1931 г., стр. 30—31.

чем оно основано? Сам Маркс и его последователи, как иностранные, так и русские, конечно, с негодованием его отрицали бы. Что до беспощадного отношения к людям, то оно вообще ни в теории, ни на практике нисколько не связано с атеизмом, ни с западным, ни с русским: такое отношение достаточно часто проповедовали и особенно проявляли государственные деятели и теоретики, никогда атеистами не бывшие. Да и „мотивы атеизма“ у Чернышевского, например, нисколько не отличаются от марксистских, а его Бердяев ставил, как человека и как моралиста, чрезвычайно высоко: „Лично Чернышевский нисколько не был жестким типом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен... Мораль „Что делать?“ очень высокая, и уж, во всяком случае, бесконечно более высокая, чем гнусная мораль „Домостроя“, позорящего русский народ. Бухарев, один из самых замечательных русских богословов, признал „Что делать?“ христианской по духу книгой... Чернышевский имел самую жалкую философию, которой была заполнена поверхность его сознания. Но глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека“*. Как бы то ни было, Маркс и Фейербах довольно близки к философским мыслям Чернышевского. Его атеизм самый обыкновенный, западного производства, made in Germany. Кстати сказать, я никогда не мог понять, почему роман „Что делать?“ был единодушно признан революционным и тоже „бескрайним и безграничным“ произведением. В нем ничего нет, кроме проповеди кооперативов и кроме мечтаний Веры Павловны о будущей светлой жизни, почти не отличающихся от таких же мечтаний чеховских персонажей... „Что делать?“ и по духу очень похоже на романы Шеллера-Михайловского или Станюковича. Пожалуй, и по таланту. Роман Чернышевского, разумеется, далеко не так хорош в художественном отношении, как думали когда-то, и не так плох, как многие думают теперь. Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, Рахметов — куклы, но Марья Алексеевна, например, очень недурна. Чрезвычайно

*Н.Бердяев, Русская идея, стр. 111—113.

плохи, правда, были „новаторские“ приемы автора, вечное подмигивание читателю, фамильярное обращение с ним (вплоть до того, что ему где-то в „Что делать?“ „затыкается рот салфеткой“), длинные рассуждения — он, мол, читатель, думает то-то, тогда как на самом деле верно совершенно другое. Рахметов же из рук вон плох. Да и что в нем уж такого необычайно „революционного“? Ни один русский революционер никогда на Рахметова не походил. „Нож и топора“ нет ни в действии романа, ни у его героев.

Л. Вы, кажется, забыли о существовании цензуры в то время. Ведь все-таки был же роман за что-то запрещен. Да и какие „нож и топор“, хотя бы и фигуральные вообще у кабинетных людей! Ясные выводы о них в этом отношении можно делать лишь в том случае, если они получают, по воле истории, возможность практических действий. Можно предположить, что, случись французская революция полустолетием позднее, Робеспьер кончил бы свои дни мирным адвокатом или ходатаем по делам в Аррасе, Марат тоже мирным пациентом дома умалишенных, а Дантон, быть может, был бы богатейшим *brasseur d'affaires** и самым практическим из общественных деятелей Парижа. Что делал бы Маркс, если б оказался во главе правительства, — этого ни вы, ни я, ни большевики, ни меньшевики с точностью сказать не можем. Революции меняют облик людей как оспа. Между Плехановым 1917 года и Плехановым 80-х годов не намного больше сходства, чем, например, между Петрункевичем и Ткачевым. Приблизительно то же самое можно сказать о Кропоткине. Будем же говорить отдельно о людях действия и о людях мысли. И я утверждаю, что русское действие всегда было гораздо более „катастрофическим“, чем действие в Западной Европе. Вспомните о русских народных восстаниях. Мне несколько надоели вечно цитируемые слова Пушкина: „Русский бунт, бессмысленный и беспощадный“, — по он и в самом деле был беспощадным, — беспощадным с обеих сторон. Сравнительно скромный бунт 1663 года, вызванный монетной реформой Ртищева,

*Делец, воротила (*фр.*).

повлек за собой пастоящие гекатомбы. Убито было более семи тысяч человек, были пытки, казни, людям рубили руки и ноги. Косвенным, а то и прямым ответом па это был бунт Стеньки Разина. Стенька, Васька Ус, Федька Желудяк пролили потоки крови, Долгорукие, Барятинские, Милославские действовали ничуть пе лучше. А Булавипское восстание с его десятками тысяч вырезанных и казненных людей? А Пугачев? Назвать же эти бунты бессмысленными можно лишь постольку, поскольку можно назвать бессмысленными крайность и беспощадность вообще. Булавин, этот пидшеалеп с кистенем, в своих воззваниях призывал „атаманов-молодцов, дорожных охотников, воров и разбойников“ с ним „погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить и поесть, на добрых копях поездить“.

А. Могу только сказать, что на Западе были точно такие же восстания, и подавлялись они так же жестоко. Прочтите у Жапа Клода, у Эли Бенуа, что делали во Франции „Драгуны“ в 1685 году. Людей рвали щипцами, сажали па пики, поджаривали, обваривали, душили, вешали за пос. Это было в самой цивилизованной стране Европы, в пору *grand siècle**, в царствование короля, который не считался жестоким человеком. Впрочем, и Стенька, и Емелья, по случайности, тоже действовали и были казнены при самых гуманных монархах. И вы легко найдете во Франции того времени такие же образцы и ницшеанства с кистенем и демоничности со щипцами, притом в обоих лагерях. Между тем Франция никак не причисляется к странам „бескрайности“, напротив, она считается страной меры. Да и ничего пе было ни мистического, ни иррационального, ни даже максималистского в причинах, лозунгах, требованиях русских восстаний. Астраханские бунтари не хотели платить подать па бапи и желали раздачи хлеба голодным. Булавип обещал своим людям, что они будут вдоволь есть и пить. Бунтарям, сбегавшимся к Разину и Пугачеву, смертельно надоели поборы и пасилия воевод и помещиков. И над всем преобладала непавиость, зависть, желание пожить вольной, не-

* „Великий век“ (фр.).

обычной жизнью, уйти от жизни тяжелой и осточертевшей. То же самое было в западноевропейских восстаниях. По учению Хомякова, тоже очень любившего „бескрайности“, русский народ „вышел в отставку“ после избрания царя Михаила Федоровича. Оказалось, что не совсем вышел. Порою — и очень длинной порою — его в отставку загоняли. Так это и теперь, — может быть, и даже наверняка, тоже не навсегда. Но какая тут „мистика“? Тут палка. И противопоставит он ей тоже палку, а не мистику. Вообще, чем меньше искать поэзии в революциях, тем лучше. Да и поэзия дешевая, вроде „Из-за острова на стрежень“... Кстати, чтобы излечиться от чрезмерных ее поисков в явлениях подобного рода, прочтите их изложение не в длинных исторических трудах, а в коротких. Сжатость все несколько уясняет. Я делал над собой подобные опыты в отношении не одной русской, а всеобщей истории — и мне казалось, что я читаю некоторое подобие тех протоколов, какие ведутся в зоологических садах. От того, что называется „форумом“, до зверинца только один шаг.

Л. Что ж делать, вы от природы, очевидно, глухи к некоторым проявлениям духовной жизни.

А. Я не очень склонен считать революции и гражданские войны проявлением *духовной* жизни... Не было по общему правилу бескрайности и в большой русской политике. Вы, конечно, скажете: Иван Грозный? — Он был чудовищем, это верно, и мне старые и новейшие попытки его реабилитировать были всегда непонятны и противны, как А.К.Толстому, который в предисловии к „Князю Серебряному“ пишет: „В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя, он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования“. В отличие от графа Толстого, я думаю, что общество смотрело на этого царя имен-

но с негодованием. Так же было и на Западе. Там нередко правили такие же или почти такие же чудовища. Иван Грозный несколько не характерен ни для русской культуры, ни для русских царей. Другие цари обычно делали приблизительно то же, что делало громадное большинство монархов в других странах. Во внутренней политике почти до конца не хотели расставаться с самодержавием — точно так же поступал, и тоже почти до конца, например, Людовик XVI. Во внешней политике (это теперь „модный“ вопрос) цари были империалистами в меру, как столь многие другие правители. Отличие в их пользу: ни один из русских царей никогда не стремился к мировому господству. Это выгодно отличает их от Александра Македонского, от Цезаря, от Наполеона, от Карла Великого, в меньшей степени от Карла V. Цари чрезвычайно редко командовали своими армиями, не считали себя великими полководцами, следовательно, и психологически не могли стремиться к военной славе. Не так уж стремилось к ней и к завоеваниям старое русское дворянство. Российское государство, в сущности, создано в порядке стихийном...

Л. Скажите уж прямо: создано случайно.

А. Фокеродт пишет: „Когда (этой знати) приводят в пример дворянство европейских стран, считающее величайшей честью военные заслуги, она обыкновенно отвечает: это только доказывает, что на свете больше дураков, чем умных людей. Умный человек не станет подвергать опасности здоровье и жизнь — разве только из нужды, за жалованье. Но русский дворянин с голоду не умрет, если только позволяет ему жить дома и заниматься хозяйством. Даже тому, кто сам за сохой ходит, все-таки лучше, чем солдату. А человек мало-мальски со средствами может себе всякое удовольствие позволить: еды и питья, платья и прислуги у него в изобилии; может он, сколько душа захочет, и развлекаться охотой и другими забавами предков“*. Так было приблизительно до половины XVIII века. Но и позднее (хоть это, конечно, не

*Цит. по П. Н. Милокову, Очерки по истории русской культуры, Париж, 1930 г., том III, стр. 215.

совсем тот же вопрос) самые выдающиеся из русских полководцев в смысле любви к войне и к завоеваниям были неизмеримо умереннее большинства своих европейских собратьев. Всем известно, что Кутузов после изгнания французов из России стоял за мир и не желал заниматься устройством „порядка“ в Западной Европе; может быть, и не очень верил, что в случае победы удастся установить хороший „порядок“, в чем был совершенно прав. Константинополь и проливы? Умнейшие русские генералы XIX века вообще не считали нужным завоевание Константинополя. Тотлебен, фактически командовавший русскими войсками в пору войны 1877—78 гг., шел даже и дальше. Он писал с театра военных действий: „Мы вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан. Освобождение христиан из-под ига ислама — химера. Болгары живут здесь зажиточнее и счастливее, чем русские крестьяне; их душевное желание, чтобы их освободители по возможности скорее покинули страну. Они платят турецкому правительству незначительную подать, несоразмерную с их доходами, и совершенно освобождены от воинской повинности. Турки вовсе не так дурны, как об этом умышленно прокричали; они народ честный, умеренный и трудолюбивый“*. История русского империализма вообще пока не написана. В ней окажутся и факты совершенно неожиданные. Разумеется, я ничего не обобщаю, не хочу преувеличивать и не говорю, что русские цари и полководцы пытались быть „всечеловеками“ (самое фальшивое слово из пушкинской речи Достоевского) или что они так уж любили чужие народы. Генерал в „Трех разговорах...“ Владимира Соловьева полшутливо говорит, что единственная иностранная держава, пользующаяся его искренним благоволением, это княжество Монако. Однако мира эти генералы завоевывать не собирались, и на том им спасибо.

Л. Вы упомянули о Достоевском и Соловьеве. В самом деле пора нам оставить политиков. Перейдем же от Грозных, Булавиных, Лениных к людям мысли и искусства.

*Русская Старина, ноябрь 1886 г., стр. 468.

А. Рад этому и я. Романов и поэм с адскими страстями есть достаточно во всех литературах. Но укажите мне примеры разных бескрайностей и безмерностей в подлинном искусстве, во всем том, что составляет истинную гордость России.

Л. Пример? Привожу почти наудачу. Возьмем, например, суд и его оценку в русской литературе. Вы знаете, каким огромным уважением суд окружен в западноевропейских странах, особенно в англосаксонских. Европейец в него верит твердо. В Англии перед судебным решением склоняются *все*, без различия партии, и там судебное решение не принято критиковать: оно неизменно принимается как решающее слово. А что у нас? Наш уголовный суд, когда в него не замешивалась политика, был едва ли не лучшим в Европе. Россия была одна из немногих стран, где не было смертной казни за уголовные преступления. Правда, легкий и зловеще-забавный оттенок в это вносит тот факт, что от Елизаветы Петровны до Временного правительства 1917 года и большевиков наши власти обычно начинали свою деятельность с того, что навсегда отменяли смертную казнь. Как бы то ни было, уголовный процесс в России был беспристрастен, справедлив и вдобавок никогда не превращался в балаган, как это сплошь и рядом бывает на Западе. Тем не менее в двух изображающих его знаменитых русских романах, в „Братьях Карамазовых“ и в „Воскресении“, в основу дела положена судебная ошибка. Все-таки не всегда же наши присяжные и судьи ошибались! Толстой как бы говорит: Катюша Маслова преступления не совершила, *они* ее засудили, так *они* поступают всегда; все вообще осуждаемые ими люди никакого наказания не заслуживают. А кто, собственно, эти „они“? Мы все. Достоевский говорит иное, но по существу, до некоторой степени, то же самое. Дмитрий Карамазов также никого не убивал, по он грешен, и в каком-то „вышем смысле“ засудившие его присяжные правы, все люди заслуживают наказания. Что сказали бы Толстой и Достоевский, если б Митю и Катюшу вдобавок приговорили к смерти? В отличие от Запада, русский уголовный кодекс при старом строе отнял у писателей эту возможность. Их мысли взаимно исключаются,

но одинаково свидетельствуют о максимализме русской души и о понимании правосудия, прямо противоположном западному. Когда в европейском фильме совершается преступление, все симпатии зрителей находятся на стороне сыщиков. За их искусными действиями следят с восторгом, с надеждой, даже с уверенностью; они все раскроют, найдут преступника и суд его отправит куда следует. Преступник у Толстого и у Достоевского обычно, повторяю, сам приносит покаяние, как Раскольников, как Никита во „Власти тьмы“ (что, кстати сказать, должно очень облегчать работу следственных властей). Иногда даже, как маляр в „Преступлении и наказании“, он, по мотивам высшей правды кается в убийстве, которого он не совершал. Возводит на себя ложное обвинение и Кириллов в „Бесах“ и тоже по глубокомысленным философским мотивам. Порфирий Петрович ведет следствие о преступлении Раскольникова, конечно, так, как никакой следователь в мире никогда никакого следствия не вел. Знаю, Достоевский придал своему роману совершенно исключительную силу правдивости: мне в Петербурге иногда хотелось найти дом, где была убита Алена Ивановна, или же место под забором, в котором убийца закопал свою добычу. Но ведь это свидетельствует только о художественном гении писателя. По существу же, в его гениальном романе убийца неизмеримо симпатичнее и жертвы, и следователя. Другое проявление нашего максимализма: в „Идиоте“ блудница бросает в печь сто тысяч рублей, чтобы доказать что-то очень глубокое, — плохо помню, что именно! И даже у гораздо более трезвого и „европейского“ Чехова тоже кто-то сжигает деньги, правда, всего лишь шесть тысяч. Русские щедрый народ, это верно. Однако и американцы щедрый народ. Только, если они хотят отделаться от своих денег, они их не сжигают, а жертвуют университету, больнице, Армии Спасения. Нет, не говорите, не выдумана безмерность „âme slave“!

А. Я готов с вами согласиться в том, что на верхах русской литературы Толстой — он один — был выразителем „бескрайности“. Это относится, впро-

* „Славянская душа“ (Фр.).

чем, только к его последней поре, к периоду „Воскресения“, — все же никак не лучшего его романа. В „Войне и мире“ бескрайностей нет. Толстой в этом величайшем создании мировой литературы принимает все обычное в жизни и все поэтизирует. Мир прекрасен, война менее прекрасна, но и в ней столь многое поэтично! Что же касается Достоевского, то, при его повышепном интересе к патологическим явлениям в жизни, он естественно мог записаться и самыми редкими казусами. В конце концов, блудница могла сжечь в печке сто тысяч — чего только на свете не бывает. Но какие бескрайности вы можете ему приписать впе романов? В политике он был умеренный консерватор; в „Дневнике писателя“ вы, пожалуй, не найдете ни одной политической мысли, которую не мог бы высказать рядовой консервативный публицист. Недаром и печатался Достоевский в „Гражданине“ — князь Мещерский не возражал против его статей, хотя, вероятно, кое-что считал недостаточно консервативным. А все другие наши писатели, художники, композиторы? Они и в политике, и в своем понимании мира были умеренные люди, без малейших признаков максимализма. Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Лесков, Фет, Чайковский, Мусоргский, Бородин, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Левитан, Лобачевский, Чебышев, Мепделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьевы были в политике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без малейших признаков бескрайности. Таковы почти все они были и в своем творчестве. Таковы были они и в своей личной жизни. Разве один Пушкин в жизни был порою „бешеным человеком“, да и то очень редко, — Соллогуб приписывал это его полупегритянскому происхождению. В литературе же он был воплощением вкуса, меры, „светлости“...

Л. Нельзя все-таки сказать, чтобы и жизнь Гоголя, уморившего себя голодом, была свободна от бескрайности. То же самое отнесется и к Достоевскому.

А. Допустим. Но я укажу вам сколько угодно таких же бескрайностей в жизни людей западного

искусства: Марло, Эдгар По, Курбе, Верлен, Бодлер, Рембо, Гоген, Ван Гог, Стриндберг. Чем тут хвастать? Заметьте, все большие русские писатели могли знать западноевропейские крайние революционные учения. Начиная от Гоголя, они могли бы и даже, собственно, должны были бы знать и о марксизме. Между тем ни на одного из них (не причислять же к большим писателям Максима Горького) марксизм ни малейшего влияния не оказал. Один „невежественный“ Лев Толстой читал „Капитал“ и даже делал на полях пометки*. Но он причислял Маркса к тем ученым, которые ставят себе целью „удержать большинство людей в рабстве меньшинства“ (что ж, если считать большевиков марксистами, то это неожиданное суждение оказалось по своему пророческим). Да еще Владимир Соловьев, на этот раз проявляя весьма неуместную „бескрайность“, косвенно сравнивает марксизм (как, впрочем, и некоторые другие экономические учения) с порнографией. „Я разочаровался в социализме, — пишет он, — и бросил записаться им, когда он сказал свое последнее слово, которое есть экономический материализм; но в ортодоксальной политической экономии ничего принципиального никогда и не было, кроме этого материализма. Разумею материализм в смысле нравственном, то есть возведение материальной страсти корыстолюбия в практическую норму. Изучение хозяйственной жизни человечества с *этой точки зрения* так же чуждо нравственной философии, как и изучение порнографии“^{**}.

Л. Замечание действительно странное. Оно на Маркса перекладывает ответственность за жизнь!

А. Я с вами тут и не спорю. Замечание ведь Соловьева, а не мое... Но почему все-таки предполагать, что перечисленные мною люди не выражают души русского народа, а Бакунина, Лепина, Сталина или Троцкого ее выражают?

*См. об этом составленную по неизданным материалам заметку С. Брейтбурга, Лев Толстой за чтением „Капитала“ Маркса, „Звенья“, сборник V, Москва, 1935 г., стр. 732—741.

**Вл. Соловьев, Мнимая критика, Собр. соч., т. VII, стр. 670.

Л. Герцен был однако революционер...

А. Очень умеренный, без всяких „бескрайностей“. И его страницы о „мещанстве“, по-моему, худшее из всего, что он написал, и по полной неопределенности этого понятия в его произведениях, и, если хотите, по очень неполной искренности. Этот большой писатель был в жизни барином — помнится, Бакунин где-то называет его сибаритом; он очень любил блага „мещанской“ цивилизации. Сходное часто бывает и на Западе: люди не верят в прочность частной собственности, но чрезвычайно ею дорожат.

Л. Ну, этот подход личный и не очень законный.

А. Что же дал бы подход исторический? Я предложил бы вам выяснить, кто, с точки зрения Герцена, выражал „мещанские“ идеи, например, во французской революции? „Чаяния буржуазии“ выражали конституционалисты 1789 года и жирондисты, погибшие на эшафоте. Или что ли были мещане? С Директорией, очевидно, начинается период густого мещанства. Кто же остается? Робеспьер с террористами? Им ли мог сочувствовать Герцен? Я ненавижу эти его страницы, как и режущие у него слух слова о „горьком плаче пролетария“, да он, правду сказать, и пролетариев в жизни знал очень мало. За все это, кстати сказать, ухватилась не только передовая русская мысль, но и реакционная, которой этот взгляд тоже, по-видимому, очень понравился. Константин Леонтьев прямо писал: „Я ему (Герцену) все эти неудачные и преступные попытки его прощаю искренно уже за то одно, что он первый сказал печатно: „В России никогда конституции не будет, и средний, умеренный либерализм в ней никогда не пустит корней. Это для России слишком мелко. Последние годы нашей политической жизни доказали, до чего был с этой стороны прозорлив этот человек, во многом другом столь кровно виновный перед нами“*. В своих письмах к Владимиру Соловьеву Леонтьев говорил: „Со стороны же исторической и внешнежизненной эстетики

*К. Леонтьев, Польская эмиграция на нижнем Дунае, Собр. соч. С.-Петербург, т. IX, стр. 338.

я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам. Разумеется, я говорю не о Герцене „Колокола“, этого Герцена я в начале 60-х годов не видел и даже не уважал, но о том Герцене, который издевался над *буржуазностью* и прозой новейшей Европы^{**}. Ну, что ж, ему и в политике была нужна не проза, а поэзия. Интересно, что той же терминологией, но для критики *социализма*, пользовался иногда и Владимир Соловьев, по крайней мере в „Критике отвлеченных начал“. В главе „Хозяйственный элемент общества, социализм и мещанское царство“ он, в сущности, выдвигает против социализма тот же упрек: „Главный грех социалистического учения не столько в том, что оно требует для рабочих классов слишком многого, сколько в том, что в области высших интересов оно требует для неимущих классов слишком малого и, стремясь возвеличить рабочего, ограничивает и унижает человека“^{***}. Собственно, это сводится к порицанию „трех комнат с капарейкой и горшками цветов“ для рабочего. Над этой — в сущности, святой вещью, — над предпосылкой человеческой духовной жизни, над „тремя комнатами“ только ленивый не издевался в антисоциалистической литературе.

Л. Герцен никак не отвечает за выводы, которые из него, в бесспорных или сомнительных цитатах, делал Константин Леонтьев. Не отвечает и за выводы Соловьева или чьи бы то ни было. По-своему Герцен был нетерпим в отношении людей умеренного либерализма (не говорю уже о консерваторах). Напомню вам его отзыв о старом друге Тургеневе в 1863 году после письма Тургенева к Александру II: „Корреспондент нам говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она „прервала все связи с друзьями юности“.

^{*}К. Леонтьев, Письма к В. С. Соловьеву, Собр. соч., т. VI, стр. 336.

^{**}Вл. Соловьев, Собр. соч., т. II, стр. 130.

А. Вы напрасно вспомнили эту историю, не украшающую ни Герцена, ни Тургенева, но согласитесь, что тут ничего революционного со стороны первого не было. Была личная обида, сказавшаяся в неприличном выпаде, да разве еще злоба левого либерала, искренно считавшего себя революционером, против правого либерала, иногда, по слабости, слишком подчеркивавшего умеренность своих взглядов.

Л. Какой же Герцен был либерал? Да и мещанство он определил довольно ясно и вполне правильно признал, что оно русскому национальному характеру не свойственно. В отличие от вас, я эти его страницы отношу не к худшему, а к лучшему из им написанного. Действительно, Россия никогда не будет *juste milieu**. Так оно и вышло.

А. Это, конечно, звучит гордо. Только это было сказано для красоты слога. Герцен взял понятие *juste milieu* в узко определенном смысле, приданном ему в царствование Людовика Филиппа. В этом смысле оно тогда к России не относилось, — как не относилось и к другим странам, кроме Франции. Мы эту эпоху пережили в 1905—14 гг., когда девиз „*enrichissez-vous*“⁴ в нашей жизни осуществлялся полностью: огромные состояния у нас в ту пору росли как грибы, и промышленный рост был сказочный; он неизмеримо превышал рост французского национального богатства при „мещанском короле“. Правда, наряду с этим росло революционное настроение, были Думы с „народным гневом“ и без народного гнева, где-то за кулисами работали Ленины, Сталины, Троцкие. Но ведь совершенно то же самое было и при Людовике Филиппе во Франции, в самый разгар *juste milieu*, и там привело к революции и к весьма „безмерным“ июньским дням. В более же общем и широком смысле слова Россия, как большинство стран в известный период исторического развития каждой, *была* *juste milieu* и притом не только в экономическом смысле. В течение столетий она была *juste milieu* между Западом и Востоком. Между 1905 и 1914 годами была в чисто политическом отношении *juste milieu* между,

* „Золотая середина“ (фр.).

“Обогащайтесь“ (фр.).

скажем, Германией и Японией, а в культурном отношении между Парижем и Веной: все эти наши символы, акмеизмы, имажинизмы, кубизмы, литературно-художественные кружки, эротические открытия, петербургские „башни“ и московские салоны приблизительно года на два отставали от Парижа и на столько же опережали Вену или Мюнхен.

Л. Как можно отрицать основные факты? Ведь весь смысл русской культуры заключается в том, что она насквозь пропикнута противоположной мечтательности идеей общественного служения. Ее девиз в своем роде „Ich dien“* Фридриха II. Пойду и дальше. С.Л.Франк где-то говорит: „То, что с точки зрения эмпирии кажется лишь бесконечно удаленным идеалом, *мечтой* о „новом небе“ и „новой земле“, которые лишь некогда должны явиться или прийти — обнаруживается в последней бытийственной глубине в качестве *вечной реальности*. Иначе и не может быть, ибо все „должное“, всякая „ценность“ в первооснове бытия совпадают с самой *реальностью*“#. Мысль и тонкая, и в высшей степени русская, одна из самых русских мыслей в истории русской литературы, хотя покойный Франк единственным своим учителем в философии признавал, кажется, Николая Кузнецкого.

А. Добавлю, что не на вершинах, а пониже вершин русской художественной литературы особенно часто за подлинно русское выдавалось то, что в действительности им никак не было. В пору появления „На дне“ сколько было восторгов у бесчисленных в то время поклонников Максима Горького по поводу „русской“ философии старца Луки, с его „утешительной неправдой“, благодаря которой несчастные люди забывают о своей беде и нужде! Горький никогда никаких *своих* идей не имел — я достаточно и читал, и знал его. Старец Лука свою философию позаимствовал у ибсеновского доктора Реллинга. Он тоже проповедовал „ложь жизни“. „Ложь жизни? Не ослышался ли я?“ — спрашивает доктора Грегера Верле.

* „Я служу!“ (нем.)

#С.Л.Франк, Непостижимое, Париж, 1939 г., стр. 297.

„Нет, я сказал „ложь жизни“. Потому что надо вам знать, ложь жизни есть стимулирующий принцип. Отнимая у среднего человека ложь жизни, вы вместе с тем отнимаете у него счастье“. Цитирую по очень плохому переводу; вероятно, в подлиннике это звучит лучше. Недурно звучало и у Горького, он был талантливый человек. Но, во-первых, ради справедливости вернем Ибсену собственность Ибсена, а во-вторых, если было что-либо совершенно не соответствовавшее *настоящей* русской мысли, то именно сознательная проповедь лжи в целях утешения людей. Предоставим философию Горького времени — говорят ведь (я не вполне в этом уверен), что со временем все попадает на должное место. Будем говорить о *вершинах* — кажется, нигде разница между вершинами и средним уровнем не была так велика, как в России. Какой именно смысл вы придаете принципу „Ich dien“? Если вы имеете в виду политическое или общественное служение, как это иногда прежде делалось, то под этот принцип не подпадает очень значительная часть больших людей, которые создали русскую культуру: многие из них *таким* служением не занимались или занимались им меньше, чем, например, Диккенс или Виктор Гюго. Если же вы придаете ему характер религиозный в более узком смысле слова, как это часто делается теперь, то не подпадает другая значительная часть: среди больших людей русского искусства были в немалом числе и люди неверующие. Тургенев, например, незадолго до смерти, высказал Полопскому мысли, проникнутые самым безнадежным материализмом; он не верил в будущую жизнь, в бессмертие души*. Человеку подлинной веры, Достоевскому, принадлежат „Записки из подполья“, книга нигилистическая — и самая нерусская во всей русской литературе, нерусская прежде всего по полному отсутствию „Красоты-Добра“.

Л. Быть может, вы эту гениальную книгу называете „нерусской“ именно потому, что, по вашей основной мысли, русской литературе бескрайности не

*Борис Садовский, И.С.Тургенев, Русский архив, 1909 г., I-IV.

свойственны. Согласитесь, что подпольный человек — явление бескрайное. Укажите мне что-либо похожее в иностранных литературах.

А. В иностранных *литературах*, пожалуй, не укажу, вы правы. В жизни и в политике на Западе это настроение было. Как ни странно, идея подпольного человека составляет одну из многочисленных граней наполеоновской идеи. Если верить Талейрану...

Л. Зачем же ему верить?

А. Если верить Талейрану, Наполеон как-то ему сказал: „Подлость? А какое это имеет для меня значение? Знайте, что я нисколько не побоялся бы сделать подлость, если б она была мне полезна. По существу, в мире нет ничего ни благородного, ни низкого. В моем характере есть все нужное для укрепления власти и для обманывания людей, думающих, что они меня знают. Скажу откровенно, я подл, по существу подл. Даю вам слово, я без малейшего отращения совершил бы то, что они в свете называют бесчестным поступком. Мои тайные наклонности, впрочем, отвечающие природе, противоположны аффектации величия, которой я должен себя украшать; они открывают мне бесконечные возможности для обманывания мира... Вот в том, что вы мне только что посоветовали, важно лишь, соответствует ли это моей нынешней политике. Да еще (добавил он, по словам Талейрана, „с сатанинской улыбкой“) надо выяснить, нет ли у вас какой-либо тайной причины („quelque intérêt secret“) для такого совета мне“. По-моему, Наполеону было бы *выгоднее* таких вещей не говорить, да, может быть, вы и правы: Талейран вполне мог приврать. Нас эти слова шокируют прежде всего в виду существования в мире огромного числа мелких подлецов, которым было бы так приятно за них ухватиться (вот где соблазнительно было бы повторить тоже часто цитируемое замечание Пушкина. Не помню точно, как у него сказано: „Он мал, как мы, низок, как мы. Врете, подлецы, не так, как вы: иначе“. Может быть, эта цитата на память не точна? А вдруг Пушкин тут и ошибался: нисколько

не „иначе“, а точно так же, как мы? Уж в чем другом, а в этом разница едва ли велика. Но слова Наполеона шокируют нас и в связи с „аффектацией величия“, с этими „certaines affectations de grandeur dont il faut que je me déçoге“*. Если же еще отбросить всякий намек на какое бы то ни было „величие“, то это идея подпольного человека. Тут Достоевский (поскольку автора можно делать ответственным за слова его действующих лиц) гораздо больше „бонапартист“, чем в соображениях Раскольникова о Наполеоне и старухе-процентщице (разумеется, он этой беседе Наполеона с Талейраном не знал и не мог знать)... Вы говорите, что мы начали с конца. Ничего не имею против того, чтобы уйти вглубь веков. Скажу еще раз: по-моему, во все времена основная и лучшая черта русской мысли была в том, что она в высших своих проявлениях *служила* идее „Красоты-Добра“. Именно поэтому я называю „Записки из подполья“ самым нерусским произведением в нашей литературе. В этой книге действительно на двойной платоновский принцип нет и намека... Мы упомянули о киевском периоде. Какое, по вашему мнению, его высшее создание?

Л. Разумеется, „Слово о полку Игореве“.

А. Оставим в стороне художественные достоинства этой замечательной поэмы, а равно связанные с ней многочисленные исторические и филологические вопросы, — она стала чем-то вроде „Железной маски“ в истории русской литературы. Комментаторы гораздо меньше, кажется, занимались ее морально-философским смыслом. Между тем именно здесь было бы очень интересно — а для моей точки зрения и очень выгодно — ее сопоставление с западным эпосом той же (или сходной по культурному уровню) эпохи. О „Нибелунгах“ не стоит и говорить: там все „безмерно“ и свирепо. Остановимся лишь на „Песни о Ролянде“, поскольку Франция „классическая страна меры“. Какие характеры, какие тяжелые страсти в этой поэме! Безупречный, несравненный рыцарь Роланд,

* „Некоторая аффектация величия, которой я вынужден приукрашивать себя“ (*фр.*).

гнушный изменник Гелелон, святой Тюрпен, рог Роланда, в который рыцарь дует так, что у него кровь хлынула из горла, Карл Великий, слышащий этот рог за тридевять земель и мчащийся на помощь своему слуге для разгрома 400-тысячной армии неверных, — все это „безмерно“. А речь Роланда перед боем, а его гибель, а его невеста — где уж до нее по безмерности скромной и милой Ярославне! А смерть Оливье! А казнь изменника! В „Слове о полку Игореве“, напротив, все очень просто, сильных страстей неизмеримо меньше, и за грандиозностью автор не гоняется. Ни безупречных рыцарей, ни отвратительных злодеев. В средние века рыцари, говорят, шли в бой и умирали под звуки „Песни о Роланде“. Под звуки „Слова о полку Игореве“ воевать было бы трудно. Обе поэмы имеют громадные достоинства, но безмерности в русской, во всяком случае, неизмеримо меньше — снова скажу, слава Богу. А былины? Какая в них бескрайность? Эти чудесные произведения, в сущности, по духу полны меры, благоразумия, хитрецы, добродушия, беспечности. Один из новейших историков русской литературы пишет: „В былинах истоки русского большевизма и его прославление“! Я этого никак не вижу. По сравнению с западноевропейскими произведениями такого же рода, былины свидетельствуют, напротив, об очень высоком моральном уровне. В них нет ни пыток, ни истязаний, да и казней очень мало. Нет и „ксенофобии“. Об индусском богатыре Дюке Степановиче автор былины отзывается ласково, как и об его матери „честной вдове Мамельфе Тимофеевне“, а Владимир стольно-киевский так же ласково приглашает его: „Ты торгуй-ка в нашем граде Киеве, — Век торгуй у нас беспопшленно“. Тот же батюшка Владимир-князь ищет себе невесту на хороброй Литве и женится на дочери литовского короля, и автор в этом ничего странного не находит, даже одобряет Апраксью-королевичну. А Добрыня Никитич на пиру у князя играет „стих Еврейский по уныльному, — По уныльному да по умильному, — Во пиру все призадумались, — Призадумались да позаслушались“, после чего „заиграл Добрыня по веселому, Игрище завел от Ерусóлима“. Почти во всех былинах конец очень благополучный, настоящий английский happy ending, часто дело кончается свадьбой. И,

хотя иногда богатыри наказывают своих жен, в общем отношение к ним ласковое и даже почтительное. Князь-Солнышко подробно описывает, какая невеста ему нужна: „Чтобы стапиком была ровнешенька — Ростом, как и сам я, высокошенька, — Очи были бы ясна сокола, — Брови были б черна соболя, — Тело было б снегу белого, — Красотой красна и мне умом сверстна: — Было б с кем мне думушку подумати, — Было б с кем словечко перемолвити, — В пиру-беседушке кем похвалитися, — А и было бы кому вам поклонитися, — Было б кому вам честь воздать...“ Такой же ласковый тон в былицах почти ко всем и ко всему. Море не море, а „морюшко“, горностаи — „горностаюшки“, птица — „пташица“, шуба — „шубонька“, чулки — „чулочики“, жеребцы — „жеребчики“, и уж, конечно, хлеб — „хлебушко“, и даже кровопролитие — „кровопролитьице“. Конечно, есть и враги: не любить же Соловья-разбойника или Тугарин Змеевича. Татарский царь Калип неизменно называется собакой, но это как бы официальный его титул: он и сам себя так называет, — говорит Илья Муромцу: „Не служи-ка ты князю Владимиру, — А служи-ка мне, собаке царю Калипу, — У меня, собаки, есть две дочки, — Ты посватайся-ка на любой из них...“ Обычно и в „кровопролитьицах“ соблюдаются требования морали. Отец так благословляет богатыря: „Гой ты свет мой, чадо порожденное! — Я на добрые дела благословлю тебя, — На худые дела благословенья нет. — Как поедешь ты путем-дорогою, — Не помысли злом па татарина, — Не убей в чистом поле христианипа“. Илья Муромец, самый жестокий из богатырей, соблюдает правила гуманности даже в отношении семьи Соловья. Когда „дочушка“ разбойника Пелька Соловьевича попыталась убить „Ильюшепку“, он только „пнул еще ногою девку под спину — улетела девка за широкий двор“, — правда, от этого пипка „нажила себе увечье вековечное“, но на то ведь он и богатырь. Да и самого Соловья-разбойника Илья Муромец сначала собирается отдать дочерям как „кормильца-батюшку“ или же продать: „Я свезу его во Киев-град, — На вино пропью да на калач проем“. У него даже упреки совести, что он выбил злодею глаз: — „Надо бы служить во храме Богу молебеп“. А Добрыня Никитич со Змеем Горы-

нычем заключает нечто вроде gentleman agreement*, „заповедь велику, нерушимую“: змей не будет летать на святую Русь, а „Добрынюшка“ не будет топтать в чистом поле „детенышей-змеенышей“. Позднее обе стороны, снова встретившись, спорили совершенно на наш нынешний манер Объединенных Наций: „Ай же ты, молоденький Добрынюшка! — Ты зачем нарушил нашу заповедь, — Притоптал моих детельшей-змеенышей?“ — Отвечает ей молоденький Добрынюшка: — „Ай же ты, змея проклятая! — Я ль нарушил пашу заповедь, — Али ты, змея, ее нарушила? — Ты зачем летела через Киев-град, — Унесла у нас Забаву дочь Путятичну? — Ты отдай-ка мне Забаву дочь Путятичну — Без бою, без драки-кровопролитьяца“. Какой же во всем этом большевизм? Для того времени все это „Красота-Добро“. Где, в чем бескрайность? Только в силе богатырей и в их умении пить. Верно, что когда Вольге Всеславьевичу было от рожденья всего полтора часа, он уже говорил так, „будто гром гремит“, и просил сударыню-матушку дать ему „палицу свинцовую, — чтобы весом была палица в триста пуд“. Верно и то, что Добрыня выпивал „чару зелена вина — Да не малую стопу — во полтора ведра, — Разводил ее медком стоялым, — Подымает чару единой рукой, — Выпивает чару за единый вздох“. Но ведь и у „реалиста“ Гоголя Тарас Бульба весит двадцать пудов, а Собакевич съедает девятипудового осетра. Нельзя же и не приврать: читатель и сам поймет, что приврано, — так ему выходит интереснее и приятнее. А сказки! Они не хуже былин. А русские старые пословицы, по-моему, лучшие, самые меткие в мире! Они полны благоразумия и умеренности, и только благодушная мудрость спасает многие из них, даже как будто благочестивые, от прямого цинизма: „На Бога надейся, а сам не плошай...“, „Где жить, тем богам и молиться...“, „И Бог на всех не угодит...“ Ничего крайнего, „коммунистического“, нет и в отношении к богатству, к богачам. Это отношение довольно „буржуазно“: „Не тот человек в богатстве, что в нищете...“ „Бедность плачет, богатство скачет...“ „Богатый ума купит, убогий и свой бы продал, да не купят...“ „Богатому черти

*Джентльменское соглашение (англ.).

деньги куют“. Впрочем, она и не без ненависти, но никак не мистической, а весьма земной: „У богатого пива-меду много, да с камнем бы его в воду...“ Не очень благоговейное отношение и к „правде“: „Правда твоя, мужичок, да полезай-ка в мешок...“ „За правду плати, и за неправду плати...“ „Праведно живут: с ничего дерут, да на церковь кладут...“ „И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а где она?“. А случай, судьба? Эти слова, столь нас занимающие в наших беседах, встречаются в поговорках во всех смыслах: „Что судьба скажет, хоть правосуд, хоть кривосуд, а так и быть...“ „Не судьба крестьянскому сыну калачи есть...“ „Детинка не без судьбинки...“ „Судьба руки вяжет...“ „Делай, когда будет случайно...“ „Случается, и пироги едим...“ Есть и некоторое недоверие к уму, особенно к соборному в хомяковском духе: „Ум хорошо, два лучше, а три — хоть брось...“ „Ум с умом сходились, дураками расходились...“ „Чужими умами только бураки подшивать...“ „С умом, подумаем, а без ума, сделаем...“ „И с умом, да с сумой...“ „Счастье ума прибавляет, а несчастье последний отымает...“ Ведь все это настоящий кладезь жизненной правды. В какой-то мере это народное понимание мира отражало и русское законодательство времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого; оно было гораздо умереннее и гуманнее многих западноевропейских. В „Русской правде“ штраф преобладает над казнями и даже над тюрьмой. В ту пору в Германии отец имел право собственной властью казнить сына. Не умевший читать и писать князь Владимир, услышав, что у Соломона сказано: „Вдаяй нищему Богу взаим дает“, велел „всякому нищему и убогому приходить на княжой двор брать кушанье и деньги из казны“*. Невольно хочется сказать, что кое-чему тут могли бы поучиться цивилизованные государства и наших дней.

Л. Я готов допустить, что во всем этом не очень много „безмерности“, уж если вы так странно — и пространно — подходите к русской мысли именно с этой точки зрения. Но признаюсь, мне кажутся пе

*Сергей Соловьев, История России с древнейших времен, Москва, 1857 г., т. I, стр. 206.

очень убедительными и ваши старания увидеть в древней русской литературе воплощение „Красоты-Добра“. Для разрешения этого вопроса нам надо было бы коснуться литературы богословской, а мы тут не очень осведомлены.

А. Насколько я помню, например, учение Кирилла Туровского, в нем то, что на протестантском языке можно было бы назвать эстетическими элементами, тесно сливается с чисто религиозными настроениями. Кажется, знатоки его признают замечательным поэтом в истории русского богословия. Впрочем, Г.П.Федотов считает это мнение не очень верным*... Мне жаль, что я вас утомил соображениями о мнимой безмерности русской культуры, — что ж делать, она ведь ложный канон и, по-моему, довольно вредный. Я все-таки хотел бы еще кратко добавить, что, к счастью, ни малейшего намека ни на какую безмерность нет и в лучшем из ранней русской прозы, — в „Фроле Скобееве“, в „Повести временных лет“, в „Горе-Злосчастии“. А записки старых русских путешественников, как подлинны, так и апокрифические? Все эти умные и толковые люди скорее удивлялись безмерности *западной*. Это сказывалось даже в мелочах. Некоторых из них поражала грандиозностью не только Византия. Одни, правда, просто врали, как автор „Слова о некоем старце“, который в „граде Египте“ нашел 14 000 улиц, а на каждой улице 10 000 дворов, да 14 000 бань, да 14 000 кабаков“ (оговариваюсь, я этого „Слова“ не читал и цитирую не по первоисточнику[†]). Но и очень серьезные, правдивые путешественники наивно изумлялись величию и грандиозности третьестепенных западных городов, вроде Юрьева, Любека, Брауншвейга. В них все „вельми чудно“ — страпники захлебываются от восторга, плохо вяжущегося и с национальной исключительностью, и с ксенофобией, и даже с пониманием (правда, несколько более поздним) Москвы, как Третьего Рима.

*George P. Fedotov, The Russian Religious Mind, 1946, p.369.

†А.Н.Пыпин, История русской литературы, СПб., 1898 г., т. II, стр. 253.

Л. Ваше утверждение прямо противоречит свидетельству всех иностранцев, посетивших Россию. Все они подчеркивают именно и национальную исключительность „москвитов“ и их гордыню, и их убеждение в том, что другие культуры ничто по сравнению с русской. Ведь на этом частью была основана и несомненная любовь москвичей к Ивапу Грозному, любовь, которую одни историки признавали с удовлетворением, другие с горечью, но признавали почти все. На нашем языке это приблизительно и упрощенно можно было бы передать так: „Зверь? Но наш защитник и какой могущественный, какой „безмерный“! „Аз бо есмь до обеда патриарх, а после обеда царь, а царь есмь над тремя тысящами цари и шесть сот, а поборник есмь по православной вере Христовой, а царства моего итти на едину страну десять месяц, а па иную страну не ведаю и сам, где небо и земля столкнулась“. Да собственно и переписка Ивана Васильевича с князем Курбским частью строилась па его собственной, так сказать, персональной „безмерности“, на безмерности царской власти и на безмерности идеи родины. И заметьте, большинство наших историков, особенно прежних, признают тут за царем какую-то моральную или морально-политическую победу. Даже сам почтенный и либеральный Пыпин, хотя он в общем на стороне князя, называет его бегство „прискорбным“. А Карамзин! Вспомните: „Озпаменованный славными ранами муж битвы и совета возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников... Обласканный Сигизмундом... он предал ему свою честь и душу: советовал, как губить Россию“* и т.д.

А. Что ж на это ответить? Курбский, „в страпстве будучи, и долгим расстоянием отлученный и туне отогнанный от оные земли любимого отечества моего“, ошибался, когда писал Иоанпу: „Пождем мало, истина недалеко“. Спор не разрешен и по сей депь. Вспомните знаменитые слова Дантона о том, почему он не эмигрировал. Тут все зависит от обстоя-

*Н.А.Карамзин, История Государства Российского, СПб., 1834 г., т. IX, стр. 55—65.

тельств. Как вы догадываетесь, мои симпатии в этом споре всецело на стороне первого русского эмигранта... Я рад, что вы упомянули об этой переписке, замечательном памятнике русской литературы и диалектики. Она имеет прямое отношение к нашему спору. Конечно, если был человек, совершенно во всех отношениях чуждый платоновскому принципу, то это Иван Васильевич. Только наивный, мало знавший и еще меньше понимавший Константин Аксаков мог усмотреть в нем художественную натуру...

Л. Я думаю, что Аксаков был прав. Иван Васильевич был превосходный писатель. Кроме Курбского, Нила Сорского и, разумеется, Аввакума, никто так хорошо не писал в московский период русской истории...

А. Я этого не отрицаю, но в делах Ивана Грозного художественная натура совершенно не сказывалась. Он был вдобавок довольно вульгарный, хотя и даровитый, комедиант. Конечно, он сам не верил большей части того, что писал князю. Курбский же, напротив, даже в своей эсхатологии, отчасти выражал идею „Красоты-Добра“. По некоторым своим мыслям он был именно близок к заволжским старцам, выражавшим эту идею с необычайной силой. Я и хотел бы закончить наш спор о древнем ссылок на Нила Сорского.

Л. Не совсем понимаю, при чем тут он. Я восхищаюсь тем, что он говорил о нестяжательстве в споре с Иосифом Волоцким, его благородством и терпимостью. Но не думаю, чтобы он сыграл большую роль в истории русской мысли. Ему и у митрополита Макария отводится всего две страницы*.

А. Это еще хорошо. Весьма светский историк, покойный президент Масарик, в книге, посвященной русской исторической и религиозной философии², отвел Нилу четыре строчки (а о Вассиане Косом не

*Митрополит Макарий, История русской церкви. СПб, 1874 г., т. VII.

²Th.G.Massaryk, Zur Russischen Geschichts- und Religionsphilosophie, Iena, 1913, p.40.

сказал ни слова). Однако Нил Сорский и просто как писатель занимает большое место в истории русской литературы. Он был стилист необычайной силы, в своем роде, гораздо более отвлеченном, не уступавший Аввакуму. От него идет очень многое и очень разное в русской литературе. Даже в чисто стилистическом отношении. Вы не верите? Перечтите „Нила Сорского предание и устав“: „Страшно бо, в истину страшно и паче слов...“* Разве это, просто по словесной ассоциации, не вызывает немедленно в памяти „Соотечественники, страшно“ Гоголя, который, быть может, и прямо это позаимствовал у Нила...

Л. Если сам Нил не позаимствовал этого у западных отцов церкви : кажется, тогда это делали многие.

А. Даже в этом случае заслуга стилистическая за ним осталась бы. Но дело, конечно, не в стиле. По существу, от Нила идет прямая линия к Толстому... Если б я не боялся вас ошарашить произвольностью в выборе имен или, избави Бог, щегольством в нем, я сказал бы, что эта „линия“ проходит также по лучшим образцам русской архитектуры и даже живописи, вплоть до Врубеля. Но ход к Толстому совершенно прямой и бесспорный. „Аще бо и весь мир преобрящем, но в гроб вселимся, ничто же от мира сего вземше, ни красоты, ни славы, ни власти, ни чести, ни иного коего наслаждения житейского. Се бо зрим во гробы и видим созданную нашу красоту безобразну и бесславну, не имущу видения; и убо зряще кости обнажены, речем в себе: кто есть царь или нищ, славный или бесславный? Где красота и наслаждение мира сего? Не все ли есть злообразие и смрад?..“* Разве это не Толстой? Тут и князь Андрей со своими мыслями о славе и смерти на Бородинском поле, и Левин перед зеркалом, проверяющий состояние своих мускулов, волос, зубов, и умирающий Иван Ильич, и весь Толстой „Исповеди“... Но в связи с нашим спором, я в частности имею в виду у Нила

*Памятники древней письменности и искусства, вып. XVI, стр. 28.

*Там же, стр. 66.

Сорского мысли о „бескрайности“: „И самая же добра и благолепная делания с рассуждением подобает творити и во благо время... Бо и доброе на злобу бывает ради безвременства и *безмерия*“...* Нил Сорский был чистым воплощением платоновского принципа, а не того, что вы считаете характерным для русской культуры.

Л. Так вы вашу идею готовы обосновывать и примерами из всех искусств. Тогда сначала наметьте и тут вашу „табель о рангах“.

А. Я считаю, что Толстой был величайшим русским прозаиком, Чайковский величайшим русским композитором, Врубель величайшим русским художником.

Л. Врубель был поляк.

А. Да, полуполяк, хотя уже его отец почти не знал польского языка. Мать же его была чисто русская, Басаргина, родственница декабриста... Но доводы этого рода позвольте вообще отклонить. Надеюсь, вы не исключаете из русской культуры французов Леблона, Фальконе, Монферрана, Томона, итальянцев Фьораванти, Растрелли, Росси, полунемцев, а то и чистых немцев, Герцена, Фонвизина, Тона, шотландца Камерона, евреев Левитана и Рубинштейнов, полудевреев Серовых и Мечникова, людей смешанной крови Чайковского, Бородина, Брюллова, чтобы не упоминать „негра“ Пушкина, „шотландца“ Лермонтова и многих „татар“. Вероятно, вы не исключаете из французской культуры Монтеня, Руссо, Золя, а из испанской — Доменико Теотокопули, создавшего себе мировую славу под именем Эль Греко. Прочтите обо всем этом у Грабаря. Отмечу еще, что Кондаков находил невозможным установить по знаменитым фрескам киевского Софийского собора национальность их создателя: славянин, варяг или грек[#]. Слишком

*Памятники древней письменности и искусства, вып. XVI, стр. 85.

[#]А.П.Новицкий, История русского искусства, Москва, 1903, т. I, стр. 57.

много значения в пышном мире приписывают „крови“. В старину, в средние века, еще раньше это людей интересовало гораздо меньше.

Л. Тут вы совершенно правы. Простите, что ни к чему вас перебил.

А. Я готов продолжать таблицу о рангах, относя ее и к *родам* русского искусства. По-моему, русская архитектура занимает в нем место, но разве только немногим уступающее русской литературе и много высшее, чем русская живопись. Она имеет мировое значение, тогда как русская живопись его не имеет. Вероятно, это связано с „бессюжетностью“ архитектуры вообще. Растрелли в своем гениальном ансамбле Смольного монастыря сказал новое слово, сочетав римское барокко с русскими монастырскими формами. Но если бы он каким-либо чудом и знал, что произойдет с его созданием в 1917 году, это едва ли имело бы для него очень большое значение. Так же и Баженов не знал, что в своем необыкновенном дворце готовит гроб для заказчика, императора Павла. Кваренги и Томон строили биржу в форме храма, и, с точки зрения их „Красоты-Добра“, это было не очень важно...

Л. Считаете ли вы, что „предметность“ русской живописи была достоинством или недостатком? Скажем, предметность передвижников, о которых Александр Бенуа, помнится, говорил, что они конфузливо писали картины, потому что не умели шить сапоги?

А. Есть предметность и предметность. Картины Иванова или лицо Ивана Грозного на картине, над которой долго потешались наши эстеты, вполне соответствуют моему пониманию искусства. Лично я склонен думать, что живопись везде к предметности вернется, с поправками и новшествами конца девятнадцатого столетия. В русской же живописи, по-моему, выше всего портрет или то, что в ней его включает, — здесь тоже сказалась „тяга“ к человеку и к его душе. И, быть может, та же тяга отчасти объясняет высоту русского зодчества — архитектура, дающая

людям и кров, человеческое искусство *par excellence**. В России она продолжала западное творчество, не боялась и не стыдилась этого, и в значительной мере его обновила, сочетав с русской стариной, доведя, например, ампир до высших в мире образцов, создав ансамбли, которым я знаю мало равных. Не говорю уже о Смольном институте, но и в обычно забываемом Киеве площадь древних строений, Софийского собора и Михайловского монастыря, есть нечто неповторимое, как, пожалуй, и на несколько веков позднейший ансамбль императорского дворца с Марининским парком и Царским садом. Растрелли и Мичурин *учли* Днепр и киевские холмы, как флорентийские архитекторы учли свои холмы и Арно, а венецианцы — Большой канал и остров Сан-Джорджо. То же относится и к Лавре и в меньшей степени к Военно-Никольскому собору, к нескольким ансамблям Печерска, которые когда-либо будут оценены и иностранцами.

Л. Что ж, по-вашему, именно эти ансамбли выражают идею „Красоты-Добра“?

А. Зачем тут иронизировать? Они и многое другое: в архитектуре, кроме Смольного, Собор Василия Блаженного, в живописи творчество Врубеля, в частности его киевские фрески, с их новов, по-моему, концепцией, если не Красоты, то Добра. Его голова безбородого Моисея на редкость напоминает голову Демона: сходство, конечно, не случайное. Таков же и ангел со свечой, таков же „Падший Демон“, таков же, по крайней мере по замыслу, его пушкинский Пророк. Отметить зло в ангеле, отметить добро в демоне, это идея чисто русская и, кстати сказать, противоположная бескрайностям: умеряющая, не слишком восторженная, — мир не делится на черное и белое. Это тоже ведь из Нила Сорского.

Л. Зародыш этой идеи есть и в живописи Леонардо да Винчи, у которого Вахх похож на Иоанна Крестителя... Сходство у Врубеля могло тут происходить от единства его художественной натуры или

*В высшей степени (*φр.*).

даже просто от единства в манере и приемах. Вообще трудно из пластических искусств делать сложные идейные выводы. Закончим же таблицу о рангах. Кто же величайший русский философ?

А. Вы, вероятно, скажете: Владимир Соловьев? Он, конечно, был, быть может, вместе с Франком, самым универсальным из русских философов (в тесном смысле этого слова), а может быть, и самым даровитым. Почти все системы нашего времени так или иначе, в большей или меньшей мере, вышли из Соловьева, хотя бы от него отталкиваясь. А сам он из русских ни из кого не вышел: влияния на него главным образом иностранные, от Платона до Баадера. Как у Бердяева, у Соловьева было *несколько* философских учений. Недаром биографы и исследователи делят его уже на периоды — кто на три, кто на четыре. Это деление, кстати сказать, лучший признак славы, — кажется, из русских философов никто другой его пока не удостоился. Верно, удостоится Бердяев, и у него „периодов“ можно будет установить десять или еще больше... Я люблю Соловьева и как поэта — это, верно, вызовет улыбку у некоторых современных поэтов. Люблю и как публициста, и даже как критика — его статья о Пушкине, как бы к ней ни относиться, по существу, одна из самых важных статей, когда-либо о Пушкине написанных. Это такой же удачный набег философа в область литературы, как статья о Чехове Льва Шестова. Я сказал бы даже, что и в области точного знания Соловьев порою высказывал мысли, опередившие его время. В своих размышлениях об атомизме он намечает различие не только между атомами Демокрита и атомами ученых XIX века (что было бы не очень ново), но и различие между атомами химика и физика, „отнимающее у физических теорий атомизма, как противоречащих друг другу, всякое обязательное значение для философа...“ Так же откровенно признаю, что много я у Соловьева просто не понимаю. Совершенно не понимаю его учения об андрогинизме. Не понимаю единения Абсолюта с Первоначалом, различий между „понятием и тем, что в нем выражается“, между первым и вторым полюсами абсолютного.

Л. Только ли он писал таким языком! Это язык новейшей философии, и насмехаться над ним было бы так же странно, как иронизировать над языком новейшей физики.

А. С той разницей, что физики под каждым своим нынешним сложным понятием разумеют все-таки всегда одно и то же и нечто математически определенное, тогда как о философах этого сказать нельзя. Тот же Соловьев обвиняет часть философов в том, что они второе абсолютное смешивают и отождествляют с первым*. Я, впрочем, и не думал насмехаться. Этому языку надо научиться, и это не труднее, чем, вероятно, научиться турецкому языку. Жалею, правда, что русские философы взяли свой язык у немцев, а не у французов или англосаксов. Если я не понимаю некоторых доктрин Соловьева, то это моя вина, а не его... Быть может, Соловьеву в литературе все же иногда не хватало простоты и чувства смешного (в жизни у него этого чувства, говорят, было очень много). Прочтите его „Мнимую критику“, — сердитую полемику с Чичериным, в которой оба они совершенно серьезно сравнивали друг друга с Торквемадой! Тема была очень серьезна — и в частности, по вопросу о смертной казни Соловьев, ее решительный враг, был неизмеримо выше своего оппонента. Но одновременно они спорили и об отправлениях животного организма. Человек, писал Чичерин, „не стыдится наполнения себя материей, но он стыдится освобождения от излишней материи. Что же, это освобождение от ненужной пищи есть тоже *недолжное*?“ Соловьев, правда, указывая на „невысокий сорт“ довода, отвечает, что вопрос основан на двусмысленности слова „должное“ в русском языке: „По-немецки два смысла здесь различаются в словах „*müssen*“ и „*sollen*“^Δ. Впрочем, я охотно готов удовлетворить любопытство г. Чичерина. Указанный им физиологический факт есть лишь частичное и, так сказать, хроническое проявление той аномалии, острое обнаружение которой дано в смерти и тлении

*В.Соловьев, Соб. соч., т. II, стр. 302.

^ΔДолженствовать (в силу необходимости) (нем.).

^ΔДолженствовать (в силу обязанности) (нем.).

организма. В обоих случаях аномалия состоит в перевесе материи над формой** и т.д. Мне, право, трудно представить себе такую полемику, с „формой и материей“, с „müssen“ и „sollen“, во французской или английской философской литературе... Не будем входить в обсуждение общего учения Соловьева. Нового о нем ничего не скажешь — все сказано и пересказано, — да это и не относилось бы к теме нашего разговора. Чтобы остаться в ее пределах, скажу одно: в известных мне его произведениях нет ни одной строчки, противоречащей идее „Красоты-Добра“. В своих возражениях Ницше он, по-моему, без основания сопоставил и даже объединил с „красотой“ „силу“ (следуя тут, правда, ницшеанской фразеологии). Но что же сказал Соловьев по существу? Он начал с древней цитаты: „И бысть егда поражаше Александр Македонский, сын Филиппа, иже изыде от земли Хеттии, порази и Дария, царя персидского и мидского, и воцарися вместо его первый в Елладе. И состави брани мнози, и одержа твердыни мнози, и уби царя земския. И пройде даже до краев земли и взя корысти многих языков, и умолча земля перед ним, и возвысися, и вознесся сердце его. И собра силу крепко зело, и начальствова над странами и языки, и мучительми, и быша ему в дапники. И *по сем паде на ложе и позна яко умирает*“. Последние слова, подчеркнутые самим Соловьевым, очень сильные в своей сжатости, он затем подробно развивает, от чего они лучше не становятся: с теми стилистами состязаться трудно. Его аргументация тут не так интересна: „Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле сила? Разве разлагающийся труп есть красота?“^{***} и т.д. Посрамлять ницшеанство ждущей всех людей смертью было довольно бесполезно, тем более, что этот довод-туз бьет все карты во всех колодах. Посрамлять самого Ницше его собственным безумием[^] было вдобавок и не очень великодушно. Но каков же тут вывод самого Соловьева? „Сила и красота божественны, только не сами по себе: есть

*В.Соловьев, Собр. соч., т. VII, стр. 658.

**Там же, стр. 9 и следующие.

[^]Как известно, — говорит Соловьев, — этот несчастный писатель, пройдя через манию величия, впал в полное слабоумие“ (там же, стр. 10).

Божество сильное и прекрасное, которого сила не ослабевает и красота не умирает, потому что у него и сила, и красота нераздельны с добром⁴. Выпустим „силу“, при чем она тут и что в ней „божественного“? Русская литература никогда особенно силу и не любила. В ней нет Конрадов и Джеков Лондонов, мало и „людей действия“ — разве „босыяки“ Горького? Классические русские писатели обычно вливали в жилы „людям силы и действия“ иностранную кровь. Тургенев выбрал болгарина Инсарова, Гончаров немца Штольца, Чехов немца или шведа фон Корена, Лесков швейцарца Рейнера и поляка Ярошинского, Базаров исключение, да его действие волей судьбы и не началось... Главное же в мысли Соловьева никак платоновскому принципу не противоречит. Да и в „Критике отвлеченных начал“ он „реализацию божественного начала“ определяет как задачу искусства, „свободной теургии“*. Нет у Соловьева также почти ничего носящего печать бескрайностей. Говорю „почти“ потому, что при известном желании можно было бы признать „безмерной“ его мысль: Бог хочет, чтобы существовал хаос. Эту мысль он высказал в одной из второстепенных своих работ. Ни в „Оправдании добра“, ни в „Критике отвлеченных начал“ этой мысли нет. И только намеки на нее есть в „Повести об Антихристе“, которая, как и „Три разговора...“, вообще представляется мне одним из слабейших произведений Соловьева... Предполагаю, что вы не берете его в укрепление вашей позиции в споре?

Л. Не предполагайте: его эсхатологию беру.

А. Напрасно. Соловьевская счастливая эсхатология — история кончится Царством Божиим — лишь очень далекая, слишком далекая и, по-моему, ничем не оправданная экстраполяция все той же идеи „Красоты-Добра“. На вашем месте я взял бы только трех русских мыслителей, которых сейчас назову. На заданный же вами вопрос „Кто величайший русский философ?“ я все же не отвечу: Соловьев. Я без колебания назову Герцена. Из него вышли и „персонализм“, и русская субъективная

*В.Соловьев, Оправдание Добра, Собр. соч., т. VII, стр. 334.

школа. И он для меня высокое воплощение того, что Гегель называет „Icbendige Freiheit“*. Перечтите главу Гегеля об афинской культуре. Ее особенность он видит в „одухотворенности гением красоты“ („Geist der Schönheit“)*. В России политической свободы было немного, но внутренней свободы было больше, чем где бы то ни было, именно в вышеуказанном гегелевском смысле, тесно примыкающем к платоновскому принципу. Такова же особенность *вершин* русской культуры. В искусстве это Толстой, в области чистой мысли Герцен, „наш дорогой Герцен“, как называл его автор „Войны и мира“ в письме к Стасову (кстати, кажется, Толстой ни об одном писателе таких слов не говорил). Надеюсь, вы Герцена не отведете на том основании, что он не принадлежит к „цеху“ и писал не на „профессорском жаргоне“.

Л. Никак его не отвожу, но я действительно имел в виду „мыслителей“ в более узком смысле слова.

А. Если опять-таки не в смысле одного узко-философского цеха, то я указал бы как „величайших“ Лобачевского и Чебышева. У нас пишут историю русской мысли, даже не упоминая об этих двух великих людях. Между тем чисто философское значение их работ не меньше их математического значения. Владимир Соловьев все-таки нового слова в истории мировой отвлеченной мысли не сказал. Бросили новое философское слово эти два математика...

Л. Нельзя требовать от философов, чтобы они занимались и математическими науками.

А. Почему же собственно нельзя?.. Но они тоже принадлежат к другому цеху... Не из цеха и те философы, которые подтверждают вашу точку зрения. Как вы, вероятно, догадываетесь, первый из них Константин Леонтьев. Я его не люблю и едва ли кто-либо *любит* его. Но не могу отрицать, что он был один из самых оригинальных русских мыслителей девятнадцатого века.

* „Живая свобода“ (нем.).

* Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig, p. 339.

Л. Вы имеете в виду его политические предсказания, которые высоко ставил Бердяев?

А. Нет. Политические предсказания хороши, когда они совершенно конкретны. Конкретно было предсказание, сделанное за несколько месяцев до Первой мировой войны бывшим министром Дурново, и я это предсказание считаю лучшим из всех мне известных, да и, прямо скажу, гениальным: он предсказал не только войну (что было бы нетрудно), но совершенно точно и подробно предсказал всю конфигурацию в ней больших и малых держав, предсказал ее ход, предсказал ее исход. Предсказывать же в очень общей форме, как это делали столь многие известные люди, приводящие со своими пророчествами в восторг потомство, — это заслуга не большая. Таково предсказание лермонтовское: „Настанет год, России черный год, — Когда царей корона упадет, — Забудет чернь к ним прежнюю любовь, — И пища многих будет смерть и кровь“... Конечно, оно сбылось. Но что же оно собственно значило? Ничто не вечно, не вечна и корона царей. После французской революции, после восстания декабристов, нетрудно было делать такие предсказания. Правда, Лермонтову было, помнится, лет шестнадцать, когда он написал эти стихи... Предсказания Леонтьева, если о них вообще можно говорить, носили слишком общий характер: будет уравниловка, будет революция, будет кровь. В смысле узкой политической эсхатологии: ни один государственный организм в истории не прожил более тысячи двухсот лет, значит, подходит к концу и западноевропейский мир, Франция, Англия, Германия*. Что же еще? Тот приятный крепостникам вздор, который он говорил о „разрушительно-эмансипированном процессе“ в России? Или же „Конец петровской Руси близок. И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-гермапский прах с наших азиатских подошв“^Δ? Или предстоящее „вступление русских

*К.Леонтьев, Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, Собр. соч., т. VI, стр. 67.

^ΔК.Леонтьев, Племенная политика как орудие всемирной революции.

К.Леонтьев, Средний европеец, Собр. соч., т. VI, стр. 79.

войск в Царьград“ и не „ с обще-эгалитарностью в сердце и уме“, а „именно в той *шапке-мурмолке*, пад которой так глупо смеялись паши западники“?* Или то, что в случае русско-германской войны Россия и Германия пожертвуют слабейшими союзниками, то есть Францией и Австрией? В этом последнем предсказании он, кстати сказать, сходилса с Энгельсом, от чего, верно, пришел бы в совершенный ужас. Да чего он, собственно, в политике хотел? Говорил, что восвать с Австрией желательпо, по разрушать ее — избави нас, Боже, ибо она „драгоценный пам карантин от чехов и других уже слишком европейских славяп“. Что он для России предвидел? Ей, по его словам, „предстоят две дороги — обе бесповоротно европейские — или путь подчинения папству и потом в союзе с ним борьба па жизнь и смерть с антихристом демократии, или же путь этой самой безверию и убийственпому равенству...“ По правде сказать, политик Леонтьев был никакой. Если б этот необыкновенно одаренный человек был *только* политиком, то и быть бы ему всю жизнь копеулом в балкапской глуши. Мне даже не очень попятно, что именно его к политике влекло? Вот как, по-моему, не очень к нему идет, что он, при своем антигуманизме, был врачом... Знаю, что некоторые историки русской мысли теперь смотрят на Леонтьева иначе, по я все же думаю, что в основе его миропонимания или, точнее, мироощущения, лежит одно „чувство красоты“, своеобразное и очень тонкое. Кое-чем — мне трудно было бы определить точно, чем именно, — он напоминает мне П.П.Муратова, который, будучи штатским человеком, писал о военных вопросах так же много и с такой же любовью, как Леонтьев писал о внешней политике...

Л. Значит, вы этого ушедшего в монастырь человека считаете „антигуманистом“ или даже „аморалистом“?

А. Таким его до недавнего времени, кажется, считали все. Я так далеко не иду... Не люблю опешленного слова „эстет“, назовем Леонтьева „эстетиком“,

*К.Леонтьев, Средний европеец, Собр. соч., т. VI, стр. 77.

благо он сам нередко употребляет это слово. Но к „добрѹ“ у него в самом деле особенной любви не было. Да, он находил, что „поэзию изящной безнравственности“ может вытравить „поэзия религии“. Значит, тоже „поэзия“? И вытравила ли у него самого? Протворечивое миропонимание этого сложного человека менялось, правда, часто. Он одобрительно повторял слова Каруса, что в известные годы „man wird sich selbst historisch“*. Леонтьев даже этим злоупотреблял, как несколько злоупотреблял и словесной водой: если б выжать полное собрание его сочинений, остались бы том или два ценнейших и тончайших замечаний. В эсхатологии же „эстетика“ он был гораздо более прав, чем в чем бы то ни было другом. Действительно, в недифференцированном обществе искусство может ждать печальная участь. Советская беллетристика это достаточно доказывает (независимо от гнета большевистской цензуры). Очень тонко говорил он, что в быту южных славян „Апна Каренина“ была бы просто невозможна. О Леонтьеве лучше всего судить не по существу его доктрины, а по разным отрывочным замечаниям. В своих воспоминаниях он говорит, что перед первой встречей с Тургеневым (тот его „открыл“) он „ужасно боялся встретить человека *не годного в герои* (его курсив), некрасивого, скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и *тогда уже* (курсив мой) прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки, и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом“#. Насчет демократии это тоже сказано для красоты слога. Много цитат можно было бы привести из Леонтьева в доказательство того, что „его идеал позади“ — в темной дали. Не привожу их потому, что это было бы все-таки не вполне верно: не сомневаюсь, что если б он жил при Петре I, в период безграничного самовластья, он возненавидел бы и Петра, как ненавидел бы и любой другой строй, — вот же при Николае Павловиче считал себя „крайним демократом“. Он сам себя где-то пазывает „человеком, с которого только что сняли кожу“. Он ушел в монастырь и считал себя глубоким знатоком русского

* „Становиться самоисторичным“ (нем.).

К. Леонтьев, Мои дела с Тургеневым, Собр. соч., т. IX, стр. 77.

монашества. Говорю „считал себя“, так как он и тут высказывал мысли странные и необычные. Он не раз издевался над христианством Достоевского. „Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св.отцов и старцев Афонских и Оптиных“*. Говорил, что „творчество Золя в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство Достоевского в „Братьях Карамазовых““. Золя! То есть воплощение вольнодумного „мещанства“ (в леонтьевском и герценовском смысле этого слова). Я думаю, никакие нападки со стороны Верховенских или Ракитиных не могли бы оскорбить Достоевского больше, чем эти пренебрежительные замечания — со стороны Константина Леонтьева. Так же пренебрежительно он говорил о Толстом, „который кощунственно зовет себя христианином“^Δ... Не всегда помогала ему и эстетика: не обо всем можно было судить исходя из несправедливости к „жизни пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака“. Однако его положение было легче, чем у Герцена. Для него, как для чистого „эстетика“, мещанство было в нивеляции быта, а она означала гибель искусства. Кроме того, Герцену в его несправедливости к „juste milieu“ все-таки создавал затруднение его социализм, ибо социалисты, как сказал Прудон (и повторил Леонтьев), должны покинуть нынешнее либерально-консервативное *juste milieu* во имя будущего *juste milieu* социалистического. „Будь теперь крайним, чтобы позднее стать средним...“ Леонтьев же хоть к обоим *juste milieu* мог относиться совершенно одинаково. Он где-то говорит, что правды нигде нет, не было и *не будет*. Он признавал Каткова гениальным человеком... Нет, он вне русской традиции. Леонтьев в русской культуре — первое из трех исключений, выгодных для вас для защиты вашей позиции в споре.

Л. А два других?

*К.Леонтьев. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе, Собр. соч., т. IX, стр. 13.

К.Леонтьев, там же, стр. 17.

ΔК.Леонтьев, Записки отшельника, Собр. соч., т. VI, стр. 137.

А. Федоров и Розанов. И если б я не боялся схем, всегда все огрубляющих, я сказал бы: Леонтьев из платоновского принципа фактически так или иначе принял только „красоту“, Федоров принял только „добро“, а Розанов не принял ни того, ни другого. Мне трудно говорить о Федорове, так как его основное учение я понимаю еще гораздо меньше, чем страницы об андрогинизме у Соловьева. Федоров и в мировой литературе совершенно ни на кого не похож, хотя бы и отдаленно, — случай, можно сказать, единственный. Скажу больше: он ненавидел традиции европейской мысли. Гегель, любимец русских философов и философствующих писателей, как „левых“, так и „правых“, был для него поистине *bête noire**. В отношении к Гегелю у этого подлинного праведника появляется и нечто похожее на личную ненависть. Он пишет: „Гегель, можно сказать, родился в мундире. Его предки были чиновники в мундирах, чиновники в рясах, чиновники без мундиров — учителя, а отчасти, хотя и ремесленники, но, тоже, цеховые. Все это отразилось на его философии, особенно на бездушнейшей „Философии духа“, раньше же всего на его учении о праве. Называть конституционное государство „Богом“ мог только тот, кто был чиновником от утробы матери. Нельзя читать без глубочайшего отвращения определения его „Логики“ или „Феноменологии“, если переложить в них живые, конкретные...“^а Не думаю, чтобы позволительно было такими доводами отмахиваться от грандиозной системы, сыгравшей огромную роль в мировой истории мысли. Еще хуже было его отношение к другому, более позднему, западному любимцу философской или философствующей России. „Amor fati“^б, — говорит Федоров, — это формула величайшего унижения, падения человека ниже зверя, ниже скота, *ниже самого Ницше!*“^в Было ли тут что-то от избытка национализма или от нелюбви к немцам? Ни в малейшей степени. Федоров, собственно, ненавидел и русскую литературу: „Так называемая русская литература, называю-

*Отвратительный (фр.).

^аН.Ф. Федоров, Философия общего дела, М., 1906—13, т. II, стр. 87.

^б„Любовь судьбы“, „рок“ (лит.).

^вТам же, стр. 162.

щая паше царство темным, наши города „Глуповыми“ и т.п., не есть ли только „Россика“, то есть сочинение ипострапцев о России, а не подлинных сынов русского народа“*. Вы скажете, он имел в виду лишь обличительную литературу педрипского образца и не павидел ее, как „подлипный сып“, из любви к старым устоям. Тоже ни в малейшей степени. Он и Гоголя, и Толстого, и даже „светлого“ Пушкипа, никак не обличителя, считал — правда, лишь „в пекоторых отношениах“ (спасибо и па этом) — „иностранцами, пишущими о России“ (как он Ницше почему-то считал „русским, пишущим о Германии и вообще о Западе“). Что ж делать; у них не все „добро“, есть и „красота“. Тут уместно было бы вспомнить те замечательные слова Нила Сорского, которые я вам уже приводил: „И доброе па злобу бывает ради безвременства и *безмерия*“. Я знаю, Федоров был замечательный человек, истипный подвижник, приближавшийся по человеческому типу к Нилу Сорскому. Вероятно, имеппо этим он производил огромное впечатление па людей, даже па Льва Толстого, который гордился тем, что живет в одну эпоху с Федоровым. Но все-таки к чему все это Федорова привело? Не касаюсь его критики Апокалипсиса, которую Бердяев считает гепиальной. Все же главное в его философии это теория воскрешения мертвых. Бердяев ее обходит молчапием и мягко замечает, что в пей „есть, конечно, элемент фантастический“. Действительно, есть. Позвольте вам папомнить: „Радикальное разрешение сапитарного вопроса состоит в возвращении разложепных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали... Таким образом, вопрос сапитарный, как и продовольственпый, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательпый процесс рождепия и питания, в действие, во всеобщее воскрешение, человечество через воссоздапные поколения делает все миры средствами существования... С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся, как случайность, от невежества, следовательно от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною эпидемической болезнью, перед которой

*Н.Ф.Федоров, Философия общего дела, М., 1906—13, т. II, стр. 396.

все прочие эпидемии могут считаться спорадически болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувств, смысла; но в таком случае и всякое оупение, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом^{**}. Повторяю, не могу понять. И достаточно прочесть его произведение, чтобы исключить возможность какого-либо фигурального или символического толкования его мыслей о „воскрешении“. Нет, он своему учению придавал смысл буквальный. В этом „санитарном“ подходе к бессмертию есть и довольно грубый материализм. Нам, конечно, было бы здесь бесполезно возвращаться к сопоставлению „Intellige ut credes“[†] и „Crede ut intelliges“[^]. Этот спор не был закончен, конечно, и знаменитыми возражениями Джона Стюарта Милля Уильяму Гамильтону, со всеми разбиравшимися Миллем примерами, вплоть до несколько наивного „мы знаем, что мы существуем, что существует наш дом, наш сад в тот момент, когда мы на них смотрим, и мы верим, что существуют русский царь и остров Цейлон“[‡]. Но ни к одному варианту мнений, высказанных в этом вековом споре, учение Федорова не относится. Разве только к „credo quia absurdum“[□] Или вы это положение считаете русской идеей?

Л. Я никак не ставлю себе задачей защищать федоровское учение о воскрешении мертвых. Все же напомним вам страницу о „прахе“ в главе о смерти у Шопенгауэра: „прах“ живет и будет жить, вечно меняя форму[†]. Вы не станете говорить, что и у Шопенгауэра „credo quia absurdum“?

^{*}Н.Ф. Федоров, Философия общего дела, М., 1906—13, т. II, стр. 277—8.

^{**}„Понимай, как веришь“ (лат.).

[^]„Верь, как понимаешь“ (лат.).

[‡]John Stuart Mill, La Philosophie de Hamilton, французский перевод Козелля, Париж, 1869 г., стр. 74.

[□]„Верую, потому что абсурдно“ (лат.).

[†]Die Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig, vol. II, p. 41, pp. 1251-2.

А. Не стану, потому что у него этого нет и в помине; он не „воскрешает“ праха, то есть не обращает его в прежнее человеческое существо, — он говорит о дальнейших вечных превращениях разлагающейся материи. Не скажу, чтобы эта глава гениальной книги была особенно утешительна, да Шопенгауэр, как вы знаете, никогда особенно и не старался утешать человечество. Федоров же, верно, пытался утешить нас — и особенно себя. Но уж, конечно, его учение еще гораздо менее утешительно, чем эти незабываемые шопенгауэровские страницы.

Л. Вы упрощаете учение Федорова и, главное, берете в нем не самое ценное. Но даже в мысли о „санитарном“ воскрешении людей есть доброе зерно. Он выражал ее словами, что природу в ее нынешнем виде нельзя признавать созданием Бога, поскольку в ней божественные предначертания либо не выполнены, либо искажены. Федоров это приписывал частью незнанию, частью безнравственности людей. С первой частью утверждения — в другой словесной оболочке — согласились бы и Пастер, и Ньютон. Он был не так неправ, говоря в данном случае и о безнравственности. На те миллиарды долларов, которых стоят атомные бомбы и все с ними сходное, можно было бы кое-что в природе и „переделать“... Но уж, во всяком случае, вы должны признать, что и Леонтьев, и Федоров могут считаться доказательствами бескрайности русских идей.

А. Да ведь я и говорю вам, что они составляют в истории русских идей исключение. Третье исключение: Розанов. Как и Леонтьев и в отличие от Федорова, он был очень одаренный *писатель*. Этим, конечно, а не своими философскими суждениями, он завоевал русскую критику или во всяком случае значительную ее часть. Как ни смешно сравнивать его с Паскалем (а это сравнение было сделано очень авторитетным человеком), талант у него был большой. С ним, однако, вышло недоразумение, продолжавшееся приблизительно полстолетия. У Розанова были поклонники и в либеральном лагере. Все же кумиром он был преимущественно для людей консервативных

взглядов. Он писал и в „Русском слове“, но главные его читатели были в „Новом времени“: завоевал консервативную Россию Розанов, а не Варварин (как вы помните, под этим псевдонимом он писал в либеральной газете). И ее кумиром оказался — совершенный нигилист. Иначе я не могу назвать автора „Апокалипсиса нашего времени“. Живя в Сергиевом Посаде, он писал богохульную книгу! С В.С.Печериным, автором „Замогильных записок“, случилось в *этом* отношении нечто сходное: он, став католиком, пробыв двадцать лет монахом, писал: „Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, и теперь издыхает от старческого изнеможения“. Но о нем я говорить не хочу и не только потому, что он так смело и бесцеремонно похоронил христианство: Печерин вообще вне русской культуры, и писал он немного, и нигилистом он все-таки не был. Но я рад тому, что оба они, столь друг на друга непохожие, сами себя, каждый по-своему, исключили из русской философской традиции.

Л. Да можете ли вы вообще говорить о русской *философской* традиции, если вы говорите, что философских систем у нас в девятнадцатом веке не было?

А. Это говорю не я, я сослался на чужое мнение. Но тот же отец Зеньковский замечает, например, что П.Л.Лавров почти был „на пороге создания системы“. Это верно. Русская субъективная школа *была* философской системой. Я, впрочем, считал бы ее создателями не Лаврова, а Герцена и Михайловского. Она на Западе почти неизвестна. С ней произошло то же, что с Константином Леонтьевым. Ницше ведь в самом деле „вышел“ из него, хотя и не подозревал, верно, об его существовании. Русская субъективная школа предвосхитила главное в учении Риккерта. Это у нас говорилось. Но не говорилось, что она предвосхитила и главное в *нынешнем* экзистенциализме, по крайней мере в его сартровском подразделе. Сартр просто повторил зады русской субъективной школы (тоже, разумеется, никогда о ней не слышав). Чтобы не

быть голословным, приведу — в подлиннике, для точности и в виду крайней трудности перевода — лишь один отрывок: „L'homme est possesseur d'une nature humaine, cette nature humaine, qui est le concept humain, se retrouve chez tous les hommes, ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel, l'homme; chez Kant, il résulte de cette universalité que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois, sont astreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base. Ainsi, là encore l'essence d'homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. L'existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et que cet être c'est l'homme ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour le concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence; l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme... Subjectivisme veut dire d'une part choix du sujet individuel par lui-même, et, d'autre part, impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine. C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit, mais par là nous voulons dire aussi qu'en se choisissant il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal; ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour

tous“*. Отбросим последнюю мысль, несколько неожиданную и весьма „крайнюю“, — Сартр мог бы перефразировать тут „Записки из подполья“...

Л. Или хотя бы свои собственные романы, где действующие лица неизменно „выбирают зло“, а не добро.

А. Но что, если именно отбросить „nous ne pouvons jamais choisir le mal“, возвращающее нас даже не к

* „Человек обладает некоей человеческой природой. Эта человеческая природа, которая является понятием человека, имеется у всех людей. А это означает, что каждый отдельный человек — лишь частный случай общего понятия „человек“. У Канта из этой „всеобщности“ вытекает, что как житель лесов, так и буржуа подпадают под одно определение, обладают одними и теми же основными качествами. Следовательно, и здесь тоже сущность человека предшествует тому историческому существованию, которое мы встречаем в природе. Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен. Он учит, что если Бога не существует, то есть по крайней мере одно такое существо, у которого существование предшествует сущности, существо, которое начинает существовать прежде, чем его можно определить каким-либо понятием. Этим существом является человек, или, как говорит Хайдеггер, человеческая реальность. Что означает здесь, что существование предшествует сущности? Это значит, что человек сначала существует, оказывается, появляется в мире, и только потом он определяется. В представлении экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что он первоначально ничего собой не представляет. Он станет человеком лишь позже, и станет таким человеком, каким он сам себя делает. Таким образом, нет человеческой природы, как нет и Бога, который бы ее сотворил. Но человек не только таков, каким он себя представляет, но таков, каким он проявит волю стать, и поскольку он представляет себя после того, как уже начал существовать, и проявляет волю после этого порыва к существованию, то человек есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма... Слово „субъективизм“ означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, и, с другой стороны, невозможность для человека выйти за рамки субъекта. Именно второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек себя выбирает, мы подразумеваем, что выбирает себя каждый из нас, но этим мы хотим также сказать, что, выбирая себя, он выбирает всех людей. Действительно, нет ни одного такого нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотим быть, не создавало бы в то же время образ человека, такого, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбор того или другого означает в то же время утверждение ценности того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбрать дурное. То, что мы выбираем, — это всегда хорошее. Но ничего не может быть хорошим для нас, не будучи хорошим и для всех“ (*фр.*). — Перевод дан по кн.: Сартр, „Экзистенциализм — это гуманизм“. М., 1953 г., стр. 285–286. Sartre, L'Existentialisme est un humanisme, Paris, 1946, pp.20-26.

„Критике практического разума“, а к добрым старым утилитаристам, которые и не подозревали, что они — экзистенциалисты? Ведь Михайловский говорил, без упора на атеизм, почти дословно то же самое. Вы скажете, что у обоих учений есть общие корни. Не думаю. Едва ли Михайловский читал Кьеркегора, и вдобавок сартровский оттенок *французского* экзистенциализма с Кьеркегором связан мало, а католический экзистенциализм Габриеля Марселя имеет гораздо меньше общего с русской субъективной школой... Нам пора закончить эту „прогулку по садам русской философии“. Я ничего не сказал о Хомякове, о Киреевском, о Милюкове, о Новгородцеве, о Трубецких. Их учения входят в ту русскую традицию, о которой я говорил, или по крайней мере никак ей не противоречат. Но уж, во всяком случае, субъективная школа густо окрашена платоновской идеей и ровно никаких бескрайностей и безмерностей в себе не заключает... Да и как к людям, оба эти положения в достаточной мере относятся к Герцену, Лаврову, Михайловскому.

Л. Вы упустили не одних только пазванных вами лиц. Вы ничего не сказали, например, о Ткачеве. Вероятно, вы считаете его *только* последователем Бланки, над гробом которого он сказал речь? Но уж Бакунин и даже Кропоткин были настоящие *творческие* умы — между тем я у них вижу настоящую „безмерность“. Вообще лучше было бы говорить не о том, чего *нет* в русской культуре, а о том, что в ней *есть*. Не скрою, мне ваши три идеи кажутся несколько натянутыми. И я не вижу, где именно идея „Красоты-Добра“ перекрещивается с идеей Случая, или Судьбы?

А. Я не повторял в этой нашей беседе того, что говорил прежде. К сказанному я лишь добавлю, что русское искусство выше всего там, где оно не гоняется за искусственной „самобытностью“, — очень это легкая и дешевая штука. Пушкин, Толстой, Чайковский, создатели Смольного монастыря и Казанского собора в Петербурге не боялись сочетания русского искусства с западным... В заключение же нашей бе-

седы хочу остановиться — и тут уж не кратко, а более подробно — на одном замечательном русском художественном создании, в котором именно скрещиваются все „три идеи“.

Л. Что же это такое?

А. Это „Пиковая дама“ Пушкина—Чайковского. Как видите, я тут называю имена двух великих русских художников. Делаю оговорку. Чайковский никак не был знатоком литературы. Как, впрочем, и большинство русских композиторов, а может быть, и композиторов вообще, он не всегда выбирал для своей музыки лучшие литературные произведения. Для романсов иногда и вообще не выбирал стихов, а просил вместо него делать это госпожу фон Мекк. Безграмотное либретто „Пиковой дамы“ показалось ему очень хорошим*. Что ж делать? Наше *общее* понятие искусства в значительной мере фиктивно. Люди одного из его родов нередко ничего не понимают в другом, тем более, что каждое искусство более или менее герметично и требует для суждения долгой подготовки и даже работы в нем. Так, например, Врубель, любивший высказываться о литературе, считал „Анну Каренину“ второстепенным романом! Согласно его другому замечанию, „Война и мир“ потому нравится читателям, что в ней хорошо описана барская обстановка, — все графы и князья#. Все же операция, произведенная братьями Чайковскими над пушкинской повестью, поразительна. У Пушкина действие „Пиковой дамы“ происходит в девятнадцатом столетии, — Томский ведь говорит о Германне: „У него профиль Наполеона и душа Мефистофеля“. Чайковские перенесли повесть в царствование Екатерины II — и вставили романс, в котором старая графиня вспоминает свою молодость, свою встречу с госпожой Помпадур! В повести граф Сен-Жермен („лет шестьдесят тому назад“, по словам Томского) мог открыть юной графине свой секрет. В либретто же и тут вышла совершенная хронологическая бессмыслица. А добавленные либреттистами действующими

*М. Чайковский, Жизнь П.И. Чайковского, М., т. III, стр. 344.

#А. Врубель, Биография, „Искусство“, 1910 г., стр. 323.

щие лица, этот специально для арии приделанный князь Елецкий, страстно влюбленный в Лизу! (У Пушкина ее особенность именно в том, что никто из мужчин ее общества на нее и смотреть не хочет.) А присочиненный для двух арий нелепый фипал, с двумя самоубийствами, на которые у Пушкина и намека нет! Мы часто возмущаемся голливудскими людьми, искажающими литературные шедевры. Однако величайший русский композитор поступил ничуть не лучше с величайшим русским поэтом. Он и сам присочинял стихи к пушкинскому тексту! И несмотря на все это, Чайковский почувствовал „Пиковую даму“ изумительно. Вспомните слова Бетховена: „Музыка — высшее откровение всей мудрости и философии“. Тут же было поистине „высшее откровение“ — все другое теряет значение. Необыкновенная музыка не только верно передает смысл необыкновенной повести, но еще увеличивает ее глубину. Пушкин и Чайковский здесь навсегда слились. Чайковский написал свою оперу очень быстро, в том состоянии, которое называется „трагсом“. Много пил: „Вечером страшно пьянствовал“, — пишет он в дневнике*, подчеркивая слово „страшно“. И без конца лил слезы: „Ужасно плакал...“ Он говорит сильные слова: „Приходил в некоторый азарт...“, „Я и вдохновение испытываю до безумия...“, „Сегодня писал сцену, когда Германн к старухе приходит. Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса...“ Чайковский считал эту оперу своим лучшим произведением. Писал брату: „Или я ужасно ошибаюсь, или „Пиковая дама“ в самом деле шедевр...“, „Я испытывал в некоторых местах, например в четвертой картине, такой и ужас и потрясение, что не может быть, чтобы слушатели не ощущали хоть части того же“.

Л. Я очень люблю и повесть Пушкина, и оперу Чайковского. Но не преувеличиваете ли вы их значения и нет ли у вас умышленного желанья ими чрезмерно восторгаться? Это нередко бывает с критиками и очень им вредит; они поддаются гипнозу имен. Напомню вам довольно пренебрежительные слова

*Дневники П.И. Чайковского, М., 1923 г., стр. 251, 255.

М. Чайковский, Жизнь П.И. Чайковского, М., стр. 349.

Римского-Корсакова: „Наклонность к итальянско-французской музыке времен париков и фижм, занесенная Чайковским в его „Пиковой даме...“» Пушкинский же рассказ все-таки небольшая вещь.

А. Я себя проверял и не думаю, чтобы тут поддавался гипнозу. Лев Толстой, достаточно компетентный судья, говорил незадолго до своей смерти об этой небольшой вещи: „Так уверенно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!“ В самом деле, по уверенности, сжатости и силе есть мало произведений в прозе, равных этой повести. Из ее сюжета легко можно было сделать длинный роман; Пушкин сделал короткий рассказ. К сожалению, пушкинисты, кажется, точно не установили, *как* импепно писалась „Пиковая дама“. Думаю, что она, как и опера Чайковского, была написана сразу, быстро; об этом, быть может, свидетельствуют и две-три мелких погрешности, выделяющиеся и режущие в удивительном языке этого шедевра. При длительной отделке Пушкин едва ли бы говорил о „суетных увеселениях“ петербургского света, он не сказал бы: „Германн трепетал, как тигр“, — ему не свойственны были ни банальные слова, ни фальшивые образы. Это, конечно, мелочи. С самого начала короткие, даже по звуку мрачные, фразы „Пиковой дамы“ готовят к чему-то очень значительному: „Однажды играли в карты у копногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно...“ Так же написана и последняя глава в игорном доме: „В следующий вечер Германн опять появился у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной... Германн стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалипского... Это похоже было на поединок...“ Удивительно и в чисто словесном смысле, без восторга читать нельзя. У нас Пушкин положил начало *всему*, всем видам поэзии и прозы. Так и здесь. Достоевский сказал: „Мы все вышли из гоголевской «Шинели»“. С

*Н.А. Римский-Корсаков, Летопись моей жизни, М., 1928, стр. 304.

большим правом он мог бы сказать: „Мы вышли из «Пиковой дамы». Несмотря на краткость рассказа, в нем все люди живые. Живой даже Томский, которому едва ли отводятся две страницы, живой Чекалинский, — ему отведено несколько строк. Живая и Лизавета Ивановна, прообраз Сони „Войны и мира“. Из старой графини Анны Федотовны вышли чуть не все брюзжачие, капризные старухи русской литературы. А что сказать о самом Германне? Достоевский недаром им восхищался и называл его лицом необыкновенным. В Германне уже дан целиком Раскольников. Собственно, и идея та же. Оба идут на преступление ради денег, но сами по себе деньги им и не нужны; это самообман, если не обман просто. Раскольников строит на Наполеоне свою философию. Пушкин не случайно два раза подчеркивает физическое сходство Германа с Наполеоном. И он, и Раскольников гордецы и честолюбцы. Но как они предполагают удовлетворить свое честолюбие, — непонятно. Чем же они стали бы, если б разбогатели? Их проблематическое богатство никак честолюбия удовлетворить не могло бы. Раскольников не ждал, конечно, у мелкой ростовщицы больших денег. Три карты в случае удачи могли бы дать Германну двести восемьдесят две тысячи. Столь скромным состоянием честолюбия не насытишь, а для обыкновенной карьеры было достаточно и того, что у него было перед началом игры. Что же дал бы ему выигрыш? Что дали бы Раскольникову нищенские „драгоценности“ старухи? В какие Наполеоны он мог бы с ними выйти? В „Пиковой даме“ все вообще непонятно и таинственно, начиная с мелочей. Был ли Чекалинский шулером? Он „провел весь век за картами...“ „Долговременная *опытность* заслужила ему доверенность товарищей...“ Понимай как знаешь. Точно так же и автор „Войны и мира“ не сказал, шулер ли Долохов. Сообщено только, что Долохов „употреблял для игры“ бывшего приказного Хвостикова, — тоже понимай как знаешь, хотя и немного яснее, чем у Пушкина. Кстати, и в приемах обоих игроков сходство иногда доходит до повторения выражений. Чекалинский говорит Германну: „С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги

на карту“. То же самое говорит Долохов: „Господа, прошу класть деньги на карты“. Один из игроков сказал, что он надеется, что ему можно поверить. „Поверить можно, но боюсь спутаться, прошу класть деньги на карты“, — отвечал Долохов. Это тоже мелочи: не все ли равно, честно ли играл Чекалинский? Но в „Пиковой даме“ тщательно скрыто и „главное“. Любил ли Германн Лизавету Ивановну или нет? Как будто не любил — сама Лизавета Ивановна пришла к мысли, что „все это было не любовь! Деньги — вот чего алкала его душа!“. Однако о Германне же сказано, что его письма к бедной барышне „уже не были переведены с немецкого. Германн их писал вдохновенный страстью“. Какой именно страстью, только ли страстью к игре, — не указывается. Не вполне ясно даже и то, влюблена ли в Германна Лиза. Она очень быстро успокоилась после драмы и вышла замуж. Да не разъясняется и самый сюжет повести: был ли секрет у старой графини, или же весь рассказ о Сен-Жермене — сплетня? Все непонятно и таинственно. Зачем эти эпиграфы к главам, неизвестно у кого взятые (только под одним подпись — и какая: Сведенборг!). В своей повести „светлый“ Пушкин устроил какой-то почти незаметный общий погром. Все хорошо! Не остановился и перед людьми церкви. Над телом старой, выжившей из ума, всем осточертевшей, всех угнетавшей развратницы архиерей „произнес надгробное слово“. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успешное праведницы, которой долгие годы были тихим умирительным приготовлением к христианской кончине. „Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующей в помышлениях благих и в ожидании жениха пополуночного“. Пушкин незаметно иронизирует и над читателями. „Закключение“ он пишет так, как и до него, и после него писались десятки повестей: „Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние...“, „Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине...“ И уж совершенное (только противоположное) издевательство над читателями в словах о том, что благодаря новейшим романам Германн „это уже пошлое лицо“! Ни в каких „новейших романах“ такого „пош-

лого лица“ не было. Германн лицо новое и, конечно, во многих отношениях необыкновенное, воплощающее огненное воображение в сочетании с навязчивой идеей. Об этом вскользь говорит и сам Пушкин: „Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как и два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место...“ Во имя чего же ирония, вообще Пушкину мало свойственная?

Л. Вы хотите сказать: во имя платоновского принципа?

А. Смысл повести в пересечении этой идеи с идеей случая. Ни мудрости, ни красоты, ни добра не было. Тем не менее все как будто шло превосходно. Германн секрет старой графини узнал, сорок семь тысяч выиграл в первый день. Девяносто четыре тысячи выиграл во второй день. Но вот на третий день „обдернулся“: вместо туза положил все деньги на пиковую даму. Случай! И как изумительно это вышло у Чайковского! Разумеется, я не смею спорить с Римским-Корсаковым. Но, оп, во-первых, был современником и „собратом“, то есть соперником по любви публики, — к несчастью, отношения между большими людьми в искусстве, современниками или представителями смежных поколений, почти неизменно напоминают отношение госпожи Монтеспан к г-же Ментенон, сменившей ее в милостях Людовика XIV. А во-вторых, автор „Снегурочки“ и „Садко“, при всем своем таланте, был не очень глубоким „философом“. Он ни в чем не сомневался: Стасов все объяснил... Музыкальная философия „Пиковой дамы“ посложнее и „Града Китежа“. Какая тут „итальянца“! Я не пойду вслед за талантливым историком оперы, который усмотрел в сцене в спальне графини ее мистическое венчание с Германном. Не могу согласиться и с теми, кто считает эту оперу венцом религиозной музыки Чайковского. Не знаю даже, был ли он по-настоящему верующим человеком. Возможно, что не был, — тогда с большой горечью, как все неглупые и не слишком поверхностные атеисты. Но скорее, по-своему, верующим человеком был. Великий князь

Константин Константинович предложил ему написать „Реквием“. Чайковский отказался и ответил интересным и даже замечательным письмом: „В „Requiem“ много говорится о Боге-судье, Боге-карателе, Боге-мстителе. Простите, Ваше Высочество, — но осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед Создателем и источником всякого блага, которые вдохновили бы меня. Я с величайшим восторгом попытался бы, если б это было возможно, положить на музыку некоторые евангельские тексты. Например, сколько раз я мечтал об иллюстрировании музыкой слов Христа: „Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные“ и потом „Ибо иго мое сладко и бремя мое легко“. Сколько в этих чудных простых словах бесконечной любви и жалости к человеку! Какая бесконечная поэзия в этом, можно сказать, страстном стремлении осушить слезы и горести и облегчить муки страдающего человечества...“*

Л. Это деизм толстовского оттенка. Чайковский боготворил романы Толстого, хоть в человеке Льве Николаевиче несколько разочаровался. По-видимому, и Толстой необычайно любил его музыку. Он писал Чайковскому в 1867 году: „Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер“. Это едва ли было простым комплиментом после прослушанной им музыки Чайковского. Уж скорее комплиментом могло быть то, что молодой Чехов послал композитору свои „Рассказы“ с надписью „Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста“*... Кстати, надеюсь, вы не защищаете шаблонную параллель, родство душ: Чайковский—Чехов—Левитал?

А. Нет, никак не защищаю. Не знаю даже, па что у Чехова, если не считать „Черного монаха“, Чайковский мог бы написать музыку? Он предпочитал напряженные драматические сюжеты, души, начинен-

*М. Чайковский, Жизнь П.И. Чайковского, М., т. III, стр. 637.

*„Пиковая дама“, к 45-летию постановки в Мариинском театре, Л., 1935 г., стр. 41.

ные динамитом. Верно, этим его и увлек Германн. Вы слишком любите точные определения: „деизм толстовского оттенка“. Это не совсем так. Конечно, Лев Николаевич не ради комплимента написал Чайковскому то, что вы процитировали. Но и у него сродства душ с Чайковским быть не могло: Толстой для этого слишком страстно любил жизнь... Возвращаюсь к „Пиковой даме“. Из ее трех лейтмотивов, разумеется, лейтмотивы Германна и трех карт важнее лейтмотива старой графини. За что, собственно, мог Германн карать Чайковский? Тут Толстой ни при чем. Для автора „Войны и мира“ Германн был бы просто авантюрист, играющий наперняка, то есть шулерски, человек много хуже, например, Долохова, который хоть не занимался шантажом при помощи пистолета. Чайковский, как и Пушкин, „не любит“ Германна. В самом деле, за что же его „любить“? Но это человек, „вступивший в борьбу с Судьбой“. Тема огромная и соблазнительная. У обоих художников Германн карается. Чайковский, быть может, даже усиливает кару по сравнению с Пушкиным. Только этим можно было бы объяснить (хотя и плохо) то, что композитор согласился на глупый финал, предложенный его братом.

Л. Действительно, объяснение плохое и весьма натянутое. Чайковский просто принял более сценический финал.

А. Не знаю и не настаиваю, но, мне кажется, финал в доме умалишенных был бы и сценичнее, и в музыкальном отношении благодарнее; он и продлил бы тему галлюцинаций пятой картины.

Л. Думаю, что он не доставил бы вам идейного удовлетворения: какие же „красота“ и „добро“ в сумасшествии!

А. Да ведь Германн, по самому замыслу, отрицание платоновской идеи, влекущее за собой „кару“. Красота и добро в пасторали, в чудесной второй картине, отчасти и в первой, в любви...

Л. Которой, однако, как вы только что сказали, нет!

А. Я этого не говорил: у Пушкина, повторяю, все оставлено под сомнением; у Чайковского дана расстроенная душа Гермапна: любовь, золото, три карты. Со стороны же Лизы — быть может, все-таки чистая любовь. И у художника нежность к лучшему из того, что было в старом ушедшем мире, то самое, что и в „Войне и мире“ так прельщает и волнует даже людей, не слишком этот старый мир любящих: чистое волшебство гения.

Л. Да ведь это и есть „физмы и парики“.

А. Конечно, это не так „красочно“, как, например, песнь индийского гостя, которую я слышать не могу: так она и мне, как Освальду Ситвеллу, надоела по исполнению в ресторанах... Не автору „Садко“ и „Снегурочки“ было попрекать Чайковского и идеализацией старины... В „Пиковой даме“ покараны люди, безбожно нарушавшие заповедь „Красоты-Добра“: Гермапн и старуха. Но они *могли бы* быть и не покараны. Случай, торжество Случая, тема трех карт.

Л. Не слишком подходящее воплощение для платоновской идеи. Да поверьте, Чайковский ни о чем таком и не думал.

А. Почему вы знаете? Писал же в дневнике: „Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса...“ Притом, ведь у нас сто лет существует пропись: „Художник мыслит образами“.

Л. Но уж очень произвольно вы их истолковываете. И если истолковывать так, то что же торжествует из двух тем: „Добро-Красота“ или Случай?

А. Обе. Случай помогает торжеству добра или, по крайней мере, каре, которую несет его отрицание. Вершина творчества Чайковского — сцена в спальне графини. В ней все гениально, начиная с первых,

страшных звуков, предвещающих, что сейчас произойдет преступление, но за ним последует и кара. Ведьма-старуха немногим лучше шантажиста, невольно становящегося убийцей. Не сдобровать обоим. А эти необыкновенные речитативы, а так удивительно вставленный чужой французский романс! Темы старости, смерти, любви, случая — самое важное, самое главное в жизни человека.

VI.

Диалог о тресте мозгов

Л. Согласно общему вашему взгляду, смысл человеческой деятельности заключается в борьбе со случаями, в ограждении его роли. Естественно, вы должны сделать из этого выводы практические — иными словами, в значительной мере политические выводы, так как „политика есть рок наших дней“. Вы должны сочетать общее ваше миропонимание с вашим демократизмом. Оп, правда, в некоторых отношениях казался и кажется мне сомнительным, но сами вы утверждаете ведь, что вы демократ?

А. Да, я демократ. Однако не слепой. В одном романе сказано: „Демократия — педурпой выход из нетрудных положений“. Дополню: я демократ потому, что пока люди не выдумали менее плохой формы государственного устройства. Я не вижу оснований по поводу успехов демократии в последние десятилетия производить „a jubilant noise“*, какой по древнему ритуалу британские лорды на коронации должны производить в момент объявления монарха законным. Напротив, я вижу все более серьезные основания искать „коррективов“ к демократии.

Л. Это „демократизм“ весьма относительный. Я, напротив, демократ настоящий, убежденный и, если хотите, „абсолютный“, — по вашей терминологии, вероятно, „слепой“. Критикой демократии на протяжении столетий не занимался только ленивый, и не могу сказать, чтобы критика была очень убедительной или плодотворной. Тут честные, умные, искрен-

* „Восторженный шум“ (англ.).

пие теоретики потерпели в общем такую же неудачу, как *практики*, то есть диктаторы, свергавшие в своих странах свободный строй, а затем заказывавшие ученым или полуученым наймитам разные теории для оправдания своих действий, — собственно, они могли прекрасно обойтись и без всяких теорий: каждый из них всегда действовал в силу своего „индивидуального империализма“ — употребляю выражение одного французского писателя. И их индивидуальный империализм обычно (хоть не всегда) кончался, говоря символически, крюком мясника на площади, как у Муссолини... Я предпочел бы, чтобы вы и тут высказались вполне определенно. Теперь во всем мире — 38-я параллель, и каждый из нас обязан занять место по ту или по другую ее сторону...

А. Я свое давно и прочно занял: по ту же сторону, что и вы, разумеется. Но отказываться от права критики я не могу и не хочу.

Л. Никто от вас этого и не требует. Однако ничего нового вы тут не скажете. Общие и частные недостатки демократического строя, государственная слабость, к которой он ведет в некоторых странах, неустойчивость парламентских правительств, шаткость коалиций и их парализующая роль, недостатки бесчисленных избирательных систем, неэквивалентность между волеизъявлением народа и волеизъявлением парламента — все это достаточно известно. В области более отвлеченной, философской, новейший французский теоретик довольно произвольно делит критиков демократии на четыре разряда. Одни ее критикуют во имя *esprit de conquête* (духа завоеваний) — таковы Ницше, Жорж Сорель, — почему-то к ним он причисляет и Пегу. Другие осуждают демократию во имя *esprit sacerdotal**; по учению этих критиков, лишь одна небольшая группа людей — или даже только один человек на земле — получает прямо от Бога исключительное право и обязанность руководить миром; так думали Бопальд и де Местр; на этой позиции стоял когда-то и Ватикан, отвергнувший в пору француз-

*Священнический дух (*фр.*).

ской революции идею Декларации прав человека и гражданина. Третьи критики исходят из *esprit de classe* (духа класса), как Карл Маркс. И наконец, четвертое, как Моррас, руководятся *esprit artistique**: демократия, мол, „некрасивая“ форма правления, ничего истинно-прекрасного не создающая и вдобавок исходящая из моральных трюизмов... Боюсь, что к этому четвертому разряду принадлежите, с вашей метаэстетической аксиоматикой, и вы?

А. Нисколько. Ни в малейшей мере. Эстетике в этой области решительно нечего делать. Вполне возможно, что демократия не могла бы создать Версальский дворец, Кремль, Кельнский собор. Но и диктатуры нашего столетия ничего сходного не выстроили. Они создали концентрационные лагеря и камеры для сожжения людей, и если этим руководили иногда „эстеты“, то им место на виселице или в доме умалишенных. В области архитектуры создания современных диктатур, поскольку я могу судить по фотографиям, сильно отстают от построек современных демократий. И зданию рейхсканцлерства в Берлине, и новым московским постройкам, кроме еще не законченного здания университета, все же далеко хотя бы до Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Русскую художественную литературу времен Сталина, немецкую времен Гитлера было бы смешно и сравнивать с современной французской, американской, английской. То же самое относится к живописи и к большинству наук. Только в области музыки и математики творчество в СССР приблизительно равноценно западному. Моральные же „трюизмы“ демократического строя уже, наверное, никак не теряют и в эстетическом отношении по сравнению с чудовищными пошлостями Альфреда Розенберга и других новейших „теоретиков“ диктатуры. Не очень убеждают меня и критики первых трех разрядов. Теперь в эмиграции в большой моде поносить марксизм. Психологические основания для этого, конечно, есть и даже двойкие. Во-первых, Маркс в течение большей части своей жизни весьма недолго любил Россию и почти все русское — гораздо менее благодушно, го-

*Художнический дух (*фр.*).

раздо острее, грубее и даже вульгарнее, чем, например, Бокль и чем очень большая часть западной „левой“ интеллигенции. „Il faut avoir l'esprit de haïr ses ennemis“*, — левая русская интеллигенция, кроме Бакунина, Герцена и некоторых их современников, этому правилу не следовала ни в отношении Маркса, ни даже в отношении Энгельса (который тут шел еще дальше, чем его друг, и вдобавок был тремя головами ниже его). Во-вторых же, в Кремле тридцать пять лет тому назад засели люди, как ни как называющие себя марксистами упорно. Правда, пышнее покое поколение этих людей в книги Маркса, в частности в „Капитал“, вероятно, никогда и не заглядывало — „ни при какой погоде“, — с полной готовностью признавал о себе Есенин. Это, быть может, даже единственное, в чем оно сходится с некоторыми эмигрантскими неапатристами и обличителями марксизма. Я весьма далек от марксистского учения, даже в его „меньшевицком“ понимании; но будем справедливы, да и заодно отметим, что на Западе, притом отнюдь не только в социалистических кругах, философия Маркса теперь более признана, более влиятельна, чем была при его жизни. Сам Трельч в своем труде уделит марксистской диалектике 57 страниц, видит в ней „einen ausserordentlich wirksamen Vorstoss des historischen Denkens in die konkrete Wirklichkeit“^а, и признает ее историческое значение огромным^а. Между тем и западные философы, если не испытали всего того, что испытали мы в большевицкое время, то во всяком случае хорошо это знают; марксистов же антибольшевицкого толка они видели у власти в своих страхах. Было бы невозможно, да и бесполезно, отрицать огромные умственные силы Маркса. „Виповен“ же он преимущественно необычайной общедоступностью своего философского и социологического учения: оно дало возможность слишком большому числу людей „объяснять“ слишком многое — и даже все что угодно, вплоть, вероятно, до существования в мире сиамских близнецов. В этом, впрочем, больше,

* „Надо иметь ум неапатризовать своих врагов“. — Пер. с фр. автора.

^а „Исключительно действительный прорыв исторического мышления в конкретную действительность“ (нем.) — Пер. ред. Ernst Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, Tübingen, p 371.

^а Там же, стр. 5.

чем Маркс, „виновны“ Энгельс и другие марксистские магнаты и магпатики. Но, как и у многих других больших мыслителей, у Маркса были очень серьезные внутренние противоречия, частью (хоть не всегда) относящиеся к его идеям в *разные* периоды его жизни. В его книгах и письмах можно пайти и защиту, и осуждение классических принципов демократии. Все же психология должна была уступать место логике, как ни редко и неохотно она это вообще делает. И пет логических оснований выпить одну школу марксистов за преступления другой.

Л. Во всяком случае, с октябрьской революцией обе школы, в этом смысле, так сказать, повисли в воздухе: Маркс, кажется, не говорил о том, что его последователям надо будет делать *после* прихода к власти. Его учение сводится к анализу „до“.

А. Допустим, можно ответить, что он оставил метод и для анализа „после“. Но в этом вы правы. Самый метод, в совершенно новых условиях, оказывается еще более условным, чем прежде. Теперь гораздо труднее сказать что-либо вполне определенное, в частности и об отношениях между марксизмом и демократией. Совершенно измепилась мировая обстановка и по сравнению с той, в которой возникла критика „сацедотальная“. А об „*esprit de conquête*“, в его старом смысле, после двух небывалых в истории боев, говорить не приходится.

Л. Тем более что эти бойни кончились победами демократий: Соединенные Штаты устояли, хотя вели войну, сохраняя свободные учреждения, производя выборы главы государства в точно таких же условиях, как всегда, не вводя политической цензуры, печатая ежедневно (в отличие от диктатур) официальные сообщения враждебных штабов, — даже в те дни, когда эти сообщения были для демократий катастрофическими. Державы же с другой формой правления, по крайней мере многие из них, рухнули.

А. Этим доводом я советовал бы вам не пользоваться. Победа в войне вообще доказывает немногое, а уж относительно преимуществ и недостатков госу-

дарственного строя не доказывает почти ничего. Если демократии существуют и не захвачены большевиками, то это объясняется тем, что, по случайности, одна из них, Соединенные Штаты, самое могущественное государство в мире. Ничего не доказывает и победа западных демократий в 1918 году; без императорской России они Первой мировой войны не выиграли бы. А во второй войне, право, режим Гитлера уж скорее давал ему лишний шанс на победу. Да и победили его общие силы демократий и диктатуры. Не было ничего невозможного в победе немцев... По-моему, лучше не обобщать причин побед и поражений в войнах. Даже независимо от того, что эти обобщения не принимают в расчет случая, они сами по себе слишком часто сводятся к вздору: „В 1870 году победил прусский школьный учитель...“, „Сражение под Ватерлоо было выиграно на полях игр Итона...“, „Вооруженный раб не может состязаться со свободным гражданином“ и т.д. Вооруженные рабы Гитлера воевали ничуть не хуже свободных граждан, солдаты главных воевавших стран были грамотны приблизительно одинаково, а развиваемый итонским крикетом спортивный дух был в этой войне ни при чем, как, впрочем, был ни при чем и в сражении при Ватерлоо, — это была выдумка, очень поправившаяся тем немногочисленным англичанам, которые воспитываются в Итоне. Я не пользовался бы в нашем разговоре и ссылками на успех и неуспехи демократий и диктатур в их внешней политике. В свете „заднего ума“, все действия и тех, и других представляются сплошной чудовищной ошибкой. Демократии выработали нелепый Версальский договор — и его не осуществили. Они не помешали Германии вооружиться после ее краха 1918 года, а некоторые из них даже очень ей в этом помогли. Они в 1933 году не сломили шеи Гитлеру. Они в 1918—20 гг. не помешали большевикам овладеть Россией...

Л. Это было и не так просто.

А. Это было и не так трудно. Кое о чем из этого мы уже говорили. Почти во всех революциях и гражданских войнах всё всегда fifty-fifty: может победить одна сторона, может победить и другая. Чер-

чилль тогда стоял за посылку десятка лишних дивизий в помощь генералу Деникину. С очень большой вероятностью можно сказать, что, при крайней слабости большевиков в то время, эти десять или двадцать европейских дивизий дали бы Деникину победу, несмотря ни на какие глубокие соображения социологов...

Л. И тогда в России установилась бы тоже диктатура, но генеральская и правая.

А. На некоторое время, вероятно, в самом деле установилась бы. Но уж, во всяком случае, эта диктатура не стремилась бы вызвать революцию во всем мире, никаких чужих стран не захватывала бы, не имела бы в них пятых колонн, не пользовалась бы нежным расположением столь многих просвещенных людей на Западе. Эти просвещенные люди и помешали осуществлению идеи Черчилля. Кроме того, Ллойд Джордж признал, что отправка новых дивизий обошлась бы слишком дорого. Он сделал экономию — одну из самых блестящих „экопомий“ в истории, если принять во внимание нынешний военный бюджет демократий. То же самое продолжалось и после второй войны. Демократии тотчас разоружились, положившись на честное слово, на дружбу, на миролюбие Сталина. Они не помешали захвату Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Китая. Все это была сплошная чемберленовщина — только уже *после опыта* Чемберлена, над которым издеваются тринадцать лет люди, сделавшие то же самое, что он. Все это известно. Однако такую же сплошную ошибку, подтвержденную его гибелью, представляли собой дела Гитлера. С несколько меньшей уверенностью то же можно сказать о Сталине. Если б он в 1939 году стал на сторону демократий, войны, вероятно, не было бы. И уж, во всяком случае, он воевал бы в союзе с французской и польской армиями, и немецкие войска не дошли бы, надо думать, до Волги и до Кавказа, не разорили бы ловову европейской России. Говорю об этом лишь кратко, по было бы нетрудно показать, что диктаторы в общем оказались менее демократий. Будем исходить, следовательно, не из ошибок демократических правительств.

Л. Из чего же? Вы не придаете решающего значения их ошибкам, вы не согласны с критикой, исходящей из четырех перечисленных вами „csprits“. Что же вы вменяете в вину демократии?

А. Я ничего не вменяю ей *в вину*. Но я констатирую, что она пришла в противоречие сама с собой. Пользуясь языком старых философов, я скажу, что в демократии есть „субстанция“ и „акциденция“. Демократия это, с одной стороны, свобода во всех ее видах: свобода совести, свобода мысли, свобода слова, уважение к правам человека. С другой стороны, это народное волеизъявление — скажем упрощенно: всеобщее избирательное право. Это два кита, на которых демократия стоит издавна. В течение очень долгого времени считалось, что они неразрывно между собой связаны: где нет одного, там нет и другого. Здесь тоже молчаливо — или не молчаливо — признавалось существование „предустановленной гармонии“: где есть выборное начало, разумеется, правильно и честно осуществляемое, там есть и свобода. Правда, уже в XIX веке были кое-какие печальные отклонения, — например, плебисциты, утвердившие власть обоих Наполеонов. Теоретики и поклонники демократии либо старались их замалчивать, либо, чаще, утверждали, что в этих плебисцитах выборное начало осуществлялось именно неправильно и нечестно. Теперь этот вид „предустановленной гармонии“ оказался совершенно несостоятельным: киты не были родными братьями, один даже не без успеха пытался съесть другого.

Л. Что если б вы, вместо метафор, обратились к фактам?

А. Первым зловещим фактом или, точнее, первым зловещим предзнаменованием были выборы в российское Учредительное собрание, происходившие в 1917 году, в условиях полной свободы, на основе самого демократического в истории избирательного закона...

Л. Нахожу очень странным, что вы решается ссылаться на факт, доказывающий нечто прямо про-

тивоположное вашему утверждению: на этих выборах две трети населения России высказались за свободный строй.

А. Это, конечно, верно. Зловещим предзнаменованием может твердо считаться лишь то, что одна треть населения России высказалась против свободного строя. Лично я — впрочем, без уверенности — сказал бы, что если бы выборы, тоже в условиях полной свободы, происходили несколькими месяцами позднее, то, по всей вероятности, большинство получили бы коммунисты: люди, жившие тогда, как я, в Петербурге, быть может, согласятся со мной, что жажда немедленного мира в народе преобладала над всеми другими чувствами. Немедленный мир обещали одни большевики. На этом, хоть и не только на этом (об ошибках не стоит тут говорить), мы нашу трагическую партию против большевиков и проиграли. Все же не буду настаивать: выборы в российское Учредительное собрание были только *предзнаменованием* факта. Затем началась гражданская война, длившаяся с переменным успехом очень долго. Она кончилась победой большевиков. Скажу убежденно, она, со всеми ошибками их противников, спасла честь России. Вели ее, как вы знаете, и правые, и левые: были армии Деникина и Колчака, были также волжская армия и армия архангельского правительства. На Западе теперь все это очень охотно забывают — забывают в особенности то, что только в двух странах, в России и в Испании, диктатуре было оказано долгое, упорное, героическое сопротивление. Гражданская война кончилась. Вопреки поговорке, победителей все же иногда судят. Но побежденных судят всегда, очень строго и обычно лицемерно. Вы, верно, помпите противников большевизма. Нас принимали снисходительно — и с отступком пренебрежения. Некоторые этот отступок скрывали, в особенности в отношении левых. Отдаю здесь должное французским, германским, английским социалистам (никак не австрийским и не итальянским). Все же топ был такой: да, по-человечеству вас жаль, вина не столько ваша, сколько вашего народа, — он не культурец, он никогда свободы не знал, он ею не дорожит, он принял большевистский деспотизм, как принял

Брестский мир; на Западе, конечно, все это было бы совершенно невозможно. Кое-кто из нас отвечал, что „русский народ теперь болен“. Менее вежливые иностранцы все прямо приписывали „азиатской дикости“ России. Что ж, судьбе угодно было послать нам злорадное утешение. Деспотическая власть, правда более мягкая, установилась в Италии. Гордые итальянские социалисты и радикалы, лет за пятнадцать до того клявшиеся, что „никогда не пустят в Италию русского тирана“, и действительно помешавшие приезду царя в их страну, без особенной кровавых боев подчинились власти Муссолини — и этим поставили других западноевропейских людей в затруднительное положение: Италию ведь никак нельзя было признать азиатской страной. Выход был скоро найден: вспомнили, что она страна земледельческая, экономически отсталая. Вандервельде горделиво начертил карту Европы: в странах первобытных сельскохозяйственных орудий — диктатура; в странах промышленно развитых, передовых в техническом отношении — демократия. Очень была удобная точка зрения. Как на беду, еще через десять лет, диктатура, самая свирепая по действиям, самая идиотская по идеям, установилась в наиболее образованной, наиболее передовой в техническом отношении стране Европы: в Германии, — уж вы разберите, сколько немецких рабочих голосовало за Гитлера. Карту пришлось выбросить; а так как надо же было что-либо придумать, то в демократических странах, уже несколько менее горделиво, заговорили о „природной, исторической нелюбви немцев к свободе“. „История“ тут была сфабрикована столь же спешно, как карта Вандервельде. Началась вторая война, произошел захват Франции. Петен получил в Национальном собрании в Виши подавляющее большинство голосов. Это в самой умной, в самой свободолюбивой стране мира. Люди, выразившие маршалу доверие, позднее были ограничены в политических правах. Однако избраны они были свободным волеизъявлением народа и, скажем правду, они *тогда* выражали мнение не меньшинства, а большинства французов. В англосаксонской печати тотчас появились давно знакомые нам, несколько позабытые слова: французский народ

теперь болен. Уж слишком часто, согласитесь, болеют пароды. Хоть бы теперь несколько меньше говорили о „неуклонной линии политического прогресса“.

Л. Вы, очевидно, хотите вернуться к случаю, к скрепчивающимся в истории миллиардам цепей причипности. Неуклонная линия политического прогресса именно в том и заключается, что цепи причипности у огромных групп людей действуют в одном направлении, — в том, по какому их толкают их интересы.

А. В это надо внести две поправки. Люди руководятся интересами в много меньшей мере, чем страстями. Да и общие интересы их толкают далеко не всегда в одну сторону... У нас есть обидное слово „рenegат“. Мы называем рenegатами людей вроде, скажем, Льва Тихомирова или Дориа. Но не будем скрывать от себя, в самой идее всемогущего общего избирательного права есть в какой-то затаенной доле призыв к рenegатству: каждые четыре года рядовому человеку предлагается изменить убеждения.

Л. Если американский народ значительным большинством голосов в 1948 году высказывается за демократов, а в 1952 году за республиканцев, тут ни малейшего „рenegатства“ нет: он беспристрастно расценивает дела и обещания тех и других.

А. Вы выбрали, и то не совсем убедительно, наиболее легкий пример: в Соединенных Штатах разница между республиканцами и демократами не так уже велика и, во всяком случае, *основного* не касается. Между тем в Италии, в Германии народ, переходя от свободы к диктатуре Муссолини и Гитлера, отказался именно от основного. Напомню вам, что на последних германских выборах, при свободном Веймарском строе, Гитлер получил огромное число голосов, и не может быть сомнения в том, что среди них было бесчисленное множество таких, которые прежде отдавались демократии. В пору исторических мистралей нам только и остается говорить, что „народ болен“.

Л. Да, да, слышали, „чернь жадна к повому“ — „*plcbs cupida tegum povatum*“. Только ничего в этих диктатурах не было пового и в пору Саллюстия, а в наше время тем меньше. Во всяком случае, я совершенно не понимаю, почему вы об этом говорите в иропическом тоне: едва ли нам теперь очень подходят „злорадные утешения“. Какой вывод следует из сказанного вами?

А. Вывод тот, что в двадцатом столетии homo sapiens провалился на слишком большом числе экзаменов. Каждый из нас, демократов, абсолютных или неабсолютных, восторженных или невосторженных, фанатических или нефанатических, должен для себя решить, что он в демократии считает субстанцией и что акциденцией (поскольку теперь ясно, что предуставленной гармонии нет). Говорю прямо: для меня субстанция — свобода, а акциденция — народное волеизъявление. В некоторых монархических странах были неотъемлемые „основные законы“. Мы должны ввести такие же — и формально в демократическое законодательство, и морально во все наше мышление: свобода выше всего, эту ценность нельзя принести в жертву ничему другому; никакое народное волеизъявление, никакой плебисцит, никакое голосование в парламенте ее отменить не вправе: есть вещи, которых „народ“ у „человека“ отнять не может.

Л. Не будете же вы все-таки отрицать несомненный факт: где существует выборное начало, там торжествует часто свобода, — „*illa quam saepe optasti, libertas*“, как говорил Катилина. А там, где его нет, там ее нет никогда.

А. Это уже некоторая уступка со стороны абсолютного демократа. Но если история пока подтверждает полностью вторую часть вашего утверждения, то первое представляется мне весьма сомнительным, — даже после того, как вы заменили слово „всегда“ словом „часто“. Не знаю, что было чаще в последнюю четверть века: народное волеизъявление со свободой или народное волеизъявление с рабством. Если взять Западную Европу и Северную Америку, преобладал первый случай. Если взять

весь мир, то преобладал второй. Не только в теории, но на практике вполне возможен в будущем случай, когда цивилизованным людям *придется* произвести выбор между двумя китами демократии, между ее субстанцией и акциденцией: выбор не столь логически трудный, сколь психологически мучительный. Не знаю, как вы, а я, повторяю, этот выбор сделал: в этом случае я выберу не всеобщее избирательное право, не народное волеизъявление, — выберу со слабой, до сих пор исторически не оправданной надеждой, что в той или иной форме неизменная субстанция может существовать без нынешней акциденции.

Л. Незачем удаляться в область чистой фантазии. И в настоящее время в цивилизованных странах есть коррективы к всеобщему избирательному праву. Почти везде существуют верхние палаты и исполнительная власть.

А. Ваше замечание исходит из недоразумения. Верхние палаты, основанные на наследственном начале, конечно, представляют собой слепой пережиток прошлого, и незачем повторять почтенной давности общие места: странно давать человеку какие бы то ни было права потому, что его предок оказал стране важные услуги, или был очень богат, или пользовался милостями какой-либо королевы. Верхние палаты, названные так, должно быть, для утешения за то, что они имеют гораздо меньше власти, чем нижние, срезались при недавних исторических испытаниях еще блистательнее. Цепз? Какой же? Возрастной? Цезарь уже умер в том возрасте, в каком теперь кое-где люди получают право попасть в сенат. Образовательный? Карл Великий не умел писать. Имущественный? Да ведь им обладают именно самые тупые и ограниченные, эгоистичные люди из всех. Не очень хорош, как мы видели, оказался в 1940 году и корректив исполнительной власти. Не может быть поправкой к порокам выборного начала то, что так или иначе основано на нем же самом. К несчастью, профессия политика неизбежно превращается в какой-то вид спорта, со всеми присущими спорту недостатками, которые как нельзя лучше проявляются на разных съездах министров и на пикету не пужных

сессиях Объединенных Наций, где все сводится к состязаниям, к матчам, к раундам, к мелким уколам и личным обидам... Клемансо будто бы когда-то сказал: „Война слишком серьезное дело для того, чтобы его предоставить генералам“. Не возникает ли у вас при чтении отчетов обо всех этих ораторских турнирах желание сказать: „Политика слишком серьезное дело для того, чтобы его предоставить профессиональным политикам — по крайней мере, им одним“? Быть может, им, в пору их спортивных упражнений, не мешало бы иногда напомнить о некоторых более глубоких, „вечных истинах“, о том, что эти господа играют с огнем, что от их упражнений зависит жизнь сотен миллионов людей, жизнь каждого из нас? За первую половину двадцатого столетия профессиональные политики дали человечеству две мировые войны и десятки революций с более чем вероятной перспективой новых революций и войн. Непрофессиональные политики, вероятно, добились бы не худшего результата.

Л. Разве только по той причине, что худшего быть не может. Впрочем, может быть и еще худший. Дюбуа-Реймон рисовал образ „последнего человека, пекущего последнюю картофелину на последнем куске угля“. Во время Дюбуа-Реймона для столь веселых предсказаний никакого основания не было. Можно, правда, теперь утешаться тем, что последняя картофелина будет печься не на угле, а при помощи атомной энергии.

А. Всего сто лет тому назад, в пору Крымской войны, Бокль писал: „Очень характерно для нынешнего состояния общества то, что беспрецедентный по длине период мира был, в отличие от прежних мирных периодов, нарушен ссорой не между цивилизованными странами, а столкновением между нецивилизованной Россией и еще менее цивилизованной Турцией“*. Русские передовые люди того времени на Бокля не обиделись. К тому же они привыкли к не очень уважительному отношению к ним их западных единомышленников или полуюдиномышленни-

*H.Th.Buckle, History of Civilization in England, London, 1858, vol.I, p.177.

ков. Кажется, Герцен вызвал удивление у русской эмиграции шестидесятых годов тем, что не пожелал в 1865 году участвовать в Женевском Конгрессе мира и свободы — именно чувствуя недостаток уважения к русским. „Он требовал не терпимости, не списхождения, а признания полного равенства“, — говорил об этом Г.Н. Вырубов в своих „Революционных воспоминаниях“. Конечно, Россия времени Николая I была менее цивилизованной страной, чем Англия. Но мысль Бокля, после двух мировых войн двадцатого века с участием всех цивилизованных стран, может вызвать лишь горькую усмешку. Да она, собственно, была не очень добросовестна и в то время, когда Бокль ее высказывал: как ни как Франция и Англия принимали некоторое участие и в Крымской войне, и даже в ее устройстве. Кажется, Боклю было самому неловко это писать, и он поспешил смягчить свою мысль: „Дурные нравы не более распространены в России, чем во Франции или в Англии, и несомненно то, что русские более покорны учению церкви, чем их цивилизованные противники. Поэтому ясно, что Россия страна воинственная не потому, что ее население безнравственно, а потому, что оно необразованно (unintellektual). Беда в голове, а не в сердце“*. Людям того времени было приятно приписать сердце в жертву голове. Но в 1914-м и в 1939-м затеявшая война голова была уже немецкая, то есть „цивилизованная“. Это, разумеется, несколько не мешало, не мешает и не будет мешать повторению глубокомысленных замечаний Бокля... Что ж, в видении Дюбуа-Реймона ничего совершенно невозможного нет. Да и без всяких апокалиптических видений трезвый теоретик, „абсолютный“ демократ, профессор Беккер считает возможным новый „темный век варварства“ („another dark age of barbarism“)⁴. Согласитесь, что хвастать нашим нынешним великим государственным деятелям печем. Лично я всегда вполне ими доволен, если от них нет хоть большого вреда, — у меня тут давняя, прочная, принципиальная програм-

*Бокль даже сделал подстрочное примечание к этим словам: „Были высказаны предположения, что в России меньше безнравственности, чем в Западной Европе; но это, вероятно, ошибка“.

⁴Carl L.Barker, *Modern Democracy*, Yale University Press, 1947, p.100.

ма-минимум. Впрочем, отметьте ради беспристрастия, что у этих людей в ту пору, когда они пахотятся у власти, нет ни одной свободной минуты в настоящем смысле этих слов: они топут, поистине топут в кулуарных и международных интригах, в расстраивании чужих интриг*, в болтовне, в приемах, в светской ерунде, в мелкой административной работе — падо же по-человечеству пожалеть и их. Вполне возможно, что некоторые из них по природе способны размышлять о делах серьезных. Но они использовать эту свою способность не могут просто по недостатку времени. Какие уж тут „размышления“, когда завтра опаснейший запрос в парламенте.

Л. Когда же это пошли „наши пыпешние великие государственные деятели“? Или прежде было иначе?

А. По общему правилу всегда было то же самое. Вы ставите правильный вопрос. Кто в самом деле великие государственные деятели в истории (говору тут, разумеется, не только о демократиях)? Мы все знаем, что Рембрандт был великий художник, Лавуазье — великий ученый, Бетховен — великий музыкант, Эдисон — великий изобретатель, Шекспир — великий драматург и т.д. Кто же подлинно великие люди в сфере государственной? Конечно, нельзя отрицать, что Ришелье, Кромвелю, Наполеону, Бисмарку были свойственны редкие достоинства: ум, энергия, знание людей, а некоторым из них и специальные качества, вроде военного таланта, если таковой вообще существует (что отрицал не только Толстой, по собственному и маршал Фош, да отчасти и сам Наполеон). Однако, каков же был результат их государственной деятельности? Либо этот результат оказы-

*Эти строки были давно написаны, когда автор настоящей книги прочел в „Нью-Йорк геральд трибюн“ (20 января 1953 г.) статью американского государственного деятеля (Edward W. Barrett, former Assistant Secretary of State, Plea to give Dulles a Chance). В ней вскользь сообщается: „We have seen Mr Dean Acheson so busy fending off missiles (some square hits, but most of them foul balls) that he often could give only part time to the problems that are the real threat to the country“. („Мы видим, что мистер Дин Ачесон с такой озабоченностью занят размещением ракет (некоторые его аргументы имеют смысл, другие — ерунда), что часто может уделять лишь незначительное время проблемам, которые действительно представляют угрозу для страны“. — Пер. ред.)

вался гибельным и для их стран, и для них самих: так было с самым гениальным из всех, с Наполеоном. Либо их актив слагался из статей, весьма сомнительных по существу и столь ограниченных во времени и в пространстве, что он теперь вызывает невольную улыбку, как „l'abaissement de la maison d'Autriche“ („унижение австрийской династии“), о котором столько писали восторженные хвалители Ришелье. От их дела через десять, двадцать, пятьдесят лет ровно ничего не оставалось. Говорю это, не касаясь их пороков, их коварства, их преступлений. То же самое мы видим и на несколько более низком, хотя тоже высоком уровне, — когда дело идет, скажем, не о „гениальных“, а просто о „больших“ государственных деятелях, вроде Дизраэли. Что от него осталось? Псевдоним „императрицы Индии“, поднесенный им Виктории? Англичане из Индии ушли или их оттуда высадили. „Достижения“ Берлинского конгресса? От них ровно ничего не уцелело еще при его жизни, и роль этого конгресса в истории оказалась весьма злополучной. Или эти великие люди в своих речах и воспоминаниях бросали миру ценные мысли, давали в них квинтэссенцию своей мудрости? Нет, этого тоже почти никогда не было. Уж если кто придумывал те принципы, мысли, которыми они пользовались, то это „теоретики“, государственной деятельностью не занимавшиеся или занимавшиеся ею на третьестепенных постах, аристотели, гоббсы, макиавелли. Во имя чего же, во имя какого *практического* результата, проливались гениальными или просто выдающимися людьми потоки крови? Ту же Индию „дали“ Англии Клайвы, Гастингсы, Уэлсли, а старались дать Франции Дюплексы, Ла Бурдонне, Лалли-Толлендали. Они иногда кончали плохо: Клайв должен был покончить с собой, Лалли-Толлендалю казнили. Но „слава“ осталась: их именами называются улицы городов, кое-где красуются их памятники. Чуть не вся внешняя политика Англии в течение почти двух столетий строилась на „защите путей в Индию“. Из-за этого происходили войны, на это трагились неисчислимые суммы, об этом написаны тысячи страниц. Теперь, когда Индия больше англичанам не принадлежит (и отпала без помощи внешнего врага), все это представляется глупой шуткой. То же

самое можно сказать о пятидесяти победах Наполеона. Очень прочно стоит в Париже Вапдомская колонна, несмотря на Ватерлоо и границы 1815 года. Что же все это доказывает, кроме человеческой глупости?

Л. Я знаю, вы в истории видите нечто вроде музея Гревена, где стоят рядышком вылепленные из воска знаменитые политические деятели и знаменитые уголовные убийцы. Я смотрю на историю, конечно, не так, как вы. Линкольны и Гладстоны, во всяком случае, памятников заслуживают. Все же жду от вас объяснения: кем вы хотите заменить „профессиональных политиков“? Платоновскими „мудрецами“? Но эти мудрецы были именно профессионалы и даже ультра-профессионалы. Их должны были готовить к государственной работе приблизительно так же, как Гитлер собирался готовить своих гауляйтеров. Мудрецам, по плану Платона, надлежало появляться в результате подбора детей и их тщательной подготовки для руководства государством — руководства довольно своеобразного. Со-крат два раза уподобляет их любящим кровь молодым собакам. Допустим, в маленькой афинской общине, где все знали друг друга, можно было кое-как подбирать наиболее способных детей и с ранних лет готовить их в „мудрецы“, — хотя и там это была чистая теория, так и недождавшаяся практического осуществления. Но что же об этом вздоре говорить теперь, при современных огромных государствах! Когда в истории не осуществлялось выборное начало, власть всегда достигалась либо в наследственном порядке, либо путем захвата и насилия. Если же иметь в виду „элиту“, то ее иногда выделяли на государственные посты выборы, по ничто другое не выделяло почти никогда.

А. Да и выборы весьма редко выделяли элиту, — как в умственном отношении, так и в моральном. Теперь старая мысль Монтескье о том, что в основе демократии лежит добродетель, кажется не менее забавной, чем платоновский подбор детей. Эта „аксиома“ имела огромный успех в мире. Ее косвенно признавал сам Гегель, которого к демократам никак нельзя причислить. Того, что называется коррупцией,

в демократических странах уж никак не меньше, чем в других. Не говорю, чтобы ее было больше: это оптический обман, так как в тоталитарных странах о ней просто запрещается писать. Скажем, ее везде приблизительно одинаково. Поставить *все* на добродетель демократии столь же невозможно, как поставить все на ее ум. Платон хоть правильно определил те качества, которые нужны правителю: разносторонняя ученость, мужество, беспристрастие, независимость и пренебрежение к почестям. Люди, обладающие этими качествами, конечно, везде очень редки, но они все же есть. Не скрою от вас, я их среди государственных людей не вижу. Поэтому, скажем, на помощь им должна быть, думаю, создана коллегия из „элиты“, образовавшейся никак не в результате подбора детей и их соответственного воспитания. Я предлагаю нечто вроде „Треста мозгов“. Такие тресты уже существуют в разных странах, но они ставят себе цели ограниченные и узконациональные; каждый из них исходит только из интересов одной страны и только их ставит себе целью. По-моему, мыслить имеет право на повышение в чине. Международный, беспристрастный, независимый „трест мозгов“ должен исходить из интересов всего человечества. На его рассмотрение будут ставиться лишь вопросы, от которых зависит участь каждого из нас, как вопросы войны или мира. Его права? Прежде всего право veto, право отвода решений идиотских или вредных миру в целом, хоть, быть может, как будто выгодных какой-либо отдельной стране. Объединенные Нации этого делать не могут, так как состоят из чиновников, из людей еще более мелких, чем члены правительств. По моим наблюдениям, их кухня самая худшая из всех ныне существующих, и вдобавок самая лицемерная. Там обыкновенная политическая лавочка и казенный пирог для множества приказчиков — от очень важных до переводчиков и стенографисток, — пирог, почему-то много более жирный, чем правительственная служба и вдобавок не облагающийся налогом. При благоприятной обстановке, это учреждение, как и многие лавочки, может, конечно, оказывать некоторые услуги, но вреда от него больше, чем пользы. Выдается же все это за чрезвычайно важное и святое дело. Что ж, людям

вообще свойственно „идеализировать“ то, что им выгодно. Вы не можете помешать жокеям, балеринам или кинематографическим звездам думать, что они вполне заслуживают тех огромных денег, которые им теперь платят, — верно они зарабатывают в десять, а то и в сто раз больше, чем Пастер или Фарадей.

Л. Согласитесь, это странно. Вы подчеркиваете ненужность Объединенных Наций. В будущее этого учреждения вы не верите. Но вы верите в возможность создания какой-то небольшой коллегии, которой будет предоставлено больше власти, чем в настоящее время, по крайней мере в теории, имеют Объединенные Нации! За вашей коллегией не было бы уж решительно ничего. Не было бы даже политического ценза у ее участников.

А. В отсутствии этого „ценза“, в вашем смысле слова, было бы великое преимущество коллегии, о которой я говорю. В нее должны входить люди никак не с нынешними навыками „мышления“ цеховых политиков и не с их спортивными инстинктами. Следовало бы даже ввести обратный „ценз“: кандидатами в нее не будут министры, депутаты, сенаторы. Кандидаты могут быть также обязаны подпиской никогда таковыми не становиться. В этом „тресте мозгов“ запаха казенного пирога не будет... Фантазия, говорите вы. Пока, может быть, и фантазия. Позднее необходимость ограничить роль „случая“ заставит людей пойти на это.

Л. Да ведь это чистейшая утопия! Кто будет выбирать людей в этот трест или кто будет их назначать? Каковы будут его компетенция и его права? Откуда ему будет знать дела каждой страны? Где найдутся люди столь всеобъемлющей компетентности? Почему правительства и парламенты откажутся в его пользу хотя бы от небольшой части своих прав? Почему предоставят ему хотя бы совещательный голос и притом именно в самых важных вопросах? Да и в чем будет гарантия его беспристрастия и независимости? Что, если каждый отдельный его член будет думать лишь об интересах своей страны

или даже просто действовать по инструкциям своего правительства? Вы хотите уменьшить роль случая в мире. На самом же деле вы только переносите случай из парламентов в другую, уж совершенно „случайную“ инстанцию. В самом деле, кем будут устанавливаться признаки „элиты“ и чем тут можно было бы руководиться? Заслугами в науке или искусстве? Поверьте, что коллегия, состоящая, скажем, из Эйнштейнов или Пикассо, была бы в сто раз хуже самого посредственного из ныне существующих правительств! Она в течение месяца установила бы на земле хаос. И, разумеется, ее члены очень скоро между собой разругались бы и вышли бы в отставку с „письмами в редакцию“.

А. Вы весьма удачно подобрали имена самых неподходящих людей для такого „треста мозгов“. Я мог бы указать гораздо лучших кандидатов. Разумеется, „мозг“ в какой-либо одной специальной области не давал бы ни малейших прав на включение в ту коллегию, которую я имею в виду. Не иду так далеко, как Шопенгауэр: он утверждал, что многие великие ученые вне своего ремесла были — как сказать? — помнитса, он употребляет слова „настоящие вольты“. Откуда возьмется „всеобъемлющая компетентность“ людей треста? Но ведь они будут записываться лишь основными международными вопросами, а никак, например, не сахарным производством на острове Куба, в основных же вопросах едва ли они окажутся менее компетентными, чем нынешние министры иностранных дел; эти тоже не получили специального образования на каком-либо дипломатическом факультете: в большинстве это бывшие адвокаты, верно, не знавшие, в первые недели по их назначении, ровно ничего об иностранных делах и о чужих странах; обычно они ни одного иностранного языка не знают. Что гарантировало бы независимость членов треста от тех, кто их „назначит“ или „выберет“? Это серьезный вопрос. Но позвольте привести вам пример учреждения, совершенно независимого от назначающего его органа власти. Это Верховный суд Соединенных Штатов. Некоторые американские государственоведы признают, что он имеет больше власти, чем Конгресс и чем президент. В самом деле, он отменил десятки

актов Конгресса и сотни законов отдельных штатов, признав их неконституционными. Разумеется, он конституцию толкует так, как признает правильным. Следовательно, его власть действительно огромна. Как вы знаете, Верховный суд состоит из девяти судей, назначаемых президентом и несменяемых. Судья может быть уволен только в результате уголовного обвинения, и за всю историю Соединенных Штатов был лишь один такой случай, в 1805 году. Джозеф Чот определяет Верховный суд, как основное учреждение, „уравновешивающее и гармонизирующее все части федерального представительного строя“. „Этот суд, — говорит он, — встретил одобрение и восхищение иностранных юристов и государственных людей. Он пользуется всеобщим уважением и доверием народа“. В самом деле, теперь перед его авторитетом склоняются в Америке почти все. Ругать его, даже полемизировать с ним, не очень принято; это происходит лишь в случаях исключительных. Я не идеализирую это учреждение. Оно сделало очень много добра, но особенно восторгаться некоторыми его решениями не приходится. Верховный суд Соединенных Штатов может считаться некоторым подобием треста мозгов лишь в условном и ограниченном смысле: президент обычно выбирает судей из „элиты“ знатоков права. Однако не подлежит сомнению, что они выносят свои решения, не считаясь с его желаниями и интересами.

Л. Ваш пример доказывает не очень многое. Одно дело — область формального права. Члены Верховного суда исходят из чего-то вполне определенного. Совершенно другое дело ваша весьма проблематичная мировая элита, которой и исходить будет не из чего. Можно даже не вспоминать Паскалево „Истина по одну сторону Пиренеев, заблуждение по другую“: и в пределах одной страны вы не найдете и общепризнанных, никем неоспариваемых авторитетов.

А. То же самое когда-то говорилось и о верховных судьях в Соединенных Штатах. В свое время самый институт Верховного суда вызывал там живейшую оппозицию... Другой пример, если хотите, это Ватикан, древнейший трест мозгов в истории

мира. Кардиналы назначаются папой, по опи выбирают его преемника. Так происходит с XII века. В первое тысячелетие папы избирались разными способами, обычно несколько хаотически. А по древней традиции св. Петр сам назначил своих преемников. Да и кардиналы в далекие времена не имели большого значения; они считались ниже обыкновенных епископов. Я знаю, в Ватикане не признают теории некоторых светских государствоведов, согласно которой кардиналы — министры папы, а сам он вроде главы конституционного правительства. Официально папа — самодержец, и министр у него только один: государственный секретарь. Однако и католические авторитеты, как Мартен, и светские, как Прати, сходятся на том, что кардиналы теснейшие сотрудники папы. „Они его ближайшие помощники, его природные советники“, — говорит первый*. „Они его советники и помощники по общему управлению церковью. Принимаемые ими решения... входят в силу лишь после их утверждения и авторизации папой, но папа не одобряет этих решений лишь весьма редко“, — говорит второй*. На соборе 1179 года в сущности был создан трест мозгов по церковным делам, и он держится по сей день. Конституция оказалась весьма прочной и столь же удачной. Не восхожу к далеким векам, но в последнее столетие, кажется, в коллегии кардиналов не было ни единого случая коррупции; ни один из ее членов не подвергался обвинениям в личной безнравственности.

Л. В чрезмерном честолюбии, в интригах, в карьере их обвиняли беспрестанно. Какой-то давний антиклерикальный остроумец на вопрос, почему из кардиналов вышло сравнительно мало святых, отвечал: „Потому, что каждый из них старался стать *очень* святым“, — указание на титул папы „Très Saint Père“^Δ. Ретц, сам кардинал и поэтому человек компетентный, говорит, что „яркий, ослепительный цвет

*Victor Martin, doyen de la Faculté de théologie catholique à l'Université de Strasbourg, Les Cardinaux et la curie, Bibliothèque catholique des sciences religieuses, Paris, 1930, p.12.

*Carlo Prati, Papes et Cardinaux dans le Rome moderne, Paris, 1925, p.139.

^ΔДословно: „Очень святой отец“ (*фр.*).

этой (кардинальской) шапки кружит голову болшипству тех, кому она достается^{4*}. Я, впрочем, несколько не отрицаю, что по своему правственному облику коллегия кардиналов представляет собой элиту. Но она имеет весьма мало общего с вашим трестом мозгов. Для выбора в эту коллегияу есть совершенно определенные критерии: долгая, выдающаяся, безупречная церковная карьера, постепенное восхождение по церковной иерархии.

А. В формальном отношении вы ошибаетесь: папа имеет право назначить кардиналом кого угодно, даже светского человека. Так это часто и бывало в далекие времена. Рафаэль умер, кажется, за несколько дней до того, как папа должен был сделать его кардиналом из уважения к его гению живописца. Маршалу Тюренну было предложено звание кардинала, но старый солдат от него отказался. Другие светские люди (при Льеу Х и писатели), напротив, принимали назначение. Последний светский кардинал умер в 1899 году. Пию XI, одному из самых замечательных пап в истории, упорно приписывалось намерение назначить несколько светских кардиналов. По существу же вы, конечно, правы. Однако без всякой формальной иерархии и членом треста мозгов не мог бы стать первый встречный.

Л. Этот пример дает мне повод поставить вам и вопрос, не имеющий отношения к тресту. Считаете ли вы вообще, что ваши мысли о жизни, о случае, о науке, о ее методологии совместимы с положительной религией, все равно с какой: православной, католической, протестантской, еврейской, магометанской, буддистской?

А. Отвечаю без колебания: считаю. Так думал и Курно с его теорией случая. Отсылаю вас к его страницам, я ничего к ним прибавить не мог бы. Тут две различные плоскости, и обе они совершенно естественны и законны. У нас не более оснований противопоставлять религию научной философии, чем, например, противопоставлять ее музыке. Если у Шума-

*Mémoires du Cardinal de Retz, Paris, 1859, vol.3, p.368.

па или Бизе в их творчестве нет религиозных элементов, то из этого никак не следует, что они были или непременно должны были быть неверующими людьми. Добавлю, что атеисты обычно бездарны в философии; она меньше всего обязана им. Не знаю, можно ли добавить, что атеизм дает минимум душевного спокойствия лишь очень немногим людям и в большинстве, кажется, людям оградическим: я даже плохо себе представляю, каков мог бы быть пессимистический атеизм. Но это едва ли можно тут считать доводом. Возвращаясь же к тресту мозгов, скажу, что идея правления „элиты“ была близка и учению знаменитых богословов разных вероисповеданий, была близка и светским богословам девятнадцатого века. Вы найдете ее у Хомякова, несмотря на его философскую и житейскую нелюбовь к рационализму. Эта нелюбовь не мешала ему утверждать, что „Спиноза, может быть, величайший из мыслителей новейшего времени, человек, которого гений управляет без сомнения всем сокровенным синтезом современной философии (хотя анализом своим она обязана Бэкону и Канту), основатель наукообразного пантеизма и, если можно так сказать, безверной религиозности“*. И я не уверен, что „юдофильство“ Хомякова, сказывающееся во многих его произведениях и особенно в „Записках о всемирной истории“, не связано с присущей еврейской вере тягой к разумному устройству земной жизни. В такой же степени это относится к церкви лютеранской, за исключением, быть может, одной ее незначительной части, которую тот же Хомяков называл „немецкой Аввакумовщиной“. Ведь таково основное, самое подлинное у Лютера. Прочтите его — и лучше всего в издании Гааса, — в частности прочтите „Von weltlicher Obrigkeit“#. Не видит здесь ни малейшего противоречия и Декарт. Идея правильного, разумного устройства земной жизни есть идея чисто картезианская.

Л. Тоже из области Ульмской почвы?

* А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, Москва, 1861, т. I, стр. 89.

„Светская власть“ (нем.). — Пер. ред. Der ungefalschte Luther, nach den Urdrucken hergestellt von Dr. Karl Haas, Stuttgart, 1881, Band I.

А. Да, весьма вероятно. Именно этого Декарт, вероятно, и искал даже у розенкрейцеров — едва ли ведь он мог думать, что у них есть философский камень или эликсир вечной жизни... Я считаю много более важным второе ваше возражение: что заставит правительства и парламенты отказаться от части своих прав в пользу учреждения проблематического или, во всяком случае, неиспытанного? Отвечаю: очень горькие уроки ближайшего будущего. Станет ясно, что все остальное испробовано и дало не слишком удовлетворительные результаты.

Л. Мне все же остается совершенно непонятным, в каком порядке мог бы быть создан трест мозгов — для борьбы со случаем и для проверки весьма сомнительной гармонии еще гораздо более сомнительной алгеброй?

А. В таком же, вероятно, порядке, в каком создавались, например, французское Временное правительство 1848 года, российское Временное правительство февраля и столь многие другие сходные организации. В „порядке самочинном“, — как во всех подобных случаях писали грозные обличители. Действительно, их никто не назначал и никто не избирал: они сами себя назначили и выбрали, в надежде, справедливой ли или нет, на поддержку общественного мнения. Ламартин, Луи Блан, Милюков, Керенский, Церетели, князь Львов, как талантливые, выдающиеся и очень популярные люди, *могли* иметь такую надежду. Это никак не значит, что общественное мнение всегда поддерживает такие учреждения. Но еще меньше их устойчивость обеспечивается правильностью юридического оформления. Конституция 1791 года подготовлялась комиссиями, состоявшими из самых компетентных людей Франции, Национальное собрание обсуждало ее на девяти заседаниях, принята она была с необычайной торжественностью — и просуществовала меньше года. Что от нее осталось? Только ее философская часть: декларация прав человека и гражданина. Эта декларация, несмотря на все позднейшие насмешки над ней, представляет собой писанный разум. Не имеет значения вопрос о том, кто предлагал, писал, переделывал

ее 17 статей. Они созданы „в самочинном порядке“ всей мудростью восемнадцатого века и лучшими мыслями больших людей в течение тысячелетий. В 1789—91 гг. человечество более или менее созрело для первой попытки их воплощения в жизнь. Они в жизнь кое-как понемногу и воплотились. Что же было важно: юридическое оформление конституции в сентябре 1791 года, оформление, от которого не осталось через год ровно ничего, или мысль, в позднейшие конституции и не включавшаяся, но ставшая лучшим по духу из того, что делалось в государственной жизни мира в течение следующего века?

Л. Допустим, что вы правы. Трест мозгов создается в самочинном порядке. Мощные силы, вырабатывающие общественное мнение, высшая интеллигенция мира, церкви, масонство, поддержат это самочинное учреждение. Понемногу оно получит юридическое, конституционное оформление. Это само по себе граничило бы с чудом. Но допустим. Где же однако гарантия того, что это учреждение не окажется еще более „временным“, чем те два правительства, которые вы называли и которые, слава Богу, все-таки по несколько месяцев продержались. Как вы убедите народы в том, что им нужен трест мозгов, что они должны следовать его советам? Ведь с вашей точки зрения, они охотнее следовали бы советам какого-либо треста глупости... Не возражайте, я знаю, что „для отчетливости“ и тут несправедливо огрубляю вашу мысль, — прошу меня извинить. Но ведь в самом деле у вас здесь есть противоречие. А ведь без „второго кита“ никак обойтись нельзя. В лучшем случае в первые недели от треста еще будут ждать мудрых, спасительных решений. Увы, очень скоро окажется, что никаких таких решений у него нет. Что же в самом деле он предложил бы? Если homo sapiens глуп, то уж будьте добры, научите его. Воображаю, какую маниловщину развел бы ваш трест, если б он чудом осуществился.

А. То, что кажется „маниловщиной“ сегодня, может ею не оказаться через десять или двадцать пять лет. В пору Людовика XV разговоры о республике во Франции были самой настоящей маниловщиной.

Олар очень наглядно показал, что еще в первый год революции во Франции не было ни одного республиканца. В те дни, когда мы с вами учились в гимназиях, восьмичасовой рабочий день тоже считался маниловщиной, а теперь кое-где существует и шестичасовой. Да мало ли вообще было „маниловщины“ в политике, вдобавок у так пазываемых великих не практиков! Я в хорошей компании. Эпопея президента Вильсона была чистойшей маниловщиной. Бриан в беседах с Штрездемапом оказался Маниловым. В пору Мюнхена Маниловыми были не только Чемберлен и Даладье, но и все им сочувствовавшие и аплодировавшие, то есть, скажем горькую правду, три четверти населения мира. В Ялте Маниловым оказался Рузвельт. А Сталин, все же в 1939 году до некоторой степени положившийся на „скрепленную кровью“ русско-германскую дружбу! Правда, он позднее говорил, что использовал два года „передышки“ для вооружений; но слепому ясно, что Гитлер использовал эти два года неизмеримо лучше, чем он. Был, был Маниловым и „отец народов“. Был им и сам фюрер — он ведь не сомневался в безграничной преданности Герингов и Гиммлеров. Можно сказать, что всякий государственный человек в известный период своей жизни неизбежно и неизменно оказывается в роли Манилова. Следовательно, пам, грешным, сам Бог велел.

Л. Значит, вы верите не только в создание треста мозгов, но и в то, что он пойдет какой-то разумный выход из пышешего тупика?

А. Я мог бы вам ответить, что иначе его и создавать не стоило бы. Но это не совсем так. В создании треста мозгов нет ничего ни невозможного, ни неправдоподобного. Однако для „разумного выхода“ требовалось бы также, чтобы у спорящих сторон была хоть одна общая аксиома.

Л. Ну что ж, сделаем и такое предположение: у них общая аксиома оказалась — обе стороны признают целью если не благо (его понимание у них различно), то материальное благосостояние людей. Что тогда?

А. Теперь момент упущен. Но если б в 1945 году, тотчас после победы над гитлеровской Германией, трест мозгов существовал, то он мог бы привести нас к результатам, во всяком случае, много лучшим, чем пышшие.

Л. Очевидно, члены треста мозгов должны быть пропикнуты идеями Ульмской ночи и находиться в картезианском состоянии ума? Но, извините меня, тогда ваше предположение может производить только увеселяющее действие. Если б Сталин был картезианцем, то можно было бы обойтись и без вашего треста. Беда в том, что он был не совсем картезианец, как, впрочем, не были картезианцами и другие люди, правившие миром во второй половине 1945 года.

А. Ваши шутки были бы много веселее, если б „декартезианские“ правители мира устроили его очень хорошо или хотя бы только сносно. На самом же деле мы находимся на краю бездны.

Л. Не все они, как вы знаете, в этом виноваты. Будь в России любое другое правительство, царское, демократическое, социалистическое, какое хотите, мир был бы теперь обеспечен на вечные времена. Точно так же он был бы обеспечен, если б коммунистический строй установился в каком-либо другом государстве, а не в России, первой по размерам и второй по могуществу стране земного шара. На коммунистических владык в Болгарии или в Румынии никто и внимания не обратил бы... Какими же представились бы решения треста историку XXI столетия?

А. Я рад вашему оптимизму. Собственно, в гибели человечества не больше пеленого, чем в смерти одельного человека. Вы совершенно уверены, что XXI столетие *будет*?

Л. Будет, будет, не волнуйтесь. Будет и XXXI.

А. Историк XXI столетия прежде всего, вероятно, пайдет пужным отвлечься в меру возможного от острых чувств, от страстей, от пристрастия. Это не

очень ему удастся, но он сделает такую попытку и попытается быть объективным в отношениях обеих сторон, борющихся в середине XX века. Он признает, что каждая из этих сторон имела актив и пассив. Актив советского блока складывался из следующих статей: СССР выдержал вторую войну так же стойко, как Англия и как — в неизмеримо более благоприятных условиях — Соединенные Штаты, и вел ее много лучше, чем все другие страны. Он потратил огромные суммы — не говорю на народное образование, так как образование в настоящем смысле слова непременно требует свободы, — но на обучение азбуке десятков миллионов людей и на преподавание точных, преимущественно технических наук сотням тысяч. Он создал много учебных заведений, институтов, лабораторий. Эти статьи актива не очень значительны. Ведь при любом другом строе в России второй войны, вероятно, вообще не было бы, так как всякое русское правительство, несомненно, с самого начала объявило бы, что выступит на стороне демократий. Мы видели договор Риббентропа с Молотовым, но представить себе договор того же Риббентропа с Сазоновым, Милюковым, Керенским совершенно невозможно. В области же народного просвещения в свободной России за тридцать пять лет сделано было бы, конечно, не меньше, а гораздо больше. Латентные силы русского народа освободились (так же было с французским народом в 1789 году), и трудно себе представить, какой была бы теперь, при ее колоссальных богатствах, Россия, если бы сохранились условия свободы, если б не было гражданской войны, террора, Коминтерна, ГПУ, если б с Западом установились мирные дружественные отношения, казалось бы столь естественные. Есть однако и некоторые другие статьи, составляющие особенность именно одного советского актива. СССР доказал, что возможно огромное промышленное развитие страны без частной собственности, что общество *может* существовать без профессии спекулянта, биржевика, бакира, без свиных и медных королей, без богачей, скупающих газеты. Правда, для осуществления этого пришлось завести неизмеримо больше чекистов, чем прежде было спекулянтов, но мы говорим тут только об *активах*. Вероятно, историк признает, что эта

сторона бесчеловечного опыта имеет весьма важное значение. Актив Соединенных Штатов был гораздо больше. Они выиграли войну в условиях свободы, и в этих же условиях достигли небывалого в истории процветания; никогда нигде в мире люди не питались так обильно, не зарабатывали так много, не жили так удобно, не помогали так щедро другим. Америка и до войны, и во время войны, и особенно после нее сыпала миллиардами направо и налево и, вопреки тому, что говорят дешевенькие Макиавелли, делала это преимущественно по идеалистическим соображениям и по природной щедрости американцев: другие страны, в ту пору когда *они* были богаты, никогда ничего похожего не делали, хотя у них и соображения макиавеллистического расчета могли быть точно такие же, — над всем преобладала любовь к экономии, и вопрос даже не ставился. Демократии — тут уж не только Америка — осуществили свободную жизнь; существование свиных магнатов не мешало полной свободе мысли и слова. Правда, был и свой пассив, прежде всего моральное разочарование значительной части населения демократий: им свободный строй больше удовлетворяния не давал, — одним из признаков было то обстоятельство, что отсутствие спекулянтов и бирж в СССР, несмотря на все остальное, в течение долгих лет вызывало у миллионов западных людей непрерывные овации по адресу советского строя...

Л. Вследствие глупости и неосведомленности этих миллионов.

А. Совершенно верно, но это меняет не многое. Отчего демократии не позаботились о том, чтобы сделать их умнее? Историк и *предскажет* то, что случилось. Он, быть может, предскажет, что полярная противоположность обоих блоков в таком-то году привела к войне. Никак не берусь судить о последующих главах его труда: тут естественно могут быть весьма существенные варианты. Один из правдоподобных вариантов: Западная Европа воевала плохо, да и трудно было хорошо воевать, когда в некоторых армиях из трех солдат один был коммунистом; после захвата советскими войсками европейского конти-

пента со всеми вытекающими отсюда страшными, почти невообразимыми последствиями, этот континент был освобожден американцами; Соединенные Штаты в результате воздушной атомной войны одержали победу; Россия „сгоряча“ была под самым демократическим соусом расчленена. Затем последовали новые войны за объединение России и т.д., — фантазия имеет пределы.

Л. Печальная, однако, вещь миропонимание, основанное на „произвольной аксиоматике“. Вы много говорили, пользуясь языком теории вероятностей, о „моральном ожидании“, о „математической надежде“; но „ожидание“, „надежда“ на *хорошее* стали у вас приближаться к нулю? Действительно, в истории началась новая эпоха. Я признаю, что развитие техники, и в частности техники военной, пошло значительно быстрее, чем умственное развитие человечества; но если Толстой на старости лет говорил, что в пору его молодости люди были умнее и культурнее, чем в двадцатом веке, то его слова все же относились лишь к верхам; между тем рост культуры вширь социологически важнее, чем ее рост вверх. Допускаю и то, что в последние десятилетия технический прогресс стал сильно обгонять прогресс в целом. В русско-японскую войну 1904 года один из самых важных постов в японской армии занимал генерал, посивший в начале своей военной карьеры кольчугу и чуть ли не лук со стрелами; он не дожил до атомных бомб, но тапки и бомбовозы, кажется, еще застал. Что же, однако, из этого следует? Новую эру в истории начала не „экипа“* Вильгельма II и не „экипа“ Ленина, а „экипа“ Роберта Оппенгеймера и других создателей атомной бомбы. Мы можем обойтись без смертельно надоевшей ссылки на „Apprenti sorcier“[†], нашедшего силу, с которой он не может справиться. Человек справится и с этой силой, заставит и атомную энергию служить себе. Да она ему уже служит с июня 1952 года, когда в Америке было заложено судно (пусть пока военное) с атомным двигателем, — разве это не истинное чудо? Положение свободных стран

*Творческая группа, команда (*фр. équipe*). — Прим. ред.

†„Ученик чародея“ (*фр.*).

трудное, но в процессе развития мира выиграют они. *Логически* Франция и Англия были побеждены летом 1940 года. И слава людям, которые, как Черчилль, как де Голль, этой *логике* не поверили. „Интуиция“ нам говорит о неизбежности победы свободы. Не так бесполезны, как вы говорите, и Объединенные Нации. Они имеют меньше престижа, чем покойная Лига Наций, — в особенности потому, что второе представление пьесы всегда менее эффектно, чем первое. Но в общем, позиция, занятая Объединенными Нациями, правильна. Ее в газетах называют „attentisme vigoueux“ — название комическое и внутренне противоречивое, — „полная воли выжидательность“, что ли? Однако никакой другой позиции пока быть не может. Вы, кажется, больше верите в прогресс искусства, чем в социально-политический прогресс. Я знаю, что Олдос Хаксли говорит о „мифе прогресса“. „Мы прежде всего констатировали, — утверждает он, — массивное возрождение рабства в его самых скверных, бесчеловечных формах, рабство, навязанное политическим сретикам в разных диктатурах, рабство, навязанное целым классам побежденных народов и военнопленных. Мы видим все меньшую дискриминацию в истреблении в пору военных действий, бомбардировку целых областей, бомбардировку до насыщения ракетами, атомными снарядами. Отсутствие дискриминации все увеличилось в пору второй войны: теперь ни одна страна даже не старается создать видимости того, будто она делает традиционное различие между гражданским населением и солдатами, между невинными и виновными: все стремятся к методическому, научному всеобщему избиению, к массовым разрушениям... Цивилизованные люди, стоящие на высоком уровне науки и техники, пускают в ход пытку, человеческую вивисекцию, обречение на голод целых народов. Есть и выпужденная миграция, миллионы мужчин, женщин и детей штыками изгоняются из своих очагов, отправляются в другие земли, где большая часть их погибнет от голода, лишений, болезней...“ Какое преувеличение! Демократии и диктатуры, видите ли, делали почти одно и то же! Как все смешано в одну кучу и во имя чего? Что же Хаксли предлагает или может предложить, кроме своей кокетливо-пессими-

стической книги?... Отдаю вам справедливость, вы за его маседуан* нисколько не отвечаете, но и вы имеете право критиковать демократии лишь в том случае, если вы в самом деле можете предложить какой-то разумный „картезианский“ выход из кризиса. Между тем „историк XXI столетия“ до сих пор в вашем изложении что-то не упоминал о тресте мозгов — и не упоминал вполне естественно, ибо это чистая фантазия. А если б такой трест существовал в 1945 году, что он мог бы и должен был бы предложить?

А. Разговор об этом уже довольно бесполезен: теперь не 1945 год, а 1953-й, по вине и ограниченности Сталина время упущено и не вернется. В настоящее время нам всем почти одинаково трудно освободиться от наслоений ненависти и отвращения, от гипноза печати, радиоаппаратов, радиокомментаторов, от парадов, громкоговорителей — все ведь это вообще по действию сильнее опиума. Да и правда, к несчастью, была „хуже всякой лжи“. Однако, хотя злой правды было вполне достаточно и восемь лет тому назад, — тогда плохой, но сносный, в каком-то маленьком проценте „картезианский“ выход еще *был* возможен. Трест мозгов мог и должен был бы сказать обеим сторонам приблизительно следующее: „Советский Союз и демократии ценой невероятных усилий победили гитлеровскую Германию. Но заключить мир вам будет не менее трудно. Между вами пропасть. По соображениям приличия, вы *еще* не можете сказать, как вы ненавидите друг друга. Скоро вы это скажете, однако, по разным причинам, и свою взаимную ненависть вы будете облекать в формы не столько даже лицемерные, сколь неумные почти до наивности. Так, коммунисты будут обвинять демократов, в особенности, конечно, американских, что ими правит Уолл-стрит, что они стремятся к войне ради разных внешних рынков, что их патриотизм пахнет нефтью и т.д. Быть может, более глупые из коммунистов этому верят твердо; быть может, верят, хоть не так твердо, и менее глупые; эти, к тому же, в результате 35-летнего государственного опыта совершенно убеждены, что врать людям можно что угодно и как

*Мешанина (от фр. macédoine). — Прим. ред.

угодно, что человек совсем дурак, проглотит любой вздор, — эти и пемного верят, и никак приврать не боятся: во врапье пет „слишком“... Несколько забавно тут лишь то, что с коммунистами — о, не до конца, не до конца! — но отчасти, отчасти согласны глубокомысленные западные „социологи“; они коммунистов не любят, избави Бог! — а смотреть надо „в корень“, и ведь и в самом деле на глубине глубин тоже Уолл-стрит, рынки и нефть. Мы же в тресте мозгов понимаем, что суждению этих глубокомысленных социологов грош цена, что Уолл-стрит в Америке имеет весьма незначительную власть, что его вожаки ничего в политике не понимают, что они в большинстве весьма ограниченные и певежественные люди. Правда, истинная правда, что многие из них недурно наживаются на военных заказах и могли бы впачале недурно нажитья и на третьей мировой войне; но если б они для этого хотели начать третью войну, то были бы, вместе с готовыми к их услугам газетами, совершенно бессильны это сделать. Война, вероятно, их бы и смела. Если эти люди войны в самом деле хотят, то разве по той же своей глупости и ограниченности. Никакие „рынки“ Америки не пужны и все они вместе взятые не покроют стоимости трех дней войны. Капиталист, паходящийся в здравом уме и твердой памяти, не стапет вкладывать в какое-либо дело (вдобавок, в дело отчаянное) миллион долларов в надежде нажить двадцать пять центов.

Л. И вы еще говорите о чужой „наивности“! Ваш трест мозгов, очевидно, это генерал Фуллер наоборот.

А. Столь же паивны и попытки западных государственных людей приписать советскому правительству какие-то „панславистские цели“, погоню за „стратегическими границами“ и „неприступными Кенигсбергами“, „продолжение политики царей“ и т.п. В пору обгоняющих звук аэропланов граница на Одере ничем не лучше и не хуже любой другой черты на карте Европы. В Москве сидят точно такие же „панслависты“, как в Вашингтоне или в Мельбурне. Цари тут совершенно ни при чем, все это такой же вздор,

как несуществующее „завещание Петра Великого“. Да если б это и не было вздором, то это не стоило бы одной „термопуклеарной“ бомбардировки — люди ведь научились пазывать звучными учеными словами печто певообразимое по ужасу, какой-то апокалиписис в кубе. Зачем же, мог бы спросить трест, зачем употреблять словесность паиввную, или лицемерную, или лживую, когда было бы так просто сказать: весь копфликт в том, какому быть строю в мире.

Л. Да, так очень часто и говорят, тут нет ничего ни нового, ни картезианского. Неужто не больше оригинальности было бы и в предложении вашего треста мозгов?

А. Каждая из сторон, образовавшихся в 1945 году, была и остается искренно убежденной, что ее политический строй много выше социально-политического строя другой стороны. И обе стороны понимают, с каким чудовищным риском для них связапа новая война. Тут не только риск личный. Конечно, главари победителей отправят на эшафот главарей побежденных. Однако падо отдать должное государственным деятелям нашего времени: они в большинстве люди лично не трусливые. Дело идет о риске неизмеримо более общем. Что могла бы дать война Соединенным Штатам и в случае полной победы? Ровно ничего, кроме разрушений и разоружения, которое ведь так невыгодно и убийственно для людей Уолл-стрит...

Л. Зато коммунистам полная победа дала бы власть пад миром.

А. Над миром? Над тем, что от него останется после водородной войны. Над тем, в частности, что останется от России, от русских городов, от русских промышленных центров, от Днепростроев и „комбинатов“. Трест мозгов мог бы предложить *настоящее* соглашение...

Л. Согласитесь, что и это предложение не блистало бы оригинальностью! Да кто только соглашения ни предлагал?

А. Вы не даете мне досказать мою мысль. Предложение треста сводилось бы к тяжелому социальному опыту, свободному от „дружеских чувств“, „искренности“ и „неискренности“, от „мы хотим мира, но не боимся войны“ и т.п. Трест сказал бы, что вопрос о преимуществах одного социального строя перед другим не может быть разрешен войной, но при известных условиях может быть разрешен миром или, скажем скромнее, перемирием на двадцать лет. В течение этого времени обе стороны будут работать в условиях спокойствия и безопасности. Результаты, вероятно, скажутся сами собой и станет ясно, какой строй „выше“. Конечно, морально-политические аксиомы останутся разные, не очень сблизятся духовные ценности, но по крайней мере можно будет сравнивать цифры производства, знаки материального благосостояния; с гораздо большей осторожностью в оценке можно будет даже сравнивать внешние признаки культуры, число, если не качество, школ, книг, лабораторий. Можно будет, без цифр, сравнивать даже степень оглупления народов. Опыт, как говорится, будет „показателен“. После него и произойдет выбор.

Л. Неужели вы говорите серьезно? Разоружение и передышку западные державы и без того предлагали Сталину неоднократно. Да и какой выбор будет произведен по окончании „опыта“? Кем он будет произведен и каким способом? Кроме того, цифры ровно ничего тут дать не могут. Говорю как человек точной науки: для того, чтобы опыт сравнения был „показателен“, надо исходить из совершенно одинаковых положений. Скажем грубо: одному из двух одинаковых щепков впрыскивают такое-то вещество, другому не впрыскивают, — кто будет жить дольше, кто будет чувствовать себя лучше, кто будет весить больше? Это убедительный опыт. Но если взять для опыта щепка и старую собаку, то он докажет немного. Что же вы предлагаете? Ясно, что западноевропейские державы выпадают сами собой, просто как маленькие страны, в результате закона больших чисел; они, собственно, уже начинают выходить из игры или даже вышли. Остаются два гиганта, обладающие приблизительно одинаковым населением и одинако-

выми естественными богатствами: Россия и Соединенные Штаты. Но тут я поневоле должен выступить в никак не свойственной мне роли защитника коммунистического строя: разве отправные пункты тождественны? Россия до революции в экономическом отношении отставала от Америки — не говорю „на столетие“, как иногда утверждают, по лет на двадцать пять. В 1945 году она была разорена войной и ее чудовищными разрушениями. Америка же от войны пострадала очень мало. Как же было бы сравнивать результаты вашего опыта! Для его „убедительности“ было бы необходимо уравнивать отправные пункты.

А. Ваше утверждение справедливо. Поэтому коммунистическое правительство могло бы в 1945 году потребовать постепенного предоставления ему, и не в кредит, а в дар, немалого числа миллиардов деньгами и товарами для восстановления разрушенного немцами, для некоторого „уравнивания отправных пунктов“.

Л. Это уже не мапиловщина, а сверхмапиловщина, иначе и назвать нельзя. Неужели вы думаете, что американцы дали бы хотя грош Сталину на производство опыта, который имел бы целью доказать нелепость американского экономического строя?

А. Вы забываете, что я говорю о 1945 годе. Тогда Польша, Чехословакия, некоторые другие чужие земли еще не были захвачены большевиками, внутри советское правительство проявляло „внимание“ к церкви, награждало воинов орденами Суворова и Кутузова. Я жил тогда в Нью-Йорке и могу вас уверить, что тотчас после общей победы настроение в Соединенных Штатах было совсем не такое, как теперь. Признаться, я и тогда не понимал, и по сей день не понимаю, почему Сталин не использовал того момента для многомиллиардного „займа“ или подарка. Очень скоро он обманул во всем другом; мог заодно, получив деньги и товары, обмануть и в этом. Но ведь мы говорим не о Сталине, а о тресте мозгов. По-моему, в ту пору соответственное предложение треста имело бы очень много шансов на успех, по самым разным причинам. Оно отвечало бы чувству fair

play*, столь свойственному англосаксам. Оно отвечало бы и их спортивным инстинктам. Они были бы уверены, что выиграют в состязании (и были бы правы): все американцы, кроме негров, снобов, попутчиков и, пожалуй, нескольких разочарованных писателей, совершенно убеждены в превосходстве североамериканского образа жизни над всеми другими. Кроме того, американцы, повторяю, самый щедрый народ на свете. Им прекрасно известно, что миллиарды, которые они сейчас раздают кому угодно, никогда им не будут возвращены, как не были возвращены миллиарды, розданные ими во время первой войны и после нее; они сами давно об этом забыли: ведь слово „заем“ понемногу превращается в эвфемизм. Это предложение обеспечило бы мир, а мира еще теперь страстно желают девяносто девять из ста американцев; тогда же желали все сто. „Займы“ советской России с избытком покрывались бы сокращением расходов на вооружение, хотя тогда в Соединенных Штатах никто не мог думать, что их военный бюджет будет в мирное время составлять десятки миллиардов в год. По сравнению с расходами третьей войны эти „займы“ вообще ничего не означали бы. Сторонниками „картезианского“ решения были бы самые разные группы: интеллигенция по понятным причинам, пятая колонна по приказу из Москвы, „четыре ста семейств“ и деловые круги в естественной надежде нажить много денег на огромных московских заказах. И, наконец, отказ от такого предложения был бы незаменимым козырем для коммунистической пропаганды в мире.

Л. Кто же помешал бы тогда Сталину заключить договор, взять деньги, а затем вести его нынешнюю политику?

А. Я вам сказал, что деньги и товары должны были бы отпускаться постепенно. Разоружение проводилось бы под тщательным контролем. Я, впрочем, нисколько от себя не скрываю, что, по общему правилу, чем разумнее идея, тем меньше она имеет шансов на успех в мире. По общему правилу, картезианские

*Игра по правилам (англ.).

решения разумны, необходимы — и невозможны. Но и „общим правилам“ рано или поздно приходит конец. Последним же доводом в пользу „картезианского договора“ было бы то, что все остальное испробовано, привело к тупику и, вероятно, приведет к войне и к общему хиросимскому миропониманию.

Л. Я еще кое-как, с очень большой натяжкой, мог бы понять вас, если бы речь шла о договоре с Лениным — его ваш план еще мог бы немного заинтересовать: он был теоретик и, как вы правильно указали, „экспериментатор“. В этом смысле была большая разница между ним и Сталиным. Ленин был интеллигент с некоторыми чертами гангстера. Сталин был гангстер с некоторыми чертами интеллигента. Помимо всего прочего, договор, заключенный со Сталиным, не имел бы ровно никакой цены.

А. В отношении „договоров“ я иду гораздо дальше вас: считаю пактоманию одной из трагикомических особенностей нашей эры. Помните ли вы, что по договору Юнга, Германия после Первой мировой войны обязалась платить победителям ежегодно, вплоть до 1985 года, по триста миллионов долларов. Пожалуй-ста, не забудьте и того, что Вторая мировая война была строжайше запрещена в 1928 году „пактом Бриана-Келлога“. К некоторому моему меланхолическому удовлетворению, я в одной из главных библиотек мира насчитал тридцать шесть учебных работ об этом „пакте“. Они не стоят бумаги, на которой напечатаны. Договоры в истории выполняются до тех пор, пока их выполнять выгодно. Тоталитарные правительства выполняли один договор из ста, а демократические, примерно, один из пяти...

Л. Нет ничего хуже произвольной статистики.
„Один из пяти“!

А. Эта статистика не произвольна. Вспомните о Лиге Наций, о Малой Антанте, об экономических санкциях против Италии в пору войны в Абиссинии, о договоре Лавалля с Хором, о союзе с Чехословакией, об обязательстве не заключать сепаратного перемирия, о долгах Америке, о внутренних долгах... У меня

хранится небольшая коллекция разных ассигнаций, выпущенных самыми надежными историческими банками мира: Русским государственным, Английским, Французским, Федеральным резервным. На этих ассигнациях черным по белому, или по зеленому, напечатано, что они в любую минуту могут быть обменены на золото. Следовало бы к этой коллекции присоединить еще облигации разных европейских надежнейших займов, внутренних и внешних... Казанова в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды в Лондоне, на вечере у какой-то британской аристократки, он проиграл в карты некоторую сумму и тотчас заплатил ее золотой монетой. После окончания игры хозяйка дома отвела его в сторону и мягко сказала ему, что по простительному ипохондрическому незнанию английских обычаев он совершил маленькую погрешность: ведь уплата *золотом* косвенно как бы означает недоверие к ассигнациям Английского банка. О, счастливое время старой капиталистической эры! Тогда была аксиома, вроде Евклидовской: государство честно платит долги. Начиная с 1914 года, Лобачевские и Риманы разных казначейств поглядывая показали, что эта аксиома отнюдь не обязательна, и пустили по миру миллионы людей. Но мой „скептицизм“ не относится к настоящему случаю именно потому, что всем было бы *выгодно* соблюдать проблематический договор, о котором мы говорили... Очень может быть, что теперь капиталистический строй трещит по всем швам. Все же трещины заколачиваются, повреждения чинятся, и от того, хорошо ли и быстро ли будут чиниться повреждения, зависит судьба демократического строя. Трест мозгов и предлагал бы такие починки.

Л. Вы сами признаете, что в настоящее время поздно было бы выступать с предложением, бывшим, по-вашему, осуществимым в 1945 году. Что же ваш трест предложил бы теперь?

А. Это зависело бы от мировой обстановки. Но, по-моему, весьма сомнительно, чтобы она еще раз стала столь же благоприятной, как была в 1945 году. По всей вероятности, после всего того, что было в

последние восемь лет, на разумные выходы из кризиса шансов очень мало. Теперь надежду на них действительно можно назвать „сверхманиловщиной“, — за что вина лежит, разумеется, на Сталине. Если я отнял у вас время этой экскурсией в сослагательное наклонение, то лишь для того, чтобы представить вам теоретическую возможность сколько-нибудь „картезианских“ выходов из очень трудных положений.

Л. Я и с этим согласиться не могу. Какой же тут был бы „картезианский“ выход! Понимаете ли вы, *что* означало бы для населения России ваше двадцатилетнее „перемирие“? Оно означало бы для него дальнейшее рабство, дальнейшее существование концентрационных лагерей с миллионами ни в чем неповинных заключенных. Как русский, я этого выхода не приемлю, хотя бы он был и ультра-картезианским! О нем очень легко и приятно говорить, находясь в условиях свободной жизни, но никак не на месте, не у нас дома.

А. Это самый сильный довод из всех приведенных вами — самый сильный и самый болезненный. Однако что же *вы* предлагаете взамен этого? Единственная альтернатива — новая мировая война. Вы предлагаете войну, вы хотите войны? Тогда скажите это прямо, и я объясню ваше настроение тем, что вы, по недостатку воображения, не можете себе представить будущую войну водородных бомб. Одно, думаю, можно предвидеть почти с уверенностью: миллионы людей в советских концентрационных лагерях, в случае войны, погибнут поголовно, так как их будут посылать на работы по восстановлению промышленных центров в места, отравленные излучениями термоядерных снарядов. Вдобавок я могу обратить этот довод и против вас: очень легко, выйдя из призывного возраста, находясь в тылу, проповедовать войну за освобождение России и таким образом отправлять на смерть десятки миллионов людей всех национальностей, да еще с результатами весьма проблематическими... Повторяю, я знаю и чувствую силу вашего довода. Он имеет и еще одну сторону:

процесс развращения народной души, народного ума пока неизменно идет в России. Жорес когда-то воскликнул: „Я не хочу, чтобы в наследство социализму достался от капиталистов слишком развращенный мир!“ Без всякого отношения к социализму и капитализму, мы с вами могли бы сказать нечто сходное: вдруг в наследство преемникам коммунистов, кто бы эти преемники ни были, достанется нечто уже непоправимое?

Л. Я этого никак не думаю. Но если вы так думаете, то не понимаю, как вы решаетесь говорить о картезианской перспективе!

А. Решаюсь единственно потому, что, скажу еще раз, альтернатива — это третья мировая война с десятками и сотнями Хиросим, притом преимущественно русских. Иными словами, мне оставалось бы лишь то, что покойный профессор Лалшин правильно называл „*фикцией* абсолютного скептицизма“. Добавлю, и беспросветного пессимизма.

Л. Немцы говорят: „Лучше конец с ужасом, чем ужас без конца“.

А. Это далеко не всегда так, и то, что кажется концом ужаса, часто оказывается его продолжением. В политике картезианское начало может сводиться только к умению выбирать меньшее зло. Так думали, впрочем, и многие „некартезианские“ государственные люди. Кардинал де Ретц говорил, что Ришелье обладал в высшей степени драгоценным для министра свойством: „умением отличать плохое от худшего, хорошее от лучшего“... Мне все-таки жаль, что мы закапчиваем *политикой* наши беседы об Ульмской ночи. Я принял эту тему, так как вы пожелали сделать обязательные политические выводы из тех идей, о которых мы так долго говорили. Вы, верно, еще спросите, имею ли я по-настоящему надежду на создание треста мозгов? В ближайшем будущем — не имею. Но думаю, что человечество к нему придет ценой еще других страшных уроков. Вы говорили, что американский Верховный суд исходит из чего-то

вполне определенного, из законов Соединенных Штатов, и ставите вопрос: из чего же исходил бы проблематический трест? Ответ ясен: он исходил бы из принципа „Красоты-Добра“, вел бы людей к установлению — не на вечные времена — куда уж! — к установлению общих аксиом или к их ревалоризации*, в целях борьбы с мрачными явлениями царства случая. Это соответствовало бы тому, что я называю духом Ульмской почвы.

*Переоценка (от фр. revalorisation). — Прим. ред.

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ



О романе

В критической литературе очень принято время от времени хоронить тот или иной вид искусства. Теперь хоронят преимущественно поэзию. В доказательство ее смерти, уже последовавшей или неминуемой в близком будущем, приводятся доводы характера житейского: издатели нигде больше стихов не печатают (только за счет авторов), продаются книги поэтов все хуже и выходит их очень мало (по подсчету английского критика, в восемь раз меньше, чем до войны). Практическими доводами обычно доказывают и крушение драматического искусства: театры пустуют и разоряются — дальше неизменно следует ссылка на конкуренцию со стороны кинематографа и на общий экономический кризис. Доводы не очень убедительные: не везде театры пустуют (в Англии переполнены), и то же говорилось лет двадцать тому назад, — если не до появления кинематографа, то, во всяком случае, до его пышного расцвета. Хоронили, кстати сказать, и кинематограф, особенно в ту пору, когда он заговорил. Оптимист мог бы заметить, что этот спор легко разрешить общим местом: плохой театр, плохой кинематограф обречены на гибель; хороший театр, хороший кинематограф не погибнут и не погибнут. Общее место благополучно разрешает много споров, касающихся искусства. Но в вопросе о театре, и особенно о кинематографе, мы на этом положении не остановимся. Кинематограф не погиб прежде всего потому, что, как настоящее большое искусство, он, собственно, еще и не родился. Для этого есть причины, с его внутренней природой не связанные или связанные очень слабо: топкая, трудная книга всегда найдет, хоть не сразу, ту тысячу пепителей, которая нужна для того, чтобы окупить

расходы по изданию; фильм гибнет и разоряет предпринимателя, если не находит миллионной аудитории. Между тем счет людям, знающим толк в искусстве, ведется уж никак не на миллионы. И тем не менее будущее у кинематографа огромное.

Роман хоронили лет девять-десять тому назад по причинам другого характера. На равнодушные публики тут ссылаться не приходится: таких тиражей, какие после войны выпали на долю иных романо-писателей, не знала ни одна книга в истории, кроме Священного Писания. Романы Ремарка — не Бог знает, какое сокровище искусства — разошлись в никогда не виданном количестве экземпляров. Могильщики говорили другое. Они говорили, что великие писатели прошлого столетия использовали решительно все возможные в романе художественные комбинации, не оставив ничего своим преемникам. С таким же правом можно утверждать, что музыка обречена на гибель, ибо число сочетаний звуков должно иметь известный предел. По удачному словечку Мориака, романист — „обезьяна Бога“. Он создает жизнь, подражая Творцу, — по он создает жизнь; никаким числом „комбинаций“ он не связан.

Гораздо серьезнее довод качественного порядка. Современных романистов критик назвал „эпигонами“, явно вкладывая в греческое слово обидный смысл. В отношении „историческом“, это, разумеется, не слишком удачно: ведь именно эпигоны, а не их отцы, взяли Фивы, и статуи в Дельфийском храме были воздвигнуты именно эпигонам. Однако по существу упрек отчасти верен. Какой романист, перечитывая в сотый раз сцены пожара Москвы или самоубийства Анны Карениной, не говорил себе, что после этого заниматься литературой грешно и невозможно? Но вместе с тем, какой критик решится отрицать, что средний уровень романа (скажем, если это возможно: средний уровень хорошего романа) в двадцатом столетии выше, чем был в девятнадцатом? Кажется, Эдвин Мюир назвал величайшими романистами всех времен Толстого, Достоевского, Пруста и Джойса. „Эпигоны“ могут утешаться тем, что в число четырех величайших попали два эпигона, один из которых еще здравствует и даже не очень стар.

Во Франции, в Англии неодобрительные замечания об „эпигопстве“ слышатся редко, быть может, потому, что величайшие французские и английские писатели не романисты. Есть много паивного в споре о литературном первенстве и чемпионстве. Но не мы этот спор выдумали, и не в наше время он копчится. Достаточно часто ставился вопрос, кто первый писатель Франции. Если какая-либо газета поставит его в тысячный раз (бывают анкеты и глупее), читатели ответят: Расин, Мольер, Паскаль, Виктор Гюго. Едва ли кто выскажется за Бальзака или Стендаля и почти никто не выскажется за Флобера. В Англии снобы назовут Китса, Честерфилда, Дефо; Бернард Шоу назовет себя; но 999 англичан из тысячи с полным сознанием национальной дисциплины произнесут имя Шекспира. Конечно, ореол столетней славы, благоговение, усвоенное с детских лет, везде имеют огромное значение. Немногие англичане согласятся признать, что „Angel Pavement“* вчера еще никому неизвестного Пристли сделал бы большую честь Диккенсу; редкий француз допустит, что Марсель Пруст во всех отношениях, кроме „выдумки“, выше Бальзака. Однако чеховское „Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева“ в Англии, во Франции было бы не очень попятно. Не скажу, что в западных странах романисты являются теперь „властителями дум“. Сами слова эти в Европе звучат несколько странно: очень тут думы свободны, и уж если что над ними властвует, то не книга, а скорее газета. Все же среди книг на первом месте роман.

В Германии это, быть может, не совсем так. Властителем дум у немцев в последнее десятилетие был отнюдь не Томас Манн, при всем его исключительном таланте. Как отразится в немецкой литературе зловещая кадриль между Коричневым и Желтым домами, мы не знаем. Но, собственно, иначе, как в разных видах *романа*, она отразиться и не может. Новый Арндт в Германии ближайшего будущего политически и эстетически невозможен — гораздо более вероятно немецкие Демьяны Бедные разных направлений.

* „Улица Ангела“ (англ.).

О советской России говорить не приходится: там и вообще не до писателей. Однако, насколько мы можем судить, и в России будущее принадлежит роману — пужно, разумеется, сделать поправку на нестерпимый деморализующий гнет со стороны „соцзаказчиков“. Недавно вышла очень интересная книга о советской литературе*, написанная знатоком предмета. „Обычно утверждают, — пишет он, — что значительность и глубина русской литературы, которая одинаково проявилась и в силе ее психологического анализа, и в остроте ею поставленных социальных, философских и этических проблем, совершенно исчезла в эпоху революции... Мы всегда держались того мнения, что кажущееся искажение лика русского искусства есть явление чисто временное и что каковы бы ни были те новые формы, к которым совершенно естественно и закономерно стремится русская литература, существо ее остается тем же и рано или поздно ее национальные особенности выступят отчетливо и победно... В лице Леонова, Федина, Олеси и некоторых других прозаиков, молодая пореволюционная русская словесность восстановила связь с классической традицией и в основном продолжила заветы русского романа“.

В общем, роман теперь царит почти везде, и царству его конца не предвидится, — замолкли, кажется, и могильщики. Мы отнюдь не станем умалять во имя романа какие бы то ни было другие виды творчества. Но мы видим в нем самую свободную форму искусства, частично включающую в себя и поэзию, и драму (диалог), и публицистику, и философию. Верно говорит М. Л. Слоним: „Сила психологического анализа“, „острота социальных, философских и этических проблем...“ Он видит в этом основные черты русской литературы. Англичане считают свою литературу по духу такой же: и в самом деле, от Диккенса до Голсуорси, их роман носит именно такой характер. Здесь допустимо более широкое обобщение. Стендаль сказал, что ремесло романиста — познавать причины человеческих действий. Лучше фор-

*М. Л. Слоним. Портреты советских писателей. Париж, издательство „Парабола“, 1933 г. — Автора этого ценного труда обычно упрекают в чрезмерно благосклонном отношении к советской литературе. На наш взгляд, в этой книге он, напротив, несправедлив к некоторым видным ее представителям.

мулу и придумать трудно — нужно только во всей полноте раскрыть ее смысл. А затем, в переводе на язык строгой литературной теории, получится старое, верное и точное определение: *action, caractères, style**, — в нем на третьем месте добавлен и элемент словесный; он, впрочем, разумеется сам собой.

Отличная формула. Надо напоминать о ней возможно чаще. Она не так глубока, как стендалевская, но она проще и яснее. Да, действие, характеры, стиль — в этом сочетании все. К первому члену формулы иногда допускается пренебрежительное отношение: „фабула!..“ Что ж, во всей мировой литературе (не исключая литературы религиозной) едва ли найдется десять художественных книг, которые без „фабулы“ завоевали бессмертие в настоящем смысле слова. Екклесиаст, Паскаль этого достигли благодаря почти сверхъестественной словесной красоте („*style*“), таково необходимое условие — недаром ведь Корнель нашел нужным переложить в стихи „Подражание Иисусу Христу“. Во всяком случае, *романист*, презрительно отзывающийся о фабуле, плюет в свой собственный колодец. Марсель Пруст очень рискованно поступил, построив все свое будущее на одном члене триады: действия ведь у него нет, а стилем Пруста могут восхищаться только оригиналы. Последствия начинают сказываться: этот гениальный писатель уже тронут временем, хоть он умер всего десять лет тому назад. Его психологические изыскания, его „*caractères*“ гениальны. Толстой первый (по-настоящему) создал в литературе трехмерное пространство; Пруст ввел в нее 4-е измерение. Но „началом конца“ „*A la recherche du temps perdu*“[†] будет тот день, когда раздраженный читатель скажет, что ему одинаково не интересны все четыре измерения тупых, ограниченных маленьких людей, изображению которых Марсель Пруст посвятил свой гений, всю свою жизнь. „Потерянное время“ найдено? Ну и Бог с ним!..

Проблемой времени в романе, кстати сказать, с большим успехом занимались в последние годы английские теоретики искусства[‡]. К некоторому нашему

* Действие, характеры, стиль (*фр.*).

† См. сноску на стр. 314.

‡ Edwin Muir, *The Structure of the Novel*.— Percy Lubbock. *The Craft of Fiction*.

стыду, они первые поставили вопрос о времени у Толстого (секрет его „темпа“ в литературе потерял, но говорить об этом было бы долго, да едва ли это было бы и понятно перомапистам). Добавлю, что Толстой вообще служит и главным материалом для теоретических рассуждений англичап. „Теория романа, — говорит Эдвип Мюр, — которая не приняла бы в расчет „Войны и мира“, очевидно, невозможна“. „Не имеет значения, — говорит Перси Леббок, — что герои „Войны и мира“ мужичпы и жепщичпы определенной расы, определенного века, войны, политические деятели, князья, русские... Их жизнь та же, что идет везде и всегда; шум века, в котором они жили, чистая случайность... В этой книге нет горизонта: нет черты, которая ограничивала бы изображенную в пей жизнь от настоящей жизни, идущей вне ее“. То же самое имеет в виду Франсуа Мориак, утверждающий, что семья Ростовых обладает точно такой же степенью реальности, какая свойственна нам самим, — только реальность ее вечна: „Les générations se les transmettent, tout frémissant de vie...“*

Замечу, что Мориак, самый замечательный французский романист нашего времени, — один из немногих писателей, до сих пор убежденных в том, что роман переживает очень тяжелый кризис. Он падает, спастн или обновить свое искусство католической идеей. Здесь спор неуместен и невозможен. Всякая большая идея, следовательно и идея католическая, может слиться с большим искусством. Не надо только идею к искусству пришивать и не надо обольщать себя мыслью, что можно превратить в католическое произведение „Le nord de viréges“[#], если приписать несколько соответственных страниц к концу мрачного мизантропического шедевра: „виперы“ от этого не скрываются и не скроются. И вместе с тем, по существу, в общей форме, Мориак прав: без служения большому делу роман в настоящее время невозможен, или, вернее, не интересен, да и „не имеет будущего“. Разумеется, Колетт, Викки Баум, Джордж Мур, Арнолд Беннетт очень талантливые писатели. Но что же с ними сделает международный Скабичевский второй половины двадцатого века?

*"Они переходят из поколения в поколение, как живые" (фр.).

„Клубок змей“ (фр.).

О положении эмигрантской литературы

Неприятно подходить к сложному явлению „грубо“. Мне приходится это сделать в настоящей краткой заметке о том, отчего — не гибнет, конечно, но тяжело страдает эмигрантская литература. Она прежде всего и больше всего страдает от бедности — не в каком-либо фигуральном, духовном смысле слова, а в житейском, самом обыкновенном и очень страшном. Разумеется, я отнюдь не хочу сказать, что нет других причин ее бедственного положения. Их немало, и в указании на любую из них найдется доля правды; но доля эта не во всех указаниях одинакова.

„Оторванность от родной почвы“? Да, конечно, есть правда и в ссылках на нее. Один из новейших французских литературных историков говорит, что четыре наиболее своеобразные (он употребляет слово „inattendus“*) книги конца XVIII и начала XIX века написаны французскими эмигрантами. За границей же — и тоже главным образом эмигрантами — созданы знаменитейшие произведения польской классической литературы. Владислав Мицкевич в книге о своем отце, цитируя стихи Ксавье де Местра: „Je sais ce qu'il en coûte à ceux que leur génie — Destine aux grands travaux, — De voir couler leurs jours, perdus pour la patrie—Dans un obscur repos...“*, пишет: „Этот отдых в неизвестности должен был стать особенно тяжким мучением для военачальников, для государственных людей, для поэтов, низвергнутых с высоты радужных надежд в пучину горечи, пере-

* Дословно: „неожиданные“ (*фр.*).

* „Я знаю, чего стоит тем — Кого их гений предназначает для великих дел — Видеть, что их дни потеряны для родины — И отдыхать в неизвестности покоя...“ (*фр.*)

шедших от напряженно-лихорадочной деятельности к угрюмому бездействию, оторванных от родной почвы, разбросанных среди чужих народов, ежедневно себя спрашивавших, да не кошмар ли эта зловещая действительность... Естественно, послышались резкие упреки, сказалось болезненное нетерпение, раздались страстные жалобы...“ В польских мемуарах того времени можно найти почти все то, что видим и слышим мы, русские эмигранты. Немало было и насмешек с разных сторон, — в том числе и со стороны эмигрантов же. Теперь о насмешках не слышно. „За время выходства, — говорит Спасович, — было свободно и беспрепятственно довершено умственное и литературное возрождение нации, потерявшей политическую самобытность. Появилось вдруг несколько перворазрядных поэтических гениев; утвердилось сознание национальной умственной и культурной своеобразности, продолжающей существовать и после отречения от надежд на государственную самобытность“. Так обстоит дело с точки зрения историка, писавшего в 1900 году. За полстолетия до него современникам, самим эмигрантам все казалось хаосом: безотрадный быт, нелепые мысли, смешные люди, „оторванная от родной почвы“ литература...

Я не делаю из этого никаких выводов, ни политических, ни иных. „Перворазрядные гении“, о которых говорит Спасович, всегда и везде очень редкая случайность. Не каждый день рождаются Мицкевичи и Словацкие. Не надо, однако, делать и чрезмерных выводов из „оторванности от родной почвы“. Мицкевич мог, конечно, и не уехать за границу, но если бы он не уехал, то ни „Папа Тадеуша“, ни третьей части „Дедов“ в польской литературе не существовало бы: напечатать их было бы невозможно, а какие же поэты пишут для того, чтобы отложить рукопись в ящик лет на пятьдесят или на сто, для потомства?

Если бы какой-либо французский или английский писатель на очень долгое время покинул родину, потеряв с ней связь, то это без сомнения тяжело отразилось бы на его творчестве: он очень многое потерял бы и не выиграл бы решительно ничего. Мы в ином положении. Для нас, кроме огромного минуса, есть еще более огромный плюс: мы выиграли — свободу. Самые восторженнейшие поклонники советской

литературы не станут все-таки серьезно утверждать, что она свободна. Мы же пишем, что хотим, как хотим и о чем хотим. Я не отрицаю значения морального давления среды — оно есть в эмиграции, как есть везде, в любой обстановке во всем мире. Но только несерьезный или недобросовестный человек может сравнить этот вид давления с тем, какой существует в советской России (к тому же, „среда“ в эмиграции разная, и те из зарубежных писателей, которые желали бы угождать зарубежным читателям, отлично знают, что на всех не угодишь). Социальный заказ для эмигрантской литературы существует лишь в весьма фигуральном смысле слова, в степени незначительной и не страшной. Социального же гнета нет никакого, как нет цензуры и санкций. Люди, очень много говорящие о нашей „оторванности от родной почвы“, должны были бы подумать и о том, что эту оторванность все-таки до известной степени компенсирует. Во всяком случае, многие из нас, несмотря на всю тяжесть, все моральные и материальные невзгоды эмиграции, не сожалели, не жалеют и, вероятно, так до конца и не будут сожалеть, что уехали из большевистской России. Эмиграция — большое зло, но рабство — зло еще гораздо худшее.

Недавно молодой, талантливый писатель-эмигрант Г.И.Газданов, начавший писать в эмиграции, оцепененный эмигрантской критикой, принятый эмигрантскими изданиями и издательствами, напечатал статью о молодой (впрочем, не только о молодой) эмигрантской литературе. Статья была написана с не совсем понятным задором. Мнения, высказанные г.Газдановым, находят, как слышно, сочувствие в молодом зарубежном поколении (боюсь, впрочем, сбиться в счете поколений: молодыми у нас, кажется, признаются писатели, не достигшие 50-летнего возраста по паспорту и 25-летнего по литературному цензу, — теперь, если не ошибаюсь, против этого поколения выступает следующее, одним из признаков которого надо считать резкое осуждение эмиграции и восхищение успехами СССР). Как бы то ни было, в заметке — даже очень краткой — о положении эмигрантской литературы надо принять во внимание и этот пока еще слабый, но понемногу крепнущий „звук колокола“.

„Если предположить, — пишет г.Газданов, — что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы... прийти к выводу, что им нечего было бы сказать; им помешала бы писать „честность с самим собой“. Толстовское требование „правильного морального отношения“, менее абсолютное, чем необходимость „религиозно-целостного“ мировоззрения, сейчас невыполнимо“. Я нисколько не думаю, что это требование невыполнимо; но если б это было и так, то невыполнимость его не имела бы никакого отношения к факту эмиграции: она была бы связана с апокалипсическими событиями, произошедшими во всем мире и, в частности, в России. Сам г. Газданов говорит: „Страшные события, которых нынешние литературные поколения были свидетелями или участниками, разрушили все те гармонические схемы, которые были так важны, все эти „мировоззрения“, „миросозерцания“, „мироощущения“ и нанесли им непоправимый удар. И то, в чем были уверены предыдущие поколения и что не могло вызывать никаких сомнений, — сметено как будто бы окончательно. У нас нет нынче тех социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты (если таковая существовала); и с этой точки зрения, он, этот сотрудник, был богаче и счастливее его потомков, живущих в культурном — сравнительно — Париже“. Итак, факт называется общий, мировой или, по крайней мере, общерусский; но жертвами его признаются лишь те потомки сотрудника вологодской либеральной газеты, которые попали в Париж — иными словами, эмигрантские писатели. На всех остальных разрушение „гармонических схем“, очевидно, не должно было отразиться, и им „честность с самим собой“ нисколько не мешает писать.

Кстати, об этих гармонических схемах. Положение трудное: нет схем — очень плохо; есть схемы — они вологодские, то есть смешные. Это — „мировоззрения“, „миросозерцания“, „мироощущения“ в кавычках. Может быть, социально-психологические устои сотрудника вологодской либеральной газеты были и не так уж смешны и глупы, как кажется многим и советским, и зарубежным молодым писате-

лям, — монополии у этих устоев, собственно, не было, наряду с ними всегда были всякие другие. Но вопрос не в этом. Для художественного творчества общепринятые „гармонические схемы“ и в старой России отнюдь не были обязательным условием — это, к счастью, мифология. Не буду напоминать: „Les bons sentiments font de la mauvaise littérature“*. Однако, если речь идет о „людях, способных стать гениальными писателями“, то уж им-то гармонические схемы устатовленного образца, и вологодские и самые столичные, всегда были совершенно чужды. То „внутреннее моральное значение“, которое имел в виду Толстой, у него было не то, что у Достоевского, а у Достоевского не то, что у Пушкина, и у каждого из них было свое. Думаю также, что если, например, у Шатобриана, у Гейне, у Мицкевича, у Герцена это внутреннее моральное знание было (а у двух последних оно было наверное), то эмиграция его у них не отняла. Оставим же очень больших писателей в стороне — они, повторяю, счастливая случайность, не связавшая ни с эмиграцией, ни с модными гармоническими схемами. Но мы вправе думать, что вся русская эмигрантская литература от отсутствия внутреннего морального знания должна страдать и в действительности страдает не намного больше, чем какая бы то ни было другая из современных литератур. Можно было бы даже утверждать, что ей, в виду нынешнего положения России, было бы легче и естественнее иметь общую „гармоническую схему“, чем литературе счастливых стран. Это, однако, другой вопрос, и я никак не собираюсь навязывать молодым писателям „эмигрантскую миссию“ или „факел“. Вот, в СССР есть намеченная и разработанная начальством гармоническая схема, пользующаяся исключительным авторитетом. В совершенное отличие от старой, либеральной, вологодской, она даже пользуется некоторой защитой и покровительством со стороны начальства. Искренно ли или нет, ее признает большинство советских писателей, а многие с большим или меньшим рвением (дело характера, такта и степени житейской необходимости) проводят ее и в книгах. Нельзя сказать, чтобы это уж так выгодно отражалось на их творчестве.

* „Добрые чувства рождают плохую литературу“ (Фр.).

„Русская эмигрантская литература, — говорится в той же статье, — с самого начала была поставлена в условия исключительно неблагоприятные, первое из них — ничтожное количество читателей, о культурных требованиях и количестве которых нам сообщали данные, совершенно несоответствующие действительности. Можно сказать, что нам навязывали обязательное представление о культурной массе русских читателей за границей, ни в малейшей степени не похожее на вещи реальные... Если даже считать доказанным то — весьма спорное — положение, что большинство людей, выехавших шестнадцать лет тому назад за границу, принадлежало к интеллигенции, то за эти годы заграничная жизнь этих людей, в частности необходимость чаще всего физического труда, произвела их несомненное культурное снижение. Неверно то, что бывшие адвокаты, прокуроры, доктора, инженеры, журналисты и т.д., став рабочими или шоферами такси, сохранили связь с тем соответствующим культурным слоем, к которому они раньше принадлежали. Наоборот, они по своей психологии, „запросам“ и взглядам приблизились почти вплотную к тому классу, к которому нынче принадлежат и от которого их, в смысле их теперешнего культурного уровня, отделяет только разница языка. И мы не имеем права предъявлять к ним какие бы то ни было требования. Их исчезновением — к сожалению, безвозвратным — частично объясняется то трагическое положение русской литературы за границей, в котором она находится“.

Из этого как будто следует, что кто-то ввел эмигрантских писателей в невыгодную сделку: „Нам сообщали данные...“, „Нам навязывали обязательное представление...“ — Кто, когда и зачем сообщал? Кто, когда и зачем навязывал представление — да еще „обязательное“? Нет, эмигрантская читательская масса никого не приглашала заниматься литературой. Люди становились писателями за рубежом совершенно так же, как в России и во всем мире. Никаких обещаний им никто не давал и не мог давать. По частной инициативе создавались и журналы, и газеты, и издательства, — в эмигрантской столице, в Париже, это происходило на наших глазах. Согласно произведенному в 1925 году подсчету, за

границей существовало 364 периодических издания на русском языке. Не знаю, сколько их осталось теперь (меньше, вероятно, по той же причине). С полной готовностью признаю, что все эти журналы и газеты в очень многих отношениях отстают, например, от „Таймс“ или от „Русских ведомостей“. Но если они могут кое-как существовать и так или иначе делать свое дело, то все же главным <...>* эмигрантским читателям, нынешний культурный уровень которых г-н Газданов ставит так невысоко (полагает ли он, что читатели лучших европейских изданий принадлежат к цвету интеллигенции?). Я не думаю, что бывший адвокат или врач, переходя на физический труд, становится некультурным человеком. При очень большом напряжении воли можно — по крайней мере, в течение некоторого времени — быть рабочим или шофером, оставаясь талантливым писателем или ученым, — нам такие случаи известны. Оставаться культурным читателем неизмеримо легче.

Почти все писатели, покинувшие Россию после большевистского переворота, в эмиграции работают как умеют, — исключения не составляет даже 90-летний В. И. Немирович-Данченко. Сюжеты их относятся к дореволюционной России, к первым годам революции, к далекому прошлому, к истории, к легенде, к жизни эмиграции, к жизни иностранцев... Советской жизни последнего десятилетия никто не описывал — ее, кажется, никто из писателей-эмигрантов не видел. Не многих соблазнили и темы гражданской войны. Но без тем не остался никто. Это естественно. На наших глазах то же происходит с писателями немецкой эмиграции (некоторые из них даже слишком отважно начали писать о чужом прошлом, имея о нем лишь весьма недостаточные познания). Так или иначе, препятствие „беспочвенности“ русскими зарубежными писателями преодолено.

Г. В. Адамович писал несколько лет тому назад в „Современных записках“: „Некоторые молодые писатели чувствуют здесь „неблагополучие“ своего положения очень остро, — только до сих пор эти настроения, со всеми неизбежными из них следствиями,

*Пропуск в тексте. — *Прим. ред.*

выводами и догадками, редко и скупо отражаются в печати. Это больше — предмет нескончаемых эмигрантских литературных разговоров, как бы компенсирующих здесь скудность иной гласности... „Утешитель“ — друг и в каком-то смысле истолкователь всего, что произошло, — нужен многим, если не всем. В эмигрантской литературе его нет, в ней вообще нет утешения. „Дети“ предоставлены самим себе: они с отцами несравненно вежливее, чем были предыдущие поколения, но они не знают, о чем с ними говорить. Миры рушатся, — а те все описывают природу, как ни в чем не бывало, или рассказывают о былом житье-бытье. У Жида или у Пруста можно все-таки найти кое-что другое. Еще больше можно было бы найти в России, вернее, у нее. Но России нет. Иногда в таких разговорах произносится даже забытое слово: „катакомбы“.

Слова эти значительны. Но, быть может, мысли о катакомбах в молодой литературной среде Парижа придается и несколько иной, менее утонченный, более простой смысл. Каждому из нас много раз приходилось слышать упреки: в эмиграции нет литературного общения, литературной жизни, литературной среды. Это указание верно, если применять мерилу абсолютное. Но подходить к нему можно и должно лишь с мерилем относительным. Я имел возможность наблюдать то, что называется литературной жизнью, в прежнем Петербурге, в Париже, в меньшей степени в Москве, в Берлине веймарского времени. Нигде она не „била ключом“. Везде и всегда были кружки, которые, весьма часто не имели друг с другом никакого соприкосновения. Что общего было, например, у кружка „Русского богатства“ с кружком „Бродячей собаки“? И в том, и в другом были настоящие писатели, но я не уверен, что они знали друг друга хотя бы в лицо. Так обстоит дело во всем мире. Недавно газеты сообщали, что два знаменитых французских писателя, проживши всю жизнь в Париже, не были между собой знакомы — и не потому, что их разделяли какие-либо личные, политические или литературные разногласия: просто не довелось познакомиться. У нас это случай более редкий. Однако Достоевский никогда в жизни не видал Толстого.

Было бы, во всяком случае, несправедливо ставить этот вопрос в связи с обычной рознью между отцами и детьми. Среди „отцов“ литературное общение так же слабо или еще слабее, чем среди детей; а уж если необходим „утешитель“, то именно одинаково всем. „Истолкователь всего, что произошло“? Это легко сказать. Единого, общего толкования нет и быть не может: толкований всегда много. И в чем гарантия, что толкование было бы утешительным? Не надо писателям заведомо ставить себе задачей утешение; это даже и не целесообразно. Пока Толстой не „примирился с миром“, книги его так и дышали радостью жизни; а когда он примирился, то утешил человечество „Крейцеровой сонатой“ и „Смертью Ивана Ильича“.

Не должна быть преувеличиваема и роль „литературного общения“. Тут сама собой просится на бумагу вечная ходячая цитата — „Кружок ин дер штатт Москау“. Тургеневский герой, конечно, хватил: „кружок — да это гибель всякого самобытного развития“ и т. д. Но, вероятно, в цитате отразилось подлинное личное раздражение Тургенева. С точки зрения искусства, кружки, особенно такие, как цех поэтов, нужны; чтение вслух может быть писателю полезно и интересно. В России было литературное общение — менее напряженное, чем теперь кажется многим старым людям, но „живительное и бодрящее“. Насколько мне известно, есть такое литературное общение и в отдельных кружках эмиграции. Можно было бы назвать несколько литературных кружков, обычно группирующихся вокруг отдельных писателей, — недавно появился и еще один, так и названный, точно назло тургеневскому герою, „Круг“. Думаю, что всякий зарубежный писатель, который пожелал бы прочесть товарищам по профессии свое новое произведение, легко может это сделать, — я говорю только о русском Париже (как обстоит дело в „провинции“, мне неизвестно). В эмиграции иные вопросы, иные бытовые формы, меньше размеры групп — хоть не так уж многолюдны были кружки и в дореволюционной России, — но в общем почти то же, что было. Нет, слабость литературного общения у нас нельзя рассматривать как катастрофу.

Катастрофа в другом.

Во Франции, одной из трех богатейших стран мира, живущей в совершенно нормальных условиях, перед писателями недавно встал вопрос о „втором ремесле“. Вернее, стоял он всегда, но в последнее время французская печать почему-то уделила ему особое внимание. Газеты сообщили, что очень многие писатели, не имея возможности существовать на свой заработок, должны были избрать дополнительную профессию. Назывались имена весьма известные. В пользу одного писателя с большим именем была устроена общественная подписка: с ним ничего не случилось, ни болезни, ни несчастья, ни потери трудоспособности, — просто оказалось, что он со всей своей известностью дальше существовать не может (по крайней мере во французском смысле этих слов). Перед русскими зарубежными писателями вопрос о *втором* ремесле не ставится, так как у них нет и *первого*: в эмиграции литература, можно сказать, не ремесло. Большинству писателей, особенно молодым, она не приносит ничего. Меньшинству приносит очень немного, и то почти исключительно в виде гонорара от газет. Некоторые старшие писатели имеют доход от иностранных переводов. У молодых нет и этого.

Тут вдобавок странное явление, о котором стоит быть может, вкратце упомянуть, хоть это вопрос профессиональный и публике мало интересный. Один знаменитый немецкий писатель еще недавно, по заслугам ли или нет, имел очень большой успех за границей и очень большой доход от иностранных изданий своих книг. С приходом к власти Гитлера он покинул родину и сразу обеднел. Он лишился заработка в Германии — это понятно. Гораздо менее понятно то, что заработок его в других странах, отнюдь Гитлеру не сочувствующих, сразу упал, как говорил мне осведомленный в практических литературных делах иностранец, в три или четыре раза. Х. не стал писать хуже, он по-прежнему выпускает книги, он даже еще не вышел из моды (неизбежная участь всякого писателя). Но „рыночная цена“ его теперь совершенно не та: Х. — эмигрант! Не думаю, чтобы американский, английский или французский рынок учитывал: „Х. теперь пикуда деться не может, надо, значит, его сократить, все равно он должен будет

согласиться на то, что ему предложат“. Нет, издатель не так коварны, да и не так осведомлены в эмигрантских делах. Просто к Х. теперь гораздо меньше интереса. Прежде, когда он гастролировал в иностранных столицах, на выступлениях его председательствовал германский посол, а в зале бывал „весь Париж“ или „весь Буэнос-Айрес“. Теперь германский посол — новый или тот же самый — его к себе на порог не пустит, а „весь Париж“ останется дома, хоть людей, изгнавших Х., он отнюдь не любит. Два писателя получили недавно Нобелевскую литературную премию, эмигрант и неэмигрант. Второго из них прямо замучили официальными, официозными и частными чествованиями во всех столицах мира; ему пожаловали главные европейские ордена, все в степенях немалых. Первого чествовали только в стране Нобелевской премии (в некоторые другие страны ему не дали даже визы), никаких орденов он не получил. Злая воля? Едва ли. Но он — эмигрант...

Это наименее понятная сторона тяжелого материального положения эмигрантской литературы. Все остальное совершенно понятно. Беда не в том, что бывшие адвокаты, прокуроры, инженеры стали рабочими. Но их вообще очень мало, их становится все меньше, и им самим жить с каждым днем все труднее. Сколько есть на свете русских эмигрантов, мы, к стыду нашему, до сих пор точно не знаем. Из расчета, недавно напечатанного в „Последних новостях“, можно как будто сделать вывод, что в Европе их не более 200–300 тысяч. Если это верно, то на что, собственно, может рассчитывать зарубежная литература, даже независимо от ненормального положения эмиграции? Напомню, что „Воскресения“ Толстого в России до революции разошлось более миллиона экземпляров. Это, конечно, случай единственный, — пожалуй, до сих пор единственный и во всем мире, если не считать (всякие приходится делать сравнения) романов Ремарка и „Моей борьбы“ Гитлера. Но тираж в пятьдесят тысяч для имевшей успех книги известного писателя в последнее пятилетие перед войной у нас исключения не составлял. Теперь, за рубежом, он в 50 или 100 раз меньше. Результаты палицо. За самыми редкими исключениями, эмигрантские писатели на свой литературный заработок

не могут существовать даже самым скромным образом. В несколько лучшем положении — пока — пахотится небольшое число профессиональных журналистов. Но боюсь, что и их положение очень скоро изменится. Возможно даже, что последние события во Франции окажутся сильным снижающим толчком. Оттого, что рабочий у „Ашетта“ или в типографии будет получать несколько больше (па что он имеет, разумеется, все права), русский или немецкий эмигрантский журналист будет зарабатывать несколько меньше — или не будет зарабатывать ничего. Такова „динамика капиталистического строя“, даже тогда — или особенно тогда, — когда к власти приходят социалисты.

О старших писателях говорить не приходится. Они, по крайней мере, видели лучшие дни; имя у них давно есть; их выбор сделан 30–40–50 лет тому назад, — как ни мудри, они ничего другого, кроме своего дела, делать не могут, не умеют и не будут. Молодых жаль чрезвычайно, и посоветовать им нечего. Мы могли бы в лучшем случае сказать пачипающему писателю–эмигранту, России не помпашему или не видевшему, что он преодолет препятствия порядка литературного, что он ни с чьей стороны не встретит педоброжелательства, что он найдет „литературную среду“, то есть внимательных читателей, слушателей, критиков из писательских кругов. Можно даже с большой вероятностью предположить, что он так или иначе „пристроит“ свой роман или рассказ. Но жить литературным заработком ему наверное не удастся; едва ли даже этот заработок будет для него сколько–нибудь существенным материальным подспорьем.

Что же ему остается? „Второе ремесло“? Хорошо французскому известному писателю, по непонятной случайности не имеющему ни наследственного состояния, ни „сбережений“, ни имения в Нормандии — или такое маленькое! — проводить часть дня в Министерстве иностранных дел, где им гордятся и, при всем формализме, вероятно, не слишком утомляют его работой. Он об этом министерстве еще и роман напишет. Для молодого русского писателя „второе ремесло“ — это служба на заводе, в конторе, шоферская работа или что–либо в таком роде. Трудно,

очень трудно тут записаться успешно литературой. Знаю, что некоторые из наших младших товарищей именно так живут и все-таки пишут, — это истинный подвиг, мало кому заметный и тем большего уважения заслуживающий. Им говорят: „живите, как жили солдаты Вердена“. Слова красивые, но реального смысла не имеющие и в психологическом смысле à la longue* довольно безнадёжные. В условиях Вердена можно жить месяцы, по не годы — и потом какой же это Верден! Тут каторжная проза всевозможных heures de présence, и contraventions[^], физическая и умственная усталость, сознание бесплодной недостойной работы и даром уходящего времени..:

Выходом из положения могло бы быть создание большого, меценатского, заведомо убыточного и очень убыточного издательского дела за границей. Но это, разумеется, „нереально“. Эмигрантские deux cents familles[^] — сомнительные регенты и пайщики сомнительных эмигрантских дел — давно исчерпали свой скромный запас интереса к искусству и вдобавок очень утомлены: они уже на прошлой неделе пожертвовали сто франков на что-то, касающееся литературы.

*В конечном счете (фр.).

[^]Часы присутствия и штрафы (фр.).

[^]Двести семей (фр.).

При чтении Тургенева

(НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК)

„В раг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом, и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм, das Absolute*... Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите, Бог принимает именно то, что вы за него отвергаете...“ „Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, пемипуемо вырастает в старообрядца: вот куда его гнет и прет, а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: *rgncsz mon ougs*, возьмите науку“.

Нет, думаю, строк более характерных для всего круга философско-политических мыслей Тургенева, чем этот отрывок из его письма к Герцену. Прежде замечание это казалось мне элементарным: ученье свет, а неученье тьма. Вдобавок Герцен, один из самых блестящих публицистов всех времен, относился несколько иронически к своему противнику.

Тургенев и в самом деле был не Бог знает какой публицист. Особенно в романах. „По милости нерасположенных к Литвинову дворян его уезда, пропикнутых не столько западною теорией о вреде „абсентизма“, сколько доморощенным убеждением, что „своя рубашка к телу ближе“, он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного „союзника“, простоял шесть месяцев

*Абсолют (нем.).

в землянке на берегу Гнилого моря...“ — плохая публицистика второй половины прошлого века частью вышла именно из таких его фраз. Но, как большой художник и очень умный человек, он видел и понимал многое такое, чего не видело и не понимало большинство его современников. Так и в приведенном выше отрывке — кое-что в нем и сейчас спорно — Тургенев, в сущности, наметил те пределы, в которые жизнь замкнет политику на очень долгие десятилетия, и не только в России. После событий, произошедших недавно в одной чрезвычайно ученой стране, позволительно даже усомниться, таким ли уж спасительным лекарством против глуши, тьмы и тирании является его хваленая „наука“ — или, по несколько упрощенной формулировке, всеобщее поголовное знакомство с четырьмя правилами арифметики.

Б.К. Зайцев написал о нем превосходную книгу. Несколько книг написано о Тургеневе и на Западе: много меньше, чем о Достоевском, гораздо больше чем о Пушкине или о Гоголе. Голсуорси, восторженный его поклонник, посвятил одно из своих произведений госпоже Гарнет в благодарность за то, что она перевела на английский язык Тургенева. Прдержится ли его слава в Европе, в России? Вероятно, с ним будет то самое, что неизменно было со всеми большими писателями: период увлечения — период охлаждения, будут хвалить и развенчивать у него то одно, то другое. Французы это называют шотландским душем: жар — холод, жар — холод. Сейчас у нас, кажется, холод. Время наше элементарное, но катастрофическое, а он катастроф терпеть не мог: немудрено, что его у нас меньше читают, чем в Англии.

Достоинства его произведений так признаны и очевидны, что о них и говорить не стоит; невольно ловишь себя на повышенном внимании к недостаткам. Главный из них, на мой взгляд, в легкой слабости к литературному шоколаду. Он сказал даже в заглавии некоторых его произведений (как „Новь“, как „Вешние воды“). У Толстого нет ни одного шоколадного заглавия; у него и просто „литературное“

заглавие, кажется, только одно — и какое превосходное: „Крейцера соната“. Да еще, пожалуй, „Власть тьмы“. (В звуковом отношении это ужасно: подряд два *ть*. Напротив, „Песнь торжествующей любви“ — в *звуковом* отношении — чудесное заглавие.) Другие свои книги Толстой называл „Аппа Каренина“, „Хозяин и работник“, „ Казаки“, „Смерть Ивана Ильича“, „Детство, отрочество, юность“. Одно заглавие — „Война и мир“ — циклопическое, но оправданное: теперь и представить себе нельзя, чтобы эта книга называлась иначе, — сами слова эти приобрели у нас новый звук, которого до Толстого не имели. Когда Тургенев называет рассказ просто по имени героини, это „Клара Милич“. Ни одна русская артистка, конечно, не избрала бы для себя такого псевдонима; но не мог же Тургенев озаглавить свой символический рассказ: „Катерина Миловидова“. Да и нельзя было бы тогда вставить „несчастную Клару, безумную Клару, несчастную Клару Мобрай“.

Трудно согласиться с Зайцевым в его исключительно высокой оценке этой знаменитой поэмы. Тургенев в ней явно искал новой формы и не нашел ее. „Клара Милич“ начинается как обыкновеннейший бытовой рассказ, вроде тех, что он писал в молодости. В ней даже больше, чем обычно, его стилистических приемов, теперь режущих слух: „Человек он был, что называется, „добрейший...“ „Он решил, как говорится, „взять на себя“ и похерить всю эту историю...“ „Чудак преестественный“, по словам соседей...“ „Подавали шампанское (нижегородского изделия, заметим в скобках)...“ „Он даже приобрел английский кипсэк* — и (о, позор!) любовался „украшавшими“ его изображениями разных восхитительных Гюльнар и Медор...“ „В то время, о котором идет наша речь, обреталась в Москве некая вдова, грузинская княгиня, — личность неопределенная, почти подозрительная...“ Эта княгиня, обретающаяся в Москве *в то время* (четырьмя страницами выше сказано, что действие происходит в 1878 году!) долго обличается, как шампанское нижегородского изделия, но затем почти никакой роли не играет, точно автор о

*Англ. keepsake — иллюстрированный альбом для стихов. — Прим. ред.

ней и забыл (может быть, и в самом деле забыл)... Одним словом, бытовой рассказ вроде тех, что писали многочисленные его последователи. Тургенев сам как будто это чувствовал. Герою рассказа дается не вполне естественная фамилия Аратова — русская фамилия из французского романа. Вскользь сообщается, что он правнук знаменитого черпокпизжника Брюса. Тургенев как бы дает понять читателям, что рассказ все-таки необыкновенный и что произойдет нечто странное и страшное. Но достаточно сопоставить все эти „что называется“ и „как говорится“ с первой фразой „Пиковой дамы“: „Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно“, — и станет ясно, как за пятьдесят лет ушло назад искусство символического рассказа.

Сравним и фипалы:

„Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных жепских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; по с какой стати было ей отдать Аратову такую для нес дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила? — и не заметила, как отдала?

В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном, о совершенном браке; о том, что он знает теперь, что такое наслаждение...“

„Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, палево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от

стола, поднялся шумный говор. „Славно спонтировал!“ — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом“.

Нет, это и сравнивать трудно.

Он в „Кларе Милич“ два раза, по поводу Миловидовой, упоминает о Виардо. „Мы затеяли литературно-музыкальное утро, — говорит Аратову Купфер, — и на этом утре ты можешь услышать девушку... необыкновенную девушку! — Мы еще не знаем хорошепко, Рашель она или Виардо?...“ „Аратов достал Пушкина, прочел письмо Татьяны и снова убедился, что та „дыганка“ совсем не поняла настоящего смысла этого письма. А этот шут Купфер кричит: Рашель! Виардо!...“

Вероятно, это упоминание — все-таки не вполне удобное для Тургенева — в свое время в литературных кругах „вызвало много толков“. Едва ли умирающий старик хотел тут сделать рекламу бывшей певице. С другой стороны, двадцатилетний москвич Купфер в 1877 году, по всем соображениям художественной правды, должен был бы сослаться никак не на Виардо, о голосе которой никто давно и не говорил, а на Патти или на Нильсон.

Вполне возможно: этим двукратным упоминанием (Рашель — для уменьшения „заметности“) Тургенев хотел дать понять будущим биографам, что сам он имеет какое-то отношение к сюжету „Клары Милич“. В повести изречение „Любовь сильнее смерти“ приписано „одному английскому писателю“! Однако настроение „Клары Милич“, конечно, именно таково: „сильна, как смерть, любовь“. То же в „Песни торжествующей любви“. Не очень удался и этот рассказ. Стилль его недостаточно наивен для „феррарской рукописи XVI века“ (разумеется, говорю только о стиле: время было несколько не наивное). Есть что-то от „Князя Серебряного“ во всех этих „кубках, украшенных финифтью“, в „бархатных и парчевых одеждах“, в „богатом жемчужном ожерелье, одаренном какой-то странной теплотой“, в ширазском вине Муция, — „чрезвычайно пахучее и густое, золотистого цвета с зеленоватым отливом, оно загадочно блестяло, налитое в крошечные яшмовые чашечки“. „Песнь торжествующей любви“ — превосходный оперный

сюжет для очень большого композитора, слова к еще не написанной гениальной музыке. Но без музыки она — „не убедительна“.

Смешное, вдобавок затасканное слово. Однако смысл в нем есть. В неполной „убедительности“ Тургенева — второй его грех (или, если угодно, тот же, во всяком случае тесно связанный с первым). Толстой в „Крейцеровой сонате“, в сущности, возвел поклел на одного из самых чистых людей мира. Но мы ему *верим*. Мы верим, что Позднышев почувствовал в первом престо те бездны порока, разврата или даже преступления, о которых он говорит. „Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнул он. — У! ууу!.. Страшная вещь эта соната... Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал один другого или многих и потом бы делал с ними, что хочет? И, главное, чтобы этим гипнотизатором был первый попавшийся безправственный человек! А то страшное средство в руки кого попало! Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо, — разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам? Это престо сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне...“ Да, мы этому верим. Но что же делать, — может быть, все это и „субъективно“, — я *не могу* поверить, что Верочка Ельцова, когда ей Павел Александрович Б. стал читать гётевского „Фауста“, „отделилась от спинки кресла, сложила руки и в таком положении оставалась до конца“, и что от этого чтения произошла трагедия, и что на смертном одре та же Верочка „вдруг раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку —

Чего хочет он на освященном месте,
Этот... вот этот...

произнесла она голосом до того страшным, что я бросился бежать...“

Здесь как будто и самое построение фразы свидетельствует, что Павел Александрович Б. слишком долго жил в Берлине — в сентиментально-слащавом Берлине 30-х годов. Да и весь этот „Фауст“ — из шоколадной фабрики Тургенева.

Это, как известно, роман в письмах. У Тургенева было пристрастие к неудобым, стеснительным фор-

мам. В частности, в „Фаусте“ форма писем была как будто недопустима: Павел Александрович Б., по замыслу автора, человек благородный и возвышенно пастропный, рассказывает Семену Николаевичу В., со всеми именами и подробностями, как Верочка, замужняя женщина, объяснилась ему в любви и как он с пей целовался.

Напомню и начало „Первой любви“. Три человека — хозяин, Сергей Николаевич и Владимир Петрович — ужинают; описывается Сергей Николаевич, рассказывается о том, как хозяин познакомился с женой, Аппой Ивановной; а затем больше ни слова не говорится ни о хозяине, ни о его жене, ни о Сергее Николаевиче. Все дело в рассказе Владимира Петровича, который он записывает по просьбе своих приятелей. „Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание. Вот что стояло в его тетрадке...“ Чудесному рассказу предпосланы две совершенно непужные страницы, вдобавок и не очень правдоподобные. Чем Тургенев руководился, непонятно. Форма — дело условное. Какис-то соображения, конечно, у него были, но они от нас ускользают. Непонятно и то, зачем он в фабуле так злоупотреблял смертью: в „Первой любви“, например, и отец умер молодым, и Зинаида умерла молодой.. Однако весь рассказ и в чисто техническом смысле написан с удивительным совершенством. Роман отца с Зинаидой проходит целиком за кулисами! За исключением сцены с ударом хлыста, мы ничего не видим — и знаем решительно все! „Первая любовь“, быть может, самое лучшее создание Тургенева. В рассказе нет и ста страниц, но в нем создано человек десять, и все они *живут*. Вот разве только отец не без шоколада. Но от Вольдемара и Зинаиды до ее матери княгини Засекиной, все другие лица — живые.

На почти той же высоте стоят „Отцы и дети“. Некоторые действующие лица этого романа сделаны изумительно. Не удались Одинцова, Аркадий, Катенька. Базаров не в такой мере живой человек, как Пьер Безухов или князь Андрей. Ему дана искусственная жизнь; однако эта дана надолго, если не

павсегда. Я знал людей, которые, сами того не замечая, жили и думали под Базарова. Людей, живущих по Рудину, я не видал — увереп, что были и такие. Рудин писан Тургеневым с Бакупина? Очеь в этом сомпеваюсь, по вполне допускаю, что Бакупин в конце своей жизни немпого стилизовал себя под Рудина.

К сожалению, далеко не во всех своих романах и рассказах Тургенев проявлял ту же мощь в дарованиях жизни, какая свойственна лучшим его творениям. Он (наряду с Достоевским) — самый неровный из всех классических русских писателей. Среди небольших его рассказов есть высокие шедевры искусства; есть среди них и слабые, почти ничтожные (случай довольно редкий: лучшее — то, что мы с детства знаем по хрестоматиям). Достоевский по заслугам высмеял „Призраки“, — вся его злобная пародия написана с огромной силой. Но уж будто нельзя было бы написать пародию на книги самого Достоевского? Признаем же, ради справедливости, и то, что в „Поездке в Полесье“, в некоторых страницах „Записок охотника“ больше искусства и поэзии, чем в „Подростке“ и „Униженных и оскорбленных“, взятых вместе.

Прочитав первую часть „Войны и мира“, Тургенев писал одному из своих друзей: „Нет, это не то, не то, не то!“... Думаю, писал искренно или почти искренно — не сразу и мог принять революцию в искусстве такой большой художник, как он. Однако „внутренний голос“, верно, все громче ему твердил: „Да, то, то, то самое...“ Репе Буалев, очеь замечательный писатель, пережил такую же драму (иначе это и назвать нельзя) при чтении Марселя Пруста...

Тургенев всю жизнь искал новых форм в искусстве — это и само по себе заслуга немалая. Если не ошибаюсь, и сейчас не существует ни одной такой формы, которой он не испробовал бы. Иногда кажется, что он предвидел и кинематограф: „Соп“, например, чисто кинематографический рассказ. Разумеется, не все его искания были удачны. Надо однако ценить больших писателей по тому *лучшему*, что они дали. Совершенно справедливо говорит Б. К. Зайцев, что „в золотом веке нашей литературы место Тургенева в числе четырех — пяти первых“.

О Толстом

Да, именно: о Толстом. Отдельные замечания — и только. Когда-то, в книге, я пытался привести их в „систему“. То же делали и другие о нем писавшие. Не выходило, в систему его не приведешь. Он и слишком огромен, и слишком изменчив. Когда пишешь о Толстом, надо забыть последние следы претензий. Несколько случайных, отрывочных замечаний, — больше ничего.

Иностранец издатель мне пишет: „Слава Толстого, как констатировано, теперь не в высшей своей точке...“ Я этого не знал: вот, ведь, „констатировано“. Издателям, конечно, виднее. Впрочем, повышение и понижение великих писателей на распродажной бирже — довольно обычное, естественное явление. В общем, Толстому жаловаться не приходится. Шопенгауэр говорил: „Мои книги могут подождать, — им предстоит долгая жизнь“. Литературная карьера Толстого была очень счастливой: мировым шедевром начал, мировым шедевром кончил. „Детство“ было сразу „замечено“. Казалось бы, не заметить было довольно трудно. Однако известное письмо Некрасова до сих пор совершенно серьезно приводят в доказательство его критической пронизательности. А Некрасов писал: „*Не могу сказать решительно*, по мне кажется, что в авторе есть талант“; давал полезные советы: „побольше живости и движения“.

Потом пришла мировая слава. Правда, как она пришла? „Война и мир“ вначале не имела в Европе никакого успеха. Тургенев еще в 1880 году говорил: „Из французских писателей и публицистов ни один с достаточным вниманием не прочитал, да и не прочтет это превосходное сочинение“. Флобер отозвался восторженно (его отзыв тысячу раз цитировали), но

и он сознался Тургеневу, что третьего тома не дочитал, из-за „философии“. Мировую славу Толстой приобрел с тех пор, как стал тачать сапоги. Понадобились еще франко-русский союз, прибытие русской эскадры в Тулон, экстренные поиски „славянской мистики“ во Франции, жепитьба виконта де Вогюэ на Анпенковой... Зато с парижским признанием пришло и доказательство славы, — доказательство чисто анекдотическое: Дерулед прискакал в Ясную Поляну, чтобы заинтересовать Толстого идеей войны с Германией...

Время сделало свое дело. Слава стала постоянной и вечной, независимой от биржевых расценок. Конечно, о Толстом теперь меньше пишут, чем об Эрнсте Толлере или о Пиранделло, — но на то у Толлеров „новое слово“. Ничего, издатели могут констатировать. „La postérité ne pourra rien contre moi, on mordra sur du granit“*, — хладнокровно говорил Наполеон на острове Св. Елены.

Это относится, разумеется, лишь к художественному творчеству Толстого. Скажем правду: мимо его морально-философских взглядов человечество прошло совершенно равнодушно. Именно равнодушно: без ненависти, без раздражения, будто вообще не заметив. В десятилетие, следовавшее за его кончиной, жизнь как нарочно разыграла такой Гран-гибель, подобного которому не было с сотворения мира. Как бы ответом на тридцать лет яснополянской проповеди оказались небывалая война, несколько революций, Чрезвычайная комиссия.

Впрочем, Толстой на нас, кажется, больших надежд и не возлагал. Он говорил (Виноградову): „Лет через 500 те верования, из-за которых духоборы должны были выслиться в Америку, будут господствующими у большинства христианских народов“. *Лет через 500!* И то лишь господствующими, и даже не у всех народов, а у большинства христианских.

Он порою пугал человечество бедствиями, которые должны его постигнуть, если оно не „одумается“. Часто цитируют злое и меткое слово Толстого о Леониде Андрееве: „Он пугает, а мне не страшно“. В

* „Потомство против меня бессильно, оно ломает зубы о гранит“ (Фр.).

действительности Лев Николаевич выразился забавно: „По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинцбурга, как картавый мальчик рассказывает другому: „я шой гуйять и вдъюю вижю, бежит войк... испугайся?.. испугайся?..“ Так и Андреев все спрашивает меня: „испугайся“? А я нисколько не испугался“. Что ж, сам Толстой как бы спрашивал человечество: „Одумалось?“ Человечество могло бы совершенно искренно ответить: „Нет, не одумалось“. Но оно вообще не отвечало.

„Люди дела“ — самые разные — слышать о его философии никогда не хотели. Граф Витте называл ее „ребяческой“. Клемансо высказывал сомнение в душевном здоровье Толстого. Ленин посвятил ему несколько бездарных и бесстыдных страниц, в которых обличал „проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религия, стремление поставить на место попов на казенной должности попов по нравственному убеждению, то есть культивирование самой утопической и потому особенно омерзительной поповщины“ и т. д.

Результаты — пусть временные (да еще временные ли?) — достаточно известны. Комсомольцев в России, и во всем мире, неизмеримо больше, чем толстовцев.

В европейской умственной аристократии понимают его немногие. Понимает Андре Моруа, с нежностью беспрестанно его цитирующий. Понимает Томас Манн. Леон Блюм пишет в своей книге „En lisant*“: „Толстой со всей высоты гения господствует над мировой литературой. „Война и мир“ — самый прекрасный из всех существующих романов, еще более прекрасный, чем „L'Education Sentimentale““, — для меня этим все сказано...“ Можно назвать еще несколько имен.

Но Голсуорси, Арнолд Беннетт предпочитают Толстому Тургеневу; Жид, Мориак и многие другие — Достоевского... Один „аристократ ума“ предпочитает ему даже Максима Горького. Бумага вытерпела.

* „О книгах“ (Фр.).

*Пер. см. на стр. 314.

Ушло ли вперед искусство со времени его смерти? Если б это было так, то хоть некоторые страницы Толстого казались бы нам устаревшими, старомодными. Я ни одной такой страницы не знаю. Он, быть может, сдипствованный совершенно не стареющий писатель. Некоторые произведения Тургенева — „Дым“, например, — теперь тяжело читать, почти так, как тяжело читать Карамзина. Вот разве не стареет еще проза Лермонтова (в отличие от его стихов).

В „Войне и мире“, как указал, кажется, Томас Манн, искусство достигло предела: дальше как будто идти некуда. По-видимому, чувствовал это и сам Толстой. В последние годы жизни он пытался перейти к „примитиву“, очень серьезно подумывал о кинематографе. Фильмов его мы не знаем, но чисто литературные примитивы Толстого не заставят забыть „Войну и мир“. Самый выхокий образец искусства он видел в истории Иосифа Прекрасного. Спора нет, встреча Иосифа с братьями недосыгаемый шедевр примитива. Однако сцену встречи в Мытищах этот шедевр не заменит.

Нет, в направлении примитива искусство пойти не может: здесь тупик или, еще хуже, пустота. Лучшее из того, что было создано в последнее время, идет к дальнейшему *усложнению*. Марсель Пруст вышел из Толстого, — стоит прочесть сцену прощания Сваиа с герцогом и герцогиней Германт. Оттуда же и „La Mort de quelqu'un“*, и „Der Zauberberg“[#], и „An American Tragedy“[^], и даже многое в „Dedalus“^{^^}.

Не превзойден он, конечно, и в качестве исторического романиста. Говорят, что новейшие исследования сильно поколебали исторический остов „Войны и мира“. Дело, вероятно, не в *новейших* исследованиях. Как историческому романисту, Толстому можно поставить в упрек лишь некоторый недостаток беспристрастия. У него были любимцы, были

* „Чья-то смерть“ (фр.) — роман Ж. Ромсана. — Прим. ред.

[#] „Волшебная гора“ (нем.) — роман Т. Манна. — Прим. ред.

[^] „Американская трагедия“ (англ.) — роман Т. Драйзера. — Прим. ред.

^{^^} „Стивен Дедалус — главный герой романа Д. Джойса „Портрет художника в юности“. — Прим. ред.

и непреодолимые антипатии. Если б Толстой на основании материалов, которые не могли не быть ему известны, *пожелал* подойти к Кутузову так, как он подошел к Наполеону, то, по сравнению, любимцем скорее оказался бы Наполеон.

Главной антипатией Толстого была, конечно, императрица Екатерина II. Отзывы его о ней оставляют за собой даже известную заметку Пушкина, тоже необычайно резкую. О Екатерине Толстой вообще не мог говорить спокойно — ни в художественных своих произведениях, ни в публицистике, ни в частных беседах, — не мог даже говорить „прилично“, без самых грубых и оскорбительных выражений. Портрет императрицы в „Федоре Кузьмиче“ по своему отталкивающему характеру ни с чем не сравним в художественной литературе. Некоторые черты этого портрета меня поражали — я не мог понять, откуда Толстой их взял: в огромной литературе о Екатерине II, даже в литературе пагло-памфлетной, этих подробностей нет; а выдумать их, конечно, не позволила бы Толстому совесть исторического романиста. Я предполагал, что черты эти могли быть известны Льву Николаевичу от людей, лично знавших Екатерину: в молодости он таких людей встречал. Недавно в воспоминаниях о Толстом одного из его друзей я нашел решение загадки. Оказывается, источником послужили здесь рукописи Публичной библиотеки:

„Однажды Стасов прислал Л. Н-чу копию с письма одного из многочисленных случайных фаворитов Екатерины II с цинически откровенными, ужасными подробностями о Екатерине. Л. Н. показал мне это письмо и одной подробностью из него воспользовался в своем неоконченном наброске повести о „Федоре Кузьмиче“.

Надо прочесть дневники его молодости — и тотчас за ними те, которые он писал стариком. Скажу прямо: первые интереснее вторых. Толстой вообще не был мастером дневника (есть ведь и такие). Однако записи его юных лет местами прелестны. Он себя спрашивает: „Есть ли у меня талант в сравнении с новыми русскими литераторами?“ И отвечает: „Положительно нету“. Жалуеться, что у него „нет ничего великого ни в слове, ни в чувствах...“ Записывает:

„После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько — выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете“. Обвиняет себя во всех человеческих грехах — и вдруг утешается: „Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, если б она мне не мешала“. Сочиняет самые неожиданные планы: „Попасть в круг игроков и при деньгах — играть...“ „Попасть в высокие свет и при известных условиях жениться...“ „Мечтал целое утро о покорении Кавказа...“ „В романе своем я изложу зло правления Русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного соединения с монархическим правлением, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю Тебя, Господи, дай мне силы...“ „Составить истинную правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь...“

В дневниках его последних лет есть удивительные страницы. Но в них толстовец все же слишком часто вытесняет Толстого. Кое-что в этих дневниках мог бы написать и Чертков.

„Л. Н. обратил внимание на то, как красиво освещали дорогу солнечные лучи сквозь ветви деревьев“. Он припомнил, что у Тургенева в романе „Новь“ прекрасно описано, как Сипягин встретил Марианну с Неждановым, освещенных такими лучами. Он меня спросил, не помню ли я это место. Я не помнил и сказал ему:

— Как это, Л. Н., вы помните?

Л. Н. рассмеялся и сказал:

— Ведь вы же помните в своей музыке, а паш брат в своем деле помнит“.

Так рассказывает Гольденвейзер. „Свое дело“, несмотря на все отречения и проклятия, Толстой страстно любил до последних дней жизни — до последних дней в самом буквальном смысле. Накануне своего ухода из Ясной Поляны он записал в дневнике:

„Видел сон, Грушенька, роман будто бы Н. Н. Страхова. Чудный сюжет“.

Он говорил Сулержицкому:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это пехорошо, потому что самонадеянно, а Горький читает много, это тоже пехорошо, — это от недоверия к себе...

Сулержицкий, преданный ученик, вероятно, недоумевал — и не без основания. Сам Толстой читал бесконечно много и, кажется, скорбел, что от этой дурной привычки труднее отстать, чем от карт или от вина:

„Я сам интеллигент и вот уж тридцать лет пенавижу в себе интеллигента“.

Но он не только читал, он также писал, — что было, разумеется, еще прискорбнее:

„Я много пишу, и это пехорошо, потому что от старческого самолюбия, от желания, чтоб все думали по-моему“.

Как быть с его бесчисленными противоречиями. Он сам прекрасно знал их за собою. Он чувствовал и то, что противоречия эти не „от ума“, что идут они к его душе, — „детски ясной душе Толстого“, как писал один мудрый его последователь...

В дневнике Гольденвейзера читаю:

„За чаем Елизавета Валериановна сказала Марии Николаевне, своей матери, чтобы она выпила молока, и та стала пить.“

Лев Николаевич сказал:

— Как это, Машенька, ты пьешь? По мне, если скажут: пей молоко, — захочу хересу, а скажут пить херес, — я молока захочу“.

Менее всего в нем понятна мне его практическая беспомощность. Этот человек, столь бесконечно умный, так необыкновенно знавший жизнь, так изумительно понимавший людей, часто совершал поступки, полная нецелесообразность которых была бы очевидна гимназисту. Он предлагал людям сделать то, чего они явно сделать не могли, и вдобавок предлагал в такой форме, какая прежде всего должна была вызвать у этих людей нежелание слушать его советы. В своем письме к царю он советовал Николаю II порвать с православием, с самодержавием и с частной собственностью на землю, — причем сообщал, что „во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения пра-

вительства, но *самого царя* и даже бранить и *смеяться над ним*". Предлагал Столыпину осуществить в России аграрные проекты Генри Джорджа!.. Толстой был вполне способен обратиться с проектом анархического устройства общества в Совет объединенного дворянства.

Так же беспомощен он был, по-видимому, и в своей семейной жизни. Свою драму он в значительной мере создал сам. Трогательно его отношение к жене, проникнутое духом кротости, любви, смирения. Но вдруг и здесь — как часто в других делах и мыслях Толстого, — неожиданно проскальзывает нечто совсем иное, нечто страшное, почти жестокое. Уйдя из Ясной Поляны, он пишет Александре Львовне о ее матери: *"Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мне с этим подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мною, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и пужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не приятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо"*.

При их жизни в стеклянном доме, он никак не мог рассчитывать, что его письмо не станет известным миру. Написал ли он сгоряча это ужасное свидетельство о женщине, с которой прожил 48 лет? Или, может быть, прорвался в нем, подтолкнул его руку тот демон, который всю жизнь мучил Толстого?

Национальных антипатий у него не было. В этом он сходится с Пушкиным, с Тургеневым, с Герценом, со всей той частью большой русской литературы, которая о *"всечеловечности"* распространялась неохотно. На старости лет он замечал, что старается особенно мягко и лестно говорить с русскими инородцами и писать о них, чтобы искупить грехи молодости, — впрочем, совершенно незначительные.

"Классовые" симпатии и антипатии у него были. Он кровной любовью любил высшую *"постоящую"* аристократию, к которой принадлежал по рождению

„на все сто процентов“ (мать княгиня Волконская, бабки княгиня Горчакова и княгиня Трубецкая, прабабка княгиня Щетипина и т.д.). Еще больше — и кровной, и рассудочной любовью — он любил мужиков. Не любил Толстой средние классы — среднее дворянство, чиновников, купцов, в особенности купцов либеральных. Нерасположение шестнадцатилетнего Николеньки Иртепева к людям, плохо говорящим по-французски, кажется, осталось у Льва Николаевича до конца его дней.

В „Воскресении“ извозчик-философ говорит Нехлюдову: „Купцы все к рукам прибрали. У них не откупишь, сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил... Дюфар — француз, может, слышали. Он в большом театре на ахтерах парики делает, дело хорошее, ну и нажился. У нашей барышни купил все имение. Теперь он нами владеет... Как хочет, так и ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него, из русских, такая-то собака, что не приведи Бог. Грабит народ. Беда...“

Разумеется, в том, что человек, нажившийся на актерских париках, мог прибрать к рукам мужиков, для Толстого, „как солнце в малой капле воды“, отражалось все приводившее его в ярость в пору „Воскресения“. Но и здесь Лев Николаевич немедленно постарался „перенести ударение с национального на социальное“: француз Дюфар, спасибо, хороший человек, настоящая собака жена его — „из русских“. Это заботливое упоминание, вероятно, тоже должно отнести к „вытравлению в себе патриотического предрассудка“.

Наконец, были у него антипатии профессиональные. Общеизвестна и понятна его нелюбовь к „судейским“. Меньше понятно то, что из судейских он особенно ненавидел адвокатов. Адвокаты Толстого всегда хуже, чем судьи, хуже даже, чем прокуроры, — казалось бы, почему? Министр Карепин, тоже, как известно, далеко не любимчик, много привлекательнее, чем адвокат, к которому он обращается по своему бракоразводному делу. Из четырех сенаторов, рассматривающих кассационную жалобу Масловой, хоть два — Сковородников и Бе (Бог знает что, Ге, Фе, Де, *tout l'alphabet**), — говорит графиня Екатери-

*Весь алфавит (фр.).

на Ивановпа) — более или менее порядочные люди. Порядочный человек и товарищ обер-прокурора Селенин, который помог отправить на каторгу невинную Катюшу Маслову. Он — заблуждающийся. Но знаменитый адвокат Фонарин, — хоть за нехлюдовские деньги, но все же защищающий Катюшу, — просто хам и пошляк.

Был ли он счастлив в последние годы жизни? Хотя бы в последние ее часы, исполнив то, что он считал долгом? (Последние написанные им слова: „И все на благо и другим, и *главное* мне“.) Думаю, что жить ему было тяжело и с каждым годом все тяжелее. Горький приводит его слова: „Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное не имел столько...“ Бесконечно тяжело было ему и умирать. Ведь для него „клеякие листочки“ не были литературным образом, как для Достоевского, который в жизни на эти листочки не обращал ни малейшего внимания. В будущую жизнь он верил плохо. „Как-то спросил себя: верю ли я? Точно ли верю в то, что смысл жизни в исполнении воли Бога, воля же в увеличении любви (согласия) в себе и мире, и что этим увеличением, соединением в одно любимого — я готовлю себе будущую жизнь? *И невольно ответил, что не верю так, в этой определенной форме.* Во что же я верю? — спросил я. И искренно ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом...“

Перед неожиданностью этой замены будущей жизни добротой, перед этим бешеным логическим скачком, невольно теряешься. Он говорил еще и не то. Он себя спрашивал, пельзя ли вообще обойтись без Бога, хотя бы в целях единения „с безбожниками и агностиками“. Правда, от этой мысли он отказался. Но почему? От нее, по словам Льва Николаевича, ему стало слишком тяжело. Да ведь, может быть, пелегко и безбожникам и агностикам?

За несколько дней до своей копчины он записал ночью в дневнике: „Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших“. Очевидно, он имел в виду Яспую Поляну. Но понимать можно и шире.

О Чехове

Эта небольшая статья, разумеется, никак не биографический очерк. На разных языках существует много биографий Чехова; первая появилась в России уже сорок лет тому назад. Мемуарная литература о нем огромна. Еще больше литература критическая. Относительно его громадного художественного таланта все давно сошлись. Лично автор этих строк без колебаний отводит ему четвертое по рангу место в русской прозе (как ни условно и ни бесполезна в искусстве табель о рангах); Пушкин и Лермонтов как великие *поэты* по преимуществу в этот счет не входят, сколь ни совершенны и ни удивительны их прозаические произведения; по среди прозаиков Чехов, по-моему, идет непосредственно за Толстым, Гоголем и Достоевским, впереди даже Тургенева и Гончарова.

И в рассказах, и в театре он создал свой жанр, свой ритм, свою фразу. Часто говорили о влиянии на него Мопассана, по это мнение чрезвычайно преувеличено, если и вообще верно. Часто говорили также, будто в его произведениях „ничего не происходит“. Не так давно такой взгляд высказал и Сомерсет Моэм в своих в большинстве очень тонких и ценных заметках о Чехове, оставшихся неизвестными русским читателям, — критика на них не ссылалась. Знаменитый английский писатель, сам великий мастер short story*, ссылается на слова самого Чехова: „Why write about a man getting into a submarine and going to the North Pole to reconcile himself to the world; while his beloved at that moment throws herself with a hysterical shriek from the belfry? All this is untrue and does not

*Короткий рассказ (англ.).

happen in real life. One must write about simple things: how Peter Semionovitch married Maria Ivanovna. That is all“*. Сомерсет Моэм прибавляет: „I have little doubt that Chekhov would have written stories with an ingenious original and string plot if he had been able to. It was not in his temperament. Like all good writers he made a merit of his limitation“#. Однако верен ли фактически в отношении Чехова самый упрек? Уж будто так мало plot^а в его рассказах и театральных пьесах? Так мало, в частности, по сравнению со многими писателями, которым такого упрека никогда не делают? Напомню, что в одной чеховской пьесе „Три сестры“ есть пожар, дуэль с убийством — чего еще можно было требовать в смысле plot! Лишь немногие современные драматурги, в частности британские, решились бы ввести в пьесу такие происшествия, встречающиеся в жизни все же не так часто, хотя, естественно, чаще, чем поездка на подводной лодке на Северный полюс.

Литературная судьба Чехова была необычна. Он был внуком крепостного мужика, родился в бедности, в глухой провинции, в семье совершенно необразованной, отец его был грубый человек, воспитывал его сурово, часто бил. Работал Чехов в эпоху, когда в России была предварительная цензура, — он от нее терпел, хотя и гораздо меньше, чем другие русские (и не только русские) писатели, его современники и особенно предшественники. Все это могло считаться предзнаменованием для очень трудной, медленной и печальной литературной карьеры. Добавлю, что литературная критика в старой России была обычно не слишком благожелательной, во всяком случае менее благожелательной, чем критика во Франции или в Соединенных Штатах. Кстати сказать, Сомерсет

* „Зачем это писать, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все“ (англ.). — (А.И.Куприн. Памяти Чехова. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952, стр. 423.)

„Можно ли сомневаться, что Чехов писал бы рассказы с изобретательным, оригинальным, напряженным сюжетом, если бы он умел. Дело не в темпераменте. Как все хорошие писатели, он знал пределы своих возможностей“ (англ.).

^аСюжет (англ.).

Мозм, кажется, не без удовольствия цитирует слова самого Чехова: „Critics are like horse-flies which prevent the horse from ploughing. For own twenty years I have read criticisms of my storicis, and I do not remember a single remark of any value or one word of valuable advice. Only once Skabichevsky wrote something which made an impression on me. He said I would die in a ditch, drunk“*. Письма Чехова обычно шуточные по тону, его шутовство, скажем правду, иногда утомительно и не всегда так забавно, как в настоящем случае. На приведенные выше слова надо сделать поправку. Он иногда считался с критикой и, быть может, даже изредка немного повиновался ее указаниям (о чем можно порой и пожалеть). Но во всяком случае, несмотря на те „предзнаменования“, его литературная карьера была исключительной по блеску и скорости успеха. С молодых лет перед ним открываются самые видные журналы Петербурга и Москвы. Ему еще не было двадцати восьми лет, когда его первая пьеса „Иванов“ была принята и с успехом поставлена в петербургском Александринском театре, одном из двух первых по рангу русских театров. Тогда же он получает очень высоко ценящуюся академическую Пушкинскую премию. Старый писатель, второстепенный классик, Григорович приветствует его восторженным письмом. Несколько позднее он становится членом Императорской академии. Литературный заработок (никаких других средств у него не было) скоро дает ему возможность очень недурно жить, содержать родителей, ездить в Европу, совершить путешествие в Азию, купить имение, долго жить в Ницце. Затем издатель Маркс приобретает собрание его сочинений и платит ему чистых семьдесят пять тысяч рублей, то есть тридцать семь тысяч *золотых* долларов; если принять во внимание необыкновенную дешевизну жизни в России того времени, то это составляет примерно сто тысяч пышных долларов или даже больше. Если и не в Соединенных

* „Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю... Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором“ (англ.). — М. Горький, А. П. Чехов. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952, стр. 395.

Штатах, то в континентальной Европе тогда почти не было — да и теперь почти нет — писателей, которые проделали бы столь успешную карьеру. Какой, например, французский писатель мог бы попасть столь молодым человеком в Comédie Française, так рано стать членом Académie Française, продать собрание свои сочинений на условиях, хотя бы отдаленно напоминающих эти?

За границей Чехов при жизни был мало известен. Помню, я мальчиком, находясь с родными за границей, узнал о кончине Чехова из немецкой газеты: „В Баденвейлере от чахотки скончался русский писатель Антон Чехов...“. Заметка была маленькая, в пять-шесть строк, и вполне равнодушная. При жизни он и переводился мало. Как-то в письме он отмечает, очевидно, как „событие“, что один его рассказ переведен на датский язык, и забавно добавляет: „Теперь я спокоен за Данию“. Трудно сказать, когда именно началась настоящая мировая слава Чехова. В России высказывалось мнение, что его в Англии оценили в начале первой войны, когда будто бы из симпатии к могущественному союзнику „открыли русскую душу“! Это неверно. Уже в 1909 году Арнолд Беннетт в своем „Journal“* пишет о нем (запись от 26 февраля), явно как об очень известном писателе: „More and more struck by Chekhov and more and more inclined to write a lot of very short stories in the same technique“#. Позднее у Беннетта Чехов становится настоящим очарованием: в январе 1921 года, переехав на другую квартиру, он пишет: „I bought another complete Chekhov for this flat yesterday. Couldn't do without it any longer“^Δ.

Затем Чехов признается в Англии — разумеется, преимущественно элитой — мировым классическим писателем. „No one's stock to day stands higher with the best critics than Chekhov's, — говорит Сомерсет Моэм в предисловии к „Altogether“. — In fact he has put every other story-tellers rose out of joint. To admire him

* „Дневник“ (англ.).

„Все больше и больше нахожусь под влиянием Чехова и больше и больше склоняюсь к мысли писать очень короткие рассказы в той же манере“ (англ.).

^Δ „Вчера купил еще одно полное издание Чехова для этой квартиры. Не мог бы обойтись без него дольше“ (англ.).

is a proof of good taste; not to like him is to declare yourself a philistine“*.

Подлинные знатоки литературы, как Моэм или Беннетт, оценили в нем *лучшее*. Что оценила большая публика, не берусь сказать. Наибольший успех имеют на Западе его театральные пьесы, хотя они хуже его рассказов, а из пьес — самая слабая „Чайка“, которая, по-моему, и в сравнение не идет с „Дядей Ваней“. Скажу больше: в настоящее время в Париже с успехом ставили в театре совершенно ничтожное, пустяковое произведение Чехова „О вреде табаку“, которое, конечно, он сам ни в грош не ставил. При всей своей необыкновенной для писателя скромности Чехов не мог не знать себе цены. Тем не менее своей мировой славы он никак не ожидал и был бы, наверно, очень удивлен ею.

Такие же истинные его шедевры, как „Палата № 6“, „Скучная история“, „Архиерей“, „Степь“, „Душечка“ (этим последним рассказом очень восхищался Лев Толстой), на Западе едва ли могли создать ему особенную популярность. Как Мольер, как Сервантес, как Толстой, Чехов одновременно писатель и для элиты, и для большой публики — это высшая заслуга. Но для большой *западной* публики не могут не быть несколько чужды и дух, и быт этих рассказов. Сомерсет Моэм — это уж элита из элит, и я все-таки удивляюсь, что он сразу безошибочно признал рассказ „Архиерей“ „one of the most beautiful and touching of his stories“*.

Нет двух мнений и относительно красоты его морального облика. Достаточно известно, каковы обычные или по крайней мере частые взаимоотношения в мире писателей, даже больших. Примеров сколько угодно, незачем о них долго говорить. Напомню только отношения между Тургеневым и Достоевским, который в „Бесах“ в очень прозрачной и совершенно пасквильной форме изобразил Тургенева под именем Кармазинова, или же отношения между Теодором

* „Никого критики не ставят теперь выше Чехова... Они пишут о его превосходстве над всеми другими мастерами новеллы. Восхищаться им — это признак хорошего вкуса, не любить его — значит объявить себя филистером“ (англ.).

* „Один из самых прекрасных и трогательнейших его рассказов“ (англ.).

Драйзером и Синклером Льюисом. Быть может, только в политике и среди актеров отношения между видными людьми еще хуже, чем между писателями. Сам Чехов писал о русских критиках и публицистах: „Обвинения в невеняемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей“. Конечно, он мог бы сказать приблизительно то же самое о писателях-беллетристах. Он необыкновенно выгодно выделялся на этом фоне: был и в жизни, и в литературе именно a perfect gentleman*. И мало кого собратья да и все вообще знавшие его люди любили и почитали больше, чем его. После его смерти это превратилось в общенациональную любовь к нему как к писателю и как к человеку.

При этом особенность, имеющая немалое психологическое значение: особой любви к людям у него не было. Он мало кого любил, да и, когда любил, то без горячности. Любовь у него тоже была в высшей степени „джентльменская“. Русские письма часто заканчивались словами: „готовый к услугам“ — такой-то. У Чехова эта „готовность к услугам“ была гораздо больше, чем условной формой вежливости; она была одной из определяющих черт его характера. Он оказывал услуги всем, кому мог; чаще всего — писателям, так как жил преимущественно в их кругу, и, вероятно, только по этой причине: любил их никак не больше, чем других людей, скорее даже меньше. Начинающим авторам давал советы, внимательно читал их рукописи, тратил на это много времени. Нередко, быть может, надеялся на то, что из этих дебютантов выйдут талантливые беллетристы, но так же относился и к писателям, заведомо безнадёжным в литературном отношении. Да и только ли это! Помимо всего прочего, он еще был „хорошим товарищем“ — почти в школьном смысле этих слов. В 1902 году он сложил с себя звание академика потому, что академиком не был утвержден Максим Горький. Теперь для сколько-нибудь компетентного человека не может быть никакого сравнения между огромным художественным талантом Чехова и скромным, порой вульгарным, литературным даром Горького.

*Совершеннейший джентльмен (англ.).

Но в ту пору Горький был главным его соперником по успеху, по славе, по заработку (Лев Толстой, конечно, в общий счет не шел: с ним никто и не смел себя сравнивать). Как Чехов в душе относился к Горькому, трудно сказать: письма его и разговоры в этом отношении разноречивы; и, главное, в то время Чехов уже не мог не понимать, что его письма неизбежно становятся известными, а впоследствии будут и напечатаны; он всей правды часто не говорил. Иван Бунин, наш единственный нобелевский лауреат, друг и любимец Чехова, говорил мне, что Чехов Горького совершенно не выносил. Некоторые письма этому противоречат, но думаю, что в общем Бунин был близок к истине. Как бы то ни было, для принятого им в 1902 году решения было совершенно достаточно того, что Горький был писатель, „товарищ“ и что в академическое дело тогда была замешана политика.

Никто из его критиков и биографов (даже твердокаменные большевики) не утверждал, будто Чехов „призывал к революции“: это было бы уж слишком глупо. Чехов умер в 1904 году, сорока четырех лет от роду. Если бы не чахотка, он мог бы дожить до советской революции. Тогда, по всей вероятности, оказался бы в эмиграции и писал бы в наших зарубежных изданиях. Если б уехать за границу ему не удалось, то, думаю, не писал бы ничего: при его общих взглядах, при его глубокой порядочности, при его любви к свободе, в особенности к свободе духовной, при его необычайной художественной правдивости он просто не мог бы, физически не мог бы писать того и так, как пишут Фадеевы и Эренбурги. Должно быть, занимался бы медициной — и для хлеба, и потому, что медицину любил. Но это все-таки гадание на кофейной гуще. Мы можем с уверенностью говорить лишь о том, что он писал на самом деле. На „призыв к революции“ во всех его произведениях, во всех его письмах нет ни малейшего намека, как нет ничего похожего и у всех почти других русских классиков. Все они, за частичным исключением Льва Толстого (у которого „революция“ была очень персональная, духовная и совершенно не похожая на конкретную, большевистскую), были в политике людьми умеренными, либеральными или консервативными.

ми: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Грибоедов, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Бу-нин.

Конечно, он хотел, чтобы Россия стала свободной страной. Помню, до революции известный московский артист, светоч Художественного театра, толковал мне значение общеизвестных мечтательных фраз из чеховских пьес, даже таких, как „через двести-триста лет“ или „небо в алмазах“: он „жаждал конституции“. Так же почти вся русская критика в былые времена толковала и другой знаменитый, сто раз цитировавшийся отрывок из „Скучной истории“: „Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека... А коли нет этого, то, значит, пет и ничего“. Не может быть сомнения в том, что Чехов хотел политической свободы, отмены цензуры, всего того, что подразумевает конституци-онный образ правления. Вероятно, и сожалел, что у него, как и у профессора Николая Степановича из этого его рассказа, нет „цельного мировоззрения“. Тем не менее в таких толкованиях была и некоторая доля паивности: точно если б в России в чеховское время была конституция, если б у профессора была „общая идея“ (его можно себе представить в немного более позднюю пору членом конституционно-демо-кратической или октябристской партии), то не было бы всего того, что составляет сущность „Скучной истории“! Вот ведь у большевиков есть „общая идея“!

Часто говорилось и говорится, что Чехов „обли-чал язвы старого строя“. Действительно, если не „об-личал“ (уж очень неподходящее для него слово), то писал о них очень много, для этого и на Сахалин ездил. Добавляю, что и такой тонкий критик, как Арполд Бенпетт именно так понимал „Палату № 6“. Он справедливо считал этот рассказ одним из самых необыкновенных и страшных, когда-либо кем-либо написанных. В нем, как помнят читатели, изображен дом умалишенных в глухой провинции; в этот дом попомногу засасывается заведовавший им врач, ко-торый в него в конце и попадает уже как пациент. „It

is a most terrible story, and one of the most violent instances of Chekhov's preoccupation with Russian slackness, inefficiency and corruption"* (запись от 27 апреля 1921 года). В самом деле таких сумасшедших домов, как списанный Чеховым, наверное, нет ни в Соединенных Штатах, ни в Англии. Не знаю, были ли они там шестьдесят лет тому назад (Беннетт ведь писал не в чеховское время), но ведь все-таки и здесь дело не только в этом: случай чеховского доктора едва ли можно свести только к условиям социального быта России девяностых годов и уж никак нельзя свести к особенностям русского национального характера, особенно весьма сомнительным. Да и в старой России к тому же не каждый день врачи попадали в их собственные дома умалишенных — это именно было „подводной лодкой к Северному полюсу“.

И „конституция“, и „обличения“ могли соприкасаться с главным кругом мыслей Чехова, но они не входили в этот главный круг. И чрезвычайно трудно определить, каков этот круг был на самом деле. Некоторые писатели, как отец Сергей Булгаков, как совсем недавно Б.К.Зайцев, признавали Чехова религиозной натурой. Другие, как Евгений Замятин, держались прямо противоположного мнения. Не раз высказывалось мнение, что Чехов имел или нашел „веру в человека“. Он сам писал: „Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчев. Нет, вы в человека уверуйте“. И еще: „Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода“. Понять это нелегко. Что такое, например, „абсолютнейшая свобода“? Почему „человеческое тело“ не просто факт, — при здоровье, при отсутствии уродства очень хорошая вещь, — а „святая святых“?

К философским идеям у него было разве лишь немногим больше интереса, чем к идеям политическим. Ум, талант, вдохновение — были, помимо своего необыкновенного таланта, он был столь же необыкновенно умен. Имел и немалую общую культуру,

* „Это чрезвычайно страшный рассказ, один из самых сильных у Чехова о русской бесхарактерности, неумении честно выполнять свой долг и продажности“ (англ.).

всегда много читал. Но такого влечения, такого интереса к человеческой мысли, как Пушкин, Тургенев, Толстой, принадлежавшие к самым многосторонне образованным людям мира, Чехов не имел. Говорил о том, что называется „концепциями“, неохотно. Можно было бы привести немало отдельных цитат из него в доказательство и того, что он был религиозной натурой, и того, что религиозное пачало было ему чуждо, и того, что вместо идей у него были только настроения. Автор этих строк склонялся бы к последнему взгляду, но без уверенности и с оговорками, которые вообще необходимы в суждениях о мыслях и чувствах Чехова.

Нельзя, конечно, делать писателя ответственным за слова его действующих лиц. Но этим критики часто пользуются, и в некоторых случаях законно. Евгений Замятин пользовался цитатой из чеховского „Дома с мезонином“: „Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно... Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починают дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти“.

Если подойти к этим словам, как к идейному построению, то мы с огорчением должны были бы признать, что они и не очень оригинальны — тут и толстовство, и некоторые элементарные положения социалистов — и, главное, не очень убедительны: как это „сообща, миром“ искать правды и смысла жизни? почему (даже и еще с „я уверен в этом“) правда была бы в этом случае открыта очень скоро? почему, наконец, она освободила бы людей от страха смерти и даже от самой смерти? Чехов „сообща, миром“ не делал почти ничего. В его время были философские общества, и, конечно, они приняли бы его,

как желанного, дорогого гостя. Но если трудно представить себе Чехова членом политической партии или Государственной думы, то вообразить себе его на трибуне с философской беседой по образцу Владимира Соловьева или Д.С.Мережковского уж совсем невозможно. Когда Мережковский пытался разговаривать с ним на высокие темы, Чехов насмешливо предлагал выпить водки. Если он „искал“, то искал один. В своей записной книжке он пишет: „Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноким“. Нашел же он, во всяком случае, немного.

Советский критик К. Чуковский выпустил книгу: „Чехов и его мастерство“. Я этой книги не видел, читал только одну главу, перепечатанную в нью-йоркской газете „Новое русское слово“ (15 августа 1954 года). В этой главе он удачно подобрал факты, свидетельствующие о „великом жизнелюбии“ Чехова. „Работать с людьми и скитаться с людьми, но больше всего он любил веселиться с людьми. Этого молодого, бессмертно веселого хохота юному Чехову было отпущено столько, что чуть только у него среди его тяжелых трудов выдавался хотя бы час передышки, веселье так и било из него, и невозможно было не хохотать с ним. Сунуть московскому городо-вому в руки тяжелый арбуз, обмотанный толстой бумагой, и сказать ему с деловито-озабоченным видом: „Бомба!.. Неси в участок, да смотри: осторожнее“ — или уверить паивную до святости молодую писательницу, что его голуби с перьями кофейного цвета происходят от помеси голубя с кошкой, живущей на том же дворе, так как шерсть у этой кошки точно такой же раскраски, — к этому его тянуло всегда“.

В Чехове, особенно в юности, было и это. Тут биографии даже не нужно. Достаточно прочесть такой его рассказ, как „Сирена“, в котором секретарь мирового съезда Жилин сводит с ума своих сослуживцев — а заодно и читателей — описанием разных блюд. От этого рассказа веет такой радостью жизни, радостью от простых, обыкновенных, доступных земных благ, что может спешно, все позабыв, побежать обедать и больной человек, — как и бежит в рассказе больной катаром желудка товарищ прокурора. „Палата № 6“, „a most terrible thing“, чрезвычай-

но странный рассказ — шедевр, но и „Сирена“, конечно, на совершенно другом уровне — тоже шедевр. Все же читатель, особенно иностранный, знающий из Чехова только его знаменитые, главные, рассказы и его театральные пьесы, верно, был бы изумлен, прочитав эту главу Чуковского: он *такого* Чехова, верно, и не представлял себе. Вот ведь и сам Сомерсет Моэм пишет: „For Chekhov life is like a game of billiards in which you never pot the red, bring off a losing hazard or make a cannon, and should you by a miraculous chance get a fluke you will almost certainly cut the cloth. He sights badly because the futile do not succeed, the idles do not work, liars do not speak the truth and drunkards are not sober“*. Он в блестящей форме противопоставляет его Мопассану, который „was obsessed by the tiresome notion common then to his countrymen that it was a duty a man owed himself to hop into bed with every woman under forty that he met“#.

Да, „идейных построений“, „дельного мировоззрения“ у Чехова не было. Он и относился к ним равнодушно. „К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не более полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность“ („Скучная история“). Несмотря на это придаточное предложение с „хотя“, не только относился к ним равнодушно, но как будто даже с насмешкой и свысока, — почти как к людям, о них пишушим. Тот же профессор Николай Степанович говорит: „Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к

* „Для Чехова жизнь подобна такой партии в бильярд, в которой никогда не удается положить в лузу красный шар, спастись от проигрыша или сделать карамболь, и, представься вам фантастический случай вплотную подойти к победе, вы почти наверняка порвете сукно на столе. Он настроен на худшее, поскольку пустые люди не преуспевают, праздные не трудятся, лжецы не говорят правду и пьяницы не бросают пить“ (англ.).

„Нудно повторял вслед за своими соотечественниками, что долг мужчины тащить в постель каждую женщину моложе сорока, которую он встретит“ (англ.).

швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно...". Фраза остроумная. Однако не одни же все-таки дураки писали в России о „социологии, искусстве и проч.“ и не все же переливали из пустого в порожнее?

„Настроения“ же у него были, и самые разные, и очень часто они менялись. Жизнелюбия у него все убавлялось, вероятно, в связи с развитием чахотки. Уже лет за двенадцать до своей кончины он писал: „Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто падоело“.

Луначарский

И пострадный гость, поставивший себе задачей чутко и любовно отметить „все, что есть здорового в большевистском строе“, недавно назвал Луначарского утонченным тепличным растением, впитавшим в себя лучшие соки и западной, и советской культуры. Вежливый гость этот вскользь указывал, что политический авторитет народного комиссара по делам просвещения не может считаться у большевиков общепризнанным. „Но зато все видят в нем топчайшего знатока искусства и одного из первых драматургов нашего времени“.

Политическая биография г. Луначарского действительно большого интереса не представляет. По-видимому, в последние годы утопченный большевистский эстет совсем отошел от активной политики. Выпустил он, правда, книгу под названием „Революционные силуэты“. Книга эта вся состоит из комплиментов, отличающихся необыкновенной меткостью и психологическим углублением. Приведу, например, почти наудачу две строки из характеристики Троцкого: „О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, совершенный вздор“ (стр. 29). В этюде о Зиновьеве автор „Революционных силуэтов“ не менее пронизательно отметил черты стыдливой *âme slave**, черты, родственные облику Пьера Безухова: „Сам по себе Зиновьев, — пишет г. Луначарский, — человек чрезвычайно гуманный и исключительно добрый, высоко интеллигентный, но он словно немножко стыдится таких свойств“ (стр. 34). Самые же горячие комплименты автор естественно приберег для „чарующей, ни с чем другим несравни-

*Славянская душа (фр.).

мой, подлинно социалистически высокой личности Владимира Ильича“, его „аль-фреско колоссальной фигуре, в моральном аспекте решительно не имеющей себе равных“. Все в Ленине правилось г. Луначарскому: „Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его, действительно, в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть, и сотни, он всегда господствует над своим негодованием, и оно имеет почти шутиливую форму. Этот гром, „как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом“ (стр. 13). Полагаю, что на этом изображении Ленина, который так необыкновенно мило, в почти шутиливой форме, резвяся и играя, умел губить десятки и сотни людей, можно оставить политическую характеристику г. Луначарского. Да в ней собственно и надобности нет: ведь главная прелесть тепличного растения, как сказано, заключается в его драматическом творчестве.

В бытовой, революционной пьесе г. Луначарского „Канцлер и слесарь“ одним из действующих лиц является граф Лео Дорнбах фон Турау, „блестящий кавалерийский офицер“, о котором автор кратко сообщает: „В его лице и движениях есть какая-то гармония, превышающая ладность чисто военной выправки“. Граф Лео страстно влюблен в графиню Лару. Они встречаются в военное время, на балу в доме канцлера Нордландии. На этом великосветском балу высшее нордландское общество предается веселью, не думая о войне, о страданиях бедняков и о надвигающейся (в последней картине пьесы) коммунистической революции. Все гости очень несимпатичны. Особенно несимпатичен граф Леопольд фон Гаторн, человек, исполненный аристократических предрассудков. Он так прямо о себе и говорит: „Я должен чувствовать голубую кровь... Малеры... Малейшая вульгарность — очарование исчезло“. На это другой гость канцлера, пекий Кеппец, ехидно инсинуирует: „Ну, графиня Митси, твоя очаровательная супруга, хотя и аристократка, даже не с голубой, а с индиговой кровью, держится как свержкокотка“. Граф Леопольд, однако, парирует памек: „Ах, у тебя нет чутья, — говорит он Кеппену. — Когда женщина, понимаешь, умеет носить платье, парижские туалеты, то она может позволить себе хоть перекинуть

шлейф через плечо... Это жанр, который, в единственном экземпляре, столь необходим большому свету столицы". И действительно, графиня Митси, за которой ухаживает „шикарный флигель-адъютант, гремящий саблей и шпорами“, — очень шикарная женщина. „Боже мой, как мне хочется танцевать! — восклицает она на том же балу у канцлера. — Не наши надоевшие танцы, не танго даже, а безумие любви перед глазами смерти. Вот! Чтобы сидела смерть с пустыми глазами, а мне, обнаженной, объяснять бы ей без слов, что такое упоение страсти... Радефи, сыграйте какой-нибудь сверхдемонический вальс“. Радефи играет сверхдемонический вальс. Митси танцует „страстный и несколько разнузданный танец“. Великосветские гости канцлера в полном восторге. Один из них даже хватается графиню Митси в объятия и целует ее с криком: „Как она великолепна!“ Сама графиня Митси тоже очень довольна: „Уверяю вас, — кокетливо говорит она гостям, — я никогда не испытывала столько сладострастия в другие моменты, как в моменты удачного танца“. „О, это заметно, — отвечает граф Лео, — я бы сказал, что в вашем танце вы как-то изумительно приближаете к себе каждого, кто па вас смотрит“. „До вакхической интимности“, — вставляет один офицер. „До своеобразного обладания, — добавляет другой. — У вас есть один или два жеста, которые в этом отношении шедевр“. Графиня Митси тотчас с полной готовностью показывает „один или два жеста“. Все высшее общество аплодирует. Но как раз в эту минуту входит хозяин. „Извиняюсь, господа“, — говорит высшему обществу канцлер. Оказывается, нордландская армия отступила, „оставив на поле битвы 30 тысяч нордландских юношей“.

Это сообщение канцлера зловеще заканчивает цепу великосветского бала. Достаточно очевидно, как несимпатично вели себя в пору войны имущие классы Нордландии. Если на ком отдыхает душа, то разве на графе Лео Дорнбах фон Турау, на лице которого так гармонично отразилась ладность чисто военной выправки. Несмотря на свое аристократическое происхождение (по матери он из знаменитого рода князей Ванольи), граф Лео у г. Луначарского образ отнюдь не отрицательный. И автора, и нас

привлекают в графе свойственные ему бурные страсти. Так, объясняясь в любви графине Ларе, он с мрачным хохотом говорит: „Ха-ха-ха! И вот помчаться в один из близких дней в карьер, в атаку, крикнуть всей грудью: Бог войны, в руки твои предаю дух мой! И вдруг — бац! Страшным ударом быть разбитым... Кануть в вечность... А красивый труп подберут. И будут править тризну... И в стольких женских сердцах останусь я жить молодым богом в таком сиянии, какого нельзя достигнуть при жизни ни в чьем сердце“. „Конечно, смерть — это ужасно интересно, — соглашается графиня Лара. — Я никому не советую жить. Мне 19 лет, но я уже не могу ждать неизведанного. Все слишком прозаично. Хочется другой земли и другого неба“. Граф Лео опять адски хохочет: „Ха-ха-ха! Дай мне поцеловать тебя, только поцеловать тебя, чтобы я сказал себе, что и тебя я целовал, и чтобы ты вспомнила мой поцелуй, когда я умру...“ *(Обнимает и целует Лару.)* „О! какой поцелуй! — стонет графиня Лара. — Так целовал севильский обольститель“. „Это вкус смерти делает мой поцелуй таким пряным“, — разъясняет граф Лео. „Пряный, пряный поцелуй, как далекий остров“, — подтверждает графиня Лара. „Будто?!“ — радостно восклицает граф, видимо пораженный (как и читатели) этим сравнениемпряного поцелуя с далеким островом.

Не буду продолжать цитаты. Картина того, как „любви пылающей граната лопнула в груди Игната“, может считаться выясненной и читатель, вероятно, согласится, что в стихах и прозе Игната Лебядкина, посвященных „ари-сто-кратическому ребенку, совершенству девицы Тушиной“, нет ничего тоньше и изысканней. А еще Достоевского бранили за „шаржировку“!..

Пьесы г. Луначарского редко называются просто пьесами. Обычно они носят названия „мистерий“, „драматических сказок“, „драматических элегий“, „идей в масках“ и т.д. Действие этих шикарных произведений происходит в местах, исполненных крайней поэзии, главным образом в готических замках с самыми шикарными названиями. Так „Василиса Премудрая“ разыгрывается в замке Меродах Раммона, „Медвежья свадьба“ в замке Мединтилтас, „Три

путника и оно“ в замке Шлосс-ам-Флусс. Когда действие происходит не в готических замках, то оно перебрасывается в „платановые сады“, в „высокие скалы с глубокими провалами“, на „высокую черную лодку, которой управляют два ассирийца“, на „курящуюся предутреннюю гору“, на „лестницу о бесчисленных ступенях“, в „Монастырь Святых Терпий на острове Презосе“, в „страну Аэ-Вау, где всегда голубой, даже синий свет“, в „черную бездну о рваных краях“, или просто „в иные пространства, в безбрежность“. Одна идея в маске разыгрывается даже у „Божьего престола“. И действующие лица разных пьес г. Луначарского тоже очень шикарны: барон Иеронимус фон Элленгаузен, граф Эрих Ульм, принцесса Бланка, принцесса Эльза, безымянный „герцог с белокурой бородой“, тоже безымянный „рыцарь хищного вида“, король Дагобер-Крюэль, король Химальмар XXI и т.д. Особенно много у г. Луначарского коронованных особ. В пьесе „Иван в раю“ появляется даже целый „хор царей“: цари жарятся в аду и при этом хором поют: „Прощенья, прощенья! А! а!“ В прочем, г. Луначарский нередко восходит и повыше земных монархов: у него на каждом шагу встречаются существа неземные; ангелам он, можно сказать, и счет потерял. В одной его мистерии действуют „стальной ангел Габурах“ и „белый ангел Гудулах“; в другой — целый ряд разных ангелов, которые потом тоже поют хором. Выступают у г. Луначарского и Дионис, и апостол Петр, и даже сам Иегова.

Наружность своих героев г. Луначарский обычно описывает подробно и всегда очень выразительно. В драматической сказке „Василиса Премудрая“ царевна Ялья-м „открывает глаза, поправляет волосы дивным жестом тонкой руки и спокойно укладывается в любимую свою позу... Под ту же музыку стройная красивая женщина в лунной одежде несет высоко над головою годовалого ребенка, идет ритмично, окруженная свитой, то приближаясь, то отступая...“ В „Василисе Премудрой“ эта стройная женщина в лунной одежде — бесспорно самая грациозная и шикарная дама. Но в драматической фантазии „Маги“ ей никак не уступит дивная Манесса. Она „вся одета волнами волос, быть может (?) обнаженная. Кроме очерка лица и длинных глаз, эбеса волос, видно одно

только белое плечо и медленно змеящаяся, полупрозрачная рука, которая кажется голубой“. На губах у Манессы „странная улыбка, та, что у Леонардовой Джокопды“, а в восьмой картине поэмы, в сцене с Семпронием, который горько жалуется Манессе, что „давно ладоням жадным пира не давал касанья твоей атласной наготы“, — дивная Манесса „касается пряжки блузы, одежда падает к ногам и оставляет ее гармоничное тело одетым лишь туникой. Он протягивает к ней руки с колючей и сладострастной улыбкой...“

Нет, положительно Игнат Лебядкин не мог бы выразиться столь шикарно.

Хорошо описывает г. Луначарский и мужчип, как земных, так и неземных. У Леонардо да Випчи, в драматической элегии „Юный Леонардо“, „великолепный, сияющий лоб“, „русые волосы с чувственной роскошью обрамляют это божественное лицо с мягким овалом и сочным веселым ртом. Смех и речь Леонардо неудержимо звучны“, а, целуясь с Чепчио, он „гибким жестом отдается его объятию“. В мистере, происходящей у Божьего престола, я с интересом ждал описания наружности Иеговы и не могу сказать, чтобы был разочарован. У Иеговы „золотые кудри и борода, голубые глаза полны блеска, высокий лоб, царственная осанка, величественные движения“. Говорит Иегова „задумчиво“ и в минуты волнения „тербит дрожащими пальцами золотые волосы своей бороды“. Уже из этого описания наружности читатель может сделать вывод, что столь молодцеватый Иегова у г. Луначарского образ скорее положительный. Надо даже отметить, что автор, несмотря на занимаемый им высокий пост, счел нужным, по поводу своих мистерий, заранее себя очистить от тяжких подозрений в симпатиях к неземным существам. „Я хотел бы, — пишет г. Луначарский, — предостеречь от возможного недоразумения. Фантазия моя („Маги“) написана в терминах оккультизма и мистики, и, быть может, кому-нибудь из читателей покажется, что эта одежда в какой-нибудь мере отражает мое собственное верование. Этого, конечно, нет. Что касается основной идеи — идеи пан-психического монизма, — то я никогда не решился бы выдвинуть ее как теоретический тезис,

как философию, которую я стал бы теоретически защищать. В жизни я считаю возможным опираться только на данные науки, строить только на прогнозах, покоящихся на ее незыблемом фундаменте, действовать только сообразно ее данным и под импульсом непосредственной живой страсти, дочери окружающей нас реальной общечеловечности. Другое дело поэзия. Она имеет право выдвигать любую гипотезу и одевать ее в самые поэтические краски“.

Автор мистерий, впрочем, совершенно напрасно оправдывается и просит снисхождения. Его Иегова задумчиво высказывает на протяжении мистерии ряд ценных мыслей, вполне дозволенных к обращению в сов. России. Г. Луначарский относится любовно и ко многим своим другим действующим лицам, „одетым в самые поэтические краски“ не по данным науки. Можно даже безошибочно сказать, что в некоторых своих действующих лицах он, как все великие художники, отчасти изображает самого себя. Разумеется, в самых шикарных, в тех, которые имеют бурный успех у женщин, делающих дивные, гибкие движения медленно змеящимися полупрозрачными руками и посящих на своих гармоничных атласных телах лунные одежды или одежды из эбена чувственно роскошных волос. Так, например, я почти не сомневаюсь, что с себя г. Луначарский писал „Короля-художника“. Король-художник в заключение идеи в масках восклицает слабым голосом: „О, Лорап! Как тяжело королю-художнику править страной грубых беотийцев“. Чуткий читатель должен увидеть в этом восклицании результат личного опыта комиссара-афинянина, насаждающего просвещение в пашей грубой стране. И уж наверное с себя самого (да оно и естественно) г. Луначарский писал Леонардо да Винчи. В конце этой пьесы герой говорит: „Может быть, я вечерняя душа: я так люблю теги и борьбу с ними света... Я вечерний Леонардо. Но я вижу ясно там, там... *(указывает вперед)* Леонардо утреннего... Как в зеркале вижу... Оге, Нарди, оге!! *(посылает воздушный поцелуй)*...“ Я не вполне уверен в том, что Леонардо да Винчи действительно посылал себе воздушные поцелуи. Но для г. Луначарского это, можно сказать, нормальное состояние; коммунистический Игнат Лебядкин с великолепным

сияющим лбом и с вечерней душой каждой „идеей в маске“ очень любовно и нежно себя целует.

Самый горячий воздушный поцелуй г. Луначарский послал себе в предисловии к „Магам“, из которого я приведу отрывок: он, наверное, доставит удовольствие читателям.

„Драматическая фантазия „Маги“ была написана при несколько исключительных условиях, быть может, представляющих некоторый интерес и с точки зрения теории творчества.

Написана она зимою 1919 года во время моего пребывания в Москве, переполненного самой горячей и самой утомительной работой.

Именно утомительность этой работы, ее напряженность и ее яркость в освещении великих и горьких переживаний нашей революции и побуждали меня искать какого-нибудь интенсивного отдыха. Этот отдых я нашел в поэтическом творчестве.

Дав совершенную свободу своей фантазии, я сел за „Магов“, даже неясно представляя себе хотя бы основные контуры этой пьесы. Я просто хотел забытья и уйти в царство чистых образов и чистых идей.

Вся пьеса была написана по ночам после полных всяких событий и трудов дней. И понадобилось только 11 ночей для того, чтобы вся она вылилась совершенно такою, какою теперь является читателю. Никаких дальнейших поправок в ней мне не представлялось нужным сделать.

Несмотря на то что в течение этого времени я спал от 3 до 5 часов в каждые сутки, по окончании работы я почувствовал себя необыкновенно отдохнувшим, словно я побывал на каком-нибудь целебном курорте.

Одним из оснований моего решения издать эту книжечку была надежда, что, может быть, чтение ее доставит также кое-кому тень того сладкого и глубокого отдыха, который доставило мне ее сочинение.

Конечно, „Маги“ связаны некоторыми тонкими нитями с переживаемыми нами событиями. Пьеса не является ни в какой мере ни отражением их, ни аллегорией. Искать чего-нибудь подобного, как делали некоторые из прослушавших ее, — просто нелепо. Но чуткий человек, быть может, поймет, почему

эта гипотеза представляется особо утешительной и желанной во время грозных исторических событий и тяжелых, хотя вместе с тем торжественных и осиянных надеждой личных переживаний“.

По-моему, г. Луначарский совершенно напрасно скромничает: „*быть может*, представляющих некоторый интерес с точки зрения теории творчества“. Какое уж тут „*быть может*“! Не быть может, а навверное, и не для одних теоретиков искусства, а для всего человечества, и не просто идеи в масках, а именно „целебный курорт“, „сладкий и глубокий отдых“. Верно и то, что все творчество г. Луначарского связано тонкими нитями с „реальной общественностью“. Для того чтобы можно было судить о тонкости этих нитей, я позволю себе вкратце коснуться содержания некоторых его творений — красота их формы достаточно ясна из сказанного выше.

В трагедии „Королевский брадобрей“, написанной белыми стихами, выведены король Дагобер и его родная дочь, красавица принцесса Бланка. Король, натурально, желает изнасиловать свою дочь, — чего же другого можно было ждать от короля? Но так как Дагоберу, кроме того, хочется „плюнуть высшей власти в очи“, то он требует, чтобы церковь благословила его намерение. Религия — опиум для народа, и церковь, в лице архиепископа, изъявляет согласие. Некоторые колебания возникают только у канцлера, который боится народного гнева в случае огласки дела. Канцлер советует королю „на coitus решившись, оный тайно и совершить“. Дагобер, однако, ничуть не боится огласки, и, созвав всех магнатов, объявляет им о своем решении вступить в брак с дочерью. Черствые магнаты ничего против этого не имеют. Протестует один лишь мэр Этьен, честный выходец из народа. На протяжении двух страниц мэр Этьен в самых горячих и благородных виршах ругает магнатов за то, что они „девицу предали на поруганье распутному, безумному отцу“. Король приказывает отвести мэра Этьена на казнь. „Этьена уводят понурого и задумчивого“. „Впечатление в общем тяжелое“, — метко замечает от себя автор. Впрочем, черствые магнаты тотчас после увода мэра Этьена „шумно и радостно“ восклицают: „Виват, виват король!“ Дагобер вызывает к себе дочь (которая, кста-

ти сказать, любит хорошего человека, Евстафия) и заявляет ей, что намерен ее изнасиловать:

КОРОЛЬ.

Так так-то, дочка.
Я мог бы разломать тебя. Я мог бы
Взять плеть мою и бичевать тебя,
Как виноватую собаку! Только
Ведь свадьба наша будет вскоре: кожу,
Девичью кожу белую испортить
Пред свадьбой не хочу.

БЛАНКА (*падает*).

О! ужас! ужас!

Злодей-король стоит на своем. Кроме того, он, как обычно поступают в таких случаях короли, грозит зажарить на медленном огне Евстафия, так, чтобы Бланка могла „расширенными ноздрями нюхать обугленного мяса аромат...“ При этой угрозе король хохочет не менее адски, чем граф Лео Дорнбах фон Турау. Бланка немедленно сходит с ума; разумеется, она также хохочет — и даже хохочет в три приема:

БЛАНКА.

Ты — Вельзевул (*хохочет*). А ты не думал,
глупый,
Что я тебя узнаю? — но назвала
Тебя я именем твоим. На, ешь
(*разрывает платье на груди*),
Ешь тело, грудь кусай, грызи, пей кровь!
(*хохочет*).
Нет, не добаться до души вовеки,
Душа у мамы, нету здесь души...
(*хохочет и падает на скамью*).

Подлый Дагобер, однако, неумолим, и душа принцессы Бланки, наверное, и вправду отошла бы к ее покойной маме, — но на счастье королевский брадобрей, некий Аристид, по разным сложным, преимущественно философским, соображениям, „быстрым движением бритвы перерезывает королю горло. Голова короля отваливается“. Аристид „садится на его грудь, размахивая кровавой бритвой“, высказывает намерение отрезать королю также нос и уши и говорит, что сделал бы то же самое, если б был брадобреем у Господа на небе. На этом тонком замечании тонкая трагедия, связанная тонкими нитями с реальной общественностью, кончается.

Было бы странно, если б автору этой пьесы не вверили в сов. России дела воспитания юношества. Не пужно, однако, думать, что „Королевский брадобрей“ написан по „агитзаказу“ для обличения королей и магнатов. Короли и магнаты в нем обличаются, так сказать, попутно, — в агитационных целях и не пишут длинейших трагедий в стихах. Нет, главная прелесть драматических произведений г. Луначарского заключается именно в том, что они должны ставить перед избранными философские и эстетические проблемы предельного глубокомыслия: автор явно реформирует мировое искусство. Это с особенной силой сказывается в его чисто символических пьесах. Не буду излагать их подробно, — и так прошу читателей простить эти выписки. Скажу только, что в мистерии „Иван в раю“, в основу которой, по словам г. Луначарского, положена гипотеза трагического пантеизма, честный идейный борец Иван, поднявшись к престолу Бога, ведет философский спор с Иеговой и убеждает его отречься от власти в пользу человечества. Иегова, после 42 страниц философских диалогов, дьявольских монологов, ангельских и других хоров, „раздирающего звука труб“, „кукования птицы Гамаюн“ и т.д., соглашается с Иваном и сходит с престола. Надо отметить, что Ивану помог убедить Иегову „хор богоборцев во главе с Каипом и Прометеем“. И действительно, богоборцы говорили весьма убедительно. Вот как начинается богоборческая песня:

Аддай — дай
У-у-у
Гррр-бх-тайдзах
Авау, авау, пхоф бх.

Читатель не должен чрезмерно удивляться: г. Луначарский сторонник того взгляда, по которому чисто фонетическая изобразительность в искусстве идет параллельно с философской глубиной и с роскошью поэтических образов. В песне богоборцев этот художественный прием особенно удался оранжерейному автору: авау, авау, пхоф бх, — прямо живой Прометей! Методы чисто звукового изображения г. Луначарский применяет во многих своих произведениях. У него даже есть длинные диалоги в таком роде. Так, в „Василисе Премудрой“ некий „девомаль-

чик“, „со страшно большими и грустными глазами и ртом тоже грустным, но совсем маленьким, ведет в поводу страуса в сверкающей сбруе и поет:

Наннау-кнуня-наннау-у-у
Миньэта-а-ай
Эй-ай
Лью-лью
Танпаго натальни-канная-а
Та-нга-нга-ай,

и т.д.,

на что Нги, другое действующее лицо „в серебряной сетке с алой феской на богатых кудрях“, совершенно резонно отвечает:

Уялалу
Лаю-лалу
Амменнай, лаяй, лоялу...

Этот человек, живое воплощение бездарности, в России просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые артисты, создававшие некогда „Власть тьмы“, играют де-вомальчиков со страусами, разучивают и декламируют „грр-авау-пхоф-бх“ и „эй-ай-лью-лью“...

Но все-таки хорошо, что г. Луначарский столь „неудержимо звучен“, что он так любит „уходить в царство чистых образов чистых идей“. Пусть он и дальше, как его „шикарный флигель-адъютант“, бряцает саблей и шпорами — монистической саблей и пан-психическими шпорами. Я рад, что Гос. Издательство издает пьесы утонченного тепличного растения на плотной, роскошной, прочной бумаге. Кое-что, Бог даст, дойдет и до потомства, и, подобно графу Лео Дорнбах фон Турау, „культурнейший из большевиков“ долго будет жить в сердцах людей ослепительно сияющим молодым богом.

Воспоминания о Максиме Горьком

(К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ)

О б одном из деятелей Французской революции было сказано: „Он сделал слишком много добра для того, чтобы можно было говорить о нем худо; и он сделал слишком много зла для того, чтобы можно было говорить о нем хорошо“. Эти слова следовало бы отнести к Максиму Горькому.

И как писатель, и как человек он имел большие достоинства. Быть может, литературный его талант был не так велик, как утверждали его неумеренные поклонники, особенно в начале и в конце его необычной карьеры. Но несправедливы и те, кто начисто этот талант отрицают. Отрицателей было много среди русских эмигрантов. Попадались они и в давние времена. К ним принадлежал сам Лев Толстой, никогда Горького всерьез не принимавший. В своем дневнике от 3 сентября 1903 года Толстой писал: „Горький — это недоразумение“ и выражал удивление по тому поводу, что за границей тоже читают этого писателя.

Его действительно читали и даже изучали за границей. Ни одному русскому писателю мировая слава не досталась так легко и быстро, как Горькому. Сам Толстой, с которым его было бы просто смешно сравнивать в литературном отношении, добился всемирной известности лишь на седьмом десятке лет. Чехов, в России соперник, а по летам старший товарищ Горького, был почти неизвестен за границей до самой своей смерти. Между тем Горький стал мировой знаменитостью лет тридцати пяти от роду. В Германии, во Франции о нем уже в 1905 году вышло несколько книг. Его пьеса „На дне“ шла два года безостановочно в одном из лучших театров Берлина, затем обошла

все другие германские сцены. Она принесла бы ему целое состояние, если бы не одно случайное обстоятельство: его доверенным по получению гонорара от немецких театров был небезызвестный Парвус, в ту пору (1902—1904 годы) еще не бывший богатым человеком. Он очень весело растратил принадлежавшие Горькому большие деньги и столь же весело написал об этом уполномоченному Горького Пятницкому: „Истратил деньги на поездку по Италии с одной очаровательной дамой“. Горький позднее сообщил об этом в печати — на одно устное его свидетельство я ссылаться не стал бы.

Кстати сказать, этот незначительный эпизод довольно характерен для Горького. Он писал очень гневные страницы о „Желтом Дьяволе“ (золоте) и о „Городе Желтого Дьявола“ (Нью-Йорке): однако в жизни он очень хорошо знал цену деньгам и умел отлично продавать свои книги и статьи. Он говорил, что „зарабатывает не меньше, чем Кипплинг“, и гордился этим: Кипплинг в свое время — кажется, не вполне основательно — считался самым дорогим писателем в мире. Тем не менее, несмотря на ум, сметку и деловой инстинкт Горького, обмануть его было легко и обманывали его часто. Если бы его обманывали только в денежных делах!..

Добавлю, что он был щедр и охотно давал свои деньги как частным просителям (их было великое множество), так и на разные политические дела. Из немецкого гонорара от „На дне“ немалая часть должна была пойти германской социал-демократической партии и, вероятно, пошла бы, если бы не учиненная Парвусом растрата. Это тем более удивительно, что Горький германских социал-демократов недолюбливал. Он лично знал Бебеля, Зингера, Каутского и в одной из своих работ изобразил их в довольно пренебрежительном тоне. Соответственные рассказы о них слышал в свое время от него и я.

Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо и в один период жизни (1916—1918 годы) видал его часто. До революции я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году к этому присоедипи-

лись еще встречи в разных комиссиях по вопросам культуры.

Флобер оставил пишущим людям завет: „Жить как буржуа и думать как полубог!“ Горький и до революции, и после нее жил вполне „буржуазно“ и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие „обеда“, человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. Любил, в частности, хорошее вино (хотя „пьяницей“ никогда не был). После нескольких бокалов вина он становился особенно мил и весел. Слушал охотно других, сияя улыбкой (улыбка у него была детская и чрезвычайно привлекательная). Еще охотнее говорил сам. Видел он на своем веку очень много и рассказывал о виденном очень хорошо и занимательно. Правда, к сожалению, как большинство хороших рассказчиков, он повторялся. Так, его любимый рассказ о каком-то татарине, которого он когда-то хотел освободить из тюрьмы, я слышал — в одних и тех же выражениях — раза два или три. Татарина падо было будто бы для освобождения обратил в православие, и для этого оп, Горький, ездил к влиятельным и компетентным особам — о встречах с ними он и рассказывал. Составлен рассказ был очень живописно, но все ли в нем было строго точно — не знаю. Немного сомневаюсь, чтобы человека можно было освободить из тюрьмы в награду за крещение. Вероятно, для живописности Горький кое-что приукрашивал.

Другой любимый его рассказ был о Нью-Йорке. Этот рассказ был неинтересен. Горький годами жил за границей, но ни одного иностранного языка он не знал и, по-видимому, Западной Европы и Америки не понимал совершенно. Маленькая подробность. В той самой работе, о которой я упомянул выше, он, описывая обед, на котором встретился с Бебелем, Зингером и Каутским, сообщает, что они все произносили слово „Mahlzeit“. Этого общеупотребительного в Германии приветствия Горький не знал и перевел себе его по-своему. „Mal“ по-французски значит

„худо“; „Zeit“ по-немецки значит „время“. Очевидно, Бебель и Зингер, в виде приветствия, говорили друг другу: „Какие худые времена“!

Столь же верны бывали и его другие суждения об европейских и американских делах. Все это был сплошной „Mal-Zeit“! Очерки, написанные им об Америке в 1907 году, просто совестно читать: до того это безвкусно, нехудожественно и просто неверно. Чтобы не быть голословным, приведу лишь одну цитату из „Города Желтого Дьявола“ с описанием Нью-Йорка и ньюйоркцев:

„Люди кончили работу дня и, не думая о том, зачем она сделана, пужпа ли она для них, быстро бегут спать. Тротуары залиты черными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги, как это видно по глазам, уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью; кроме этого, ничего не пужно человеку в городе Желтого Дьявола. Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая свежая пища. Идут... Не слышно смеха, нет веселого говора и не блещут улыбки...“

Это — Нью-Йорк! Горький уверял, что сам видел в Нью-Йорке, как дети дерутся „за корку загнившего хлеба“: „Она возбуждает среди них дикую вражду: охваченные желанием проглотить ее — они дерутся как маленькие собачонки“. Бог ему судья: может быть, он где-нибудь что-нибудь такое и видел (думаю, что увидеть это в СССР было бы все-таки несколько легче). Он с особым удовольствием рассказывал об ужасах Нью-Йорка и почему-то в особенности Кони-айленда. Горький об американской культуре судил по кони-айлендским балаганам. И были в его рассказах те же выражения, какими обильно и нестерпимо переполнены его американские очерки: „музыка нищих для забавы рабов“, „белокожие дикари“, „ад, сделанный из палье-маше“, „нищие города-чудовища“, „дети, жалкие цветы нищеты“, „теплая рука тоски“ и т.п.

Рассказы его о России были неизмеримо интерес-

нее и правдивей. Кроме природного ума и наблюдательности, у Горького был очень большой жизненный опыт. Русские низы он знал превосходно: он побывал в жизни сапожным подмастерьем, служил в посудной лавке, в лавке икон, был булочником, дворником, ночным сторожем, хористом, не знаю, чем еще. Впоследствии у него появились немалые связи в высшей русской буржуазии и даже отчасти в аристократических кругах. Надо ли говорить, что он прекрасно знал литературные круги: тут его знакомства шли от „подмаксимок“ (так называли когда-то его учеников и подражателей) до Льва Толстого. Из интеллигенции, связанной преимущественно с политикой, он хорошо знал социал-демократов. Помню его рассказ — поистине превосходный и художественный — о Лондонском социал-демократическом съезде 1907 года, краткие характеристики главных его участников. Не могу сказать, чтобы эти характеристики были благожелательны. Горький недолюбливал Плеханова, которого считал барином, чтобы не сказать снобом. Недолюбливал и других меньшевиков. Кажется, из всех участников съезда он очень высоко ставил только Ленина. Но зато о Ленине он — повторяю, задолго до своего окончательного перехода к большевикам — отзывался с настоящим восторгом. Он его обожал.

После революции, особенно после октябрьского переворота, посещение дома Горького всегда было связано с некоторым риском. Как помнят, вероятно, читатели, Горький до осени 1918 года занимал резко антибольшевистскую позицию. Он принимал ближайшее участие в руководстве враждебной большевикам газетой „Новая жизнь“. Тем не менее его положение — я мог бы сказать: его светское положение — было совсем особое. Со времени прихода большевиков к власти личные отношения между ним и антибольшевиками почти прекратились. Большинство людей антибольшевистского лагеря порвало личные отношения со сторонниками Лепипа еще значительно раньше, со дня его приезда в Петербург. Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у

него бывали и те и другие, — случалось, бывали одновременно. Он был, вероятно, единственным человеком в Петербурге, который мог себе позволить подобный политический коктейль. Он себе его и позволял — неизвестно зачем: такие встречи не могли доставлять удовольствия ни той, ни другой стороне. Вероятно, это его забавляло. Не знаю, что он говорил об антибольшевиках, когда их в доме не было. Но в отсутствие коммунистов он об их вождях, за одним единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом — только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь).

Исключением был тот же Ленин.

Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей жизни Максима Горького. „Великий революционный писатель“, как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок ему, как большинству русских самоучек, была присуща погоня за „самым передовым“, за „самым левым“. На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии, — чего же можно было желать лучше!

Ленин ни в грош не ставил Горького как политического деятеля. Но Максим Горький был для него находкой, быть может, лучшей находкой всей его жизни. Горький был знаменитый писатель, и слава его не могла не отразиться на партии. Он открывал или, по крайней мере, облегчал большевикам доступ в легальные журналы, в издательства. У него были большие связи среди богатых людей, дававших деньги на разные политические дела. Я не хочу сказать, что Ленин сблизился с Горьким только в интересах партии. Из напечатанных писем его к Горькому видно, что он чувствовал к нему и личную симпатию, интересовался его здоровьем*, его планами. Однако

*Так, однажды, узнав, что Горький предполагает лечиться у врача, принадлежавшего к большевистской партии, Ленин ему написал: „Я встревожен сообщением, что вас лечит по новому способу большевик или бывший большевик. Избави нас Бог от товарищей-врачей вообще и от большевиков-врачей в частности“.

политические идеи Горького у него ни малейшего интереса не вызывали.

Они порою расходились. Так, они разошлись в 1917 году. Примирение последовало лишь осенью 1918 года: после покушения Доры* Каплан Горький считал нужным сделать визит раненому Ленину. Между ними произошло объяснение; вероятно, это был просто разговор со стороны диктатора. Он произвел соответствующее действие.

У меня нет материалов для суждения об их дальнейших взаимоотношениях. Горький был добрый или, по крайней мере, не злой человек, очень падкий на слезы и не отказывавший в помощи людям, которых он не любил. В пору жестокого террора, следовавшего за убийством Урицкого и за покушением на Ленина, он сделал немало добра. И позднее, помирившись с Лениным, окончательно отказавшись от какой бы то ни было самостоятельности в мыслях (не говоря уже об оппозиции), он нередко обращался к Ленину с ходатайством о смягчении участи того или иного „коптрреволюционера“. Обычно Ленин ему в этих небольших одолжениях не отказывал, если „коптрреволюционер“ был не очень значителен. Случалось, однако, что распоряжение Ленина „опаздывало“: Чека расстреливала людей до получения соответствующей бумаги. Было ли это саботажем со стороны Чрезвычайной комиссии и, если да, то производился ли саботаж с негласного благословения самого диктатора, — этого мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем.

По-видимому, Ленину очень хотелось, чтобы Горький поскорее уехал за границу. Так оно и вышло. Собственно, покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть „президентом республики“: во всяком случае, он был во многих отношениях пригоднее и во всех отношениях декоративнее Калинина. Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. Это могло бы объясняться остатками разногласий или воспоминаниями о разногласиях. Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький

*Так у М.Алданова. — *Прим. ред.*

вернулся из Италии в СССР, после того как он в 1929 году окончательно, „да все сто процентов“, принял советский строй, включая и личный культ нового диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального саповника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу.

Я в последний раз видел его в июле 1918 года. Это был именно „обед“, — и обед, оказавшийся весьма неприятным. Горький позвонил мне по телефону: „Приходите, есть разговор“. Я пришел. Никакого „разговора“, то есть никакого дела у него ко мне не было. Вместо этого нас позвали к столу. Обед был, конечно, не очень роскошный, но по тем временам отличный: в Петербурге начинался голод; белого хлеба давным-давно не было; главным лакомством уже была копипа. В хозяйстве Горького еще все было в надлежащем количестве и надлежащего качества. Гостей было немного; в большинстве это были люди, постоянно находившиеся в доме Горького, так сказать, состоявшие при нем. Однако были и незнакомые мне лица: очень красивая дама, оказавшаяся за столом моей соседкой, и ее муж, высокий представительный человек, посаженный по другую сторону стола.

Встреча эта была весьма необычной, и я бы мог прибавить напоследок маленький эффект. Предпочитаю, однако, сказать сразу, что это были госпожа Коллоптай (впоследствии занявшая пост советского посла в Стокгольме) и „матрос“ Дыбенко. Познакомили нас, как обычно знакомят: имена были названы невнятной скороговоркой, и я, по крайней мере почти до конца обеда, не знал, с кем сижу за столом. Говорили о разных предметах. Моя элегантная соседка оказалась милой и занимательной собеседницей. В ту пору в Петербурге везде предметом бесед было произошедшее незадолго до того в Екатеринбурге убийство царской семьи. Говорили об этом кровавом деле и за столом у Горького. Должен сказать, что там говорили о нем совершенно так же, как в других местах: все возмущались, в том числе и Горький, и госпожа Коллоптай: „Какое бессмысленное звер-

ство!“ Затем беседа перешла на Балтийский флот и на адмирала Щастного, о котором тогда было тоже много разговоров. И вдруг из фразы, вскользь сказанной сидевшим против меня человеком, выяснилось к полному моему изумлению, что это „матрос“ Дыбенко!

Я ставлю в кавычки слово „матрос“. В Петербурге все считали Дыбенко настоящим матросом, без кавычек. Брак его с госпожой Коллонтай вызвал толки и в связи с этим: она по рождению и по первому браку принадлежала если не к высшему, то к довольно высокому военно-бюрократическому обществу царского времени. Я в тот день видел Дыбенко в первый — и в последний — раз в жизни. Как ни поверхностны были мои впечатления от него, очень сомневаюсь, чтобы он был действительно матросом: ни внешним обликом своим, ни костюмом, ни манерами он нисколько не выделялся на общем фоне бывавших у Горького людей. Мысли за столом он высказывал отнюдь не революционные, а весьма умеренные (это был, по-видимому, период его очередной размолвки с правящими кругами). Между тем самое имя его, в связи с разными событиями революции, тогда вызывало ужас и отвращение почти у всей интеллигенции. Только Горький мог пригласить враждебного большевикам человека на обед с Дыбенко, не предупредив об этом приглашаемого!

Обед уже подходил к концу. Помню, Горького позвали к телефону. Я вышел вслед за ним и попросил его передать привет хозяйке дома (артистке М.Ф. Андреевой). Мне оставалось уйти, не простившись с этими гостями. Я так и сделал. Больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких-либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками: у них начинался период долгой (не скажу, безоблачной) дружбы. Она привела к полной капитуляции Горького и через несколько лет к окончательному его переходу на роль состоящего при „вожде народов“ официального писателя. Его именем стали называться города, улицы, заводы, аэропланы. Писал он и говорил то, что при такой роли полагалось писать и говорить. Из прежнего иконоборца он стал советской иконой.

В.Г.Короленко

— Зачем ты это, Яков, стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет! — сказал я...

Яков вскинул на меня своими большими глазами и в голосе его, как он отвечал, слышалась какая-то обрядная важность.

— Стою за Бога, за великого Государя, за Христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей... Обличаю пачальников, пачальников неправедных обличаю... Стучу**.

Так говорил старый арестант Яшка, отправляемый пачальством в дом умалишенных.

Я цитирую бытовую сцену, списанную когда-то Владимиром Галактиоповичем с патуры. Рассказ „В подследственном отделении“ не имел символического смысла, да, в сущности, не мог иметь. Но теперь, оглядываясь на закончившуюся жизнь Короленко, мы едва ли не выпущены повторить те же слова:

„...Кто тебя слышит? *Ведь никого нет...*“

Ибо (если говорить о прямом результате), разве не было одипаково безнадежным делом, — обличая неправедных пачальников, „за все отечество“ стучать на Департамент полиции, и „за Христов закон“ стучать на чрезвычайку. Людей усердно казнили после статьи „Бытовое явление“, как казнили до нее, а письма Владимира Галактиоповича к Луначарскому даже не были опубликованы в советской прессе.

Все слова сказаны о положении, которое занимал скопчавшийся знаменитый писатель в том, что называют русской „общественностью“. Такого положения не занимал у нас никто со дня смерти Н.К.Михайлов-

*В.Г.Короленко. „В подследственном отделении“.

ского. Толстой стоял особняком. Он был для „общественности“ слишком *солист* и слишком огромный человек. Владимира Галактионовича называли часто совестью русского народа. Незачем себя обманывать: парод его не знал, не знает и, вероятно, не скоро будет знать. Короленко весь целиком принадлежал русской демократической интеллигенции, тому, что в отчетах Государственных дум имело общее название „левого сектора“. В былые, далекие, давно минувшие времена — несколько лет тому назад — „левый сектор“ составлял девять десятых образованной России. Здесь имя Короленко стояло на огромной, недосыгаемой высоте.

Этот человек, так справедливо считавшийся символом гражданской чести и литературного достоинства, не был, разумеется, политическим деятелем. Он не состоял ни в какой партии, хотя приближался по взглядам к народным социалистам. В 1917 году некоторые круги Петербурга выдвигали его кандидатуру на пост президента Российской Республики, — ведь и передовая Германия еще совсем недавно лелеяла мысль об апалогичной кандидатуре Герхарта Гауптмана. Может быть, в другой исторической обстановке, „через 200–300 лет“, будут возможны такие президенты республик. В наш век Людендорфов, Ллойд-Джорджей и Лениных мысль о государстве Короленко способна вызвать усмешку. Так далек был внутренне Владимир Галактионович от всего того, что произошло в мире за последние восемь лет. Великая война с двойной перспективой — Дарданелл и солдатского бунта — его совершенно оглушила; из двух возможностей знаменитой столыпинской дилеммы его нисколько не привлекала ни одна: ему не пужны были ни „великие потрясения“ в духе 1918 года, ни „великая Россия“ в духе 1914-го. Но, оглушенный событиями, он все-таки повторял — без прежней, впрочем, уверенности — свое страстно любимое „чудесное двустишие“:

На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси.

В его искусстве — большое очарование, секрет которого трудно уловить, а определить еще труднее. Художник он был неровный — при всем своем выдающемся таланте. Некоторые его произведения —

подлинные шедевры литературы; другие, как прославленный рассказ „Чудная“, очень слабы. В „Истории моего современника“ есть поистине превосходные главы; но есть и такие, которые можно было бы опустить без всякого ущерба для книги. Искусству Короленко вредили достоинства его души и недостатки его школы. Он был слишком мягок, слишком любил и уважал людей, для того чтобы стать великим писателем: настоящие цари литературы, как великие исторические цари, должны быть суровы. Толстой в очень многих главах „Воскресения“ и „Хаджи-Мурата“ (не говоря о более ранних его творениях) совершенно забывал свои христианские чувства: он прокладывал свою дорогу огнем и мечом. Короленко, который никогда не выступал с проповедью противления злу добром, был неизмеримо мягче Толстого. А зла он, пожалуй, мог видеть на своем веку больше, чем Лев Николаевич. В его произведениях есть воры, картежники, убийцы, но нет ни одного подлеца. Даже в самых мелапхолических его рассказах чувствуется та „скорбь без мучений“, которой, если верить Данте, дышит первый, самый приятный, круг Ада. Да, в сущности, и „скорби без мучений“ у Короленко немного. Ведь в конце его рассказов неизменно появляются „огоньки“ или, как говорит его Сократ: „Друг, свет уже мелькает“. Это, впрочем, особенность той школы, к которой принадлежал Короленко, польской литературы, которой он очень многим обязан. Но благодаря его большому таланту, однообразие „мягких теплых тонов“ у него утомляет меньше, чем у Пруса, Ожешко, даже чем у Сенкевича народных рассказов.

В традиции русского искусства он занимает особое место. Он вышел из Гоголя — из Гоголя первого периода, — и некоторые его рассказы сделали бы большую честь „Вечерам на хуторе близ Диканьки“. Но Толстой прошел для Короленко бесследно, быть может, для него одного из всех новых русских писателей. Он не пользовался теми художественными приемами, которые ввел в мировую литературу автор „Войны и мира“. Не соблазняли его и особенности чеховского творчества. Как Гоголь, он не любил краткости. Чехов и из „Сна Макара“ выпустил бы не одну страницу. С другой стороны, некоторые черты

старомодного искусства Короленко делают его родоначальником новой школы, — первым русским писателем двадцатого столетия. Как „пейзажист“, например, этот наследник Гоголя — прямой предшественник Бунина. Казалось бы, трудно было по-новому описывать русскую природу после Гончарова и Тургенева — Короленко описывал ее чрезвычайно своеобразно. Он превосходно сочетал ритмическую музыкальную фразу гоголевских картин с тем приемом выделения и точного вырисовывания деталей, которому новейшее русское искусство придало исключительную важность. Короленко описывал только то, что видел, и потому никогда не попадал впросак, как это случалось с величайшими мастерами слова. Древняя музыка пушкинских стихов: „Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир“ — вызывает невольную улыбку у тех, кто видел своими глазами речонку-лужу, именуемую Гвадалквивиром. То же самое относится к знаменитому двестишю Лермонтова „у вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал“: узенькая лента прелестной палестинской реки на самом деле илисто-желтого, мутно-золотого цвета. Лермонтов не видел Иордана, а Пушкин не бывал в Испании. Короленко знал превосходно малороссийскую и сибирскую природу.

Прекрасен был его стиль, одинаково чуждый фокус модернистской литературы и неременной погони за столетней древностью каждого слова. Это совершенно простой, как будто обыкновенный разговорный язык, почти всегда свободный, однако, от избитых и неправильных выражений интеллигентского жаргона. Очень трудно теперь охранять простоту от банальности, когда читаешь ежедневно по несколько газетных передовых. А он не только читал, но и писал газетные передовые — и писал их прекрасно.

Что сказать о его шести письмах к Луначарскому, печатаемых в настоящей книге „Современных записок“? Очень незлобивую душу, очень большую веру в силу и спасительность слова нужно было иметь для того, чтобы вступить в подобную переписку с Луначарским!.. В этих письмах Короленко мы видим об-

лик прекрасного человека, уже стоящего над краем могилы и не желающего уходить из мира со словами пенальти на устах...

Большевики устроили ему пышные похороны — почти такие же пышные, как Свердлову, Урицкому или Володарскому. Луначарский написал некролог; Демьян Бедный — лирическое стихотворение; Зиновьев произнес соответствующую речь; вероятно, какому-нибудь передовому скульптору, кубисту или имажинисту (кажется, есть такие?), будет заказан памятник. Недостает только надгробного парада Вохры... Недавно выпущенный из тюрьмы „смертник“ В.Я.Мякотин и другие ближайшие друзья покойного писателя, разумеется, не принимают участия в этом издевательстве над чистой могилой. Они лишены возможности отдать последний долг Владимиру Галактионовичу, и не выйдет книга „Русского богатства“, посвященная памяти старого редактора...

Об искусстве Бунина

„Я ркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга карет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, сиюсь справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан-городовой, плохо двигавший одеревеневшими от стужи губами... От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились в этом дыму заиндевевшие извозчичьи лошади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из поздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара — молоденький офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулеву муфту... В ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь вишно-красных трамвайных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы... Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мгlistой высоте, означился красноватый глаз часов на башне городской думы... За ним было громадное зеркальное око запертого, печально, по-почному, освещенного магазина, откуда недвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными пожками,

мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называемое Полюсом“.

Читатель, наверное, не посетует на меня за длинную цитату. Я не знаю в русской литературе описания, равного этому.

Оно взято из „Петлистых ушей“. Напомню содержание рассказа Бунина. „Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком Адамом Соколовичем“, проводит вечер в петербургском трактире. Там, в разговоре с двумя матросами, высказывает он страшные мысли: „У вырождков, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть очень похожие на петлю, — вот на ту самую, которой и давят их“. Потом этот человек долго ночью ходит по Невскому, приглашает проститутку и увозит ее в меблированные номера „Белград“. Утром он из гостиницы выходит. После его ухода коридорный находит в номере задушенную женщину.

Мизантропический рассказ? Тяжелый сюжет? Да, сюжет нелегкий. Толстой его не взял бы. Он не любил выводить людей, „самое существование которых есть обвинительный акт против Провидения“. Предпочитал „исторических преступников“. Отчего не уничтожить Наполеона, — благо и противник по плечу. Но обыкновенное уголовное убийство! Мы знаем заранее: тут у Толстого виноватого не будет. Виноваты будут власть тьмы, институт брака, музыка, Крейцера соната, Бетховен — что угодно, только не лицо, пойманное и уличенное полицией, судом, государственными учреждениями. Однако уж если бы Толстой остановился на такой теме, он осветил бы Адама Соколовича изнутри, „вылизал“ бы его гениально. Никаких петлистых ушей, конечно, не оказалось бы. Был бы человек Адам Соколович, не хуже и не лучше других людей: так как, слава Богу, все хороши. В сущности, именно толстовский подход к сюжету и был бы глубоко мизантропическим по существу.

Для Достоевского, напротив, этот сюжет был точно создан. Он связал бы Соколовича с большой социальной проблемой. Убийцу судил бы суд присяжных (социальная проблема) и приговорил бы его к каторжным работам. Впрочем, нет: к каторжным работам суд присяжных, по ошибке, приговорил бы кого-нибудь другого. Ведь в двух величайших созданиях русского искусства, в которых описывается уголовный суд, — в „Воскресении“ и „Братьях Карамазовых“, — в основу фабулы положена судебная ошибка. И тут был бы „трюк“ — одновременно и художественный, и идейный. В „Преступлении и наказании“ преступление занимает страниц десять (правда, перед силой этих десяти страниц меркнет чуть ли не вся литература). Остальное — наказание.

Но наказание настоящее — каторга — появляется в самом конце, в эпилоге. И описано оно так сдержанно, так уклончиво! Вскользь, правда, упомянуто об „ужасах каторжной жизни“, но именно вскользь, почти незаметно. На каторге день был „ясный и теплый“, „с высокого берега открывалась широкая окрестность, с дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня“. Раскольников даже „рад был работе“. Уж кто другой, а Достоевский знал, что такое каторга. „Те четыре года, — писал он своему брату, — считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное...“ Был, слава Богу, в силах рассказать, мы это знаем. Но если бы в эпилоге „Преступления и наказания“ он показал настоящую каторгу с плац-майором Кривцовым и с „несчастенькими“, то что же осталось бы от „очищения страданием“? Очистить страданием пришлось бы и плац-майора. Во всем этом гениальном ребусе, пожалуй, гениально и знание моралистического ремесла. Достоевский „углублял“, когда это было ему нужно. Он углубил бы, конечно, и убитую Соколовичем проститутку, — и были бы тут, паряду с несравненными страницами, и „драдедамовые платочки“, и „поклоны человеческому страданию“.

Как подошел к своей теме Бунин? В рассказе об убийстве — убийства не описывается совершенно. Правда, русскому писателю особенно трудно описы-

вать убийство, — после „Преступления и наказания“, „Крейцеровой сонаты“, „Войны и мира“ (смерть Верещагина). Однако, я думаю, не эта трудность остановила Бунина. Дело в особенностях его художественного вкуса. Жюль Ренар в своем бесценном дневнике иронически говорит о прозе Поля Адана: „После каждой его фразы хочется ударить в барабан“. Нет писателя, к которому это определение подходило бы меньше, чем к Бунину: он органически не выносит эффектов. На мой взгляд, даже у Достоевского, даже у Толстого почти нет страниц, равных только что названным сценам из их творений. Но Бунин, верно, любит их гораздо меньше. Как бы ни было тонко и высоко искусство художника, убийство всегда „эффект“, тут сюжет помогает автору. Бунин писатель без фабулы, — что ж, при его уме, при его безошибочном вкусе, он, вероятно, мог бы разработать и фабулу. Однако не лежит у него к пей душа, как не лежит и к „психологическому анализу“.

Нет психологического анализа и в этом его шедевре. Невольно спрашиваешь при чтении „Петлистых ушей“: чем же он работает? Пусть мне простит читатель этот чисто профессиональный подход к вопросу. „Нутро“, вдохновение, это само собой. В.Н.Давыдов, едва ли не величайший из актеров, которых мне приходилось видеть, в своем „Рассказе о прошлом“ пишет: „Говорили, что Стрепетова играет пугром. Нелепое избитое слово. На сцене пельзя играть пугром“. Скажу больше. Только по отношению к такому писателю, как Бунин, и уместен вопрос о так называемой технике. Открываешь книгу того или другого нового писателя, — к сожалению, в девяти случаях из десяти этот вопрос не стоит и ставить. У Пушкина, вероятно, уши увязли бы от всего того, что писалось о „моцартизме“ и „сальеризме“, — точно Моцарт был Моцартом, если бы в нем не сидел и Сальери!

Толстой также, вероятно, описал бы эту проститутку без психологического анализа. Но она у него поговорила бы. Он был несравненным мастером этого приема. Анна Каренина на обеде в имении спрашивает деревенского врача: „Как здоровье старухи?.. Надеюсь, не тиф?“ Доктор отвечает: „Тиф не тиф, а не в авантаже обретается“. Больше о докторе ни слова, но сельский Базаров, смущенный обществом ари-

стократов и одновременно их презирающий, готов: точно мы прочли его биографию. Краснолицый жап-дарм рассказывает в Сибири Нехлюдову: „В Казани, я вам доложу, была одна, — Эммой звали. Родом венгерка, а глаза настоящие персидские. Шкуру было столько, что хоть графине“, — зачем тут еще пользоваться психологическим апализмом: волшебный фонарь внутри человека зажжен и горит. После Толстого Чехов пользовался этим приемом лучше всех, по желанию веселить читателя несколько вредило бывшему Чехопте. „Как, по-вашему, по-ученому, Осип Васильевич, — спросил Калашников, — есть на этом свете черти, или нет?“ „Как тебе, братец, сказать? — ответил фельдшер и пожал одним плечом. — Ежели рассуждать по пауке, то, копецно, чертей нету, потому что это предрассудок; а ежели рассуждать попросту, как вот мы сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря“. Читатель чувствует, что его хотят расемешить, но все-таки это прелестно.

Бунин и этим приемом пользуется скупо (хоть очень хорошо). Его проститутка молчит — точно немую убивают. Он действует иначе. „Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, папомипавшее летучую мышшь. Показывая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу...“ Больше ничего и не скажешь: „внешнее стало внутренним“. Дело художника сделало.

Убийду показать при помощи этого приема, художественной квадратуры круга, было, разумеется, много труднее. Но пусть судит читатель: „Необыкновенно высокий, худой и нескладный, долгоногий и с большими ступнями, с свежесвыбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброжелательным и сосредоточенным, с выпускающей длинные руки из карманов и равномерно жуя мундштук папиросы, он пололгу стоял перед витринами... Некоторые обгоняли его, с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял

оп сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черпую толпу, бегущую перед ним, почти противоестественно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни... Большое лицо его было почти свирепо в своей сосредоточенности...“ Поистине, то небольшое, что говорит о петлистых ушах Соколович, ненужно: по его наружности, без слов, без анализа, достаточно ясно, что это прирожденный убийца.

Возвращаюсь теперь к тому описанию Невского, с которого начал свою статью. Это и есть самое настоящее волшебство внешних приемов. Не стоит говорить о том, с каким искусством из миллиона черт ночного Петербурга подобраны именно те, которые надо было взять. Как хороша каждая подробность: „печально, по-ночному освещенный магазин“, „мертво торчащие ножки“, „винно-красные трамвайные огни“, „зеленоватые зарницы“, „большие редкие ресницы восковых красавцев“! Как уверенно, по безошибочному инстинкту, с точностью физического прибора меняется темп и ритм этого, казалось бы, простого языка — от короткой в пять слов фразы („Ночью в туман Невский страшен“) до торопливого топором рубленого периода с быстрым нагромождением семи, девяти причастий и деепричастий („Возле Палкина...“, „Густо, с однообразным топотом...“)! Весь этот страшный пейзаж непонятным образом, силой художественного колдовства подготавливает читателя к тому страшному, что должно случиться, сливается с ним, как Адам Соколович сливается с ночью на Невском проспекте. Тревожное настроение нарастает все быстрее и достигает поразительного напряжения в последней фразе того же петербургского пейзажа: „За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела“ (во дворе гостиницы „Белград“ проводились почные работы по ассенизации).

Убийство сделано как бы составной частью „ландшафта“ — петербургского ландшафта последней зимы перед революцией!

Я взял один рассказ Бунина — лучшее, на мой взгляд, из его коротких произведений. С таким же совершенством работает его художественный аппарат в больших книгах, в частности, в последней, в самой замечательной из них, в „Жизни Арсеньева“. Кажется А.И.Куприн, достаточно компетентный человек, назвал его „писателем для писателей“. Это верно. О словесной ткани и говорить не приходится: такой нет ни у одного из ныне живущих беллетристов. Не скрываю: я боюсь, что это искусство с Буниним кончится. В других руках, при меньшей изобразительной силе, с менее высокой по качеству материей слова оно чудес делать не будет и не может.

Тема же нашего знаменитого писателя, так заслуженно увенчанного теперь Нобелевской премией, главная его тема — смерть. Гольбейну какой-то издатель заказал рисунки для дорогого шрифта — художник вместо заглавных букв, копровок, заставок нарисовал скелеты, гробы, могильные кресты. Этим гольбейновским Алфавитом Смерти написаны многие книги Бунина. Он с этим не согласится. Да и я хорошо знаю, как страстно любит жизнь и блага ее этот умница, *charmsig**, очаровательный собеседник — Иван Алексеевич. Помню и то, что у него, кроме „Господина из Сан-Франциско“, „Огня пожирающего“, „Исхода“, есть и „Солнечный удар“, и „Несрочная весна“ и многое другое. Но ведь это часто так бывает. Так было и у того оптимиста, который на знаменитых фресках Пизанского кладбища рядом с горами трупов изобразил роскошный пир синьора Каструччио Кастракани.

*Обаятельный человек (*фр.*).

Предисловие к книге М.А.Осоргина „Письма о незначительном“*

Михаил Андреевич Ильин, писавший почти всю жизнь под фамилией своей бабки Осоргиной, родился 7 октября 1878 года в Перми. И отец его, и мать, рожденная Савина, и бабка принадлежали к очень старым великорусским дворянским семьям, значащимся в Бархатной книге. Род Ильиных в известном труде князя П.Долгорукого отнесен к потомству Рюрика. Если не ошибаюсь, к этому роду принадлежал и художник-иконописец Андрей, сын Ильин, живший пять столетий тому назад. В более позднее время среди предков и родичей Михаила Андреевича были администраторы, ученые, генералы, адмиралы. Дмитрию Сергеевичу, герою Чесменского сражения, был поставлен морским ведомством памятник. Русский словарь, вышедший на рубеже настоящего и прошлого веков, причисляет к известным Ильиным и Владимира Ильина, „деятельного представителя русского марксизма“. И вправду „деятельного“: он впоследствии составил себе некоторую известность в мире под псевдонимом Ленина. Но это совершенное недоразумение: Ленин, как известно, ничего общего с Ильиными не имел, но только в свое время подписывал этим именем свои работы. Писателей в роде не было, за исключением одного малоизвестного драматурга XVIII века.

Отец Михаила Андреевича был судебным деятелем, принимал участие в реформах Александра II. Богат он не был. В своем дневнике, отрывки из кото-

*М.А. Осоргин, „Письма о незначительном“, Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1952

рого напечатаны в одной из книг сына, он называет себя „бедным дворянчиком“. Небогата была и мать Михаила Андреевича, институтка, не получившая шифра по случайности.

М.А. Осоргин всегда вспоминал о своих родителях с нежностью и гордостью. Не был вполне равнодушен и к своему происхождению. Родовитых людей, совершенно к этому равнодушных, почти не бывает. Я мог бы назвать П.Н. Милюкова. Он принадлежал к старому дворянству, был в родстве с Суворовым и никогда об этом и не упоминал. Другим, тут еще гораздо более разительным, исключением был писатель Петр Александров, он же принц Петр Александрович Ольденбургский; этот член императорской семьи по настроению, по быту, по многому другому был крайним демократом. Что до Михаила Андреевича, то он в „Чуде на озере“ говорит: „Мы — люди от земли, крепко с ней спаяны. Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю — из стараяваряжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки“. Его бабка, уфимская помещица, владелица имения Осорьино, говорила ему: „Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу“. Мне эти „столбовые“ представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутой ноге. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне „неведомым предкам“. В другой своей книге он писал: „Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась запово в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого“.

Родители его были образованные, умеренно-либеральные люди. Мать знала французский, немецкий, английский и польский языки. Была религиозна, но, как вспоминал сын, „никому не навязывала своей религии, даже детям“. Отец, член уголовного суда, на пикниках пел тюремную песню: „Как дело измены, как совесть тирана, осенняя почка темна!“ Среди кузин были даже и „стриженные“.

О своих родных местах М.А. в эмиграции часто говорил, что ничего равного им по красоте нигде не видел. Волгу пренебрежительно называл „притоком Камы“; на Сену же, где горе-рыбаки „удят подержанную кильку“, и смотреть не хотел. Кстати сказать, сам он, с детских лет и до последних, был страстным рыболовом, что несколько удивительно при его нетерпеливом и нервном характере (он писал, что у него в школьные годы была „опасная взвинченность нервов“). Страницы о берегах Камы, о пермских лесах разбросаны по разным его книгам и принадлежат к лучшему из всего им написанного. Недаром он был в родстве с Сергеем Аксаковым, в этом отношении, да и во многих других, писателем изумительным. Его именно в самое последнее время, через столетие, стали очень высоко ставить в Англии.

О пермской же классической гимназии у Михаила Андреевича, напротив, остались воспоминания крайне тягостные (прямо противоположные гимназическим воспоминаниям автора этих строк): „Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен, и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным“, — пишет он. Учителя „все пили дико и свирепо, и забывали подтяжки в публичных домах“! Все запрещалось. Считались „страшными, запрещенными и развратными даже Достоевский, Толстой, Шекспир, Байрон“.

Я был моложе Михаила Андреевича, но неужто нравы и обычай могли *так* измениться за одно десятилетие? Нам о названных выше писателях долго рассказывалось на уроках словесности, а тем из нас, которые получали „награды первой степени“, нередко давались в дар их сочинения (не все, первых двух). Очевидно, Михаилу Андреевичу особенно не повезло.

В гимназии он начал не только писать — это дело обычное, — но и печататься, что бывает реже. Вероятно, посылал свои произведения по разным редакциям. Однажды из петербургского „Журнала для всех“ пришел благоприятный ответ, вдобавок начинившийся словами „Милостивый Государь“, и в печати — да еще в столичной! — появился рассказ за подписью „М. Пермяк“. Кто это испытал, — впечатления не забудет. Михаил Андреевич стал писателем на всю жизнь.

Он благополучно окончил гимназию, хотя в восьмом классе, на уроке, за неожиданное приказание стать в угол, „вызвал на дуэль“ учителя немецкого языка, да еще при этом сказал: „Убью вас, как таракана!“ М.А. поступил на юридический факультет Московского университета. Студенческими годами и бытием студентов в Москве отведено много страниц в его художественных произведениях, но мне неизвестно, что именно в них автобиографично. Знаю только, что он принимал участие в обычных студенческих беспорядках, потерял год, высылался на родину „за защиту чести студенческого мундира“. Все же получил университетский диплом и стал помощником присяжного поверенного в московском судебном округе.

О своей адвокатской практике он часто рассказывал юмористически, всегда очень забавно. Первым его подзащитным был студент Лихоношин, который в пьяном виде снял на улице с городского фуражку и вытер ему этой фуражкой нос. Дело слушалось в двух инстанциях. На съезде мировых судей М.А. говорил о высокой миссии студенчества, о горящем в душе молодежи протесте. Председатель надрылся от смеха. Подсудимый был приговорен к штрафу в один рубль. Большой практики этот процесс Михаилу Андреевичу не создал. Впрочем, он скоро стал юрисконсультом богатого общества купеческих приказчиков, но и там ухитрился исполнять свои обязанности бесплатно. По своему характеру, едва ли разбогател бы, если бы и остался московским адвокатом.

Но он им не остался. Надвинулись тучи весьма грозные. М.А. примкнул к партии социалистов-революционеров и даже к левому крылу. Социал-демократом он стать не мог бы: всю жизнь очень не любил

марксизм и недолюбливал марксистов. Написал даже популярный когда-то подпольный антимарксистский памфлет „Молитва социал-демократа“. Не имел он большого успеха и у социалистов-революционеров. Как ему и полагалось, был в оппозиции главарям. Его кандидатура в московский комитет была снята из-за какого-то пустяка. Тем не менее, он после московского вооруженного восстания был замешан или был признан замешанным в серьезное дело и арестован. Просидел полгода в Таганской тюрьме, ожидая очень сурового приговора по самым страшным статьям закона. Мать его тогда именно скончалась, отчасти от горя и волнения. Кончилось дело относительно благополучно. Какие-то ведомства между собой враждовали, одно из них его выпустило под залог, он уехал в Финляндию, затем в Италию. Больше он ни в каких партиях, насколько мне известно, никогда не состоял. Трудно было бы себе представить менее „партийного“ человека. Удивляюсь, как он мог быть в партии, хотя бы в ранней молодости и очень недолго.

В Италию он тотчас по-настоящему влюбился — по-иному, по почти так же страстно, как в свои родные края. Прожил лет восемь то в Риме, то на морском побережье. За это время стал очень известным журналистом и писателем. Писал в „Вестнике Европы“, в „Русском богатстве“, в „Новом журнале для всех“ и стал постоянным корреспондентом „Русских ведомостей“. Эту газету читала и справедливо считала вся русская интеллигенция. Превосходные корреспонденции Михаила Андреевича (хорошо их помню) обратили на себя общее внимание. Подписывался он „Осоргин“. В документах значился под двумя фамилиями: сначала Ильин и в скобках Осоргин, затем наоборот. Позднее остался Осоргин просто. Под этим именем он и умер, но перед смертью выразил желание, чтобы в надгробной надписи значились обе фамилии. Эта его воля была исполнена.

Он написал две книги в Италии, обе о ней, одну — специальную по заказу Словаря Гранат, другую — сборник бытовых очерков. Часто к Италии возвращался в книгах, написанных уже после революции, как „Там, где был счастлив“ и „Книга о концах“.

Ездил он, в качестве корреспондента, и на Балканы, в пору тамошних войн.

Вернуться в Россию он легально не мог бы. Но в 1916 году вернулся самовольно, сославшись на то, что военное ведомство призвало его возрастной класс. Проехал кружным путем через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Репрессиям его не подвергли, главным образом вследствие заступничества В.А.Маклакова. По недостаточному крепкому здоровью Михаил Андреевич мобилизован не был. „Русские ведомости“ отправили его корреспондентом на западный фронт. Если память мне не изменяет, его военные корреспонденции имели меньше успеха. Он писал о войне не так, как тогда полагалось даже в „Русских ведомостях“.

Революция застала его в Москве. При его имени, при влиятельности его газеты, при больших знакомствах в либеральных (в широком смысле слова) кругах Москвы и Петербурга, он без труда мог бы получить видную должность и в России, и по дипломатическому ведомству. Правда, „предложение“ было в ту пору очень, очень велико. Но и „спрос“ был громадный. Михаилу Андреевичу было сделано очень лестное предложение. Он его отклонил — по своим взглядам, по своему отношению к государственности. Ненадолго принял работу по разбору архивов Охранного отделения, однако и это скоро признал ошибкой: разоблачение бывших секретных агентов тоже не согласовалось с его убеждениями. А 25 октября *этот* спрос кончился, начался совершенно другой.

При большевиках М.А. редактировал кооперативную газету „Власть народа“, литературную „Понедельник“, затем газету „Помощь“, закрытую советскими властями на третьем номере. До настоящего террора, начавшегося осенью 1918 года и больше не кончавшегося, еще можно было печататься в разных специальных изданиях, как „Голос минувшего“ или „Среди коллекционеров“. Михаил Андреевич в них и печатался. Принял участие в создании Союза журналистов и Союза писателей; в первом был председателем, во втором товарищем председателя. Был также деятельнейшим работником „Лавки писателей“. Эта лавка, о которой не раз упоминается в романе „Сив-

цев Вражек“, давала возможность как-то (очень плохо) жить и даже приобретать редкие книги. Странное и трогательное было учреждение. Оно в эмигрантской печати позднее описывалось.

Держал он себя при большевиках со своей обычной независимостью, составлявшей одну из лучших и благороднейших особенностей его характера. Поэтому ли или по случайной причине был в 1919 году арестован — и неожиданно посажен в „Корабль Смерти“. Эта страшная подвальная камера описана им в „Сивцевом Вражке“. Сидели там и политические враги советской власти, и бандиты. По общему правилу не засиживались, особенно первые. Все-таки кое-кто спасался. По-видимому, власти сами не знали, за что посадили в эту тюрьму Осоргина. Это особенным препятствием для расстрела быть не могло, но чертовы качели качались как им было угодно. Качнулись для Осоргина удачно: по ходатайству Союза писателей его освободили, не подвергнув никакой каре и даже не помешав его участию в Обществе помощи голодающим. Впрочем, осенью 1921 года его опять арестовали вместе с другими участниками этого общества. За всех заступился Фритзьоф Напсен. Большевики еще пемпого с ним считались. Часть русской эмиграции не очень любила своего полукоропованного короля. Но едва ли кто будет отрицать, что этот очень выдающийся человек, автор одной из самых замечательных книг в литературе путешествий сделал на своем веку больше добра, чем значительное большинство людей. Михаил Андреевич отделался ссылкой в Казань. Весной 1922 года он был возвращен в Москву, а осенью того же года, вместе с группой профессоров, писателей и общественных деятелей, был выслан в Германию. Веймарское правительство согласилось выдать им визу, если *они* о ней попросят. Как рассказывал мне когда-то покойный В. А. Мякотин, германский консул в Петербурге гневно сказал ему: „Наша страна не место для ссылки! Но если *вы* выразите желание получить визу, я вам ее дам“. Венедикт Александрович так и сделал. Не помню, как сделали другие. Часть высланных очень хотела уехать, другая часть — не очень или совсем не хотела. Многие ли пожалели, что уехали? (Впрочем, у них выбора не было.) Жалел ли по-настояще-

му Михаил Андреевич? В СССР он со своим характером непременно погиб бы не позднее чисток 1937 года, а скорее много раньше. Однако он не раз говорил, что *добровольно* ни за что России не покинул бы. Ему не суждено было снова ее увидеть — как, вероятно, не увидит ее и большинство из нас, давних эмигрантов.

М.А. прожил год в Берлине, был членом редакции газеты „Дни“, уехал читать лекции в Италию, затем поселился во Франции. Писал в „Днях“, в „Последних новостях“, в „Современных записках“, в „Голосе минувшего на чужой стороне“. Помещал в одной из шведских газет статьи о русской литературе (в Швеции его любили и много переводили). Как всю жизнь, он много работал. Главные и лучшие его книги вышли в эмиграции. Привожу список его произведений, быть может, и неполный: „Очерки современной Италии“ (Москва); „Призраки“ (Москва); „Сказки и несказки“ (Москва); „Из маленького домика“ (Рига); „Сивцев Вражек“ (Париж); „Повесть о сестре“ (Париж); „Там, где был счастлив“ (Париж); „Вещи человека“ (Париж); „Чудо на озере“ (Париж); „Свидетель истории“ (Париж); „Книга о концах“ (Берлин); „Волный камень“ (Париж); „Повесть о некоей девице“ (Таллинн); „В тихом местечке Франции“ (Париж) и, наконец, настоящая книга. Некоторые его журнальные работы не выходили отдельными изданиями. Кроме того, он много переводил с итальянского: Гольдони, Карло Готци, Пиранделло. Переведенная им по заказу Вахтангова пьеса Готци „Принцесса Турандот“ шла в Москве с 1922 года в 3-й студии Художественного театра.

В июне 1940 года, за два дня до прихода гитлеровских войск, Михаил Андреевич бежал из Парижа. Он поселился в местечке Шабри, в так называемой свободной зоне Франции, но на самой границе земли, занятой немцами: они были от него на расстоянии нескольких десятков метров. Его бегство и быт Шабри с очень большой яркостью и художественной силой описаны им в книге „В тихом местечке Франции“. Это одно из лучших его произведений. Оно очень волнует, особенно тех, кто бежал почти одновременно с ним, почти в тех же условиях. Некоторые страницы незабываемы.

Жил он в этом местечке плохо. „Низкий потолок, скрепленный прочными балками, стены выбелены известью, в кухне железная плита, прислоненная к вышедшему из быта обширному камину. Мебель убогая, но не ограничивающаяся обширной кроватью, и есть даже обеденный стол, который я приспособил к нуждам своей профессии: он уже занят чернильницей, папками рукописей, табаком, пепельницей и единственными книгами, легшими в основу будущей (которой по счету?) библиотеки. Книг три, и все о рыбной ловле, оставленные мне усхавшим любителем... Номер иллюстрированного журнала за 1867 год...“

Начиналась новая — последняя и не длинная — глава жизни. В некоторых отношениях она поразительна. „В моей долгой жизни, — говорит Михаил Андреевич, — время от времени зачеркивается все прошлое, вся его внешняя обстановка и весь его внутренний смысл, сколько-нибудь с ней связанный; и тогда жизнь начинается сызнова, с первого камня нарастающих стен. Так было в России, так было дважды при расставании с ней. Так случилось и теперь. Может быть, это — злой рок; может быть, есть этому причины — я их не знаю. Я знал их давно, в молодости, когда считал преследования высокой честью; сейчас мне это только противно, как всякое насилие, как всякая бессмыслица“.

У него уже давно была сердечная болезнь. Она скоро осложнилась в Шабри. Страшная общая катастрофа потрясла его и физически. „Что такое общественное несчастье по сравнению с личной неприятностью?“ — говорил граф де Сегюр, — говорил без малейшей иронии, без всякой насмешки над собой или над другими: просто констатировал то, что, по его наблюдениям над собой и другими, казалось ему бесспорной истиной. К Михаилу Андреевичу эти слова не относятся, но и „личных неприятностей“ у него было достаточно, хоть и меньше, чем у столь многих других в то время. Денег, конечно, не было никаких. Немцы произвели обыск на его парижской квартире, вывезли книги и рукописи, запечатали двери. Он понимал, что в случае, если они только перейдут пограничную речку Шер, дело его плохо. Была еще

одна „личная неприятность“: он *знал*, что умирает, и даже верпо установил срок.

Он стал писать, — об этом дальше. Сердечные боли усиливались с каждым днем. В своем прощальном письме к друзьям, написанном за три месяца до кончины, он говорит: „Пишу, считая себя обреченным на очень скорый уход из жизни (если ошибаюсь, то не очень) и при каждом припадке мечтая об уходе скорейшем, так как я замучен физическими страданиями; сейчас спокойно говорю то, о чем кричал бы в минуту удушья, если бы мог кричать, не находя воздуха“.

Михаил Андреевич скончался 27 ноября 1942 года в полном сознании. Он похоронен в Шабри, на маленьком безымянном сельском кладбище.

Это был человек, на редкость щедро одаренный судьбою, талантливый, умный, остроумный, обладавший вдобавок красивой наружностью и большим личным очарованием. У него были враги, и политические, и личные. Первых было много, вторых было мало. Но думаю, что все хорошо знавшие его люди признавали его редкие достоинства, его совершенную порядочность, благородство, независимость и бескорыстие. О бескорыстии говорю в широком смысле слова. Пожалуй, я не знал человека, более равнодушного к деньгам, — хотя он любил все радости жизни, а из них ведь многие именно от денег зависят. Михаил Андреевич никогда не был ни богатым, ни состоятельным человеком и с ранних лет до конца жизни жил исключительно своим трудом, даже во второй своей эмиграции, когда это было очень трудно и удавалось лишь немногим „счастливым“. Бывали у него, кажется, и периоды настоящей нужды. Это часто оставляет след на душе человека — на М.А.Осоргине не оставило никакого. Он всю жизнь был „барином“ — в соответственном смысле слова. Однажды, после большого успеха в Соединенных Штатах его романа „Сивцев Вражек“, у Михаила Андреевича появились немалые, по эмигрантским понятиям, деньги. Он очень скоро все истратил. Чтобы оказать услугу даровитому поэту, с которым не был даже близко знаком, издал на свои средства книгу его стихов, зная, что коммерческого издателя

поэт не пойдет: стихи товар не ходкий. Но М.А. был бескорыстен и не только в денежных делах. Ни к какой „карьере“ он не стремился. Как все писатели, бывал, конечно, рад успеху своих книг или статей, но о „рекламе“ совершенно не заботился. Я был когда-то редактором литературного отдела газеты „Дни“ и завел там рубрику „В кругах писателей и ученых“. Обычно писатели и ученые сами посылали мне материал для этой рубрики. Тут, разумеется, решительно ничего дурного нет, это вполне естественно: откуда же редакции знать, над чем работает тот или другой писатель или ученый и на какой язык его переводят? Михаил Андреевич, несмотря на мою просьбу, ничего мне не присылал. Не было и его юбилеев, не было его вечеров — они в эмиграции устраиваются не для рекламы, и он имел на них все права. М.А. выступал только тогда, когда надо было кому-либо помочь.

Писал он только в „левых“ периодических изданиях. Они тоже не соответствовали его взглядам, но больше соответствовали, чем другие. Если б М.А. хотел сотрудничать лишь в изданиях, его взгляды разделяющих, то ему писать было бы негде. В „Последних новостях“ у него случались столкновения с П.Н.Милюковым. Павел Николаевич отдавал должное его таланту журналиста, по некоторым его статей не пропускал: „Я государственный и не могу печатать статьи анархические“. Надо ли говорить, что „анархистом“ Михаил Андреевич был по-своему и что он никак, ни в малейшей степени, не сочувствовал террору прежних анархистов. Но он относился с высоты ко *всем* правительствам, ко всякой государственной власти. После выхода в свет „Сивцева Вражка“ я как-то за ужином сказал М.А., что, по-моему, уж слишком много в этом романе приблизительных знаков равенства между явлениями, которые сблизать никак нельзя: „Во имя чего вы их сблизаете?“ Он ответил, что знаков равенства не ставит, критикует же все во имя строя, свободного от принуждения и насилия. Не уточнил, какой это строй. Роман начинается словами: „В беспредельности Вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александро-

вич“. Дальше шли страницы о мышке, выползшей из-под книжного шкафа. И тут было тоже некоторое подобие знака равенства. Одна из последних книг Михаила Андреевича „Происшествия зеленого мира“ с ее „Огородными записями“ указывает, что именно важно: „Миросозерцание не строится прочно на зыбкой почве отвлечений. Построим его на твердой земле, родоначальнице живущего, на любви к природе, ничем слова „любовь“ не заменяя. А как это выразится вовне, — это не важно, чисто условно, опять же — вопрос техники. Мне ближе и роднее форма шутки и незлой усмешки, другому — пафос, третьему — крепость таблицы умножения. Но, дети одной матери-земли и одного отца-солнца, мы легко сговоримся и пойдем друг друга“.

Нет, не так легко сговориться, даже если друг друга и поймешь (что гораздо легче, особенно писателям). Быть может, основная особенность М. А. Осоргина в том, что он был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог. На Западе это тоже редчайшее исключение. Терпеть не мог политику сам Макиавелли, написавший, быть может, самый знаменитый, как бы к нему ни относиться, политический трактат в истории. Он принимал важные политические поручения и тотчас неизменно и настойчиво просил свое правительство его от них освободить — надосло, устал. Правда, М. А. никаких поручений и не принимал. Но и писать политические статьи было при его взглядах очень трудно.

„Сивцев Вражек“ считается самым значительным его произведением. Этот роман о мировой войне и русской революции в самом деле очень значителен по замыслу и своеобразен по выполнению. Он отчасти построен на сопоставлении живых существ разного рода. Написана книга короткими главами: есть главы о людях высокой культуры, о милых барышнях, о чекисте, о палаче, о ласточке, о кошке, о крысе, об обезьянах. Их внутренняя связь освещает любимые папистические мысли автора. По форме эта книга стоит особняком в эмигрантской литературе и выделяется среди других художественных произведений М. А. Осоргина. В ней есть необычные для него стилистические приемы, особенно в военных сценах: „По-

лов надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, — вам еще это незнакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь, солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг!“ Есть большие словесные удачи, настоящие находки: „В этот день (первый день весны. — М.А.) семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение“.

„Сивцев Вражек“ выдержал в оригинале два издания, что редко случается в эмиграции. Роман имел большой успех и в иностранных переводах, особенно в Соединенных Штатах. Мне говорили, что его цитировали американские профессора на лекциях о русской революции. Кажется, и Михаил Андреевич считал его своей лучшей книгой. Я сказал бы, что в чисто художественном отношении самое лучшее его произведение — это неоконченная и не вышедшая отдельным изданием повесть „Времена“, печатавшаяся как раз перед второй войной в журнале П.Н.Милокова „Русские записки“. В этой повести превосходит все, и я жалею, что не могу процитировать из нее целые страницы. Отсылаю к ней читателя. Превосходен и ее язык — Михаил Андреевич был большим знатоком и тонким ценителем. К какой именно традиции он принадлежит в русской художественной мысли? М.А. с юных лет любил Тургенева и особенно Гончарова. Не любил Достоевского. „Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же „Дневник писателя“ не оттолкнул меня, зачеркнув в нем все, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним навсегда“. Точно так же он подошел в то время

и к Толстому, но тут результат был прямо противоположный. „В последний год мы читали Толстого, — и все, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Я был раз навсегда побежден и поставлен на колени... В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и по сей час мне кажется непостижимым... Что нужно для этого (для создания „Войны и мира“. — М.А.) сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака?.. Лев Толстой был и остается российским чудом...“

М.А. Осоргин подходил к великим писателям с точки зрения обеих „правд“ Михайловского. Повлияли на него и обе правды Толстого. Во всех почти его произведениях, особенно же в „Происшествиях зеленого мира“, можно кое-где пайти легкий, отдаленный отзвук знаменитого начала „Воскресения“: „Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее... Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга...“

Я в другом месте подробно пишу о „бескрайностях“, в которых иностранцы видят особенность русской культуры. Почему-то эта идея польстила русскому национальному самолюбию. Между тем она в высшей степени спорна. Почти все классические русские писатели, композиторы, художники, за одним (или, быть может, двумя) исключениями, ни в политике, ни в своем общем понимании мира, ни в личной жизни „максимализма“ не проявляли. Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Писемский, Чехов, Мусоргский, Боро-

дип, Чайковский, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Врубель, Лобачевский, Чебышев, Менделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьевы (называю только умерших) были в политике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без всяких признаков „бескрайности“. Достоевского должно считать исключением в жизни, можно — с оговорками — считать исключением в философии и уж никак нельзя — в политике: автор „Дневника писателя“ был все-таки „умеренный консерватор“. Толстой поздних лет, Толстой „Воскресения“ и философских работ, конечно, *был* исключением. И М.А.Осоргин к этой его традиции в какой-то мере, по-своему, принадлежит.

Особняком стоят две последние его книги, „В тихом местечке Франции“ и та, которую выпускает Издательство имени Чехова. Они тесно между собой связаны. Едва ли еще какие-либо книги в русской литературе были написаны в таких условиях, как „Письма о незначительном“. Из Шабри Михаил Андреевич стал писать корреспонденции в Нью-Йорк, в газету „Новое русское слово“. Они, естественно, проходили через цензуру петеновского строя. „В зоне свободной, — пишет автор, — по причинам мало понятным, быть может, из опасения коммунистической пропаганды, контроль доведен до последних пределов, причем организован настолько плохо, что вместо суток письма идут часто неделями и больше даже между почтовыми отделениями на расстоянии нескольких километров. Контролируется, конечно, переписка с границей, причем авионы из Америки приходят иногда с наклейками цензуры *германской* (подчеркнуто мною. — М.А.) при марсельском штемпеле“. От этого „иногда“ в ту пору зависела жизнь Михаила Андреевича.

Читатель увидит, *что* писал автор корреспонденций. Привожу наудачу цитаты: „Немецкой расе свойственен гений второстепенности: обстоятельнейшее развитие чужой идеи, исчерпывающее применение на практике чужих открытий. Ум не постигающий, но незаменимый в исполнении, изумительный в использовании и приспособлении..“ „В Париже, задолго до вторжения Германии в Россию, еще в дни союзных между этими странами отношений, немцы без

всяких объяснений вывезли из квартир русских, бежавших и оставшихся, эмигрантов и советских, как и из принадлежащих русским учреждений, книги и имущество, не в порядке реквизиции, а просто так, в порядке любопытства к чужой собственности...“ „У демократической Европы два врага: гитлеризм и большевизм, родные братья. Кто из них враг помер первый? Один из них посягает на переустройство всей Европы, другой пока сидел дома и отравлял жизнь своим гражданам. Они могли бы нежно обняться, но, очевидно, они не поняли и не оценили друг друга, и дружба их оказалась недолгой. Это понятно. Гитлеризм — явление национальное, коренящееся в основах германской культуры, и это доказано веками; большевизм явление временное, глубоко чуждое культуре русской, гуманистической и пронизанной духом независимости, терпимости, жертвенности, самоотречения. Враг помер первый ясец — колебаний в выборе быть не может“.

Это тогда печатал в Соединенных Штатах живший легально во Франции русский эмигрант, с которым национал-социалисты в любое время могли сделать что угодно.

Каким образом эти корреспонденции проходили в Америку? Могу это объяснить только тем, что французский цензор (бывали всякие) сам в душе сочувствовал мыслям и настроениям едва ли ему известного русского писателя, — по крайней мере, многому в них. Рисковал и цензор, но он хоть мог бы, в случае провала, сослаться на недосмотр, на недостаточное знакомство с русским языком, на переобременение работой и т.п. Осоргин ни на что сослаться не мог. Теоретически можно было думать, что национал-социалисты следят за всем, что печатается в мире, в особенности во вражеских странах. Могли быть и доносы, их было везде достаточно. Конечно, не один Михаил Андреевич думал тогда о национал-социализме то, что сказано в настоящей книге. Но другие говорили это в свободных странах и никакой опасности не подвергались. Очень многие французские писатели и французы вообще (к счастью, даже громадное большинство) думали так же, как он. Но кто же *так* писал в занятой немцами Европе — не принимая мер предосторожности *подпольной* печати? Не хоте-

лось бы повторять пошлое по форме, еще более опошленное вечным повторением слово: „безумство храбрых“, — однако оно здесь уместно. Для совершенно бесправного человека, как Осоргин, выходец из воевавшей с Германией страны, каждая из его статей могла означать гибель — гибель в самом настоящем смысле слова. Помню, когда его корреспонденции стали появляться в „Новом русском слове“, мы их читали с ужасом: „Ведь его отправят в Дахау“, — говорили все. Как ни ценила редакция его прекрасные статьи, она их не помещала бы, если б не знала, что он на этом настаивает, что он этого требует. Они очень легко могли попасться и германскому цензору, и уж он-то, наверное, доложил бы о них куда следовало. Разумеется, гестапо имело полную возможность распоряжаться судьбой любого из трех тысяч жителей Шабри. Я думаю, что уже по самому своему происхождению, по тому, *как* и *где* эти статьи писались, они составляют настоящую гордость русской публицистики.

Скажу откровенно: я с многим в них не согласен. Отдаю должное М.А. Осоргину: он не занял в последние два года своей жизни позиции *au-dessus de la mêlée*,* которую занял в пору Первой мировой войны Ромен Роллан. Однако, пока Гитлер не объявил войны России, Михаил Андресвич *как будто* был склонен защищать политику невмешательства Москвы. В главе „О бюллетенях“ я с недоумением читаю страницы о „русских загадках“: „Два соперника дерутся, третий стоит в стороне и наблюдает. И не только любит, а и подзуживает: „А ну-ка, дай ему под микитки. В зубы, в зубы норови!“ И нет ему никакого интереса в том, чтобы борьба кончилась, — всякий лишний удар, всякое новое увечье доставляет ему и прекрасное зрелище, и невинный доход. Когда обе стороны лягут костями — сторонний зритель погладит бороду и сядет за стол съесть и свою, и их порции. Не вы ли говорили о реальной политике? Это и есть реальная политика, выражающаяся формулой *tertius gaudens*“. Но может быть, этот третий проиграет, если один из дерущихся окажется

*Над схваткой (*Фр.*).

*Третий радующийся (*лат.*), т.е. человек, выигрывающий от распри двух сторон. — *Прим. ред.*

победителем? Может быть, но псевдовероятно. Во-первых, он уже выиграл и продолжает выигрывать за счет борющихся; во-вторых, в такой борьбе не бывает победителей — бывают только побежденные, и даже выжившему придется долго зализывать раны. В-третьих, реальные политики думают о настоящем и о ближайшем будущем, которое история запишет на их счет; отдаленное сокрыто от нас туманом, о нем будут думать наши дети и внуки. Наконец, на крайний случай, можно добить лежачего и выиграть на этом, разом разрешив „русскую загадку“. Только не ждите от реального политика никаких моральных жестов! Политика разума исключает мораль. Как быть с провозглашенной высокой идеологией? Во-первых, идеология — надстройка, во-вторых, не эта ли идеология отвергалась „моралью“ Европы? Не она ли осуждена? Не с нею ли боролись? Кто же может теперь настаивать на ее последовательности?”

Иронический тон, в котором М.А.Осоргин так часто, даже почти всегда обсуждал вопросы *практической* политики, не дает возможности вполне ясно определить смысл его слов. Конечно, он не защищал тут полностью политику Москвы, то есть договор Молотова с Риббентропом. Но, по-видимому, он полностью ее и не отвергал. У Михаила Андреевича и прежде бывали дни, когда „мораль“ Европы вызывала у него слишком сильное раздражение. У кого это не бывало, и я не призываю эту мораль (в кавычках или без кавычек) оправдывать. Однако М.А. порою из ее оценки делал странные выводы. В книге „В тихом местечке Франции“ он прямо говорит: „Нет, не стоит жалеть Европу“. Говорит там же: „Иностранцы, мы делим судьбу французских беженцев, не ставя вопроса о том, почему и за что мы должны ее делить“. Все это, конечно, писалось именно в *такие* дни, — и нервы у нас у всех тогда, тотчас после мировой и личной катастрофы, были совершенно издерганы. Приходится все же сделать вывод, что он, не оправдывая советской политики, считал ее в ту пору весьма неглупой.

Всемирно известно, что дала эта „реальная политика“. Ее результаты не так уж трудно было и предвидеть, но они совершенно выяснились очень скоро. Предсказание Михаила Андреевича не исполнилось. Про-

изошло то, что он считал „невероятным“. „Уже выиграл и продолжает выигрывать!“ — За этот выигрыш Россия заплатила гибелью миллионов людей. Всякое другое правительство заняло бы в 1939 году позицию, прямо противоположную сталинской. Тогда почти наверняка и войны не было бы: это достаточно подтверждается опубликованными с той поры материалами. Если же война началась бы, то Россия вела бы ее при помощи французской и других армий, и вражеские войска не дошли бы до Волги и Кавказских гор (в первый раз в новой русской истории). Вдобавок СССР не был даже нейтрален, а просто оказывал помощь Гитлеру.

Не будем вступать в спор с давно умершим писателем. Да и кто же из нас не ошибался? Те разногласия, которые могли тогда с ним быть, исчезли с июня 1941 года. Первую же свою статью, написанную после объявления Гитлером войны России, он начал словами: „Отныне и впредь я могу говорить с вами только о том, что не касается ни войны, ни политики, ни вообще современности“. На самом деле продолжал говорить и о войне, и о политике, и о современности: говорил часто превосходно, с настоящим краспоречием, с большой логической силой, с редким именно „моральным“ подъемом. Свою книгу он назвал „Письма о незначительном“. Читатель увидит, как неверно это заглавие. Скажу еще раз: многие его статьи были подвигом. Друзья Михаила Андреевича знали, что ничего недостойного этот совершенный джентльмен сделать просто не мог бы. Но в ту пору он вел себя героем.

М.А.Осоргин где-то шутливо говорит, что на оптимизм надо бы ввести продовольственные карточки: „На каждого придется мало, но зато придется на каждого“. Сам он в такой карточке пуждался меньше, чем очень многие из нас: М.А. прожил сравнительным оптимистом почти всю жизнь; верил если не в светлое, то в не очень мрачное будущее и мира, и России. *В общем*, и жизнь его была относительно счастливой, хотя он прожил в изгнании половину отпущенных ему лет. Но в последние месяцы перед концом его „продовольственная карточка“ стала истощаться. В том волнующем прощальном письме к друзьям, которое я уже цитировал, он говорит слова

совершенно безотрадны, даже полные отчаяния. Многие я выпускаю, приведу только несколько строк: „Двуное в массе, так заполнившее и загрязнившее землю, мне противно, не стоило строить свою жизнь на идеях счастья человечества, но отдельных людей нельзя не любить и не ценить, — люблю и ценю их, и впереди всех вас, мои милые друзья. В вашей среде пережито лучшее, если даже в форме прекрасных самообманов. Весь смысл жизни — общение с хорошими людьми, союз душ, легкий и свободный. Остальное — народ, страны, формы социальной жизни, — все это выдумки... Успел в последние дни, читая между припадками, постигнуть не только нищету философии, но и позор ее нищеты: блестящие порывы и взлеты умов, прицепленных за пятачок у самой поверхности земли. На случай прощайте, любите меня ушедшим, как любили живым (с критикой, но всегда доброжелательной). Этой записочки не стыжусь: если даже и преждевременна, все же не напрасна, пригодится. Я же настолько ясно предстою смерти все эти ночи, что хотелось с вами поговорить и проститься“.

Предисловие к книге И.А.Бунина „О Чехове“*

В их пути к славе было немало общего. Литературная судьба обоих была на редкость счастлива.

Чехов был внуком крепостного крестьянина, родился в бедности, в глухой провинции, в мало образованной семье. Это могло предвещать трудную, медленную дорогу к успеху. Вышло как раз обратное. Тяжело жилось лишь в первые годы. Скоро открылись перед ним лучшие журналы России. Ему еще не было двадцати восьми лет, когда была поставлена его театральная пьеса „Иванов“. В том же возрасте он получил Пушкинскую премию; сорока лет от роду стал академиком. Литературный заработок дал ему возможность очень недурно жить, содержать большую семью, купить имение, потом дачу в Крыму, путешествовать по Европе и Азии, подолгу жить в Ницце. Маркс приобрел собрание его сочинений за семьдесят пять тысяч золотых рублей. В Западной Европе почти не было — да и теперь почти нет — писателей, которые проделали бы столь блестящую карьеру. Перед кем, например, из французских писателей так рано открывался доступ в Академию, в *Comédie Française*, кому из них издатели платили такие деньги?

Правда, *мировая* слава пришла лишь после его смерти. При жизни он был за границей мало известен. В одном из своих писем он отмечает — очевидно, как „событие“, — что его перевели на датский язык, и забавно добавляет: „Теперь я спокоен за

*И.А.Бунин, „О Чехове“, Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1955

Данию". Помню, я мальчиком на заграничном курорте узнал о кончине Чехова из немецкой газеты: в Баденвейлере от чахотки скончался русский писатель Антон Чехов... Заметка была коротенькая, в пять-шесть строк, и вполне равнодушная (в России, напротив, было то, что можно было бы назвать — и называлось — взрывом национального горя).

Когда именно его открыли за границей? Алексей Толстой уверял меня, что это было в начале первой войны: „Тогда союзникам спешно понадобилась русская душа“. Это неверно. Уже в 1909 году Арнолд Беннетт писал в своем „Дневнике“ (запись от 26 февраля): „Все больше меня поражает Чехов, все больше склоняюсь к тому, чтобы писать много рассказов той же техники“ („in the same technique“). (Позднее, переезжая на другую квартиру, он записывает: „Купил другой экземпляр полного собрания Чехова. Не мог бы обойтись без него дольше.“) В настоящее время в англосаксонских странах Чехов признан мировым классиком. „Ничей актив не расцепивается теперь так высоко лучшими критиками, как актив Чехова, — говорит Сомерсет Моэм в предисловии к „Altogether“. — Восхищаться им это признак хорошего вкуса... Не любить его — значит объявить себя филистером“.

Бунин принадлежал к старой разорившейся дворянской семье. В ранней молодости и он был очень беден, но у него тоже период нужды длился недолго. Первые же его рассказы были замечены знатоками*. Рано пришли Пушкинская премия, избрание в Академию, слава после „Деревни“ и „Господина из Сан-Франциско“. В отличие от Чехова, он был признан миром при жизни — в 1933 году получил Нобелевскую премию. Прожил ее — и опять пришла тяжелая пужда: в конце жизни, как в ее начале. Чехов, к счастью для него, эмигрантом не был (а паверное, стал бы им, если бы дожил до 1918 года, и его замалчивали или громили бы в СССР те самые люди, которые теперь его там превозносят).

*Письмо Д.В.Григоровича к молодому Чехову всем известно. Меньше знают то, что 24-летнему Бунину Н.К.Михайловский написал чрезвычайно лестное письмо, — предсказывал, что из него выйдет большой писатель.

Очень они, как люди, были не похожи друг на друга. И все-таки что-то общее было, помимо огромного таланта. Оба были необыкновенно умны, оба обладали редким почти безошибочным вкусом; ценили они в литературе одно и то же, восторгались одним и тем же, не любили одно и то же. Оба боготворили Толстого и холодно (Иван Алексеевич и просто враждебно) относились к Достоевскому. Оба презирали то, что многие критики начала нашего столетия называли „декадентщиной“, они сами „фокусничеством“, а Толстой — „пересоленной карикатурой на глупость“.

Об их „credo“ говорить трудно — не любили они пышных слов. Оба не очень интересовались философскими и религиозными вопросами и говорили о них редко (между собой, вероятно, не говорили никогда). Обоим были чужды люди такого умственного и душевного склада, как, например, Владимир Соловьев или С.Н.Трубецкой. Представить себе Чехова или Бунина на кафедре какого-либо философско-религиозного общества просто невозможно. Часто цитируют слова Чехова: „Мое святое святых это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода“. Не очень ясно, — не поймешь, например, что такое „абсолютнейшая свобода“, но, если это — „credo“, то, пожалуй, Бунин к нему присоединился бы. Он ни к чему не „звал“ и не „вел“*. Тем не менее о политике порою говорил ярко и страстно, особенно когда дело шло о том, что он ненавидел. О Гитлере, о Сталине даже в пору их триумфов говорил открыто с совершенным презрением — и до конца своих дней необычайно восторгался Черчиллем. Его поведение в пору германской оккупации было выше похвал. Он укрывал у себя людей, которым грозила опасность, не напечатал за пять лет в поработочных странах ни одной строчки, писал письма по тем временам по меньшей мере неосторожные. Я уверен, что так вел бы себя и Чехов, если б дожил. Его тоже часто попрекали в отсут-

*Гиппиус в статье о Чайковском в „Живых лицах“ говорит: „Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но „от них взять“ — надо; взять и идти дальше, вперед“. Иван Алексеевич подчеркнул последнее слово и написал на полях: „Куда это, сударыня?“

ствии политических убеждений. Однако чуть ли не единственное чрезвычайно резкое, если не просто грубое, письмо Чехова (с разрывом „даже обыкновенного шалочного знакомства“) было им написано В.М.Лаврову, говорившему в „Русской мысли“ об его „беспринципности“*. Отмечу в настоящей книге слова Бунина: „Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постройке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни! А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго“.

Оба были чрезвычайно независимые люди. Они и в искусстве шли обычно „против течения“. Предположение, что хоть одна их страница могла быть написана по „соцзаказу“, не вызывает даже улыбки. Но так же мало считались они и с тем, что можно было бы до революции назвать заказом общественного мнения. „Скучная история“, „В овраге“, „Деревня“ были скорее вызовом убеждениям наиболее влиятельных критиков.

О литературе они друг с другом говорили постоянно. „Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего, — вспоминает Иван Алексеевич. — Он был жаден до них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять с восхищением художественную черту, и уже по одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувствовать боль, что его нет“. Иногда Бунин читал вслух Чехову не свои, а *его* рассказы. Сам Чехов читать вслух не любил и не умел, у него была и плохая дикция, легкий дефект речи. Бунинское чтение его восхищало. Я не знал такого чтеца, как Иван Алексеевич, ни среди писателей, ни тем менее среди актеров. Иногда — особенно в небольшой аудитории — он производил впечатление необычайное. Знаю, что людям свойственно в таких случаях преу-

*См. Б.К. Зайцев. Чехов. Литературная биография, Издательство имени Чехова, 1954, стр. 93.

величивать свой восторг. Сохранился, например, рассказ Погодина о том, как молодой Пушкин в Москве читал свою „Комедию о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве“: „Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами; без всяких притязаний; с живыми, быстрыми глазами, с тихим приятным голосом; в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов, мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую, увлекательную речь!.. *Мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет*“* и т.д. Однако скажу, что навсегда в моей памяти осталось одно чтение Ивана Алексеевича, случайное, в его столовой, за чаем. Слушатель был, кроме меня, один: покойный писатель Нилус. „Никогда в жизни такого чтения не слышал, это верх совершенства!“ — совершенно справедливо сказал он.

Чехов, думаю, не оказал большого художественного влияния на Бунина (уж скорее Тургенев „Поездки в Полесье“ и, конечно, Толстой). Любили же они друг друга и как писатели чрезвычайно. „У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым, — пишет Бунин, — за все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: „Бунин уехал, и я один“. То же самое и я не раз слышал от Ивана Алексеевича, он говорил об этом с радостью, лицо его светлело. Вспоминает и Стапиславский: „В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И.А. Бунина с необыкновенным талантом представ-

* „Русская старина“, т. XXVII, 1880 г., стр. 136.

ляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Аптон Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто не умел смешить Аптона Павловича, как И.А. Бунин, когда он был в хорошем настроении“.

Но всегда они виделись на людях и не всегда Иван Алексеевич бывал в хорошем настроении (бывал часто блистателен и тогда, когда настроение было плохое). В общем, жизнерадостность у него почти до конца была редкая. О Чехове принято говорить обратное. Он решительно это отрицал: „Какой я нытик? Какой я „хмурый человек“, какая я „холодная кровь“, — как называют меня критики? Какой я „пессимист“?.. „Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один. А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел только честно сказать людям: „Посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!“

Тут спорить трудно. Шестов называл Чехова беспощадным писателем. Бунин в разговорах высказывался еще много решительнее. М. Курдюмов в своей книге „Сердце смятенное“ излагает содержание одного мрачного рассказа Чехова. Иван Алексеевич на полях пишет: „Да, *везде* (подчеркнуто им. — М.А.) у него мерзость и ужас“. Быть может, сам почувствовал несправедливость своей записи (ведь не „везде“, конечно): читая в той же книге о „предельном внутреннем тупике“ у Чехова, Бунин написал: „Преувеличение ужасное!“ — Не любил всю жизнь преувеличений. Автора „Скучной истории“ будто бы *мучила* участь человека, — И.А. раздраженно подчеркивает слово „мучила“ и на той же странице приписывает: „Любил завтраки, обеды, ужины, колбасу Белова“. Это, кстати, мог бы написать и сам Чехов; ему замечание, верно, поправилось бы. Со всем тем разница между беспощадностью и „посмотрите, как вы все плохо и скучно живете“ не так велика, ее и установить трудно, и мало было выдающихся писателей, которые не подвергались бы упреку в „беспощадности“, в „черной краске“, в „поисках дурного в жизни и в человеческой природе“. Правильно говорил Бунин в письме к С.А. Венгерову, напечатанном в начале первого тома его собрания сочинений: „В угоду традициям и благодаря незнанию пародной жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих

произведениях, касавшихся народа: „а все-таки это не так“ — и, никогда не приводя никаких доказательств, отделявались „отрадными“ частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Гл. Успенского и Чехова, хотя Успенского тоже упрекали в „хмуром и желчном пессимизме“ и „полном незнании народа“, хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. О „Мертвых душах“ и о „Ревизоре“ кричали: „Это клевета, это невозможность“. Гончарову пришлось выслушать, что он „совершенно не понимает и не знает русского народа“. „Преступление и наказание“ называли (и не где-нибудь, а в „Современнике“) „клеветой на молодое поколение“, „дребеденью“, „глупым и позорным измышлением, произведением самым жалким“. Забавно тут то, что в молодости, после первых его рассказов, критики говорили о Буине противоположное: пет писателя „более тишайшего, человека более умиротворенного“.

„Тишайшим“ и „умиротворенным“ Ивап Алексеевич никак не был. Не был и Чехов. Если б были возможны и, главпос, пужпы способы какого-то статистического подсчета добра и зла в жизни, изображенной и не в самых безотрадных их произведениях (о „Палате № 6“ или о „Петлистых ушах“ не приходится и говорить), он дал бы, верно, результаты неожиданные, не столь уж отличающиеся от тех, какие дал бы такой же анализ, например, для Гоголя. Не стоит об этом и говорить. Россия поняла, оценила, превознесла Чехова и Буина, назвала их последними классиками. Что именно оценил по достоинству Запад? У Чехова — большая публика, преимущественно театральные пьесы, хотя они хуже его рассказов. Такие же подлинные шедевры, как „Палата № 6“, „Скучная история“, „Архиерей“, „Степь“, „Душечка“, „Именины“ едва ли могли быть поняты широкими массами западных читателей: слишком им чужды быт этих рассказов и даже, в меньшей все же степени, их дух. Не говорю тут о знатоках. Сомерсет Моэм справедливо называет рассказ „Архиерей“ „one of the most beautiful and touching of his stories“*. Так

*См. сноску на стр. 486.

же справедливо Беннетт говорит, что „Палата № 6“ — одно из самых необыкновенных и страшных произведений, когда-либо кем-либо написанных. Однако и он был поражен в этом рассказе преимущественно его *обличительной* стороной (уж очень слово „обличение“ неприменимо к Чехову). Действительно, в Англии, вернее, нет таких больниц, как описанная Чеховым; может быть, не было и в чеховское время. Но ведь и в старой России не каждый день врачи попадали в те дома умалишенных, где прежде сами лечили. У Бунина на Западе оценили лучше, но, кажется, не все лучше. „Господин из Сан-Франциско“ включен во многие антологии мировой литературы. А „Жизнь Арсеньева“, одна из самых замечательных книг в русской литературе, переводилась на иностранные языки гораздо меньше.

Разное бывает и мировое признание и не всегда оно прочно. Чехов, павшее, своей славой на Западе и не предвидел. Но он знал себе цену. „Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал: „Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов“, — рассказывает Бунин в этой книге. Да, именно, „Горький и Чехов“. На Западе, при его жизни, даже неизмеримо больше Горький, чем Чехов. В 1904 году, за несколько месяцев до его кончины, вышла книжка в двести страниц: „Жизнь и сочинения Максима Горького в оценке западноевропейской критики, перевод с английского А.М.Беловой“. Мне она попала совершенно случайно. Зачем она была напечатана — трудно понять. А просмотреть ее не слишком первому, ко всему привычному человеку стоит. В ней, конечно, говорится и о русской литературе вообще, упоминаются, как полагается, Толстой, Тургенев, Достоевский. О Чехове нет *ни слова*. Все о Горьком и чего только нет! Тринадцать глав, с заглавиями, по разделам. Последняя называется, например, „Этика Горького“ — просто Каут или Декарт! Много и биографических сведений; некоторые новы (по крайней мере для меня): „Дед мальчика (Горького) со стороны отца был армейским офицером, но при Николае I был разжалован за жестокое обращение с солдатами. Даже и для того безжалостного и жестокого века он являлся зверем“. Все обстоятельно. Есть и безумство

храбрых, и непроходимые леса России, и русская душа, и Прометеев огонь. В художественных оценках, разумеется, преобладает восторг: „Имя Максима Горького было занесено в золотую книгу великих людей России...“ „Россия имела бы в нем законного наследника знаменитого автора „Анны Карениной“, если б...“ — не все ли равно, какое „если б“? Спасибо и на нем. Впрочем, есть и другое: кое-кто из англичан находил, что „сенсация, вызвавшая его (Горького) произведениями, совсем не пропорциональна достоинству его сочинений“. — Неужели!

В.Н.Бунина ниже сообщает о материалах этой книги, выходящей посмертным изданием. Особое место в ней занимают письма Л.А.Авиловой. Читатели с волнением прочтут историю любви к ней Чехова. Письма Л.А. к Ивану Алексеевичу, его суждения незаменимы для биографов и критиков. Еще более важно все другое. Надо ли говорить, как драгоценно каждое замечание о Чехове Бунина. Немало восторженных отзывов о нем было и в письмах Ивана Алексеевича ко мне. Из этих писем большая часть (согласно!) погибла в Париже летом 1940 года. Все позднейшие, разумеется, сохранились. Скажу без колебаний, что письма Бунина, страстные, часто гневные, полные резких отзывов о нелюбимых им людях, вообще интереснее чеховских, — в них нет „капталупочек“ и „собачек“ в обращениях, нет „аутского мешанина“ или „Царя Мидийского“ в подписи, в них гораздо меньше шутовщины, несколько раздражающей при чрезмерном обилии. В письмах ко мне 1940–1953 гг. есть, кажется, только одно упоминание об Антоне Павловиче — и, в виде исключения, не восторженное: „Я только что прочел книгу В.Ермилова (В.Ермилов. Чехов. Молодая Гвардия. 1946). Очень способный и ловкий (опускаю одно слово. — М.А.) — так обработал Ч., столько сделал выписок из его произведений и писем, что Ч. оказался совершеннейший большевик и даже „буревестник“, не хуже Горького, только другого склада... Пьесы его (Чехова) мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897 года он был в Птб. и сказал Суворову („Дневник Суворова“): „Чайка“ Чехова вздор, ничего не стоящий... „Чайка“ очень плоха...

Лучшее в ней — монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу. В „Моей жизни“ Чехова герой читает столяру Островского и столяр говорит: „Все может быть, все может быть“. За столяра Чехову ставлю 5 с плюсом, Толстому за все эти слова — 50 с плюсом; ведь даже это заметил и вспомнил: „Все может быть, все может быть“ (письмо от 31 июля—1 августа 1947 года). Тут Ивап Алексеевич, конечно, „заострил“ свою мысль, как и Толстой*. В этой книге он высказался о „Чайке“ лестно. Но чеховских пьес вообще не любил, как и Толстой, хотя по другой причине: он говорил, что автор „Вишневого сада“ не знал жизни в помещичьих усадьбах. Едва ли это верно: Чехов жил в них подолгу, не один раз (например, в Бабкине, у Киселевых), да и в этом *необходимости* не было. Он, во всяком случае, знал много больше русских помещиков, чем Иван Алексеевич — американских миллионеров из Сан-Франциско или убийц-садистов вроде Соколовича из „Петлистых ушей“ (а оба рассказа принадлежат у Бунина к самым замечательным). Толстому же драмы Чехова не нравились собственно потому, что в них, по его мнению, не было действия.

Этот упрек не раз делали и Бунину. В связи с упреками приведу (к сожалению, с сокращением) отрывок из другого его письма ко мне (от 2 сентября 1947 года): „Будущий критик удивится, прочтя мое письмо к Вам, почему Бунин „точно огорчился от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с натуры“? Удивится не удивится, но это так: огорчаюсь. В молодости я очень огорчился слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что имепно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться „не по дням, а по часам“, как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очепь часто еще совсем не зная, что выйдет из нача-

*Лев Николаевич сказал, что при чтении Чехова порою испытывает нечто вроде „профессиональной зависти“. Кажется, он ни об одном другом писателе такого никогда не говорил.

того рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю „необыкновенной памятью“, что я все пишу „с натуры“, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!“ По-моему, эти строки Бунина чрезвычайно важны для суждения об его творчестве, да и о творчестве вообще. Достоевский не видел, как студент убивает старуху-процентщицу. А Марсель Пруст, несмотря на свой гений, даром „выдумки“ не обладал.

Чехов не дожид до *лучших* произведений Ивана Алексеевича. Тем больше ему чести — что так рано заметил и по достоинству оценил своего младшего годами собрата. В 1900 году (Бунину было тридцать лет) Антон Павлович подарил ему свой портрет с надписью: „Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением“. А вот что пишет Н.Д. Телешов в своих воспоминаниях:

„Я уже знал, что Чехов очень болен, — вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтобы не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя я был подготовлен к тому, что увижу, но то, что увидел, превосходило мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

— Умирать еду, — настоятельно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по „Среде“. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы не встретимся.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте“.

Такой же ужасный вид был и у Ивана Алексеевича, когда я его видел в последний раз (вечером 4 ноября 1953 года, за три дня до его кончины). Он тоже умирал долго и мучительно. Очень сложна была — особенно в конце — духовная жизнь этого необыкновенного человека, и было в ней многое, разное. Писал мне: „А чем я живу теперь „в высшем смысле слова“ — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему *как-то ни за что не верится*, что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, — о том, что я живу как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: „Мужайтесь, час ваш настал...“

Памяти А.И.Куприна

Если бы Александр Ивaпович Куприн скончался в Париже, его у нас, наверное, проводили бы к могиле так же, как Шаяпина. Но и без того память его была за рубежом России почтена всеми как следовало. Холодка, который мог бы создаться довольно естественно, в эмиграции не чувствовалось или почти не чувствовалось.

В СССР, напротив, был даже не холодок, а самый настоящий бойкот. Куприн скончался от рака, в петербургской больнице имени Эрисмана, в ночь на 25 августа. В „Правде“ и в „Известиях“ 26 августа помещено было внизу последней страницы, рядом с объявлением „директдела лепинской ж.д.“, краткое объявление: „Правление союза советских писателей СССР извещает о смерти писателя А.И. Куприна, последовавшей в ночь на 25 августа сего года“. Не было ни портретов, ни некролога, ни других статей, ни воспоминаний, ни даже заметок о гражданской панихиде (была ли она?). 27 августа появилась статья, подписанная, по старому советскому обычаю, не отдельным лицом, а группой: правлением того же союза (без имен). Несколько больше внимания уделила скончавшемуся писателю „Комсомольская правда“, но и она проявила подчеркнутую сдержанность в оценке. На этом газетные проводы кончились.

В чем дело, мы не знаем. Отъезд Куприна в СССР в свое время был назван в иностранной печати (разумеется, плохо осведомленной о его здоровье) „большой моральной победой советской власти“. Надо думать, что именно для этого ему в Москве и были отпущены грехи. Встретили его там торжественно: цветы на вокзале, статьи, „интервью“, квартира в

„Метрополе“. Что же случилось? Очевидно, как-то действия Александра Ивановича вызвали у советской власти недовольствие, — действия или, правильнее, отсутствие действий. Друзьям покойного Куприна известно (об этом сообщалось и в печати), в каком состоянии он паходился в последние годы: почти не узпавал людей, очень плохо поппмал то, что ему говорили, сам обычно говорил невразумительно. Но возможно, что так пазываемые проблемские сознания у него бывали. Если бывали они и в Москве, то мог он там высказываться по-своему. И почти с уверенностью думаю, что проявлять верноподданические чувства по тамошнему образцу он не стал бы, как не стал бы и смешивать с грязью своих зарубежных друзей.

О копчипе А.И.Куприна я узнал из заметки „Фигаро“ с истинной душевной болью. Не принадлежа к числу самых близких к нему людей, я очень его любил и хорошо знал, — впервые увидел лет тридцать пять тому пазад, еще будучи гимназистом. В последние годы, из-за болезни Александра Ивановича, все мы посещали его весьма редко — копечно, это паща общая вина: он несомненно чувствовал себя брошенным человеком.

В первые 2-3 года эмиграции писателей-беллетристов в Париже было еще мало: Тэффи, Мережковские, Бунин, Толстой, Куприн, Яблоповский. Они благожелательно припяли в свое общество и меня, хоть я был тогда молодым писателем. Жили мы не худо, не скажу „одпой семьей“ — это почти всегда преувеличение, — по без ссор, довольпо дружно; по крайпей мере, я сохранил о той поре самое лучшее воспомипание. Были гостеприимные „салопы“, были *наши* кофейни, был не существующий более кабачок в древнем доме на улице Пасси, славившийся устрицами и белым вином. Мы встречались часто, некоторые чуть не каждый день. Бывали даже чтения вслух, о которых теперь как будто не слышно, — притом самые разные. Одни происходили при очень большом числе слушателей — так А.Н.Толстой читал в доме М.О.Цетлипа пачало „Хождения по мукам“, — другие в присутствии лишь пяти-шести человек. Из двух превосходных чтецов Ал. Толстой читал охотно

и передко, И.А.Бупип редко и неохотно; читал как-то свою мало известную комедию покойный А.А.Яблоповский; свои рассказы читал тоже пыне покойный Петр Александров (принц Петр Ольденбургский). Куприн почти пикогда не читал, а слушать, кажется, любил или, по крайней мере, делал вид, что любит. По окончании чтения он обычно ничего не говорил и вообще старался быть незаметным, точно это совершенно чужое ему дело, в котором он ничего не понимает, да и попал сюда случайно. Но позднее, дня через два или три (помню по своему опыту), наедине, при встрече в кофейне, высказывал автору свои замечания, тонкие, умные, откровенные, порою пелестные и всегда благожелательные. При этом никогда своего мнения не навязывал, говорил несколько не докторально, хоть был он знаменитый писатель, а очень скромно, как бы неуверенно, в форме предположений: „Не думаете ли вы, что...“

Теперь, по обычаю (впрочем, хорошему обычаю), говорят, будто он был необыкновенно добр, кроток, незлобив. Он в самом деле на старости лет старался таким стать и, может быть, стал или почти стал. Но когда-то он был совершенно иной; да и в последние годы жизни у него в глазах иногда вспыхивали „огоньки“ отнюдь не добрые и не кроткие. Отличительной чертой А.И.Куприна, кроме его большого таланта, был ум. Он был умен на редкость. Это видно и по его книгам, видно было и в жизни, хоть ум у него был не показной и не „блестящий“.

Думаю, что его жизненный опыт несколько преувеличен ходившими о нем легендами (так это было и с Джеком Лондоном, и с Кнутом Гамсуном). Говорили, писали, будто он побывал в молодости дантистом, псаломщиком, грузчиком, торговцем. Как это могло быть? Ни дантистом, ни псаломщиком нельзя стать без определенных условий диплома или подготовки. Никакой причины работать грузчиком у Куприна никогда не было: это оплачивалось грошами, любая работа в газете давала гораздо больше, а для собственного удовольствия никто грузчиком не станет. К тому же писать он стал еще юношей, и слава к нему пришла очень рано, раньше, чем к кому бы то ни было из писателей его поколения, за исключением Максима Горького и, быть может, Леонида Андреева.

От него самого я рассказов о том, что он был даптистом или псаломщиком, никогда не слышал: он рассказывал лишь, как побывал актером, и это, разумеется, правда.

Но с поправкой на некоторые преувеличения, должно признать, что видел он на своем веку много, жизнь прожил разнообразную и людей знал самых различных. Память у него была громадная, а зрительная память совершенно феноменальная. Одна старая писательница когда-то мне рассказывала: в ранней молодости она, воспитываясь в провинции на юге, на общественном балу раз встретилась с Куприным, в то время никому не известным молодым офицером. Их познакомили, они равнодушно обменялись несколькими словами и больше не видели друг друга. Лет через двадцать после того, встретившись с ней в Петербурге, он, уже будучи прославленным писателем, подошел, позвал ее по имени-отчеству и напомнил об их знакомстве. Она удивилась: „Неужели вы меня узнали?..“ Куприн засмеялся и подробно описал, какое платье было на ней в тот вечер, двадцать лет тому назад. „Цвет, фасон, все решительно, совершенно точно, уж ведь мы-то, женщины, наши платья помним!“ — изумленно рассказывала мне писательница.

Ум, простота, юмор, знание жизни, топкость суждения, все это создавало ему большее личное очарование. Не будучи ни *saucier**, ни рассказчиком, он бывал в свои хорошие минуты удивительным собеседником. Со всеми он был ровен, ни с кем не был искателем. Я видел его в обществе людей, до революции весьма высокопоставленных, видел его (в упомянутом выше кабачке) среди французских рабочих — конечно, социалистов, если не коммунистов: это был один и тот же, совершенно одинаково державшийся, человек, во втором случае лишь стесненный иностранным языком. В практических делах Куприн, со всем своим житейским опытом, был до конца дней вполне беспомощен. Без жены, столь ему преданной, он, вероятно, не вернулся бы в советскую Россию; но без жены он, почти паверное, и не дожил бы до шестидесяти восьми лет.

*Мастер светской беседы (*фр.*).

Политикой А.И. интересовался очень мало. Не назыву его ни правым, ни левым, ни умеренным. Когда он писал о политических делах, самый стиль его менялся и, столь для него неожиданно, становился казенным — то казенно-либеральным, то казенно-консервативным. Когда-то, в „Гамбрипусе“, он восторженно описывал 1905 год, как под звуки „Марсельезы“ незнакомые люди „светло улыбались“ друг другу, как по России посилились „пламенная надежда“ и „великая любовь“. Потом в эмиграции он иногда повторял слова прямо противоположные, но столь же избитые и истертые. По существу, думаю, он одинаково мало обольщался и красотами 1905 года, и красотами „контрреволюции“. Большевиков он ненавидел за то, что они „опоганили Россию“, уничтожили старый русский быт, который он так хорошо знал и, несмотря на свои прежние „обличения“, так искренно любил.. Но, может быть, слово ненавидел и тут не вполне подходит. Вспоминаю его рассказ, как он беседовал с Лениным: помнится, являлся к диктатору с просьбой о разрешении на издание беспартийной газеты. „Он меня спросил: „Куп-г-ип? Ах, да... Но какой же вы ф-г-ак-ции?..“* В глазах Александра Ивановича сквозило довольно благодушное изумление: что за чудище! спрашивает, какой фракции Куприп!

Как писатель, он чуть не с первых лет получил высокую, заслуженную и верную оценку. В этом с критикой сходилась и публика: тираж „Поединка“ был исключительный — кажется, даже беспремерный со дня выхода в свет „Воскресения“. Всем известно, что на Куприна сразу обратил внимание Толстой, не очень жаловавший его соперников по славе, Горького и Андреева. Едва ли тут имело значение то, что в искусстве Александр Иванович был признанным „учеником Толстого“: учениками Толстого в той или иной мере были почти все русские писатели последнего полувека (и столь многие иностранные); Лев Николаевич давно к этому привык и говорил об этом (по поводу Гаршина) без восторга. „Первым

*Помню в его рассказе именно это слово — мне казалось странным, что Ленин сказал: „фракция“, а не „партия“, не „направление“.

делом спрашивать у нового писателя: скажи мне, что ты за человек?“ — эту мысль Толстой в разных формах выражал неоднократно. По-видимому, человек Куприн — с тем личным, своеобразным и обаятельным, что в нем было и сказалось в его произведениях, — Льву Николаевичу нравился. Только о „Яме“ он отзывался с негодованием; это во всех отношениях самое слабое из больших произведений Куприна.

Сам Александр Иванович о Толстом говорил совершенно не так, как о всех других писателях, вполне сходясь тут с Чеховым и с Буниным: есть все другие писатели — и есть Толстой. При упоминании имени „старика“ (так он обычно называл Толстого), у него на лице появлялась благоговейная улыбка, вообще совершенно ему не свойственная: думаю, что он в жизни „благоговел“ лишь перед очень немногим. О книгах Льва Николаевича говорил охотно, с явной радостью: „Да, недурно написано, вы тоже, М.А., находите, что недурно, а?“ — спрашивал он с этой улыбкой, вспоминая ту или иную сцену, охоту в „Войне и мире“, приезд Анны к Сереже или сцену в Мытищах. Едва ли пужно пояспять, в каком смысле тут употреблялось слово „недурно“: оно означало „божественно“, „бесподобно“, „так никто в мире не писал и написать не может“... „А буря на станции? Или скачки, а? Нет, нет, не говорите (точно кто-то „говорил“!), у старика было дарование, владел пером, а? Было, было дарование“, — повторял он, сияя. Так суворовские офицеры называли стариком Суворова, — вероятно, с такой же точно улыбкой.

Некоторые другие писатели также оказывали на него в молодости известное влияние, притом не одни русские, но и иностранные. В „Молохе“, например, Чехов чувствуется на каждой странице. „Свадьба“ самым своим сюжетом весьма напоминает один из наиболее известных рассказов Артура Шницлера. Кое-где сказывается, конечно, и Мопассан. Думаю, что по своему большому *природному* дару он не уступал никому из названных писателей — чего стоит одна его наблюдательность, его зрительная память, дававшая ему преимущество едва ли не перед всеми. А.И.Куприн, в сущности, все сделал, чтобы зарыть свой талант в землю, и о размерах его таланта можно судить именно по тому, что это ему совер-

шенно не удалось: он *все-таки* стал большим писателем.

Я никогда не мог понять, *как* он работает. О некоторых русских писателях говорили, что они „европейцы“: работают ежедневно, от такого-то утреннего часа до такого-то. Сомневаюсь (даже просто не верю), чтобы так можно было *à la longue** заниматься художественной работой (и уж, во всяком случае, называть эту манеру европейской не приходится: на Западе, как и у нас, люди трудятся по-разному). Другие русские писатели пишут редко, но „запоем“: днем и ночью, забывая все, не отрываясь от письменного стола. Насколько могу судить, у Куприна не было подобных недель необычайного творческого подъема; не было и привычки к систематическому труду. Когда приходило что-либо в голову, когда хотелось или нужно было писать, он садился за стол и писал, — но отнюдь не „днем и ночью“, — и написанное тотчас сдавал в набор. Едва ли у него есть хоть одно произведение, над которым он работал бы годами. Александр Иванович говорил, что не любит писательского дела, и, думаю, говорил совершенно искренно, — кто же из людей этой профессии порою не относился к ней с искренним отвращением. На расспросы он отвечал больше о мелочах. „Первым делом надо обзавестись хорошим *верстаком*“ — так он забавно и мило называл письменный стол, — кажется, предпочитал простые большие кухонные столы, без сукна, без кожи, без ящиков; говорил о перьях, о бумаге, а о „психологии творчества“ говорить не любил, хотя бы и без ученых слов, которых не выносил вообще. Но его указания о столе, бумаге, перьях тоже были интересны и для него характерны.

Время, верно, ничего не оставит от „Ямы“, о которой когда-то столько говорили и писали. Быть может, не будут читаться и некоторые другие его произведения — есть ведь у него, как почти у всех писателей, и страницы весьма слабые. Но *лучшее* останется и выдержит тяжкое испытание времени. Этого более чем достаточно для имени большого писателя. Конечно, он был большой писатель. Был он человек очень своеобразный, в некоторых отноше-

*Систематически (*фр.*).

ях необыкновенный, во многих отношениях (особенно по старости лет) чрезвычайно привлекательный.

При проблесках сознания он должен был бы в СССР чувствовать себя худо, очень худо. Если бы Куприн объявил своим ближайшим друзьям, что собирается вернуться в Россию, они, вероятно, зная условия его жизни, не стали бы насильно его удерживать. Он уехал, никому ничего не сказав, ни с кем не простившись, — хоть уезжал навсегда. Можно кое-что сказать и в оправдание этого. Но ему самому — если проблески сознания были, — уход, такой уход, должен был быть очень тяжел. В Куприне до конца его дней сидел офицер, то есть человек, своего лагеря не покидающий никогда, ни по каким причинам, ни при каких условиях. Знаю всю условность применения к нашей жизни военных слов: лагерь, полк, знамя, неприятель и т.п. Но доля правды в них есть и в отношении нас, и эту долю правды сам покойный Александр Иванович чувствовал, конечно, не менее ясно, чем кто бы то ни было. Да, да, „увидеть снова Москву, поклониться русской земле, подышать русским воздухом“, все это так, а дальше что? Дальше советская жизнь, необходимость к ней приспособиться — ему, с его характером, в шестьдесят восемь лет! Я надеюсь, что проблесков сознания у него не было.

Д.С. Мережковский

О каждом человеке нетрудно написать некролог обычного типа — с подлежащими прилагательными в подлежащих степенях. Обычай подобных некрологов очень стар и очень хорош. Но именно о Д.С.Мережковском *так* писать не хочется. В громадном большинстве случаев краткие строки некролога навсегда завершают то, что о человеке пишется: больше о нем никто писать не будет, — кончено. Тогда действительно *de mortuis...** Однако Дмитрий Сергеевич был явлением исключительным: писать о нем будут долго, он имеет на это достаточно прав.

Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разносторонней культуры — один из учейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! (Из писателей, видевших Достоевского, теперь остается в живых один А.А.Плещеев.) Д.С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно „Леонардо да Винчи“, в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной — очень большой — идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, — чтобы не ска-

*Начало латинского выражения „De mortuis aut bene, aut nihil“ — „О мертвых или хорошо, или ничего“. — *Прим. ред.*

зять холодно. Д.С. Мережковский всю жизнь мечтал о „последователях“. Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого же из русских писателей были последователи? Едва ли не у одного Толстого, да и то лишь как у автора „Так что же нам делать?“. Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как Д.С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил ипогда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

— Я был молод, — вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, — мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о „слезинке замученного ребенка“, которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешливыми, но темного холодными, „докторскими“ глазами и промолвит: „А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку, — превосходно готовят — да не забудьте, что к ней большая водка пужпа“. Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке.

Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: „Надо было поговорить столько лишнего, сколько мы поговорили, надо было столько погрешить, сколько мы погрешили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доныне — как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями“.

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно — каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д.С. Мережковский считал религиозность основой, главной и драгоценнейшей чертой русской литерату-

ры. Но Чехов, один из величайших и самых „русских“ писателей России, никак не укладывался в его основное положение. „Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, — само по себе, а современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя“, — писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. В другом, позднейшем письме, написанном за год до его смерти, он на предложение войти в редакцию „Мира искусства“ дал следующий ответ: „Как бы это я ужился под одной крышей с Д.С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением оглядываюсь на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Дмитрия Сергеевича и ценю его и как человека, и как литературного деятеля, но ведь воз-то, если б и повезли, то в разные стороны“.

Однако так же трудно было Д.С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой. Не могу возлагать за это ответственность ни на тех, ни на других. Имели тут значение некоторые особенности таланта Д.С. Мережковского (и даже, если угодно, его стиля), а главное, те весьма неожиданные практические выводы, которые он нередко делал из своих идей. Так, достаточно сказать, что одну из своих главных философско-политических работ он закончил когда-то словами: *„Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть, гибель России, как самостоятельного политического тела и на ее воскресение, как члена вселенской Церкви, теократии“*. В любой стране „политическая карьера“ человека, который печатно высказал бы такую надежду, могла бы считаться конченной. В России „политическая карьера“ Мережковского пос-

ле этих слов не кончилась — только потому, что она фактически никогда и не начиналась. Помимо безответственности была в этих словах и непоследовательность: если бы их автор был последователен, то он в октябрьских событиях 1917 года и в том, что за ними последовало, должен был бы, собственно, усмотреть великую радость. Как все мы, он радости не усмотрел.

Не буду говорить о политической деятельности Мережковского в эмиграции, особенно в *самое* последнее время. Не буду говорить отчасти и потому, что мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С-ча с его идеями практически. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот „приводный ремень“ от меня неизменно ускользал. Быть может, сам он его чувствовал вполне ясно. Однако и в этом мы уверены быть не можем, так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга „Толстой и Достоевский“ положила начало новейшей русской критике. Так называемые „формалисты“ ему обязаны очень многим, хоть они об этом не говорят и хоть он по всему своему уместному укладу был чрезвычайно от них далек. Если Н.Н. Страхов первый поставил на должную высоту Толстого, то Мережковский первый, с чрезвычайной пропидательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов). В ту пору, когда большая часть русской критики била земные поклоны перед художественным гением Максима Горького, Мережковский писал: „Тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького, как художника, с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым, Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика хозяйскую дочку Машеньку в светло-голубом платье с двухаршинным хвостом, которая слушала и восхищалась. „Ужасно я всякий стих люблю, если складно“. — „Стихи вздор-с“, — возразил Смердяков. — „Ах, нет, я очень стишок люблю“, — ласкалась Машенька“. Но и как критик Д.С. был перовен. „Конь бледный“ по-

казался ему великим произведением искусства: „Если бы меня спросили сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л.Толстого и Достоевского, я указал бы на „Копь бледный“. Он нашел в произведении Ропшина „классическую простоту“, „горную ясность“! Все же, думаю, его в этом случае *подкупила* тенденция романа, совпавшая, по крайней мере отчасти, с теми практическими выводами, которые в *тот момент* сам он делал из своего философского учения. У Д.С. Мережковского вдобавок всю жизнь была слабость к тому, что можно называть „литературной политикой“. Вероятно, тогда какой-либо сложный замысел этой политики был связан с возвеличением „Копя бледного“.

Эта любовь к литературной политике, кажется, была почти чужда большей части русских классических писателей (ее, например, просто трудно было бы себе представить у Лермонтова или у Толстого). Из писателей современных ее не было и нет у Бунина, Зайцева, Куприна. Очень сильна она была у Горького, у Ходасевича. Как бы то ни было, где бы Д.С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди, совершенно чуждые *идеям* Д.С.Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был „текучий“ и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брали противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы.

Полагалось поругивать даже „Леопардо“ — одну из не столь уж многочисленных русских книг, ставших общеизвестными на Западе. А.И.Герцен писал в 1869 году своей дочери: „Вчера мы все обедали у Гюго... Старик очень мил. Саша (А.А. Герцен. —

М.А.) судит по-студенчески, в Гюго есть сумасшедшие стороны, — но неужели он может думать, что можно владеть умами во Франции с 1820-х годов до 69 — даром!“. Эта, в общей форме верная, мысль может быть отчасти отнесена и к знаменитой книге Д.С. Мережковского: ее читают больше сорока лет на очень многих языках, — „даром“ такого не бывает. Как исторический романист, Д.С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере *всей* русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова „религиозный характер“ не очень определены: когда нужно, под ними понимают „общественное служение“, и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о „светлом приятии жизни“ (Пушкин), о „любви и жалости к людям“ (тот же Чехов). Но Д.С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше. Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны — их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были пужны: он был природный стилист, стилист Божьей милостью. Чтобы не быть голословным, приведу лишь несколько его строк: „К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. — М.А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них как чешуя — и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы спо-

ва сделались живыми, живящими символами". Так до него писали немногие.

Работник он был необыкновенный. Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень редко позволял себе две-три недели отдыха, где-нибудь в теплых краях. Его считали чисто книжным человеком, — А.И. Куприн с юмором говорил, что природа вызывает в Мережковском ужас. Это было неверно. Д.С. по-настоящему обожал юг, солнце, море и в пору своих „каникул“ наслаждался ими необыкновенно. В этой обстановке он становился особенно мил и привлекателен.

Личное обаяние, то, что французы называют *charme*'ом, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д.С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о „самом главном“ (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непостоянным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской мысли.

Рецензия на книгу П.П. Муратова „Эгерия“*

Я прочел в один день эту книгу, в которой больше трехсот страниц убористой печати. И не думаю, чтобы здесь имела особое значение ее фабула. В „Эгерии“ множество приключений, в ней есть дуэли, нападения, кинжалы и маски; однако Александр Дюма, мастер, которого, по замечанию великого художника, должен *знать сердцем* всякий романист, прошел бесследно для П.П. Муратова. Он подает свое превосходное произведение без расчета на внешнюю занимательность — на занимательность трилогии мушкетеров и „Графа Монте-Кристо“.

Л.Н.Толстой утверждал, будто к каждой новой книге мы неизменно подходим с сознательным или полусознательным вопросом, обращенным к ее автору: „Кто ты такой и что у тебя за душою?“ Законность этого вопроса, пожалуй, подлежит некоторому сомнению. Во всяком случае, надо считаться с возможностью неожиданностей в ответ. Леса́ж, так любовно и так неизменно выводивший из своих книг воров, бандитов и висельников, был в действительности солиднейшим, аккуратнейшим, добросовестнейшим человеком. Во всей жизни Жюль Верна не было ни одного приключения. Как бы то ни было, ощущение, сформулированное Толстым, вероятно, знакомо каждому читателю. Эта тенденция к какому-то высшему, краткому и упрощающему синтезу (не могу найти более подходящего выражения) тревожит нас неотступно. Я знаю бо́льшую часть трудов П.П. Муратова, но, признаюсь, *синтез* его тонкого литературно-философского облика от меня ускользает.

*П.П.Муратов, „Эгерия“, Издательство З.И.Гржебина, 1922 г.

Людам, запимавшимся математикой, известно, как раздражающе влекут к себе иррациональные функции, которые не удастся интегрировать. Иногда это грех математика, иногда — особенность функций. Сходное чувство возбуждает во мне талантливое, *не интегрируемое* творчество П.П.Муратова...

„Эгерия“ — исторический роман. Я иначе понимаю задачи этого рода искусства, чем П.П.Муратов. Если не ошибаюсь, он очень высоко ценит Анри де Ренье и даже считает себя его последователем, чем делает слишком много чести автору „La double maîtresse“*. П.П.Муратов не любит Толстого. По-моему, Анри де Ренье (особенно как прозаик) в лучшем случае принадлежит место во втором ряду литературы, а Толстой и по сей день остается царем писателей. Искусство исторического романиста сводится (в первом приближении) к „освещению внутренностей“ действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению — к такому размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла бы их. П.П.Муратов, вероятно, держится другого мнения. Он как-то заметил об одной из знаменитых сцен „Войны и мира“, что в ней есть Алпатыч и пет паде-ния Смоленска. Это замечание остроумно, но едва ли вполне верно. Толстой порою проводит огромные исторические события через уместный мир людей, которые их явно понять не могут: Николай Ростов *не дорос*, конечно, до Аустерлицкого сражения. Но вся историческая часть „Войны и мира“ построена в сложной, множественной перспективе. Аустерлиц переживается Толстым не только сквозь Николая Ростова; он переживается и сквозь князя Андрея, и сквозь Наполеона. Чрезвычайно сложное построение картины Бородинского боя делает ее бесценным шедевром исторической правды. Я не имею под рукой одной из книг маршала Фоша, где психология сражения обрисована совершенно так, как в „Войне и мире“. С другой стороны, участник Бородинского боя, доживший до 60-х годов, говорил, что в романе Толстого он вторично пережил 1812 год. И наконец, о быте батальных сцен этого романа, по словам генерала Драгомирова, каждый военный скажет: „Это

* „Дважды любимая“ (фр.).

списано с нашего полка“. Что же заслоняет собой Алпатыч?.. Вообще говоря, художественные приемы Толстого представляют собой вечное достижение искусства, которое *должен* усвоить каждый исторический романист, как каждый русский поэт должен усвоить музыку пушкинского стиха, а каждый композитор — оркестр Вагнера. Пользование этими приемами (французы, как известно, называют их методом *Стендаля*), разумеется, не означает „подражания“. Индивидуальность писателя определяется тем, вносит ли он *свое* в форму и в содержание того, что пишет.

П.П.Муратов и в своей книге точно боится, как бы его Алпатычи чего-то не заслонили. Но историческая перспектива ничего от этого не выигрывает. В „Эгерии“ истории мало. Если бы в ней не упоминались изредка имена Густава III и некоторых других исторических лиц, мы не догадались бы, что действие происходит в XVIII веке. Оно могло бы происходить и в XVII и даже в XVI. Подлинный исторический колорит создается лишь при условии „выписывания изнутри“ (это, разумеется, необходимое, но не достаточное условие).

Русская классическая литература почти не отразилась на художественной манере П.П.Муратова — за одним только исключением. Правда, исключение это — Пушкин. В *известной мере* метод „Эгерии“ приближается к методу „Капитанской дочки“, еще больше к художественным приемам Мериме, особенно Мериме того периода, когда автор „Хроники царствования Карла IX“ стал подражать Пушкину (Мериме больше заимствовал у Пушкина, чем Пушкин у Мериме). Но П.П.Муратов идет много дальше. Он пренебрежительно сторонится от психологии, совершенно отказывается от „освещения внутренностей“. Его мастерский рассказ чрезвычайно сух. И, коренным образом расходясь с П.П.Муратовым в оценке этого метода, я все же признаю, что владеет он им чрезвычайно искусно и достигает очень серьезных и ценных результатов, он движением создает жизнь: герой „Эгерии“ Орсо Вендоло — живое лицо (правда, по-ипому живое, не только чем Болконский, но и чем Гринев). Не скажу этого о других действующих лицах романа (и в частности о его героине). Впрочем,

П.П.Муратов, вероятно, не слишком стремится к тому, чтобы сделать их живыми, как не стремится к этому в своих книгах Анри де Ренье или его последователь Эдмон Жалу, коллекционеры необычных жизней и ни на кого не похожих людей.

Литературные достоинства „Эгерии“ очевидны. Появление и успех этой умной, занимательной, прекрасно написанной книги надо признать очень утешительным симптомом для новейшей русской литературы. Очевидно, нутряное творчество черноземных талантов начинает несколько надоедать. Вдруг и в самом деле окажется, что одного *нутра* маловато для писателя, даже если он, в стихийном стремлении произвести революцию в мировом искусстве, отказывается от употребления сказуемых, подлежащие ставит на том месте фраз, где им стоять по смыслу никак не полагается, и пишет полностью слова, которые прежде признавались для печати не совсем удобными?.. Вдруг и некоторые познания окажутся писателю бесполезными. Большая культура П.П.Муратова, по-видимому, не мешает ему быть художником, — *c'est le monde renversé!**

*Это мир навыворот! (фр.)

Рецензия на книгу В.Ф.Ходасевича „Державин“*

С первых же страниц этой превосходной книги читателя охватывает очарование, в котором он не сразу отдаст себе отчет. „Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Брак не прибавил ему достатку...“ „Державинской Музой, разумеется, не любопытствовали...“ „Таким виделись ему Бибиков, И.И.Шувалов...“ „Новый знакомец, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление...“ „Славный полководец на сей раз мчался напрасно...“ „Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. Бастидоновы — был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимой он встретил ее в театре — и вновь она поразила его“. Это чисто пушкинская проза; последний отрывок, почти свободный от архаического оттенка, одной звуковой своей формой вызывает в памяти читателя „Пиковую даму“.

Об этом приеме, пожалуй, можно вести теоретический спор. Свои статьи о современных писателях В.Ф.Ходасевич пишет все же иначе, — тогда есть ли основания пользоваться пушкинской фразой в книге о Державине? Но художественная прелесть приёма вполне его оправдывает: победителей не судят.

„Автор предлагаемого сочинения, — говорит В.Ф.Ходасевич, — не ставил себе неисполнимой задачей сообщить как-либо новые неопубликованные дан-

*В.Ф.Ходасевич, Державин, Издательство „Современные записки“, Париж, 1931 г.

ные. Нашей целью было лишь по-новому рассказать о Державине и попытаться приблизить к сознанию современного читателя образ великого русского поэта — образ отчасти забытый, отчасти затемненный широко распространенными, но неверными представлениями“.

Это совершенно верно. Историки часто бывали очень несправедливы к Державину. Один из них, например, писал: „Державин играл при дворе Екатерины или, вернее, при дворе Платона Зубова такую роль, по сравнению с которой роль Третьяковского при дворе императрицы Анны представляется исполненной достоинства... Певец Фелицы был весьма искусный торговец закулисными влияниями, „папанист“ восемнадцатого века“. Совершенно иначе изобразил Державина автор настоящей книги — изобразил, думаю, гораздо вернее и в психологическом, и в историческом отношении. Зато, быть может, не всегда справедлив В.Ф.Ходасевич к врагам или к недоброжелателям Державина. Так Н.И.Панин, как почти все члены этой семьи, был человек выдающийся и независимый — в книге он изображен не совсем таким. Выдающимся человеком был и П.В.Завадовский, которого автор определяет, как „главного мошенника“ в деле Засмного банка. Также и в столкновении Державина с Румянцевым по вопросу вольных хлебопашцев, кажется, большинство историков основательно считает позицию министра-поэта мало выигрышной.

В.Ф.Ходасевич отводит много места рассказу о политической деятельности Державина. О нем, как о поэте, автор говорит короче, — и об этом должно пожалеть: страницы о том, как была написана ода „Бог“, едва ли не самые сильные в книге; они могли и должны были бы войти в классическую хрестоматию.

С редким искусством написана, впрочем, вся книга. Привожу лишь несколько образцов блестящей прозы Ходасевича: „Против добродетели Александр I ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав — право на самоограничение, может быть, даже в особенностях. Способность относиться к себе самому со спартанской суровостью порой умиляла его до сладких слез“ (стр. 236). „Через дель Державин, зайдя

посетить их и нашед случай с опой невестой говорить, открылся ей в своем намерении“. Благоразумная Даша ответила, что принимает опое себе за честь, но подумает, „можно ли решиться в рассуждении прожитка“. Она оказалась даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, „может ли он содержать дом сообразно с чином и летами“. Книги она продержала у себя две недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие“ (стр. 186). „Была уже полночь, когда Параша пришла с панихиды. Вдруг внизу раздалось похоронное пение. Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых, может быть, не было бы и слышно, если б не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросилась запираť двери, чтоб Дарья Александровна ничего не услышала. Потом, подойдя к окну, она увидела внизу толпу людей с фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который все удалялся и наконец донесен был до лодки. В черном Волхове отражались звезды июльского неба. На носу поместились певчие, на корме перед налоем псаломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посредине лодки; черный балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжелых свечи в церковных подсвечниках. Лодка шла бечевою, за ней следовала другая с провожатыми. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавания“ (стр. 314).

Этим описанием похорон Державина заканчивается книга. Лучше о Державине, вероятно, никто не напишет. Мы с нетерпением будем ждатель книги о Пушкине. В.Ф.Ходасевич, один из самых замечательных русских поэтов, дал превосходный образец и трудного искусства биографии.

Из записной тетради

Известна судьба гегелевского изречения: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig“ — „все действительное разумно; и все разумное действительно“. Когда-то оно возбуждало бури негодования и восторгов. Потом его растолковали: Гегель „не ставил знака равенства между разумом и действительностью вообще“. Он имел в виду истинно действительное. И уже Эдуард Ганс, выпустивший посмертное издание „Философии права“, доказывал, что в формуле Гегеля не было ничего реакционного.

Вот что говорит, однако, Гегель в знаменитом предисловии к „Основам философии права“: „Настоящая работа, поскольку она содержит учение о государстве, должна быть лишь попыткой *понять и представить государство, как нечто разумное в себе* (als ein in sich Vernünftiges). В качестве философского произведения она *всего дальше от конструирования государства, — каким государство быть должно* (einen Staat wie er sein soll)“. Стоит прочесть хотя бы девятнадцать параграфов (§§ 231–249), посвященных Гегелем полиции, чтобы усомниться в верности слов Эдуарда Ганса. Или же пришлось бы затеять спор о том, что такое полиция: просто ли действительное или истинно действительное? Конечно, в свое время велись и такие философские споры; ибо, как говорит по другому поводу не без гордости тот же Эдуард Ганс: „Чего только не обосновывал или не пытался обосновать немецкий дух?..“

Без всяких оговорок, без всякого желания укрыться за истинно действительное, ту же идею гораздо раньше высказывает Поп:

All discord — harmony not understood,
All partial evil — universal good;
And spite of pride, in erring reason's spite,
One truth is clear: whatever is it right.*

Поэты смелее философов, с них спрашивают меньше...

Всего несколькими страницами дальше знаменитого изречения, Гегель бросил мысль, менее вызывающую, но неизмеримо более значительную и интересную:

„Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat... Wenn die Philosophie ihr grau in grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit grau in grau lässt sie sich nicht verjungen, sondern nur erkennen, die Eule der Minerva beginnt, erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug...“[#]

Эта мысль не только прекрасна (переводить не решаюсь). В наши дни она, кроме того, и до некоторой степени утешительна. В час наступления сумерек (таких сумерек, какие Гегелю и не снились) сова Минервы должна начать свой тяжелый полет...

Но все-таки очень жаль, что философия является „immer zu spät“^Δ.

Фридрих Штейн писал на склоне своих дней: „Результат моего жизненного опыта — ничтожество че-

*Всякий диссонанс есть непонятая гармония; всякое частное зло — общее благо. Вопреки гордости, вопреки заблуждающемуся разуму, одна истина ясна: все существующее хорошо (*англ.*).

[#]„Сделаем еще одно замечание относительно поучения, каким мир должен быть; мы добавим к вышесказанному, что, помимо всего прочего, философия всегда приходит для такого поучения слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь тогда, когда действительность закончила свой процесс образования и завершила себя... Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, это показывает, что некоторая форма жизни постарела, и своим серым по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек“ (*нем.*). — Гегель. Философия права. М.—Л. 1934, стр. 17—18, *перевод Б.Столпера.*

^Δ„Всегда опаздывающей“ (*нем.*).

ловеческого знания и действия, в особенностях, политического...“

Его считают главным создателем новой Пруссии. Лет восемь тому назад я слышал речь Штресмана в рейхстаге: в очень трудную для Германии минуту он призывал немцев бодро верить в заветы великого Штейна.

До 1918 года я не понимал, как можно быть пораженным. Потом понял отлично. Сравниваю обе логические цели. Одна хуже другой. Но при вполне последовательном оборонческом образе мыслей, мы неизбежно должны будем пожелать успеха и пятилетке, и „колхозам“, и даже ГПУ.

Арман Каррель с оружием в руках сражался за испанскую свободу против армий французского короля. Байрон считал великим несчастьем английскую победу при Ватерлоо. Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. У нас на поражение, казалось бы, есть несколько более прав.

На протяжении двух столетий два человека подняли вооруженное восстание против могущественной страны; оба обратились за помощью к ее „ископному врагу“, который, впрочем, успел переменитьсь за время между двумя восстаниями. Первому из этих революционеров поставили памятники; второго — повесили. В честь первого слагали оды величайшие поэты мира; второго забрасывали грязью. Историк, верящий в имманентную справедливость, вероятно, признает, что геройское восстание Джорджа Вашингтона, в отличие от безумной попытки Роджера Кэзмента, шло по линии движения общечеловеческого прогресса. Историк, не верящий в имманентную справедливость, со вздохом повторит, что в политике успех дает возможность отличить подвиг от преступления... А преступление от „ошибки“. Последнее верно также и для казнящих. Ибо часто (хотя и не всегда) оправдываются слова Мальбранша: „колдунов всего больше там, где их жгут“.

„Но то, что жизнью взято раз, не в силах рок отнять у нас...“ — Неужели? Рок ежедневно отнимает у нас то, что казалось взятым жизнью. Прежде в

таких случаях мы все взваливали на „рудинщину“, на „обломовщину“, на „русскую жизнь“, на „среду“, которая заела половину героев нашей литературы. Теперь надо придумать что-либо другое. И красотой образа Рудина тоже нельзя будет никого прельстить: ни красотой безвольного начала, ни красотой баррикадного конца. Вдобавок иностранцам, я думаю, оно и не совсем понятно: безвольного Рудина Тургенев писал с Бакунина! Какие же у них в России волевые?

Тургенев писал Герцену:

„Враг мистицизма и асболютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем ты видишь великую благодать и новизну, и оригинальность будущих общественных форм, *das Absolute*... Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите, Бог принимает именно то, что вы за него отвергаете...“ „Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, неминуемо вырастает в старообрядца: вот, куда его гнет и прет, а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: *prenez mon ours*, — возьмите пауку“.

Тургенев мало предсказывал и неохотно проповедовал, по почти всегда хорошо, потому что и предсказывал, и проповедовал он самые элементарные вещи, вроде: ученье — свет, а неученье — тьма. Оп-то и оказался первым политическим мудрецом среди классических русских писателей. Снисходительная тонкая мудрость Тургенева еще недостаточно оценена.

И в области чистой политики всего приятнее мне были люди тургеневского склада. Сделали, быть может, и они не так много, но зато не так много и обещали. От них не останется ни исторических восклиданий, ни „бронзовых векселей“.

Интересный человеческий документ: разговор Наполеона с Бенжаменом Констапом, рассказанный в воспоминаниях Констана. Из этих двух людей один — теоретик истории и права, другой — их со-

здатель, один — философ, другой — тема для философа; один пишет романы, другой творит их своею жизнью. Оба внимательно всматриваются друг в друга. Наполеон чуть презирает Констана, — надменная мудрость все пережившего человека, снисхождение легендарного диктатора к либеральному юристу. Констан не без робости вглядывается в стоящее перед ним живое чудо; хочет понять душу Наполеона художественным инстинктом, старается противопоставить идее императора одну из своих идей... „Дело пятнадцати лет моей жизни погибло, — говорит Наполеон, — оно не может быть начато вновь“. И в это хладнокровное замечание человека, который констатирует факт и делает из него вывод, вдруг вскальзывает нога неукротимого кондотьера, давно утратившего представление о невозможном: „Il faudrait vingt ans et deux millions d'hommes à sacrifier!..“*. Но нет ни того, ни другого — ни двадцатилетнего срока, ни двух миллионов жизней... Практик тотчас же берет верх над кондотьером. — Мне нужен народный энтузиазм. Народ хочет (*veut ou croit vouloir**) свободы, — говорит Наполеон тоном человека, которого нельзя удивить никакой игрушкой, — я готов заплатить ему одушевление конституцией, свободой слова, ответственностью министров. „Je comprends la liberté...“^Δ.

Именно так он понимал свободу; да и не только ее. Демократия — политические развлечения для всех; диктатура — политические развлечения для одного. Диктатура преимущественно на основе устрашения; демократия преимущественно на основе подкупа.

А теперь? За сто пятнадцать лет политическая мысль должна была уйти вперед.

Опытный человек предлагает выход. Надо организовать парламентскую коррупцию, которая до сих пор не упорядочена. „Надо же понять, что в основе парламентского строя лежит коррупция. Это не познание. Это признание бесспорной истины. Нужно принимать людей такими, каковы они в действительности, а не изображать на лице брезгливость...“

* „Нужно было бы потратить двадцать лет и положить два миллиона жизней!..“ (*фр.*)

*Хочет или думает, что хочет (*фр.*).

^Δ „Я понимаю, что такое свобода...“ (*фр.*)

Следует подробное развитие этих мыслей: демократия должна дать удовлетворение возможно большому числу честолюбивых людей в парламенте; нужно поэтому увеличить число министерств; нужно завести, как в Англии, секретаря по делам распределения правительственных подачек, *patronage secretary*, или, по терминологии автора, „*le corrupteur en chef*“*.

Кто же это так изображает демократию? Леон Доде? Гитлер? Нет, это пишет один из столпов демократии, левый профессор Гастон Жез, финансовый советник „Картеля“.

Этому авгуру даже не смешно смотреть в лицо другим авгурам: что тут смеяться, дело житейское.

Сходные мысли можно найти и у сторонников диктатуры. Очень интересно писал, например, Муссолини о Макиавелли. Только у них все же *откровенности* меньше, а дисциплины больше. О кризисе демократии ведь первые заговорили демократы. Еще ни один диктатор о кризисе диктатуры не говорил.

А может быть, Жез — „внутренний враг“? Очень они опасны, незаметные внутренние враги — и для диктатуры, и для демократии. Зарезут — да еще скажут надгробное слово, — как император Фердинанд, подославший к Валленштейну убийц, велел отслужить по нем три тысячи панихид.

„Неутолимое страдание, нищета, разврат — что так широко разлито на страницах Достоевского — это только гноище, на котором по закону необходимости вырастает преступное; искаженные характеры, то возвышающиеся до гениальности, то ниспадающие до слабоумия — это отражение того же преступного в человеческих генерациях, наконец, это борьба с ними человека и бессилие его победить; среди хаоса беспорядочных сцен, забавно-нелепых разговоров (быть может, умышленно нагроможденных автором) — чудные диалоги и монологи, содержащие высочайшее созерцание судеб человека на земле — здесь и бред, и ропот, и высокое умиление его страдающей души. Все, в общем, образует картину, одновременно и изумительно верную действи-

* „Главный развратитель“ (*фр.*).

тельности, и удаленную от нее в какую-то бесконечную абстракцию... Удивительно, — в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся, создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако, со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени. Все подробности здесь наши; это — мы, в своей плоти и крови, в бесконечном грехе и покаянии говорим в его произведениях; и, однако, во все эти подробности вложен смысл, которого мы в себе не знали. Точно кто-то, взяв наши хулящие Бога языки и, ничего не изменяя в них, сложил их так, так сочетал тысячи разнородных их звуков, что уже не хулу мы слышим в окончательном и общем созвучии, но хвалу Богу; и ей удивляясь, к ней влечемся“.

В ту пору, когда это писал Розанов, мы еще были молоды. „Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire...“*. Жизнь оказалась лучшим комментатором Достоевщины. В Москве есть по Достоевскому семинарии. Самый наглядный — на Лубянке.

Как некоторые гениальные мысли Чаадаева, роман „Бесы“ не был понятен до событий последнего десятилетия. В минуты мрачного вдохновения зародилась эта книга в уме Достоевского. Этот человек, не имевший представления о политике, был в своей области подлинный пророк, провидец глубины и силы необычайной. Октябрьская революция без него непонятна; но без „проекции“ на нынешние события непонятен до конца и он, черный бриллиант русской литературы...

„Преступление и наказание“. Гениальный ребус. „Парадокс“ о Наполеоне и Алене Ивановне логически не разрешается и не разрешим. Достоевский ничего не может ответить Раскольникову (так же, как в „Братьях Карамазовых“ Алеша ничего не может ответить Ивану). Преступление занимает в книге десять страниц, а наказание семьсот. Преступление (гнусное и ужасное) рассказано так, что дух захватывает (помню, как я читал в первый раз): „Вдруг

*„Как говорится, век оказался еще слишком незрелым для твоего творчества...“ (Фр.)

схватят Раскольников?.. Нет, слава Богу, спасся!..“ А при изображении наказания — художественный фокус: каторга показана очень уклончиво, сдержанно, в эпилоге. Достоевский хорошо знал, что такое каторга. Описать ее здесь *по-настоящему* значило бы вызвать безнадежную путаницу во всем замысле романа. Наказание стало бы тоже преступлением и от злополучной идеи „очищения страданием“ осталось бы, вероятно, немного. Пришлось бы очистить страданием и все каторжное начальство. Когда у Достоевского зло побеждается добром, читатель испытывает смутное беспокойство. В свете того, что Достоевский знал и думал о жизни, „Дневник писателя“ кажется насмешкой.

В мире не было столь мрачного писателя. Удивительно то, как непривлекательны его *привлекательные* герои (о других и говорить не стоит). Его собственная жизнь — сплошное страдание, порою настоящий ад. Он был больше, чем „un de ces pauvres diables qui sont la sougonne de l'humanité“* — как говорил о Гейне Бодлер.

Ум Достоевского: кладбище, объятые пожаром, — не нахожу другого сравнения.

„Плохо писал... Кинематограф!..“ — говорил мне о Достоевском знаменитый русский писатель, который очень его не любит.

Врубель как-то сказал, что, если б он был богат, не писал бы сам картин, а заказывал их художнику с техникой, объяснив подробно весь свой замысел!

Техника Достоевского, в некоторых романах изумительная, была со срывами (как язык у него астматический). У Толстого глава о Нехлюдове в „Воскресении“ начинается так: „В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подошла со своими конвойными к зданию окружного суда, *тот самый племянник ее воспитательницы, князь Дмитрий Нехлюдов, который соблазнил ее*, лежал еще на своей высокой постели“, и т.д. Это значит: можно было бы, конечно, устроить тебе, читатель, эффектный сюрприз, но мне сюрпризы и эффекты не нужны

* „Один из тех несчастных, кого мы называем венцом человечества“ (Фр.).

и не подобают — сразу говорю: „тот самый, который соблазнил ее...“ Достоевский в „Униженных и оскорбленных“ тщательнейшим образом скрывает до конца, что Нелли дочь князя. Однако читатель тотчас об этом догадывается.

Во всяком случае, Достоевский имел право писать „плохо“, — Жюль Ренар только за Бальзаком и признавал такое право.

Говорят: „le style c'est l'homme“*. Едва ли это верно. Какие сделаешь выводы о душе Лермонтова из простоты, из ясности его божественной прозы (лучшей в русской, а может быть, и в мировой литературе)? По великолепным законченным периодам Флобера никто не скажет, что он был эпилептик и очень несчастный человек. Мистик Сведенборг был инженер-химик и свои работы по металлургии писал, вероятно, так, как полагается писать инженерам. „Le style c'est l'homme de lettres“# — и только.

„Мертвые души“. Изумительная книга. Какой гениальный писатель! Даже Толстой имеет предшественников (ведь считают его иные западные критики „продолжателем дела Стендаля“). У Гоголя предшественников нет (хоть тоже, конечно, называли). Он не похож ни на кого.

В учебниках истории словесности его называют „реалистом“: он „принес правду в русскую литературу“.

Почти наудачу:

„Господин был встречен половым, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо...“

„Шум от перьев (в гражданской палате) был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями...“

„Хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что „город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в

* „Стиль — это человек“ (фр.).

„Стиль — это писатель“ (фр.).

знойный день“, и что при этом „было очень умиленно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез, в знак признательности к господину градоначальнику...“

Разумеется, не было и не могло быть ни таких газет, ни таких канцелярий, ни таких половых. Надоели школьные термины, но, если это „реализм“, что такое „гротеск“? Гоголь правдивее Жуковского, как Домье правдивее, чем Мурильо. Настоящую правду принес в мировую литературу Толстой. Он и Крылова не признавал: выдуманный язык, выдуманные положения (тоже и у Лафонтена) — лиса сыра терпеть не может!..

„Для читателя будет не лишним познакомиться с теми двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец...“

Любил поболтать — несмотря на „смех сквозь слезы“, „необыкновенную скупость в изобразительных средствах“ и все то, чему нас учили в гимназиях. Вся плохая часть русской литературы вышла из нескольких неудачных страниц Гоголя — это, в сущности, высшая ему похвала.

В своих „*Reflexions on the Revolution in France*“* Эдмунд Бёрк доказывает, что революция погубила Францию своим неуважением к историческим традициям страны: „Вы начали плохо, так как начали с презрения ко всему, что у вас было. Вы затеяли торговлю без основного капитала. Если последние поколения в вашей стране представлялись вам лишеными блеска, вы могли пройти мимо них, обратившись к более отдаленной линии предков. Вы не должны были рассматривать французов, как народ, существующий со вчерашнего дня (as a people of yesterday), как нацию, состоявшую из низкорожденных тварей до освободительного 1789 года“.

* „Размышления о революции во Франции“ (англ.).

Слова эти точно вчера написаны. Но к чему, к кому надо было обратиться России? К декабристам? К первым годам царствования Александра? К Петру Великому?

Ни к кому в более отдаленной линии предков не обращались в 1789 году французы. Ни к кому не обращались за полтора года до того англичане. У революций своя историческая традиция (очень скверная), ни с какими историческими традициями не считается.

Вольтер и Руссо, идеологи той революции, были по крайней мере классическими писателями Франции.

А у нас — Ленин...

„Стиль Ленина...“ „Литературные приемы Ильича...“ „Как писал Ленин...“ О, Господи!

Нет, этого никогда в истории не было. Ни Павел I, ни императрица Екатерина, ни Людовик XIV не потерпели бы такой бесстыдной лести. Да и придворные были умнее.

Бюлов рассказывает анекдот:

Людовик XIV показал Сен-Симону свои стихи и спросил, что он о них думает. — „*Sire, rien n'est impossible à Votre Majesté**“, — ответил Сен-Симон. — *Vous avez voulu faire un mauvais sonnet, vous avez pleinement réussi*“.

Суд современника:

Салтыков писал Анненкову об „Анне Карениной“: „Вероятно, Вы читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детородных частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях... Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя“.

Мораль: вот до чего партийность и кружковщина доводят страстных людей, даже таких умных и талантливых, как Салтыков!

* „Государь, для Вашего Величества нет ничего невозможного. (...) Вам захотелось сочинить плохой совет, и вам это вполне удалось“ (*Фр.*).

Противоядие: „суд потомства“. Правда, он меняется каждые двадцать пять лет. Но Толстые выдерживают. Другим репутация дается в аренду, — еще очень хорошо, если в пожизненную. От литературы девятнадцатого века по-настоящему остался десяток имен. Остальным — пять строк в Grundriss'ax* и десять в Handbuch'as#. Так с парижских кладбищ по миновании срока свозят кости в общую могилу. „Concession à perpétuité“^Δ больше почти нигде не выданы. Вследствие переполнения.

* * *

Есть люди-анахронизмы. Особенно много их у нас. Но встречаются они и на Западе. Таков Уинстон Черчилль, — Бриан де Буагильбер в роли канцлера казначейства. Он опоздал. Ему бы носиться в латах с копьем, на боевом копе. А он составляет (или критикует) бюджет.

Шартр. Маленький прелестный городок. Утром кажется: здесь бы прожить всю жизнь. А в тот же вечер справляешься: нет ли поезда, чтобы сейчас же уехать.

В двух шагах от знаменитого собора — Maison du Saumon[□] — дом XV века. Такие дома во Франции есть везде; у нас, если не ошибаюсь, был только один частный дом, насчитывавший три столетия жизни: обилие лесов в России было несчастьем русского искусства.

Старый дом ужасен: как здесь жили люди? почему не устраивались лучше? Да потому и не устраивались, что на это смотрели как на временное, неважное, скоро преходящее. Вся земля была в ту пору постоянным двором. Для *настоящего* был собор, — он великолепен.

*Grundriss — проспект (нем.).

#Handbuch — справочник (нем.).

Δ „Бессрочная концессия“ (фр.) Возможна игра слов, так как concession это и купленное или арендованное место на кладбище. — Прим. ред.

□ Буквально: Дом лосося (фр.).

Стали старше — одумались. Мольер говорит с презрением: „le fade goût des monuments gothiques, ces monstres odieux des siècles ignorants...“*

Непостижимое мировоззрение Клемансо: жизнь бессмысленна, мир отвратителен, люди подлецы или бараны, а потому — „agir! agir!..“^а

Зачем же agir?

Да еще легкий тик: „les boches“^б.

Царь Петр наказывает Никите Демидову, своему комиссару на каких-то заводах: „Работать тебе с крайним и тщательным рдением, напоминая себе смертные часы“.

Как сжато и как сильно! — тут лучшее, что было в Петре Великом.

Вот из этого и сделаем девиз на остаток дней.

* „Дурной вкус готических сооружений, отвратительные чудовища, унаследованные от невежественного времени...“ (Фр.)

^а „Действовать! Действовать! (Фр.)

^бБоши — презрительное название немцев. — Прим. ред.

Из записной тетради

(ОТРЫВКИ)

О предсказаниях. За последние два столетия на Западе было немало предсказаний о том, что Россия в конце концов подчинит себе весь мир. Некоторые были вполне утвердительно. Таково предсказание Наполеона: да, паверное, подчинит, а если еще не подчинила, то лишь потому, что на русском престоле пока не было энергичного воинственнаго царя. На острове Святой Елены император говорил графу Лас-Казу: „Разумеется, я в положении Александра Перваго пришел бы в Кале по маршрутам, в точно определенное время, а там оказался бы хозяином и арбитром Европы“. То же самое Наполеон говорил другим: пе Англии, а России предстоит владычествовать в мире. „Когда увидят, что Европа захвачена северными варварами, люди скажут: „А ведь прав был Наполеон“.

После него в девятнадцатом веке то же самое, но в более русофобской форме говорили многие в разных странах Европы. Однако сходные — хотя в смысле окончательнаго результата *иногда* противоположные — утверждения делались и задолго до Наполеона. Во французской литературе спор о деле Петра Великаго начался раньше, чем в русской. Жап Жак Руссо, относившийся к делу отрицательно, предсказал, что преобразовавшая Петром Россия только сделает попытку захватить мир — она ринется на Европу. Но затем сама будет разгромлена и поработана.

Чаще всего (впрочем, не всегда) эти пророчества связывались пе только с размерами России, по и с „ископными свойствами русского народа“, в частности с его „воинственностью“ и с его „юпошеской энер-

гией". Одно из предсказаний на первый взгляд кажется гениальным. Оно было сделано в 1847 году Тьером, его не так давно перепечатал „Монд": „Европа состарилась, Европа ни к чему большому уже не способна, остались в мире только два молодых, энергичных, истинно великих народа: русские и американцы. Они рано или поздно вступят между собой в жестокую борьбу, об ужасах которой ничто не может дать и представления".

Как будто поразительно: кто мог сто лет тому назад говорить о русско-американской войне, да еще такой, да еще тогда, когда было трудно даже себе представить, где и как подобная война могла бы вестись?

Но позволительно подойти к вопросу и по-иному. Стоит себе на мгновение представить „конкретно" русского мужика, русского рабочего, рядового русского образованного человека: это они-то вечно думали и думают о завоевании мира! Это их-то гонит „юношеская энергия" на Кале, на Константинополь, на Соединенные Штаты! И тотчас „социологическое обоснование" пророчества начинает казаться идиотским. Такой же мысленный опыт, с такими же выводами может, наверное, проделать и американский писатель о своих соотечественниках.

А кроме того, люди, восторгающиеся подобными пророчествами, не замечают оптического обмана. Сходные предсказания делались не только о России и Америке, но и о других, уж никак не „молодых", но могущественных державах. Так, например, „историческими" и „наследственными" врагами Франции, будто бы всегда стремившейся к мировому господству, были последовательно Англия, Испания, империя Габсбургов, опять Англия, затем Россия и наконец Германия. Все это старательно обосновывалось философами, иногда знаменитыми. Бумага терпела, она, бедная, все терпит.

О „рыцарстве" в войне. Было ли оно когда-либо? Было, что, разумеется, нисколько не мешало зверствам. В пору войны между Францией и Габсбургской монархией в XVII веке имперский главнокомандующий, узнав о болезни французского главнокомандующего, велел своим пикетам беспрепят-

ственно пропустить к своему противнику врача с лекарствами. В пору осады Севастополя союзные и русские генералы и адмиралы посылали друг другу подарки: дичь, сыр и т.д.

Последней в истории рыцарской войной была русско-турецкая 1877 года. Генерал Литвинов, воспитатель великих князей, бывший свидетель осады и падения Плевны, писал из царской ставки: „Если плевненские турки и сдадутся, то они все-таки просто герои и Осман-паша полубог“. Когда турецкая попытка прорыва не удалась и раненый Осман был взят в плен, Александр Второй послал за ним экипаж. „Минут через двадцать, — пишет Литвинов, — разнесся слух, что Осман едет. Во двор въехать было нельзя. Его вытащили на руках из коляски и понесли по двору. Когда его увидели, все офицеры сняли шапки и закричали „браво“. Османка прослезился. Государь разговаривал с ним через переводчика и был с ним милостив“.

Наполеон тоже был рыцарем: во время кампании 1814 года посылал австрийским принцессам, родственницам жены, какие-то бонбоньерки, медальоны. Но сам хохотал: говорил, что логически следовало бы убивать всех пленных. То же самое говорит в „Войне и мире“ князь Андрей. Он не знал, что до него это сказал Наполеон, которого он так ненавидел.

О политике, литературе и „суде современников“.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать* в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

Кто мог читать эти стихи без волнения, тому нечего делать в искусстве. А кто их читал с волнением, тому нечего делать в политике. Между властью и

*М.А.Алданов цитирует стихотворение А.С.Пушкина „Из Пиндемонти“ по памяти. У Пушкина начало этой строки читается так: „Трепеща радостно“. — *Прим. ред.*

ливреей нет у Пушкина ничего, кроме запятой. Для того времени это все-таки было сильным преувеличением. Были, правда, еще и раньше люди, много опередившие свое время. В ночь государственного переворота, произведенного Елизаветой Петровной, посланный цесаревны разбудил фельдмаршала Ласси. „К какой партии вы принадлежите?“ — спросил посланный. Фельдмаршал протер глаза и ответил: „К ныне царствующей!“

Его кое-кто осуждал, кое-кто хвалил. Но что такое вообще суд современников и в политике, и в литературе? Естественный ответ: „Это зависит от того, какие современники“. Конечно. Однако несколько примеров. В самое лучшее, вероятно, время всей русской истории, в царствование Александра Второго, в пору истинно необыкновенного расцвета русской культуры, многие знаменитые европейцы признавали и восторгались — какие цитаты можно было бы привести, цитаты в русскую историю и не попавшие! Но такой умный и образованный человек, как Кавелин, вдобавок весьма умеренный по взглядам, писал такие письма, которые могли бы очень пригодиться Альфреду Розенбергу. „А что такое вообще Москва? Боже великий! Бухара и Самарканд — более, кажется, европейские города!“ Несколько позднее он столь же компетентно высказался и о русской культуре вообще: „Кругом все валится. Нет явления, производящего сенсацию, которое бы не свидетельствовало о преждевременном растлении, о гнилом брожении, которому не видать ни конца, ни края. За что ни возьмись — все рассыпается под руками в гниль... Музыка российская в новых произведениях, по моему мнению, есть последнее слово отрицания музыки. О литературе и не говорю: ее нет; только Салтыков (Щедрин) составляет блистательное исключение: этот растет не по дням, а по часам как обличитель пошлости и навоза, в которых мы загрязли по уши, пребывая в нем даже с каким-то Wohlbehagen*. Я часто спрашиваю себя, да уж не взаправду ли мы турапцы, как говорил Духетипский и с его слов Анри Мартен? Что ж в нас европейского? Азия, как есть Азия“.

*Удовольствие (нем.).

Это было сказано в пору Толстого, Достоевского, Тургенева, „кучки“, Чайковского.

Можно ответить, что Кавелин не был знатоком искусства. Но вот что писал другой современник, неизмеримо более компетентный, Тургенев: „С великим удовольствием прочел статьи Костомарова, Богдановича, Мордовцева... Дельно, интересно, умно. Во второй части „Преступления и наказания“... опять сильно понесло тухлятиной и дохлятиной больничного настроения. Не понравилось мне также и продолжение „1805 года“ („Война и мир“. — М.А.) Толстого. Мелкота и какая-то капризная изысканность отдельных штрихов — и потом эти вечные повторения той же внутренней возни: что, мол, я трус или не трус? и т.д. Странный исторический роман“.

В другом письме к Анненкову Тургенев пишет: „Я рекомендовал г-же Виардо для чтения на русском языке вместе со мною „Детство“ Толстого как произведение в своем роде классическое. Стал читать — и вдруг убедился, что это пресловутое „Детство“ — просто плохо, скучно и мелкотравчато — и устарело до невероятности. Открытие это меня огорчило — стало быть, и это мираж?“

И в третьем письме (тоже о „Войне и мире“): „Прочел также роман Толстого и почувствовал... Этак нельзя, нельзя, нельзя“.

Даже многоточие поставил после „почувствовал“: просто нельзя сказать, что почувствовал!

Позднее, правда, Тургенев совершенно изменил мнение. Остался при своем Чернышевский. Оп тому же Тургеневу писал: „Вы должны знать, что по натуре своего таланта и другим качествам вы не можете написать вещи, которая не была бы выше всего, что пишется другими, не исключая и вашего протеже Толстого, который будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копать в дрызгах и не перестанет быть мальчишкой по взгляду на жизнь“.

Дальше и здесь следует строка точек. Верно, о „протеже“ было сказано еще получше.

Все трое, однако, были очель выдающиеся люди — суд современников.

Еще много тягостнее то, что не они, а разные другие писатели, бывшие друзья и в печати восхи-

щавшиеся друг другом, писали друг о друге в частных письмах, позднее появлявшихся в журналах. Это явление неизменное и вечное. Герцогиня Браччано, вечно обманывавшая мужа и тщательно это от него скрывавшая, говорила о нем друзьям: „Он будет очень удивлен на Страшном Суде“.

О Пушкине же писали еще и не то. Он считается „баловнем судьбы“: его высоко оценили после первых же его произведений. Ему было восемнадцать лет, когда Вяземский (умница и знаток) написал Жуковскому: „Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. Этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших“. Почти дословно то же самое говорил Писемский о Толстом после „Севастопольских рассказов“: „Этот офицеришка всех нас заключает, хоть бросай перо!“ На таких предсказаниях отдыхаешь душой, но они очень редки. Я когда-то читал в старых журналах, *что* писали о Пушкине при его жизни! Иногда просто издевались. Когда не хотели называть по имени, писали о поэте *Мортирине*.

Порою знаки внимания бывали ему более тягостны, чем грубая брань. Он сам пишет: „Общество любителей поступило со мной так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным... Читаю в газете Шаликова: „Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности, удостояны“ и т.д. Воля ваша: это пощечина“.

Самого лучшего он, к счастью, не узпал. Мало кто знает это и теперь. Один выдающийся государственный деятель того времени говорил о нем, что он „шпион и провокатор“.

Бывает и прямо противоположное.

Книга знаменитого Жироду „Аполлон де Беллак“. Эта пьеса поставлена в 1942 году, возобновлена через пять лет превосходным артистом Луи Жуве, отпечатана на изумительной бумаге (*восьми* разных образцов) с рисунками Мариано Андре, гравированными на дереве Жильбером Пуальо.

Содержание пьесы: Агнесса приходит искать работы в Бюро великих и малых изобретателей (остроумие начинается с названия бюро). Встреченный ею там мосье де Беллак, „изобретатель единого овоща“,

дает ей совет: говорите всем: „Какой вы красавец!“ Она всем это и говорит: швейцару конторы, секретарю, членам правления, председателю. Успех везде полный. Дальше что? Больше ничего. В пьесе, очевидно, проводится новая и тонкая мысль о том, что люди падки на лесть. Эта мысль развита на 117 страницах.

Может быть, пьеса отличается блеском диалога, остроумием отдельных фраз? Нет, ничего такого в ней нет. Автор всецело положился на ценность основной мысли и на то, что при его славе он может писать что угодно: глубокий символический смысл поклонники найдут всегда.

Я отнюдь не хочу сказать, что все произведения Жироду таковы. Конечно, многое гораздо лучше. Все же, как могла создаться эта необычайная слава во Франции, в стране ума и остроумия? В статье об одном французском издателе сообщалось, что он открыл Пруста и Жироду. Хорошо еще, что Пруст был на первом месте. И едва ли совершенно невозможное сопоставление этих двух имен кого-либо особенно удивляет. Жорж Леметр написал целую книгу о Прусте, Жироду и Поле Моране — это еще лучше. Что ж, всего лет восемьдесят тому назад у нас писали: „Наши лучшие писатели, как Толстой и Хвощинская“.

Время ставит на место многое, но не все; очень часто, но не всегда.

„Какой стилист!“ — говорил мне о Жироду один французский писатель, горячий его поклонник. С этим трудно вполне согласиться. Нет ничего хуже смешения стилей. В России Шолохов иногда пишет, как Островский. А то вдруг появляется страница под „Тараса Бульбу“: „Да в бою колупнула его пуля в голову, вытек на рубаху голубой Максимкин глаз, забила ключом кровь из развернутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто и не было на белом свете вешепского казака Грязнова“. А еще где-то в „Тихом Доне“ генерал Богаевский выступает на заседании, „изломив стылую тишину“. Нельзя в одной книге писать и как Островский, и как Пшибышевский.

Когда теперь неопытный романист называет небо синим или голубым, это вызывает улыбку. Но когда

Шолохов называет небо ультрамариновым, это, хотя по другой причине, еще забавнее. Тем более что тут же в книге сделано подстрочное примечание: „Ультрамарин — яркая синяя краска“. Химик мог бы указать автору „Тихого Дона“ и еще сто других синих красок. Было бы еще „красочнее“.

Однако всероссийскую славу Шолохова нельзя считать незаслуженной. Он и Паустовский, столь на него непохожий, — лучшие советские писатели.

Еще о старых журналах. В них печатались Пушкин, Тютчев, Толстой, Достоевский, Тургенев. Но это были вершины. Средний же уровень старых толстых журналов был низок. Они в этом уступали и „Современным запискам“, и „Новому журналу“, и „Возрождению“.

Некрасов, Катков не были хорошими редакторами. В доказательство необыкновенной критической прощупательности Некрасова указывают совершенно серьезно на его письмо к молодому Толстому, который за подписью Л.Н. прислал ему „Детство“: „Не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе (рукописи) есть талант. Если в дальнейших частях побольше живости и движения, то это будет хороший роман!“ Правда, в следующем письме Некрасов добавил: „Могу сказать положительно, что у автора есть талант“. Все же прислан был ему подлинный шедевр (в русской литературе только Лермонтов и Толстой *начали* с шедевров). Такой ответ редакторов едва ли свидетельствует о большой критической прощупательности. Многое сходное можно было бы сообщить и о Каткове. Плохо составлялись журналы и в техническом отношении. Так, в одном номере „Русского вестника“ мне попались две экономические статьи, из которых одна, неподписанная и скучнейшая „О подушной подати“, занимает 66 страниц. Маколей уверял, что „каждый журнал должен заключать в себе некоторое количество простого балласта, не имеющего никакой цены, но занимающего место“. Катков, как и Некрасов, этим сомнительным советом несколько злоупотреблял. Каких только романов и повестей он не печатал рядом с Толстым и Достоевским, часто впереди их! Кажется, он не очень уважал своих читателей. Следовал изречению одного

своего современника, Папина: „Все, батенька, делается в сем свете Божьей премудростью и человеческой глупостью“.

Самое же тягостное чтение в старых журналах — это полемика, страстная, резкая, иногда просто грубая и переходящая в брань. Ненавидевшие друг друга люди давно умерли, то, что их разделяло, теперь совершенно нам чуждо; иногда даже не поймешь, кто они, в чем дело, на что тут намекают, чем возмущаются...

Я однажды о таком споре читал в ниццском баре „Каресса“. У входа в этот бар (на главной улице города) висит надпись: „Анж Грасси, французский волонтер, был повешен на этом месте 7 июля 1944 года. Его тело было здесь выставлено. Он казнен за то, что сопротивлялся гитлеровским насильникам“. Люди, жившие тогда в Ницце, говорили мне, что видели казнь собственными глазами. Теперь имя повешенного забыто, а на месте, где это было, люди пьют черно.

Иначе и быть не может.

Интервью русской службе „Голоса Америки“*

Что вы думаете о русской художественной литературе, как эмигрантской, так и советской?

— Я считаю и эмигрантскую, и советскую художественную литературу двумя ветвями единой великой русской литературы. Я думаю, что самое это деление русских писателей на две ветви в большинстве случаев образовалось в результате личных обстоятельств: очень многие советские писатели могли бы, а некоторые, верно, и хотели бы оказаться эмигрантами единственно для того, чтобы иметь возможность писать не по указке ничего не понимающих и тупых властей, а писать совершенно свободно, как пишут американские или западноевропейские писатели.

— *А советская пропаганда пытается убедить людей как раз в обратном...*

— Большевики постоянно твердят, будто эти западноевропейские и американские писатели несколько не свободны, а находятся, дескать, в рабстве у капитала. Едва ли разумные люди в СССР таким утверждениям верят. И это действительно совершенный вздор: как в Соединенных Штатах, так и в западноевропейских странах есть газеты всех направлений. Есть и коммунистические, как есть и издательства, охотно печатающие книги авторов-коммунистов, в том числе и русских. Известно ведь, что некоторые романы Шолохова, Симонова, Горького имели в Америке и Западной Европе немалый успех. Оди́н из них был избран тем же „Book of the Month Club“^{##}, который избрал до того мою книгу.

*Интервью дано 7 ноября 1956 г.
„Клуб книги месяца“ (англ.).

— *Много ли вы читаете советских книг?*

— Покупаю или достаю немало. Они, кстати, очень дешевы. Многие советские писатели очень талантливы: например, Панова, Паустовский, Леонов, Симонов, Шолохов, Зощенко... Были очень талантливые и среди погибших, как Гумилев, Осип Мандельштам, Бабель, Пильняк... Кажется, в СССР кое-кто приписывает нам, эмигрантам, нерасположение и недоброжелательство к советской литературе. Это совершенная неправда. Я был бы искренно рад и горд, если бы в России появился Лев Толстой. Его там нет, как нет его и среди нас или в западных литературах. Разница в том, что у нас его просто нет. Ведь Толстые рождаются раз в столетие. А в СССР нового Толстого и не может быть. Уж гений-то, во всяком случае, нуждается в известном минимуме духовной и политической свободы. Шекспир, Сервантес, Толстой жили в пору, когда свободы было немного. Кое о чем они не могли говорить, кое о чем не имели права говорить все, что думали. Но их, по крайней мере, не заставляли писать то, чего они не думали, и пределы запрещенного были гораздо уже, чем при советском или гитлеровском строе. Лев Толстой, воплощение писательского достоинства и независимости, при большевиках, наверное, не напечатал бы ни одного слова. Если бы Чехов дожил до октябрьского переворота, то он, думаю, стал бы эмигрантом и писал бы в наших либеральных изданиях и в западных или занимался бы, оставшись в России, медициной. И я уверен, что талантливые советские писатели наших дней и писали бы гораздо лучше, если бы могли писать свободно и не были вынуждены кривить душой на каждом шагу. Шолохов, например, талантливый романист, и его „Тихий Дон“, особенно первый том, — хорошая книга. Но, признаюсь, мне было неловко читать его речь на XX съезде коммунистической партии. Он закончил ее пышной тирадой о „родной партии с ее могучим светлым разумом и материнскими руками...“ Особенно хороши эти „материнские руки“, отправившие на тот свет миллионы людей, в том числе три четверти большевистских вождей. Может быть, ему самому неловко было это выкрикивать. Но тем хуже, если он сказал искренно.

— *Вы не жалеете, что эмигрировали?*

— Нет, не сожалею. Очень тяжело писателю жить и работать на чужой стороне. Нет у меня, кроме того, колоссальных шолоховских тиражей и соответственных заработков, но, по крайней мере, я писал свободно, говорил то, что думаю и как думаю. Не раз мне случалось писать и о недостатках и темных сторонах западного строя, и, разумеется, делал я это совершенно беспрепятственно и безнаказанно. Мы, эмигранты, поставлены судьбой в такие условия, что нам легче относиться ко всему объективно и беспристрастно. Далеко не все прекрасно и в демократиях. Но по сравнению с советским режимом они просто рай. И, конечно, не только для „буржуазии“, как думают или говорят многие в России, а и для людей, никакой собственности не имеющих. В особенности это, разумеется, относится к Соединенным Штатам. Там любой рабочий живет и материально в 10 раз лучше, чем рабочий советский... Впрочем, это всем известно. Известно и тем, кто это отрицает.

— *Вернетесь ли вы в Россию, если там установится более или менее свободный строй?*

— Не знаю, доживу ли. Но если доживу, вернусь, когда русское посольство поставит пропуск на мой нансеновский паспорт.

— *Марк Александрович, в день вашего семидесятилетия чего вы пожелали бы живущим в России писателям и всем вашим соотечественникам?*

— И тем, и другим, и себе желаю прежде всего освобождения России. Человеку свойственно и естественно желать свободы — бытовой, духовной, политической — „свободы от страха“, по знаменитому выражению президента Рузвельта. Свободы веры и мысли и уверенности в том, что его не могут в любой день ни за что ни про что посадить в тюрьму или расстрелять. Правда, некоторых казненных или замученных людей теперь либерально „реабilitируют“, но это едва ли так уж утешает их близких, оставшихся в живых. Я не очень люблю политику, еще меньше люблю политические термины, но глупое, случайно создавшееся в мозгу Муссолини слово „фашизм“ кратко обозначает то, что я ненавижу. Каким бы другим словом это ни называлось и под каким бы соусом ни подавалось. Желаю человеку человеческой жизни.

Источники публикаций

«Загадка Толстого». Печатается по изданию: Берлин, изд. Ладыжникова, 1923 г.

«Ульмская ночь. Философия случая». Печатается по изданию: Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1953 г.

«О романе». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1933 г., № 52.

«О положении эмигрантской литературы». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1936 г., № 61.

«При чтении Тургенева» (Несколько заметок). Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1933 г., № 53.

«О Толстом». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1938 г., № 36.

«О Чехове». Первая публикация на англ. яз. — журнал „Russian Review“, Нью-Йорк, 1955 г., vol. XIV, № 2. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Алданова в Российском фонде культуры.

«Луначарский». Первая публикация — газета „Последние новости“. Париж, 1927 г., 29 сентября. Печатается по книге „Современники“, изд. 2-е дополненное, Берлин, „Слово“, 1932 г.

«Воспоминания о Максиме Горьком». (К пятилетию со дня его смерти). Первая публикация на англ. яз. — журнал „Decision“, Нью-Йорк, 1941 г., ноябрь-декабрь. Печатается по рукописи, хранящейся в Российском фонде культуры.

«В.Г. Короленко». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1922 г., № 9.

«Об искусстве Бунина». Печатается по публикации — газета „Последние новости“, Париж, 1933 г., 16 ноября (в этом номере сообщалось о присуждении Бунину Нобелевской премии).

«Предисловие к книге М.А.Осоргина „Письма о неизвестном“», Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1952 г.

«Предисловие к книге И.А.Бунина „О Чехове“», Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1955 г.

«Памяти И.А.Куприна». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1938 г., № 67.

«Д.С.Мережковский». Печатается по публикации — „Новый журнал“, Нью-Йорк, 1942 г., № 2.

«Рецензия на книгу П.П.Муратова „Эгерия“». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1923 г., № 15.

«Рецензия на книгу В.Ф.Ходасевича „Державин“». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, Париж, 1931 г., № 46.

«Из записной тетради». Печатается по публикации — журнал „Современные записки“, 1930 г., № 44.

«Из записной тетради (отрывки)». Печатается по публикации — газета „Новое русское слово“, Нью-Йорк, 1951 г., 18 марта.

«Интервью русской службе „Голоса Америки“». Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Алданова в Российском фонде культуры.

Содержание

Андрей ЧЕРНЫШЕВ. Ключи к Алдапову	5
ЗАГАДКА ТОЛСТОГО	19
УЛЬМСКАЯ НОЧЬ. Философия случая	141
<i>От автора</i>	143
I. Диалог об аксиомах	145
II. Диалог о случае и теории вероятностей	174
III. Диалог о случае в истории	208
а) О войне 1812 года	208
б) О девятом термидора	239
в) Об октябрьском перевороте	266
IV. Диалог о „Красоте-Добре“ и о борьбе со случаем	296
V. Диалог о русских идеях	333
VI. Диалог о тресте мозгов	395
СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ	439
О романе	441
О положении эмигрантской литературы	447
При чтении Тургенева (Несколько заметок)	460
О Толстом	468
О Чехове	478
Луначарский	491
Воспоминания о Максиме Горьком (К пятилетию со дня его смерти)	503
В.Г.Короленко	512
Об искусстве Бунина	517
Предисловие к книге М.А.Осоргина „Письма о незначительном“	524
Предисловие к книге И.А.Бунина „О Чехове“	544
Памяти А.И.Куприна	556
Д.С.Мережковский	564
Рецензия на книгу П.П.Муратова „Эгерия“	571
Рецензия на книгу В.Ф.Ходасевича „Державин“ ..	575
Из записной тетради	578
Из записной тетради (отрывки)	591
Интервью русской службе „Голоса Америки“	600
<i>Источники публикаций</i>	603

Алданов М.

А 49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 6: Ульмская ночь. Литературные статьи. — М.: АО „Издательство «Новости»“, 1996 — 608 с.

ISBN 5—7020—0832—4

В шестую книгу сочинений М. А. Алдапова вошла часть богатого литературно-критического наследия писателя и крупное историко-философское сочинение „Ульмская почь“ — о роли случая в истории.

А 4700000000 Без объявл.
067(02)—96

ББК 84Р

Марк Алданов
УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

Заведующий редакцией *С. А. Максимов*
Редактор *Е. И. Бонч-Бруевич*
Младший редактор *Н. В. Потатueva*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Технический редактор *И. А. Федорова*
Корректор *Т. А. Шабалина*
Технологи *В. И. Руденко, В. Ф. Егорова*

ИБ № 10906

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Сдано в набор 7.09.94 г. Подписано в печать 4.03.95 г.
Формат издания 84x108/32 Гарнитура „Антиква“.
Усл. печ. л. 32.76. Уч.-изд. л. 31.5. Тираж 10 200 экз.
Заказ № 6097. Изд. № 9178.

АО „Издательство «Новости»“
107082, Москва, Б.Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1
Комитета РФ по печати
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

По вопросам полиграфического брака обращаться
на Книжную фабрику № 1,
г. Электросталь Московской области.

